

АЛЕКСАНДР
СОЛЖЕНИЦЫН

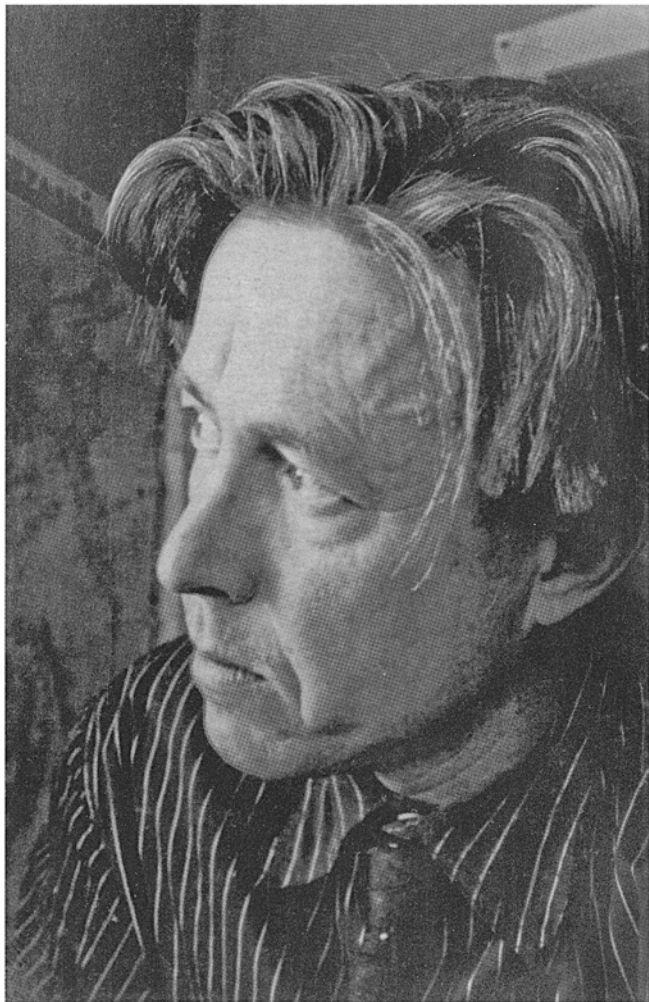
РАКОВЫЙ
КОРПУС

АЛЕКСАНДР

СОЛЖЕНИЦЫН

РАКОВЫЙ КОРПУС

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ



**Кок-Терек, 1954, год лечения А.И. Солженицына
в ташкентском «раковом корпусе»**

АЛЕКСАНДР
СОЛЖЕНИЦЫН

АЛЕКСАНДР

СОЛЖЕНИЦЫН

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

В ТРИДЦАТИ ТОМАХ

АЛЕКСАНДР

СОЛЖЕНИЦЫН

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

ТОМ ТРЕТИЙ

РАКОВЫЙ КОРПУС

ПОВЕСТЬ



МОСКВА 2012

УДК 821.161.1-3

ББК 84Р7-4

С60

В издании сохранены орфография и пунктуация автора.
Его взгляды изложены в работе «Некоторые грамматические
соображения» (Солженицын А. Публицистика: В 3 т. Ярославль,
1997. Т. 3). В настоящем Собрании сочинений статья будет
напечатана в т. 24.

редактор-составитель
Наталья Солженицына

дизайн, макет
Валерий Калныньш

ISBN 978-5-9691-0754-0
ISBN 978-5-9691-0032-9
(общий для собрания)

© А. И. Солженицын, наследники, 2012
© Н. Д. Солженицына, составление, 2012
© В. В. Радзишевский, комментарии, 2012
© «Время», 2012

РАКОВЫЙ КОРПУС

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Раковый корпус носил и номер тринадцать. Павел Николаевич Русанов никогда не был и не мог быть суеверен, но что-то опустилось в нём, когда в направлении ему написали: «тринадцатый корпус». Вот уж ума не хватило назвать тринадцатым какой-нибудь протезный или кишечный.

Однако во всей республике сейчас не могли ему помочь нигде, кроме этой клиники.

— Но ведь у меня — не рак, доктор? У меня ведь — не рак? — с надеждой спрашивал Павел Николаевич, слегка потрагивая на правой стороне шеи свою злую опухоль, растущую почти по дням, а снаружи всё так же обтянутую безобидной белой кожей.

— Да нет же, нет, конечно, — в десятый раз успокоила его доктор Донцова, размашистым почерком исписывая страницы в истории болезни. Когда она писала, она надевала очки — скруглённые четырёхугольные, как только прекращала писать — снимала их. Она была уже немолода, и вид у неё был бледный, очень усталый.

Это было ещё на амбулаторном приёме, несколько дней назад. Назначенные в раковый даже на амбулаторный приём, больные уже не спали ночь. А Павлу Николаевичу Донцова определила лечь, и как можно быстрее.

Не сама только болезнь, непредусмотренная, неподготовленная, налетевшая как шквал за две недели на безпечного счастливого человека, — но не меньше болезни угнетало теперь Павла Николаевича то, что приходилось ложиться в эту клинику на общих основаниях, как он лечился уже не помнил когда. Стали звонить — Евгению Семёновичу, и Шендяпину, и Ульмасбаеву, а те в свою очередь звонили, выясняли возможности, и нет ли в этой клинике

спецпалаты, или нельзя хоть временно организовать маленькую комнату как спецпалату. Но по здешней тесноте не вышло ничего.

И единственное, о чём удалось договориться через главного врача, — что можно будет миновать приёмный покой, общую баню и передевалку.

И на их голубеньком «москвичике» Юра подвёз отца и мать к самым ступенькам Тринадцатого корпуса.

Несмотря на морозец, две женщины в застиранных бумажных халатах стояли на открытом каменном крыльце — ёжились, а стояли.

Начиная с этих неопрятных халатов всё было здесь для Павла Николаевича неприятно: слишком истёртый ногами цементный пол крыльца; тусклые ручки двери, захватанные руками больных; вестибюль ожидающих с облезлой краской пола, высокой оливковой панелью стен (оливковый цвет так и казался грязным) и большими рейчатыми скамьями, на которых не помещались и сидели на полу приехавшие издалека больные — узбеки в стёганных ватных халатах, старые узбечки в белых платках, а молодые — в лиловых, красно-зелёных, и все в сапогах и в галошах. Один русский парень лежал, занимая целую скамейку, в расстёгнутом, до полу свешенном пальто, сам истощавший, а с животом опухшим, и непрерывно кричал от боли. И эти его вопли оглушили Павла Николаевича и так задели, будто парень кричал не о себе, а о нём.

Павел Николаевич побледнел до губ, остановился и прошептал: — Капа! Я здесь умру. Не надо. Вернёмся.

Капитолина Матвеевна взяла его за руку твёрдо и сжала:

— Пашенька! Куда же мы вернёмся?.. И что дальше?

— Ну, может быть, с Москвой ещё как-нибудь устроится...

Капитолина Матвеевна обратилась к мужу всей своей широкой головой, ещё уширенной пышными медными стриженными кудрями:

— Пашенька! Москва — это, может быть, ещё две недели, может быть, не удастся. Как можно ждать? Ведь каждое утро она больше!

Жена крепко сжимала его у кисти, передавая бодрость. В делах гражданских и служебных Павел Николаевич был неуклонен и сам, — тем приятней и спокойней было ему в делах семейных всегда полагаться на жену: всё важное она решала быстро и верно.

А парень на скамейке раздирался-кричал!

— Может, врачи домой согласятся... Заплатим... — неуверенно отпирался Павел Николаевич.

— Пасик! — внушала жена, страдая вместе с мужем, — ты знаешь, я сама первая всегда за это: позвать человека и заплатить. Но мы же выяснили: эти врачи не ходят, денег не берут. И у них аппарата. Нельзя...

Павел Николаевич и сам понимал, что нельзя. Это он говорил только на всякий случай.

По уговору с главврачом онкологического диспансера их должна была ожидать старшая сестра в два часа дня вот здесь, у низа лестницы, по которой сейчас осторожно спускался больной на костылях. Но, конечно, старшей сестры на месте не было, и каморка её под лестницей была на замочке.

— Ни с кем нельзя договориться! — вспыхнула Капитолина Матвеевна. — За что им только зарплату платят!

Как была, объятая по плечам двумя чернобурками, Капитолина Матвеевна пошла по коридору, где написано было: «В верхней одежде вход воспрещён».

Павел Николаевич остался стоять в вестибюле. Боязливо, лёгким наклоном головы направо, он ощупывал свою опухоль между ключицей и челюстью. Такое было впечатление, что за полчаса — с тех пор как он дома в последний раз посмотрел на неё в зеркало, окутывая кашне, — за эти полчаса она будто ещё выросла. Павел Николаевич ощущал слабость и хотел бы сесть. Но скамьи казались грязными, и ещё надо было просить подвинуться какую-то бабу в платке с сальным мешком на полу между ног. Даже издали как бы не достигал до Павла Николаевича смрадный запах от этого мешка.

И когда только научится наше население ездить с чистыми аккуратными чемоданами! (Впрочем, теперь, при опухоли, это уже было всё равно.)

Страдая от криков того парня и от всего, что видели глаза, и от всего, что входило через нос, Русанов стоял, чуть прислонясь к выступу стены. Снаружи вошёл какой-то мужик, перед собой неся поллитровую банку с наклейкой, почти полную жёлтой жидкостью. Банку он нёс не пряча, а гордо приподняв, как кружку с пивом, выстоянную в очереди. Перед самым Павлом Николаевичем, чуть не протягивая ему эту банку, мужик остановился, хотел спросить, но посмотрел на котиковую шапку и отвернулся, ища дальше, к больному на костылях:

— Милай! Куда это несть, а?

Безногий показал ему на дверь лаборатории.

Павла Николаевича просто тошнило.

Раскрылась опять наружная дверь — и в одном белом халате вошла сестра, не миловидная, слишком долголицая. Она сразу заметила Павла Николаевича, и догадалась, и подошла к нему.

— Простите, — сказала она через запышку, румяная до цвета накрашенных губ, так спешила. — Простите, пожалуйста! Вы давно меня ждёте? Там лекарства привезли, я принимаю.

Павел Николаевич хотел ответить едко, но сдержался. Уж он рад был, что ожидание кончилось. Подошёл, неся чемодан и сумку с продуктами, Юра — в одном костюме, без шапки, как правил машиной, — очень спокойный, с покачивающимся высоким светлым чубом.

— Пойдёмте! — вела старшая сестра к своей кладовке под лестницей. — Я знаю, Низамутдин Бахрамович мне говорил, вы будете в своём белье и привезли свою пижаму, только ещё не ношенную, правда?

— Из магазина.

— Это обязательно, иначе ведь нужна дезинфекция, вы понимаете? Вот здесь вы переоденетесь.

Она отворила фанерную дверь и зажгла свет. В камерке со скошенным потолком не было окна, а висело много графиков цветными карандашами.

Юра молча занёс туда чемодан, вышел, а Павел Николаевич вошёл переодеваться. Старшая сестра рванулась куда-то ещё за это время сходить, но тут подошла Капитолина Матвеевна:

— Девушка, вы что, так торопитесь?

— Да н-немножко...

— Как вас зовут?

— Мита.

— Странное какое имя. Вы не русская?

— Немка...

— Вы нас ждать заставили.

— Простите, пожалуйста. Я сейчас там принимаю...

— Так вот слушайте, Мита, я хочу, чтоб вы знали. Мой муж... заслуженный человек, очень ценный работник. Его зовут Павел Николаевич.

— Павел Николаевич, хорошо, я запомню.

— Понимаете, он и вообще привык к уходу, а сейчас у него такая серьёзная болезнь. Нельзя ли около него устроить дежурство постоянной сестры?

Озабоченное беспокойное лицо Миты ещё озаботилось. Она покачала головой:

— У нас, кроме операционных, на шестьдесят человек три дежурных сестры днём. А ночью две.

— Ну вот, видите! Тут умирать будешь, кричать — не подойдут.

— Почему вы так думаете? Ко всем подходят.

Ко «всем»!.. Если она говорила «ко всем», то что ей объяснять?

— К тому ж ваши сёстры меняются?

— Да, по двенадцать часов.

— Ужасно это обезличенное лечение!.. Я бы сама с дочерью сидела посменно! Я бы постоянную сиделку за свой счёт пригласила, — мне говорят — и это нельзя... ?

— Я думаю, это невозможно. Так никто ещё не делал. Да там в палате и стула негде поставить.

— Боже мой, воображаю, что это за палата! Ещё надо посмотреть эту палату! Сколько ж там коек?

— Девять. Да это хорошо, что сразу в палату. У нас новенькие лежат на лестницах, в коридорах.

— Девушка, я буду всё-таки просить, вы знаете своих людей, вам легче организовать. Договоритесь с сестрой или с санитаркой, чтобы к Павлу Николаевичу было внимание не казённое... — она уже расщёлкнула большой чёрный ридиколь и вытянула оттуда три пятидесятки.

Недалеко стоявший молчаливый сын отвернулся.

Мита отвела обе руки за спину.

— Нет, нет! Таких поручений...

— Но я же не вам даю! — совала ей в грудь растопыренные бумажки Капитолина Матвеевна. — Но раз нельзя это сделать в законном порядке... Я плачу за работу! А вас прошу только о любезности передать!

— Нет-нет, — холодела сестра. — У нас так не делают.

Со скрипом двери из каморки вышел Павел Николаевич в новенькой зелёно-коричневой пижаме и тёплых комнатных туфлях с меховой оторочкой. На его почти безволосой голове была новенькая малиновая тубетейка. Теперь, без зимнего воротника и кашне, особенно грозно выглядела его опухоль в кулак на боку шеи. Он и голову уже не держал ровно, а чуть набок.

Сын пошёл собрать в чемодан всё снятое. Спрятав деньги в ридиколь, жена с тревогой смотрела на мужа:

— Не замёрзнешь ли ты?.. Надо было тёплый халат тебе взять. Привезу. Да, здесь же шарфик, — она вынула из его кармана. —

Обмотай, чтоб не простудить! — В чернобурках и в шубе она казалась втрое мощнее мужа. — Теперь иди в палату, устраивайся. Разложи продукты, осмотришь, продумай, что тебе нужно, я буду сидеть ждать. Спустишься, скажешь — к вечеру всё привезу.

Она не теряла головы, она всегда всё предусматривала. Она была настоящий товарищ по жизни. Павел Николаевич с благодарностью и страданием посмотрел на неё, потом на сына.

— Ну так, значит, едешь, Юра?

— Вечером поезд, папа, — подошёл Юра. Он держался с отцом почтительно, но, как всегда, порыва у него не было никакого, сейчас вот — порыва разлуки с отцом, оставляемым в больнице. Он всё воспринимал погашенно.

— Так, сынок. Значит, это первая серьёзная командировка. Возьми сразу правильный тон. Никакого благодушия! Тебя благодушие губит! Всегда помни, что ты — не Юра Русанов, не частное лицо, ты — представитель за-ко-на, понимаешь?

Понимал Юра или нет, но Павлу Николаевичу трудно было сейчас найти более точные слова. Мита мялась и рвалась идти.

— Так я же подожду с мамой, — улыбался Юра. — Ты не прощайся, иди пока, пап.

— Вы дойдёте сами? — спросила Мита.

— Боже мой, человек еле стоит, неужели вы не можете довести его до койки? Сумку донести!

Павел Николаевич сиротливо посмотрел на своих, отклонил поддерживающую руку Миты и, крепко взявшись за перила, стал всходить. Сердце его забилось, и ещё не от подъёма совсем. Он всходил по ступенькам, как всходят на этот, на как его... ну, вроде трибуны, чтобы там, наверху, отдать голову.

Старшая сестра, опережая, взбежала вверх с его сумкой, там что-то крикнула Марии и, ещё прежде чем Павел Николаевич прошёл первый марш, уже сбежала по лестнице другою стороной и из корпуса вон, показывая Капитолине Матвеевне, какая тут ждёт её мужа чуткость.

А Павел Николаевич медленно взошёл на лестничную площадку — широкую и глубокую, какие могут быть только в старинных зданиях. На этой серединной площадке, ничуть не мешая движению, стояли две кровати с больными и ещё тумбочки при них. Один больной был плох, изнурён и сосал кислородную подушку.

Стараясь не смотреть на его безнадежное лицо, Русанов повернул и пошёл выше, глядя вверх. Но и в конце второго марша его не

ждало ободрение. Там стояла сестра Мария. Ни улыбки, ни привета не излучало её смуглое иконописное лицо. Высокая, худая и плоская, она ждала его, как солдат, и сразу же пошла верхним вестибюлем, показывая куда. Отсюда было несколько дверей, и, только их не загораживая, ещё стояли кровати с больными. В беззаконном завороте под постоянно горящей настольной лампой стоял письменный столик сестры, её же процедурный столик, а рядом висел настенный шкаф, с матовым стеклом и красным крестом. Мимо этих столиков, ещё мимо кровати, и Мария указала длинной сухой рукой:

— Вторая от окна.

И уже торопилась уйти — неприятная черта общей больницы, не постоит, не поговорит.

Створки двери в палату были постоянно распахнуты, и всё же, переходя порог, Павел Николаевич ощутил влажно-спёртый смешанный, отчасти лекарственный запах — мучительный при его чуткости к запахам.

Койки стояли поперёк стен тесно, с узкими проходами по ширине тумбочек, и средний проход вдоль комнаты тоже был двоим разминуться.

В этом проходе стоял коренастый широкоплечий больной в розово-полосчатой пижаме. Толсто и туго была обмотана бинтами вся его шея — высоко, почти под мочки ушей. Белое сжимающее кольцо бинтов не оставляло ему свободы двигать тяжёлой тупой головой, буро заросшей.

Этот больной хрипло рассказывал другим, слушавшим с коек. При входе Русанова он повернулся к нему всем корпусом, с которым наглухо сливалась голова, посмотрел без участия и сказал:

— А вот — ещё один рачок.

Павел Николаевич не счёл нужным ответить на эту фамильярность. Он чувствовал, что и вся комната сейчас смотрит на него, но ему не хотелось ответно оглядывать этих случайных людей и даже здороваться с ними. Он лишь отодвигающим движением повёл рукою в воздухе, указывая бурому больному посторониться. Тот пропустил Павла Николаевича и опять так же всем корпусом с приклёпанной головой повернулся вослед.

— Слышь, браток, у тебя рак — чего? — спросил он нечистым голосом.

Павла Николаевича, уже дошедшего до своей койки, как заскобило от этого вопроса. Он поднял глаза на нахала, стараясь не

выйти из себя (но всё-таки плечи его дёрнулись), и сказал с достоинством:

— Ни чего. У меня вообще не рак.

Бурый просопел и присудил на всю комнату:

— Ну и дурак! Если б не рак — разве б сюда положили?

2

В этот первый же вечер в палате за несколько часов Павлу Николаевичу стало жутко.

Твёрдый комок опухоли — неожиданной, ненужной, бессмысленной, никому не полезной — притащил его сюда, как крючок тащит рыбу, и бросил на эту железную койку — узкую, жалкую, со скрипящей сеткой, со скудным матрасиком. Стоило только переодеться под лестницей, проститься с родными и подняться в эту палату — как захлопнулась вся прежняя жизнь, а здесь выперла такая мерзкая, что от неё ещё жутче стало, чем от самой опухоли. Уже не выбрать было приятного, успокаивающего, на что смотреть, а надо было смотреть на восемь пришибленных существ, теперь ему как бы равных, — восемь больных в бело-розовых, сильно уже слинявших и поношенных пижамках, где залатанных, где надорванных, почти всем не по мерке. И уже не выбрать было, что слушать, а надо было слушать нудные разговоры этих сбродных людей, совсем не касавшиеся Павла Николаевича и неинтересные ему. Он охотно приказал бы им замолчать, и особенно этому надоедному буроволосому с бинтовым охватом по шее и защемлённой головой — его просто Ефремом все звали, хотя был он не молод.

Но Ефрем никак не усмирился, не ложился и из палаты никуда не уходил, а беспокойно похаживал средним проходом вдоль комнаты. Иногда он взмарщивался, перекашивался лицом, как от укола, брался за голову. Потом опять ходил. И, походив так, останавливался именно у кровати Русанова, переклонялся к нему через спинку всей своей негнущейся верхней половиной, выставлял широко конопатое хмурое лицо и внушал:

— Теперь всё, профессор. Домой не вернёшься, понятно?

В палате было очень тепло, Павел Николаевич лежал сверх одеяла в пижаме и тюбетейке. Он поправил очки с золочёным ободком, посмотрел на Ефрема строго, как умел смотреть, и ответил:

— Я не понимаю, товарищ, чего вы от меня хотите? И зачем вы меня запугиваете? Я ведь вам вопросов не задаю.

Ефрем только фыркнул злобно:

— Да уж задавай не задавай, а домой не вернёшься. Очки вон можешь вернуть. Пижаму новую.

Сказав такую грубость, он выпрямил неповоротливое туловище и опять зашагал по проходу, нелёгкая его несла.

Павел Николаевич мог, конечно, оборвать его и поставить на место, но для этого он не находил в себе обычной воли: она упала и от слов обмотанного чёрта ещё опускалась. Нужна была поддержка, а его в яму сталкивали. В несколько часов Русанов как потерял всё положение своё, заслуги, планы на будущее — и стал семью десятками килограммов тёплого белого тела, не знающего своего завтра.

Наверно, тоска отразилась на его лице, потому что в одну из следующих проходов Ефрем, став напротив, сказал уже миролюбиво:

— Если и попадёшь домой — ненадолго, а-а-а-а-а сюда. Рак людей любит. Кого рак клешней схватит — то уж до смерти.

Не было сил Павла Николаевича возражать — и Ефрем опять занялся ходить. Да и кому было в комнате его осадить! — все лежали какие-то прибитые или нерусские. По той стене, где из-за печного выступа помещалось только четыре койки, одна койка — прямо против русановской, ноги к ногам через проход, — была Ефремова, а на трёх остальных совсем были юнцы: простоватый смуглявый хлопец у печки, молодой узбек с костылём, а у окна — худой, как глист, и скрюченный на своей койке пожелтевший стонущий парень. В этом же ряду, где был Павел Николаевич, налево лежали два нацмена, потом у двери русский пацан, рослый, стриженный под машинку, сидел читал, — а по другую руку на последней приоконной койке тоже сидел будто русский, но не обрадуешься такому соседству: морда у него была бандитская. Так он выглядел, наверно, от шрама (начинался шрам близ угла рта и переходил по низу левой щеки почти на шею); а может быть, от непричёсанных дыбливых чёрных волос, торчавших и вверх, и вбок; а может, вообще от грубого жёсткого выражения. Бандюга этот туда же тянулся, к культуре — дочитывал книгу.

Уже горел свет — две яркие лампы с потолка. За окнами стемнело. Ждали ужина.

— Вот тут старик есть один, — не унимался Ефрем, — он внизу лежит, операция ему завтра. Так ему ещё в сорок втором году

рачок маленький вырезали и сказали — пустяки, иди гуляй. Понял? — Ефрем говорил будто бойко, а голос был такой, как самого бы резали. — Тринадцать лет прошло, он и забыл про этот диспансер, водку пил, баб трепал — нотный старик, увидишь. А сейчас рачище у него та-кой вырос! — Ефрем даже чмокнул от удовольствия. — Прямо со стола да как бы не в морг.

— Ну хорошо, довольно этих мрачных предсказаний! — отмахнулся и отвернулся Павел Николаевич и не узнал своего голоса: так неавторитетно, так жалобно он прозвучал.

А все молчали. Ещё нудьги нагонял этот исхудалый, всё вертящийся парень у окна в том ряду. Он сидел — не сидел, лежал — не лежал, скрючился, подобрал коленки к груди, и, никак не находя удобнее, перевалился головой уже не к подушке, а к изножью кровати. Он тихо-тихо стонал, гримасами и подёргиваниями выражая, как ему больно.

Павел Николаевич отвернулся и от него, спустил ноги в шлёпанцы и стал бессмысленно инспектировать свою тумбочку, открывая и закрывая то дверцу, где были густо сложены у него продукты, то верхний ящичек, где легли туалетные принадлежности и электробритва.

А Ефрем всё ходил, сложив руки в замок перед грудью, иногда вздрагивал от уколов и гудел своё, как припев, как по покойнику:

— Так что — сикиверное наше дело... очень сикиверное...

Лёгкий хлопок раздался за спиной Павла Николаевича. Он обернулся туда осторожно, потому что каждое шевеление шеи отдавалось болью, и увидел, что это его сосед, полубандит, хлопнул коркой прочтённой книги и вертел её в своих больших шершавых руках. Наискось по тёмно-синему переплёту, и такая же по корешку, шла тиснённая золотом и уже потускневшая роспись писателя. Чья это роспись, Павел Николаевич не разобрал, а спрашивать у такого типа не хотелось. Он придумал соседу прозвище — Оглоед. Очень подходило.

Оглоед угрюмыми глазищами смотрел на книгу и объявил беззастенчиво громко на всю комнату:

— Если б не Дёмка эту книгу в шкафу выбирал, так поверить бы нельзя, что нам её не подкинули.

— Чего — Дёмка? Какую книгу? — отозвался пацан от двери, читая своё.

— По всему городу шарь — пожалуй, нарочно такой не найдёшь. — Оглоед смотрел в широкий тупой затылок Ефрема (давно

не стриженные, от неудобства его волосы налезали на повязку), потом в напряжённое лицо. — Ефрем! Хватит скулить. Возьми-ка вот книжку почитай.

Ефрем остановился как бык, посмотрел мутно.

— А зачем — читать? Зачем, как все подохнем скоро?

Оглоед шевельнул шрамом:

— Вот потому и торопись, что скоро подохнем. На, на.

Он уже протягивал книгу Ефрему, но тот не шагнул:

— Много тут читать. Не хочу.

— Да ты неграмотный, что ли? — не очень-то и уговаривал Оглоед.

— Я — даже очень грамотный. Где мне нужно — я очень грамотный.

Оглоед пошарил за карандашом на подоконнике, открыл книгу зади и, просматривая, кое-где поставил точки.

— Не бойсь, — бормотнул он, — тут рассказышки маленькие. Вот эти несколько — попробуй. Да надоел больно, скулишь. Почитай.

— А Ефрем ничего не боётся! — Он взял книгу и перешвырнул к себе на койку.

На одном костыле прохромал из двери молодой узбек Ахмаджан — один весёлый в комнате. Объявил:

— Ложки к бою!

И смуглявый у печки оживился:

— Вечерю несут, хлопцы!

Показалась раздатчица в белом халате, держа поднос выше плеча. Она перевела его перед себя и стала обходить койки. Все, кроме измученного парня у окна, зашевелились и разбирали тарелки. На каждого в палате приходилась тумбочка, и только у пацана Дёмки не было своей, а пополам с ширококостым казахом, у которого распух над губою неперебинтованный безобразный тёмно-бурый струп.

Не говоря о том, что Павлу Николаевичу и вообще сейчас было не до еды, даже до своей домашней, но один вид этого ужина — прямоугольной резиновой манной бабки с железным жёлтым соусом, и этой нечистой серой алюминиевой ложки с дважды перекрученным стеблом, — только ещё раз горько напомнил ему, куда он попал и какую, может быть, сделал ошибку, согласясь на эту клинику.

А все, кроме стонущего парня, дружно принялись есть. Павел Николаевич не взял тарелку в руки, а постучал ноготком по её ребру,

оглядываясь, кому б её отдать. Одни сидели к нему боком, другие спиной, а тот хлопец у двери как раз видел его.

— Тебя как зовут? — спросил Павел Николаевич, не напрягая голоса (тот должен был сам услышать).

Стучали ложки, но хлопец понял, что обращаются к нему, и ответил готовно:

— Прощка... той, э-э-э... Прокофий Семёныч.

— Возьми.

— Та шо ж, можно... — Прощка подошёл, взял тарелку, кивнул благодарно.

А Павел Николаевич, ощущая жёсткий комок опухоли под челюстью, вдруг сообразил, что ведь он здесь был не из лёгких. Из всех девяти только один был перевязан — Ефрем, и в таком месте как раз, где могли порезать и Павла Николаевича. И только у одного были сильные боли. И только у того здорового казаха через койку — тёмно-багровый струп. И вот — костыль у молодого узбека, да и то он лишь чуть на него приступал. А у остальных вовсе не было заметно снаружи никакой опухоли, никакого безобразия, они выглядели как здоровые люди. Особенно — Прощка, он был румян, как будто в доме отдыха, а не в больнице, и с большим аппетитом вылизывал сейчас тарелку. У Оглоеда хоть была серизна в лице, но двигался он свободно, разговаривал развязно, а на бабу так накинулся, что мелькнуло у Павла Николаевича — не симулянт ли он, пристроился на государственных харчах, благо в нашей стране больных кормят бесплатно.

А у Павла Николаевича сгусток опухоли поддавливал под голову, мешал поворачиваться, рос по часам — но врачи здесь не считали часов: от самого обеда и до ужина никто не смотрел Русанова и никакого лечения не было применено. А ведь доктор Донцова заманила его сюда именно экстренным лечением. Значит, она совершенно безответственна и преступно-халатна. Русанов же поверил ей и терял золотое время в этой тесной, затхлой, нечистой палате, вместо того чтобы созваниваться с Москвой и лететь туда.

И это сознание делаемой ошибки, обидного промедления, наложенное на его тоску от опухоли, так защемило сердце Павла Николаевича, что непереносимо было ему слышать что-нибудь, начиная с этого стука ложек по тарелкам, и видеть эти железные кровати, грубые одеяла, стены, лампы, людей. Ощущение было, что он попал в западню, и до утра нельзя сделать никакого решительного шага.

Глубоко несчастный, он лёг и своим домашним полотенцем закрыл глаза от света и ото всего. Чтоб отвлечься, он стал перебирать дом, семью, чем они там могут сейчас заниматься. Юра уже в поезде. Его первая практическая инспекция. Очень важно правильно себя показать. Но Юра — не напористый, растяпа он, как бы не опозорился. Авиета — в Москве, на каникулах. Немножко развлечься, по театрам побегать, а главное — с целью деловой: присмотреться, как и что, может быть завязать связи, ведь пятый курс, надо правильно сориентироваться в жизни. Авиета будет толковая журналистка, очень деловая, и, конечно, ей надо перебираться в Москву, здесь ей будет тесно. Она такая умница и такая талантливая, как никто в семье, — опыта у неё недостаточно, но как же она всё на лету схватывает! Лаврик — немножко шалопаи, учится так себе, но в спорте — просто талант, уже ездил на соревнования в Ригу, там жил в гостинице, как взрослый. Он уже и машину гоняет. Теперь при Досаафе занимается на получение прав. Во второй четверти схватил две двойки, надо выправлять. А Майка сейчас уже, наверно, дома, на пианино играет (до неё в семье никто не играл). А в коридоре лежит Джульбарс на коврике. Последний год Павел Николаевич пристрастился сам его по утрам выводить, это и себе полезно. Теперь будет Лаврик выводить. Он любит — притравит немножко на прохожего, а потом: вы не пугайтесь, я его держу!

Но вся дружная образцовая семья Русановых, вся их налаженная жизнь, безупречная квартира — всё это за несколько дней отделилось от него и оказалось по ту сторону опухоли. Они живут и будут жить, как бы ни кончилось с отцом. Как бы они теперь ни волновались, ни заботились, ни плакали — опухоль задвигала его как стена, и по эту сторону оставался он один.

Мысли о доме не помогли, и Павел Николаевич постарался отвлечься государственными мыслями. В субботу должна открыться сессия Верховного Совета Союза. Ничего крупного как будто не ожидается, утвердят бюджет. Когда сегодня он уезжал из дому в больницу, начали передавать по радио большой доклад о тяжёлой промышленности. А здесь, в палате, даже радио нет, и в коридоре нет, хорошенькое дело! Надо хоть обезопасить «Правду» без перебоя. Сегодня — о тяжёлой промышленности, а вчера — постановление об увеличении производства продуктов животноводства. Да! Очень энергично развивается экономическая жизнь, и предстоит, конечно, крупные преобразования разных государственных и хозяйственных организаций.

И Павлу Николаевичу стало представляться, какие именно могут произойти реорганизации в масштабах республики и области. Эти реорганизации всегда празднично волновали, на время отвлекали от будней работы, работники созванивались, встречались и обсуждали возможности. И в какую бы сторону реорганизации ни происходили, иногда в противоположные, никого никогда, в том числе и Павла Николаевича, не понижали, а только всегда повышали.

Но и этими мыслями не отвлёкся он и не оживился. Кольнуло под шейю — и опухоль, глухая, безчувственная, вдвинулась и заслонила весь мир. И опять: бюджет, тяжёлая промышленность, животноводство и реорганизации — всё это осталось по ту сторону опухоли. А по эту — Павел Николаевич Русанов. Один.

В палате раздался приятный женский голосок. Хотя сегодня ничто не могло быть приятно Павлу Николаевичу, но этот голосок был просто лакомый:

— Температурку померим! — будто она обещала раздавать конфеты.

Русанов стянул полотенце с лица, чуть приподнялся и надел очки. Счастье какое! — это была уже не та унылая чёрная Мария, а плотненькая, подобранная, и не в косынке углом, а в шапочке на золотистых волосах, как носили доктора.

— Азовкин! А, Азовкин! — весело окликала она молодого человека у окна, стоя над его койкой. Он лежал ещё странней прежнего — наискось кровати, ничком, с подушкой под животом, упершись подбородком в матрас, как кладёт голову собака, и смотрел в прутья кровати, отчего получался как в клетке. По его обтянутому лицу переходили тени внутренних болей. Рука свисала до полу.

— Ну, подберитесь! — стыдила сестра. — Силы у вас есть. Возьмите термометр сами.

Он еле поднял руку от пола, как ведро из колодца, взял термометр. Так был он обезсилен и так углубился в боль, что нельзя было поверить, что ему лет семнадцать, не больше.

— Зоя! — попросил он стонуще. — Дайте мне грелку.

— Вы — враг сам себе, — строго сказала Зоя. — Вам давали грелку, но вы её клали не на укол, а на живот.

— Но мне так легчает, — страдальчески настаивал он.

— Вы себе опухоль так отрачиваете, вам объясняли. В онкологическом вообще грелки не положены, для вас специально доставали.

— Ну, я тогда колоть не дам.

Но Зоя уже не слушала и, постукивая пальчиком по пустой кровати Оглоеда, спросила:

— А где Костоглотов?

(Ну надо же! — как Павел Николаевич верно схватил! Костоглот — Оглоед — точно!)

— Курить пошёл, — отозвался Дёмка от двери. Он всё читал.

— Он у меня докурится! — проворчала Зоя.

Какие же славные бывают девушки! Павел Николаевич с удовольствием смотрел на её тугую затянутую кругловатость и чуть навыкате глаза — смотрел с безкорыстным уже любованием и чувствовал, что смягчается. Улыбаясь, она протянула ему термометр. Она стояла как раз со стороны опухоли, но ни бровью не дала понять, что ужасается или не видела таких никогда.

— А мне никакого лечения не прописано? — спросил Русанов.

— Пока нет, — извинилась она улыбкой.

— Но почему же? Где врачи?

— У них рабочий день кончился.

На Зою нельзя было сердиться, но кто-то же был виноват, что Русанова не лечили! И надо было действовать! Русанов презирал бездействие и слякотные характеры. И, когда Зоя пришла отбирать термометры, он спросил:

— А где у вас городской телефон? Как мне пройти?

В конце концов, можно было сейчас решиться и позвонить товарищу Остапенко! Простая мысль о телефоне вернула Павлу Николаевичу его привычный мир. И мужество. И он почувствовал себя снова борцом.

— Тридцать семь, — сказала Зоя с улыбкой и на новой температурной карточке, повешенной в изножье его кровати, поставила первую точку графика. — Телефон — в регистратуре. Но вы сейчас туда не пройдёте. Это — с другого парадного.

— Позвольте, девушка! — Павел Николаевич приподнялся и построжел. — Как может в клинике не быть телефона? Ну а если сейчас что-нибудь случится? Вот со мной, например.

— Побежим — позвоним, — не испугалась Зоя.

— Ну а если буран, дождь проливной?

Зоя уже перешла к соседу, старому узбеку, и продолжала его график.

— Днём и прямо ходим, а сейчас заперто.

Приятная-приятная, а дерзкая: не дослушав, уже перешла к казаху. Невольно повышая голос ей вслед, Павел Николаевич воскликнул:

— Так должен быть другой телефон! Не может быть, чтоб не было!

— Он есть, — ответила Зоя из присядки у кровати казаха. — Но в кабинете главврача.

— Ну так в чём дело?

— Дёма... Тридцать шесть и восемь... А кабинет заперт. Низамутдин Бахрамович не любит...

И ушла.

В этом была логика. Конечно, неприятно, чтобы без тебя ходили в твой кабинет. Но в больнице как-то же надо придумать...

На мгновенье болтнулся проводок к миру внешнему — и оборвался. И опять весь мир закрыла опухоль величиной с кулак, подставленный под челюсть.

Павел Николаевич достал зеркальце и посмотрел. Ух, как же её разносило! Посторонними глазами и то страшно на неё взглянуть — а своими?! Ведь такого не бывает! Вот кругом ни у кого же нет! Да за сорок пять лет жизни Павел Николаевич ни у кого не видел такого уродства!..

Не стал уж он определять — ещё выросла или нет, спрятал зеркало да из тумбочки немного достал, пожевал.

Двух самых грубых — Ефрема и Оглоеда — в палате не было, ушли. Азовкин у окна ещё по-новому извернулся, но не стонал. Остальные вели себя тихо, слышалось перелистывание страниц, некоторые легли спать. Оставалось и Русанову заснуть. Скоротать ночь, не думать — а уж утром дать взбучку врачам.

И он разделся, лёг под одеяло, накрыл голову полотенцем и попробовал заснуть.

Но в тишине особенно стало слышно и раздражало, как где-то шепчут и шепчут — и даже прямо в ухо Павлу Николаевичу. Он не выдержал, сорвал полотенце с лица, приподнялся, стараясь не сделать больно шее, и обнаружил, что это шепчет его сосед-узбек — высохший, худенький, почти коричневый старик с клинышком маленькой чёрной бородки и в коричневой же потёртой тюбетейке.

Он лежал на спине, заложив руки за голову, смотрел в потолок и шептал — молитвы, что ли, старый дурак?

— Э! Аксакал! — погрозил ему пальцем Русанов. — Перестань! Мешаешь!

Аксакал смолк. Опять Русанов лёг и накрылся полотенцем. Но уснуть всё равно не мог. Теперь он понял, что успокоиться ему

мешает режущий свет двух подпотолочных ламп — не матовых и плохо закрытых абажурами. Даже через полотенце ощущался этот свет. Павел Николаевич крикнул, опять на руках приподнялся от подушки, лада, чтоб не кольнула опухоль.

Прошка стоял у своей кровати близ выключателя и начинал раздеваться.

— Молодой человек! Потушите-ка свет! — распорядился Павел Николаевич.

— Та ще... лекарства нэ прынэслы... — замылся Прошка, но приподнял руку к выключателю.

— Что значит — «потушите»? — зарычал сзади Русанова Оглоед. — Укоротитесь, вы тут не один.

Павел Николаевич сел как следует, надел очки и, побрегая опухоль, визжа сеткой, обернулся:

— А вы *повежливей* можете разговаривать?

Грубиян скорчил кривоватую рожу и ответил низким голосом:

— Не оттягивайте, я не у вас в аппарате.

Павел Николаевич метнул в него сжигающим взглядом, но на Оглоеда это не подействовало ничуть.

— Хорошо, а зачем нужен свет? — вступил Русанов в мирные переговоры.

— В заднем проходе ковырять, — сгрубил Костоглотов.

Павлу Николаевичу стало трудно дышать, хотя, кажется, уж он обдышался в палате. Этого нахала надо было в двадцать минут выписать из больницы и отправить на работу! Но в руках не было никаких конкретных мер воздействия.

— Так если почитать или что другое — можно выйти в коридор, — справедливо указал Павел Николаевич. — Почему вы присваиваете себе право решать за всех? Тут — разные больные, и надо делать различия...

— Сделают, — оклычился тот. — Вам некролог напишут, член с такого-то года, а нас — ногами вперёд.

Такого необузданного неподчинения, такого неконтролируемого своеволия Павел Николаевич никогда не встречал, не помнил. И он даже терялся — что можно противопоставить? Не жаловаться же этой девчёнке. Приходилось пока самым достойным образом прекратить разговор. Павел Николаевич снял очки, осторожно лёг и накрылся полотенцем.

Его разрывало от негодования и тоски, что он поддался и лёг в эту клинику. Но не поздно будет завтра же и выписаться.

На часах его было начало девятого. Что ж, он решил теперь всё терпеть. Когда-нибудь же они успокоятся.

Но опять началась ходьба и тряска между кроватями — это, конечно, Ефрем вернулся. Старые половицы комнаты отзывались на его шаги и передавались Русанову через койку и подушку. Но уж решил Павел Николаевич замечания ему не делать, терпеть.

Сколько ещё в нашем населении неискоренённого хамства! И как его с этим грузом вести в новое общество!

Безконечно тянулся вечер! Начала приходиться сестра — один раз, второй, третий, четвёртый, одному несла микстуру, другому порошок, третьего и четвёртого колола. Азовкин вскрикивал при уколе, опять клянул грелку, чтоб рассасывалось. Ефрем продолжал топтать туда-сюда, не находил покоя. Ахмаджан разговаривал с Прошкой, и каждый со своей кровати. Как будто все только сейчас и оживали по-настоящему, как будто ничто их не заботило и нечего было лечить. Даже Дёмка не ложился спать, а пришёл и сел на койку Костоглотова, и тут, над самым ухом Павла Николаевича, они бубнили.

— Побольше стараюсь читать, — говорил Дёмка, — пока время есть. В университет поступить охота.

— Это хорошо. Только учти: образование ума не прибавляет. (Чему учит ребёнка, Оглоед!)

— Как не прибавляет?!

— Так вот.

— А что ж прибавляет?

— Ж-жизнь.

Дёмка помолчал, ответил:

— Я не согласен.

— У нас в части комиссар такой был, Пашкин, он всегда говорил: образование ума не прибавляет. И звание — не прибавляет. Иному добавят звёздочку, он думает — и ума добавилось. Нет.

— Так что ж тогда — учиться не надо? Я не согласен.

— Почему не надо? Учись. Только для себя помни, что ум — не в этом.

— А в чём же ум?

— В чём ум? Глазам своим верь, а ушам не верь. На какой же ты факультет хочешь?

— Да вот не решил. На исторический хочется, и на литературный хочется.

— А на технический?

— Не-а.

— Странно. Это в наше время так было. А сейчас ребята все технику любят. А ты — нет?

— Меня... общественная жизнь очень разжигает.

— Общественная?.. Ох, Дёмка, с техникой — спокойней жить. Учись лучше приёмники собирать.

— А чего мне — покойней!.. Сейчас вот если месяца два тут полежу — надо за девятый класс подогнать, за второе полугодие.

— А учебники?

— Да два у меня есть. Стереометрия очень трудная.

— Стереометрия?! А ну, тащи сюда!

Слышно было, как пацан пошёл и вернулся.

— Так, так, так... Стереометрия Киселёва, старушка... Та же самая... Прямая и плоскость, параллельные между собой... Если прямая параллельна какой-нибудь прямой, расположенной в плоскости, то она параллельна и самой плоскости... Чёрт возьми, вот книжечка, Дёмка! Вот так бы все писали! Толщины никакой, да? А сколько тут напихано!

— Полтора года по ней учат.

— И я по ней учился. Здорово знал!

— А когда?

— Сейчас тебе скажу. Тоже вот так девятый класс, со второго полугодия... значит, в тридцать седьмом и в тридцать восьмом. Чудно в руках держать. Я геометрию больше всего любил.

— А потом?

— Что потом?

— После школы.

— После школы я на замечательное отделение поступил — геофизическое.

— Это где?

— Там же, в Ленинграде.

— И что?

— Первый курс кончил, а в сентябре тридцать девятого вышел указ брать в армию с девятнадцати, и меня загребли.

— А потом?

— Потом действительную служил.

— А потом?

— А потом — не знаешь, что было? Война.

— Вы — офицер были?

— Не, сержант.

— А почему?

— А потому что если все в генералы пойдут, некому будет войну выигрывать... Если плоскость проходит через прямую, параллельную другой плоскости, и пересекает эту плоскость, то линия пересечения... Слушай, Дёмка! Давай я с тобой каждый день буду стереометрией заниматься? Ох, двинем! Хочешь?

— Хочу.

(Этого ещё не хватало, над ухом.)

— Буду уроки тебе задавать.

— Задавай.

— А то правда время пропадает. Прямо сейчас и начнём. Разберём вот эти три аксиомы. Аксиомы эти, учти, на вид простенькие, но они потом в каждой теореме скрытно будут содержаться, и ты должен видеть — где. Вот первая: если две точки прямой принадлежат плоскости, то и каждая точка этой прямой принадлежит ей. В чём тут смысл? Вот пусть эта книжка будет плоскость, а карандаш — прямая, так? Теперь попробуй расположить...

Заладили и долго ещё гудели об аксиомах и следствиях. Но Павел Николаевич решил терпеть, демонстративно повёрнутый к ним спиной. Наконец замолчали и разошлись. С двойным сновторным заснул и умолк Азовкин. Так тут начал кашлять аксакал, к которому Павел Николаевич повёрнут был лицом. И свет уже потушили, а он, проклятый, кашлял и кашлял, да так противно, подолгу, со свистом, что, казалось, задохнётся.

Повернулся Павел Николаевич спиной и к нему. Он снял полотенце с головы, но настоящей темноты всё равно не было: падал свет из коридора, там слышался шум, хождение, гремели плевательницами и вёдрами.

Не спалось. Давила опухоль. Такая счастливая, такая полезная жизнь была на обрыве. Было очень жалко себя. Одного маленького толчка не хватало, чтоб выступили слёзы.

И толчок этот не упустил добавить Ефрем. Он и в темноте не унялся и рассказывал Ахмаджану по соседству идиотскую сказку:

— А зачем человеку жить сто лет? И не надо. Это дело было вот как. Раздавал, ну, Аллах жизнь и всем зверям давал по пятьдесят лет, хватит. А человек пришёл последний, и у Аллаха оставалось только двадцать пять.

— Четвертная, значит? — спросил Ахмаджан.

— Ну да. И стал обижаться человек: мало! Аллах говорит: хватит. А человек: мало! Ну, тогда, мол, пойдя сам спроси, может

у кого лишнее, отдаст. Пошёл человек, встречает лошадь. «Слушай, — говорит, — мне жизни мало. Уступи от себя». — «Ну, на, возьми двадцать пять». Пошёл дальше, навстречу собака. «Слушай, собака, уступи жизни!» — «Да возьми двадцать пять!» Пошёл дальше. Обезьяна. Выпросил и у неё двадцать пять. Вернулся к Аллаху. Тот и говорит: «Как хочешь, сам ты решил. Первые двадцать пять лет будешь жить как человек. Вторые двадцать пять будешь работать как лошадь. Третьи двадцать пять будешь гавкать как собака. И ещё двадцать пять над тобой, как над обезьяной, смеяться будут...»

3

Хотя Зоя была толкова, проворна и очень быстро сновала по своему этажу от стола к кроватям и снова к столу, она увидела, что не успевает выполнить к отбою всех назначений. Тогда она подогнала, чтоб кончить и погасить в мужской палате и в малой женской. В большой же женской — огромной, где стояло больше тридцати коек, — женщины никогда не угоманивались вовремя, гаси им свет или не гаси. Многие там лежали подолгу, утомились от больницы, сон у них был плох, душно, постоянно шёл спор — держать ли балконную дверь открытой или закрытой. А было и несколько изошрённых любительниц поговорить из угла в угол. До полуночи и до часу ночи тут всё обсуждали то цены, то продукты, то мебель, то детей, то мужей, то соседок — и до самых безстыжих разговоров.

А сегодня там ещё мыла пол санитарка Нэля — крутозадая горластая девка с большими бровями и большими губами. Она давно уже начала, но никак не могла кончить, встречая в каждый разговор. Между тем ждал своей ванночки Сибгатов, чья кровать стояла в вестибюле перед входом в мужскую палату. Из-за этих вечерних ванночек, а также стесняясь дурного запаха от своей спины, Сибгатов добровольно оставался лежать в вестибюле, хотя он был здесь издавнее всех старожилков — уж будто и не больной, а на постоянной службе.

Быстро мелькая по женской палате, Зоя сделала Нэле одно замечание и второе, но Нэля только огрызнулась, а подвигалась медленно. Она была не моложе Зои и считала обидой подчиняться

девчѐнке. Зоя пришла сегодня на работу в праздничном настроении, но это сопротивление санитарки раздражало её. Вообще Зоя считала, что всякий человек имеет право на свою долю свободы и, приходя на работу, тоже не обязательно должен выложиться до изнемоги, но где-то была разумная мера, а тем более находясь при больных.

Наконец и Зоя всё раздала и кончила, и Нэля дотёрла пол, потушили свет у женщин, потушили и в вестибюле верхний, был уже двенадцатый час, когда Нэля развела тёплый раствор на первом этаже и оттуда принесла Сибгатову в его постоянном тазике.

— О-о-ой, уморилась, — громко зевнула она. — Закачусь я минуток на триста. Слушай, больной, ты ведь целый час будешь сидеть, тебя не дождёшься. Ты потом сам снеси тазик вниз, вылей, а?

(В этом крепком старом здании с просторными вестибюлями не было наверху слива.)

Каким Шараф Сибгатов был раньше — уж теперь нельзя было догадаться, не по чему судить: страдание его было такое долгое, что от прежней жизни уже как бы ничего и не осталось. Но после трёх лет непрерывной гнетучей болезни этот молодой татарин был самый кроткий, самый вежливый человек во всей клинике. Он часто слабо-слабо улыбался, как бы извиняясь за долгие хлопоты с собой. За свои четырёх- и шестимесячные лежанья он тут знал всех врачей, сестёр и санитарок как своих, и они его знали. А Нэля была новенькая, несколько недель.

— Мне тяжело будет, — тихо возразил Сибгатов. — Если куда отлить, я бы по частям отнёс.

Но зюин стол был близко, она слышала и прискочила:

— Как тебе не стыдно! Ему спину искривлять нельзя, так он тебе таз понесёт, да?

Она это всё как бы выкрикнула, но полушёпотом, никому, кроме них троих, не слышно. А Нэля спокойно отозвалась, но на весь второй этаж:

— А чего стыдно? Я тоже как сучка затомилась.

— Ты на дежурстве! Тебе деньги платят! — ещё приглушённой возмущалась Зоя.

— Хой! Платят! Разве эт деньги? Я на текстильном и то больше заработаю.

— Тш-ш! Тише ты можешь?

— О-о-ой, — вздохнула-простонала на весь вестибюль широко-кудрая Нэля. — Милая подружка подушка! Спать-то как хочется-а...

Ту ночь с шоферами прогуляла... Ну ладно, больной, ты тазик потом подсунь под кровать, я утром вынесу.

Глубоко-затяжно зевнув, не покрывая рта, в конце зевка сказала Зоя:

— Тут я, в заседаниях буду, на диванчике.

И, не дожидаясь разрешения, пошла к угловой двери — там была с мягкой мебелью комната врачебных заседаний и пятиминуток.

Она оставляла ещё многою недоделанную работу, невычищенные плевательницы, и в вестибюле можно было помыть пол, но Зоя посмотрела ей в широкую спину и сдержалась. Не так давно и сама она работала, но начинала понимать этот досадный принцип: кто не тянет, с того и не спросишь, а кто тянет — и за двоих потянет. Завтра с утра заступит Елизавета Анатольевна, она вычистит и вымоет за Нэлю и за себя.

Теперь, когда Сибгатова оставили одного, он обнажил крестец, в неудобном положении опустился в тазик на полу около кровати — и так сидел, очень тихо. Ото всякого неосторожного движения ему было больно в кости, но ещё бывало паляще больно и от касания к повреждённому месту, даже от постоянного касания бельём. Что там у него сзади, он не видел никогда, только иногда нащупывал пальцами. В позапрошлом году в эту клинику его внесли на носилках — он не мог вставать и ногами двигать. Его смотрели тогда многие доктора, но лечила всё время Людмила Афанасьевна. И за четыре месяца боль совсем прошла! — он свободно ходил, наклонялся и ни на что не жаловался. При выписке он руки целовал Людмиле Афанасьевне, а она его только предупреждала: «Будь осторожен, Шараф! Не прыгай, не ударься!» Но на такую работу его не взяли, а пришлось опять экспедитором. Экспедитору — как не прыгать из кузова на землю? Как не помочь грузчику и шофёру? Но всё было ничего до одного случая — покатила с машины бочка и ударила Шарафа как раз в больное место. И на месте удара загноилась рана. Она не заживала. И с тех пор Сибгатов стал как цепью прикован к раковому диспансеру.

С непроходящим чувством досады Зоя села за стол и ещё раз проверяла, все ли процедуры исполнила, дочёркивая расплывающимися чернильными чёрточками по дурной бумаге уже расплывшиеся чернильные строки. Писать рапорт было бесполезно. Да и не в натуре Зои. Надо бы самой справиться, но именно с Нэлей она

справиться не умела. Поспать — ничего плохого нет. При хорошей санитарке Зоя и сама бы полночи поспала. А теперь надо сидеть.

Она смотрела в свою бумажку, но слышала, как подошёл мужчина и стал рядом. Зоя подняла голову. Стоял Костоглотов — неукладистый, с недочёсанной угольной головой, большие руки почти не влезали в боковые маленькие карманчики больничной куртки.

— Давно пора спать, — вменила Зоя. — Что расхаживаете?

— Добрый вечер, Зоенька, — выговорил Костоглотов как мог мягче, даже нарастяг.

— Спокойной ночи, — летуче улыбнулась она. — Добрый вечер был, когда я за вами с термометром бегала.

— То на службе было, не укоряйте. А сейчас я к вам в гости пришёл.

— Вот как? — (Это уж там само получалось, что подбрасывались ресницы или широко открывались глаза, она этого не обдумывала.) — Почему вы думаете, что я принимаю гостей?

— А потому что по ночным дежурствам вы всегда зубрили, а сегодня учебников не вижу. Сдали последний?

— Наблюдательны. Сдала.

— И что получили? Впрочем, это не важно.

— Впрочем, всё-таки четвёрку. А почему не важно?

— Я подумал: может быть, тройку, и вам неприятно говорить. И теперь каникулы?

Она мигнула с весёлым выражением лёгкости. Мигнула — и прониклась: чего она, в самом деле, расстроилась? Две недели каникул, блаженство! Кроме клиники — больше никуда! Сколько свободного времени! И на дежурствах — можно книжечку почитать, можно вот поболтать.

— Значит, я правильно пришёл в гости?

— Ну, садитесь.

— Скажите, Зоя, но ведь каникулы, если я не забыл, раньше начинались 25 января.

— Так мы осенью на хлопке были. Это каждый год.

— И сколько ж вам лет осталось учиться?

— Полтора.

— А куда вас могут назначить?

Она пожала кругленькими плечами:

— Родина необъятна.

Глаза её с выкатком, даже когда она смотрела спокойно, как будто под веками не помещались, прорисовались наружу.

— Но здесь не оставят?

— Не-ет, конечно.

— И как же вы семью бросите?

— Какую семью? У меня бабушка одна. Бабушку — с собой.

— А папа-мама?

Зоя вздохнула.

— Мама моя умерла.

Костоглотов посмотрел на неё и об отце не спросил.

— А вообще, вы — здешняя?

— Нет, из Смоленска.

— Во-о! И давно оттуда?

— В эвакуацию, когда ж.

— Это вам было... лет девять?

— Ага. Два класса там кончила... А потом здесь с бабушкой застряли.

Зоя потянулась к большой хозяйственной ярко-оранжевой сумке на полу у стены, достала оттуда зеркальце, сняла врачебную шапочку, чуть всклочила стянутые шапочкой волосы и начесала из них редкую, лёгкой дугой подстриженную золотенькую чёлку.

Золотой отблик отразился и на жёсткое лицо Костоглотова. Он смягчился и следил за ней с удовольствием.

— А ваша где бабушка? — пошутила Зоя, кончая с зеркальцем.

— Моя бабушка, — вполне серьёзно принял Костоглотов, — и мама моя... умерли в блокаду.

— Ленинградскую?

— У-гм. И сестрёнку снарядом убило. Тоже была медсестрой. Козьявка ещё.

— Да-а, — вздохнула Зоя. — Сколько погибло в блокаду! Проклятый Гитлер!

Костоглотов усмехнулся:

— Что Гитлер — проклятый, это не требует повторных доказательств. Но всё же ленинградскую блокаду я на него одного не списываю.

— Как?! Почему?

— Ну, как! Гитлер и шёл нас уничтожать. Неужели ждали, что он приотворит калиточку и предложит блокадным: выходите по одному, не толпитесь? Он воевал, он враг. А в блокаде виноват некто другой.

— Кто же?? — прошептала поражённая Зоя. Ничего подобного она не слышала и не предполагала.

Костоглотов собрал чёрные брови.

— Ну, скажем, тот или те, кто были готовы к войне, даже если бы с Гитлером объединились Англия, Франция и Америка. Кто получал зарплату десятки лет и предусмотрел угловое положение Ленинграда и его оборону. Кто оценил степень будущих бомбардировок и догадался спрятать продовольственные склады под землю. Они-то и задушили мою мать — вместе с Гитлером.

Просто это было, но как-то очень уж ново.

Сибгатов тихо сидел в своей ванночке позади них, в углу.

— Но тогда?.. тогда их надо... судить? — шёпотом предположила Зоя.

— Не знаю. — Костоглотов скривил губы, и без того угловатые. — Не знаю.

Зоя не надевала больше шапочки. Верхняя пуговица её халата была расстёгнута, и виднелся ворот платья иззолота-серый.

— Зоенька. А ведь я к вам отчасти и по делу.

— Ах вот как! — прыгнули её ресницы. — Тогда, пожалуйста, в дневное дежурство. А сейчас — спать! Вы просились — в гости?

— Я — и в гости. Но пока вы ещё не испортились, не стали окончательным врачом — протяните мне человеческую руку.

— А врачи не протягивают?

— Ну, у них и рука не такая... Да и не протягивают. Зоенька, я всю жизнь отличался тем, что не любил быть мартышкой. Меня здесь лечат, но ничего не объясняют. Я так не могу. Я у вас видел книгу — «Патологическая анатомия». Так ведь?

— Так.

— Это и есть об опухолях, да?

— Да.

— Так вот будьте человеком — принесите мне её! Я должен её полистать и кое-что сообразить. Для себя.

Зоя скруглила губы и покачала головой:

— Но больным читать медицинские книги противопоказано. Даже вот когда мы, студенты, изучаем какую-нибудь болезнь, нам всегда кажется...

— Это кому-нибудь другому противопоказано, но не мне! — прихлопнул Костоглотов по столу большой лапой. — Я уже в жизни пуган-перепуган и отпугался. Мне в областной больнице хирург-кореец, который диагноз ставил, вот под Новый год, тоже объяснять не хотел, а я ему: «Говорите!» — У нас, мол, так не положено! — «Говорите, я отвечаю! Я семейными делами должен

распорядиться!» Ну, и он мне лепанул: «Три недели проживёте, больше не ручаюсь!»

— Какое ж он имел право!..

— Молодец! Человек! Я ему руку пожал. Я знать должен! Да если я полгода до этого мучился, а последний месяц не мог уже ни лежать, ни сидеть, ни стоять, чтобы не болело, в сутки спал несколько минут, — так я уже что-то ведь передумал! За эту осень я на себе узнал, что человек может переступить черту смерти, ещё когда тело его не умерло. Ещё что-то там в тебе кровообращается или пищеварится — а ты уже, психологически, прошёл всю подготовку к смерти. И пережил саму смерть. Всё, что видишь вокруг, видишь уже как бы из гроба, безстрастно. Хотя ты не причислял себя к христианам, и даже иногда напротив, а тут вдруг замечаешь, что ты таки уже простил всем обижавшим тебя и не имеешь зла к гнавшим тебя. Тебе уже просто всё и все безразличны, ничего не порываешься исправить, ничего не жаль. Я бы даже сказал: очень равновесное состояние, естественное. Теперь меня вывели из него, но я не знаю — радоваться ли. Вернутся все страсти — и плохие, и хорошие.

— Да уж чего задаётесь! Ещё бы не радоваться! Когда вы сюда поступили... Сколько это дней?..

— Двенадцать.

— И вот тут, в вестибюле, на диванчике крутились — на вас смотреть было страшно, лицо покойницкое, не ели ничего, температура тридцать восемь и утром, и вечером — а сейчас? Ходите в гости... Это же чудо — чтоб человек за двенадцать дней так ожил! У нас так редко бывает.

В самом деле — тогда на лице его были как зубилом прорублены глубокие, серые, частые морщины от постоянного напряжения. А сейчас их стало куда меньше, и они посветлели.

— Всё счастье в том, что оказалось — я хорошо переносу рентген.

— Это далеко не часто! Это удача! — с тёплым сердцем сказала Зоя.

Костоготов усмехнулся:

— Жизнь моя так была бедна удачами, что в этой рентгеновской есть своя справедливость. Мне и сны сейчас стали сниться какие-то расплывчато-приятные. Я думаю — это признак выздоровления.

— Вполне допускаю.

— Так тем более мне надо понять и разобраться! Я хочу понять, в чём состоит метод лечения, какие перспективы, какие

осложнения. Мне настолько полегчало, что, может, нужно лечение остановить? Это надо понять. Ни Людмила Афанасьевна, ни Вера Корнильевна мне ничего не объясняют, лечат, как обезьяну. Принесите книжечку, Зоя, прошу вас! Я вас не продам.

Он говорил так настоятельно, что оживился.

Зоя в колебании взялась за ручку ящика в столе.

— Она у вас здесь? — догадался Костоглотов. — Зоенька, дайте! — И уже руку вытянул. — Когда вы следующий раз дежурите?

— В воскресенье днём.

— И я вам отдам! Всё! Договорились!

Какая она славная была, незаносчивая, с этой чёлкой золотенькой, с этими чуть выкаченными глазками.

Он только себя не видел, как во всех направлениях были закручены угловатые вихры на его собственной голове, отлёжанные так на подушке, а из-под курточки, недостёгнутой до шеи, с бо́льничною простотой высовывался уголок казённой бязевой сорочки.

— Так-так-так, — листал он книгу и лез в оглавление. — Очень хорошо. Тут я всё найду. Вот спасибо. А то, чёрт его знает, ещё, может, перелечат. Им ведь только графу заполнить. Я ещё, может, оторвусь. И хорошая аптека убавит века.

— Ну вот! — всплеснула Зоя ладонями. — Стоило вам давать! А ну-ка назад!

И она потянула книгу одной рукой, потом двумя. Но он легко удерживал.

— Порвём библиотечную! Отдайте!

Круглые плотные плечи её и круглые плотные небольшие руки были как облитые в натянувшемся халате. Шея была ни худа, ни толста, ни коротка, ни вытянута, очень соразмерна.

Перетягивая книгу, они сблизились и смотрели в упор. Его нескладное лицо распустилось в улыбке. И шрам уже не казался таким страшным, да он и был-то побледневший, давний. Свободной рукой мягко отнимая её пальцы от книги, Костоглотов шёпотом уговаривал:

— Зоенька. Ну вы же не за невежество, вы же за просвещение. Как можно мешать людям развиваться? Я пошутил, я никуда не оторвусь.

Напористым шёпотом отвечала и она:

— Да вы уж потому недостойны читать, что — как вы себя запустили? Почему вы не приехали раньше? Почему надо было приехать уже мертвецом?

— Э-э-эх, — вздохнул Костоглотов уже полувслух. — Транспорта не было.

— Да что это за место такое — транспорта не было? Ну, самолётом! Да почему надо было допускать до последнего? Почему заранее не переехать в более культурное место? Какой-нибудь врач, фельдшер у вас там был?

Она сняла пальцы с книги.

— Врач есть, гинеколог. Даже два...

— Два гинеколога!? — подавилась Зоя. — Так у вас там одни женщины?

— Наоборот, женщин не хватает. Гинеколога два, а других врачей нет. И лаборатории нет. Крови не могли взять на исследование. У меня РОЭ было, оказывается, шестьдесят, и никто не знал.

— Кошмар! И опять берётесь решать — лечиться или нет? Себя не жалеете — хоть бы близких своих пожалели, детей!

— Детей? — будто очнулся Костоглотов, будто вся эта весёлая возня с книгой была во сне, а вот опять он возвращался в своё жёсткое лицо и медленную речь. — У меня никаких детей нет.

— А жена — не человек?

Он стал ещё медленней:

— И жены нет.

— Мужчины всегда, что — нет. А какие ж вы семейные дела собирались улаживать? Корейцу что говорили?

— Так я ему соврал.

— А может мне — сейчас?

— Нет, правда нет. — Лицо Костоглотова тяжелело. — Я переборчив очень.

— Она не выдержала вашего характера? — сочувственно кивнула Зоя.

Костоглотов совсем медленно покачал головой.

— И не было никогда.

Зоя недоумённо оценивала, сколько ж ему лет. Она шевельнула губами раз — и отложила вопрос. И ещё шевельнула — и ещё отложила.

Зоя к Сибгатову сидела спиной, а Костоглотов лицом, и ему было видно, как тот преосторожно поднялся из ванночки, обеими руками держась за поясницу, и просыхал. Вид его был обстрадавшийся: от крайнего горя он уже отстал, а к радости не вызывало его ничто.

Костоглотов вдохнул и выдохнул, как будто это работа была — дышать.

— Ох, закурить хочется! Здесь никак нельзя?

— Никак. И для вас курить — это смерть.

— Ни за что просто?

— Просто ни за что. Особенно при мне.

Но улыбалась.

— А может, одну всё-таки?

— Больные спят, как можно!

Он всё же вытащил пустой длинный наборный мундштук ручной работы и стал его сосать.

— Знаете, как говорят: молодому жениться рано, а старому поздно. — Двумя руками облокотился о её стол и пальцы с мундштуком запустил в волосы. — Чуть-чуть я не женился после войны, хотя: я — студент, она — студентка. Поженились бы всё равно, да пошло кувырком.

Зоя рассматривала малодружелюбное, но сильное лицо Костоглотова. Костлявые плечи, руки — но это от болезни.

— Не сладилось?

— Она... как это называется... погибла. — Один глаз он закрыл в кривой пожимке, а одним смотрел. — Погибла, но вообще — жива. В прошлом году мы обменялись с ней несколькими письмами.

Он расщурился. Увидел в пальцах мундштук и положил его в карманчик назад.

— И, знаете, по некоторым фразам в этих письмах я вдруг задумался: а на самом-то деле тогда, прежде, она была ли таким совершенством, как виделась мне? Может и не была?.. Что мы понимаем в двадцать пять лет?..

Он смотрел в упор на Зою тёмно-коричневыми глазищами:

— Вот вы, например, — что сейчас понимаете в мужчинах? Ни чер-та!

Зоя засмеялась:

— А может быть, как раз понимаю?

— Никак этого не может быть, — продиктовал Костоглотов. — То, что вы под пониманием думаете, — это не понимание. И выйдете замуж — о-бя-за-тельно ошибётесь.

— Перспективка! — покрутила Зоя головой и из той же большой оранжевой сумки достала и развернула вышиванье: небольшой кусочек, натянутый на пальцы, на нём уже вышитый зелёный журавль, а лиса и кувшин только нарисованы.

Костоглотов смотрел, как на диво:

— Вышиваете??

— Чему вы удивляетесь?

— Не представлял, что сейчас, и студентка мединститута — может вынуть рукоделие.

— Вы не видели, как девушки вышивают?

— Кроме, может быть, самого раннего детства. В двадцатые годы. И то уже считалось буржуазным. За это б вас на комсомольском собрании выхлестали.

— Сейчас это очень распространено. А вы не видели?

Он покрутил головой.

— И осуждаете?

— Что вы! Это так мило, уютно. Я люблюсь.

Она клала стежок к стежку, давая ему полюбоваться. Она смотрела в вышивание, а он — на неё. В жёлтом свете лампы отсвечивали призолотой её ресницы. И отзолачивал открытый уголок платья.

— Вы — пчёлка с чёлкой, — прошептал он.

— Как? — Она исподлобья взбросила бровки.

Он повторил.

— Да? — Зоя будто ожидала похвалы и побольше. — А там, где вы живёте, если никто не вышивает, так, может быть, свободно продаются мулине?

— Как-как?

— Му-ли-не. Вот эти нитки — зелёные, синие, красные, жёлтые. У нас очень трудно купить.

— Мулине. Запомню и спрошу. Если есть — обязательно пришло. А если у нас окажутся неограниченные запасы мулине — так может быть, вам проще переехать самой к нам туда?

— А куда это всё-таки — к вам?

— Да можно сказать — на целину.

— Так вы — на целине? Вы — целинник?

— То есть, когда я туда приехал, никто не думал, что целина. А теперь выяснилось, что — целина, и к нам приезжают целинники. Вот будут распределять — проситесь к нам! Наверняка не откажут. К нам — не откажут.

— Неужели у вас так плохо?

— Ничуть. Просто у людей перевёрнуты представления — что хорошо и что плохо. Жить в пятиэтажной клетке, чтоб над твоей головой стучали и ходили, и радио со всех сторон, — это считается хорошо. А жить трудолюбивым земледельцем в глинобитной хатке на краю степи — это считается крайняя неудача.

Он говорил ничуть не в шутку, с той утомлённой убеждённо-стью, когда не хочется даже силой голоса укрепить доводы.

— Но степь или пустыня?

— Степь. Барханов нет. Всё же травка кой-какая. Растёт жанта́к — верблюжья колючка, не знаете? Это — колючка, но в июле на ней розоватые цветы и даже очень тонкий запах. Казахи делают из неё сто лекарств.

— Так это в Казахстане?

— У-гм.

— Как же называется?

— Уш-Терёк.

— Это — аул?

— Да хотите — аул, а хотите — и районный центр. Больница. Только врачей не хватает. Приезжайте.

Он сощурился.

— И больше ничего не растёт?

— Нет, почему же, есть поливное земледелие. Сахарная свёкла, кукуруза. На огородах вообще всё, что угодно. Только трудиться надо много. С кетменём. На базаре у греков всегда молоко, у курдов баранина, у немцев свинина. А какие живописные базары, вы бы видели! Все в национальных костюмах, приезжают на верблюдах.

— Вы — агроном?

— Нет. Землеустроитель.

— А вообще зачем вы там живёте?

Костоглотов почесал нос:

— Мне там климат очень нравится.

— И нет транспорта?

— Да почему, хо-одят машины, сколько хотите.

— Но зачем всё-таки туда поеду я?

Она смотрела искоса. За то время, что они болтали, лицо Костоглотова подобрело и помягчело.

— Вы? — Он поднял кожу со лба, как бы придумывая тост. — А откуда вы знаете, Зоенька, в какой точке земли вы будете счастливы, в какой — несчастливы? Кто скажет, что знает это о себе?

4

Хирургическим больным, то есть тем, чью опухоль намечено было пресекать операцией, не хватало места в палатах нижнего этажа, и их клали также наверху, вперемежку с «лучевыми», кому назначалось облучение или химия. Поэтому наверху каждое утро шло два обхода: лучевики смотрели своих больных, хирурги — своих.

Но четвёртого февраля была пятница, операционный день, и хирурги обхода не делали. Доктор же Вера Корнильевна Гангарт, лечащий врач лучевых, после пятиминутки тоже не пошла сразу обходить, а лишь, поравнявшись с дверью мужской палаты, заглянула туда.

Доктор Гангарт была невысока и очень стройна — казалась очень стройной оттого, что у неё подчёркнуто узко сходилась в пояском перехвате. Волосы её, немодно положенные узлом на затылок, были светлее чёрных, но и темней тёмно-русых — те, при которых нам предлагают невразумительное слово «шатенка», а сказать бы: чёрно-русые — между чёрными и русыми.

Её заметил Ахмаджан и закивал радостно. И Костоготов успел поднять голову от большой книги и поклониться издали. И она обоим им улыбнулась и подняла палец, как предупреждают детей, чтоб сидели без неё тихо. И тут же, уклоняясь от дверного проёма, ушла.

Сегодня она должна была обходить палаты не одна, а с заведующей лучевым отделением Людмилой Афанасьевной Донцовой, но Людмилу Афанасьевну вызвал и задерживал Низамутдин Бахрамович, главврач.

Только в эти дни своих обходов, раз в неделю, Донцова жертвовала рентгенодиагностикой. Обычно же два первых лучших утренних часа, когда острее всего глаз и яснее ум, она сидела со своим очередным ординатором перед экраном. Она считала это самой сложной частью своей работы и более чем за двадцать лет её поняла, как дорого обходятся ошибки именно в диагнозе. У неё в отделении было три врача, все молодые женщины, и, чтобы опыт каждой из них был равномерен и ни одна не отставала бы от диагностики, Донцова кругообразно сменяла их, держа по три месяца на первичном амбулаторном приёме, в рентгенодиагностическом кабинете и лечащим врачом в клинике.

У доктора Гангарт шёл сейчас этот третий период. Самым главным, опасным и наименее исследованным здесь было — следить за верною дозировкой облучения. Не было такой формулы, по которой можно было бы рассчитать интенсивности и дозы облучений, самые смертоносные для каждой опухоли, самые безвредные для остального тела. Формулы не было, а был — некий опыт, некое чутьё и возможность сверяться с состоянием больного. Это тоже была операция — но лучом, вслепую и растянутая во времени. Невозможно было не ранить и не губить здоровых клеток.

Остальные обязанности лечащего врача требовали только методичности: вовремя назначать анализы, проверять их и делать записи в тридцати историях болезни. Никакой врач не любит испускать разграфлённые бланки, но Вера Корнильевна примирялась с ними за то, что эти три месяца у неё были свои больные — не бледное сплетение светов и теней на экране, а свои живые постоянные люди, которые верили ей, ждали её голоса и взгляда. И когда ей приходилось передавать обязанности лечащего врача, ей всегда было жалко расставаться с теми, кого она не долечила.

Дежурная медсестра, Олимпиада Владиславовна, пожилая, седоватая, очень осанистая женщина, с виду солиднее иных врачей, объявила по палатам, чтобы лучевые не расходились. Но в большой женской палате только как будто и ждали этого объявления — сейчас же одна за другой женщины в однообразных серых халатах потянулись на лестницу и куда-то вниз: посмотреть, не пришёл ли сметанный дед; и не пришла ли та бабка с молоком; заглядывать с крыльца клиники в окна операционной (поверх забеленной нижней части видны были шапочки хирургов и сестёр и яркие верхние лампы); и вымыть банку над раковинной; и кого-то навестить.

Не только их операционная судьба, но ещё эти серые бумазейные обтрепавшиеся халаты, неопрятные на вид, даже когда они были вполне чисты, отъединяли, отрывали женщин от их женской доли и женского обаяния. Покрой халатов был никакой: они были все просторны так, чтоб любая толстая женщина могла в любой запахнуться, и рукава шли безформенными широкими трубами. Белорозовые полосатые курточки мужчин были гораздо аккуратнее, женщинам же не выдавали платья, а только — эти халаты, лишённые петель и пуговиц. Одни подшивали их, другие — удлинляли, все однообразно затягивали бумазейные пояса, чтоб не обнажать сорочек, и так же однообразно стягивали рукою полы на груди.

Угнетённая болезнью и убогая в таком халате, женщина не могла обрадовать ничего взглядом и понимала это.

А в мужской палате все, кроме Русанова, ждали обхода спокойно, малоподвижно.

Старый узбек, колхозный сторож Мурсалимов, лежал, вытянувшись на спине поверх застеленной постели, как всегда в своей вытертой-перевытертой тубетейке. Он уж тому, должно быть, рад был, что кашель его не рвал. Он сложил руки на задышливой груди и смотрел в одну точку потолка. Его тёмно-бронзовая кожа обтягивала почти череп: видны были реберки носовой кости, скулы, острая подбородочная кость за клинышком бородки. Уши его утончились и были совсем плоские хрящики. Ему уже немного оставалось досохнуть и дотемнеть до мумии.

Рядом с ним средолетний казах чабан Егенбердиев на своей кровати не лежал, а сидел, поджав ноги накрест, будто дома у себя на кошме. Ладонями больших сильных рук он держался за круглые большие колени — и так жёстко сцеплено было его тугое ядрёное тело, что если он и чуть покачивался иногда в своей неподвижности, то лишь как заводская труба или башня. Его плечи и спина распирали курточку, и манжеты её едва не рвались на мускулистых предлокотьях. Небольшая язвочка на губе, с которой он приехал в эту больницу, здесь под трубками обратилась в большой тёмно-багровый струп, который заслонял ему рот и мешал есть и пить. Но он не метался, не суетился, не кричал, а мерно и дочиста выедал из тарелок и вот так спокойно часами мог сидеть, смотря никуда.

Дальше, на придверной койке, шестнадцатилетний Дёма вытянул больную ногу по кровати и всё время чуть поглаживал, массировал грызущее место голени ладонью. А другую ногу он поджал, как котёнок, и читал, ничего не замечая. Он вообще читал всё то время, что не спал и не проходил процедур. В лаборатории, где делались все анализы, у старшей лаборантки был шкаф с книгами, и уже Дёма туда был допущен и менял себе книги сам, не дожидаясь, пока обменяют всей палате. Сейчас он читал журнал в синеватой обложке, но не новый, а потрёпанный и выгоревший на солнце — новых не было в шкафу лаборантки.

И Прошка, добросовестно, без морщин и ямок застав свою койку, сидел чинно, терпеливо, спустив ноги на пол, как вполне здоровый человек. Он и был вполне здоров — в палате ни на что не жаловался, не имел никакого наружного поражения, щёки были

налиты здоровою смуглостью, а по лбу — выложен гладкий чубчик. Парень он был хоть куда, хоть на танцы.

Рядом с ним Ахмаджан, не найдя с кем играть, положил на одеяло шашечную доску углом и играл сам с собой в уголки.

Ефрем в своей бинтовой, как броневой, обмотке, с некрутящейся головой, не топал по проходу, не нагонял тоски, а, подмостясь двумя подушками повыше, без отрыва читал книгу, навязанную ему вчера Костогловым. Правда, страницы он переворачивал так редко, что можно было подумать — дремлет с книгой.

А Азовкин всё так же мучился, как и вчера. Он, может быть, и совсем не спал. По подоконнику и тумбочке были разбросаны его вещи, постель вся сбита. Лоб и виски его пробивала испарина, по жёлтому лицу переходили все те искорчины болей, которые он ощущал внутри. То он становился на пол, локтями упирался в кровать и стоял так, согнутый. То брался обеими руками за живот и складывался в животе. Он уже много дней в комнате не отвечал на вопросы, ничего о себе не говорил. Речь он тратил только на выпрашивание лишних лекарств у сестёр и врачей. И когда приходили к нему на свидание домашние, он посылал их покупать ещё этих лекарств, какие видел здесь.

За окном был пасмурный, безветренный, безцветный день. Костоглов, вернувшись с утреннего рентгена и не спросив Павла Николаевича, отворил над собой форточку, и оттуда тянуло сыростью, правда не холодным.

Опасаясь простудить опухоль, Павел Николаевич обмотал шею и отсел к стене. Какие-то тупые все, покорные, полубрёвна! Кроме Азовкина, здесь, видимо, никто не страдает по-настоящему. Как сказал, кажется, Горький, только тот достоин свободы, кто за неё идёт на бой. Так — и выздоровления. Павел-то Николаевич уже предпринял утром решительные шаги. Едва открылась регистратура, он пошёл позвонил домой и сообщил жене ночное решение: через все каналы добиваться направления в Москву, а здесь не рисковать, себя не губить. Капа — пробивная, она уже действует. Конечно, это было малодушие: испугаться опухоли и лечь сюда. Ведь это только кому сказать — растёт ли его опухоль. Никто не дал лекарства. Повесили температурный листок для дураков. Не-ет, лечебные учреждения у нас ещё надо подтягивать и подтягивать.

Наконец появились врачи — но опять не вошли в комнату: остановились там, за дверью, и изрядно постояли около Сибгатова.

Он открывал спину и показывал им. (Тем временем Костоготов спрятал свою книгу под матрас.)

Но вот вошли и в палату — доктор Донцова, доктор Гангарт и осанистая седая сестра с блокнотом в руках и полотенцем на локте. Вход нескольких сразу белых халатов вызывает всегда прилив внимания, страха и надежды — и тем сильнее все три чувства, чем белее халаты и шапочки, чем строже лица. Тут строже и торжественней всех держалась сестра, Олимпиада Владиславовна: для неё обход был как для дьякона богослужение. Это была та сестра, для которой врачи — выше простых людей, которая знает, что врачи всё понимают, никогда не ошибаются, не дают неверных назначений. И всякое назначение она вписывает в свой блокнот с ощущением почти счастья, как молодые сёстры уже не делают.

Однако, и войдя в палату, врачи не поспешили к койке Русанова! Людмила Афанасьевна — крупная женщина с простыми крупными чертами лица, с уже пепелистыми, но стриженными и подвитыми волосами — сказала общее негромкое «здравствуйте» и у первой же койки, около Дёмы, остановилась, изучающе глядя на него.

— Что читаешь, Дёма?

(Не могла найти вопроса поумней! В служебное время!)

По привычке многих, Дёма не назвал, а вывернул и показал голубоватую поблекшую обложку журнала. Донцова сощурилась.

— Ой, старый какой, позапрошлого года. Зачем?

— Здесь — статья интересная, — значительно сказал Дёма.

— О чём же?

— Об *искренности!* — ещё выразительней ответил он. — О том, что литература без искренности...

Он спускал больную ногу на пол, но Людмила Афанасьевна быстро его предупредила:

— Не надо! Закаати.

Он закатил штанину, она присела на его кровать и осторожно, издали, несколькими пальцами стала прощупывать ногу.

Вера Корнильевна, позади неё опершись о кроватную спинку и глядя ей через плечо, сказала негромко:

— Пятнадцать сеансов, три тысячи «эр».

— Здесь больно?

— Больно.

— А здесь?

— Ещё и дальше больно.

— А почему ж молчишь? Герой какой! Ты мне говори, откуда больно.

Она медленно выщупывала границы.

— А само болит? Ночью?

На чистом дёмином лице ещё не росло ни волоска. Но постоянно напряжённое выражение очень взросло его.

— И день и ночь грызёт.

Людмила Афанасьевна переглянулась с Гангарт.

— Ну всё-таки, как ты замечаешь — за это время стало сильнее грызть или слабей?

— Не знаю. Может, немного полегче. А может — кажется.

— Кровь, — попросила Людмила Афанасьевна, и Гангарт уже протягивала ей историю болезни. Людмила Афанасьевна почитала, посмотрела на мальчика.

— Appetit есть?

— Я всю жизнь ем с удовольствием, — ответил Дёма с важностью.

— Он стал у нас получать дополнительное, — голосом няни, нараспев, ласково вставила Вера Корнильевна и улыбнулась Дёме. И он ей. — Трансфузия? — тут же тихо, отрывисто спросила Гангарт у Донцовой, беря назад историю болезни.

— Да. Так что ж, Дёма? — Людмила Афанасьевна изучающе смотрела на него опять. — Рентген продолжим?

— Конечно продолжим! — осветился мальчик.

И благодарно смотрел на неё.

Он так понимал, что это — вместо операции. И ему казалось, что Донцова тоже так понимает. (А Донцова-то понимала, что, прежде чем оперировать саркому кости, надо подавить её активность рентгеном и тем предотвратить метастазы.)

Егенбердиев уже давно приготовился, насторожился и, как только Людмила Афанасьевна встала с соседней койки, поднялся в рост в проходе, выпятил грудь и стоял по-солдатски.

Донцова улыбнулась ему, приблизилась к его губе и рассматривала струп. Гангарт тихо читала ей цифры.

— Ну! Очень хорошо! — громче, чем надо, как всегда говорят с иноязычными, ободряла Людмила Афанасьевна. — Всё идёт хорошо, Егенбердиев! Скоро домой пойдёшь!

Ахмаджан, уже зная свои обязанности, перевёл по-узбекски (они с Егенбердиевым понимали друг друга, хотя каждому язык другого казался искажённым).

Егенбердиев с надеждой, с доверием и даже восторженно уставился в Людмилу Афанасьевну, — с тем восторгом, с которым эти простые души относятся к подлинно образованным и подлинно полезным людям. Но всё же провёл рукой около своего ступа и спросил.

— А стало — больше? раздулось? — перевёл Ахмаджан.

— Это всё отвалится! Так быть должно! — усиленно громко вговаривала ему Донцова. — Всё отвалится! Отдохнёшь три месяца дома — и опять к нам!

Она перешла к старику Мурсалимову. Он уже сидел, спустив ноги, и сделал попытку встать навстречу ей, но она удержала его и села рядом. С той же верой в её всемогущество смотрел на неё и этот высохший бронзовый старик. Она через Ахмаджана спрашивала его о кашле и велела закатить рубашку, подавливала грудь, где ему больно, и выстукивала рукою через другую руку, тут же слушала Веру Корнильевну о числе сеансов, крови, уколах и молча сама смотрела в историю болезни. Когда-то было всё нужное, всё на месте в здоровом теле, а сейчас всё было лишнее и выпирало — какие-то узлы, углы...

Донцова назначила ему ещё другие уколы и попросила показать из тумбочки таблетки, какие он пьёт.

Мурсалимов вынул пустой флакон из-под поливитаминов. «Когда купил?» — спрашивала Донцова. Ахмаджан перевёл: третьего дня. «А где же таблетки?» — Выпил.

— Как выпил?? — изумилась Донцова. — Сразу все?

— Нет, за два раза, — перевёл Ахмаджан.

Расхохотались врачи, сестра, русские больные, Ахмаджан, и сам Мурсалимов приоткрыл зубы, ещё не понимая.

И только Павла Николаевича их бессмысленный, несвоевременный смех наполнял негодованием. Ну, сейчас он их отрезвит! Он выбирал позу, как лучше встретить врачей, и решил, что полужёла больше подчеркнёт.

— Ничего, ничего! — ободрила Донцова Мурсалимова. И, назначив ему ещё витамин «С», обтерев руки о полотенце, истово подставленное сестрой, с озабоченностью повернулась перейти к следующей койке. Теперь, обращённая к окну и близко к нему, она сама выказывала нездоровый сероватый цвет лица и глубоко-усталое, едва ли не больное выражение.

Лысый, в тубетейке и в очках, строго сидящий в постели, Павел Николаевич почему-то напоминал учителя, да не какого-нибудь,

а заслуженного, выращившего сотни учеников. Он дождался, когда Людмила Афанасьевна подошла к его кровати, поправил очки и объявил:

— Так, товарищ Донцова. Я вынужден буду говорить в минздраве о порядках в этой клинике. И звонить товарищу Остапенко.

Она не вздрогнула, не побледнела, может быть землистее стал цвет её лица. Она сделала странное одновременное движение плечами — круговое, будто плечи устали от лямок и нельзя было дать им свободу.

— Если вы имеете лёгкий доступ в минздрав, — сразу согласилась она, — и даже можете звонить товарищу Остапенко, я добавлю вам материала, хотите?

— Да уж добавлять некуда! Такое равнодушие, как у вас, ни в какие ворота не лезет! Я восемнадцать часов здесь! — а меня никто не лечит! А между тем я...

(Не мог он ей больше высказать! Сама должна была понимать!)

Все в комнате молчали и смотрели на Русанова. Кто принял удар, так это не Донцова, а Гангарт — она сжала губы в ниточку и схмурилась, и лоб стянула, как будто непоправимое видела и не могла остановить.

А Донцова, нависая над сидящим Русановым, крупная, не дала себе воли даже нахмуриться, только плечами ещё раз кругоподобно провела и сказала уступчиво, тихо:

— Вот я пришла вас лечить.

— Нет, уж теперь поздно! — обрезал Павел Николаевич. — Я посмотрелся здешних порядков — и ухожу отсюда. Никто не интересуется, никто диагноза не ставит!

Его голос непредусмотренно дрогнул. Потому что действительно было обидно.

— Диагноз вам поставлен, — размеренно сказала Донцова, обеими руками держась за спинку его кровати. — И вам некуда идти больше, с этой болезнью в нашей республике вас нигде больше не возьмутся лечить.

— Но ведь вы сказали — у меня не рак?!.. Тогда объявите диагноз!

— Вообще мы не обязаны называть больным их болезнь. Но, если это облегчит ваше состояние, извольте: лимфогранулематоз.

— Так, значит, не рак!!

— Конечно, нет. — Даже естественного озлобления от спора не было в её лице и голосе. Ведь она видела его опухоль в кулак под челюстью. На кого ж было сердиться? — на опухоль? — Вас никто

не неволил ложиться к нам. Вы можете выписаться хоть сейчас. Но помните... — Она поколебалась. Она примирительно предупредила его: — Умирают ведь не только от рака.

— Вы что — запугать меня хотите?! — вскрикнул Павел Николаевич. — Зачем вы меня пугаете? Это не методически! — ещё бойко резал он, но при слове «умирают» всё охолодело у него внутри. Уже мягче он спросил: — Вы что, хотите сказать, что со мной так опасно?

— Если вы будете переезжать из клиники в клинику — конечно. Снимите-ка шарфик. Встаньте, пожалуйста.

Он снял шарфик и стал на пол. Донцова начала бережно опухывать его опухоль, потом и здоровую половину шеи, сравнивая. Попросила его сколько можно запрокинуть голову назад (не так-то далеко она и запрокинулась, сразу потянула опухоль), сколько можно наклонить вперёд, повернуть налево и направо.

Вот оно как! — голова его, оказывается, уже почти не имела свободы движения — той лёгкой изумительной свободы, которую мы не замечаем, обладая ею.

— Куртку снимите, пожалуйста.

Куртка его зелёно-коричневой пижамы расстёгивалась крупными пуговицами и не была тесна, и кажется бы, нетрудно было её снять, но при вытягивании рук отдалось в шее, и Павел Николаевич простонал. О, как далеко зашло дело!

Седая осанистая сестра помогла ему выпутаться из рукавов.

— Под мышками вам не больно? — спрашивала Донцова. — Ничто не мешает?

— А что, и там может заболеть? — Голос Русанова совсем упал и был ещё тише теперь, чем у Людмилы Афанасьевны.

— Поднимите руки в стороны! — И сосредоточенно, остро давя, щупала у него под мышками.

— А в чём будет лечение? — спросил Павел Николаевич.

— Я вам говорила: в уколах.

— Куда? Прямо в опухоль?

— Нет, внутривенно.

— И часто?

— Три раза в неделю. Одевайтесь.

— А операция — невозможна?

(Он спрашивал — «невозможна?» — но больше всего боялся именно лечь на стол. Как всякий больной, он предпочитал любое другое долгое лечение.)

— Операция бессмысленна. — Она вытирала руки о подставленное полотенце.

И хорошо, что бессмысленна! Павел Николаевич соображал. Всё-таки надо посоветоваться с Капой. Обходные хлопоты тоже не просты. Влияния-то нет у него такого, как хотелось бы, как он здесь держался. И позвонить товарищу Остапенко совсем не было просто.

— Ну хорошо, я подумаю. Тогда завтра решим?

— Нет, — неумолимо приговорила Донцова. — Только сегодня. Завтра мы укола делать не можем, завтра суббота.

Опять правила! Как будто не для того пишутся правила, чтоб их ломать!

— Почему это вдруг в субботу нельзя?

— А потому что за вашей реакцией надо хорошо следить — в день укола и в следующий. А в воскресенье это невозможно.

— Так что, такой серьёзный укол?..

Людмила Афанасьевна не отвечала. Она уже перешла к Костоглову.

— Ну а если до понедельника?..

— Товарищ Русанов! Вы упрекнули, что восемнадцать часов вас не лечат. Как же вы соглашаетесь на семьдесят два? — (Она уже победила, уже давила его колёсами, и он ничего не мог!..) — Мы или берём вас на лечение или не берём. Если да, то сегодня в одиннадцать часов дня вы получите первый укол. Если нет — вы распишетесь, что отказываетесь от нашего лечения, и сегодня же я вас выпишу. А три дня ждать в бездействии мы не имеем права. Пока я кончу обход в этой комнате — продумайте и скажите.

Русанов закрыл лицо руками.

Гангарт, глухо затянутая халатом почти под горло, беззвучно миновала его. И Олимпиада Владиславовна проплыла мимо, как корабль.

Донцова устала от спора и надеялась у следующей кровати порадоваться. И она и Гангарт уже заранее чуть улыбались.

— Ну, Костоглов, а что скажете вы?

Костоглов, немного пригладивший вихры, ответил громко, уверенно, голосом здорового человека:

— Великолепно, Людмила Афанасьевна! Лучше не надо!

Врачи переглянулись. У Веры Корнильевны губы лишь чуть улыбались, а зато глаза — просто смеялись от радости.

— Ну всё-таки, — Донцова присела на его кровать. — Опишите словами — что вы чувствуете? Что за это время изменилось?

— Пожалуйста! — охотно взялся Костоглотов. — Боли у меня ослабились после второго сеанса, совсем исчезли после четвёртого. Тогда же упала и температура. Сплю я сейчас великолепно, по десять часов, в любом положении, — и не болит. А раньше я такого положения найти не мог. На еду я смотреть не хотел, а сейчас всё подбираю и ещё добавки прошу. И не болит.

— И не болит? — рассмеялась Гангарт.

— А — дают? — смеялась Донцова.

— Иногда. Да вообще о чём говорить? — у меня просто изменилось мироощущение. Я приехал вполне мертвец, а сейчас я живой.

— И тошноты не бывает?

— Нет.

Донцова и Гангарт смотрели на Костоглотова и сияли — так, как смотрит учитель на выдающегося отличника: больше гордясь его великолепным ответом, чем собственными знаниями и опытом. Такой ученик вызывает к себе привязанность.

— А опухоль ощущаете?

— Она мне уже теперь не мешает.

— Но ощущаете?

— Ну, когда вот ложусь — чувствую лишнюю тяжесть, вроде бы даже перекатывается. Но не мешает! — настаивал Костоглотов.

— Ну, лягте.

Костоглотов привычным движением (его опухоль за последний месяц щупали в разных больницах многие врачи и даже практиканты, и звали из соседних кабинетов щупать, и все удивлялись) поднял ноги на койку, подтянул колени, лёг без подушки на спину и обнажил живот. Он сразу почувствовал, как эта внутренняя жаба, спутница его жизни, прилегла там где-то глубоко и подавливала.

Людмила Афанасьевна сидела рядом и мягкими круговыми приближениями подбиралась к опухоли.

— Не напрягайтесь, не напрягайтесь, — напоминала она, хотя и сам он знал, но произвольно напряглся в защиту и мешал щупать. Наконец, добившись мягкого доверчивого живота, она ясно ощутила в глубине, за желудком, край его опухоли и пошла по всему контуру сперва мягко, второй раз жёстче, третий — ещё жёстче.

Гангарт смотрела через её плечо. И Костоглотов смотрел на Гангарт. Она очень располагала. Она хотела быть строгой — и не могла: быстро привыкала к больным. Она хотела быть взрослой — и тоже не получалось: что-то было в ней девчёнчье.

— Отчётливо пальпируется по-прежнему, — установила Людмила Афанасьевна. — Стала площе, это безусловно. Отошла вглубь, освободила желудок, и вот ему не больно. Помягчела. Но контур — почти тот же. Вы посмóтрите?

— Да нет, я каждый день, надо с перерывами. РОЭ — двадцать пять, лейкоцитов — пять восемьсот, сегментных... Ну, посмотрите сами...

Русанов поднял голову из рук и шёпотом спросил у сестры:

— А — уколы? Очень болезненно?

Костоготов тоже дознавался:

— Людмила Афанасьевна! А сколько мне ещё сеансов?

— Этого сейчас нельзя посчитать.

— Ну, всё-таки. Когда примерно вы меня выпишете?

— Что??? — Она подняла голову от истории болезни. — О чём вы меня спросили??

— Когда вы меня выпишете? — так же уверенно повторил Костоготов. Он обнял колени руками и имел независимый вид.

Никакого любования отличником не осталось во взгляде Донцовой. Был трудный пациент с закоренело-упрямым выражением лица.

— Я вас только *начинаю* лечить! — осадил она его. — Начинаю с завтрашнего дня. А это всё была лёгкая пристрелка.

Но Костоготов не пригнулся.

— Людмила Афанасьевна, я хотел бы немного объясниться. Я понимаю, что я ещё не излечен, но я не претендую на полное излечение.

Ну, выдались больные! — один лучше другого. Людмила Афанасьевна насупилась, вот когда она сердилась:

— Что вообще вы говорите? Вы — нормальный человек или нет?

— Людмила Афанасьевна, — спокойно отвёл Костоготов большой рукой, — дискуссия о нормальности и ненормальности современного человека завела бы нас очень далеко... Я сердечно вам благодарен, что вы меня привели в такое приятное состояние. Теперь я хочу в нём немножечко пожить. А что будет от дальнейшего лечения — я не знаю. — По мере того как он это говорил, у Людмилы Афанасьевны выворачивалась в нетерпении и возмущении нижняя губа. У Гангарт задёрнулись брови, глаза её переходили с одного на другую, ей хотелось вмешаться и смягчить. Олимпиада Владиславовна смотрела на бунтаря надменно. — Одним словом, я не хотел

бы платить слишком большую цену сейчас за надежду пожить когда-нибудь. Я хочу положиться на защитные силы организма...

— Вы со своими защитными силами организма к нам в клинику на четвереньках приползли! — резко отповедала Донцова и поднялась с его кровати. — Вы даже не понимаете, чем вы играете! Я с вами и разговаривать не буду!

Она взмахнула рукой по-мужски и отвернулась к Азовкину, но Костоготов с подтянутыми по одеялу коленями смотрел непримиримо, как чёрный пёс:

— А я, Людмила Афанасьевна, прошу вас поговорить! Вас, может быть, интересует эксперимент, чем это кончится, а мне хочется пожить покойно. Хоть годик. Вот и всё.

— Хорошо, — бросила Донцова через плечо. — Вас вызовут.

Раздосадованная, она смотрела на Азовкина, ещё никак не переключаясь на новый голос и новое лицо.

Азовкин не вставал. Он сидел, держась за живот. Он поднял только голову навстречу врачам. Его губы не были сведены в один рот, а каждая губа выражала своё отдельное страдание. В его глазах не было никакого чувства, кроме мольбы — мольбы к глухим о помощи.

— Ну что, Коля? Ну как? — Людмила Афанасьевна обняла его с плеча на плечо.

— Пло-хо, — ответил он очень тихо, одним ртом, стараясь не выталкивать грудью воздух, потому что всякий толчок лёгкими сразу же отдавался к животу на опухоль.

Полгода назад он шёл с лопатой через плечо во главе комсомольского воскресника и пел во всю глотку — а сейчас даже о боли своей не мог рассказать громче шёпота.

— Ну, давай, Коля, вместе подумаем, — так же тихо говорила Донцова. — Может быть, ты устал от лечения? Может быть, тебе больничная обстановка надоела? Надоела?

— Да...

— Ты ведь здешний. Может, дома отдохнёшь? Хочешь?.. Выпишем тебя на месяц, на полтора?

— А потом... примете?..

— Ну конечно примем. Ты ж теперь наш. Отдохнёшь от укулов. Вместо этого купишь в аптеке лекарство и будешь класть под язык три раза в день.

— Синэстрол?..

— Да.

Донцова и Гангарт не знали: все эти месяцы Азовкин фанатично вымаливал у каждой заступающей сестры, у каждого ночного дежурного врача лишнее снотворное, лишнее болеутоляющее, всякий лишний порошок и таблетку, кроме тех, которыми его кормили и кололи по назначению. Этим запасом лекарств, набитой матерчатой сумочкой, Азовкин готовил себе спасение вот на этот день, когда врачи откажутся от него.

— Отдохнуть тебе надо, Коленька... Отдохнуть...

Было очень тихо в палате, и тем слышней, как Русанов вздохнул, выдвинул голову из рук и объявил:

— Я уступаю, доктор. Колите!

5

Как это называется? — расстроена? угнетена? — какой-то невидимый, но плотный тяжёлый туман входит в грудь, а всё наше облегает и сдавливает к середине. И мы чувствуем только это сжатие, эту мусть, не сразу даже понимаем, что именно нас так утеснило.

Вот это чувствовала Вера Корнильевна, кончая обход и спускаясь вместе с Донцовой по лестнице. Ей было очень нехорошо.

В таких случаях помогает вслушаться и разобраться: отчего это всё? И выставить что-то в заслон.

Вот что было: была боязнь за маму — так звали между собой Людмилу Афанасьевну три её ординатора-лучевика. Мамой она приходилась им и по возрасту — им всем близ тридцати, а ей под пятьдесят; и по тому особенному рвению, с которым натаскивала их на работу: она сама была старательна до въедливости и хотела, чтоб ту же старательность и въедливость усвоили все три «дочери»; она была из последних, ещё охватывающих и рентгенодиагностику и рентгенотерапию, и, вопреки направлению времени и дроблению знаний, добивалась, чтоб её ординаторы тоже удержали обе. Не было секрета, который она таила бы для себя и не поделилась. И когда Вера Гангарт то в одном, то в другом оказывалась живой и острей её, то «мама» только радовалась. Вера работала у неё уже восемь лет, от самого института, — и вся сила, которую она в себе теперь чувствовала, сила вытягивать умоляющих людей из запахнувшей их смерти, — вся произошла от Людмилы Афанасьевны.

Этот Русанов мог причинить «маме» тягучие неприятности. Мудрено голову приставить, а срубить не мудрено.

Да если бы только один Русанов! Это мог сделать любой больной с жесточённым сердцем. Ведь всякая травля, однажды кликнутая, — она не лежит, она бежит. Это — не след по воде, это борозда по памяти. Можно её потом заглаживать, песочком засыпать, — но крикни опять кто-нибудь хоть спьяну: «бей врачей!» или «бей инженеров!» — и палки уже при руках.

Ключки подозрений остались там и сям, проносятся. Совсем недавно лежал в их клинике по поводу опухоли желудка шофёр МГБ. Он был хирургический, Вера Корнильевна не имела к нему никакого отношения, но как-то дежурила ночью и делала вечерний обход. Он жаловался на плохой сон. Она назначила ему бромурал, но, узнав от сестры, что мелка расфасовка, сказала: «Дайте ему два порошка сразу!» Больной взял, Вера Корнильевна даже не заметила особенного его взгляда. И так бы не узналось, но лаборантка их клиники была этому шофёру соседка по квартире и навещала его в палате. Она прибежала к Вере Корнильевне взволнованная: шофёр не выпил порошков (почему два сразу?), он не спал ночь, а теперь выпрашивал лаборантку: «Почему её фамилия Гангарт? Расскажи о ней поподробней. Она отравить меня хотела. Надо ею заняться».

И несколько недель Вера Корнильевна ждала, что ею *займутся*. И все эти недели она должна была неуклонно, неосшибочно и даже со вдохновением ставить диагнозы, безупречно отмерять дозы лечения и взглядом и улыбкой подбадривать больных, попавших в этот пресловутый раковый круг, и от каждого ожидать взгляда: «А ты не отравительница?»

Вот ещё что сегодня было особенно тяжело на обходе: что Костоглотов, один из самых успешливых больных и к которому Вера Корнильевна была особенно почему-то добра, — Костоглотов именно так и спросил «маму», подзревая какой-то злой эксперимент над собой.

Шла удручённая с обхода и Людмила Афанасьевна и тоже вспоминала неприятный случай — с Полиной Заводчиковой, скандальнейшей бабой. Не сама она была больна, но сын её, а она лежала с ним в клинике. Ему вырезали внутреннюю опухоль — и она напала в коридоре на хирурга, требуя выдать ей кусочек опухоли сына. И не будь это Лев Леонидович, пожалуй бы и получила. А дальше у неё была идея — отнести этот кусочек в другую клинику, там

проверить диагноз, и если не сойдётся с первоначальным диагнозом Донцовой, то вымогать деньги или в суд подавать.

Не один такой случай был на памяти у каждой из них.

Теперь, после обхода, они шли договорить друг с другом то, чего нельзя было при больных, и принять решения.

С помещениями было скудно в Тринадцатом корпусе, и не находилось комнатки для врачей лучевого отделения. Они не помещались ни в операторской «гамма-пушки», ни в операторской длиннофокусных рентгеновских установок на сто двадцать и двести тысяч вольт. Было место в рентгенодиагностическом, но там постоянно темно. И поэтому свой стол, где они разбирались с текущими делами, писали истории болезни и другие бумаги, они держали в лечебном кабинете короткофокусных рентгеновских установок — как будто мало им было за годы и годы их работы тошнотного рентгеновского воздуха с его особенным запахом и разогревом.

Они пришли и сели рядом за большой этот стол без ящиков, грубо остроганный. Вера Корнильевна перекладывала карточки стационара — женские и мужские, разделяя, какие она сама обрабатывает, а о каких надо решить вместе. Людмила Афанасьевна угрюмо смотрела перед собой в стол, чуть выкатив нижнюю губу и постукивая карандашиком.

Вера Корнильевна с участием взглядывала на неё, но не решалась сказать ни о Русанове, ни о Костоглотове, ни об общей врачебной судьбе — потому что понятное повторять ни к чему, а высказаться можно недостаточно тонко, недостаточно осторожно и только задеть, не утешить.

А Людмила Афанасьевна сказала:

— Как же это бесит, что мы бессильны, а?! — (Это могло быть о многих, осмотренных сегодня.) Ещё постукала карандашиком. — Но ведь нигде ошибки не было. — (Это могло быть об Азовкине, о Мурсалимове.) — Мы когда-то шатнулись в диагнозе, но лечили верно. И меньшей дозы мы дать не могли тоже. Нас погубила бочка.

Вот как! — она думала о Сибгатове! Бывают же такие неблагодарные болезни, что тратишь на них утроенную изобретательность, а спасти больного нет сил. Когда Сибгатова впервые принесли на носилках, рентгенограмма показала полное разрушение почти всего крестца. Шатание было в том, что даже с консультацией профессора признали саркому кости, и лишь потом постепенно

выявили, что это была гигантоклеточная опухоль, когда в кости появляется жижка и вся кость заменяется желеподобной тканью. Однако лечение совпало.

Крестец нельзя отнять, нельзя выпилить — это камень, положенный во главу угла. Оставалось — рентгенооблучение, и обязательно сразу большими дозами — меньшие не могли помочь. И Сибгатов выздоровел! — крестец укрепился. Он выздоровел, но от бычьих доз рентгена все окружающие ткани стали непомерно чувствительны и расположены к образованию новых злокачественных опухолей. И так от ушиба у него вспыхнула трофическая язва. И сейчас, когда уже кровь его и ткани его отказывались принять рентген, — сейчас бушевала новая опухоль, и нечем было её сбить, её только держали.

Для врача это было сознание бессилия, несовершенства методов, а для сердца — жалость, самая обыкновенная жалость: вот есть такой кроткий, вежливый, печальный татарин Сибгатов, так способный к благодарности, но всё, что можно для него сделать, это — продлить его страдания.

Сегодня утром Низамутдин Бахрамович вызывал Донцову по специальному этому поводу: ускорить оборачиваемость коек, а для того во всех неопределённых случаях, когда не обещается решительное улучшение, больных выписывать. И Донцова была согласна с этим: ведь в приёмном вестибюле у них постоянно сидели ожидающие, даже по несколько суток, а из районных онкопунктов шли просьбы разрешить прислать больного. Она была согласна в принципе, и никто, как Сибгатов, так ясно не подпадал под этот принцип, — а вот выписать его она не могла. Слишком долгая изнурительная борьба велась за этот один человеческий крестец, чтоб уступить теперь простому разумному рассуждению, чтоб отказаться даже от простого повторения ходов с ничтожной надеждой, что ошибётся всё-таки смерть, а не врач. Из-за Сибгатова у Донцовой даже изменилось направление научных интересов: она углубилась в патологию костей из одного порыва — спасти Сибгатова. Может быть, в приёмной сидели больные с меньшей нуждой — а вот она не могла отпустить Сибгатова и будет хитрить перед главврачом, сколько сможет.

И ещё настаивал Низамутдин Бахрамович не задерживать обречённых. Смерть их должна происходить по возможности вне клиники — это тоже увеличит оборачиваемость коек, и меньше угнетения будет оставшимся, и улучшится статистика, потому

что они будут выписаны не по причине смерти, а лишь «с ухудшением».

По этому разряду и выписывался сегодня Азовкин. Его история болезни, за месяцы превратившаяся уже в толстую тетрадочку из коричневатых склеенных листиков с грубой выделкой, со встрявшими белесоватыми кусочками древесины, задирающими перо, содержала много фиолетовых и синих цифр и строчек. И оба врача видели сквозь эту подклеенную тетрадочку вспотевшего от страданий городского мальчика, как он сживал на койке, сложенный в погибель, но читаемые тихим мягким голосом цифры были немолимее раскатов трибунала, и обжаловать их не мог никто. Тут было двадцать шесть тысяч «эр» облучения, из них двенадцать тысяч в последнюю серию, пятьдесят инъекций синэстрола, семь трансфузий крови — и всё равно лейкоцитов только три тысячи четыреста, эритроцитов... Метастазы рвали оборону, как танки, они уже твердели в средостении, появились в лёгких, уже воспаляли узлы над ключицами, но организм не давал помощи, чем их остановить.

Врачи переглядывали и дописывали отложенные карточки, а сестра-рентгенолаборант тут же продолжала процедуры для амбулаторных. Вот она ввела четырёхлетнюю девочку в синем платице, с матерью. У девочки на лице были красные сосудистые опухолёчки, они ещё были малы, они ещё не были злокачественны, но принято было облучать их, чтоб они не росли и не переродились. Сама же девочка мало заботилась, не знала о том, что, может быть, на крохотной губке своей несла уже тяжёлую гирю смерти. Она не первый раз была здесь, уже не боялась, щебетала, тянулась к никелированным деталям аппаратов и радовалась блестящему миру. Весь сеанс ей был три минуты, но эти три минуты она никак не хотела посидеть неподвижно под точно направленной на больное место узкой трубкой. Она тут же изворачивалась, отклонялась, и рентгенотехник, нервничая, выключала и снова и снова наводила на неё трубку. Мать держала игрушку, привлекая внимание девочки, и обещала ей ещё другие подарки, если будет сидеть спокойно. Потом вошла мрачная старуха и долго разматывала платок и снимала кофту. Потом пришла из стационара женщина в сером халате с шариком цветной опухоли на ступне — просто наколола гвоздём в туфле — и весело разговаривала с сестрой, никак не предполагая, что этот сантиметровой пустячный шарик, который ей не хотят

почему-то отрезать, есть королева злокачественных опухолей — меланобластома.

Врачи невольно отвлекались и на этих больных, осматривая их и давая советы сестре, так уже перешло время, когда надо было Вере Корнильевне идти делать эмбихинный укол Русанову, — и тут она положила перед Людмилой Афанасьевной последнюю, нарочно ею так задержанную карточку Костоглотова.

— При таком запущенном исходном состоянии — такое блистательное начало, — сказала она. — Только очень уж упрямый. Как бы он правда не отказался.

— Да попробует он только! — пристукнула Людмила Афанасьевна. Болезнь Костоглотова была та самая, что у Азовкина, но так обнадёжливо поворачивалось лечение, и ещё б он смел отказаться!

— У вас — да, — согласилась сразу Гангарт. — А я не уверена, что его переупрямлю. Может, прислать его к вам? — Она счищала с ногтя какую-то прилепившуюся соринку. — У меня с ним сложились довольно трудные отношения... Не удаётся категорично с ним говорить. Не знаю почему.

Их трудные отношения начались ещё с первого знакомства.

Был ненастный январский день, лил дождь. Гангарт заступила на ночь дежурным врачом по клинике. Часов около девяти вечера к ней вошла толстая здоровая санитарка первого этажа и пожаловалась:

— Доктор, там больной один безобразит. Я сама не отобьюсь. Что ж это, если меры не принимать, так нам на голову сядут.

Вера Корнильевна вышла и увидела, что прямо на полу около запертой каморки старшей сестры, близ большой лестницы, вытянулся долговязый мужчина в сапогах, изрыжевшей солдатской шинели, а в ушанке — гражданской, тесной ему, однако тоже натянутой на голову. Под голову он подмостил вещмешок, и по всему видно, что приготовился спать. Гангарт подошла к нему близко — тонконогая, на высоких каблучках (она никогда не одевалась небрежно), — посмотрела строго, желая пристыдить взглядом и заставить подняться, но он, хотя видел её, смотрел вполне равнодушно, не шевельнулся и даже, кажется, прикрыл глаза.

— Кто вы такой? — спросила она.

— Че-ло-век, — негромко, с безразличием ответил он.

— Вы имеете к нам направление?

— Да.

— Когда вы его получили?

— Сегодня.

По отпечаткам на полу под его боками видно было, что шинель его вся мокра, как, впрочем, и сапоги, и вещмешок.

— Но здесь нельзя. Мы... не разрешаем тут. Это и просто неудобно...

— У-добно, — вяло отозвался он. — Я — у себя на родине, кого мне стесняться?

Вера Корнильевна смешалась. Она почувствовала, что не может прикрикнуть на него, велеть ему встать, да он и не послушается.

Она оглянулась в сторону вестибюля, где днём всегда было полно посетителей и ожидающих, где на трёх садовых скамьях родственники виделись с больными, а по ночам, когда клиника запиралась, тут оставляли и тяжёлых приезжих, которым некуда было податься. Сейчас в вестибюле стояли только две скамьи, на одной из них уже лежала старуха, на второй молодая узбечка в цветастом платке положила ребёнка и сидела рядом.

В вестибюле-то можно было разрешить лечь на полу, но пол там нечистый, захоженный.

А сюда входили только в больничной одежде или в белых халатах.

Вера Корнильевна опять посмотрела на этого дикого больного с уже отходящим безразличием остро-исхудалого лица.

— И у вас никого нет в городе?

— Нет.

— А вы не пробовали — в гостиницы?

— Пробовал, — уже устал отвечать он.

— Здесь — пять гостиниц.

— И слушать не хотят, — он закрыл глаза, кончая аудиенцию.

— Если бы раньше! — соображала Гангарт. — Некоторые наши нянечки пускают к себе больных ночевать. Они недорого берут.

Он лежал с закрытыми глазами.

— Говорит: хоть неделю буду так лежать! — напала дежурная санитарка. — На дороге! Пока, мол, койку мне не предоставят! Ишь ты, озорник! Вставай, не балуй! Стерильно тут! — подступала санитарка.

— А почему только две скамейки? — удивлялась Гангарт. — Вроде ведь третья была.

— Ту, третью, вон перенесли, — показала санитарка через застеклённую дверь.

Верно, верно, за эту дверь, в коридор к аппаратным, перенесли одну скамейку для тех ожидающих больных, которые днём приходили принимать сеансы амбулаторно.

Вера Корнильевна велела санитарке отпереть тот коридор, а больному сказала:

— Я переложу вас удобнее, поднимитесь.

Он посмотрел на неё — не сразу доверчиво. Потом с мученьями и подёргиваньями боли стал подниматься. Видно, каждое движение и поворот туловища давались ему трудно. Поднимаясь, он не прихватил в руки вещмешка, а теперь ему было больно за ним наклониться.

Вера Корнильевна легко наклонилась, белыми пальцами взяла его промокший нечистый вещмешок и подала ему.

— Спасибо, — криво улыбнулся он. — До чего я дожил...

Влажное продолговатое пятно осталось на полу там, где он лежал.

— Вы были под дождём? — вглядывалась она в него со всё большим участием. — Там, в коридоре, тепло, снимите шинель. А вас не знобит? Температуры нет? — Лоб его весь был прикрыт этой нахлобученной чёрной дрянной шапчёнкой со свисающими меховыми ушами, и она приложила пальцы не ко лбу его, а к щеке.

И прикосновением можно было понять, что температура есть.

— Вы что-нибудь принимаете?

Он смотрел на неё уже как-то иначе, без этого крайнего отчуждения.

— Анальгин.

— Есть у вас?

— У-гм.

— А снотворное принести?

— Если можно.

— Да! — спохватилась она. — Направление-то ваше покажите!

Он не то усмехнулся, не то губы его двигались просто велениями боли.

— А без бумажки — под дождь?

Расстегнул верхние крючки шинели и из кармана открывшейся гимнастёрки вытащил ей направление, действительно выписанное в этот день утром в амбулатории. Она прочла и увидела, что это — её больной, лучевой. С направлением в руке она повернула за снотворным:

— Я сейчас принесу. Идите ложитесь.

— Подождите, подождите! — оживился он. — Бумажечку верните! Знаем мы эти приёмчики!

— Но чего вы можете бояться? — Она обернулась обиженная. — Неужели вы мне не верите?

Он посмотрел в колебании. Буркнул:

— А почему я должен вам верить? Мы с вами из одной миски щей не хлебали...

И пошёл ложиться.

Она рассердилась и сама уже к нему не вернулась, а через санитарку послала снотворное и направление, на котором сверху написала «cito», подчеркнула и поставила восклицательный знак.

Лишь ночью она прошла мимо него. Он спал. Скамья была удобна для этого, не свалишься: изгибистая спинка переходила в изгибистое же сидение полужёлобом. Мокрую шинель он снял, но всё равно ею же и накрылся: одну полу тянул на ноги, другую на плечи. Ступни сапог свешивались с краю скамьи. На подмётках сапог места живого не было — косячками чёрной и красной кожи латали их. На носках были металлические набойки, на каблуках подковки.

Утром Вера Корнильевна ещё сказала старшей сестре, и та положила его на верхней лестничной площадке.

Правда, с того первого дня Костоглотов ей больше не дерзил. Он вежливо разговаривал с ней обычным городским языком, первый здоровался и даже доброжелательно улыбался. Но всегда было ощущение, что он может выкинуть что-нибудь странное.

И действительно, позавчера, когда она вызвала его определить группу крови и приготовила пустой шприц взять у него из вены, он спустил откаченный уже рукав и твёрдо сказал:

— Вера Корнильевна, я очень сожалею, но найдите способ обойтись без этой пробы.

— Да почему ж, Костоглотов?

— Из меня уже попили кровушки, не хочу. Пусть даёт в ком крови много.

— Но как вам не стыдно? Мужчина! — взглянула она с той природной женской насмешкой, которой мужчине перенести невозможно.

— А потом что?

— Будет случай — перельём вам крови.

— Мне? Переливать? Избавьте! Зачем мне чужая кровь? Чужой не хочу, своей ни капли не дам. Группу крови запишите, я по фронту знаю.

Как она его ни уговаривала — он не уступал, находя новые неожиданные соображения. Он уверен был, что это всё лишнее. Наконец она просто обиделась:

— Вы ставите меня в какое-то глупое, смешное положение. Я последний раз — *прошу* вас.

Конечно, это была ошибка и унижение с её стороны — о чём, собственно, просить?

Но он сразу оголил руку и протянул:

— Лично для вас — возьмите хоть три кубика, пожалуйста.

Из-за того, что она терялась с ним, однажды произошла нескладность. Костоглотов сказал:

— А вы не похожи на немку. У вас, наверно, фамилия по мужу?

— Да, — вырвалось у неё.

Почему она так ответила? В то мгновение показалось обидным сказать иначе.

Он больше ничего не спросил.

А Гангарт — её фамилия по отцу, по деду. Они обрусевшие немцы.

А как надо было сказать? — я не замужем? я замужем никогда не была?

Невозможно.

6

Прежде всего Людмила Афанасьевна повела Костоглотова в аппаратную, откуда только что вышла больная после сеанса. С восьми утра почти непрерывно работала здесь большая стовосьмидесятитысячевольтная рентгеновская трубка, свисающая со штатива на подвесах, а форточка была закрыта, и весь воздух был наполнен чуть сладковатым, чуть противным рентгеновским теплом.

Этот разогрев, как ощущали его лёгкие (а был он не просто разогрев), становился противен большим после полудюжины, после десятка сеансов, Людмила же Афанасьевна привыкла к нему. За двадцать лет работы здесь, когда трубки и совсем никакой защиты не имели (она попадала и под провод высокого напряжения, едва убита не была), Донцова каждый день дышала воздухом рентгеновских кабинетов и больше часов, чем допустимо, сидела на диагностике. И, несмотря на все экраны и перчатки, она получила

на себя, наверно, больше «эр», чем самые терпеливые и тяжёлые больные, только никто этих «эр» не подсчитывал, не складывал.

Она спешила — но не только чтоб выйти скорей, а нельзя было лишних минут задерживать рентгеновскую установку. Показала Костоглову лечь на твёрдый топчан под трубку и открыть живот. Какой-то щекочущей прохладной кисточкой водила ему по коже, что-то очерчивая и как будто выписывая цифры.

И тут же сестре-рентгентехнику объяснила схему квадрантов и как подводить трубку на каждый квадрант. Потом велела ему перевернуться на живот и мазала ещё на спине. Объявила:

— После сеанса — зайдёте ко мне.

И ушла. А сестра опять велела ему животом вверх и обложила первый квадрант простынями, потом стала носить тяжёлые коврики из просвинцованной резины и закрывать ими все смежные места, которые не должны были сейчас получить прямого удара рентгена. Гибкие коврики приятно-тяжело облегли тело.

Ушла и сестра, затворила дверь и видела его теперь только через окошечко в толстой стене. Раздалось тихое гудение, засветились вспомогательные лампы, раскалилась главная трубка.

И через оставленную клетку кожи живота, а потом через прослойки и органы, которым названия не знал сам обладатель, через туловище жабы-опухоли, через желудок или кишки, через кровь, идущую по артериям и венам, через лимфу, через клетки, через позвоночник и малые кости, и ещё через прослойки, сосуды и кожу там, на спине, потом через настил топчана, четырёхсантиметровые доски пола, через лаги, через засыпку и дальше, дальше, уходя в самый каменный фундамент или в землю, — полились жёсткие рентгеновские лучи, непредставимые человеческому уму вздрагивающие векторы электрического и магнитного полей, или более понятные снаряды-кванты, разрывающие и решетающие всё, что попадалось им на пути.

И этот варварский расстрел крупными квантами, происходивший беззвучно и неощутимо для расстреливаемых тканей, за двенадцать сеансов вернул Костоглову намерение жить, и вкус жизни, и аппетит, и даже весёлое настроение. Со второго и третьего прострела освободясь от болей, делавших ему невыносимым существование, он потянулся узнать и понять, как же эти пронизывающие снарядики могут бомбить опухоль и не трогать остального тела. Костоглов не мог вполне поддаться лечению, пока для себя не понял его идеи и не поверил в неё.

И он постарался вывести идею рентгенотерапии от Веры Корнильевны, этой милой женщины, обезоружившей его предвзятость и настороженность с первой встречи под лестницей, когда он решил, что пусть хоть пожарниками и милицией его вытаскивают, а доброй волей он не уйдёт.

— Вы не бойтесь, объясните, — успокаивал её. — Я как тот сознательный боец, который должен понимать боевую задачу, иначе он не воюет. Как это может быть, чтобы рентген разрушал опухоль, а остальных тканей не трогал?

Все чувства Веры Корнильевны ещё прежде глаз выражались в её отзывчивых лёгких губах. И колебание выразилось в них же.

(Что она могла ему рассказать об этой слепой артиллерии, с тем же удовольствием лупцующей по своим, как и по чужим?)

— Ох, не полагается... Ну, хорошо. Рентген, конечно, разрушает всё подряд. Только нормальные ткани быстро восстанавливаются, а опухолевые нет.

Правду ли, неправду ли сказала, но Костоготову это понравилось.

— О! На таких условиях я играю. Спасибо. Теперь буду выздоравливать!

И, действительно, выздоравливал. Охотно ложился под рентген и во время сеанса ещё особо внушал клеткам опухоли, что они — разрушаются, что им — х а н á.

А то и вовсе думал под рентгеном о чём попало, даже дремал.

Сейчас вот он обошёл глазами многие висящие шланги и провода и хотел для себя объяснить, зачем их столько, и если есть тут охлаждение, то водяное или масляное. Но мысль его на этом не задержалась, и ничего он себе не объяснил.

Он думал, оказывается, о Вере Гангарт. Он думал, что вот такая милая женщина никогда не появится у них в Уш-Тереке. И все такие женщины обязательно замужем. Впрочем, помня этого мужа в скобках, он думал о ней вне этого мужа. Он думал, как приятно было бы поболтать с ней не мелко, а долго-долго, хоть бы вот походить по двору клиники. Иногда напугать её резкостью суждения — она забавно теряется. Милость её всякий раз светит в улыбке как солнышко, когда она только попадётся в коридоре навстречу или войдёт в палату. Она не по профессии добра, она просто добра. И — губы...

Трубка зудела с лёгким призвоном.

Он думал о Вере Гангарт, но думал и о Зое. Оказалось, что самое сильное впечатление от вчерашнего вечера, вылившее и с утра,

было от её дружно подобранных грудей, составлявших как бы полочку, почти горизонтальную. Во время вчерашней болтовни лежала на столе около них большая и довольно тяжёлая линейка для расчерчивания ведомостей — не фанерная линейка, а из струганой досочки. И весь вечер у Костоглотова был соблазн — взять эту линейку и положить на полочку её грудей — проверить: соскользнёт или не соскользнёт. Ему казалось, что — не соскользнёт.

Ещё он с благодарностью думал о том тяжёлом просвинцованном коврикe, который кладут ему ниже живота. Этот коврик давил на него и радостно подтверждал: «Защищу, не бойся!»

А может быть, нет? А может, он недостаточно толст? А может, его не совсем аккуратно кладут?

Впрочем, за эти двенадцать дней Костоглотов не просто вернулся к жизни — к еде, движению и весёлому настроению. За эти двенадцать дней он вернулся и к ощущению, самому красному в жизни, но которое за последние месяцы в болях совсем потерял. И значит, свинец держал оборону!

А всё-таки надо было высказывать из клиники, пока цел.

Он и не заметил, как прекратилось жужжание и стали остывать розовые нити. Вошла сестра, стала снимать с него щитки и простыни. Он спустил ноги с топчана и тут хорошо увидел на своём животе фиолетовые клетки и цифры.

— А как же мыться?

— Только с разрешения врачей.

— Удобненькое устройство. Так это что мне — на месяц заготовили?

Он пошёл к Донцовой. Та сидела в комнате короткофокусных аппаратов и смотрела на просвет большие рентгеновские плёнки. Оба аппарата были выключены, обе форточки открыты, и больше не было никого.

— Садитесь, — сказала Донцова сухо.

Он сел.

Она ещё продолжала сравнивать две рентгенограммы.

Хотя Костоглотов с ней и спорил, но всё это была его оборона против излишеств медицины, разработанных в инструкции. А сама Людмила Афанасьевна вызывала у него доверие — не только мужской решительностью, чёткими командами в темноте у экрана, и возрастом, и безусловной преданностью работе одной, но больше всего тем, как она с первого дня уверенно щупала контур опухоли и шла точно-точно по нему. О правильности щупа ему говорила

сама опухоль, которая тоже что-то чувствовала. Только больной может оценить, верно ли врач понимает опухоль пальцами. Донцова так шупала его опухоль, что ей и рентген был не нужен.

Отложив рентгенограммы и сняв очки, она сказала:

— Костоглотов. В вашей истории болезни существенный пробел. Нам нужна точная уверенность в природе вашей первичной опухоли. — Когда Донцова переходила на медицинскую речь, её манера говорить очень убыстрялась: длинные фразы и термины проскакивали одним дыханием. — То, что вы рассказываете об операции в позапрошлом году, и положение нынешнего метастаза сходятся к нашему диагнозу. Но всё-таки не исключаются и другие возможности. А это нам затрудняет лечение. Взять пробу сейчас из вашего метастаза, как вы понимаете, невозможно.

— Слава Богу. Я бы и не дал.

— Я всё-таки не понимаю — почему мы не можем получить стёкол с первичным препаратом. Вы-то сами вполне уверены, что гистологический анализ был?

— Да, уверен.

— Но почему в таком случае вам не объявили результата? — строчила она скороговоркой делового человека. О некоторых словах надо было догадываться.

А вот Костоглотов торопиться отвык:

— Результата? Такие у нас были бурные события, Людмила Афанасьевна, такая обстановочка, что, честное слово... Просто стыдно было о моей биопсии спрашивать. Тут головы летели. Да я и не понимал, зачем биопсия. — Костоглотов любил, разговаривая с врачами, употреблять их термины.

— Вы не понимали, конечно. Но врачи-то должны были понять, что этим не играют.

— Вра-чи?

Он посмотрел на сединку, которую она не прятала и не закрашивала, охватил собранное деловое выражение её несколько скуластого лица.

Как идёт жизнь, что вот сидит перед ним его соотечественница, современница и доброжелатель — и на общем их родном русском языке он не может объяснить ей самых простых вещей. Слишком издалека начинать надо, что ли. Или слишком рано оборвать.

— И врачи, Людмила Афанасьевна, ничего поделать не могли. Первый хирург, украинец, который назначил мне операцию и подготовил меня к ней, был взят на этап в самую ночь под операцию.

— И что же?

— Как что? Увезли.

— Но позвольте, когда его предупредили, он мог...

Костоглотов рассмеялся откровеннее.

— Об этапе никто не предупреждает, Людмила Афанасьевна. В том-то и смысл, чтобы выдернуть человека внезапно.

Донцова нахмурилась крупным лбом. Костоглотов говорил какую-то несообразицу.

— Но если у него был операционный больной?..

— Ха! Там принесли ещё почище меня. Один литовец проглотил алюминиевую ложку, столовую.

— Как это может быть?!

— Нарочно. Чтоб уйти из одиночки. Он же не знал, что хирурга увозят.

— Ну, а... потом? Ведь ваша опухоль быстро росла?

— Да, прямо-таки от утра до вечера, серьёзно... Потом дней через пять привезли с другого лагпункта другого хирурга, немца, Карла Фёдоровича. Во-от... Ну, он осмотрелся на новом месте и ещё через денёк сделал мне операцию. Но никаких этих слов: «злокачественная опухоль», «метастазы» — никто мне не говорил. Я их и не знал.

— Но биопсию он послал?

— Я тогда ничего не знал, никакой биопсии. Я лежал после операции, на мне — мешочки с песком. К концу недели стал учиться спускать ногу с кровати, стоять — вдруг собирают из лагеря ещё этап, человек семьсот, называется «бунтарей». И в этот этап попадает мой смиреннейший Карл Фёдорович. Его взяли из жилого барака, не дали обойти больных последний раз.

— Дикость какая!

— Да это ещё не дикость. — Костоглотов оживился больше обычного. — Прибежал мой дружок, шепнул, что я тоже в списке на тот этап, начальница санчасти мадам Дубинская дала согласие. Дала согласие, зная, что я ходить не могу, что у меня швы не сняты, вот сволочь!.. Простите... Ну, я твёрдо решил: ехать в телячьих вагонах с неснятыми швами — загноится, это смерть. Сейчас за мной придут, скажу: стреляйте тут, на койке, никуда не поеду. Твёрдо! Но за мной не пришли. Не потому, что смиловалась мадам Дубинская, она ещё удивлялась, что меня не отправили. А разобрались в учётно-распределительной части: сроку мне оставалось меньше года. Но я отвлекся... Так вот я подошёл к окну и смотрю. За

штaketником больницы — линейка, метров двадцать от меня, и на неё уже готовых с вещами сгоняют на этап. Оттуда Карл Фёдорович меня в окне увидал и кричит: «Костоглотов! Откройте форточку!» Ему надзор: «Замолчи, падло!» А он: «Костоглотов! Запомните! Это очень важно! Срез вашей опухоли я направил на гистологический анализ в Омск, на кафедру патанатомии, запомните!» Ну и... угнали их. Вот мои врачи, ваши предшественники. В чём они виноваты?

Костоглотов откинулся в стуле. Он разволновался. Его охватило воздухом той больницы, не этой.

Отбирая нужное от лишнего (в рассказах больных всегда много лишнего), Донцова вела своё:

— Ну и что ж ответ из Омска? Был? Вам объявили?

Костоглотов пожал остроугольными плечами:

— Никто ничего не объявлял. Я и не понимал, зачем мне это Карл Фёдорович крикнул. Только вот прошлой осенью, в ссылке, когда меня уж очень забрало, один старичок-гинеколог, мой друг, стал настаивать, чтоб я запросил. Я написал в свой лагерь. Ответа не было. Тогда написал жалобу в лагерное управление. Месяца через два ответ пришёл такой: «При тщательной проверке вашего архивного дела установить анализа не представляется возможности». Мне так тошно уже становилось от опухоли, что переписку эту я бы бросил, но, поскольку всё равно и лечиться меня комендатура не выпускала, — я написал наугад и в Омск, на кафедру патанатомии. И оттуда быстро, за несколько дней, пришёл ответ — вот уже в январе, перед тем, как меня выпустили сюда.

— Ну вот, вот! Этот ответ! Где он?!

— Людмила Афанасьевна, я сюда уезжал — у меня... Безразлично всё. Да и бумажка без печати, без штампа, это просто письмо от лаборанта кафедры. Она любезно пишет, что именно от той даты, которую я называю, именно из того посёлка поступил препарат и анализ был сделан и подтвердил вот... подозреваемый вами вид опухоли. И что тогда же ответ был послан запрашивающей больнице, то есть нашей лагерной. И вот это очень похоже на тамошние порядки, я вполне верю: ответ пришёл, никому не был нужен, и мадам Дубинская...

Нет, Донцова решительно не понимала такой логики! Руки её были скрещены, и она нетерпеливо прихлопнула горстями повыше локтей.

— Да ведь из такого ответа следовало, что вам н е м е д л е н н о нужна рентгенотерапия!

— Ко-го? — Костоготов шутиливо прижмурился и посмотрел на Людмилу Афанасьевну. — Рентгенотерапия?

Ну вот, он четверть часа рассказывал ей — и что же рассказал? Она снова ничего не понимала.

— Людмила Афанасьевна! — воззвал он. — Нет, чтоб тамошний мир вообразить... Ну, о нём совсем не распространено представление! Какая рентгенотерапия! Ещё боль у меня не прошла на месте операции, вот как сейчас у Ахмаджана, а я уже был на общих работах и бетон заливал. И не думал, что могу быть чем-то недоволен. Вы не знаете, сколько весит глубокий ящик с жидким бетоном, если его вдвоём поднимать?

Она опустила голову.

— Ну пусть. Но вот теперь этот ответ с кафедры патанатомии — почему же он без печати? Почему он — частное письмо?

— Ещё спасибо, что хоть частное письмо! — уговаривал Костоготов. — Попался добрый человек. Всё-таки добрых людей среди женщин больше, чем среди мужчин, я замечаю... А частное письмо — из-за нашей треклятой секретности! Она и пишет дальше: однако препарат опухоли был прислан к нам безымянно, без указания фамилии больного. Поэтому мы не можем дать вам официальной справки и стёкла препарата тоже не можем выслать. — Костоготов начал раздражаться. Это выражение быстрее других завладевало его лицом. — Великая государственная тайна! Идиоты! Трясутся, что на какой-то там кафедре узнают, что в каком-то лагере томится некий узник Костоготов. Брат Людовика! Теперь анонимка будет там лежать, а вы будете голову ломать, как меня лечить. Зато тайна!

Донцова смотрела твёрдо и ясно. Она не уходила от своего.

— Что ж, и это письмо я должна включить в историю болезни.

— Хорошо. Вернусь в свой аул — и сейчас же вам его вышлю.

— Нет, надо быстрее. Этот ваш гинеколог не найдёт, не вышлет?

— Да найти-то найдёт... А сам я когда поеду? — Костоготов смотрел исподлобья.

— Вы поедете тогда, — с большим значением отвесила Донцова, — когда я сочту нужным прервать ваше лечение. И то на время.

Этого мига и ждал Костоготов в разговоре! Его-то и нельзя было пропускать без боя!

— Людмила Афанасьевна! Как бы нам установить не этот тон взрослого с ребёнком, а — взрослого со взрослым? Серьёзно. Я вам сегодня на обходе...

— Вы мне сегодня на обходе, — погрознело крупное лицо Донцовой, — устроили позорную сцену. Что вы хотите? — будоражить больных? Что вы им в голову вколачиваете?

— Что я хотел? — Он говорил не горячася, тоже со значением, и стул занимал прочно, спиной о спинку. — Я хотел только напомнить вам о своём праве распоряжаться своей жизнью. Человек — может распоряжаться своей жизнью, нет? Вы признаёте за мной такое право?

Донцова смотрела на его безцветный извилистый шрам и молчала. Костоглотов развивал:

— Вы сразу исходите из неверного положения: раз больной к вам поступил, дальше за него думаете вы. Дальше за него думают ваши инструкции, ваши пятиминутки, программа, план и честь вашего лечебного учреждения. И опять я — песчинка, как в лагере, опять от меня ничего не зависит.

— Клиника берёт с больных письменное согласие перед операцией, — напомнила Донцова.

(К чему это она об операции?.. Вот уж на операцию он ни за что!)

— Спасибо! За это — спасибо, хотя она так делает для собственной безопасности. Но кроме операции — ведь вы ни в чём не спрашиваете больного, ничего ему не поясняете! Ведь чего стоит один рентген!

— О рентгене — где это вы набрались слухов? — догадывалась Донцова. — Не от Рабиновича ли?

— Никакого Рабиновича я не знаю! — уверенно мотнул головой Костоглотов. — Я говорю о принципе.

(Да, именно от Рабиновича он слышал эти мрачные рассказы о последствиях рентгена, но обещал его не выдавать. Рабинович был амбулаторный больной, уже получивший двести с чем-то сеансов, тяжело переносивший их и с каждым десятком приближавшийся, как он ощущал, не к выздоровлению, а к смерти. Там, где жил он, — в квартире, в доме, в городе, — никто его не понимал: здоровые люди, они с утра до вечера бегали и думали о каких-то удачах и неудачах, казавшихся им очень значительными. Даже своя семья уже устала от него. Только тут, на крыльчке противоракового диспансера, больные часами слушали его и сочувствовали. Они понимали, что это значит, когда окостенел подвижный треугольник «дужки» и сгустились рентгеновские рубцы по всем местам облучения.)

Скажите, он говорил о принципе!.. Только и не хватало Донцовой и её ординаторам проводить дни в беседах с больными о принципах лечения! Когда б тогда и лечить!

Но такой дотошный любознательный упрямец, как этот, или как Рабинович, изводивший её выяснениями о ходе болезни, попадались на пятьдесят больных один, и не миновать было тяжкого жребия иногда с ними объясниться. Случай же с Костоготовым был особый и медицински: особый в том небрежном, как будто заговорно-зломном ведении болезни до неё, когда он был допущен, дотолкнут до самой смертной черты, — и особый же в том крутом, исключительно быстром оживлении, которое под рентгеном у него началось.

— Костоготов! За двенадцать сеансов рентген сделал вас живым человеком из мертвеца — и как же вы смеете руку заносить на рентген? Вы жалуетесь, что вас в лагере и ссылке не лечили, вами пренебрегали, — и тут же вы жалуетесь, что вас лечат и о вас беспокоятся. Где логика?

— Получается, логики нет, — потряс чёрными кудлами Костоготов. — Но, может быть, её и не должно быть, Людмила Афанасьевна? Ведь человек же — очень сложное существо, почему он должен быть объяснён логикой? или там экономикой? или физиологией? Да, я приехал к вам мертвецом, и просился к вам, и лежал на полу около лестницы — и вот вы делаете логический вывод, что я приехал к вам спастись *любой ценой*. А я не хочу — *любой ценой*!! Такого и на свете нет ничего, за что б я согласился платить *любую* цену! — Он стал спешить, как не любил, но Донцова клонилась его перебить, а ещё тут много было высказать. — Я приехал к вам за облегчением страданий! Я говорил: мне очень больно, помогите! И вы помогли! И вот мне не больно. Спасибо! Спасибо! Я — ваш благодарный должник. Только теперь — отпустите меня! Дайте мне, как собаке, убраться к себе в конуру и там отлежаться и отлизаться.

— А когда вас снова подопрёт — вы опять приползёте к нам?

— Может быть. Может быть, опять приползу.

— И мы должны будем вас принять?

— Да!! И в этом я вижу ваше милосердие! А вас беспокоит что? — процент выздоровления? отчётность? Как вы запишете, что отпустили меня после пятнадцати сеансов, если Академия Медицинских Наук рекомендует не меньше шестидесяти?

Такой сбивчивой ерунды она ещё никогда не слышала. Как раз с точки зрения отчётности очень выгодно было сейчас его выписать с «резким улучшением», а через пятьдесят сеансов этого не будет.

А он всё толоч своё:

— С меня довольно, что вы опухоль попятити. И остановили. Она — в обороне. И я в обороне. Прекрасно. Солдату лучше всего живётся в обороне. А вылечить «до конца» вы всё равно не сможете, потому что никакого конца у ракового лечения не бывает. Да и вообще все процессы природы характеризуются асимптотическим насыщением, когда большие усилия приводят уже к малым результатам. В начале моя опухоль разрушалась быстро, теперь пойдёт медленно — так отпустите меня с остатками моей крови.

— Где вы этих сведений набрались, интересно? — сощурилась Донцова.

— А я, знаете, с детства любил подчитывать медицинские книги.

— Но чего именно вы боитесь в нашем лечении?

— Чего мне бояться — я не знаю, Людмила Афанасьевна, я не врач. Это, может быть, знаете вы, да не хотите мне объяснить. Вот, например, Вера Корнильевна хочет назначить мне колоть глюкозу...

— Обязательно.

— А я — не хочу.

— Да почему же?

— Во-первых, это неестественно. Если мне уж очень нужен виноградный сахар — так давайте мне его в рот! Что это придумали в двадцатом веке: каждое лекарство — уколом? Где это видано в природе? у животных? Пройдёт сто лет — над нами, как над дикарями, будут смеяться. А потом — как колют? Одна сестра попадёт сразу, а другая истычет весь этот вот... локтевой стиб. Не хочу! Потом я вижу, что вы подбираетесь к переливанию мне крови...

— Вы радоваться должны! Кто-то отдаёт вам свою кровь! Это — здоровье, это — жизнь!

— А я не хочу! Одному чечену тут при мне перелили, его потом на койке подбрасывало три часа, говорят: «неполное совмещение». А кому-то ввели кровь мимо вены, у него шишка на руке вскочила. Теперь компрессы, и парят целый месяц. А я не хочу.

— Но без переливания крови нельзя давать много рентгена.

— Так не давайте!! Почему вообще вы берёте себе право решать за другого человека? Ведь это — страшное право, оно редко ведёт к добру. Бойтесь его! Оно не дано и врачу.

— Оно именно дано врачу! В первую очередь — ему! — убеждённо вскрикнула Донцова, уже сильно рассерженная. — А без этого права не было б и медицины никакой!

— А к чему это ведёт? Вот скоро вы будете делать доклад о лучевой болезни, так?

— Откуда вы знаете? — изумилась Людмила Афанасьевна.

— Да это легко предположить...

(Просто лежала на столе толстая папка с машинописными листами. Надпись на папке приходилась Костоглову вверх ногами, но за время разговора он прочел её и обдумал.)

— ...легко догадаться. Потому что появилось новое название и, значит, надо делать доклады. Но ведь и двадцать лет назад вы облучали какого-нибудь такого Костоглова, который отбивался, что боится лечения, а вы уверяли, что всё в порядке, потому что ещё не знали лучевой болезни. Так и я теперь: ещё не знаю, чего мне надо бояться, но — отпустите меня! Я хочу выздоравливать собственными силами. Вдруг да мне станет лучше, а?

Есть истина у врачей: больного надо не пугать, больного надо подбодрять. Но такого назойного больного, как Костоглов, надо было, напротив, ошеломить.

— Лучше? Не ст а н е т! Могу вас заверить, — она прихлопнула четырьмя пальцами по столу, как хлопнушкой муху, — не станет! Вы, — она ещё соразмеряла удар, — у м р ё т е!

Посмотрела, как он вздрогнет. Но он только затих.

— У вас будет судьба Азовкина. Видели, да? Ведь у вас с ним одна болезнь и запущенность почти одинаковая. Ахмаджана мы спасаем — потому что его стали облучать сразу после операции. А у вас потеряно два года, вы думайте об этом! И нужно было сразу делать вторую операцию — ближнего по ходу следования лимфоузла, а вам пропустили, учтите. И метастазы потекли! Ваша опухоль — из самых опасных видов рака! Она опасна тем, что скоротечна и резко-злокачественна, то есть очень быстро даёт метастазы. Её смертность совсем недавно составляла девяносто пять процентов, вас устраивает? Вот, я вам покажу...

Она выгасила папку из груди и начала рыться в ней.

Костоглов молчал. Потом заговорил, но тихо, совсем не так уверенно, как раньше:

— Откровенно говоря, я за жизнь не очень-то держусь. Не только впереди у меня её нет, но и сзади не было. И если проглянуло мне пожить полгодика — надо их и прожить. А на десять-двадцать лет планировать не хочу. Лишнее лечение — лишнее мучение. Начнётся рентгеновская тошнота, рвоты — зачем?..

— Нашла! Вот! Это наша статистика. — И она повернула к нему двойной тетрадный листик. Через весь развёрнутый лист шло название его опухоли, а потом над левой стороной: «Уже умерли», над правой: «Ещё живы». И в три колонки писались фамилии — в разное время, карандашами, чернилами. В левой стороне помарок не было, а в правой — вычёркивания, вычёркивания, вычёркивания... — Так вот. При выписке мы записываем каждого в правый список, а потом переносим в левый... Но всё-таки есть счастливицы, которые остаются в правом, видите?

Она дала ему ещё посмотреть список и подумать.

— Вам *кажется*, что вы выздоровели! — опять приступила энергично. — Вы — больны, как и были. Каким пришли к нам, такой и остались. Единственное, что выяснилось, — что с вашей опухолью *можно* бороться! Что не всё ещё погибло. И в этот момент вы заявляете, что уйдёте? Ну, уходите! Уходите! Выписывайтесь хоть сегодня! Я сейчас дам распоряжение... А сама занесу вас вот в этот список. Ещё не умерших.

Он молчал.

— А? Решайте!

— Людмила Афанасьевна, — примирительно выдвинул Костоготов. — Ну, если нужно какое-то разумное количество сеансов — пять, десять...

— Не пять и не десять! Ни одного! Или — столько, сколько нужно! Например, с сегодняшнего дня — по два сеанса, а не по одному. И все виды лечения, какие понадобятся! И курить бросите! И ещё обязательное условие: переносить лечение не только с верой, но с *радостью*! С радостью! Вот только тогда вы вылечитесь!

Он опустил голову. Отчасти-то сегодня он торговался с запросом. Он опасался, как бы ему не предложили операцию, — но вот и не предлагали. А облечиться ещё можно, ничего. В запасе у Костоготова было секретное лекарство — иссык-кульский корень, и он рассчитывал уехать к себе в глушь не просто, а полечиться корнем. Имея корень, он вообще-то приезжал в этот раковый диспансер только для пробы.

А доктор Донцова, видя, что победила, сказала великодушно:

— Хорошо, глюкозы давать вам не буду. Вместо неё — другой укол, внутримышечный.

Костоглотов улыбнулся:

— Ну, это я вам уступаю.

— И пожалуйста: ускорьте пересылку омского письма.

Он шёл от неё и думал, что идёт между двумя вечностями. С одной стороны — список обречённых умереть. С другой стороны — в е ч н а я ссылка. Вечная, как звёзды. Как галактики.

7

А вот начни б он допытываться, что́ это за укол, какая цель его, и нужен ли он действительно, и оправдан ли морально; если б Людмиле Афанасьевне пришлось объяснять Костоглотову смысл и возможные последствия этого нового лечения, — очень может быть, что он бы и окончательно взбунтовался.

Но именно тут, исчерпав свои блестящие доводы, он сдал.

А она нарочно схитрила, сказала, как о пустяке, потому что устала уже от этих объяснений, а знала твёрдо, что именно теперь, когда проверено было на больном воздействие рентгена в чистом виде, пришла пора нанести опухоли ещё новый удар, очень рекомендуемый для данного вида рака современными руководствами. Прозревая нерядовую удачу в лечении Костоглотова, она не могла ослабить его упрямству и не обрушить на него всех средств, в которые верила. Правда, не было стёкол с первичным препаратом, но вся интуиция её, наблюдательность и память подсказывали, что опухоль — та самая, именно та, не тератома и не саркома.

По этому самому типу опухолей, с этим именно движением метастазов, доктор Донцова писала кандидатскую диссертацию. То есть не то чтобы писала постоянно, а когда-то начинала, бросала, опять писала, и друзья убеждали, что всё отлично получится, но, заставленная и задавленная обстоятельствами, она уже не предвидела когда-нибудь её защитить. Не потому, что у неё не хватало опыта или материала, но слишком много было того и другого, и повседневно они звали её то к экрану, то в лабораторию, то к койке, а заниматься подбором и описанием рентгено снимков, и формулировками, и систематизацией, да ещё сдачей кандидатского минимума, — не было сил человеческих. Можно было получить

научный отпуск на полгода, — но никогда не было в клинике таких благополучных больных и того первого дня, с которого можно было прекратить консультации трёх молодых ординаторов и уйти на полгода.

Людмила Афанасьевна слышала, будто бы Лев Толстой сказал про своего брата: он имел все способности писателя, но не имел недостатков, делающих писателем. Наверное, и она не имела тех недостатков, которые делают людей кандидатами наук. Ей, в общем, не было надо слышать шёпот позади: «она не просто врач, она кандидат медицинских наук». Или чтобы перед статьёй её (второй десяток их уже печатался, маленьких, но всё по делу) шли эти дополнительные, мелкие, но такие весомые буквочки. Правда, деньги лишние — никогда не лишние. Но уж раз не получилось, так не получилось.

Того, что называется научно-общественная работа, полно было и без диссертации. В их диспансере бывали клиничко-анатомические конференции с разбором ошибок в диагностике и лечении, с докладами о новых методах — обязательно было их посещать и обязательно активно участвовать (правда, лучевики и хирурги и без того каждый день советовались, и разбирались в ошибках, и применяли новые методы, — но конференции были сами собой). А ещё было городское научное общество рентгенологов — с докладами и демонстрациями. А ещё недавно образовалось и научное общество онкологов, где Донцова была не только участник, но и секретарь, и где, как со всяким новым делом, суэта была повышенной. А ещё был Институт усовершенствования врачей. А ещё была переписка с рентгенологическим «Вестником», и онкологическим «Вестником», и Академией меднаук, и информационным центром, — и получалось, что хотя Большая Наука была как будто вся в Москве и в Ленинграде, а они тут как будто просто лечили, но дня не проходило, чтоб досталось только лечить, а о науке не хлопотать.

Так и сегодня. Ей надо было звонить председателю общества рентгенологов насчёт своего близкого доклада. И надо было срочно просмотреть две маленькие журнальные статьи. И ответить на одно письмо в Москву. И на одно письмо в глухой онкопункт, откуда спрашивали разъяснения.

А скоро старший хирург, закончив операционный день, должна была, по уговору, показать Донцовой для консультации одну свою гинекологическую больную. А ещё надо было к концу

амбулаторного приёма пойти посмотреть с одной из своих ординаторов этого больного из Ташауза с подозрением на опухоль тонкого кишечника. И сама же она на сегодня назначила разобраться с рентгенолаборантами, как им уплотнить работу установок, чтобы больше пропускать больных. И эмбихинный укол Русанову не надо было упустить из памяти, подняться проведать; таких больных они лишь недавно стали лечить сами, до сих пор отсылали в Москву.

А она потеряла время на вздорное препирательство с упрямым Костоготовым! — методическое баловство. Ещё во время их разговора два раза заглядывали в дверь мастера, которые вели дополнительный монтаж на гамма-установке. Они хотели доказать Донцовой необходимость каких-то работ, не предусмотренных сметой, и чтоб она подписала им на эти работы акт и убедила главврача. Теперь они её потащили туда, но прежде в коридоре сестра передала ей телеграмму. Телеграмма была из Новочеркаска — от Анны Зацырко. Пятнадцать лет они уже не виделись и не переписывались, но это была её хорошая старая подруга, с которой они вместе были в акушерской школе в Саратове, ещё до мединститута, в 1924 году. Анна телеграфировала, что старший сын её Вадим поступит сегодня или завтра в клинику к Люсе из геологической экспедиции, и просит она о дружеском внимании к нему, и ей честно написать, что с ним. Людмила Афанасьевна взволновалась, покинула мастеров и пошла просить старшую сестру задержать до конца дня место Азовкина для Вадима Зацырко. Старшая сестра Мита, как всегда, бегала по клинике, и не так легко её было найти. Когда же она нашлась и обещала место для Вадима, она озадачила Людмилу Афанасьевну тем, что лучшую сестру их лучевого отделения Олимпиаду Владиславовну требуют на десять дней на городской семинар профказначеев — и десять дней её надо кем-то заменять. Это было настолько недопустимо и невозможно, что вместе с Митой Донцова тут же решительным шагом пошла через много комнат в регистратуру — звонить в райком союза и отбивать. Но был занят телефон сперва с этой стороны, потом с той, потом перешвырнули их звонить в обком союза, а оттуда удивлялись их политической безопасности и неужели они предполагают, что профсоюзная касса может быть оставлена на произвол. Ни райкомовцев, ни обкомовцев, ни самих, ни родных, — никого ещё, видно, не укусила опухоль и, как думали они, не укусит. Заодно позвонив в общество рентгенологов, Людмила Афанасьевна рванулась просить о заступничестве главврача, но тот сидел с какими-то

посторонними людьми и обсуждал намеченный ремонт одного крыла их здания. Так всё осталось неопределённо, и она пошла к себе через рентгенодиагностический, где сегодня не работала. Тут был перерыв, записывались при красном фонаре результаты, и тут же доложили Людмиле Афанасьевне, что подсчитали запасы плёнки и при нынешнем расходе её хватит не больше как на три недели, а это значит — уже авария, потому что меньше месяца заявки на плёнку не выполняют. Отсюда ясно стало Донцовой, что надо сегодня же или завтра свести аптекаря и главврача, а это нелегко, и заставить их послать заявку.

Затем ей путь перегородили мастера гамма-установки, и она подписала им акт. Кстати было зайти и к рентгенолаборантам. Тут она села, и стали подсчитывать. По исконным техническим условиям аппарат должен работать один час, а полчаса отдыхать, но это давно было забыто и заброшено, а работали все аппараты девять часов без перерыва, то есть полторы рентгеновские смены. Однако и при такой загрузке и при том, что проворные лаборанты быстро сменяли больных под аппаратами, всё равно не умещались дать столько сеансов, сколько хотели. Надо было успевать пропускать амбулаторных по разу в день, а клинических некоторых — и по два (как с сегодняшнего дня назначено было Костоготову) — чтоб усилить удар по опухоли, да и ускорить оборачиваемость коек. Для этого тайком от технического надзора перешли на ток в двадцать миллиампер вместо десяти: получалось вдвое быстрее, хотя трубки, очевидно, изнашивались тоже быстрее. А всё равно не умещались! И сегодня Людмила Афанасьевна пришла разметить в списках, каким больным и на сколько сеансов она разрешает не ставить (это тоже укорачивало сеанс вдвое) миллиметрового медного фильтра, оберегающего кожу, а каким ставить фильтр полумиллиметровый.

Тут она поднялась на второй этаж посмотреть, как ведёт себя после укола Русанов. Затем пошла в кабинет короткофокусных аппаратов, где снова уже шло облучение больных, и хотела приняться за свои статьи и письма, как постучала вежливо Елизавета Анатольевна и попросила разрешения обратиться.

Елизавета Анатольевна была просто «нянечкой» лучевого отделения, однако ни у кого язык не поворачивался звать её на «ты», Лизой или тётей Лизой, как зовут даже старых санитарок даже молодые врачи. Это была хорошо воспитанная женщина, в свободные часы ночных дежурств она сидела с книжками на французском языке, — а вот почему-то работала санитаркой

в онкодиспансере, и очень исполнительно. Правда, она имела тут полторы ставки, и некоторое время здесь платили ещё пятьдесят процентов за рентгеновскую вредность, но вот надбавку нянечкам свели до пятнадцати процентов, а Елизавета Анатольевна не уходила.

— Людмила Афанасьевна! — сказала она, чуть изгибаясь в извинение, как это бывает у повышенно вежливых людей. — Мне очень неловко беспокоить вас по мелкому поводу, но ведь просто берёт отчаяние! — ведь нет же тряпок, совсем нет! Чем убирать?

Да, вот это ещё была забота! Министерство предусматривало снабжение онкодиспансера радиевыми иглами, гамма-пушкой, аппаратами «Стабилизольт», новейшими приборами для переливания крови, последними синтетическими лекарствами, — но для простых тряпок и простых щёток в таком высоком списке не могло быть места. Низамутдин же Бахрамович отвечал: если министерство не предусмотрело — неужели я вам буду на свои деньги покупать? Одно время рвали на тряпки изветшавшее бельё — но хозяйки спохватились и запретили это, заподозрив тут расхищение нового белья. Теперь требовали изветшавшее свозить и сдавать в определённое место, где авторитетная комиссия активировала его и потом рвала.

— Я думаю, — говорила Елизавета Анатольевна, — может быть, мы все, сотрудники лучевого отделения, обяжемся принести из дому по одной тряпке и так выйдем из положения, а?

— Да что ж, — вздохнула Донцова, — наверно, ничего и не остаётся. Я согласна. Вы это, пожалуйста, предложите Олимпиаде Владиславовне...

Да! Саму-то Олимпиаду Владиславовну надо было идти выручать. Ведь просто же нелепость — лучшую опытную сестру выключить из работы на десять дней.

И она пошла зонить. И ничего не добилась опять. Тут сразу же пошла она посмотреть больного из Ташауза. Сперва сидела в темноте, приучая глаза. Потом смотрела бариевую взвесь в тонком кишечнике больного — то стоя, то опуская защитный экран как стол и кладя больного на один бок и на другой для фотографирования. Проминая в резиновых перчатках живот больного и совмещая с его криками «больно» слепые расплывчатые зашифрованные оттенки пятен и теней, Людмила Афанасьевна перевела их в диагноз.

Где-то за всеми этими делами миновал и её обеденный перерыв, только она никогда его не отмечала, не выходила с бутербродиком в сквер даже летом.

Сразу же пришли её звать на консультацию в перевязочную. Там старший хирург сперва предварила Людмилу Афанасьевну об истории болезни, затем вызвали больную и смотрели её. Донцова пришла к выводу: спасение возможно только одно — путём кастрации. Больная, всего лишь лет сорока, заплакала. Дали ей поплакать несколько минут. «Да ведь это конец жизни!.. Да ведь меня муж бросит...»

— А вы мужу и не говорите, что за операция! — втолковывала ей Людмила Афанасьевна. — Как он узнает? Он никогда и не узнает. В ваших силах это скрыть.

Поставленная спасти *жизнь*, именно жизнь, — в их клинике почти всегда шло о жизни, о меньшем не шло, — Людмила Афанасьевна непреклонно считала, что всякий ущерб оправдан, если спасается жизнь.

Но сегодня, как ни кружилась она по клинике, что-то мешало весь день её уверенности, ответственности и властности.

Была ли это ясно ощущаемая боль в области желудка у неё самой? Некоторые дни она не чувствовала её, некоторые дни слабей, сегодня — сильней. Если б она не была онкологом, она бы не придала значения этой боли или, напротив, безстрашно пошла бы на исследования. Но слишком хорошо она знала эту ниточку, чтобы отмотать первый виток: сказать родным, сказать товарищам по работе. Сама-то для себя она пробавлялась русским авосем: а может обойдётся? а может только нервное ощущение?

Нет, не это, ещё другое мешало ей весь день, как будто она занозилась. Это было смутно, но настойчиво. Наконец теперь, придя в свой уголок к столу и коснувшись этой папки «Лучевая болезнь», подмеченной доглядчивым Костоглотовым, она поняла, что весь день не только взволнована, но уязвлена спором с ним о праве лечить.

Она ещё слышала его фразу: лет двадцать назад вы облучали какого-нибудь Костоглотова, который умолял вас не облучать, но вы же не знали о лучевой болезни!

Она действительно должна была скоро делать сообщение в обществе рентгенологов на тему: «О поздних лучевых изменениях». Почти то самое, в чём упрекал её Костоглов.

Лишь совсем недавно, год-два, как у неё и у других рентгенологов — здесь, и в Москве, и в Баку — стали появляться эти случаи, не сразу понятые. Возникло подозрение. Потом догадка. Об этом стали писать друг другу письма, говорили — пока не в докладах, а в перерывах между докладами. Тут кто-то прочёл реферат по американским журналам — назревало что-то похожее и у американцев. А случаи нарастали, ещё и ещё приходили больные с жалобами — и вдруг это всё получило одно название: «Поздние лучевые изменения», и настало время говорить о них с кафедр и что-то решать.

Смысл был тот, что рентгеновские лечения, благополучно, успешно или даже блистательно закончившиеся десять и пятнадцать лет тому назад дачею крупных доз облучения, — выявлялись теперь в облучённых местах неожиданными разрушениями и искажениями.

Не обидно было, или во всяком случае оправдано, если те давние облучения проводились по поводу злокачественных опухолей. Тут не было выхода даже и с сегодняшней точки зрения: больного спасали единственным образом от неминуемой смерти, и только большими дозами, потому что малые помочь не могли. И, придя теперь с увечьем, он должен был понять, что это плата за уже прожитые добавленные ему годы и ещё за те, которые оставались впереди.

Но тогда, десять, и пятнадцать, и восемнадцать лет назад, когда не было и названия «лучевая болезнь», рентгеновское облучение представлялось способом таким прямым, надёжным и абсолютным, таким великолепным достижением современной медицинской техники, что считалось отсталостью мышления и чуть ли не саботажем в лечении трудящихся — отказываться от него и искать другие, параллельные или окольные, пути. Боялись только острых ранних поражений тканей и костей, но их тогда же научились и избегать. И — облучали! облучали с увлечением! Даже доброкачественные опухоли. Даже у маленьких детей.

А теперь эти дети, ставшие взрослыми, юноши и девушки, иногда и замужние, приходили с необратимыми увечьями в тех местах, которые так ретиво облучались.

Минувшей осенью пришёл — не сюда, не в раковый корпус, а в хирургический, но Людмила Афанасьевна узнала и тоже добилась его посмотреть — пятнадцатилетний мальчик, у которого рука и нога одной стороны отставали в росте от другой, и так

же — кости черепа, отчего он снизу и доверху казался дугообразно искажённым, как карикатура. И, сравнив архивы, Людмила Афанасьевна отождествила с ним того двух-с-половиной-летнего мальчика, которого мать принесла в клинику медгородка со множественным поражением костей не известного никому происхождения, но совсем не опухолевой природы, с глубоким поражением обмена веществ, — и тогда же хирурги послали его к Донцовой — наудачу, авось да поможет рентген. И Донцова взялась, и рентген помог! — да как хорошо, мать плакала от радости, говорила, что никогда не забудет спасительницы.

А теперь он пришёл один — матери не было уже в живых, и никто ничем не мог ему помочь, никто не мог взять назад из его костей прежнего облечения.

А совсем недавно, вот уже в конце января, пришла молодая мать с жалобой, что грудь не даёт молока. Она пришла не сюда, но её слали из корпуса в корпус, и она достигла онкологического. Донцова не помнила её, но, так как в их клинике карточки на больных хранятся вечно, пошли в сарайчик, рылись там и нашли её карточку девятьсот сорок первого года, откуда подтвердилось, что девочкой она приходила и доверчиво ложилась под рентгеновские трубки — с доброкачественной опухолью, от которой теперь никто б её рентгеном лечить не стал.

Оставалось Донцовой лишь продолжить старую карточку, записать, что стали атрофичны мягкие ткани и что, по всей видимости, это есть позднее лучевое изменение.

Ни этому перекособоченному юноше, ни этой обделённой матери никто не объяснил, конечно, что их лечили в детстве не так: объяснять это было бы в личном отношении бесполезно, а в общем отношении — вредило бы санитарной пропаганде среди населения.

Но у самой Людмилы Афанасьевны эти случаи вызвали потрясение, ноющее чувство неискупимой и неисправимой вины — и туда-то, в эту точку, попал сегодня Костоглотов.

Она сложила руки накрест и прошла по комнате от двери к окну, от окна к двери, по свободной полоске пола между двумя уже выключенными аппаратами.

Но можно ли так? — ставить вопрос о *праве* врача лечить? Если думать так, если сомневаться в каждом научно принятом сегодня методе, не будет ли он позже опорочен или отвергнут, — тогда можно чёрт знает до чего дойти! Ведь смертные случаи описаны

даже от аспирина: принял человек свой первый в жизни аспирин и умер!.. Тогда лечить вообще нельзя! Тогда вообще нельзя приносить повседневных благ.

Этот закон, вероятно, имеет и всеобщий характер: всякий *делающий* всегда порождает и то, и другое — и благо, и зло. Один только — больше блага, другой — больше зла.

Но как бы она себя ни успокаивала и как бы ни знала она отлично, что эти несчастные случаи вместе со случаями неверных диагнозов, поздно принятых или неверно принятых мер, может быть не составят и двух процентов всей её деятельности, — а излеченные ею, а возвращённые к жизни, а спасённые, а исцелённые ею молодые и старые, женщины и мужчины, ходят по пашне, по траве, по асфальту, летают по воздуху, лазают по столбам, убирают хлопок, метут улицы, стоят за прилавками, сидят в кабинетах или в чайханах, служат в армии и во флоте, и их сотни, и не все они забыли её, и не все забудут, — она знала также, что сама она скорее забудет их всех, свои лучшие случаи, свои труднейшие победы, а до могилы будет помнить тех нескольких, тех немногих горемык, которые попали под колёса.

Такова была особенность её памяти.

Нет, готовиться к сообщению сегодня она уже не сможет, да и день к концу. (Разве взять папку домой? Наверняка провозишь зря, хоть сотни раз она так брала и возила.)

А что надо успеть сделать — вот «Медицинскую радиологию» освободить, статейки дочесть. И ответить этому фельдшеру в Такта-Купыр на его вопрос.

Плохой становился свет из пасмурного окна, она зажгла настольную лампу и уселась. Заглянула одна из ординаторок, уже без халата: «Вы не идёте, Людмила Афанасьевна?» И Вера Гангарт зашла: «Вы не идёте?»

— А как Русанов?

— Спит. Работы не было. Температурка есть. — Вера Корнильева сняла глухой халат и осталась в серо-зеленоватом тафтяном платье, слишком хорошем для работы.

— Не жалеете таскать? — кивнула Донцова.

— А зачем беречь?.. Для чего беречь?.. — хотела улыбнуться Гангарт, но получилось жалостно.

— Ладно, Верочка, если так, следующий раз введём ему полную, десять миллиграмм, — в своей убыстрённой манере, когда слова только время отнимают, протолкнула Людмила Афанасьевна и писала письмо фельдшеру.

— А Костоглотов? — тихо спросила Гангарт уже от двери.

— Был бой, но он разбит и покорился! — усмехнулась Людмила Афанасьевна и опять почувствовала от выпыха усмешки, как резнуло её около желудка. Она даже захотела сейчас и пожаловаться Вере, ей первой, подняла на неё прищуренные глаза, но в полутёмной глубине комнаты увидела её как собравшуюся в театр — в выходящем платьи, на высоких каблуках.

И решила — до другого раза.

Все ушли, а она сидела. Совсем было ей бесполезно и полчаса лишних проводить в этих помещениях, ежедневно облучаемых, но вот так всё цеплялось. Всякий раз к отпуску она была бледно-сера, а лейкоциты её, монотонно падающие весь год, снижались до двух тысяч, как преступно было бы довести какого-нибудь больного. Три желудка в день полагалось смотреть рентгенологу по нормам, а она ведь смотрела по десять в день, а в войну и по двадцать пять. И перед отпуском ей самой было впору переливать кровь. И за отпуск не восстанавливалось утерянное за год.

Но повелительная инерция работы нелегко отпускала её. К концу каждого дня она с досадой видела, что опять не успела. И сейчас между делами она снова задумалась о жестоком случае Сибгатова и записала, о чём посоветоваться при встрече на обществе с доктором Орещенковым. Как она ввела в работу своих ординаторов, так и её когда-то до войны вводил за руку, осторожно направлял и передал ей вкус кругозора доктор Орещенков. «Никогда, Людочка, не специализируйтесь до сушёной воблы! — предупреждал он. — Пусть весь мир течёт к специализации, а вы держитесь за своё — одной рукой за рентгенодиагностику, другой за рентгенотерапию! Будьте хоть последней такой — но такой!» И он всё ещё был жив, и тут же, в городе.

Уже лампу потушив, она от двери вернулась и записала дело на завтра. Уже надев своё синее неновое пальто, она ещё свернула к кабинету главврача — но он был заперт.

Наконец она сошла со ступенек между тополями, шла по аллейкам медицинского городка, но в мыслях оставалась вся в работе и даже не пыталась и не хотела выйти из них. Погода была никакая — она не заметила какая. А ещё не сумерки. На аллеях встречались многие незнакомые лица, но в Людмиле Афанасьевне и здесь не пробудилось естественное женское внимание — кто из встречных во что одет, что на голове, что на ногах. Она шла с присобранными бровями и на всех этих людей остро поглядывала, как бы прозревая

локализацию тех возможных опухолей, которые в людях этих ещё сегодня не дают себя знать, но могут выявиться завтра.

Так она шла, и миновала внутреннюю чайхану медгородка и мальчика-узбечонка, постоянно торгующего здесь газетными фунтиками миндаля, — и достигла главных ворот.

Кажется, проходя эти главные ворота, из которых неусыпная бранчивая толстуха-сторожиха выпускала только здоровых свободных людей, а больных заворачивала громкими окриками, — кажется, ворота эти проходя, должна ж была она перейти из рабочей части своей жизни в домашнюю, семейную. Но нет, не равно делились время и силы её между работой и домом. Внутри медицинского городка она проводила свежую и лучшую половину своего бодрствования, и рабочие мысли ещё вились вокруг её головы, как пчёлы, долго спустя ворота, а утром — задолго до них.

Она опустила письмо в Тахта-Купыр. Перешла улицу к трамвайному кругу. Позванивая, развернулся нужный номер. Стали густо садиться и в передние и в задние двери. Людмила Афанасьевна поспешила захватить место — и это была первая внешняя мелкая мысль, начинавшая превращать её из оракула человеческих судеб в простого трамвайного пассажира, которого толкали запросто.

Но ещё и под дребезжание трамвая по старой однопутной колее и на долгих разминных остановках Людмила Афанасьевна смотрела в окно неосмысленно, всё додумывая то о лёгочных метастазах у Мурсалимова, то о возможном влиянии укулов на Русанова. Его обидная наставительность и угрозы, с которыми он выступил сегодня на обходе, затёртые с утра другими впечатлениями, сейчас, после конца дня, проступили угнетающим осадком: на вечер и на ночь.

Многие женщины в трамвае, как и Людмила Афанасьевна, были не с малоёмкими дамскими сумочками, а с сумками-баулами, куда можно затолкать живого поросёнка или четыре буханки хлеба. С каждой пройденной остановкой и с каждым магазином, промелькнувшим за окном, Людмилой Афанасьевой завладевали мысли о хозяйстве и о доме. Всё это было — на ней, и только на ней, потому что какой спрос с мужчин? И муж и сын у неё были такие, что, когда она уезжала на конференцию в Москву, — они и посуды не мыли неделю: не потому, что хотели приберечь это для неё, а — не видели в этой повторительной, вечно возобновляемой работе смысла.

Была и дочь у Людмилы Афанасьевны — уже замужняя, с маленьким на руках, и даже уже почти не замужняя, потому что шло к разводу. В первый раз за день вспомнив сейчас о дочери, Людмила Афанасьевна не повеселела.

Сегодня была пятница. В это воскресенье Людмила Афанасьевна непременно должна была совершить большую стирку, уж набралось. Значит, обед на первую половину недели (она готовила его дважды в неделю) надо было во что бы то ни стало варить в субботу вечером. А замочить бельё — сегодня бы тоже, когда б ни лечь. И в общем, сейчас, и только сейчас, хоть и поздно, ехать на главный рынок — там и до вечера кого-нибудь застанешь.

Она сошла, где надо было пересаживаться на другой трамвай, но посмотрела на соседний зеркальный «Гастроном» и решила в него заглянуть. В мясном отделе было пусто, и продавец даже ушёл. В рыбном нечего было брать — селёдка, солёная камбала, консервы. Пройдя живописные многоцветные пирамиды винных бутылок и коричневые — совсем под колбасу — сырны круглые стержни, она наметила в бакалейном взять две бутылки подсолнечного масла (перед тем было только хлопковое) и ячневый концентрат. Так она и сделала — пересекла мирный магазин, заплатила в кассу, вернулась в бакалейный.

Но пока она тут стояла за двумя человеками — какой-то оживлённый шум поднялся в магазине, повалил с улицы народ и все выстраивались в гастрономический и в кассу. Людмила Афанасьевна дрогнула и, не дождавшись получить в бакалейном, ускоренным шагом пошла тоже занимать и к продавцу и в кассу. Ещё ничего не было за изогнутым оргстеклом прилавка, но теснившиеся женщины точно сказали, что будут давать ветчинно-рубленую по килограмму в руки.

Так удачно она попала, что был смысл чуть позже занять и вторую очередь.

8

Если б не этот охват рака по шее, Ефрем Поддубев был бы мужчиной в расцвете. Ему ещё не сравнялось полуста, и был он крепок в плечах, твёрд в ногах и здрав умом. Он не то что был двуужильный, но двухребетный, и после восьми часов мог ещё восемь отработать

как первую смену. В молодости на Каме таскал он шестипудовые мешки, и из силы той не много ubyло, он и сейчас не отрекался выкатить с рабочими бетономешалку на помост. Перебывал он во многих краях, переделал пропасть разной работы, там ломал, там копал, там снабжал, а здесь строил, не унижался считать ниже червонца, от полулитра не шатался, за вторым литром не тянулся — и так он чувствовал себя и вокруг себя, что ни предела, ни рубежа не поставлено Ефрему Поддуеву, а всегда он будет такой. Несмотря на силу, на фронте он не бывал — бронировали его спецстроительства, не отведal он ни ран, ни госпиталей. И ничем никогда не болел — ни тяжёлым, ни гриппом, ни в эпидемию, ни даже зубами.

И только в запрошлом году первый раз заболел — и сразу вот этим.

Раком.

Это сейчас он так с рбзмаху лепил: «раком», а долго-долго перед собой притворялся, что нет ничего, пустяки, и сколько терпелу было — оттягивал, не шёл к врачам. И когда уже пошёл, и от диспансера к диспансеру дослали его в раковый, а здесь всем до одного больным говорили, что у них — не рак, — Ефрем не захотел смекнуть, что у него, не поверил своему природному уму, а поверил своему хотению: не рак у него, и обойдётся.

А заболел у Ефрема — язык, поворотливый, ладный, незаметный, в глаза никогда не видный и такой полезный в жизни язык. За полста лет много он этим языком поупражнялся. Этим языком он себе выговаривал плату там, где не заработал. Клялся в том, чего не делал. Распинался, чему не верил. И кричал на начальство. И обкладывал рабочих. И укрючливо матюгался, подцепляя, что там святей да дороже, и наслаждался коленами многими, как соловей. И анекдоты выкладывал жирнозадые, только всегда без политики. И волжские песни пел. И многим бабам, рассеянным по всей земле, врал, что не женат, что детей нет, что вернётся через неделю и будут дом строить. «Ах, чтоб твой язык отсох!» — проклинала одна такая временная тёща. Но язык только в шибко пьяном виде отказывал Ефрему.

И вдруг — стал наращиваться. Цепляться о зубы. Не помещаться в сочном мягком зеве.

А Ефрем всё отряхивался, всё скалился перед товарищами:

— Поддуев? Ничего на свете не боётся!

И те говорили:

— Да-а, вот у Поддуева — сила воли.

А это была не сила воли, а — упятерённый страх. Не из силы воли — из страха он держался и держался за работу, как только мог откладывая операцию. Всей жизнью своей Поддубов был подготовлен к жизни, а не к умиранию. Этот переход был ему свыше сил, он не знал путей этого перехода — и отгонял его от себя тем, что был на ногах и каждый день как ни в чём не бывало шёл на работу и слышал похвалы своей воле.

Не дался он операции, и лечение начали иголками: впускали в язык иголки, как грешнику в аду, и по несколько суток держали. Так хотелось Ефрему этим и обойтись, так он надеялся! — нет. Распухал язык. И уже не найдя в себе той силы воли, быковатую голову опустив на белый амбулаторный стол, Ефрем согласился.

Операцию делал Лев Леонидович — и замечательно сделал! Как обещал: укоротился язык, сузился, но быстро привыкал обращаться снова и всё то же говорить, что и раньше, только, может, не так чисто. Ещё покололи иголками, отпустили, вызвали, и Лев Леонидович сказал: «А теперь через три месяца приезжай, и ещё одну операцию сделаем — на шее. Эта — лёгкая будет».

Но таких «лёгких» на шее Поддубов тут уже насмотрелся и не явился в срок. Ему присылали по почте вызовы — он на них не отвечал. Он вообще привык на одном месте долго не жить и шутя мог сейчас завестись хоть на Колыму, хоть в Хакасию. Нигде его не держало ни имущество, ни квартира, ни семья — только любил он вольную жизнь да деньги в кармане. А из клиники писали: сами не явитесь, приведём через милицию. Вот какая власть была у ракового диспансера даже над теми, у кого вовсе не рак.

Он поехал. Он мог, конечно, ещё не дать согласия, но Лев Леонидович щупал его шею и крепко ругал за задержку. И Ефрема порезали справа и слева по шее, как режутся ножами блатари, и долго он тут лежал в обмоте, а выпустили, качая головами.

Но уже в вольной жизни не нашёл он прежнего вкуса: разонравились ему и работа и гулянки, и питьё и курё. На шее у него не мягчело, а брякло, и потягивало, и покалывало, и постреливало, даже и в голову. Болезнь поднималась по шее едва не к ушам.

И когда месячишко назад он вернулся опять всё к тому же старому зданию из серого кирпича с добротной открытой расшивкой швов, и взошёл на то же полированное тысячами ног крылечко меж тополей, и хирурги тотчас за него схватились, как за родного, и опять он был в полосатом больничном и в той же палате близ операционной с окнами, упёртыми в задний забор, и ожидал

операцию, по бедной шее вторую, а общим счётом третью, — Ефрем Поддуев больше не мог себе врать и не врал. Он сознался, что у него — рак.

И теперь, порываясь к равенству, он стал и всех соседей убеждать, что рак и у них. Что никому отсюда не вырваться. Что всем сюда вернуться. Не то чтоб он находил удовольствие давить и слушать, как похрущивают, а пусть не врут, пусть правду думают.

Ему сделали третью операцию, больней и глубже. Но после неё на перевязках доктора что-то не веселели, а буркали друг другу не по-русски и обматывали всё плотней и выше, сращивая бинтами голову с туловищем. И в голову ему стреляло всё сильней, всё чаще, почти уже и подряд.

Итак, что ж было прикидываться? За раком надо было принять и дальше — то, от чего он жмурился и отворачивался два года: что пора Ефрему подышать. Так, со злорадством, оно даже легче получалось: не умирать — подышать.

Но это можно было только выговорить, а ни умом вообразить, ни сердцем представить: как же так может с ним, с Ефремом? Как же это будет? И что надо делать?

От чего он прятался за работой и между людей — то подошло теперь один на один и душило повязкой по шее.

И ничего он не мог услышать в помощь от соседей — ни в палатах, ни в коридорах, ни на нижнем этаже, ни на верхнем. Всё было переговорено — а всё не то.

Вот тут его и замотало от окна к двери и обратно, по пять часов в день и по шесть. Это он бежал искать помощи.

Сколько жил Ефрем и где ни бывал (а не бывал он только в главных городах, окраины все прочесал) — и ему и другим всегда было ясно, что от человека требуется. От человека требуется или хорошая специальность, или хорошая хватка в жизни. От того и другого идут деньги. И когда люди знакомятся, то за как зовут сразу идёт: кем работаешь, сколько получаешь. И если человек не успел в заработках, значит — или глупый, или несчастный, а в общем, так себе человечешко.

И такую вполне понятную жизнь видел Поддуев все эти годы и на Воркуте, и на Енисее, и на Дальнем Востоке, и в Средней Азии. Люди зарабатывали большие деньги, а потом их тратили — хоть по субботам, хоть в отпуск — разом все.

И было это складно, это годилось, пока не заболели люди раком или другим смертельным. Когда ж заболели, то становилось

ничто и их специальность, и хватка, и должность, и зарплата. И по оказавшейся их тут беспомощности и по желанию врать себе до последнего, что у них не рак, выходило, что все они — слабаки и что-то в жизни упустили.

Но что же?

Смолоду слышал Ефрем да и знал про себя и про товарищей, что они, молодые, росли умней своих стариков. Старики и до города за весь век не доезжали, боялись, а Ефрем в тринадцать лет уже скакал, из нагана стрелял, а к пятидесяти всю страну, как бабу, перещупал. Но вот сейчас, ходя по палате, он вспоминал, как умирали те старые в их местности на Каме — хоть русские, хоть татары, хоть вотяки. Не пыжились они, не отбивались, не хвастали, что не умрут, — все они принимали смерть спокойно. Не только не оттягивали расчёт, а готовились потихоньку и загодя, назначали, кому кобыла, кому жеребёнок, кому зипун, кому сапоги. И отходили облегчённо, будто просто перебирались в другую избу. И никого из них нельзя было бы напугать раком. Да и рака-то ни у кого не было.

А здесь, в клинике, уж кислородную подушку сосёт, уж глазами еле ворочает, а языком всё доказывает: не умру! у меня не рак!

Будто куры. Ведь каждую ждёт нож по глотке, а они всё кудахчут, всё за кормом роются. Унесут одну резать, а остальные роются.

Так день за днём вышагивал Поддубов по старому полу, качая половицами, но ничуть ему не становилось ясней, чем же надо встречать смерть. Придумать этого было — нельзя. Услышать было — не от кого. И уж меньше всего ожидал бы он найти это в какой-нибудь книге.

Когда-то он четыре класса кончил, когда-то и строительные курсы, но собственной тяги читать у него не было: вместо газет шло радио, а книги представлялись ему совсем лишними в обиходе, да в тех диковатых дальних местах, где протаскался он жизнь за то, что там платили много, он и не густо видал книжечеев. Поддубов читал по нужде — брошюры по обмену опытом, описания подъёмных механизмов, служебные инструкции, приказы и «Краткий Курс» до Четвёртой главы. Тратить деньги на книги или в библиотеку за ними переться — находил он просто смешным. Когда же в дальней дороге или в ожидании ему попадалась какая — прочитывал он страниц двадцать-тридцать, но всегда бросал, ничего не найдя в ней по умному направлению жизни.

И здесь, в больнице, лежали на тумбочках и на окнах — он до них не дотрагивался. И эту синенькую с золотой росписью тоже бы не стал читать, да всучил её Костоглотов в самый пустой тошный вечер. Подложил Ефрем две подушки под спину и стал просматривать. И тут ещё он бы не стал читать, если б это был роман. Но это были рассказы маленькие, которых суть выяснялась в пяти-шести страницах, а иногда в одной. В оглавлении их было насыпано, как гравия. Стал читать Поддуев названия, и повеяло на него сразу, что идёт как бы о деле. «Труд, смерть и болезнь». «Главный закон». «Источник». «Упустишь огонь — не потушишь». «Три старца». «Ходите в свете, пока есть свет».

Ефрем раскрыл какой поменьше. Прочёл его. Захотелось подумать. Он подумал. Захотелось этот же рассказик ещё раз перечесть. Перечёл. Опять захотелось подумать. Опять подумал.

Так же вышло и со вторым.

Тут погасили свет. Чтобы книгу не упёрли и утром не искать, Ефрем сунул её к себе под матрас. В темноте он ещё рассказывал Ахмаджану старую басню, как делил Аллах лета жизни и что много ненужных лет досталось человеку (впрочем, сам он не верил в это, никакие лета не представились бы ему ненужными, если бы здоровье). А перед сном ещё думал о прочтённом.

Только в голову шибко стреляло и мешало думать.

Утро в пятницу было пасмурное и, как всякое больничное утро, — тяжёлое. Каждое утро в этой палате начиналось с мрачных речей Ефрема. Если кто высказывал какую надежду или желание, Ефрем тут же его охлаживал и давил. Но сегодня ему была нехоть смертная открывать рот, а приудобился он читать эту тихую спокойную книгу. Умываться ему было почти лишнее, потому что даже защёчья его были подбинтованы; завтрак можно было съесть в постели; а обхода хирургических сегодня не было. И, медленно переворачивая шершавую толстоватую бумагу этой книги, Ефрем помалкивал, почитывал да подумывал.

Прошёл обход лучевых, погавкал на врача этот золотоочкастый, потом струсил, его укололи; качал права Костоглотов, уходил, приходил; выписался Азовкин, попрощался, ушёл согнутый, держась за живот; вызывали других — на рентген, на вливания. А Поддуев так и не вылез топтать дорожку меж кроватей, читал себе и молчал. С ним разговаривала книга, не похожая ни на кого, занятно.

Целую жизнь он прожил, а такая серьёзная книга ему не попадалась.

Хотя вряд ли бы он стал её читать не на этой койке и не с этой шеей, стреляющей в голову. Рассказиками этими едва ли можно было прошибить здорового.

Ещё вчера заметил Ефрем такое название: «Чем люди живы?» До того это название было вылеплено, будто сам же Ефрем его и составил. Топча больничные полы и думая, не назвав, — об этом самом он ведь и думал последние недели: чем люди живы?

Рассказ был немаленький, но с первых же слов читался легко, ложился на сердце мягко и просто:

«Жил сапожник с женой и детьми у мужика на квартире. Ни дома своего, ни земли у него не было, и кормился он с семьёю сапожной работой. Хлеб был дорогой, а работа дешёвая, и что зарабатывает, то и проест. Была у сапожника одна шуба с женой, да и та изнасилась в лохмотья».

Понятно это было всё, и дальше очень понятно: сам Семён поджарый и подмастерье Михайла худощавый, а барин:

«как с другого света человек: морда красная, налитая, шея как у быка, весь как из чугуна вылит... С житья такого как им гладким не быть, этакого заклепа и смерть не возьмёт».

Повидал таких и Ефрем довольно: Карашук, начальник угле-треста, такой был, и Антонов такой, и Чечев, и Кухтиков. Да и сам Ефрем не начинал ли на такого вытягивать?

Медленно, как по слогам разбирая, Поддубев прочёл весь рассказ до конца.

Это уж было к обеду.

Не хотелось Ефрему ни ходить, ни говорить. Как будто что в него вошло и повернуло там. И где раньше были глаза — теперь глаз не было. И где раньше рот приходился — теперь не стало рта.

Первую-то, грубую, стружку с Ефрема сняла больница. А теперь — только строгай.

Всё так же, подмятая подушками и подтянув колена, а при коленях держа закрытую книгу, Ефрем смотрел на пустую белую стенку. День наружный был без просвета.

На койке против Ефрема с самого укола спал этот белорылый курортник. Накрыли его потяжелей от озноба.

На соседней койке Ахмаджан играл с Сибгатовым в шашки. Языки их мало сходились, и разговаривали они друг с другом порусски. Сибгатов сидел так, чтоб не кривить и не гнуть больную спину. Он ещё был молодой, но на темени волосы прореженные-прореженные.

А у Ефрема ни волосинки ещё не упало, буйных бурых — чаща, не продерётся. И до сих была при нём вся сила на баб. А как бы уже — ни к чему.

Сколько Ефрем этих баб охобачивал — представить себе нельзя. Ещё вначале вёл им счёт, жёнам — особо, потом не утруждался. Первая его жена была — Аминá, белолицая татарка из Елабуги, чувствительная очень: кожа на лице такая тонкая, едва костяшками её тронь — и кровь. И ещё непокорчивая — сама ж с девчёнкой и ушла. С тех пор Ефрем позора не допускал и покидал баб всегда первый. Жизнь он вёл перелётную, свободную, то вербовка, то договор, и семью за собой таскать было б ему несручно. Хозяйку он на всяком новом месте находил. А у других, встречных-поперечных, вольных и невольных, и имена не всегда спрашивал, а только расплачивался по уговору. И смешались теперь в его памяти лица, повадки и обстоятельства, и запоминалось только, если как-нибудь особенно. Так запомнил он Евдошку, инженерову жену, как во время войны на перроне станции Алма-Ата-1 стояла она под его окном, задом виляла и просилась. Их ехал целый штат в Или, открывать новый участок, и провожали их многие из треста. Тут же и муж Евдошки, затруханный, недалеко стоял, кому-то что-то доказывал. А паровоз первый раз дёрнул. «Ну! — крикнул Ефрем и вытянул руки. — Если любишь — полезай сюда, поехали!» И она уцепилась, вскарабкалась к нему в окно вагона на виду у треста и у мужа — и поехала пожить с ним две недельки. Вот это он запомнил — как втаскивал Евдошку в вагон.

И так, что увидел Ефрем в бабах за всю жизнь, это привязчивость. Добыть бабу — легко, а вот с рук скачать — трудно. Хоть везде говорилось «равенство», и Ефрем не возражал, но нутром никогда он женщин за полных людей не считал — кроме первой своей жёнки Амины. И удивился бы он, если б другой мужик стал ему серьёзно доказывать, что плохо он поступает с бабами.

А вот по этой чудной книге так получалось, что Ефрем же во всём и виноват.

Зажгли прежде времени свет.

Проснулся этот чистюля с желвью под челюстью, вылез лысой головёнкой из-под одеяла и поскорей напялил очки, в которых выглядел профессором. Сразу всем объявил о радости: что укол перенёс он ничего, думал хуже будет. И нырнул в тумбочку за курятиной.

Этим хилякам, Ефрем замечал, только курятину подавай. На барашку и ту они говорят: «тяжёлое мясо».

На кого-нибудь другого хотел бы смотреть Ефрем, но для того надо было всем корпусом поворачивать. А прямо смотреть — он видел только этого поносника, как тот глодает курячью косточку.

Поддуев закрыхтел и осторожно повернул себя направо.

— Вот, — объявил и он громко. — Тут рассказ есть. Называется: «Чем люди живы». — И усмехнулся. — Такой вопрос, кто ответит? — чем люди живы?

Сибгатов и Ахмаджан подняли головы от шашек. Ахмаджан ответил уверенно, весело, он выздоравливал:

— Довольствием. Продуктовым и вещевым.

До армии он жил только в ауле и говорил по-узбекски. Все русские слова и понятия, всю дисциплину и всю развязность он принёс из армии.

— Ну, ещё кто? — хрипло спрашивал Поддуев. Загадка книги, неожиданная для него, была-таки и для всех нелёгкая. — Кто ещё? Чем люди живы?

Старый Мурсалимов по-русски не понимал, хоть, может, ответил бы тут лучше всех. Но пришёл делать ему укол медбрат Тургун, студент, и ответил:

— Зарплатой, чем!

Прошка чернявый из угла навострился, как в магазинную витрину, даже рот приоткрыл, а ничего не высказывал.

— Ну, ну! — требовал Ефрем.

Дёмка отложил свою книгу и хмурился над вопросом. Ту, что была у Ефрема, тоже в палату Дёмка принёс, но читать её у него не получилось: она говорила совсем не о том, как глухой собеседник отвечает тебе не на вопрос. Она расслабляла и всё запутывала, когда нужен был совет к действию. Поэтому он не прочёл «Чем люди живы» и не знал ответа, ожидаемого Ефремом. Он готовил свой.

— Ну, пацан! — подбодрял Ефрем.

— Так, по-моему, — медленно выговаривал Дёмка, как учителю у доски, чтоб не ошибиться, и ещё между словами додумывая. — Раньше всего — воздухом. Потом — водой. Потом — едой.

Так бы и Ефрем ответил прежде, если б его спросили. Ещё б только добавил — спиртом. Но книга совсем не в ту сторону тянула.

Он чмокнул.

— Ну, ещё кто?

Прошка решился:

— Квалификацией.

Опять-таки верно, всю жизнь так думал и Ефрем.

А Сибгатов вздохнул и сказал, стесняясь:

— Родиной.

— Как это? — удивился Ефрем.

— Ну, родными местами... Чтоб жить, где родился.

— А-а-а... Ну, это необязательно. Я с Камы молодым уехал, и нипочём мне, есть она там, нет. Река и река, не всё ль равно?

— В родных местах, — тихо упорствовал Сибгатов, — и болезнь не привяжется. В родных местах всё легче.

— Ладно. Ещё кто?

— А что? А что? — отозвался приободренный Русанов. — Какой там вопрос?

Ефрем, кряхтя, повернул себя налево. У окон были койки пусты и оставался один только курортник. Он объедал куриную ножку, двумя руками держа её за концы.

Так и сидели они друг против друга, будто чёрт их назло посадил. Прищурился Ефрем.

— Вот так, профессор: чем люди живы?

Ничуть не затруднился Павел Николаевич, даже и от курицы почти не оторвался:

— А в этом и сомнения быть не может. Запомните. Люди живут: идейностью и общественным благом.

И выкусил самый тот сладкий хрящик в суставе. После чего, кроме грубой кожи у лапы и висящих жилок, ничего на костях не осталось. И он положил их поверх бумажки на тумбочку.

Ефрем не ответил. Ему досадно стало, что хляк вывернулся ловко. Уж где идейность — тут заткнись.

И, раскрыв книгу, уставился опять. Сам для себя он хотел понять — как же ответить правильно.

— А про что книга? Что пишут? — спросил Сибгатов, останавливаясь в шашках.

— Да вот... — Поддуев прочёл первые строки. — «Жил сапожник с женой и детьми у мужика на квартере. Ни дома своего, ни земли у него не было...»

Но читать вслух было трудно и длинно, и, подмощённый подушками, он стал перелагать Сибгатову своими словами, сам стараясь ещё раз охватить:

— В общем, сапожник запивал. Вот шёл он пьяненький и подобрал замерзающего, Михайлу. Жена ругалась — куда, мол, ещё дармоеда. А Михайла стал работать без разгиба и научился шить лучше сапожника. Раз, по зиме, приезжает к ним барин, дорогу

кожу привозит и такой заказ: чтоб сапоги носились, не кривились, не поролись. А если кожу сапожник загубит — с себя отдаст. А Михайла странно как-то улыбался: там, за барином, в углу видел что-то. Не успел барин уехать, Михайла эту кожу раскрыл и испортил: уже не сапоги вытяжные на ранту могли получиться, а только вроде тапочек. Сапожник за голову схватился: ты ж, мол, зарезал меня, что ты делаешь? А Михайла говорит: припасает себе человек на год, а не знает, что не будет жив до вечера. И верно: ещё в дороге барин очоурился. И барыня дослала к сапожнику пацана: мол, сапог шить не надо, а поскорей давайте тапочки. На мёртвого.

— Ч-чёрт его знает, чушь какая! — отозвался Русанов, с шипением и возмущением выговаривая «ч». — Неужели другую пластинку завести нельзя? За километр несёт, что мораль не наша. И чем же там — люди живы?

Ефрем перестал рассказывать и перевёл набрякшие глаза на лысого. Ему то и досаждало, что лысый едва ли не угадал. В книге написано было, что живы люди не заботой о себе, а любовью к другим. Хилиак же сказал: общественным благом.

Оно как-то сходилось.

— Живы чем? — Даже и вслух это не выговаривалось. Неприлично вроде. — Мол, любовью...

— Лю-бо-вью!?!.. Не-ет, это не наша мораль! — потешались золотые очки. — Слушай, а кто это всё написал?

— Чего? — промычал Поддуев. Угибали его куда-то от сути в сторону.

— Ну, написал это всё — кто? Автор?.. Ну, там, вверху на первой странице посмотри.

А что было в фамилии? Что она имела к сути — к их болезням? к их жизни или смерти? Ефрем не имел привычки читать на книгах эту верхнюю фамилию, а если читал, то забывал тут же.

Теперь он всё же отлистнул первую страницу и прочёл вслух:

— Толс-той.

— Н-не может быть! — запротестовал Русанов. — Учтите: Толстой писал только оптимистические и патриотические вещи, иначе б его не печатали. «Хлеб». «Пётр Первый». Он — трижды лауреат Сталинской премии, да будет вам известно!

— Так это — не тот Толстой! — отозвался Дёмка из угла. — Это у нас — Лев Толстой.

— Ах не то-от? — растянул Русанов с облегчением отчасти, а отчасти кривясь. — Ах это другой... Это который — зеркало русской

революции, рисовые котлетки?.. Так сю-сюкалка ваш Толстой! Он во многом, оч-чень во многом не разбирался. А злу надо противиться, паренёк, со злом надо бороться!

— И я так думаю, — глухо ответил Дёмка.

9

У Евгении Устиновны, старшего хирурга, не было почти ни одного обязательного хирургического признака — ни того волевого взгляда, ни той решительной складки лба, ни того железного зажима челюстей, которые столько описаны. На шестом десятке лет, если волосы она все убирала во врачебную шапочку, видевшие её в спину часто окликали: «Девушка, скажите, а... ?» Однако она оборачивала лицо усталое, с негладкой излишней кожей, с подглазными мешками. Она выравнивала это постоянно яркими окрашенными губами, но краску приходилось накладывать в день не раз, потому что всю её она истирала о папиросы.

Всякую минуту, когда она была не в операционной, не в перевязочной и не в палате, — она курила. Оттуда же она улучала выбежать и набрасывалась на папиросу так, будто хотела её съесть. Во время обхода она иногда поднимала указательный и средний пальцы к губам, и потом можно было спорить, не курила ли она и на обходе.

Вместе с главным хирургом Львом Леонидовичем, действительно рослым мужчиной с длинными руками, эта узенькая постаревшая женщина делала все операции, за какие бралась их клиника, — пилила конечности, вставляла трахеотомические трубки в стенку горла, удаляла желудки, добиралась до всякого места кишечника, разбойничала в лоне тазового пояса, а к концу операционного дня ей доставалось, как работа уже несложная и виртуозно освоенная, удалить одну-две молочные железы, поражённые раком. Не было такого вторника и не было такой пятницы, чтобы Евгения Устиновна не вырезала женских грудей, и санитарке, убиравшей операционную, она говорила как-то, куря ослабевшими губами, что, если бы все эти груди, удалённые ею, собрать вместе, получился бы холм.

Евгения Устиновна была всю жизнь только хирург, никто вне хирургии, а всё же помнила и понимала слова толстовского казака

Ерошки о европейских врачах: «Только резать и умеют. Стало, дураки. А вот в горах дохтура настоящие. Травы знают».

«Только резать»? Нет, не так понимала Евгения Устиновна хирургию! Когда-то им, ещё студентикам, с кафедры объявил прославленный хирург: «Хирургия должна быть благодеянием, а не жестокостью! Не причинять боль, а освобождать от боли! Латинская поговорка говорит: успокаивать боли — удел божественный!»

Но даже первый шаг против боли — обезболивание — тоже есть боль.

Не радикальность, не дерзость, не новизна привлекали Евгению Устиновну в операциях, а наоборот — как можно большая незаметность, даже нежность, как можно большая внутренняя разумность — и только. И счастливыми считала она те свои предоперационные ночи, когда в полусонный мозг её вдруг подавался, как на лифте, откуда-то неожиданный новый план операции, не тот, который она записала на карточке, а мягче. С проясневшей головой она вскакивала, записывала — а утром рисковала в последний час сменить. И часто это бывали лучшие её операции.

И если бы завтра лучевая, химическая, травная терапия или какая-нибудь световая, цветовая, телепатическая смогли бы спасти её больных помимо ножа и хирургии грозило бы исчезнуть из практики человечества, — Евгения Устиновна не защищала бы её ни дня.

Потому что самые-то, самые-то лучшие операции были те, от которых она вообще сумела отказаться! самые-то благодеянные для больного — те, которые она догадалась и сумела заменить, обойти, отсрочить. И в этом был прав Ерошка! И этот поиск в себе она больше всего хотела бы не потерять.

Но теряла... За тридцать пять лет работы с ножом она привыкла к страданиям. И грубела. И уставала. Уже не вспыхивало этих ночей со сменой планов. Всё меньше виделась особенность каждой операции, всё больше — их конвейерная однообразность.

Одна из утомительных необходимостей человечества — та, что люди не могут освежить себя в середине жизни, круто сменив род занятий.

На обход они приходили обычно втроем-вчетвером: Лев Леонидович, она и ординаторы. Но несколько дней назад Лев Леонидович уехал в Москву на семинар по операциям грудной клетки. Она же в эту субботу вошла в мужскую верхнюю палату почему-то совсем одна — без лечащего и даже без сестры.

Даже не вошла, а тихо стала в дверном проёме и прикачнулась к косяку. Это было движение девичье. Совсем молодая девушка может так прислониться, зная, что это мило выглядит, что это лучше, чем стоять с ровной спиной, ровными плечами, прямой головой.

Она стала так и задумчиво наблюдала за дёминой игрой. Дёма, вытянув по кровати больную ногу, а здоровую калачиком подвернув, — на неё, как на столик, положил книгу, а над книгой строил что-то из четырёх длинных карандашей, держа их обеими руками. Он рассматривал эту фигуру и долго б так, но его окликнули. Он поднял голову и свёл растопыренные карандаши.

— Что это ты, Дёма, строишь? — печально спросила Евгения Устиновна.

— Теорему! — бодро ответил он, громче нужного.

Так они сказали, но внимательно смотрели друг на друга, и ясно было, что не в этих словах дело.

— Ведь время уходит, — пояснил Дёма, но не так бодро и не так громко.

Она кивнула.

Помолчала, всё так же прислонённая к косяку — нет, не по девичьи, а от усталости.

— А дай-ка я тебя посмотрю.

Всегда рассудительный, Дёма возразил оживлённой обычного:

— Вчера Людмила Афанасьевна смотрела! Сказала — ещё будем облучать!

Евгения Устиновна кивала. Какое-то печальное изящество было в ней.

— Вот и хорошо. А я всё-таки посмотрю.

Дёма нахмурился. Он отложил стереометрию, подтянулся по кровати, давая место, и оголил больную ногу до колена.

Евгения Устиновна присела рядом. Она без усилия вскинула рукава халата и платья почти до локтей. Тонкие гибкие руки её стали двигаться по дёминой ноге как два живых существа.

— Больно? Больно? — только спрашивала она.

— Есть. Есть, — подтверждал он, всё сильнее хмурясь.

— Ночью чувствуешь ногу?

— Да... Но Людмила Афанасьевна...

Евгения Устиновна ещё покивала понимающей головой и потрепала по плечу.

— Хорошо, дружок. Облучайся.

И ещё они посмотрели в глаза друг другу.

В палате стало совсем тихо, и каждое их слово слышно.

А Евгения Устиновна поднялась и обернулась. Там, у печи, должен был лежать Прошка, но он вчера вечером перелёг к окну (хотя и была примета, что не надо ложиться на койку того, кто ушёл умирать). А кровать у печи теперь занимал невысокий тихий белобрысый Генрих Федерату, не совсем новичок для палаты, потому что уже три дня он лежал на лестнице. Сейчас он встал, опустил руки по швам и смотрел на Евгению Устиновну приветливо и почтительно. Ростом он был ниже её.

Он был совсем здоров! У него нигде ничего не болело! Первой операцией его вполне излечили. И если он явился опять в раковый корпус, то не с жалобой, а из аккуратности: написано было в справке — прибыть на проверку 1 февраля 1955 года. И издали, с трудными дорогами и пересадками, он явился не 31 января и не 2 февраля, а с той точностью, с какой луна является на назначенные ей затмения.

Его же опять положили зачем-то в стационар.

Сегодня он очень надеялся, что его отпустят.

Подошла высокая сухая Мария с изгасшими глазами. Она несла полотенце. Евгения Устиновна протёрла руки, подняла их, всё так же открытые до локтей, и в такой же полной тишине долго делала накатывающие движения пальцами на шее у Федерату, и, велел расстегнуться, ещё во впадинах у ключиц, и ещё под мышками. Наконец сказала:

— Всё хорошо, Федерату. Всё у вас очень хорошо.

Он осветился, как награждённый.

— Всё хорошо, — ткнула она ласково и опять накатывала у него под нижней челюстью. — Ещё маленькую операцию сделаем — и всё.

— Как? — осунулся Федерату. — Зачем же, если всё хорошо, Евгения Устиновна?

— А чтоб ещё было лучше, — бледно улыбнулась она.

— Здесь? — показал он режущим движением ладони по шее наискосок. Выражение его мягкого лица стало просительное. У него были бледно-белесые реденькие волосы, белесые брови.

— Здесь. Да не беспокойтесь, у вас ничего не запущено. Давайте готовить вас на этот вторник. — (Мария записала.) — А к концу февраля поедете домой, и чтоб уж к нам не возвращаться.

— И опять будет «проверка»? — пробовал улыбнуться Федерату, но не получилось.

— Ну, разве что проверка, — улыбнулась в извинение она. Чем она могла подкрепить его, кроме своей утомлённой улыбки?

И, оставив его стоять, а потом сесть и думать, она пошла дальше по комнате. По пути ещё чуть улыбнулась Ахмаджану (она его резала в паху три недели назад) — и остановилась у Ефрема.

Он уже ждал её, книжку синюю сбросив рядом. С широкой головой, с непомерно утолщённой, обинтованной шеей и в плечах широкий, а с ногами поджатыми, он полусидел в кровати каким-то неправдоподобным коротышкой. Он смотрел на неё исподлобья, ожидая удара.

Она облокотилась о спинку его кровати и два пальца держала у губ, как бы курила.

— Ну, как настроение, Поддуев?

Только и было болтать что о настроении! Ей поговорить и уйти, ей номер отбить.

— Резать — надоело, — высказал Ефрем.

Она подняла бровь, будто удивилась, что резать может надо-есть.

Ничего не говорила.

И он уже сказал довольноно.

Они молчали, как в размолвке. Как перед разлукой.

— Ведь опять же по тому месту? — даже не спросил, а сам сказал Ефрем.

(Он хотел выразить: как же вы раньше резали? Что ж вы думали? Но, никогда не щадивший никаких начальников, всем лепивший в лицо, Евгению Устиновну он поберёт. Пусть сама догадается.)

— Рядышком, — отличила она.

(Что ж говорить тебе, горемыка, что рак языка — это не рак нижней губы? Подчелюстные узлы уберёшь, а вдруг оказывается, что затронуты глубинные лимфопути. Этого нельзя было резать раньше.)

Крякнул Ефрем, как потянувши не в силу.

— Не надо. Ничего не надо.

Да она что-то и не уговаривала.

— Не хочу резать. Ничего больше не хочу.

Она смотрела и молчала.

— Выписывайте!

Смотрела она в его рыжие глаза, после многого страха перешагнувшие в безстрашие, и тоже думала: зачем? Зачем его мучить, если нож не успевал за метастазами?

— В понедельник, Поддуев, разматаем — посмотрим. Хорошо? (Он требовал выписывать, но как ещё надеялся, что она скажет: «Ты с ума сошёл, Поддуев? Что значит выписывать? Мы тебя лечить будем! Мы вылечим тебя!..» А она — соглашалась. Значит, мертвяк.)

Он сделал движение всем туловищем, означавшее кивок. Ведь головой отдельно он не мог кивнуть.

И она прошла к Прощке. Тот встал ей навстречу и улыбался. Ничуть его не осматривая, она спросила:

— Ну, как вы себя чувствуете?

— Та гарно, — ещё шире улыбнулся Прощка. — Оци таблетки мэни допомоглы.

Он показал флакончик с поливитаминами. Он уж не знал, как её лучше удобрить. Как уговорить её, чтоб она не задумала резать!

Она кивнула таблеткам. Протянула руку к левой стороне его груди:

— А тут? Покальвает?

— Та трохи ё.

Она ещё кивнула:

— Сегодня выписываем вас.

Вот когда обрадовался Прощка! Так и полезли в гору чёрные брови:

— Та шо вы?! А операции — нэ будэ, ни?

Она качала головой, бледно улыбаясь.

Неделю его шупали, загоняли в рентген четыре раза, то сажали, то клали, то поднимали, водили к каким-то старикам в белых халатах — уж он ожидал себе лихой хворобы — и вдруг отпускали без операции!

— Так я здоров?!

— Не совсем.

— Оци таблетки дуже гарны, га? — Чёрные глаза его сверкали пониманием и благодарностью. Ему приятно было, что своим лёгким исходом он радует и её.

— Такие таблетки будете сами в аптеках покупать. А я вам ещё пропишу, тоже попьёте. — И повернула голову к сестре: — Аскорбиновую.

Мария строго наклонила голову и записала в тетрадь.

— Только точно три раза в день, точно! Это важно! — внушала Евгения Устиновна. (Внушение было важней самого лекарства.) — И придётся вам поберечься! Вам не надо быстро ходить. Не надо поднимать тяжёлого. Если наклоняться — то осторожно.

Прошка рассмеялся, довольный, что и она не всё на свете понимает.

— Як то — важкóго нэ пиднимать? Я — тракторист.

— А вы сейчас пока работать не будете.

— А чога ж? По бюлэтню?

— Нет. Вы сейчас по нашей справке получите инвалидность.

— Инвалидность? — Прошка диковато на неё посмотрел. — Та на якэ мэни льхо инвалидность? Як я на ии жить буду? Я ще молодой, я робыть хочу.

Он выставил свои здоровые с грубоватыми пальцами руки, просящиеся в работу.

Но это не убедило Евгению Устиновну.

— Вы в перевязочную спуститесь через полчаса. Будет готова справка, и я вам объясню.

Она вышла, и негнушаяся худая Мария вышла за ней.

И сразу в палате заговорили в несколько глоток. Прошка — об этой инвалидности, на кой она, обговорить с хлопцами, но другие толковали о Федерату. Это разительно было для всех: вот чистая, белая, ровная шея, ничего не болит — и операция!

Поддуев в кровати повернулся на руках корпусом с поджатыми ногами (это вышло — как поворачивается безногий) и закричал сердито, даже покраснел:

— Не давайся, Генрих! Не будь дурак! Начнут резать — зарежут, как меня.

Но и Ахмаджан мог судить:

— Надо резать, Федерату! Они даром не скажут.

— Зачем же резать, если не болит? — возмутился Дёма.

— Да ты что, браток? — басил Костоготов. — С ума сойти, здоровую шею резать.

Русанов морщился от этих криков, но не стал никому делать замечаний. Вчера после укола он очень повеселел, что легко его перенёс. Однако по-прежнему опухоль под шеей всю ночь и утро, и мешала ему двигать головой, и сегодня он чувствовал себя вполне несчастным, что ведь она не уменьшается.

Правда, приходила доктор Гангарт. Она очень подробно спросила Павла Николаевича о каждом оттенке его самочувствия вчера, и ночью, и сегодня, и о степени слабости, и объясняла, что опухоль не обязательно должна податься после первого укола, даже это вполне нормально, что не подалась. Отчасти она его успокоила. Он присмотрелся к Гангарт — у неё неглупое лицо. В конце

концов, в этой клинике тоже не самые последние врачи, опыт у них есть, надо уметь с них потребовать.

Но успокоения его хватило ненадолго. Врач ушла, а опухоль торчала под челюстью и давила, а больные несли своё, а вот предлагали человеку резать совсем здоровую шею. У Русанова же какая бубуля — и не режут! и не предлагают. Неужели так плохо?

Позавчера, войдя в палату, Павел Николаевич не мог бы себе представить, что так быстро почувствует себя в чём-то соединённым с этими людьми.

Ведь о шее шла речь. У троих у них — о шее.

Генрих Якобович очень расстроился. Слушал всё, что ему советовали, и улыбался растерянно. Все уверенно говорили, как ему поступить, только сам он своё дело видел смутно. (Как они смутно видели своё собственное.) И резать было опасно, и не резать было опасно. Он уже посмотрелся и повыспрашивал здесь, в клинике, ещё прошлый раз, когда ему лечили рентгеном нижнюю губу, как вот сейчас Егенбердиеву. С тех пор струп на губе и раздулся, и высох, и отвалился, но он понимал, зачем режут шейные железы: чтоб не дать продвигаться раку дальше.

Однако вот Поддуеву два раза резали — и что, помогло?..

А если рак никуда и не думает ползти? Если его уже нет?

Во всяком случае надо было посоветоваться с женой, а особенно с дочерью Генриеттой, самой образованной и решительной у них в семье. Но он занимает здесь койку, и клиника не станет ждать оборота писем (а ещё от станции к ним, в глубь степи, почту возят два раза в неделю, и то лишь по хорошей дороге). Выписываться же и ехать на совет домой — очень трудно, трудней, чем это понимают врачи и те больные, которые ему так легко советуют. Для этого надо закрыть в здешней городской комендатуре отпускное свидетельство, только что выхлопотанное с трудом, сняться с временного учёта и ехать; сперва в лёгком пальтеце и полуботинках, как он сейчас, ехать поездом до маленькой станции, там надевать полушубок и валенки, оставленные на хранение у незнакомых добрых людей, — потому что там погода не здешняя, там ещё лютые ветры и зима, — и сто пятьдесят километров трястись-качаться до своей МТС, может быть не в кабине, а в кузове; и тотчас же, приехав домой, писать заявление в областную комендатуру и две-три-четыре недели ждать разрешения на новый выезд; и когда оно придёт — опять отпрашиваться с работы, а как раз потает снег, развезёт дорогу и машины станут; и потом на маленькой станции, где останав-

ливаются два поезда в сутки, каждый по минуте, мотаться отчаянно от кондуктора к кондуктору, который бы посадил; и, приехав сюда, в здешней комендатуре опять становится на временный учёт и потом ещё сколько-то дней ждать очереди на место в клинике.

Тем временем обсуждали дела Прошки. Вот и верь дурным приметам! — лёг на плохую койку! Его поздравляли и советовали подчиниться инвалидности, пока дают. Дают — бери! Дают — значит, надо. Дают, а потом отнимут. Но Прошка возражал, что хочет работать. Да ещё, мол, наработаешься, дурак, жизнь длинная!

Пошёл Прошка за справками. Стало в палате стихать.

Ефрем опять открыл свою книгу, но читал строки, не понимая, и скоро заметил это.

Он не понимал их, потому что дёргался, волновался, смотрел, что делается в комнате и в коридоре. Чтоб их понимать, надо было ему вспомнить, что сам он уже никуда не успеет. Ничего не изменит. Никого не убедит. Что самому ему остались считанные дни разобраться в себе самом.

И только тогда открывались строки этой книги. Они были напечатаны обычными чёрными буквочками по белой бумаге. Но мало было простой грамоты, чтоб их прочесть.

Когда Прошка уже со справками радостно поднялся по лестнице, в верхнем вестибюле он встретил Костоглотова и показал ему:

— И печати круглэньки, ось воно!

Одна справка была на вокзал с просьбой без очереди дать билет больному такому-то, перенесшему операцию. (Если не написать об операции, на вокзале больных слали в общий хвост, и они могли не уехать два дня и три.)

А в другой справке — для медицинского учреждения по месту жительства было написано:

tumor cordis, casus inoperabilis.

— Нэ зрозумию, — тыкал туда Прошка пальцем. — Шо такэ написано, га?

— Сейчас подумаю, — шурился Костоглотов с недовольным лицом.

Прошка пошёл собираться.

А Костоглотов облёгся о перила и свесил чуб над пролётом.

Никакой латыни он путём не знал, как и вообще никакого иностранного языка, как и вообще ни одной науки полностью, кроме

топографии, да и то военной, в объёме сержантских курсов. Но хотя всегда и везде он зло высмеивал образование, он ни глазом, ни ухом не пропускал нигде ни крохи, чтоб своё образование расширить. Ему достался один курс геофизического в 1938 году да неполный один курс геодезического с 46-го на 47-й год, между ними была армия и война, мало приспособленные для успеха в науках. Но всегда Костоглотов помнил пословицу своего любимого деда: дурак любит учить, а умный любит учиться — и даже в армейские годы всегда вбирал, что было полезно знать, и приклонял ухо к разумной речи, рассказывал ли что офицер из чужого полка или солдат его взвода. Правда, он так ухо приклонял, чтобы гордости не ущербнуть, — слушал вбирчиво, а вроде не очень ему это и нужно. Но зато при знакомстве с человеком никогда не спешил Костоглотов представить себя и порисоваться, а сразу доведывался, кто его знакомец, чей, откуда и каков. Это много помогало ему услышать и узнать. А уж где пришлось набраться вдосыть — это в переполненных послевоенных бутырских камерах. Там каждый вечер читались у них лекции профессорами, кандидатами и просто знающими людьми — по атомной физике, западной архитектуре, по генетике, поэтике, пчеловодству — и Костоглотов был первый слушатель всех этих лекций. Ещё под нарами Красной Пресни и на нетёсаных нарах теплушек, и когда в этапах сажали задницей на землю, и в лагерном строю — всюду он по той же дедушкиной пословице старался добрать, чего не удалось ему в институтских аудиториях.

Так и в лагере он расспросил медстатистика — пожилого робкого человечка, который в санчасти писал бумажки, а то и слали его за кипятком сбегать, и оказался тот преподавателем классической филологии и античных литератур Ленинградского университета. Костоглотов придумал брать у него уроки латинского языка. Для этого пришлось ходить в мороз по зоне туда-сюда, ни карандаша, ни бумаги при том не было, а медстатистик иногда снимал рукавичку и пальцем по снегу что-нибудь писал. (Медстатистик давал те уроки совершенно безкорыстно: он просто чувствовал себя на короткий час человеком. Да Костоглотову и платить было бы нечем. Но едва они не поплатились у опера: он порознь вызывал их и допрашивал, подозревая, что готовят побег и на снегу чертят план местности. В латынь он так и не поверил. Уроки прекратились.)

От тех уроков и сохранилось у Костоглотова, что *casus* — это «случай», *in* — приставка отрицательная. И *cor, cordis* он оттуда знал, а если б и не знал, то не было большой догадкой сообразить,

что кардиограмма — от того же корня. А слово *tumor* встречалось ему на каждой странице «Патологической анатомии», взятой у Зои. Так без труда он понял сейчас диагноз Прошки:

опухоль сердца, случай, не поддающийся операции.

Не только операции, но и никакому лечению, если ему прописывали аскорбинку.

Так что, наклонясь над лестницей, Костоготов думал не о переводе с латыни, а о принципе своём, который он вчера выставлял Людмиле Афанасьевне, — что больной должен всё знать.

Но то был принцип для таких видалых, как он.

А — Прошке?

Прошка ничего почти и в руках не нёс — не было у него имущества. Его провожали Сибгатов, Дёмка, Ахмаджан. Все трое шли осторожно: один берёт спину, другой — ногу, третий всё-таки с костыльком. А Прошка шёл весело, и белые зубы его сверкали.

Вот так вот, когда приходилось изредка, провожали и на волю.

И — сказать, что сейчас, за воротами, его арестуют опять?..

— Так шо там написано? — безопасно спросил Прошка, забирая справку.

— Ч-чёрт его знает, — скривил рот Костоготов, и шрам его скривился тоже. — Такие хитрые врачи стали, не прочтёшь.

— Ну, выздоравлийтэ! И вы уси выздоравлийтэ, хлопцы! Та до хаты! Та до жинки! — Прошка всем им пожал руки и, ещё с лестницы весело оборачиваясь, весело оборачиваясь, помахивал им.

И уверенно спускался.

К смерти.

10

Только обошла она пальцами дёмкину опухоль да приобняла за плечи — и пошла дальше. Но тем случилось что-то роковое, Дёмка почувствовал.

Он не сразу это почувствовал — сперва были в палате обсуждения и проводы Прошки, потом он примерялся перебраться на его уже теперь счастливую койку к окну — там светлей читать и близко с Костоготовым заниматься стереометрией, а тут вошёл новенький.

Это был тёмно-загоревший молодой человек со смоляными опрятными волосами, чуть завойчатыми. Лет ему было, наверно, уже двадцать со многим. Он тащил под левой мышкой три книги и под правой мышкой три книги.

— Привет, друзья! — объявил он с порога, и очень понравился Дёмке, так просто держался и смотрел искренно. — Куда мне?

А сам почему-то оглядел не койки, а стены.

— Вы — много читать будете? — спросил Дёмка.

— Всё время!

Подумал Дёмка.

— По делу или так?

— По делу!

— Ну, ложитесь вон около окна, ладно. Сейчас вам постелят.

А книги у вас о чём?

— Геология, браток, — ответил новенький.

И Дёмка прочёл на одной: «Геохимические поиски рудных месторождений».

— Ложитесь к окну, ладно. А болит что?

— Нога.

— И у меня нога.

Да, ногу одну новичок бережно переставлял, а фигура была — хоть на льду танцевать.

Новенькому постелили, и он, верно, как будто за тем и приехал: тут же разложил пять книг по подоконнику, а в шестую уткнулся. Почитал часок, ничего не спрашивая, никому не рассказывая, и его вызвали к врачам.

Дёмка тоже старался читать. Сперва стереометрию и строить фигуры из карандашей. Но теоремы ему в голову не шли. А чертежи — отсечённые отрезки прямых, зазубристо обломанные плоскости — напоминали и намекали Дёмке всё на то же.

Тогда он взял книжку полегче, «Живая вода», получила сталинскую премию. Книг очень много издавалось, прочесть их все никто не мог бы успеть. А какую прочтёшь — так вроде мог бы и не читать. Но, по крайней мере, положил Дёмка прочитывать все книги, получившие сталинскую премию. Таких было в год до сорока, их тоже Дёмка не успевал. В дёмкиной голове путались даже названия. И понятия тоже путались. Только-только он усвоил, что разбирать объективно — значит видеть вещи, как они есть в жизни, и тут же читал, как ругали писательницу, что она «стала на зыбкую засасывающую почву объективизма». Читал

Дёмка «Живую воду» и не мог разобрать, чего у него на душе такая нудь и муть.

В нём нарастало давление ущерба, тоска. Хотелось ему то ли посоветоваться? то ли пожаловаться? А то просто человечески поговорить, чтоб даже его немножко пожалели.

Конечно, он читал и слышал, что жалость — чувство унижающее: и того унижающее, кто жалеет, и того, кого жалеют.

А всё-таки хотелось, чтобы пожалели.

Здесь, в палате, было интересно послушать и поговорить, но не о том и не так, как хотелось сейчас. С мужчинами надо держать себя как мужчину.

Женщин в клинике было много, очень много, но Дёма не решился бы переступить порог их большой шумной палаты. Если бы столько было собрано там здоровых женщин — занятно было бы, идя мимо, ненароком туда заглянуть и что-нибудь увидеть. Но перед таким гнездилищем больных женщин он отводил глаза, боясь увидеть что-нибудь. Болезнь их была завесой запрета, более сильного, чем простой стыд. Некоторые из этих женщин, встречавшиеся Дёме на лестнице и в вестибюлях, были так опущены, подавлены, что плохо запахивали халаты, и ему приходилось видеть их нижние сорочки то на груди, то ниже пояса. Однако эти случаи вызывали в нём ощущение боли.

И так всегда он опускал глаза перед ними. И вовсе не просто было здесь познакомиться.

Только тётя Стёфа сама его заметила, стала расспрашивать, и он с ней подружился. Тётя Стёфа была уже и мать, и бабушка, и с этими общими чертами бабушек — морщинками и улыбкой, снисходящей к слабостям, только голос мужской. Становились они с тётей Стёфой где-нибудь около верха лестницы и говорили подолгу. Никто никогда не слушал Дёму с таким участием, будто ей и ближе не было никого, как он. И ему легко было рассказывать ей о себе и даже о матери такое, чего б он не открыл никому.

Двух лет был Дёмка, когда убили отца на войне. Потом был отчим, хоть неласковый, однако справедливый, с ним вполне можно было бы жить, но мать — тёте Стёфе он этого слова не выговаривал, а для себя давно и твёрдо заключил — скурвилась. Отчим бросил её, и правильно сделал. С тех пор мать приводила мужиков в единственную с Дёмой комнату, тут они выпивали обязательно (и Дёме навязывали пить, да он не принимал), и мужики оставались у неё разное: кто до полуночи, кто до утра. И разгородки в комнате не

было никакой, и темноты не было, потому что засвечивали с улицы фонари. И так это Дёмке опостыло, что пойлом свиным казалось ему то, о чём его сверстники думали с задрогом.

Прошёл так пятый класс и шестой, а в седьмом Дёмка ушёл жить к школьному сторожу, старику. Два раза в день школа кормила Дёмку. Мать и не старалась его вернуть — сбыхалась и рада была.

Дёма говорил о матери зло, не мог спокойно. Тётя Стёфа выслушивала, головой кивала, а заключала странно:

— На белом свете все живут. Белый свет всем один.

С прошлого года Дёма переехал в заводской посёлок, где была вечерняя школа, ему дали общежитие. Работал Дёма учеником токаря, потом получил второй разряд. Не очень хорошо у него работа шла, но наперекор материному шалопутству он водки не пил, песен не орал, а занимался. Хорошо кончил восьмой класс и одно полугодие девятого.

И только в футбол — в футбол он изредка бегал с ребятами. И за это одно маленькое удовольствие судьба его наказала: кто-то в суматохе с мячом не нарочно стукнул Дёмку бутсой по голени, Дёмка и внимания не придавал, похромал, потом прошло. А осенью нога разбалчивалась и разбалчивалась, он ещё долго не показывал врачам, потом ногу грели, стало хуже, послали по врачебной эстафете, в областной город и потом сюда.

И почему же, спрашивал теперь Дёмка тётю Стёфу, почему такая несправедливость и в самой судьбе? Ведь есть же люди, которым так и выстилает гладенько всю жизнь, а другим — всё перекромсано. И говорят — от человека самого зависит его судьба. Ничего не от него.

— От Бога зависит, — знала тётя Стёфа. — Богу всё видно. Надо покориться, Дёмуша.

— Так тем bolje, если от Бога, если ему всё видно — зачем же тогда на одного валить? Ведь надо ж распределять как-то...

Но что покориться надо — против этого спорить не приходилось. А если не покориться — так что другое делать?

Тётя Стёфа была здешняя, её дочери, сыновья и невестки часто приходили проведать её и передать гостинца. Гостинцы эти у тёти Стёфы не задерживались, она угощала соседок и санитарок, а вызвав Дёма из палаты, и ему совала яичко или пирожок.

Дёма был всегда не сыт, он недоедал всю жизнь. Из-за постоянных настороженных мыслей о еде голод казался ему больше, чем

был на самом деле. Но всё же обирать тётю Стёфу он стеснялся, и если яичко брал, то пирожок пытался отвергнуть.

— Бери, бери! — махала она. — Пирожок-то с мясом. Потá и есть его, пока мясоед.

— А что, потом не будет?

— Конечно, неужли не знаешь?

— И что ж после мясоеда?

— Масленица, что!

— Так ещё лучше, тётя Стёфа! Масленица-то ещё лучше?!

— Каждое своим хорошо. Лучше, хуже, — а мяса нельзя.

— Ну а масленица-то хоть не кончится?

— Как не кончится! В неделю пролетит.

— И что ж потом будем делать? — весело спрашивал Дёма, уже уминая домашний пахучий пирожок, каких в его доме никогда не пекли.

— Вот нехристи растут, ничего не знают. А потом — великий пост.

— А зачем он сдался, великий пост? Пост, да ещё великий!

— А потому, Дёмуша, что брюхо натолочишь — сильно к земле клонит. Не всегда так, просветы тоже нужны.

— На кой они, просветы? — Дёма одни только просветы и знал.

— На то и просветы, чтобы просветляться. Натощак-то свежей, не замечал разве?

— Нет, тётя Стёфа, никогда не замечал.

С самого первого класса, ещё и читать-писать не умел, а уже научен был Дёма, и знал твёрдо и понимал ясно, что религия есть дурман, трижды реакционное учение, выгодное только мошенникам. Из-за религии кое-где трудящиеся и не могут ещё освободиться от эксплуатации. А как с религией рассчитаются — так и оружие в руки, так и свобода.

И сама тётя Стёфа с её смешным календарём, с её Богом на каждом слове, с её незаботной улыбкой даже в этой мрачной клинике и вот с этим пирожком была фигурой как бы не реакционной.

И тем не менее сейчас, в субботу после обеда, когда разошлись врачи, оставив каждому больному свою думку, когда хмурый денёк ещё давал кой-какой свет в палаты, а в вестибюлях и коридорах уже горели лампы, Дёма ходил, прихрамывая, и всюду искал именно тётю Стёфу, которая и посоветовать-то ему ничего дельно не могла, кроме как смириться.

А как бы не отняли. Как бы не отрезали. Как бы не пришлось отдать.

Отдать? — не отдать? Отдать? — не отдать?..

Хотя от этой грызучей боли, пожалуй, и отдать легче.

Но тётки Стёфы нигде на обычных местах не было. Зато в нижнем коридоре, где он расширился, образуя маленький вестибюльчик, который считался в клинике красным уголком, хотя там же стоял и стол нижней дежурной медсестры и её шкаф с медикаментами, Дёма увидел девушку, даже девчёнку, — в таком же застиранном сером халате, а сама — как из кинофильма: с жёлтыми волосами, каких не бывает, и ещё из этих волос было что-то состроено лёгкое шевелящееся.

Дёма ещё вчера её видел мельком первый раз и от этой жёлтой клумбы волос даже моргнул. Девушка показалась ему такой красивой, что задержаться на ней взглядом он не посмел — отвёл и прошёл. Хотя по возрасту изо всей клиники она была ему ближе всех (ещё — Сурхан с отрезанной ногой), — но такие девушки вообще были ему недостижимы.

А сегодня утром он её ещё разок видел в спину. Даже в больничном халате она была как осочка, сразу узнаешь. И подрагивал снопик жёлтых волос.

Наверняка Дёма её сейчас не искал, потому что не мог бы решиться с ней знакомиться: он знал, что рот ему свяжет как тестом, будет мычать что-нибудь неразборчивое и глупое. Но он увидел её — и в груди ёкнуло. И, стараясь не хромать, стараясь ровней пройти, он свернул в красный уголок и стал перелистывать подшивку республиканской «Правды», прореженную больными на обёртку и другие нужды.

Половину того стола, застеленного кумачом, занимал бронзированный бюст Сталина — крупней головой и плечами, чем обычный человек. А рядом со Сталиным стояла нянечка, тоже породная, широкогубая. По-субботнему не ожидая себе никакой гонки, она перед собой на столе расстелила газету, высыпала туда семечек и сочно лускала их на ту же газету, сплёвывая без помощи рук. Она, может, и подошла-то на минуту, но никак не могла отстать от семечек.

Репродуктор со стены хрипленько давал танцевальную музыку. Ещё за столиком двое больных играли в шашки.

А девушка, как Дёма видел уголком глаза, сидела на стуле у стенки просто так, ничего не делая, но сидела пряменькая и одной рукой стягивала халат у шеи, где никогда не бывало застёжек,

если женщины сами не пришивали. Сидел желтоволосый тающий ангел, руками нельзя прикоснуться. А как славно было бы потолковать о чём-нибудь!.. Да и о ноге.

Сам на себя сердясь, Дёмка просматривал газеты. Ещё спохватился он сейчас, что, бережа время, никакого не делал зачёса на лбу, просто стригся под машинку сплошь. И теперь выглядел перед ней как болван.

И вдруг ангел сам сказал:

— Что ты робкий такой? Второй день ходишь — не подойдёшь. Дёма вздрогнул, окинулся. Да! — кому ж ещё? Это ему говорили!

Хохолок или султанчик, как на цветке, качался на голове.

— Ты что — пуганый, да? Бери стул, волоки сюда, познакомимся.

— Я — не пуганый. — Но в голосе подвернулось что-то и помешало ему сказать звонко.

— Ну так тащи, мостись.

Он взял стул и, вдвое стараясь не хромать, понёс его к ней в одной руке, поставил у стенки рядом. И руку протянул:

— Дёма.

— Ася, — вложила та свою мягонькую и вынула.

Он сел, и оказалось совсем смешно — ровно рядышком сидят, как жених и невеста. Да и смотреть на неё плохо. Приподнялся, переставил стул вольней.

— Ты что ж сидишь, ничего не делаешь? — спросил Дёма.

— А зачем делать? Я делаю.

— А что ты делаешь?

— Музыка слушаю. Танцую мысленно. А ты небось не умеешь?

— Мысленно?

— Да хоть ногами!

Дёмка чмокнул отрицательно.

— Я сразу вижу, не протёртый. Мы б с тобой тут покрутились, — огляделась Ася, — да негде. Да и что это за танцы? Просто так слушаю, потому что молчание меня всегда угнетает.

— А какие танцы хорошие? — с удовольствием разговаривал Дёмка. — Танго?

Ася вздохнула:

— Какое танго, это бабушки танцевали! Настоящий танец сейчас рок-н-ролл. У нас его ещё не танцуют. В Москве, и то мастера.

Дёма не все слова её улавливал, а просто приятно было разговаривать и прямо на неё иметь право смотреть. Глаза у неё были

странные — с призеленью. Но ведь глаза не покрасишь, какие есть. А всё равно приятные.

— Тот ещё танец! — прищёлкнула Ася. — Только точно не могу показать, сама не видела. А как же ты время проводишь? Песни поёшь?

— Да не. Песен не пою.

— Отчего, мы — поём. Когда молчание угнетает. Что ж ты делаешь? На аккордеоне?

— Не... — застыживался Дёмка. Никуда он против неё не годился.

Не мог же он ей так прямо ляпнуть, что его разжигает общественная жизнь!..

Ася просто-таки недоумевала: вот интересный попался тип!

— Ты, может, в атлетике работаешь? Я, между прочим, в пятиборья неплохо работаю. Я сто сорок сантиметров делаю и тринадцать две десятых делаю.

— Я — не... — Горько было Дёмке сознавать, какой он перед ней ничтожный. Вот умеют же люди создавать себе развязную жизнь! А Дёмка никогда не сумеет... — В футбол немножко...

И то доигрался.

— Ну хоть куришь? Пьёшь? — ещё с надеждой спрашивала Ася. — Или пиво одно?

— Пиво, — вздохнул Дёмка. (Он и пива в рот не брал, но нельзя ж было до конца позориться.)

— О-о-ох! — простонала Ася, будто ей в подвздошье ударили. — Какие вы все ещё, ядрёна палка, маменькины сынки! Никакой спортивной чести! Вот и в школе у нас такие. Нас в сентябре в мужскую перевели — так директор себе одних прибитых оставил да отличников. А всех лучших ребят в женскую спихнул.

Она не унижить его хотела, а жалела, но всё ж он за прибитых обиделся.

— А ты в каком классе? — спросил он.

— В десятом.

— И кто ж вам такие причёски разрешает?

— Где разрешают! Бо-о-орются!.. Ну, и мы боремся!

Нет, она простодушно говорила. Да хоть бы зубоскалила, хоть бы она Дёмку кулаками колоти, а хорошо, что разговорились.

Танцевальная музыка кончилась, и стал диктор выступать о борьбе народов против позорных парижских соглашений, опасных для Франции тем, что отдавали её во власть Германии,

но и для Германии невыносимых тем, что отдавали её во власть Франции.

— А что ты вообще делаешь? — допытывалась Ася своё.

— Вообще — токарем работаю, — небрежно-достойно сказал Дёмка.

Но и токарь не поразил Асю.

— А сколько получаешь?

Дёмка очень уважал свою зарплату, потому что она была кровная и первая. Но сейчас почувствовал, что — не выговорит сколько.

— Да чепуху, конечно, — выдавил он.

— Это всё ерунда! — заявила Ася с твёрдым знанием. — Ты бы спортсменом лучше стал! Данные у тебя есть.

— Это уметь надо...

— Чего уметь?! Да каждый может стать спортсменом! Только тренироваться много! А спорт как высоко оплачивается! — везут бесплатно, кормят на тридцать рублей в день, гостиницы! А ещё премии! А сколько городов повидаешь!

— Ну, ты где была?

— В Ленинграде была, в Воронеже...

— Ленинград понравился?

— Ой, что ты! Пассаж! Гостиный двор! А специализированные — по чулкам отдельно! по сумочкам отдельно!..

Ничего этого Дёмка не представлял, и стало ему завидно. Потому что правда, может быть, всё именно и было хорошо, о чём так смело судила эта девчёнка, а захолустно было — во что так упирался он.

Нянечка, как монумент, всё так же стояла над столом, рядом со Сталиным, и сплёвывала семечки на газету, не наклоняясь.

— Как же ты — спортсменка, а сюда попала?

Он не решился бы спросить, где именно у неё болит. Это могло быть стыдно.

— Да я — на три дня, только на исследование, — отмахнулась Ася. Одной рукой ей приходилось постоянно придерживать или поправлять расхолодившийся ворот. — Халат напялили чёрт-те какой, стыдно надеть! Тут если неделю лежать — так с ума сойдёшь... Ну а ты за что попал?

— Я?.. — Дёмка чмокнул. О ноге-то он и хотел поговорить, да рассудительно, а наскок его смущал. — У меня — на ноге...

До сих пор «у меня — на ноге» были для него слова с большим и горьким значением. Но при асиной лёгкости он уж начал сомне-

ваться, так ли уж всё это весит. Уже и о ноге он сказал почти как о зарплате, стесняясь.

— И что говорить?

— Да вот видишь... Говорить — не говорят... А хотят — отрезать...

Сказал — и с отемнённым лицом смотрел на светлое асино.

— Да ты что!! — Ася хлопнула его по плечу, как старого товарища. — Как это — ногу отрезать? Да они с ума сошли? Лечить не хотят! Ни за что не давайся! Лучше умереть, чем без ноги жить, что ты? Какая жизнь у калеки, что ты! Жизнь дана для счастья!

Да, конечно, она опять была права! Какая жизнь с костылём? Вот сейчас бы он сидел рядом с ней — а где б костыль держал? А как бы — культю?.. Да он и стула бы сам не поднёс, это б она ему подносила. Нет, без ноги — не жизнь.

Жизнь дана для счастья.

— И давно ты здесь?

— Да уж сколько? — Дёма соображал. — Недели три.

— Ужас какой! — Ася перевела плечами. — Вот скучища! Ни радио, ни аккордеона! И что там за разговорчики в палате, воображаю!

И опять не захотелось Дёмке признаться, что он целыми днями занимается, учится. Все его ценности не выстаивали против быстрого воздуха из асиних губ, казались сейчас преувеличенными и даже картонными.

Усмехнувшись (а про себя он над этим ничуть не усмехался), Дёмка сказал:

— Вот обсуждали, например, — чем люди живы?

— Как это?

— Ну, — зачем живут, что ли?

— Хо! — У Аси на всё был ответ. — Нам тоже такое сочинение давали: «Для чего живёт человек?» И план даёт: о хлопкоробах, о доярках, о героях Гражданской войны, подвиг Павла Корчагина и как ты к нему относишься, подвиг Матросова и как ты к нему относишься...

— А как относишься?

— Ну — как? Значит: повторил бы сам или нет. Обязательно требует. Мы пишем все — повторил бы, зачем портить отношения перед экзаменами? А Сашка Громов спрашивает: а можно, я напишу всё не так, а как я думаю? Я тебе дам, говорит, «как я думаю»! Я тебе такой кол закачу!.. Одна девчёнка написала, вот потеха:

«Я ещё не знаю, люблю ли я свою родину или нет». Та как заквакает: «Это — страшная мысль! Как ты можешь не любить?» — «Да, наверно, и люблю, но не знаю. Проверить надо». — «Нечего и проверять! Ты с молоком матери должна была всосать и любовь к Родине! К следующему уроку всё заново перепиши!» Вообще, мы её Жабой зовём. Входит в класс — никогда не улыбнётся. Ну да понятно: старая дева, личная жизнь не удалась, на нас вымещает. Особенно не любит хорошеньких.

Ася обронила это, уверенно зная, какая мордочка чего стоит. Она, видно, не прошла никакой стадии болезни, болей, вымучивания, потери аппетита и сна, она ещё не потеряла свежести, румянца, она просто прибежала из своих спортивных залов, со своих танцевальных площадок на три дня на исследование.

— А хорошие преподаватели — есть? — спросил Дёмка, чтоб только она не замолкала, говорила что-нибудь, а ему на неё поглядывать.

— Не, нету! Индюки надутые! Да вообще — школа!.. говорить не хочется!

Её весёлое здоровье перехлёстывалось и к Дёмке. Он сидел, благодарный ей за болтовню, уже совсем нестеснённый, разнятый. Ему ни в чём не хотелось с ней спорить, во всём хотелось соглашаться, вопреки своим убеждениям: и что жизнь — для счастья, и что ногй — не отдавать. Если б нога не грызла и не напоминала, что он увязил её и ещё сколько вытащит — полголена? по колену? или полбедря? А из-за ноги и вопрос «чем люди живы?» оставался для него из главных. И он спросил:

— Ну а правда, как ты думаешь? Для чего... человек живёт?

Нет, этой девчёнке всё было ясно! Она посмотрела на Дёмку зеленоватыми глазами, как бы не веря, что это он не разыгрывает, это он серьёзно спрашивает.

— Как для чего? Для любви, конечно!

Для любви!.. «Для любви» и Толстой говорил, да в каком смысле? И учительница вон от них требовала «для любви» — да в каком смысле? Дёмка всё-таки привык до точности доходить и своей головой обрабатывать.

— Но ведь... — с захрипом сказал он (просто-то стало просто, а выговорить всё же неудобно), — любовь — это ж... Это ж не вся жизнь. Это ж... иногда. С какого-то возраста. И до какого-то...

— А с какого? А с какого? — сердито допрашивала Ася, будто он её оскорбил. — В нашем возрасте вся и сладость, а когда ж ещё? А что в жизни ещё есть, кроме любви?

В поднятых бровках так была она уверена, что ничего возразить нельзя, — Дёмка ничего и не возражал. Да ему послушать-то надо было, а не возражать.

Она довернулась к нему, наклонилась и, ни одной руки не протянув, будто обе протягивала через развалины всех стен на земле:

— Это — наше всегда! и это — сегодня! А кто что языками мелет — этого не слушаешься, то ли будет, то ли нет. Любовь!! — и всё!!

Она с ним до того была проста, будто они уже сто вечеров толковали, толковали, толковали... И кажется, если б не было тут этой санитарки с семечками, медсестры, двух шашистов да шаркающих по коридору больных — то хоть сейчас, тут, в этом закоулке, в их самом лучшем возрасте она готова была помочь ему понять, чем люди живы.

И постоянно, даже во сне грызущая, только что грызшая дёмкина нога забылась, и не было у него больной ноги. Дёмка смотрел в распахнувшийся асин ворот, и рот его приоткрылся. То, что вызывало такое отвращение, когда делала мать, — в первый раз представилось ему ни перед кем на свете не виноватым, ничем не испачканным — достойным перевесом всего дурного на земле.

— А ты — что?.. — полушёпотом спросила Ася, готовая рассмеяться, но с сочувствием. — А ты до сих пор не...? Лопушок, ты ещё не...?

Ударило Дёмку горячим в уши, в лицо, в лоб, будто его захватили на краже. За двадцать минут этой девчёнкой сбитый со всего, в чём он укреплялся годами, с пересохшим горлом он, как пощаду выпрашивая, спросил:

— А ты?..

Как под халатом была у неё только сорочка, да грудь, да душа, так и под словами она ничего от него не скрывала, она не видела, зачем прятать:

— Фу, да у нас — половина девчёнок!.. А одна ещё в восьмом забеременела! А одну на квартире поймали, где... за деньги, понимаешь? У неё уже своя сберкнижка была! А как открылось? — в дневнике забыла, а учительница нашла. Да чем раньше, тем интересней!.. И чего откладывать? — атомный век!..

11

Всё-таки субботний вечер с его незримым облегчением как-то чувствовался и в палатах ракового корпуса, хотя неизвестно почему: ведь от болезней своих больные не освобождались на воскресенье, ни тем более от размышлений о них. Освобождались они от разговоров с врачами и от главной части лечения — и вот этому-то, очевидно, и рада была какая-то вечно-детская струнка в человеке.

Когда после разговора с Асей Дёмка, осторожно ступая на ногу, занывающую всё сильнее, одолел лестницу и вошёл в свою палату, тут было оживлённо как никогда.

Не только свои все и Сибгатов были в сборе, но ещё и гости с первого этажа, среди них знакомые, как старый кореец Ни, отпущенный из радиологической палаты (пока в языке у него стояли радиевые иголки, его держали под замком, как банковскую ценность), и совсем новенькие. Один новичок — русский, очень представительный мужчина с высоким серым зачёсом, с поражённым горлом — только шёпотом он говорил, сидел как раз на дёмкиной койке. И все слушали — даже Мурсалимов и Егенбердиев, кто и по-русски не понимал.

А речь держал Костоглолов. Он сидел не на койке, а выше, на своём подоконнике, и этим тоже выражал значительность момента. (При строгих сёстрах ему б так не дали расслаживаться, но дежурил медбрат Тургун, свойский парень, который правильно понимал, что от этого медицина не перевернётся.) Одну ногу в носке Костоглолов поставил на свою койку, а вторую, согнув в колене, положил на колено первой, как гитару, и, чуть покачиваясь, возбуждённый, громко на всю палату рассуждал:

— Вот был такой философ Декарт. Он говорил: всё подвергай сомнению!

— Но это не относится к нашей действительности! — напомнил Русанов, поднимая палец.

— Нет, конечно, нет, — даже удивился возражению Костоглолов. — Я только хочу сказать, что мы не должны, как кролики, доверяться врачам. Вот, пожалуйста, я читаю книгу, — он приподнял с подоконника раскрытую книгу большого формата, — Абрикосов и Струков, патологическая анатомия, учебник для вузов. И тут говорится, что связь хода опухоли с центральной нервной деятельностью ещё очень слабо изучена. А связь удивительная! Даже прямо

написано, — он нашёл строчку, — редко, но бывают случаи *самопроизвольного* исцеления! Вы чувствуете, как написано? Не излечения, а *исцеления*! А?

Движение прошло по палате. Как будто из распахнутой большой книги выпорхнуло осязаемой радужной бабочкой самопроизвольное исцеление, и каждый подставлял лоб и щёки, чтоб оно благотельно коснулось его на лету.

— Самопроизвольное! — отложив книгу, тряс Костоготов растопыренными руками, а ногу по-прежнему держал, как гитару. — Это значит: вот вдруг по необъяснимой причине опухоль трогается в обратном направлении! Она уменьшается, рассасывается — и наконец её нет! А?

Все молчали, рты приоткрывши сказке. Чтобы опухоль, *его* опухоль, вот эта губительная, всю его жизнь перековеркавшая опухоль, — и вдруг бы сама изошла, истекла, иссякла, кончилась?..

Все молчали, подставляя бабочке лицо, только утрюмый Поддуев заскрипел кроватью и, безнадежно набычившись, прохрипел: — Для этого надо, наверно... чистую совесть.

Не все даже поняли: это он — сюда, к разговору, или своё что-то.

Павел Николаевич, который на этот раз не только со вниманием, а даже отчасти с симпатией слушал соседа-Оглоеда, отмахнулся:

— При чём тут совесть? Стыдитесь, товарищ Поддуев!

Но Костоготов принял на ходу:

— Это ты здорово рубанул, Ефрем! Здорово! Всё может быть, ни хрена мы не знаем. Вот, например, после войны читал я журнал, так там интереснейшую вещь... Оказывается, у человека на переходе к голове есть какой-то кровемозговой барьер, и те вещества, или там микробы, которые убивают человека, пока они не пройдут через этот барьер в мозг — человек жив. Так от чего ж это зависит?..

Молодой геолог, который, придя в палату, не покидал книг и сейчас сидел с книгой на койке, у другого окна, близ Костоготова, иногда поднимал голову на спор. Поднял и сейчас. Слушали гости, слушали и свои. А Федерау у печки, с ещё чистой, белой, но уже обречённой шеей, комочком лежал на боку и слушал с подушки.

— ...А зависит, оказывается, в этом барьере от соотношения солей калия и натрия. Какие-то из этих солей, не помню, допустим

натрия, если перевешивают, то ничто человека не берёт, через барьер не проходит, и он не умирает. А перевешивают, наоборот, соли калия — барьер уже не защищает, и человек умирает. А от чего зависят натрий и калий? Вот это — самое интересное! Их соотношение зависит — от *настроения* человека!! Понимаете? Значит, если человек бодр, если он духовно стоек — в барьере перевешивает натрий, и никакая болезнь не доведёт его до смерти! Но достаточно ему упасть духом — и сразу перевесит калий, и можно заказывать гроб.

Геолог слушал со спокойным оценивающим выражением, как сильный студент, который примерно догадывается, что будет на доске в следующей строчке. Он одобрил:

— Физиология оптимизма. По идее хорошо.

И, будто упуская время, окунулся опять в книгу.

Тут и Павел Николаевич ничего не возразил. Оглоед рассуждал вполне научно.

— Так я не удивлюсь, — развивал Костоготов, — что лет через сто откроют, что ещё какая-нибудь цезиевая соль выделяется по нашему организму при спокойной совести и не выделяется при отягощённой. И от этой цезиевой соли зависит, будут ли клетки расти в опухоль или опухоль рассосётся.

Ефрем хрипло вздохнул:

— Я — баб много разорил. С детьми бросал... Плакали... У меня не рассосётся.

— Да при чём тут?! — вышел из себя Павел Николаевич. — Да это же махровая поповщина, так думать! Начитались вы всякой слякоти, товарищ Поддубев, и разоружились идеологически! И будете нам тут про всякое моральное усовершенствование талдыкать...

— А что вы так прицепились к нравственному усовершенствованию? — огрызнулся Костоготов. — Почему нравственное усовершенствование вызывает у вас такую изжогу? Кого оно может обижать? Только нравственных уродов!

— Вы... не забываетесь! — блеснул очками и оправой Павел Николаевич и в этот момент так строго, так ровно держал голову, будто никакая опухоль не подпирала её справа под челюсть. — Есть вопросы, по которым установилось определённое мнение! И вы уже не можете рассуждать!

— А почему это не могу? — тёмными глазами упёрся Костоготов в Русанова.

— Да ладно! — зашумели больные, примиряя их.

— Слушайте, товарищ, — шептал безголосый с дёмкиной кровати, — вы начали насчёт берёзового гриба...

Но ни Русанов, ни Костоготов не хотели уступить. Ничего они друг о друге не знали, а смотрели взаимно с ожесточением.

— А если хотите высказаться, так будьте же хоть грамотны! — вылепливая каждое слово по звукам, осадил своего оппонента Павел Николаевич. — О нравственном усовершенствовании Льва Толстого и компании раз и навсегда написал Ленин! И товарищ Сталин! И Горький!

— Простите! — напряжённо сдерживаясь и вытягивая руку навстречу, ответил Костоготов. — Раз и навсегда никто на земле ничего сказать не может. Потому что тогда остановилась бы жизнь. И всем последующим поколениям нечего было бы говорить.

Павел Николаевич опешил. У него покраснели верхние кончики его чутких белых ушей и на щеках кое-где выступили красные круглые пятна.

(Тут не возражать, не спорить надо было по-субботному, а надо было *проверить*, что это за человек, откуда он, из чьих, — и его вопиюще неверные взгляды не вредят ли занимаемой им должности.)

— Я не говорю, — спешил высказать Костоготов, — что я грамотен в социальных науках, мне мало пришлось их изучать. Но своим умишком я понимаю так, что Ленин упрекал Льва Толстого за нравственное усовершенствование тогда, когда оно отводило общество от борьбы с произволом, от зреющей революции. Так. Но зачем же вы затыкаете рот человеку, — он обеими крупными кистями указал на Поддуева, — который задумался о смысле жизни, находясь на грани её со смертью? Почему вас так раздражает, что он при этом читает Толстого? Кому от этого худо? Или, может быть, Толстого надо сжечь на костре? Может быть, правительствующий Синод не довёл дело до конца? — Не изучав социальных наук, спутал святейший с правительствующим.

Теперь оба уха Павла Николаевича налились в полный красный налив. Этот уже прямой выпад против правительственного учреждения (он не расслышал, правда, — какого именно), да ещё при случайной аудитории, усугубляя ситуацию настолько, что надо было тактично прекратить спор, а Костоготова при первом же случае *проверить*. И поэтому, не поднимая пока дела на принципиальную высоту, Павел Николаевич сказал в сторону Поддуева:

— Пусть Островского читает. Больше будет пользы.

Но Костоглотов не оценил тактичности Павла Николаевича, а нёс своё перед неподготовленной аудиторией:

— Почему мешать человеку задуматься? В конце концов, к чему сводится наша философия жизни? — «Ах, как хороша жизнь!.. Люблю тебя, жизнь! Жизнь дана для счастья!» Что за глубина! Но это может и без нас сказать любое животное — курица, кошка, собака.

— Я прошу вас! Я прошу вас! — уже не по гражданской обязанности, а по-человечески предостерёг Павел Николаевич. — Не будем говорить о смерти! Не будем о ней даже вспоминать!

— И просить меня нечего! — отмахивался Костоглотов рукой-лопатой. — Если здесь о смерти не поговорить, где ж о ней поговорить? «Ах, мы будем жить вечно!»

— Так что? Что? — взывал Павел Николаевич. — Что вы предлагаете? Говорить и думать всё время о смерти! Чтоб эта калиевая соль брала верх?

— Не всё время, — немного стих Костоглотов, поняв, что попадает в противоречие. — Не всё время, но хотя бы иногда. Это полезно. А то ведь, что мы всю жизнь твердим человеку? — ты член коллектива! ты член коллектива! Но это — пока он жив. А когда придёт час умирать — мы отпустим его из коллектива. Член-то он член, а умирать ему одному. А опухоль сядет на него одного, не на весь коллектив. Вот вы! — грубо совал он палец в сторону Русанова. — Ну-ка, скажите, чего вы сейчас больше всего боитесь на свете? Умереть!! А о чём больше всего боитесь говорить? О смерти! Как это называется?

Павел Николаевич перестал слушать, потерял интерес спорить с ним. Он забылся, сделал неосторожное движение, и так больно отдалось ему от опухоли в шею и в голову, что померк весь интерес просвещать этих балбесов и рассеивать их бредни. В конце концов, он попал в эту клинику случайно, и такие важные минуты болезни не с ними он должен был переживать. А главное и страшное было то, что опухоль ничуть не опала и ничуть не размягчилась от вчерашнего укола. И при мысли об этом холодело в животе. Оглоеду хорошо рассуждать о смерти, когда он выздоравливает.

Дёмкин гость, безголосый дородный мужчина, придерживая гортань от боли, несколько раз пытался вступить, сказать что-то своё, то прервать неприятный спор, напоминал им, что они сейчас все — не субъекты истории, а её объекты, но шёпота его не слышали, а сказать громче он был безсилен и только накладывал

два пальца на гортань, чтобы ослабить боль и помочь звуку. Болезни языка и горла, неспособность к речи как-то особенно угнетают нас, всё лицо становится лишь отпечатком этой угнетённости. Он пробовал остановить спорящих широкими взмахами рук, а теперь и по проходу выдвинулся.

— Товарищи! Товарищи! — сипел он, и вчуже становилось больно за его горло. — Не надо этой мрачности! Мы и так убиты нашими болезнями! Вот вы, товарищ! — он шёл по проходу и почти умоляюще протягивал одну руку (вторая была на горле) к возвышенно сидевшему растрёпанному Костоглотову, как к боже-ству. — Вы так интересно начали о берёзовом грибе. Продолжайте, пожалуйста!

— Давай, Олег, о берёзовом! Что ты начал? — просил Сибгатов.

И бронзовый Ни, с тяжестью ворочая языком, от которого часть отвалилась в прежнем лечении, а остальное теперь распухло, неразборчиво просил о том же.

И другие просили.

Костоглотов ощущал недобрую лёгкость. Столько лет он привык перед *вольными* помалкивать, руки держать назад, а голову опущенной, что это вошло в него как природный признак, как сутулость от рождения, от чего он не вовсе отстал и за год жизни в ссылке. А руки его на прогулке по аллеям медгородка и сейчас легче и проще всего складывались позади. Но вот вольные, которым столько лет запрещалось разговаривать с ним как с равным, вообще всерьёз обсуждать с ним что-нибудь как с человеческим существом, а горше того — пожать ему руку или принять от него письмо, — эти вольные теперь, ничего не подозревая, сидели перед ним, развязно уместившимся на подоконнике, — и ждали опоры своим надеждам. И за собой замечал теперь Олег, что тоже не противопоставлял себя им, как привык, а в общей беде соединял себя с ними.

Особенно он отвык от выступления сразу перед многими, как вообще от всяких собраний, заседаний, митингов. И вдруг стал оратором. Это было Костоглотову дико, в забавном сне. Но, как по льду с разгону уже нельзя остановиться, а летишь — что будет, так и он с весёлого разгона своего выздоровления, нечаянного, но, кажется, выздоровления, продолжал нестись.

— Друзья! Это удивительная история. Мне рассказал её один больной, приходивший на проверку, когда я ещё ждал приёма сюда. И я тогда же, ничем не рискуя, написал открытку с обратным адресом диспансера. И вот сегодня уже пришёл ответ! Двенадцать

дней прошло — и ответ. И доктор Масленников ещё извиняется передо мной за задержку, потому что, оказывается, отвечает в среднем на десять писем в день. А меньше чем за полчаса толкового письма ведь не напишешь. Так он пять часов в день одни письма пишет! И ничего за это не получает!

— Наоборот, на марки четыре рубля в день тратит, — вставил Дёма.

— Да. Это в день — четыре рубля. А в месяц, значит, сто двадцать! И это не его обязанность, не служба его, это просто его доброе дело. Или как надо сказать? — Костоглотов обернулся к Русанову. — *Гуманное, да?*

Но Павел Николаевич дочитывал бюджетный доклад в газете и притворился, что не слышит.

— И штатов у него никаких, помощников, секретарей. Это всё — во внеслужбное время. И славы — тоже ему за это никакой! Ведь нам, больным, врач — как паромщик: нужен на час, а там не знай нас. И кого он вылечит — тот письмо выбросит. В конце письма он жалуется, что больные, особенно кому помогло, перестают ему писать. Не пишут о принятых дозах, о результатах. И ещё он же меня *просит* — просит, чтоб я ему ответил аккуратно! Когда мы должны ему в ноги поклониться!

— Но ты по порядку, Олег! — просил Сибгатов со слабой улыбкой надежды.

Как ему хотелось вылечиться! — вопреки удручающему, многомесячному, многолетнему и уже явно безнадежному лечению — вдруг вылечиться внезапно и окончательно! Заживить спину, выпрямиться, пойти твёрдым шагом, чувствуя себя мужчиной-молодцом! Здравствуйтесь, Людмила Афанасьевна! А я — здоров!

Как всем им хотелось узнать о таком враче-чудодее, о таком лекарстве, неизвестном здешним врачам! Они могли признаваться, что верят, или отрицать, но все они до одного в глубине души верили, что такой врач, или такой травник, или такая старуха-бабка где-то живёт, и только надо узнать — где, получить это лекарство — и они спасены.

Да не могла же, не могла же их жизнь быть уже обречённой!

Как ни смеялись бы мы над чудесами, пока сильны, здоровы и благоденствуем, но, если жизнь так заклинится, так сплющится, что только чудо может нас спасти, мы в это единственное, исключительное чудо — верим!

И Костоглотов, сливаясь с жадной настороженностью, с которой товарищи слушали его, стал говорить распалённо, даже более веря своим словам сейчас, чем верил письму, когда читал его про себя.

— Если с самого начала, Шараф, то вот. Про доктора Масленникова тот прежний больной рассказал мне, что это старый земский врач Александровского уезда, под Москвой. Что он десятки лет — так раньше это было принято — лечил в одной и той же больнице. И вот заметил, что, хотя в медицинской литературе всё больше пишут о раке, у него среди больных крестьян рака не бывает. Отчего б это?..

(Да, отчего б это?! Кто из нас с детства не вздрагивал от Таинственного? — от прикосновения к этой непроницаемой, но податливой стене, через которую всё же нет-нет да проступит то как будто чьё-то плечо, то как будто чьё-то бедро. И в нашей каждодневной, открытой, рассудочной жизни, где нет ничему таинственному места, оно вдруг да блеснёт нам: я здесь! не забывай!)

— ...Стал он исследовать, стал он исследовать, — повторял Костоглотов с удовольствием, — и обнаружил такую вещь: что, экономя деньги на чай, мужики во всей этой местности заваривали не чай, а чагу, иначе называется берёзовый гриб...

— Так подберёзовик? — перебил Поддубев. Даже сквозь то отчаяние, с которым он себя согласил и в котором замкнулся последние дни, просветило ему такое простое доступное средство.

Тут все кругом были люди южные и не то что подберёзовика, но и берёзы самой иные в жизни не видали, тем более вообразить не могли, о чём толковал Костоглотов.

— Нет, Ефрем, не подберёзовик. Вообще это даже не берёзовый гриб, а берёзовый рак. Если ты помнишь, бывают на старых берёзах такие... уродливые такие наросты — хребтовидные, сверху чёрные, а внутри — тёмно-коричневые.

— Так трутовица? — добивался Ефрем. — На неё огонь высекали раньше?

— Ну, может быть. Так вот Сергею Никитичу Масленникову и пришло в голову: не этой ли самой чагой русские мужики уже несколько веков лечатся от рака, сами того не зная?

— То есть совершают профилактику? — кивнул молодой геолог. Не давали ему весь вечер читать, однако разговор того стоил.

— Но догадаться было мало, вы понимаете? Надо было всё проверить. Надо было многие-многие годы ещё наблюдать за теми,

кто этот самодельный чай пьёт и кто не пьёт. И ещё — поить тех, у кого появляются опухоли, а ведь это — взять на себя не лечить их другими средствами. И угадать, при какой температуре заваривать, и в какой дозе, кипятить или не кипятить, и по сколько стаканов пить, и не будет ли вредных последствий, и какой опухоли помогает больше, а какой меньше. На всё это ушли...

— Ну а теперь? Теперь? — волновался Сибгатов.

А Дёма думал: неужели и от ноги может помочь? Ногу — неужели спасёт?

— А теперь? — вот он на письма отвечает. Вот пишет мне, как лечиться.

— И у вас есть адрес? — жадно спросил безголосый, всё придерживая рукой сипящее горло, и уже вытягивал из кармана курточки блокнот с авторучкой. — И написан способ употребления? А от опухоли гортани помогает, он не пишет?

Как ни хотел Павел Николаевич выдержать характер и наказать соседа полным презрением, но упустить такой рассказ было нельзя. Уже не мог он вникать дальше в смысл и цифры проекта государственного бюджета на 1955 год, представленный сессии Верховного Совета, уже явно опустил газету и постепенно повернулся к Оглоеду лицом, не скрывая и своей надежды, что это простое народное средство вылечит и его. Безо всякой уже враждебности, чтобы не раздражать Оглоеда, но и напоминая всё же, Павел Николаевич спросил:

— А — официально этот способ признан? Он — апробирован в какой-нибудь инстанции?

Костоготов сверху, со своего подоконника, усмехнулся.

— Вот насчёт инстанции не знаю. Письмо, — он потрепал в воздухе маленьким желтоватым листиком, исписанным зелёными чернилами, — письмо деловое: как толочь, как разводить. Но думаю, что если б это прошло инстанции, так нам бы уже сёстры разносили такой напиток. На лестнице бы бочка стояла. Не надо было бы и писать в Александров.

— Александров, — уже записал безголосый. — А какое почтовое отделение? Улица? — Он быстро управлялся.

Ахмаджан тоже слушал с интересом, ещё успевая тихо переводить самое главное Мурсалимову и Егенбердиеву. Самому-то Ахмаджану этот берёзовый гриб не был нужен, потому что он выздоравливал. Но вот чего он не понимал:

— Если такой гриб хороший — почему врачи на вооружение не берут? Почему не вносят в свой устав?

— Это долгий путь, Ахмаджан. Одни люди не верят, другие не хотят переучиваться и поэтому мешают, третьи мешают, чтоб своё средство продвинуть. А нам — выбирать не приходится.

Костоглотов ответил Русанову, ответил Ахмаджану, а безголосому не ответил — не дал ему адреса. Он это сделал незаметно, будто недослышал, не успел, а на самом деле не хотел. Привязчивое было что-то в этом безголосом, хотя и очень почтенном — с фигурой и головой директора банка, а для маленькой южно-американской страны даже и премьер-министра. И было жаль Олегу честного старого Масленникова, недосыпающего над письмами незнакомых людей, — закидает его безголосый вопросами. А с другой стороны, нельзя было не сжалиться над этим сипящим горлом, потерявшим человеческую звонкость, которою совсем мы не дорожим, имея. А ещё с третьей стороны, сумел же Костоглотов болеть как специалист, быть больным как преданный своей болезни, и вот уже патологическую анатомию почитал, и на всякий вопрос добился разъяснений от Гангарт и Донцовой, и вот уже от Масленникова получил ответ. Почему же он, столько лет лишённый всяких прав, должен был учить этих свободных людей изворачиваться под навалившейся глыбой? Там, где складывался его характер, закон был: нашёл — не сказывай, облупишь — не показывай. Если все кинутся Масленникову писать, то уж Костоглотову второй раз ответа не дожидаться.

А всё это было — не размышление, лишь один поворот подбородка со шрамом от Русанова к Ахмаджану мимо безголосого.

— А способ употребления он пишет? — спросил геолог. Карандаш и бумага без того были перед ним, так читал он книгу.

— Способ употребления — пожалуйста, запасайтесь карандашами, диктую, — объявил Костоглотов.

Засуетились, спрашивали друг у друга карандаш и листик бумажки. У Павла Николаевича не оказалось ничего (да дома-то у него была авторучка со скрытым пером, нового фасона), и ему дал карандаш Дёмка. И Сибгатов, и Федерату, и Ефрем, и Ни захотели писать. И когда собрались, Костоглотов медленно стал диктовать из письма, ещё разъясняя: как чагу высушивать не до конца, как тереть, какой водой заваривать, как настаивать, отцеживать и по сколько пить.

Выводили строчки, кто быстрые, кто неумелые, просили повторить — и стало особенно тепло и дружно в палате. С такой нелюбовью они иногда отвечали друг другу — а что было им делить? Один у них был враг — смерть, и что может разделить на земле человеческие существа, если против всех них единожды уставлена смерть?

Окончив записывать, Дёма сказал грубоватым голосом, и медленно, как, не по возрасту, он говорил:

— Да... Но откуда ж берёзу брать, когда её нет?..

Вдохнули. Перед ними, давно уехавшими из России (кто — и добровольно) или даже никогда не бывавшими там, прошло видение этой непритязательной, умеренной, не прожаренной солнцем страны, то в завеси лёгкого грибного дождика, то в весенних половодьях и увязистых полевых и лесных дорогах, тихой стороны, где простое лесное дерево так служит и так нужно человеку. Люди, живущие в той стороне, не всегда понимают свою родину, им хочется ярко-синего моря и бананов, а вон оно, что нужно человеку: чёрный уродливый нарост на беленькой берёзе, её болезнь, её опухоль.

Только Мурсалимов с Егенбердиевым понимали про себя так, что и здесь — в степи и в горах — обязательно есть то, что нужно им, потому что в каждом месте земли всё предусмотрено для человека, лишь надо знать и уметь.

— Кого-то надо просить — собрать, прислать, — ответил Дёмке геолог. Кажется, ему приглянулась эта чага.

Самому Костоглозову, который им всё это нашёл и расписал, — однако некого было просить в России искать гриб. Одни уже умерли, другие рассеяны, к третьим неловко обратиться, четвёртые — горожане кучые, ни той берёзы не найдут, ни тем более чаги на ней. Он сам не знал бы сейчас радости большей: как собака уходит спасаться, искать неведомую траву, так пойти на целые месяцы в леса, ломать эту чагу, крошить, у костров заваривать, пить и выздороветь подобно животному. Целые месяцы ходить по лесу и не знать другой заботы, как выздороавливать.

Но запрещён ему был путь в Россию.

А другие тут, кому он был доступен, не научены были мудрости жизненных жертв — уменью всё стряхнуть с себя, кроме главного. Им виделись препятствия, где их не было: как получить бюлетьень или отпуск для таких поисков? как нарушить уклад жизни и расстаться с семьёй? где денег достать? как одеться для такого

путешествия и что взять с собой? на какой станции сойти и где потом дальше узнать всё?

Прихлопывая письмом, Костоглотов ещё сказал:

— Он упоминает здесь, что есть так называемые *заготовители*, просто предприимчивые люди, которые собирают чагу, подсушивают и высылают наложенным платежом. Но только дорого берут — пятнадцать рублей за килограмм, а в месяц надо шесть килограмм.

— Да какое ж они имеют право?! — возмущился Павел Николаевич, и лицо его стало таким начальственно-строгим, что любой заготовитель струхнул бы. — Какую ж они имеют совесть драть такие деньги за то, что от природы достаётся даром?

— Не кирчи! — шикнул на него Ефрем. (Он особенно противно коверкал слова — не то нарочно, не то язык так выговаривал.) — Думаешь — подошёл да взял? Это по лесу с мешком да с топором надо ходить. Зимой — на лыжах.

— Но не пятнадцать же рублей килограмм, спекулянты проклятые! — никак не мог уступить Русанов, и снова проявились на его лице красные пятна.

Вопрос был слишком принципиальный. С годами у Русанова всё определённой и неколебимей складывалось, что все наши недочёты, недоработки, недоделки, недоборы — все они проистекают от спекуляции. От мелкой спекуляции, как продажа какими-то непроверенными личностями на улицах зелёного лука и цветов, какими-то бабами на базаре молока и яиц, на станциях — ряженки, шерстяных носков и даже жареной рыбы. И от крупной спекуляции, когда с государственных складов гнали куда-то «по левой» целые грузовики. И если обе эти спекуляции вырвать с корнем — всё быстро у нас выправится и успехи будут ещё более поразительными. Не было ничего дурного, если человек укреплял своё материальное положение при помощи высокой государственной зарплаты и высокой пенсии (Павел Николаевич и сам-то мечтал о персональной). В этом случае и автомобиль, и дача были трудовыми. Но той же самой заводской марки автомобиль и того же стандартного проекта дача приобретали совсем другое, преступное содержание, если были куплены за счёт спекуляции. И Павел Николаевич мечтал, именно *мечтал* о введении публичных казней для спекулянтов. Публичные казни могли бы быстро и уже до конца оздоровить наше общество.

— Ну, хорошо, — рассердился и Ефрем. — Не кирпичи, а сам поезжай и организуй там заготовку. Хочешь, государственную. Хочешь, кооперативную. А дорого пятнадцать рублей — не заказывай.

Это-то слабое место Русанов понимал. Он ненавидел спекулянтов, но сейчас, пока это новое лекарство будет апробировано Академией Медицинских Наук и пока кооперация среднерусских областей организует бесперебойную заготовку, — опухоль Павла Николаевича не ждала.

Безголосый новичок с блокнотом, как корреспондент влиятельной газеты, почти лез на койку Костоглотова и шепотом добивался:

— А адресов заготовителей?.. Адресов заготовителей в письме нет?

И Павел Николаевич тоже приготовился записать адреса.

Но Костоглов почему-то не отвечал. Был в письме хоть один адрес или не было, — только он не отвечал, а слез с подоконника и стал шарить под кроватью за сапогами. Вопреки всем больничным запретам он утаил их и держал для прогулок.

А Дёма спрятал в тумбочку рецепт и, ничего больше не добиваясь, укладывал свою ногу на койку поосторожнее. Таких больших денег у него не было и быть не могло.

Помогала берёза, да не всем.

Русанову было просто неудобно, что после стычки с Оглодом — уже не первой стычки за три дня — он теперь так явно заинтересован рассказом и вот зависел от адреса. И чтоб как-то умаслить Оглоеда, что ли, не умышленно, а невольно выдвигая то, что объединяло их, Павел Николаевич сказал вполне искренне:

— Да! Что может быть на свете хуже... — (рака? но у него был не рак), — этих... онкологических... и вообще рака!

Но Костоглотова ничуть не тронула эта доверительность старшего и по возрасту, и по положению, и по опыту человека. Обматывая ногу рыжей портянкой, сохнувшей у него в обвой голенища, и натягивая отвратительный истрёпанный кирзовый сапог с грубыми латками на сгибах, он ляпнул:

— Что хуже рака? Проказа!

Тяжёлое грозное слово своими сильными звуками прозвучало в комнате как залп.

Павел Николаевич миролюбиво поморщился:

— Ну, как сказать? А почему, собственно, хуже? Процесс идёт медленней.

Костоготов уставился тёмным недоброжелательным взглядом в светлые очки и светлые глаза Павла Николаевича.

— Хуже тем, что вас ещё живого исключают из мира. Отрывают от родных, сажают за проволоку. Вы думаете, это легче, чем опухоль?

Павлу Николаевичу не по себе стало в такой незащищённой близости от тёмно-горящего взгляда этого неотёсанного неприличного человека.

— Ну, я хочу сказать — вообще эти проклятые болезни...

Любой культурный человек тут понял бы, что надо же сделать шаг навстречу. Но Оглоед ничего этого понять не мог. Он не оценил тактичности Павла Николаевича. Уже вставши во всю свою долговязость и надев грязно-серый бумазеевый просторный бабий халат, который почти спускался до сапог и был ему пальто для прогулок, он с самодовольством объявил, думая, что у него получается учёно:

— Один философ сказал: если бы человек не болел, он не знал бы себе границ.

Из кармана халата он вынул свёрнутый армейский пояс в четыре пальца толщиной с пятиконечной звездой-пряжкой, опоясал им запахнутый халат, остерегаясь только перетянуть место опухоли. И, разминая жалкую дешёвую папироску-гвоздик из тех, что гаснут, не догорев, пошёл к выходу.

Безголовый отступал перед Костогловым по проходу между койками и, несмотря на всю свою банковско-министерскую наружность, так умоляюще спрашивал, будто Костоглов был прославленное светило онкологии, но навсегда уходил из этого здания:

— А скажите, примерно в скольких случаях из ста опухоль горла оказывается раком?

— В тридцати четырёх, — улыбнулся ему Костоглов, постороня.

На крыльце за дверью не было никого.

Олег счастливо вздохнул сырым холодным неподвижным воздухом и, не успевая им прочиститься, тут же зажёл и папироску, без которой всё равно не хватало до полного счастья (хотя теперь уже не только Донцова, но и Масленников нашёл в письме место упомянуть, что курить надо бросить).

Было совсем безветренно и неморозно. В одном оконном отсвете видна была близкая лужа, вода в ней чернела безо льда. Было только пятое февраля — а уже весна, непривычно. Туман не туман, лёгкая мглица висела в воздухе — настолько лёгкая, что не застилала, а лишь смягчала, делала не такими резкими дальние светы фонарей и окон.

Слева от Олега тесно уходили в высоту, выше крыши, четыре пирамидальных тополя, как четыре брата. С другой стороны стоял тополь одинокий, но раскидистый и в рост этим четырьём. За ним сразу густели другие деревья, шёл клин парка.

Неограждённое каменное крыльцо Тринадцатого корпуса спускалось несколькими ступеньками к покато́й асфальтовой аллее, отграниченной с боков кустами живой изгороди непродёр. Всё это было без листьев сейчас, но густотой заявляющее о жизни.

Олег вышел гулять — ходить по аллеям парка, ощущая с каждым наступом и размином ноги её радость твёрдо идти, её радость быть живой ногой неумершего человека. Но вид с крыльца остановил его, и он докуривал тут.

Мягко светились нечастые фонари и окна противоположных корпусов. Уже никто почти не ходил по аллеям. И когда не было грохота сзади от близкой тут железной дороги, сюда достигал ровный шумок реки, быстрой горной реки, которая билась и пенилась внизу, за следующими корпусами, под обрывом.

А ещё дальше, через обрыв, через реку, был другой парк, городской, и из того ли парка (хотя ведь холодно) или из открытых окон клуба доносилась танцевальная музыка духового оркестра. Была суббота — и вот танцевали... Кто-то с кем-то танцевал...

Олег был возбуждён — тем, что так много говорил и его слушали. Его перехватило и обвило ощущение внезапно вернувшейся жизни, — жизни, с которой ещё две недели назад он считал себя разотчётным навсегда. Правда, жизнь эта не обещала ему ничего того, что называли хорошим и о чём колотились люди этого большого города: ни квартиры, ни имущества, ни общественного успеха, ни денег, но — другие самосущие радости, которых он не разучился ценить: право переступить по земле, не ожидая команды; право побыть одному; право смотреть на звёзды, не зашлепленные фонарями зоны; право тушить на ночь свет и спать в темноте; право бросать письма в почтовый ящик; право отдыхать в воскресенье; право купаться в реке. Да много, много ещё было таких прав.

Право разговаривать с женщинами.

Все эти чудесные неисчислимые права возвращало ему выздоровление!

И он стоял, курил и наслаждался.

Доносилась эта музыка из парка, Олег слышал её — но и не её, а как будто Четвёртую симфонию Чайковского, звучавшую в нём самом, — беспокойное трудное начало этой симфонии, одну удивительную мелодию из этого начала. Ту мелодию (Олег истолковывал её так), где герой, то ли вернувшись к жизни, то ли быв слепым и вот прозревающий, — как будто нащупывает, скользит рукою по предметам или по дорогому лицу — ощупывает и боится верить своему счастью: что предметы эти вправду есть, что глаза его начинают видеть.

12

Утром в воскресенье, торопливо одеваясь на работу, Зоя вспомнила, что Костоглотов просил непременно на следующее дежурство надеть то же самое серо-золотенькое платье, ворот которого за халатом он видел вечером, а хотел «взглянуть при дневном свете». Безкорыстные просьбы бывает приятно исполнить. Это платье подходило ей сегодня, потому что было полупраздничное, а она днём надеялась побездельничать, да и ждала, что Костоглотов придёт её развлекать.

И, на спеху переменив, она надела заказанное платье, несколькими ударами ладони надушила его, начесала чёлку, но время уже было последнее, она натягивала пальто в дверях, и бабушка еле успела сунуть ей завтрак в карман.

Было прохладное, но совсем уже не зимнее, сыроватое утро. В России в такую погоду выходят в плащах. Здесь же, на юге, другие представления о том, что холодно и жарко: в жару ещё ходят в шерстяных костюмах, пальто стараются раньше надеть и позже снять, а у кого есть шуба — ждут не дождутся хоть нескольких морозных дней.

Из ворот Зоя сразу увидела свой трамвай, квартал бежала за ним, вскочила последняя и, с задышкой, красная, осталась на задней площадке, где обвезало. Трамваи в городе все были медленные, громкие, на поворотах надрывно визжали о рельсы.

И задышка и даже колотьё в груди были приятны в молодом теле, потому что они проходили сразу — и ещё полней чувствовалось здоровье и праздничное настроение.

Пока в институте каникулы, одна клиника — три с половиной дежурства в неделю — совсем ей казалось легко, отдых. Конечно, ещё легче было бы без дежурств, но Зоя уже привыкла к двойной тяжести: второй год она и училась, и работала. Практика в клинике была небогатая, работала Зоя не из-за практики, а из-за денег: бабушкиной пенсии и на один хлеб не хватало, зоина стипендия пролетала враз, отец не присылал никогда ничего, и Зоя не просила. У такого отца она не хотела одолжаться.

Эти первые два дня каникул, после прошлого ночного дежурства, Зоя не лежбочила, она с детства не привыкла. Прежде всего она села шить себе к весне блузку из креп-жоржета, купленного ещё в декабрьскую получку (бабушка всегда говорила: готовь сани летом, а телегу зимой, — и по той же пословице в магазинах лучшие летние товары можно было купить только зимой). Шила она на старом бабушкином «Зингере» (доташили из Смоленска), а приёмы шитья шли первые тоже от бабушки, но они были старомодны, и Зоя, что могла, быстрым глазом перехватывала у соседок, у знакомых, у тех, кто учился на курсах кройки и шитья, на которые у самой Зои времени не было никак. Блузку она в эти два дня не дошила, но зато обошла несколько мастерских химчистки и пристроила своё старое летнее пальто. Ещё она ездила на рынок за картофелем и овощами, торговалась там, как жмот, и привезла в двух руках две тяжёлые сумки (очереди в магазинах выстаивала бабушка, но тяжёлого носить она не могла). И ещё сходила в баню. И только просто полежать-почитать у неё времени не осталось. А вчера вечером с однокурсницей Ритой они ходили в дом культуры на танцы.

Зое хотелось бы чего-нибудь поздоровей и посвежей, чем эти клубы. Но не было таких обычаев, домов, вечеров, где можно было бы ещё знакомиться с молодыми людьми, кроме клубов. На их курсе и на факультете девчёнок было много русских, а мальчики почти одни узбеки. И потому на институтские вечера не тянуло.

Этот дом культуры, куда они пошли с Ритой, был просторный, чистый, хорошо натопленный, мраморные колонны и лестница, высоченные зеркала с бронзовыми обкладками — видишь себя издали-издали, когда идёшь или танцуешь, и очень дорогие удобные кресла (только их держали под чехлами и запрещали в них садиться). Однако с новогоднего вечера Зоя там не была, её обидели там

очень. Был бал-маскарад с премиями за лучшие костюмы, и Зоя сама себе сшила костюм обезьяны с великолепным хвостом. Всё у неё было продумано — и причёска, и лёгкий грим, и соотношение цветов, всё это было и смешно, и красиво, и почти верная была первая премия, хотя много конкуренток. Но перед самой раздачей призов какие-то грубые парни ножом отсекали её хвост и из рук в руки передали и спрятали. И Зоя заплакала — не от тупости этих парней, а оттого, что все вокруг стали смеяться, найдя выходку остроумной. Без хвоста костюм много потерял, да Зоя ещё и раскисла, — и никакой премии не получила.

И вчера, ещё сердясь на клуб, она вошла в него с оскорблённым чувством. Но никто и ничто не напомнили ей случая с обезьяной. Народ был сборный — и студенты разных институтов, и заводские. Зое и Рите не дали ни танца протанцевать друг с другом, разбили сейчас же, и три часа подряд они славно вертелись, качались и топтались под духовой оркестр. Тело просило этой разрядки, этих поворотов и движений, телу было хорошо. А говорили все кавалеры очень мало; если шутили, то, на зоин вкус, глуповато. Потом Коля, конструктор-техник, пошёл её провожать. По дороге разговаривали об индийских кинофильмах, о плавании; о чём-нибудь серьёзном показалось бы смешно. Добрались до парадного, где потемней, и там целовались, а больше всего досталось зоиным грудям, никому никогда не дающим покоя. Уж как он их обминал! и пробовал другие пути подобраться, Зое было томно, но вместе с тем возникло холодноватое ощущение, что она немножко теряет время, что в воскресенье рано вставать, — и она отправила его и быстренько по старой лестнице взбежала наверх.

Среди зоиных подруг, а медичек особенно, была распространена та точка зрения, что от жизни надо спешить *брать*, и как можно раньше, и как можно полней. При таком общем потоке убеждённости оставаться на первом, на втором, наконец, на третьем курсе чем-то вроде старой девы, с отличным знанием одной лишь теории, было совершенно невозможно. И Зоя — прошла, прошла несколько раз с разными ребятами все эти ступени приближения, когда разрешаешь больше и больше, и захват, и власть, и те пронозливые минуты, когда, хоть дом бомби, нельзя было бы изменить положения; и те успокоенные, вялые, когда подбираются с пола и со стульев разбросанные вещи одежды, которые никак нельзя было бы видеть им обоим вместе, а сейчас ничуть не удивительно, и ты деловито одеваешься при нём.

К третьему курсу Зоя миновала разряд старых дев, — а всё-таки оказалось это *не тем*. Не хватало во всём этом какого-то существенного продолжения, дающего устояние в жизни и саму жизнь.

Зое было только двадцать три года, однако она уже порядочно видела и запомнила: долгую умоиступлённую эвакуацию из Смоленска сперва теплушками, потом баржей, потом опять теплушками; и почему-то особенно соседа по теплушке, который верёвочкой отмерял полоску каждому на нарах и доказывал, что зоина семья заняла два лишних сантиметра; голодную напряжённую жизнь здесь в годы войны, когда только и было разговоров что о карточках и о ценах на чёрном рынке; когда дядя Федя тайком воровал из тумбочки её, зоину, дольку хлеба; а теперь, в клинике, — эти злонавязчивые раковые страдания, гиблые жизни, унылые рассказы больных и слёзы.

И перед всем этим прижимания, обнимания и дальше — были только сладкими капельками в солёном море жизни. До конца напиться ими было нельзя.

Значило ли это, что надо непременно выходить замуж? что счастье — в замужестве? Молодые люди, с которыми она знакомилась, танцевала и гуляла, все как один выявляли намерение погреться и унести ноги. Между собой они так говорили: «Я бы женился, да за один, за два вечера всегда могу найти. Зачем жениться?»

Как при большом привозе на базар невозможно просить втрое — невозможно становилось быть неприступной, когда все вокруг уступали.

Не помогла тут и регистрация, этому учил опыт зоинной сменщицы-медсестры украинки Марии: Мария доверилась регистрации, но через неделю муж всё равно её бросил, уехал и канул. И она семь лет воспитывала ребёнка одна, да ещё считалась замужней.

Потому на вечеринках с вином, если дни у неё подходили опасные, Зоя держалась с оглядкой, как сапёр между зарытых мин.

И ближе был у Зои пример, чем Мария: Зоя видела дурную жизнь собственных отца и матери, как они то ссорились, то мирились, то разъезжались в разные города, то опять съезжались — и так всю жизнь мучили друг друга. Повторить ошибку матери было для Зои всё равно что выпить серной кислоты.

Это тоже был тот случай, когда не помогала никакая регистрация.

В своём теле, в соотношении его частей, и в своём характере тоже, и в своём понимании всей жизни целиком Зоя ощущала равновесие и гармонию. И только в духе этой гармонии могло состояться всякое расширение её жизни.

И тот, кто в паузах между проползанием рук по её телу говорил ей неумные, пошлые вещи или почти повторял из кинофильмов, как вчерашний Коля, уже сразу разрушал гармонию и не мог ей по-настоящему нравиться.

Так, потряхиваемая трамваем, на задней площадке, где кондукторша громко обличала какого-то молодого человека, не купившего билет (а он слушал и не покупал), Зоя достояла до конца. Трамвай начал делать круг, по другую сторону круга уже толпились, его ожидая. Соскочил на ходу стыдимый молодой человек. Соскочил пацанёнок. И Зоя тоже ловко соскочила на ходу, потому что отсюда было короче.

И была уже одна минута девятого, и Зоя припустила бежать по извилистой асфальтовой дорожке медгородка. Как сестре, бежать ей было нельзя, но как студентке — вполне простительно.

Пока она добежала до ракового корпуса, пальто сняла, халат надела и поднялась наверх — было уже десять минут девятого, и недобровать бы ей, если б дежурство сдавала Олимпиада Владиславовна; Мария б тоже ей с недобрим выражением выговорила за десять минут, как за полсмены. Но, к счастью, дежурил перед ней студент же Тургун, каракалпак, который и вообще был снисходителен, а к ней особенно. Он хотел в наказание хлопнуть её пониже спины, но она не далась, оба смеялись, и она же ещё сама подтолкнула его по лестнице.

Студент-студент, но, как национальный кадр, он уже получил назначение главврачом сельской больницы и так несолидно мог вести себя только последние вольные месяцы.

Осталась Зое от Тургуна тетрадь назначений да ещё особое задание от старшей сестры Миты. В воскресенье не было обходов, сокращались процедуры, не было больных после трансфузии, добавлялась, правда, забота, чтобы родственники не лезли в палаты без разрешения дежурного врача, — и вот Мита перекладывала на дежурящих днём в воскресенье часть своей безконечной статистической работы, которую она не могла успеть сделать.

Сегодня это была обработка толстой пачки больничных карт за декабрь минувшего 1954 года. Вытянув кругло губы, как бы для свиста, Зоя со щёлком пропускала пальцем по углам этих карточек, соображая, сколько ж их тут штук и останется ли время ей повышевать, — как почувствовала рядом высокую тень. Зоя неудивлённо повернула голову и увидела Костоглотова. Он был чисто выбрит, почти причёсан, и только шрам на подбородке, как всегда, напоминал о разбойном происхождении.

— Доброе утро, Зоенька, — сказал он совсем по-джентльменски.

— Доброе утро, — качнула она головой, будто чем-то недовольная или в чём-то сомневаясь, а на самом деле — просто так.

Он смотрел на неё тёмно-карими глазами.

— Но я не вижу — выполнили вы мою просьбу или нет?

— Какую просьбу? — с удивлением нахмурилась Зоя (это у неё всегда хорошо получалось).

— Вы не помните? А я на эту просьбу загадал.

— Вы брали у меня патанатомию — вот это я хорошо помню.

— И я вам её сейчас верну. Спасибо.

— Разобрались?

— Мне кажется, что́ нужно — всё понял.

— Я принесла вам вред? — без игры спросила Зоя. — Я раскаивалась.

— Нет-нет, Зоенька! — В виде возражения он чуть коснулся её руки. — Наоборот, эта книга меня подбодрила. Вы просто золотце, что дали. Но... — он смотрел на её шею, — верхнюю пуговичку халата — расстегните, пожалуйста.

— За-чем?? — сильно удивилась Зоя (это у неё тоже очень хорошо получалось). — Мне не жарко!

— Наоборот, вы — вся красная.

— Да, в самом деле, — рассмеялась она добродушно, ей и действительно хотелось отложить халат, она ещё не отпыхалась от бега и возни с Тургуном. И она отложила.

Засветились золотинки в сером.

Костоглов поспешил посмотреть увеличенными глазами и сказал почти без голоса:

— Вот хорошо. Спасибо. Потом покажете больше?

— Смотри что вы загадали.

— Я скажу, только позже, ладно? Мы же сегодня побудем вместе?

Зоя обвела глазами кругообразно, как кукла.

— Только если вы придёте мне помогать. Я потому и запарилась, что у меня сегодня много работы.

— Если колоть живых людей иглами — я не помощник.

— А если заниматься медстатистикой? Наводить тень на плетень?

— Статистику я уважаю. Когда она не засекречена.

— Так приходите после завтрака, — улыбнулась ему Зоя авансом за помощь.

Уже разносили по палатам завтрак.

Ещё в пятницу утром, сменяясь с дежурства, заинтересованная ночным разговором, Зоя пошла и посмотрела карточку Костоглотова в регистратуре.

Оказалось, что звали его Олег Филимонович (тяжеловесное отчество было под стать неприятной фамилии, а имя смягчало). Он был рождения 1920 года и при своих полных тридцати четырёх годах действительно не женат, что довольно-таки невероятно, и действительно жил в каком-то Уш-Тереке. Родственников у него не было никаких (в онкодиспансере обязательно записывали адреса родственников). По специальности он был топограф, а работал землеустроителем.

От всего этого не яснее стало, а только темней.

Сегодня же в тетради назначений она прочла, что с пятницы ему стали делать ежедневно инъекции синэстрола по два кубика внутримышечно.

Это должен был делать вечерний дежурный, значит, сегодня — не она. Но Зоя покрутила вытянутыми круглыми губами, как рывком.

После завтрака Костоглотов принёс учебник патанатомии и пришёл помогать, но теперь Зоя бегала по палатам и разносила лекарства, которые надо было пить и глотать три и четыре раза в день.

Наконец они сели за её столик. Зоя достала большой лист для черновой разграфки, куда надо было палочками переносить все сведения, стала объяснять (она и сама уже подзабыла, как тут надо) и графить, прикладывая большую тяжеловатую линейку.

Вообще-то, Зоя знала цену таким «помощникам» — молодым людям и холостым мужчинам (да и женатым тоже): всякая такая помощь превращалась в зубоскальство, шуточки, ухаживание и ошибки в ведомости. Но Зоя шла на эти ошибки, потому что

самое неизобретательное ухаживание всё-таки интереснее самой глубокомысленной ведомости. Зоя не против была продолжить сегодня игру, украшающую часы дежурства.

Тем более её изумило, что Костоглотов сразу оставил всякие особые поглядывания и особый тон, быстро понял, что и как надо, и даже ей возвратно объяснил, — и углубился в карточки, стал вычитывать нужное, а она ставила палочки в графы большой ведомости. «Невробластома... — диктовал он, — гипернефрома... саркома полости носа... опухоль спинного мозга...» И что ему было непонятно — спрашивал.

Надо было подсчитать, сколько за это время прошло каждого типа опухоли — отдельно у мужчин, отдельно у женщин, отдельно по возрастным десятилетиям. Так же надо было обработать типы применённых лечений и объёмы их. И опять-таки по всем разделам надо было провести пять возможных исходов: выздоровление, улучшение, без изменения, ухудшение и смерть. За этими пятью исходами зюин помощник стал следить особенно внимательно. Сразу замечалось, что почти нет полных выздоровлений, но и смертей тоже немного.

— Я вижу, здесь умирать не дают, выписывают вовремя, — сказал Костоглотов.

— Ну а как же быть, Олег, посудите сами. — (Олегом она звала его в награду за работу. Он заметил, сразу взглянул.) — Если видно, что помочь ему нельзя и ему осталось только дожить последние недели или месяцы, — зачем держать за ним койку? На койки очередь, ждут те, кого можно вылечить. И потом инкурабельные больные...

— Ин-какие?

— Неизлечимые... Очень плохо действуют своим видом и разговорами на тех, кого можно вылечить.

Вот Олег сел за столик сестры — и как бы шагнул в общественном положении и в осознании мира. Уже тот «он», которому нельзя помочь, тот «он», за которым не следует держать койку, те инкурабельные больные — всё это был не он, Костоглотов. А с ним, Костоглотовым, уже так разговаривали, будто он не мог умереть, будто он был вполне курабельный. Этот прыжок из состояния в состояние, совершаемый так незаслуженно, по капризу внезапных обстоятельств, смутно напомнил ему что-то, но он сейчас не додумывал.

— Да, это всё логично. Но вот списали Азовкина. А вчера при мне выписали *tumor cordis*, ничего ему не объяснив, ничего не сказав, — и было ощущение, что я тоже участвую в обмане.

Он сидел к Зое сейчас не той стороной, где шрам, и лицо его выглядело совсем не жестоким.

Слаженно, в тех же дружеских отношениях, они работали дальше и прежде обеда кончили всё.

Ещё, правда, оставила Мита и вторую работу: переписывать лабораторные анализы на температурные листы больных, чтоб меньше было листов и легче подклеивать к истории болезни. Но жирно было бы ей это всё в одно воскресенье. И Зоя сказала:

— Ну, большое вам, большое спасибо, Олег Филимонович.

— Нет уж! Как начали, пожалуйста: Олег!

— Теперь после обеда вы отдохнёте...

— Я никогда не отдыхаю.

— Но ведь вы же больной.

— Вот странно, Зоенька, вы только по лестнице поднимаетесь на дежурство, и я уже совершенно здоров!

— Ну хорошо, — уступила Зоя без труда. — На этот раз приму вас в гостинойю.

И кивнула на комнату врачебных заседаний.

Однако после обеда она опять разносила лекарства, и были срочные дела в большой женской. По противоположности с ущербностью и болезнями, окружавшими здесь её, Зоя вслушивалась в себя, как сама она была чиста и здорова до последнего ноготочка и кожной клеточки. С особенной радостью она ощущала свои дружные тугоподхваченные груди, и как они наливались тяжестью, когда она наклонялась над койками больных, и как они подрагивали, когда она быстро шла.

Наконец дела проредились. Зоя велела санитарке сидеть тут у стола, не пускать посещающих в палаты и позвать её, если что. Она прихватила вышиванье, и Олег пошёл за ней в комнату врачей.

Это была светлая угловая комната с тремя окнами. Не то чтоб она была обставлена со свободным вкусом — и рука бухгалтера и рука главного врача ясно чувствовались: два стоявших тут дивана были не какие-нибудь откидные, а совершенно официальные — с высокими отвесными спинками, ломавшими шею, и зеркалами в спинках, куда можно было посмотретья разве только жирафу.

И столы стояли по удручающему учрежденческому уставу: председательский массивный письменный стол, покрытый толстым органическим стеклом, и поперёк ему, обязательной буквой Т, — длинный стол для заседающих. Но этот последний был застелен, как бы на самаркандский вкус, небесно-голубой плюшевой скатертью — и небесный цвет этой скатерти сразу овеселял комнату. И ещё удобные креслица, не попавшие к столу, стояли прихотливой группкой, и это тоже делало комнату приятной.

Ничто не напоминало тут больницу, кроме стенной газеты «Онколог», выпущенной к седьмому ноября.

Зоя и Олег сели в удобные мягкие кресла в самой светлой части комнаты, где на подставках стояли вазоны с агавами, а за цельным большим стеклом главного окна ветвился и тянулся ещё выше дуб.

Олег не просто сел — он всем телом испытывал удобство этого кресла, как хорошо выгибается в нём спина и как плавно шея и голова ещё могут быть откинута дальше.

— Что за роскошь! — сказал он. — Я не попирал такой роскоши... наверно, лет пятнадцать.

(Если уж ему так нравится кресло, почему он себе такого не купил?)

— Итак — что вы загадали? — спросила Зоя с тем поворотом головы и тем выражением глаз, которые для этого подходили.

Сейчас, когда они уединились в этой комнате и сели в эти кресла с единственной целью разговаривать, — от одного слова, от тона, от взгляда зависело, пойдёт ли разговор порхающий или тот, который взрезывает суть. Зоя вполне была готова к первому, но пришла она сюда, предчувствуя второй.

И Олег не обманул. Со спинки кресла, не отрывая головы, он сказал торжественно — в окно, выше её:

— Я загадал... Поедет ли одна девушка с золотой чёлкой... к нам на целину.

И лишь теперь посмотрел на неё.

Зоя выдержала взгляд:

— Но что там ждёт эту девушку?

Олег вздохнул:

— Да я вам уже рассказывал. Весёлого мало. Водопровода нет. Утюг на древесном угле. Лампа керосиновая. Пока мокро — грязь, как подсохнет — пыль. Хорошего никогда ничего не наденешь.

Он не упускал перечислить дурного — будто для того, чтоб не дать ей возможности пообещать! Если нельзя никогда хорошо

одеться, то действительно — что это за жизнь? Но, как ни удобно жить в большом городе, знала Зоя, что жить — не с городом. И хотелось ей прежде не тот посёлок представить, а этого человека понять.

— Я не пойму — что вас там держит?

Олег рассмеялся:

— Министерство внутренних дел! — что!

Он всё так же лежал головой на спинке, наслаждаясь.

Зоя насторожилась.

— Я — так и заподозрила. Но, позвольте, вы же... русский?

— Да стопроцентный русак! Могу я иметь чёрные волосы?

И поправил их.

Зоя пожала плечами:

— Но тогда — почему ж вас?..

Олег вздохнул:

— Эх, до чего ж несведущая растёт молодёжь! Мы росли — понятия не имели об уголовном кодексе, и что там есть за статьи, пункты, и как их можно толковать *расширительно*. А вы живёте здесь, в центре этого всего края, и даже не знаете элементарного различия между ссыльнопоселенцем и административно-ссыльным.

— А какая же?..

— Я — административно-ссыльный. Я сослан не по национальному признаку, а — *лично*, как Олег Филимонович Костоглотов, понимаете? — Он рассмеялся. — «Личный почётный гражданин», которому не место среди честных граждан.

И блеснул на неё тёмными глазами.

Но она не испугалась. То есть испугалась, но как-то поправимо.

— И... на сколько же вы сосланы? — тихо спросила она.

— **Н а в е ч н о!** — громыхнул он.

У неё даже в ушах зазвенело.

— Пожизненно? — переспросила она полушёпотом.

— Нет, именно **н а в е ч н о!** — настаивал Костоглотов. — В бумаге было написано **н а в е ч н о**. Если пожизненно — так хоть гроб можно оттуда потом вывезти, а уж навечно — наверно, и гроба нельзя. Солнце потухнет — всё равно нельзя, вечность-то — длинней.

Вот теперь действительно сердце её сжалось. Всё неспроста — и шрам этот, и вид у него бывает жестокий. Он, может быть, убийца, страшный человек, он, может быть, тут её и задушит, недорого возьмёт...

Но Зоя не повернула кресла, чтобы легче бежать. Она только отложила вышиванье (ещё к нему и не притронулась). И, глядя сме-

ло на Костоглотов, который не напрягся, не разволновался, а по-прежнему удобно устроен был в кресле, спросила, волнуясь сама:

— Если вам тяжело — то вы не говорите мне. А если можете — скажите: такой ужасный приговор — за что?..

Но Костоглотов не только не был удручён сознанием преступления, а с совершенно беззаботной улыбкой ответил:

— Никакого приговора, Зоенька, не было. Вечную ссылку я получил — *по наряду*.

— По... наряду??

— Да, так называется. Что-то вроде фактуры. Как с базы на склад выписывают: мешков столько-то, бочонков столько-то... Исползованная тара...

Зоя взялась за голову:

— Подождите... Не понимаю. Это — может быть?.. Это — вас так?.. Это — всех так?..

— Нет, нельзя сказать, чтобы всех. Чистый десятый пункт — не посылают, а десятый с одиннадцатым — уже посылают.

— А что такое одиннадцатый?

— Одиннадцатый? — Костоглотов подумал. — Зоенька, я вам что-то много рассказываю, вы с этим матерьяльцем дальше поосторожней, а то можете подзаработать тоже. У меня был основной приговор — по десятому пункту, семь лет. Уж кому давали меньше восьми лет — поверьте, это значит — совсем ничего не было, просто из воздуха дело сплетено. Но был и одиннадцатый, а одиннадцатый значит — *групповое* дело. Сам по себе одиннадцатый пункт срока как бы не увеличивает — но раз была нас группа, вот и разослали по вечным ссылкам. Чтобы мы на старом месте никогда опять не собрались. Теперь — понятно?

Нет, ей было ещё непонятно.

— Так это была... — она смягчила, — ну, как говорится — *шайка*?

И вдруг Костоглотов звонко расхохотался. И оборвал и насутился также вдруг.

— А здорово получилось. Как и моего следователя, вас не удовлетворило слово «группа». Он тоже любил называть нас — *шайка*. Да, нас была *шайка* — *шайка* студентов и студенток первого курса. — Он грозно посмотрел. — Я понимаю, что здесь курить нельзя, преступно, но всё-таки закурю, ладно? Мы собирались, ухаживали за девочками, танцевали, а мальчишки ещё разговаривали о политике. И о... *Самом*. Нас, понимаете ли, кое-что не устраивало. Мы, так сказать, не были в восторге. Двое из нас воевали и как-то ожидали

после войны кое-чего другого. В мае перед экзаменами — всех нас загребли, и девченок тоже.

Зоя ощущала смятение... Она опять взяла в руки вышиванье. С одной стороны, он говорил опасные вещи, которые не только не следовало никому повторять, но даже слушать, но даже держать открытыми ушные раковины. А с другой стороны, было огромное облегчение, что они никого не заманивали в тёмные переулки, не убивали.

Она глотнула.

— Я не понимаю... вы всё-таки — *делали-то* что?

— Как что? — он затягивался и выпускал дым. Какой он был большой, такая маленькая была папироска. — Я ж вам говорю: учились. Пили вино, если позволяла стипендия. Ходили на вечеринки. И вот девченок замели вместе с нами. И дали им по пять лет... — Он посмотрел на неё пристально. — Вы — на себе это вообразите. Вот вас берут перед экзаменами второго семестра — и в мешок.

Зоя отложила вышиванье.

Всё страшное, что она предчувствовала услышать от него, — оказалось каким-то детским.

— Ну а вам, мальчикам, — зачем это всё нужно было?

— Что? — не понял Олег.

— Ну вот это... быть недовольными... Чего-то там ожидать...

— Ах, в самом деле! Ну да, в самом деле! — покорно рассмеялся Олег. — Мне это в голову не приходило. Вы опять сошлись с моим следователем, Зоенька. Он говорил то же самое. Креслице вот хорошее! На койке так не посидишь.

Олег опять устроился со всем удобством и, покуривая, смотрел, прищурившись, в большое окно с цельным стеклом.

Хотя шло к вечеру, но пасмурный ровный денёк не темнел, а светлел. Всё растягивался и редел облачный слой на западе, куда и выходила как раз эта комната углом.

Вот только теперь Зоя по-серьёзному взялась вышивать — и с удовольствием делала стежки. И они молчали. Олег не хвалил её за вышивание, как прошлый раз.

— И что ж... ваша девушка? Тоже была там? — спросила Зоя, не поднимая головы от работы.

— Д-да... — сказал Олег, не сразу пройдя это «д», нето думая о другом.

— А где ж она теперь?

— Теперь? На Енисее.

— Так вы просто не можете с ней соединиться?

— И не пытаюсь, — безучастно говорил он.

Зоя смотрела на него, а он в окно. Но почему ж он тогда не жёнится здесь, у себя?

— А что, это очень трудно — соединиться? — придумала она спросить.

— Для нерегистрированных — почти невозможно, — рассеянно сказал он. — Но дело в том, что — незачем.

— А у вас карточки её нет с собой?

— Карточки? — удивился он. — Заключённым карточек иметь не положено. Рвут.

— Ну а какая она была из себя?

Олег улыбнулся, прижмурился:

— Спускались волосы до плеч, а на концах — р-раз, и заворачивались кверху. В глазах, вот как в ваших всегда насмешечка, а у неё всегда — немножко грусть. Неужели уж человек так предчувствует свою судьбу, а?

— Вы в лагере вместе были?

— Не-ет.

— Так когда же вы с ней расстались?

— За пять минут до моего ареста... Ну, то есть май ведь был, мы долго у неё сидели в садике. Уже во втором часу ночи я с ней простился и вышел — и через квартал меня взяли. Прямо, машина на углу стояла.

— А её?!

— Через ночь.

— И больше никогда не виделись?

— Ещё один раз виделись. На очной ставке. Я уже острижен был. Ждали, что мы будем давать друг на друга показания. Мы — не дали.

Он вертел окуроч, не зная, куда его деть.

— Да вон туда, — показала она на сверкающую чистую пепельницу председательского места.

А облачка на западе всё растягивало, и уже нежно-жёлтое солнышко почти распеленилось. И даже закоренело-упрямое лицо Олега смягчилось в нём.

— Но почему же вы теперь-то?!.. — сочувствовала Зоя.

— Зоя! — сказал Олег твёрдо, но остановился подумать. — Вы сколько-нибудь представляете — что ждёт в лагере девушку, если она хороша собой? Если её где-нибудь по дороге в воронке не изнасилюют блатные, — впрочем, они всегда успеют это сделать и в лагере, — в первый же вечер лагерные дармоеды, какие-нибудь кобе-

ли нарядчики, пайкодатчики подстроят так, что её поведут голую в баню мимо них. И тут же она будет назначена — кому. И уже со следующего утра ей будет предложено: жить с таким-то и иметь работу в чистом тёплом месте. Ну а если откажется — её постараются так загнать и припечь, чтоб она сама приползла проситься. — Он закрыл глаза. — Она осталась в живых, благополучно кончила срок. Я её не виню, я понимаю. Но и... всё. И она понимает.

Молчали. Солнце проступило в полную ясность, и весь мир сразу повеселел и осветился. Чёрными и ясными проступили деревья сквера, а здесь, в комнате, вспыхнула голубая скатерть и зазолотились волосы Зои.

— ...Одна из наших девушек кончила с собой... Ещё одна жива... Трёх ребят уже нет... Про двоих не знаю...

Он свесился с кресла на бок, покачался и прочёл:

Тот ураган прошёл... Нас мало уцелело...
На переключке дружбы многих нет...

И сидел так, вывернутый, глядя в пол. В какую только сторону не торчали и не закручивались волосы у него на темени! их надо было два раза в день мочить и приглаживать, мочить и приглаживать.

Он молчал, но всё, что Зоя хотела слышать, — она уже слышала. Он был прикован к своей ссылке — но не за убийство; он не был женат — но не из-за пороков; через столько лет он нежно говорил о своей бывшей невесте — и, видимо, был способен к настоящему чувству.

Он молчал, и она молчала, поглядывая то на вышиванье, то на него. Ничего в нём не было хоть сколько-нибудь красивого, но и безобразного сейчас она не находила. К шраму можно привыкнуть. Как говорит бабушка: «Тебе не красивого надо, тебе хорошего надо». Устойчивость и силу после всего перенесенного — вот это Зоя ясно ощущала в нём, силу проверенную, которую она не встречала в своих мальчишках.

Она делала стежки и почувствовала его рассматривающий взгляд.

Исподлобья глянула навстречу.

Он стал говорить очень выразительно, всё время втягивая её взглядом:

Кого позвать мне?.. С кем мне поделиться
Той грустной радостью, что я остался жив?

— Но вот вы уже поделились! — шёпотом сказала она, улыбаясь ему глазами и губами.

Губы у неё были не розовые, но как будто и не накрашенные. Они были между алым и оранжевым — огневатые, цвета светлого огня.

Нежное жёлтое предвечернее солнце оживляло нездоровый цвет и его худого больного лица. В этом тёплом свете казалось, что он не умрёт, он выживет.

Олег тряхнул головой, как после печальной песни гитарист переходит на весёлую:

— Эх, Зоенька! Устройте уж мне праздник до конца! Надоели мне эти белые халаты. Покажите мне не медсестру, а городскую красивую девушку! Ведь в Уш-Тереке мне такой не повидать.

— Но откуда же я вам возьму красивую девушку? — плутовала Зоя.

— Только снимите халат на минутку. И — пройдитеесь!

И он отъехал на кресле, показывая, где ей пройти.

— Но я же на работе, — ещё возражала она. — Я же не имею пра...

То ли они слишком долго проговорили о мрачном, то ли закатное солнце так весело трещало лучами в комнате, — но Зоя почувствовала тот толчок, тот прилив, что это сделать можно и выйдет хорошо.

Она откинула вышиванье, вспрыгнула с кресла, как девчёнка, и уже расстёгивала пуговицы, чуть наклонясь вперёд, торопясь, будто собираясь не пройти, а пробежаться.

— Да тяни-те же! — бросила она ему одну руку, как не свою. Он потянул — и рукав стащился. — Вторую! — танцевальным движением через спину обернулась она, и он стащил второй рукав, халат остался у него на коленях, а она — пошла по комнате. Она пошла как манекенщица — в меру изгибаясь и в меру прямо, то поводя руками на ходу, то приподнимая их.

Так она пошла несколько шагов, оттуда обернулась и замерла — с отведенными руками.

Олег держал халат Зои у груди, как обнял, смотрел же на неё распяленными глазами.

— Bravo! — прогудел он. — Великолепно.

Что-то было даже в свечении голубой скатерти — этой узбекской невычерпаемой голубизны, вспыхнувшей от солнца, — что продолжало в нём вчерашнюю мелодию узнавания, прозревания.

К нему возвращались все непутёвые, запутанные, невозвышенные желания. И радость мягкой мебели, и радость уютной комнаты — после тысячи лет неустроенного, ободранного, неприклонного житья. И радость смотреть на Зою, не просто любоваться ею, но умноженная радость, что он любит не безучастно, а посягательно. Он, умиравший полмесяца назад!

Зоя победно шевельнула огневатыми губами и с лукаво-важным выражением, будто зная ещё какую-то тайну, — прошла ту же дорожку в обратную сторону — до окна. И ещё раз обернувшись к нему, стала так.

Он не поднялся, сидел, но снизу вверх чёрною метёлкою головы тянулся к ней.

По каким-то признакам, — их воспринимаешь, а не назовёшь, — в Зое чувствовалась сила — не та, которая нужна, чтобы перетаскивать шкафы, но другая, требующая встречной силы же. И Олег радовался, что, кажется, он может этот вызов принять, кажется, он способен померяться с ней.

Все страсти жизни возвращались в выздоравливающее тело! Все!

— Зо-я! — нараспев сказал Олег. — Зо-я! А как вы понимаете своё имя?

— Зоя — это жизнь! — ответила она чётко, как лозунг. Она любила это объяснять. Она стояла, заложив руки к подоконнику, за спину, — и вся чуть набок, перенесла тяжесть на одну ногу.

Он улыбался счастливо. Он вошёл в неё глазами.

— А к зоо? К зоо-предкам вы не чувствуете иногда своей близости?

Она рассмеялась в тон ему:

— Все мы немножечко им близки. Добываем пищу, кормим детёнышей. Разве это так плохо?

И тут бы, наверно, ей остановиться! Она же, возбуждённая таким неотрывным, таким поглощающим восхищением, какого не встречала от городских молодых людей, каждую субботу без труда обнимающих девушек хоть на танцах, — она ещё выбросила обе руки и, прищёлкивая обеими, всем корпусом завилыла, как это полагалось при исполнении модной песенки из индийского фильма:

— А-ва-рай-я-а! А-ва-рай-я-а!

Но Олег вдруг помрачнел и попросил:

— Не надо! Этой песни — не надо, Зоя.

Мгновенно она приняла благопристойный вид, будто не пела и не извивалась только что.

— Это — из «Бродяги», — сказала она. — Вы не видели?

— Видел.

— Замечательный фильм! Я два раза была! — (Она была четыре раза, но постеснялась почему-то выговорить.) — А вам не нравится? Ведь у Бродяги — ваша судьба.

— Только не моя, — морщился Олег. Он не возвратился к прежнему светлому выражению, и уже жёлтое солнце не теплило его, и видно было, как же он всё-таки болен.

— Но он тоже вернулся из тюрьмы. И вся жизнь разрушена.

— Это всё — фокусы. Он — типичный блатарь. Урка.

Зоя протянула руку за халатом.

Олег встал, расправил халат и подал ей надеть.

— А вы их не любите? — Она поблагодарила кивком и теперь застёгивалась.

— Я их ненавижу. — Он смотрел мимо неё, жестоко, и челюсть у него чуть-чуть сдвинулась в каком-то неприятном движении. — Это хищные твари, паразиты, живущие только за счёт других. У нас тридцать лет звонили, что они перековываются, что они «социально-близкие», а у них принцип: тебя не... тут у них ругательные слова, и очень хлестко звучит, примерно: тебя не бьют — сиди смиренно, жди очереди; раздевают соседей, не тебя — сиди смиренно, жди очереди. Они охотно топчут того, кто уже лежит, и тут же нагло рядятся в романтические плащи, а мы помогаем им создавать легенды, а песни их даже вот на экране.

— Какие ж легенды? — смотрела, будто провинилась в чём-то.

— Это — сто лет рассказывать. Ну, одну легенду, если хотите. — Они рядом теперь стояли у окна. Олег без всякой связи со своими словами повелительно взял её за локти и говорил как младшенькой. — Выдавая себя за благородных разбойников, блатные всегда гордятся, что не грабят нищих, не трогают у арестантов *святого костыля* — то есть не отбирают последней тюремной пайки, а воруют лишь всё остальное. Но в сорок седьмом году на красноярской пересылке в нашей камере не было ни одного *бобра* — то есть не у кого было ничего отнять. Блатных было чуть не полкамеры. Они проголодались — и весь сахар, и весь хлеб стали забирать себе. А состав камеры был довольно оригинальный: полкамеры урок, полкамеры японцев, а русских нас двое политических, я и ещё один популярный лётчик известный, его именем так и продолжал называться

остров в Ледовитом океане, а сам он сидел. Так урки безсовестно брали у японцев и у нас всё дочиста дня три. И вот японцы, ведь их не поймёшь, договорились, ночью безшумно поднялись, сорвали доски с нар и с криком «банзай!» бросились гвоздить урок! Как они их замечательно били! Это надо было посмотреть!

— И вас?

— Нас-то за что? Мы ж у них хлеба не отбирали. Мы в ту ночь были нейтральны, но переживали во славу японского оружия. И наутро восстановился порядок: и хлеб, и сахар мы стали получать сполна. Но вот что сделала администрация тюрьмы: она половину японцев от нас забрала, а в нашу камеру к битым уркам посадила ещё не битых. И теперь урки бросились бить японцев — с перевесом в числе, да ведь ещё у них и ножи, у них всё есть. Били они их безчеловечно, насмерть — и вот тут мы с лётчиком не выдержали и ввязались за японцев.

— Против русских?

Олег отпустил её локти и стал выпрямленный. Чуть повёл челюстью с боку на бок:

— Блатарей — я не считаю за русских.

Он поднял руку и провёл пальцем по шраму, будто протирая его, — от подбородка по низу щеки и на шею:

— Вот там меня и резанули.

13

Нисколько не опала и не размягчилась опухоль Павла Николаевича и с субботы на воскресенье. Он понял это, ещё не поднявшись из постели. Разбудил его рано старый узбек, под утро и всё утро противно кашлявший над ухом.

За окном пробелился пасмурный неподвижный день, как вчера, как позавчера, ещё больше нагнетая тоску. Казах-чабан с утра пораньше сел с подкрещенными ногами на кровати и бессмысленно сидел, как пень. Сегодня не ожидалось врачи, никого не должны были звать на рентген или на перевязки, и он, пожалуй, до вечера мог так высидеть. Зловещий Ефрем опять упёрся в заупокойного своего Толстого; иногда он поднимался топтать проход, тряся кровати, но уже хорошо, что к Павлу Николаевичу больше не цеплялся, и ни к кому вообще.

Оглоед как ушёл, так целый день его в палате и не было. Геолог, приятный, воспитанный молодой человек, читал свою геологию, никому не мешал. И остальные в палате держали себя тихо.

Подбадривало Павла Николаевича, что придет жена. Конечно, ничем реальным она не могла ему помочь, но сколько значило излиться ей: как ему плохо; как ничуть не помог укол; какие противные люди в палате. Посочувствует — и то легче. И попросить её принести какую-нибудь книжку — бодряую, современную. И авторучку — чтобы не попадать так смешно, как вчера, у пацана карандаш одолжал записывать рецепт. Да, и главное же — наказать о грибе, о берёзовом грибе.

В конце концов — не всё потеряно: лекарства не помогут — есть вот разные средства. Самое главное — быть оптимистом.

Понемногу-понемногу, а приживался Павел Николаевич и здесь. После завтрака он дочитывал во вчерашней газете бюджетный доклад Зверева. А тут без задержки принесли и сегодняшнюю. Принял её Дёмка, но Павел Николаевич велел передать себе и сразу же с удовлетворением прочёл о падении правительства Мендес-Франса (не строй козней! не навязывай парижских соглашений!), в запасе заметил себе большую статью Эренбурга и погрузился в статью о претворении в жизнь решения январского Пленума о крутом увеличении производства продуктов животноводства.

Так Павел Николаевич коротал день, пока объявила санитарка, что к Русанову пришла жена. Вообще, к лежащим больным родственников допускали в палату, но у Павла Николаевича не было сейчас сил идти доказывать, что он — лежащий, да и самому вольготнее было уйти в вестибюль от этих унылых, упавших духом людей. И, обмотав тёплым шарфиком шею, Русанов пошёл вниз.

Не всякому за год до серебряной свадьбы остаётся так мила жена, как была Капа Павлу Николаевичу. Ему действительно за всю жизнь не было человека ближе, ни с кем ему не было так хорошо порадоваться успехам и обдумать беду. Капа была верный друг, очень энергичная женщина и умная («у неё сельсовет работает!» — всегда хвастался Павел Николаевич друзьям). Павел Николаевич никогда не испытывал потребности ей изменять, и она ему не изменяла. Это неправда, что, переходя выше в общественном положении, муж начинает стыдиться подруги своей молодости. Далеко они поднялись с того уровня, на котором женились (она была работница на той самой макаронной фабрике, где в тестомесильном цехе сперва работал и он, но ещё до женитьбы поднялся

в фабзавком, и работал по технике безопасности, и по комсомольской линии был брошен на укрепление аппарата совторгслужащих, и ещё год был директором фабрично-заводской девятилетки), — но не расцепились за это время интересы супругов, и от заносчивости не раздуло их. И на праздниках, немного выпив, если публика за столом была простая, Русановы любили вспомнить своё фабричное прошлое, любили громко попеть «Волочаевские дни» и «Мы красная кавалерия — и — про — нас».

Сейчас в вестибюле Капа своей широкой фигурой, со сдвоенной чернобуркой, ридикюлем величиной с портфель и хозяйственной сумкой с продуктами, заняла добрых три места на скамье в самом тёплом углу. Она встала поцеловать мужа тёплыми мягкими губами и посадила его на отвёрнутую полу своей шубы, чтоб ему было теплей.

— Тут письмо есть, — сказала она, подёргивая углом губы, и по этому знакомому подёргиванию Павел Николаевич сразу заключил, что письмо неприятное. Во всём человек хладнокровный и рассудительный, вот с этой только бабьей манерой Капа никогда не могла расстаться: если что новое — хорошее ли, плохое — обязательно ляпнуть с порога.

— Ну хорошо, — обиделся Павел Николаевич, — добивай меня, добивай! Если это важней — добивай.

Но, ляпнув, Капа уже разрядилась и могла теперь разговаривать как человек.

— Да нет же, нет, ерунда! — раскаивалась она. — Ну как ты? Ну, как ты, Пасик? Об уколе я всё знаю, я ведь и в пятницу звонила старшей сестре, и вчера утром. Если б что было плохое — я б сразу примчалась. Но мне сказали — очень хорошо прошёл, да?

— Укол прошёл очень хорошо, — довольный своей стойкостью, подтвердил Павел Николаевич. — Но обстановочка, Капелька... Обстановочка! — И сразу всё здешнее, обидное и горькое, начиная с Ефрема и Оглоеда, представилось ему разом, и, не умея выбрать первую жалобу, он сказал с болью: — Хоть бы уборной пользоваться отдельной от людей! Какая здесь уборная! Кабины не отгорожены! Всё на виду.

(По месту службы Русанов ходил на другой этаж, но в уборную не общего доступа.)

Понимая, как тяжело он попал и что ему надо выговориться, Капа не прерывала его жалоб, а наводила на новые, и так постепенно он их все высказывал до самой безответной и безвыходной —

«за что врачам деньги платят?». Она подробно расспросила его о самочувствии во время укола и после укола, об ощущении опухоли и, раскрыв шарфик, посмотрела на опухоль и даже сказала, что, по её мнению, опухоль чуть-чуть-чуть стала меньше.

Она не стала меньше, Павел Николаевич знал, но всё же отрадно ему было услышать, что, может быть, — и меньше.

— Во всяком случае, не больше, а?

— Нет, только не больше! Конечно, не больше! — уверена была Капа.

— Хотя расти бы перестала! — сказал, как попросил, Павел Николаевич, и голос его был на слезе. — Хотя бы расти перестала! А то если б неделю ещё так поросла — и что же?.. и...

Нет, выговорить это слово, заглянуть туда, в чёрную пропасть, он не мог. Но до чего ж он был несчастен и до чего это было всё опасно!

— Теперь укол завтра. Потом в среду. Ну а если не поможет? Что ж делать?

— Тогда в Москву! — решительно говорила Капа. — Давай так: если ещё два укола не помогут, то — на самолёт и в Москву. Ты ведь в пятницу позвонил, а потом сам отменил, а я уже звонила Шендяпиным и ездила к Алымовым, и Алымов сам звонил в Москву, и оказывается, до недавнего времени твою болезнь только в Москве и лечили, всех отправляли туда, а это они, видишь ли, в порядке роста местных кадров взялись лечить тут. Вообще, всё-таки врачи — отвратительная публика! Какое они имеют право рассуждать о производственных достижениях, когда у них в обработке находится живой человек? Ненавижу я врачей, как хочешь!

— Да, да! — с горечью согласился Павел Николаевич. — Да! Я уж это им тут высказал!

— И учителей ещё ненавижу! Сколько я с ними намучилась из-за Майки! А из-за Лаврика?

Павел Николаевич протёр очки:

— Ещё понятно было в моё время, когда я был директором. Тогда педагоги были все враждебны, все не наши, и прямая задача стояла — обуздать их. Но сейчас-то, сейчас мы можем с них потребовать?

— Да, так слушай! Поэтому большой сложности отправить тебя в Москву нет, дорожка ещё не забыта, можно найти основания. К тому же Алымов договорился, что там договорятся — и тебя поместят в очень неплохое место. А?.. Подождём третьего укола?

Так определённо они спланировали — и Павлу Николаевичу полегчало на сердце. Только не покорное ожидание гибели в этой затхлой дыре! Русановы были всю жизнь — люди действия, люди инициативы, и только в инициативе наступало их душевное равновесие.

Торопиться сегодня им было некуда, и счастье Павла Николаевича состояло в том, чтобы дольше сидеть здесь с женой, а не идти в палату. Он зяб немного, потому что часто отворялась наружная дверь, и Капитолина Матвеевна вытянула с плеч своих изпод пальто шаль и укутала его. И соседи по скамье у них попались тоже культурные чистые люди. И так можно было посидеть подольше.

Медленным перебором они обсуждали разные вопросы жизни, прерванные болезнью Павла Николаевича. Лишь того главного избегали они, что над ними висело: худого исхода болезни. Против этого исхода они не могли выдвинуть никаких планов, никаких действий, никаких объяснений. К этому исходу они никак не были готовы — и уж по тому одному невозможен был такой исход. (Правда, у жены мелькали иногда кое-какие мысли, имущественные и квартирные предположения на случай смерти мужа, но оба они настолько были воспитаны в духе оптимизма, что лучше было все эти дела оставить в запутанном состоянии, чем угнетать себя предварительным их разбором или каким-нибудь упадочническим завещанием.)

Они говорили о звонках, вопросах и пожеланиях сотрудников из Промышленного Управления, куда Павел Николаевич перешёл из заводской спецчасти в позапрошлом году. (Не сам он, конечно, вёл промышленные вопросы, потому что у него не было такого узкого уклона, их согласовывали инженерá и экономисты, а уже за ними самими осуществлял спецконтроль Русанов.) Работники все его любили, и теперь лестно было узнать, как о нём беспокоятся.

Говорили и о его расчётах на пенсию. Как-то получалось, что, несмотря на долгую безупречную службу на довольно ответственных местах, он, очевидно, не мог получить мечту своей жизни — персональную пенсию. И даже выгодной ведомственной пенсии — льготной по сумме и по начальным срокам — он тоже мог не получить, — из-за того, что в 1939 не решился, хотя его звали, надеть чекистскую форму. Жаль, а может быть, по неустойчивой обстановке двух последних лет, и не жаль. Может быть, покой дороже.

Они коснулись и общего желания людей жить лучше, всё ясней проявляющегося в последние годы — и в одежде, и в обстановке, и в отделке квартир. И тут Капитолина Матвеевна высказала, что если лечение мужа будет успешное, но растянется, как их предупредили, месяца на полтора-два, то было бы удобно за это время произвести в их квартире некоторый ремонт. Одну трубу в ванной давно нужно было передвинуть, а в кухне перенести раковину, а в уборной надо стены обложить плиткой, в столовой же и в комнате Павла Николаевича необходимо освежить покраской стены: колер сменить (уж она смотрела колера) и обязательно сделать золотой накат, это теперь модно. Против всего этого Павел Николаевич не возражал, но сразу же встал досадный вопрос о том, что хотя рабочие будут присланы по государственному наряду и по нему получают зарплату, но обязательно будут вымогать — не просить, а именно вымогать — доплату от «хозяев». Не то что денег было жалко (впрочем, было жалко и их!), но гораздо важнее и обиднее высилась перед Павлом Николаевичем принципиальная сторона: за что? Почему сам он получал законную зарплату и премии и никаких больше чаевых и добавочных не просил? А эти безсовестные хотели получить деньги сверх денег? Уступка здесь была принципиальная, недопустимая уступка всему миру стихийного и мелкобуржуазного. Павел Николаевич волновался всякий раз, когда заходило об этом:

— Скажи, Капа, но почему они так небрежны к рабочей чести? Почему мы, когда работали на макаронной фабрике, не выставяли никаких условий и никакой «лапы» не требовали с мастера? Да могло ли нам это в голову прийти?.. Так ни за что мы не должны их развращать! Чем это не взятка?

Капа вполне была с ним согласна, но тут же привела соображение, что если им не заплатить, не «выставить» в начале и в середине, то они обязательно отомстят, сделают что-нибудь плохо, и потом сам расквешься.

— Один полковник в отставке, мне рассказывали, твёрдо стоял, сказал — не доплачу ни копейки! Так рабочие заложили ему в сток ванной дохлую крысу — и вода плохо сходила, и вонью несло.

Так ничего они с ремонтом и не договорились. Сложна жизнь, очень уж сложна, до чего ни тронься.

Говорили о Юре. Он вырос слишком тиховат, нет в нём русановской жизненной хватки. Ведь вот хорошая юридическая специальность, и хорошо устроили после института, но надо признаться,

он не для этой работы. Ни положения своего утвердить, ни завести хороших знакомств — ничего он этого не умеет. Вероятно, сейчас, в командировке, наделает ошибок. Павел Николаевич очень безпокоился. А Капитолина Матвеевна безпокоилась насчёт его женитьбы. Машину водить навязал ему папа, квартиру отдельную добиваться тоже будет папа — но как доглядеть и подправить с его женитьбой, чтоб он не ошибся? Ведь он такой безхитростный, его охмурит какая-нибудь ткачиха с комбината, ну, положим, с ткачихой ему негде встретиться, в таких местах он не бывает, но вот теперь в командировке? А этот лёгкий шаг безрассудного регистрации — ведь он губит жизнь не одного молодого человека, но усилия всей семьи! Как Шендяпиных дочка в пединституте чуть не вышла за своего однокурсника, а он — из деревни, мать его — простая колхозница, и надо себе представить квартиру Шендяпиных, их обстановку, и какие ответственные люди у них бывают в гостях, — и вдруг бы за столом эта старушка в белом платочке — свекровь! Чёрт его знает... Спасибо, удалось опорочить жениха по общественной линии, спасли дочь.

Другое дело — Авиета, Алла. Авиета — жемчужина русановской семьи. Отец и мать не припоминают, когда она доставляла им огорчения или заботы, ну, кроме школьного озорничанья. И красавица, и разумница, и энергичная, очень правильно понимает и берёт жизнь. Можно не проверять её, не безпокоиться — она не сделает ошибочного шага ни в малом, ни в большом. Только вот за имя обижаются на родителей: не надо, мол, было фокусничать, называйте теперь просто Аллой. Но в паспорте — Авиета Павловна. Да ведь и красиво. Каникулы кончаются, в среду она прилетает из Москвы и примчится в больницу обязательно.

С именами — горе: требования жизни меняются, а имена остаются навсегда. Вот уже и Лаврик обижаются на имя. Сейчас-то в школе Лаврик и Лаврик, никто над ним не зубоскалит, но в этом году получать паспорт, и что ж там будет написано? Лаврентий Павлович. Когда-то с умыслом так и рассчитали родители: пусть носит имя министра, нестигаемого сталинского соратника, и во всём походит на него. Но вот уже второй год, как сказать «Лаврентий Павлыч» вслух, пожалуй, поостережётся. Одно выручает — что Лаврик рвётся в военное училище, а в армии по имени-отчеству звать не будут.

А так, если шепотком спросить: зачем это всё делалось? Среди Шендяпиных тоже думают, но чужим не высказывают: даже если

предположить, что Берия оказался двурушник и буржуазный националист и стремился к власти, — ну хорошо, ну судите его, ну расстреляйте закрытым порядком, но зачем же объявлять об этом простому народу? Зачем колебать его веру? Зачем вызывать сомнения? В конце концов, можно было бы спустить до определённого уровня закрытое письмо, там всё объяснить, а по газетам пусть считается, что умер от инфаркта. И похоронить с почётом.

И о Майке, самой младшей, говорили. В этом году полиняли все майкины пятёрки, и не только она уже не отличница, и с доски почёта сняли, но даже и четвёрок у неё немного. А всё из-за перехода в пятый класс. В начальных классах была у неё всё время одна учительница, знала её, и родителей знала, — и Майя училась великолепно. А в этом году у неё двадцать учителей-предметников, придёт на один урок в неделю, он их и в лицо не знает, жмёт свой учебный план, а о том, какая травма наносится ребёнку, как калечится его характер, — разве об этом он думает? Но Капитолина Матвеевна не пожалеет сил, а через родительский комитет наведёт в этой школе порядок.

Так говорили они обо всём, обо всём, не один час, но — вяло шли их языки, и разговоры эти, скрывая от другого, каждый ощущал как не деловое. Всё опущено было в Павле Николаевиче внутри, не верилось в реальность людей и событий, которые они обсуждали, и делать ничего не хотелось, и даже лучше всего сейчас было бы лечь, опухоль приложить к подушке и укрыться.

А Капитолина Матвеевна весь разговор вела через силу потому, что ридиколь прожигало ей письмо, полученное сегодня утром из К* от брата Миная. В К* Русановы жили до войны, там прошла их молодость, там они женились, и все дети родились там. Но во время войны они эвакуировались сюда, в К* не вернулись, квартиру же сумели передать брату Капы.

Она понимала, что мужу сейчас не до таких известий, но и известие-то было такое, что им не поделишься просто с хорошей знакомой. Во всём городе у них не было ни одного человека, кому б это можно было рассказать с объяснением всего смысла. Наконец, во всём утешая мужа, и сама ж она нуждалась в поддержке! Она не могла жить дома одна с этим неразделённым известием. Из детей только, может быть, Авиете можно было всё рассказать и объяснить. Юре — ни за что. Но и для этого надо было посоветоваться с мужем.

А он, чем больше сидел с нею здесь, тем больше томел, и всё невозможнее казалось поговорить с ним именно о главном.

Подходило время ей так и так уезжать, и из хозяйственной сумки она стала вынимать и показывать мужу, что привезла ему кушать. Рукава её шубы так уширены были манжетами из чернобурки, что едва входили в раззявленную пасть сумки.

И тут-то, увидев продукты (которых и в тумбочке у него ещё оставалось довольно), Павел Николаевич вспомнил другое, что было ему важнее всякой еды и питья, и с чего сегодня и надо было начинать, — вспомнил чагу, берёзовый гриб! И, оживясь, он стал рассказывать жене об этом чуде, об этом письме, об этом докторе (может — и шарлатане) и о том, что надо сейчас придумать, кому написать, кто наберёт им в России этого гриба.

— Ведь там у нас, вокруг К*, — берёзы сколько угодно. Что стоит Минаю мне это организовать?! Напиши Минаю сейчас же! Да и ещё кому-нибудь, есть же старые друзья, пусть позаботятся! Пусть все знают, в каком я положении!

Ну, он сам заговорил о Минае и о К*! И теперь, лишь письма самого не доставая, потому что брат писал в каких-то мрачных выражениях, а только отгибая и отпуская щёлкающий капканом замок ридикюля, Капа сказала:

— Ты знаешь, Паша, трезвонить ли о себе в К* — это надо подумать... Минька пишет... Ну, может, это ещё неправда... Что появился у них в городе... Родичев... И будто бы ре-а-би-ли-тирован... Может это быть, а?

Пока она выговаривала это мерзкое длинное слово «ре-а-би-ли-ти-рован» и смотрела на замок ридикюля, уже склоняясь достать и письмо, — она пропустила то мгновение, что Паша стал белей беляя.

— Что ты?? — вскрикнула она, пугаясь больше, чем была напугана этим письмом сама. — Что ты?!

Он был откинут к спинке и женским движением стягивал на себе её шаль.

— Да ещё, может, нет! — она подхватила сильными руками взять его за плечи, в одной руке так и держа ридикюль, будто стараясь навесить ему на плечо. — Ещё, может, нет! Минька сам его не видел. Но — люди говорят...

Бледность Павла Николаевича постепенно сходила, но он весь ослабел — в поясе, в плечах, и ослабели его руки, а голову так и выворачивала набок опухоль.

— Зачем ты мне сказала? — несчастным, очень слабым голосом произнёс он. — Неужели у меня мало горя? Неужели у меня

мало горя?.. — И он дважды произвёл без слёз плачущее вздрагивание грудью и головой.

— Ну прости меня, Пашенька! Ну прости меня, Пасик! — она держала его за плечи, а сама тоже трясла и трясла своей завитой львиной причёской медного цвета. — Но ведь и я теряю голову! И неужели он теперь может отнять у Миная комнату? Нет, вообще, к чему это идёт? Ты помнишь, мы уже слышали два таких случая?

— Да при чём тут комната, будь она проклята, пусть забирает, — плачущим шёпотом ответил он ей.

— Ну как проклята? А каково сейчас Минаю стесниться?

— Да ты о муже думай! Ты думай — я как?.. А про Гузуна он не пишет?

— Про Гузуна нет... А если они все теперь начнут возвращаться — что ж это будет?

— Откуда я знаю! — придушенным голосом отвечал муж. — Какое ж они *право* имеют теперь их выпускать?.. Как же можно так безжалостно травмировать людей?..

14

Так ждал Русанов хоть на этом свидании приободриться, а получилось во много тошней, лучше бы Капа совсем и не приезжала. Он поднимался по лестнице, шатаясь, вцепясь в перила, чувствуя, как всё больше его разбирает озноб. Капа не могла провожать его наверх одетая — бездельница-санитарка специально стояла и не пускала, так её Капа и погнала проводить Павла Николаевича до палаты и отнести сумку с продуктами. За дежурным столиком лупоглазая эта сестра Зоя, которая почему-то понравилась Русанову в первый вечер, теперь, загорядясь ведомостями, сидела и кокетничала с неотёсанным Оглоедом, мало думая о больных. Русанов попросил у неё аспирина, она тут же заученно-бойко ответила, что аспирин только вечером. Но всё ж дала померить температуру. И потом что-то ему принесла.

Сами собой поменялись продукты. Павел Николаевич лёг, как мечтал: опухоль — в подушку (ещё удивительно, что здесь были мягкие подушки, не пришлось везти из дому свою), и накрылся с головой.

В нём так замотались, заколотились, огнём налились мысли, что всё остальное тело стало безчувственным, как от наркоза, и он

уже не слышал глупых комнатных разговоров и, потрясываясь вместе с половицами от ходьбы Ефрема, не чувствовал этой ходьбы. И не видел он, что день разгулялся, перед заходом где-то проглянуло солнце, только не с их стороны здания. И полёта часов он не замечал. Он засыпал, может быть от лекарства, и просыпался. Как-то проснулся уже при электрическом свете, и опять заснул. И опять проснулся среди ночи, в темноте и тишине.

И почувствовал, что сна больше нет, отпала его благодетельная пелена. А страх — весь тут, вцепился в нижнюю середину груди и сжимал.

И разные-разные-разные мысли стали напирать и раскручиваться: в голове Русанова, в комнате и дальше, во всей просторной темноте.

Даже никакие не мысли, а просто — он боялся. Просто — боялся. Боялся, что Родичев вдруг вот завтра утром прорвётся через сестёр, через санитарок, бросится сюда и начнёт его бить. Не правосудия, не суда общественности, не позора боялся Русанов, а просто, что его будут бить. Его били всего один раз в жизни — в школе, в его последнем шестом классе: поджидали вечером у выхода, и ножей ни у кого не было, но на всю жизнь осталось это ужасное ощущение со всех сторон тебя встречающих костистых жестоких кулаков.

Как покойник представляется нам потом долгие годы таким, каким мы последний раз видели его юношей, если даже за это время он должен был стать стариком, так и Родичев, который через восемнадцать лет должен бы был вернуться инвалидом, может быть глухим, может быть скрюченным, — сейчас виделся Русанову тем прежним загорелым здоровяком, с гантелями и гирей, на их общем длинном балконе в его последнее перед арестом воскресенье. Гольй до пояса, он подозвал:

— Пашка! Иди сюда! На-ка пощупай бицепсы. Да не брезгуй, жми! Понял теперь, что значит инженер новой формации? Мы не рахитики, какие-нибудь там Эдуарды Христофоровичи, мы — люди гармонические. А ты вот хиловатый стал, засыхаешь за кожаной дверью. Иди к нам на завод, в цех устрой, а? Не хочешь?.. Ха-га!..

Захохотал и пошёл мыться, напевая:

Мы — кузнецы, и дух наш молод.

Вот этого-то здоровяка Русанов и представил сейчас врывающимся сюда, в палату, с кулаками. И не мог стряхнуть с себя ложный образ.

С Родичевым они были когда-то друзья, в одной комсомольской ячейке, эту квартиру получали вместе от фабрики. Потом Родичев пошёл по линии рабфака и института, а Русанов — по линии профсоюза и по анкетному хозяйству. Сперва начали не ладить жёны, потом и сами они, Родичев часто разговаривал с Русановым в оскорбительном тоне, да и вообще держался слишком безответственно, противопоставлял себя коллективу. Бок о бок с ним жить стало невыносимо и тесно. Ну, да всё сошлось, и погорячились, конечно, и дал на него Павел Николаевич такой материал: что в частном разговоре с ним Родичев одобрительно высказывался о деятельности разгромленной Промпартии и намеревался у себя на заводе сколотить группу вредителей. (Прямо так он не говорил, но по своему поведению мог говорить и мог намереваться.)

Только Русанов очень просил, чтоб имя его нигде не фигурировало в деле и чтобы не было очной ставки. Но следователь гарантировал, что по закону и не требуется открывать Русанова, и не обязательна очная ставка — достаточно будет признания самого обвиняемого. Даже первоначальное русановское заявление можно не подшивать в том следственного дела, так что обвиняемый, подписывая 206-ю статью, нигде не встретит фамилию своего соседа по квартире.

И так бы всё гладко прошло, если б не Гузун — секретарь заводского парткома. Ему из органов пришла выписка, что Родичев — враг народа, на предмет исключения его из партии первичной ячейкой. Но Гузун упёрся и стал шуметь, что Родичев — наш парень, и пусть ему дадут подробные материалы. На свою голову и нашумел, через два дня в ночь арестовали и его, а на третье утро благополучно исключили и Родичева, и Гузуна — как членов одной контрреволюционной подпольной организации.

Но Русанова теперь прокололо то, что за эти два дня, пока Гузуна уламывали, ему всё-таки вынуждены были сказать, что материал поступил от Русанова. Значит, встретившись с Родичевым там (а раз они пошли по одному делу, так могли в конце концов и встретиться), Гузун скажет Родичеву — и вот почему Русанов так опасался теперь этого зловещего возврата, этого воскрешения из мёртвых, которого никогда нельзя было вообразить.

Хотя, конечно, и жена Родичева могла догадаться, только жива ли она? Капа так намечала: как только Родичева арестуют, так Катьку Родичеву сейчас же выселить, и захватить всю квартиру, и балкон тогда будет весь их. (Теперь смешно, что комната

в четырнадцать метров в квартире без газа могла иметь такое значение. Ну, да ведь и дети росли.) Операция эта с комнатой была уже вся согласована, и пришли Катюку выселять, но она выкинула номер — заявила, что беременна. Настояли проверить — принесла справку. А по закону беременную выселять нельзя. И только к следующей зиме её выселили, а длинные месяцы пришлось терпеть и жить с ней обок — пока она носила, пока родила и ещё до конца декретного. Ну, правда, теперь ей Капа пикнуть не давала на кухне, и Аве уже шёл пятый год, она очень смешно её дразнила.

Сейчас, лёжа на спине, в темноте посапывающей и похрапывающей палаты (лишь лёгкий отсвет настольной лампы сестры из вестибюля достигал сюда через стеклянную матовую дверь) Русанов бессонным ясным умом пытался разобраться, почему его так взбалмошили тени Родичева и Гузуна и испугался ли бы он, если б вернулся кто-то из других, чью виновность он тоже помог установить: тот же Эдуард Христофорович, инженер буржуазного воспитания, назвавший Павла при рабочих дураком (а сам потом признался, что мечтал реставрировать капитализм); та стенографистка, которая оказалась виновна в искажении речи важного начальника, покровителя Павла Николаевича, а начальник в речи эти слова совсем не так говорил; тот неподатливый бухгалтер (ещё к тому ж оказался и сыном священника, и скрутили его в одну минуту); жена и муж Ельчанские; да мало ли?..

Ведь никого ж из них Павел Николаевич не боялся, он всё смелее и открытее помогал устанавливать вину, даже два раза ходил на очные ставки, там повышал голос и избличал. Да тогда и не считалось вовсе, что идейной непримиримости надо стыдиться! В то прекрасное честное время, в тридцать седьмом — тридцать восьмом году, заметно очищалась общественная атмосфера, так легко стало дышаться! Все лгуны, клеветники, слишком смелые любители самокритики или слишком заумные интеллигентки — исчезли, заткнулись, притаились, а люди принципиальные, устойчивые, преданные, друзья Русанова и сам он, ходили с достойно поднятой головой.

И вот теперь какое-то новое, мутное, нездоровое время, что этих прежних своих лучших гражданских поступков надо стыдиться? Или даже за себя бояться?

Какая чушь. Да всю свою жизнь перебирая, Русанов не мог упрекнуть себя в трусости. Ему не приходилось бояться! Может быть, он не был какой-нибудь особо храбрый человек, но и случая

такого не припоминалось, чтобы проявил трусость. Нет оснований предполагать, что он испугался бы на фронте, — просто на фронт его не взяли как ценного, опытного работника. Нельзя утверждать, что он растерялся бы под бомбёжкой или в пожаре — но из К* они уехали до бомбёжек, и в пожар он не попадал никогда. Также никогда он не боялся правосудия и закона, потому что закона он не нарушал и правосудие всегда защищало его и поддерживало. И не боялся он разоблачений общественности — потому что общественность тоже была всегда за него. И в областной газете не могла бы появиться неприличная заметка против Русанова, потому что или Александр Михалыч, или Нил Прокофьевич всегда б её остановили. А центральная газета не могла бы до Русанова опуститься. Так и прессы он тоже никогда не боялся.

И, пересекая Чёрное море на пароходе, он нисколько не боялся морской глубины. А боялся ли он высоты — нельзя сказать, потому что не был он так пустоголов, чтобы лазить на горы или на скалы, а по роду своей работы не монтировал мостов.

Род работы Русанова в течение уже многих лет, едва ли не двадцати, был — анкетное хозяйство. Должность эта в разных учреждениях называлась по-разному, но суть была всегда одна. Только неучи да несведущие посторонние люди не знают, какая это ажурная тонкая работа. Каждый человек на жизненном пути заполняет немалое число анкет, и в каждой анкете — известное число вопросов. Ответ одного человека на один вопрос одной анкеты — это уже ниточка, навсегда протянувшаяся от человека в местный центр анкетного хозяйства. От каждого человека протянуты, таким образом, сотни ниточек, а всего их сходятся многие миллионы, и если б ниточки эти стали видимы, то всё небо оказалось бы в паутине, а если б они стали материально-упруги, то и автобусы, и трамваи, и сами люди потеряли бы возможность двигаться и ветер не мог бы вдоль улицы пронести клочков газеты или осенних листьев. Но они невидимы и нематериальны, а, однако, чувствуются человеком постоянно. Дело в том, что так называемые кристальные анкеты — это как абсолютная истина, как идеал, они почти недостижимы. На каждого живого человека всегда можно записать что-нибудь отрицательное или подозрительное, каждый человек в чём-нибудь виноват или что-нибудь утаивает, если разобраться дотошно.

Из этого постоянного ощущения незримых ниточек естественно рождается у людей и уважение к тем лицам, кто эти ниточки

вытягивает, кто ведёт это сложнейшее анкетное хозяйство. Авторитет таких лиц.

Пользуясь ещё одним сравнением, уже музыкальным, Русанов, благодаря своему особому положению, обладал как бы набором дощечек ксилофона и мог по выбору, по желанию, по соображениям необходимости ударять по любой из дощечек. Хотя все они были равно деревянные, но голос был у каждой свой.

Были дощечки, то есть приёмы, самого нежного, осторожно-го действия. Например, желая какому-нибудь товарищу передать, что он им недоволен, или просто предупредить, немного поставить на место, Русанов умел особыми ладами здороваться. Когда тот человек здоровался (разумеется, первый), Павел Николаевич мог ответить деловито, но не улыбнуться; а мог, сдвинув брови (это он отрабатывал в рабочем кабинете перед зеркалом), чуть-чуть замедлить ответ — как будто он сомневался, надо ли, собственно, с этим человеком здороваться, достоин ли тот, — и уж после этого поздороваться (опять же: или с полным поворотом головы, или с неполным, или вовсе не поворачивая). Такая маленькая задержка всегда имеет, однако, значительный эффект. В голове работника, который был приветствован с такой заминкой или холодком, начинались деятельные поиски тех грехов, в которых этот работник мог быть виноват. И, поселив сомнение, заминка удерживала его, может быть, от неверного поступка, на грани которого работник уже был, но Павел Николаевич лишь с опозданием получил бы об этом сведения.

Более сильным средством было, встретив человека (или позвонив ему по телефону, или даже специально вызвав его), сказать: «Зайдите, пожалуйста, ко мне завтра в десять часов утра». — «А сейчас нельзя?» — обязательно спросит человек, потому что ему хочется скорее выяснить, зачем его вызывают, и скорее исчерпать разговор. «Нет, сейчас нельзя», — мягко, но строго скажет Русанов. Он не скажет, что занят другим делом или идёт на совещание, нет, он ни за что не даст ясной простой причины, чтоб успокоить вызванного (в том-то и состоит приём), он так выговорит это «сейчас нельзя», чтобы сюда поместилось много серьёзных значений — и не все из них благоприятные. «А по какому вопросу?» — может быть, осмелится спросить или, по крайней неопытности, спросит работник. «Завтра и узнаете», — бархатисто обойдёт этот нетактичный вопрос Павел Николаевич. Но до десяти часов завтрашнего дня — сколько времени! сколько событий! Работнику надо ещё

кончить рабочий день, ехать домой, разговаривать с семьёй, может быть идти в кино или на родительское собрание в школу, и ещё потом спать (кто заснёт, а кто и нет), и ещё потом утром давиться завтраком, — и всё время будет сверлить и грызть работника этот вопрос: «А зачем он меня вызывает?» За эти долгие часы работник во многом раскается, во многом опасётся и даст себе зарок не задира́ть на собраниях начальство. А уж когда он придёт — может и дела никакого не окажется, надо проверить дату рождения или номер диплома.

Так, подобно дощечкам ксилофона, способы нарастали по своему деревянному голосу, и наконец самым сухим и резким было: «Сергей Сергеич, — (это директор всего предприятия, местный Хозяин), — просил вас к такому-то числу заполнить вот эту анкету». И работнику протягивалась анкета, — но не просто анкета, а из всех анкет и форм, хранящихся в шкафу Русанова, самая полная и самая неприятная — ну, например, та, которая для засекречивания. Работник-то, может быть, совсем и не засекречивается, и Сергей Сергеич вовсе о том не знает, но кто ж пойдёт проверять, когда Сергея Сергеевича самого боятся как огня? Работник берёт анкету и ещё делает бодрый вид, а на самом деле, если что-нибудь он только скрывал от анкетного центра, — уже всё внутри у него скребёт. Потому что в этой анкете ничего не укрыть. Это — отличная анкета. Это — лучшая из анкет.

Именно с помощью такой анкеты Русанову удалось добиться разводов нескольких женщин, мужа́ которых находились в заключении по 58-й статье. Уж как эти женщины заматали следы, посылали посылки не от своего имени, не из этого города или вовсе не посылали — в этой анкете слишком строго стоял частокोल вопросов, и лгать дальше было нельзя. И один только был пропуск в частоколе: окончательный развод перед законом. К тому же его процедура была облегчена: суд не спрашивал от заключённых согласия на развод и даже не извещал их о совершённом разводе. Русанову важно было, чтобы развод совершился, чтобы грязные лапы преступника не стягивали ещё не погибшую женщину с общей гражданской дороги. А анкеты эти никуда и не шли. И Сергею Сергеевичу показывались только разве в виде анекдота.

Обособленное, загадочное, полупотустороннее положение Русанова в общем ходе производства давало ему и удовлетворяло его глубоким знанием истинных процессов жизни. Жизнь, которая была видна всем, — производство, совещания, многотиражка, мест-

комовские объявления на вахте, заявления на получение, столовая, клуб, — не была настоящая, а только казалась такой непосвящённым. Истинное же направление жизни решалось без крикливости, спокойно, в тихих кабинетах между двумя-тремя понимающими друг друга людьми или телефонным ласковым звонком. Ещё струилась истинная жизнь в тайных бумагах, в глуби портфелей Русанова и его сотрудников, и долго молча могла ходить за человеком — и только внезапно на мгновение обнажалась, высовывала пасть, рыгала в жертву огнём — и опять скрывалась, неизвестно куда. И на поверхности оставалось всё то же: клуб, столовая, заявления на получение, многотиражка, производство. И только не хватало среди проходивших вахту — уволенного, отчисленного, изъятого.

Соответственно роду работы бывало оборудовано и рабочее место Русанова. Это всегда была уединённая комната с дверью, сперва обитой кожей и блестящими обойными гвоздями, а потом, по мере того как богатело общество, ещё и ограждённая входным предохранительным ящиком, тёмным тамбуром. Этот тамбур — как будто и простое изобретение, совсем нехитрая штука: не больше метра в глубину, и лишь секунду-две мешкает посетитель, закрывая за собой первую дверь и ещё не открыв вторую. Но в эти секунды перед решающим разговором он как бы попадает в короткое заключение: нет ему света, и воздуха нет, и он чувствует всё своё ничтожество перед тем, к кому сейчас входит. И если была у него дерзость, своеумудрие — то здесь, в тамбуре, он расстанется с ними.

Естественно, что и по несколько человек сразу к Павлу Николаевичу не вваливались, а только впускались поодиночке, кто был вызван или получил по телефону разрешение прийти.

Такое оборудование рабочего места и такой порядок допуска очень способствовали вдумчивому и регулярному выполнению обязанностей в русановском отделе. Без предохранительного тамбура Павел Николаевич бы страдал.

Разумеется, по диалектической взаимосвязи всех явлений действительности, образ поведения Павла Николаевича на работе не мог остаться без влияния на его образ жизни вообще. Постепенно, с годами, ему и Капитолине Матвеевне стали несносны на железных дорогах не только общие, но и плацкартные вагоны, куда пёрлись и в полушубках, и с ведрами, и с мешками. Русановы стали ездить только в купированных и в мягких. Разумеется, и в гостиницах для Русанова всегда бронировался номер, чтоб ему не очутиться

в общей комнате. Разумеется, и в санатории Русановы ездили не во всякие, а в такие, где человека знают, уважают и создают ему условия, где и пляж и аллеи отдыха отгорожены от общей публики. И когда Капитолине Матвеевне врачи назначили больше ходить, то ей абсолютно негде было ходить, кроме как в таком санатории среди равных.

Русановы любили народ — свой великий народ, и служили этому народу, и готовы были жизнь отдать за народ.

Но с годами они всё больше терпеть не могли — населения. Этого строптивного, вечно уклоняющегося, упирающегося да ещё чего-то требующего себе населения.

У Русановых стал вызывать отвращение трамвай, троллейбус, автобус, где всегда толкали, особенно при посадке, куда лезли строительные и другие рабочие в грязных спецовках и могли обтереть о твоё пальто этот мазут или эту известку, а главное — укоренилась противная панибратская манера хлопать по плечу — просить передать на билет или сдачу, и нужно было услуживать и передавать без конца. Ходить же по городу пешком было и далеко, и слишком простежки, не по занимаемой должности. И если служебные автомобили бывали в разгоне или в ремонте, Павел Николаевич часами не мог попасть домой обедать, а сидел на работе и ждал, пока подадут машину. А что оставалось делать? С пешеходами всегда можно напороться на неожиданность, среди них бывают дерзкие, плохо одетые, а иногда и подвыпившие люди. Плохо одетый человек всегда опасен, потому что он плохо чувствует свою ответственность, да, вероятно, ему и мало что терять, иначе он был бы одет хорошо. Конечно, милиция и закон защищают Русанова от плохо одетого человека, но эта защита придёт неизбежно с опозданием, она придёт, чтобы наказать негодяя уже потом.

И вот, ничего на свете не боясь, Русанов стал испытывать вполне нормальную оправданную боязнь перед распущенными полупьяными людьми, а точнее — перед прямым ударом кулака в лицо.

Потому так взволновало его сперва и известие о возврате Родичева. Не то чтобы он или Гузун стали бы действовать по закону: по закону они к Русанову никаких претензий иметь не должны. Но что, если они сохранились здоровыми мужиками и захотят избить?

Однако, если трезво разобраться, — конечно, зряшен был первый невольный испуг Павла Николаевича. Ещё, может быть, никакого Родичева нет, и дай бог, чтоб он не вернулся. Все эти

разговорчики о *возвратах* вполне могут быть легендами, потому что в ходе своей работы Павел Николаевич пока не ощущал тех признаков, которые могли бы предвещать новый характер жизни.

Потом, если даже Родичев действительно вернулся, то в К*, а не сюда. И ему сейчас не до того, чтобы искать Русанова, а самому надо оглядываться, как бы его из К* не выперли снова.

А если он и начнёт искать, то не сразу же найдёт ниточку сюда. И сюда поезд идёт трое суток через восемь областей. И, даже доехав сюда, он во всяком случае явится домой, а не в больницу. А в больнице Павел Николаевич как раз в полной безопасности.

В безопасности!.. Смешно... С этой опухолью — и в безопасности...

Да уж если такое неустойчивое время наступит — так лучше и умереть. Лучше умереть, чем бояться каждого возврата. Какое это безумие! — возвращать их! Зачем? Они там привыкли, они там смирились — зачем же пускать их сюда, баламутить людям жизнь?..

Кажется, всё-таки Павел Николаевич перегорел и готов был ко сну. Надо было постараться заснуть.

Но ему требовалось выйти — самая неприятная процедура в клинике.

Осторожно поворачиваясь, осторожно двигаясь, — а опухоль железным кулаком сидела у него на шее и давила, — он выбрался из закатистой кровати, надел пижаму, шлёпанцы, очки и пошёл, тихо шаркая.

За столом бодрствовала строгая чёрная Мария и чутко повернулась на его шарканье.

У начала лестницы в кровати какой-то новичок, дюжий длиннорукий, длинноногий грек, терзался и стонал. Лежать он не мог, сидел, как бы не помещаясь в постели, и бессонными глазами ужаса проводил Павла Николаевича.

На средней площадке маленький, ещё причёсанный, жёлтый-прежёлтый, полусидел, высоко подмощенный, и дышал из кислородной подушки плащ-палаточного материала. У него на тумбочке лежали апельсины, печенье, рахат-лукум, стоял кефир, но всё это было ему безразлично — простой бесплатный чистый воздух не входил в его лёгкие, сколько нужно.

В нижнем коридоре стояли ещё койки с больными. Одни спали. Старуха восточного вида, с растрепавшимися космами, раскидалась в муче по подушке.

Потом он миновал маленькую каморку, где на один и тот же короткий нечистый диванчик клали всех, не разбирая, для клизм.

И наконец, набрав воздуха и стараясь его удерживать, Павел Николаевич вступил в уборную. В этой уборной, без кабин и даже без унитазов, он особенно чувствовал себя неотгороженным, приниженным к праху. Санитарки убирали здесь много раз в день, но не успевали, и всегда были свежие следы или рвоты, или крови, или пакости. Ведь этой уборной пользовались дикари, не привыкшие к удобствам, и больные, доведенные до края. Надо бы попасть к главному врачу и добиться для себя разрешения ходить во врачебную уборную.

Но эту деловую мысль Павел Николаевич сформулировал как-то вяло.

Он опять пошёл мимо клизменной кабинки, мимо растрёпанной казашки, мимо спящих в коридоре.

Мимо обречённого с кислородной подушкой.

А наверху грек прохрипел ему страшным шёпотом:

— Слушай, браток! А тут — всех вылечивают? Или умирают тоже?

Русанов дико посмотрел на него — и при этом движении остро почувствовал, что уже не может отдельно поворачивать головой, что должен, как Ефрем, поворачиваться всем корпусом. Страшная прилепина на шее давила ему вверх на челюсть и вниз на ключицу.

Он поспешил к себе.

О чём он ещё думал?!.. Кого он ещё боялся!.. На кого надеялся?..

Тут, между челюстью и ключицей, была судьба его.

Его правосудие.

И перед этим правосудием он не знал знакомств, заслуг, защиты.

15

— А тебе сколько лет?

— Двадцать шесть.

— Ох, порядочно!

— А тебе?

— Мне шестнадцать... Ну как в шестнадцать лет ногу отдавать, ты подумай?

- А по какое место хотят?
- Да по колено — точно, они меньше не берут, уж я тут видел.
- А чаще — с запасом. Вот так... Будет культия болтаться...
- Протез сделаешь. Ты чем вообще заниматься собираешься?
- Да я мечтаю в Университет.
- На какой факультет?
- Да или филологический, или исторический.
- А конкурс пройдёшь?
- Думаю, что да. Я — никогда не волнуюсь. Спокойный очень.
- Ну и хорошо. И чем же тебе протез будет мешать? И учиться будешь, и работать. Даже ещё усидчивей. В науке больше сделаешь.
- А вообще жизнь?
- А кроме науки — что вообще?
- Ну, там...
- Жениться?
- Да хотя бы...
- Найдё-ошь! На всякое дерево птичка садится. ...А какая альтернатива?
- Что?
- Или нога или жизнь?
- Да на авось. А может, само пройдёт!
- Нет, Дёма, на авось мостов не строят. От авосья только авоська осталась. Рассчитывать на такую удачу в рамках разумного нельзя. Тебе опухоль называют как-нибудь?
- Да вроде — «Эс-á».
- Эс-а? Тогда надо оперировать.
- А что, знаешь?
- Знаю. Мне бы вот сейчас сказали отдать ногу — и то б я отдал. Хотя моей жизни весь смысл — только в движении, пешком и на коне, а автомобили там не ходят.
- А что? Уже не предлагают?
- Нет.
- Пропустил?
- Да как тебе сказать... Не то чтобы пропустил. Ну, отчасти и пропустил. В поле завертелся. Надо было месяца три назад приехать, а я работы бросить не хотел. А от ходьбы, от езды хуже натиралось, мокло, гной прорывался. А прорвётся — легче, опять работать хочется. Думаю — ещё подожду. Мне и сейчас так трёт, что лучше бы брючину одну отрезать или голым сидеть.

— А не перевязывают?

— Нет.

— А покажи, можно?

— Посмотри.

.....

— У-у-у-у, какая... Да тёмная...

— Она от природы тёмная. Здесь у меня от рождения было большое родимое пятно. Вот оно и переродилось.

— А это что... такие?

— А это вот три свища остались от трёх прорывов... В общем, Дёмка, у меня опухоль совсем другая, чем у тебя. У меня — меланобластома. Эта сволочь не щадит. Как правило, восемь месяцев — и с копыт.

— А откуда ты знаешь?

— Ещё досюда книжку прочёл. Прочёл — тогда и схватился. Но дело в том, что если б я и раньше приехал — всё равно б они оперировать не взялись. Меланобластома — такая гадина, что только тронь ножом — и сейчас же даёт метастазы. Она тоже жить хочет, по-своему, понимаешь? Что я за эти месяцы пропустил — в паху появилось.

— А что Людмила Афанасьевна говорит?

— А вот она говорит, что надо попробовать достать такое коллоидное золото. Если его достать, то в паху, может быть, остановят, а на ноге приглушат рентгеном — и так оттянут...

— Вылечат?

— Нет, Дёмка, вылечить меня уже нельзя. От меланобластомы вообще не вылечиваются. Таких выздоровевших нет. А мне? Отнять ногу — мало, а выше — где ж резать? Сейчас идёт вопрос — как оттянуть? И сколько я выиграю: месяцы или годы?

— То есть... что же? Ты, значит... ?

— Да. Я — значит. Я уже, Дёмка, это принял. Но не тот живёт больше, кто живёт дольше. Для меня весь вопрос сейчас — что я успею сделать. Надо же что-то успеть сделать на земле! Мне нужно три года! Если бы мне дали три года, ничего больше не прошу! Но эти три года мне не в клинике надо лежать, а быть в поле.

Они тихо совсем разговаривали на койке Вадима Зацырко у окна. Весь разговор их слышать мог бы по соседству только Ефрем, но он с утра лежал безчувственным чурбаном и глаз не сводил с одного потолка. Ещё Русанов, наверно, слышал, он несколько раз с симпатией взглянул на Зацырко.

— А что ж ты можешь успеть сделать? — хмурился Дёмка.

— Ну, попробуй понять. Я проверяю сейчас новую очень спорную идею — большие учёные в центре в неё почти не верят: что залежи полиметаллических руд можно обнаружить по радиоактивным водам. «Радиоактивные» — знаешь, что такое?.. Тут тысяча аргументов, но на бумаге можно всё что угодно и защитить и отвергнуть. А я — чувствую, вот чувствую, что могу доказать это всё на деле. Но для этого надо всё время быть в поле и конкретно найти руды по водам, больше ни по чему. И желательно — с повторением. А работа есть работа, на что силы не уходят? Вот, например, вакуум-насоса нет, а центробежный, чтоб запустить, надо воздух вытянуть. Чем? Ртом! И нахлебался радиоактивной воды. Да и запросто мы её пьём. Киргизы-рабочие говорят: наши отцы тут не пили, и мы пить не будем. А мы, русские, пьём. Да имея меланобластому — что мне бояться радиоактивности? Как раз мне-то и работать.

— Ну и дурак! — приговорил Ефрем, не поворачиваясь, невыразительным скрипучим голосом. Он, значит, всё слышал. — Умирать будешь — зачем тебе геология? Она тебе не поможет. Задумался бы лучше — чем люди живы?

У Вадима неподвижно хранилась нога, но свободная голова его легко повернулась на гибкой свободной шее. Он готовно блеснул чёрными живыми глазами, чуть дрогнули его мягкие губы, и он ответил, не обидевшись нисколько:

— А я как раз знаю. Творчеством! И очень помогает. Ни пить, ни есть не надо.

И мелко постучал гранёным пластмассовым автокарандашом между зубами, следя, насколько он понят.

— Ты вот эту книжицу прочти, удивишься! — всё так же не вращая корпуса и не видя Зацырко, постучал Поддудев корявым ногтем по синенькой.

— А я уже смотрел, — с большой быстротой успевал отвечать Вадим. — Не для нашего века. Слишком безформенно, неэнергично. А по-нашему: работайте больше! И не в свой карман. Вот и всё.

Русанов встрепенулся, приветливо сверкнул очками и громко спросил:

— Скажите, молодой человек, вы — коммунист?

С той же готовностью и простотой Вадим перевёл глаза на Русанова.

— Да, — мягко сказал он.

— Я был уверен! — торжествующе воскликнул Русанов и поднял палец.

Он очень был похож на преподавателя.

Вадим шлёпнул Дёмку по плечу:

— Ну, иди к себе. Работать надо.

И наклонился над «Геохимическими методами», где лежал у него небольшой листик с мелкими выписками и крупными восклицательными и вопросительными знаками.

Он читал, а гранёный чёрный автокарандаш в его пальцах чуть двигался.

Он весь читал, и уже как бы его здесь не было, но, ободренный его поддержкой, Павел Николаевич хотел ещё больше подбодриться перед вторым уколом и решил теперь доломать Ефрема, чтоб тот не нагонял здесь и дальше тоски. И, от стены к стене глядя на него прямо, он стал ему договаривать:

— Товарищ даёт вам хороший урок, товарищ Поддубев. Нельзя так поддаваться болезни. И нельзя поддаваться первой поповской книжечке. Вы практически играете на руку... — Он хотел сказать «врагам», в обычной жизни всегда можно было указать врагов, но здесь, на больничных койках, кто ж был их враг?.. — Надо уметь видеть глубину жизни. И прежде всего природу подвига. А что движет людьми в производственном подвиге? Или в подвигах Отечественной войны? Или, например, Гражданской? Голодные, необутые, неодетые, безоружные...

Странно неподвижен был сегодня Ефрем: он не только не вылезал топтать по проходу, но он как бы совсем утратил многие из своих обычных движений. Прежде он берёт только шею и неохотно поворачивал туловищем при голове, сегодня же он ни ногой не пошевелил, ни рукой, лишь вот по книжке постучал пальцем. Его уговаривали позавтракать, он ответил: «Не наелся — не налижешься». Он до завтрака и после завтрака лежал так неподвижно, что, если бы иногда не моргал, можно было подумать, что его взяло окостенение.

А глаза были открыты.

Глаза были открыты, и как раз, чтобы видеть Русанова, ему не надо было ничуть поворачиваться. Его-то, белорылого, одного он и видел кроме потолка и стены.

И он слышал, что разъяснял ему Русанов. И губы его шевельнулись, раздался всё тот же недоброжелательный голос, только ещё менее внятно разделяя слова:

— А что — Гражданская? Ты воевал, что ль, в Гражданскую?
Павел Николаевич вздохнул:

— Мы с вами, товарищ Поддуев, ещё по возрасту не могли тогда воевать.

Ефрем потянул носом.

— Не знаю, чего ты не воевал. Я воевал.

— Как же это могло быть?

— Очень просто, — медленно говорил Ефрем, отдыхая между фразами. — Наган взял и воевал. Забавно. Не я один.

— Где ж это вы так воевали?

— Под Ижевском. Учредилку били. Я ижевских сам семерых застрелил. И сейчас помню.

Да, он, кажется, всех семерых, взростных, мог вспомнить сейчас, где и кого уложил, пацан, на улицах мятежного города.

Что-то ещё ему очкарик объяснял, но у Ефрема сегодня будто уши залегали, и он ненадолго выныривал что-нибудь слышать.

Как он открыл по рассвету глаза и увидел над собой кусок белого потолка, так вступил в него толчком, вошёл с неприкрытостью, а без всякого повода, один давний ничтожный и совсем забытый случай.

Был день в ноябре, уже после войны. Шёл снег и тут же подтаивал, а на выброшенной из траншеи более тёплой земле таял начисто. Копали под газопровод, и проектная глубина была метр семьдесят. Поддуев прошёл там мимо и видел, что глубины нужной ещё нет. Но явился бригадир и нагло уверял, что по всей длине уже полный профиль. «Что, мерить пойдём? Тебе ж хуже будет!» Поддуев взял мерный шест, где у него через каждые десять сантиметров была выжжена поперечная чёрная полоска, каждая пятая длинней, и они пошли мерить, увязая в размокшей, раскисшей глине, он — сапогами, бригадир — ботинками. В одном месте померили — метр семьдесят. Пошли дальше. Тут копали трое: один длинный тощий мужик, черно заросший по лицу; один — бывший военный, ещё в фуражке, хоть и звёздочка была с неё давно содрана, и лакированный ободок, и лакированный козырёк, а околыш был весь в извёстке и глине; третий же, молоденький, был в кепочке и городском пальтишке (в те годы с обмундированием было трудно, и им казённого не выдали), да ещё сшитом на него, наверно, когда он был школьником, коротком, тесном, изношенном. (Это его пальтишко Ефрем, кажется, только сейчас в первый раз так ясно увидел.) Первые два ещё ковырялись, взмахивали наверх лопатами, хотя размокшая глина не

отлипала от железа, а этот третий, птенец, стоял, грудью опершись о лопату, как будто проткнутый ею, свисая с неё как чучело, белое от снега, и руки собрав в рукавишки. На руки им ничего не выдали, на ногах же у военного были сапоги, а те двое — в чунях из автомобильных покрышек. «Чего стоишь, раззепай? — крикнул на малюго бригадир. — За штрафным пайком? Будет!» Малюй только вздохнул и опал, и ещё будто глубже вошёл ему черенок в грудь. Бригадир тогда съездил его по шее, тот отряхнулся, взялся тыкать лопатой.

Стали мерить. Земля была набросана с двух сторон вплоть к траншее, и чтоб верхнюю зарубку верно заметить на глаз, надо было наклониться туда сильно. Военный стал будто помогать, а на самом деле клонил рейку вбок, выгадывая лишних десять сантиметров. Поддуев матюгнулся на него, поставил рейку ровно, и явно получилось метр шестьдесят пять.

«Слушай, гражданин начальник, — попросил тогда военный тихо. — Эти последние сантиметры ты нам прости. Нам их не взять. Курсак пустой, сил нет. И погода — видишь...»

«А я за вас на скамью, да? Ещё чего придумали! Есть проект. И чтоб откосы ровные были, а не желобком дно».

Пока Поддуев разогнулся, выбрал наверх рейку и вытянул ноги из глины, они все трое задрали к нему лица — одно чернобородое, другое как у загнанной борзой, третье в пушке, никогда не бритое, и падал снег на их лица как неживые, а они смотрели на него вверх. И малюй разорвал губы, сказал:

«Ничего. И ты будешь умирать, десятник!»

А Поддуев не писал записку посадить их в карцер — только оформил точно, что они заработали, чтоб не брать себе на шею их лихо. И уж если вспоминать, так были случаи покрутей. И с тех пор прошло десять лет, Поддуев уже не работал в лагерях, бригадир тот освободился, тот газопровод клали временно, и, может, он уже газу не подаёт, и трубы пошли на другое, — а вот осталось, вынырнуло сегодня и первым звуком дня вступило в ухо:

«И ты будешь умирать, десятник!»

И ничем таким, что весит, Ефрем не мог от этого загородиться. Что он ещё жить хочет? И малюй хотел. Что у Ефрема сильная воля? Что он понял новое что-то и хотел бы иначе жить? Болезнь этого не слушает, у болезни свой *проект*.

Вот эта книжечка синяя с золотым росчерком, четвёртую ночь ночевавшая у Ефрема под матрасом, напевала что-то про индусов, как они верят, что умираем мы не целиком, а душа наша переселя-

ется в животных или других людей. Такой проект нравился сейчас Поддуеву: хоть что-нибудь своё бы вынести, не дать ему накрыться. Хоть что-нибудь своё пронести бы через смерть.

Только не верил он в это переселение душ ни на поросячий нос.

Стреляло ему от шеи в голову, стреляло не переставая, да как-то ровно стало бить, на четыре удара. И четыре удара втолакивали ему: Умер. — Ефрем. — Поддуев. — Точка. Умер — Ефрем — Поддуев — Точка.

И так без конца. И сам про себя он стал эти слова повторять. И чем больше повторял, тем как будто сам отделялся от Ефрема Поддуева, обречённого умереть. И привыкал к его смерти, как к смерти соседа. А то, что в нём размышляло о смерти Ефрема Поддуева, соседа, — вот это вроде умереть бы было не должно.

А Поддуеву, соседу? Ему спасенья как будто и не оставалось. Разве только если бы берёзовую трутовицу пить? Но написано в письме, что пить её надо год, не прерываясь. Для этого надо высушенной трутовицы пуда два, а мокрой — четыре. А посылка это будет, значит, восемь. И ещё, чтоб трутовица не залёживалась, была бы недавно с дерева. Так не чохом все посылки, а в разрядочку, в месяц раз. Кто ж эти посылки будет ему собирать ко времени да присылать? Оттуда, из России?

Это надо, чтоб свой человек, родной.

Много-много людей перешло через Ефрема за жизнь, и ни один из них не зацепился как родной.

Это бы первая жёнка его Аминá могла бы собирать-присылать. Туда, за Урал, некому и написать, кроме как только ей. А она напишет: «Подыхай под забором, старый кобель!» И будет права.

Права по тому, как это принято. А вот по этой синей книжечке не права. По книжечке выходит, что Амина должна его пожалеть, и даже любить, — не как мужа, но как просто страдающего человека. И посылки с трутовицей — слать.

Книга-то получалась очень правильная, если б все сразу стали по ней жить...

Тут наплыло Ефрему в отлеглие уши, как геолог говорил, что живёт для работы. Ефрем ему по книжечке ногтем и постукал.

А потом опять, не видя и не слыша, он погрузился в своё. И опять ему стрелило в голову.

И только донимала его эта стрельба, а то легче и приятней всего ему было бы сейчас не двигаться, не лечиться, не есть, не разговаривать, не слышать, не видеть.

Просто — перестать быть.

Но трясли его за ногу и за локоть, это Ахмаджан помогал, а девушка из хирургической, оказывается, давно над ним стояла и звала на перевязку.

И вот Ефрему надо было за чем-то ненужным подниматься. Шести пудам своего тела надо было передать эту волю — встать: напрячься ногам, рукам, спине, и из покоя, куда стали погружаться кости, оброщенные мясом, заставить их сочленения работать, их тяжесть — подняться, составить столб, облачить его в курточку и понести столб коридорами и лестницей для бесполезного мучения — для размотки и потом замотки десятков метров бинтов.

Это было всё долго, больно и в каком-то сером шумке. Кроме Евгении Устиновны были ещё два хирурга, которые сами операций никогда не делали, и она им что-то толковала, показывала, и Ефрему говорила, а он ей не отвечал.

Он чувствовал так, что говорить им уже не о чем. Безразличный серый шумок обволакивал все речи.

Его обмотали белым обручем мощнее прежнего, и так он вернулся в палату. То, что его обматывало, уже было больше его головы — и только верх настоящей головы высывался из обруча.

Тут ему встретился Костоглотов. Он шёл, достав кисет с махоркой.

— Ну, что решили?

Ефрем подумал: а что правда решили? И хотя в перевязочной он как будто ни во что не вникал, но сейчас понял и ответил ясно:

— Удавись где хочешь, только не в нашем дворе.

Федерау со страхом смотрел на чудовищную шею, которая, может, ждала и его, и спросил:

— Выписывают?

И только этот вопрос объяснил Ефрему, что нельзя ему опять ложиться в постель, как он хотел, а надо собираться к выписке.

А потом, когда и наклониться нельзя, — переодеваться в свои обычные вещи.

А потом через силу передвигать столб тела по улицам города.

И ему нестерпимо представилось, что ещё это всё он должен напрягаться делать, неизвестно зачем и для кого.

Костоглотов смотрел на него не с жалостью, нет, а — с солдатским сочувствием: эта пуля твоя оказалась, а следующая, может, моя. Он не знал прошлой жизни Ефрема, не дружил с ним

и в палате, а прямота его ему нравилась, и это был далеко не самый плохой человек из встречавшихся Олегу в жизни.

— Ну, держи, Ефрем! — размахнулся он рукой.

Ефрем, приняв пожатие, оскалился:

— Родится — вертится, растёт — бесится, помрёт — туда до рога.

Олег повернулся идти курить, но в дверь вошла лаборантка, разносившая газеты, и по близости протянула ему. Костогловот принял, развернул, но доглядел Русанов и громко, с обидой, выговорил лаборантке, ещё не успевшей ушмыгнуть:

— Послушайте! Послушайте! Но ведь я же ясно просил давать газету первому мне!

Настоящая боль была в его голосе, но Костогловот не пожалел его, а только отгавкнулся:

— А почему это вам первому?

— Ну как почему? Как почему? — вслух страдал Павел Николаевич, страдал от неоспоримости, ясной видимости своего права, но невозможности защитить его словами.

Он испытывал не что иное, как ревность, если кто-нибудь другой до него непосвящёнными пальцами разворачивал свежую газету. Никто из них тут не мог бы понять в газете того, что понимал Павел Николаевич. Он понимал газету как открыто распространяемую, а на самом деле зашифрованную инструкцию, где нельзя было высказать всего прямо, но где знающему умелому человеку можно было по разным мелким признакам, по расположению статей, по тому, что не указано и опущено, — составить верное понятие о новейшем направлении. И именно поэтому Русанов должен был читать газету первый.

Но высказать-то это здесь было нельзя! И Павел Николаевич только пожаловался:

— Мне ведь укол сейчас будут делать. Я до укола хочу посмотреть.

— Укол? — Оглоед смягчился. — Се-час...

Он досматривал газету впробежь, материалы сессии и оттеснённые ими другие сообщения. Он и шёл-то курить. Он уже зашуршал было газетой, чтоб её отдать, — и вдруг заметил что-то, влез в газету — и почти сразу стал настороженным голосом выговаривать одно и то же длинное слово, будто протирая его между языком и нёбом:

— Ин-те-рес-нень-ко... Ин-те-рес-нень-ко...

Четыре глухих бетховенских удара судьбы громыхнули у него над головой — но никто не слышал в палате, может и не услышит, — и что другое он мог выразить вслух?

— Да что такое? — взволновался Русанов вовсе. — Да дайте же сюда газету!

Костоглотов не потянулся никому ничего показывать. И Русанову ничего не ответил. Он соединил газетные листы, ещё сложил газету вдвое и вчетверо, как она была, но со своими шестью страницами она не легла точно в прежние сгибы, а пузырилась. И, сделав шаг к Русанову (а тот к нему), передал газету. И тут же, не выходя, растянул свой шёлковый кисет и стал дрожащими руками сворачивать махорочную газетную цыгарку.

И дрожащими руками разворачивал газету Павел Николаевич. Это «интересненько» Костоглотова пришлось ему как нож между рёбрами. Что это могло быть Оглоеду «интересненько»?

Умело и делово, он быстро проходил глазами по заголовкам, по материалам сессии и вдруг, и вдруг... Как? Как?..

Совсем некрупно набранный, совсем незначительный для тех, кто не понимает, со страницы кричал! кричал! небывалый! невозможный указ! — о полной смене Верховного Суда! Верховного Суда Союза!

Как?! Матулевич, заместитель Ульриха?! Детистов? Павленко? Клопов? И Клопов!! — сколько стоит Верховный Суд, столько был в нём и Клопов! И Клопова — сняли!.. Да кто же будет беречь кадры?.. Совершенно новые какие-то имена... Всех, кто вершил правосудие четверть столетия, — одним ударом! — всех!?

Это не могла быть случайность!

Это был шаг истории...

Испарина выступила у Павла Николаевича. Только сегодня к утру он успокоил себя, что все страхи — пусты, и вот...

— Вам укол.

— Что?? — безумно вскинулся он.

Доктор Гангарт стояла перед ним со шприцем.

— Обнажите руку, Русанов. Вам укол.

16

Он полз. Он полз какой-то бетонной трубой не трубой, а тоннелем, что ли, где из боков торчала незаделанная арматура, и за неё он цеплялся иногда, и как раз правой стороной шеи, больной. Он полз на груди и больше всего ощущал тяжесть тела, прижимающего его к земле. Эта тяжесть была гораздо больше, чем вес его тела, он не привык к такой тяжести, его просто плющило. Он думал сперва, что это бетон сверху придавливает, — нет, это такое тяжёлое было его тело. Он ощущал его и тащил его, как мешок железного лома. Он подумал, что с такой тяжестью и на ноги, пожалуй, не встанет, но главное бы — выползти из этого прохода, хоть вздохнуть, хоть на свет посмотреть. А проход не кончался, не кончался, не кончался.

Тут чей-то голос — но без голоса, а передавая одни мысли — командовал ему ползти вбок. «Как же я туда поползу, если там стена?» — подумал он. Но с той тяжестью, с какой плющилось его тело, ему была и неотвратимая команда ползти влево. Он закричал и пополз — и правда, так же и полз, как и раньше прямо. Всё было одинаково тяжело, а ни света, ни конца не проглядывало. Только он приноровился сюда — тот же внятный голос велел ему заворачивать вправо, да побыстрей. Он заработал локтями и ступнями, и хотя справа была непроницаемая стена — а полз, и как будто получалось. Всё время он цеплялся шеей, а в голову отдавалось. Так тяжело он ещё никогда не попадал в жизни, и обидней всего будет, если он так и умрёт тут, не доползя.

Но вдруг полегчали его ноги — стали лёгкие, как будто их воздухом надули, и стали ноги подниматься, а грудью и головой он был по-прежнему прижат к земле. Он прислушался — команды ему никакой не было. И тогда он придумал, что вот так можно и выбраться: пусть ноги поднимутся из трубы, а он за ними назад поползёт, и вылезет. И действительно, он стал пятиться и, выжимаясь на руках, — откуда сила взялась? — стал лезть вслед за ногами назад, через дыру. Дыра была узкая, но главное — вся кровь прилила в голову, и он думал, что тут и умрёт, голова разорвётся. Но ещё немножко руками оттолкнулся от стенок — обдирало его со всех сторон — и вылез.

И оказался на трубе, среди какого-то строительства, только безлюдного, очевидно, рабочий день кончился. Вокруг была грязная

топкая земля. Он сел на трубе передохнуть — и увидел, что рядом сидит девушка в рабочей испачканной одежде, а с головой непокрытой, соломенные волосы распущены, и ни одного гребня, ни шпильки. Девушка не смотрела на него, просто так сидела, но ждала от него вопроса, он знал. Он сперва испугался, а потом понял, что она его боится ещё больше. Ему совсем было не до разговоров, но она так ждала вопроса, что он спросил:

«Девушка, а где твоя мать?»

«Не знаю», — ответила девушка, смотрела себе под ноги и ногти кусала.

«Ну как не знаешь? — он начинал сердиться. — Ты должна знать. И ты должна откровенно сказать. И написать всё как есть... Что ты молчишь? Я ещё раз спрашиваю — где твоя мать?»

«А я у вас хочу спросить», — взглянула девушка.

Она взглянула — и глаза её были водянистые. И его сразу пробрало, и он несколько раз догадался, но не одно за другим, а сразу все несколько раз. Он догадался, что это — дочь прессовщицы Груши, посаженной за болтовню против Вождя Народов. И что эта дочь принесла ему неправильную анкету, скрыла, а он вызывал её и грозил судить за неправильную анкету, и тогда она отравилась. Она отравилась, но сейчас-то по волосам и глазам он догадался, что она утопилась. И ещё он догадался, что она догадалась, кто он. И ещё догадался, что если она утопилась, а он сидит с ней рядом — так он тоже умер. И его всего пробило потом. Он вытер пот, а ей сказал:

«Ну и жарница! А где б воды выпить, ты не знаешь?»

«Вон», — кивнула девушка.

Она показала ему на какое-то корыто или ящик, наполненный застоявшейся дождевой водой вперемешку с зеленоватой глиной. И тут он ещё раз догадался, что вот этой-то воды она тогда и наглоталась, а теперь хочет, чтоб и он захлебнулся. Но если так она хочет, значит, он ещё жив?

«Вот что, — схитрил он, чтоб от неё отделаться. — Ты сходи и позови мне сюда прораба. И пусть он для меня сапоги захватит, а то как же я пойду?»

Девушка кивнула, соскочила с трубы и похлопала по лужам такой же простоволосой неряхой, а в комбинезоне и в сапогах, как ходят девушки на стройтельствах.

Ему же так пить хотелось, что он решил выпить и из этого корыта. Если немножко выпить, так ничего. Он слез и с удивлением

заметил, что по грязи ничуть не скользит. Земля под ногами была какая-то неопределённая. И всё вокруг было неопределённое, не было ничего видно вдаль. Он мог бы так и идти, но вдруг испугался, что потерял важную бумагу. Проверил карманы — все сразу карманы — и ещё быстрее, чем управлялись руки, понял, что — да, потерял.

Он испугался сразу, очень испугался, потому что по теперешним временам таких бумаг людям читать не надо. Могут быть большие для него неприятности. И сразу он понял, где потерял, — когда вылезал из трубы. И он быстро пошёл назад. Но не находил этого места. Совсем он не узнавал места. И трубы никакой не было. Зато ходили туда-сюда рабочие. И это было хуже всего: они могли найти!

Рабочие были все незнакомые, молодые. Какой-то парень в брезентовой куртке сварщика, с крылышками на плечах, остановился и смотрел на него. Зачем он так смотрел? Может, он нашёл?

«Слушай, парень, у тебя спичек нет?» — спросил Русанов.

«Ты ж не куришь», — ответил сварщик.

(Всё знают! Откуда знают?)

«Мне для другого спички нужны».

«А для чего для другого?» — присматривался сварщик.

И действительно, как глупо он ответил! Это же типичный ответ диверсанта. Могут его задержать — а тем временем найдётся бумага. А спички ему вот для чего — чтобы сжечь ту бумагу.

А парень ближе, ближе к нему подходил — Русанов очень перепугался, предчувствуя. Парень заглянул глазами в глаза и сказал чётко, раздельно:

«Судя по тому, что Ельчанская как бы завещала мне свою дочь, я заключаю, что она чувствует себя виноватой и ждёт ареста».

Русанов задрожал в перезнобе:

«А вы откуда знаете?»

(Это он так спросил, а понятно было, что парень только что прочёл его бумагу: слово в слово было оттуда!)

Но сварщик ничего не ответил и пошёл своей дорогой. И Русанов заметался! Ясно было, что где-то тут близко лежит его заявление, и надо найти скорей, скорей!

И он кидался между какими-то стенами, заворачивал за углы, сердце выскакивало вперёд, а ноги не успевали, ноги совсем медленно двигались, отчаяние! Но вот уже он увидел бумажку! Он так сразу и подумал, что это она. Он хотел бежать к ней, но ноги совсем

не шли. Тогда он опустился на четвереньки и, главные толчки давая руками, пошёл к бумаге. Только бы кто-нибудь не захватил раньше! Только б не опередили, не выхватили! Ближе, ближе... И наконец он схватил бумагу! Она!! Но даже в пальцах уже не было сил рвать, и он лёг ничком отдохнуть, а её поджал под себя.

И тут кто-то тронул его за плечо. Он решил не оборачиваться и не выпускать из-под себя бумаги. Но его трогали мягко, это женская была рука, и Русанов догадался, что это была сама Ельчанская.

«Друг мой! — мягко спросила она, наверно, наклоняясь к самому его уху. — А, друг мой! Скажите, где моя дочь? Куда вы её дели?»

«Она в хорошем месте, Елена Фёдоровна, не беспокойтесь!» — ответил Русанов, но головы к ней не повернул.

«А в каком месте?»

«В детприёмнике».

«А в каком детприёмнике?» — Она не допрашивала, её голос звучал печально.

«Вот не скажу, право». — Уж он искренно хотел ей ответить, но сам не знал: не он сдавал, а из того места могли переслать.

«А — под моей фамилией?» — почти нежно звучали её вопросы за плечом.

«Нет, — посочувствовал Русанов. — Такой уж порядок: фамилию меняют. Я ни при чём, такой порядок».

Он лежал и вспоминал, что Ельчанских обоих он почти даже любил. Он никакого не имел против них зла. И если пришлось написать на старика, то лишь потому, что просил Чухненко, которому Ельчанский мешал работать. И после посадки мужа Русанов искренне заботился о жене и дочери, и тогда, ожидая ареста, она поручила ему дочь. Но как вышло, что он и на неё написал, — он не мог вспомнить.

Теперь он обернулся с земли посмотреть на неё, но её не было, совсем не было (да ведь она же и умерла, как она могла быть?), а вместо этого сильно кольнуло в шее, в правой стороне. И он выровнял голову и продолжал лежать. Ему надо было отдохнуть — он так устал, как никогда не уставал! Всё тело ему ломало.

Это был какой-то шахтный проход, где он лежал, штольня, но глаза его привыкли к темноте, и он заметил рядом с собой, на земле, засыпанной мелким антрацитом, телефонный аппарат. Вот это его очень удивило — откуда здесь мог взяться городской аппарат? и неужели он подключён? Тогда можно позвонить, чтобы принесли ему попить. И вообще бы взяли его в больницу.

Он снял трубку, но вместо гудка услышал бодрый деловой голос:

«Товарищ Русанов?»

«Да, да», — живо подобрался Русанов (как-то сразу чувствовалось, что этот голос — *сверху*, а не снизу).

«Зайдите в Верховный Суд».

«В Верховный Суд? Есть! Сейчас! Хорошо! — И уже клал трубку, но опомнился: — Да, простите, а какой Верховный Суд — старый или новый?»

«Новый, — ответили ему холодно. — Поторопитесь». — И положили трубку.

И он всё вспомнил о смене Суда! — и проклял себя, что сам первый взял трубку. Матулевича не было... Клопова не было... Да, и Берии ж не было! — ну, времена!

Однако надо было идти. Сам бы он не имел сил встать, но потому что вызывали — надо было подняться. Он напрягался четырьмя конечностями, привставал и падал, как телёнок, ещё не научившийся ходить. Правда, ему не назначили точного времени, но сказали: «Поторопитесь!» Наконец, держась за стенку, он встал на ноги. И так побрёл на расслабленных, неуверенных ногах, всё время держась за стенку. Почему-то и шея болела справа.

Он шёл и думал: неужели его будут судить? Неужели возможна такая жестокость: по прошествии стольких лет его судить? Ах, эта смена Суда! Ах, не к добру!

Ну что ж, при всём его уважении к Высшей Судебной Инстанции ему ничего не остаётся, как защищаться и там. Он осмелится защищаться!

Вот что он им скажет: не я осуждал! и следствия вёл тоже не я! Я только сигнализировал о подозрениях. Если в коммунальной уборной я нахожу клочок газеты с разорванным портретом Вождя — моя обязанность этот клочок принести и сигнализировать. А следствие на то и поставлено, чтобы проверить! Может быть это случайность, может быть это не так. Следствие для того и поставлено, чтобы выяснить истину! А я только исполнял простой гражданский долг.

Вот что он им скажет: все эти годы важно было оздоровить общество! морально оздоровить! А это невозможно без чистки общества. А чистка невозможна без тех, кто не брезгует совком.

Чем больше в нём разворачивались аргументы, тем больше он накалялся, как он им сейчас выскажет. Он даже хотел теперь скорей пойти, чтоб его скорей вызвали, и он им просто выкрикнет:

«Не я один это делал! Почему вы судите именно меня? А кто этого не делал? А как бы он на посту удержался, если бы не помогал?!.. Гузун? Так и сам сел!»

Он напрягся, будто уже кричал, — но заметил, что не кричит совсем, а только надулось горло. И болело.

Он шёл уже будто не по штольне, а просто по коридору, а сзади его окликнули:

«Пашка! Ты что — больной? Чего это еле тащишься?»

Он подбодрился и, кажется, пошёл как здоровый. Обернулся, кто ж его окликал, — это был Звейнек, в юнгштурмовке, с портупеей.

«А ты куда, Ян?» — спросил Павел и удивился, почему тот такой молодой. То есть он и был молодой, но сколько ж с тех пор прошло?

«Как куда? Куда и ты, на комиссию».

«На какую ж комиссию?» — стал соображать Павел. Ведь он был вызван в какое-то другое место, но уже не мог вспомнить — в какое.

И он подтянулся к шагу Звейнека и пошёл с ним бодро, быстро, молодо. И почувствовал, что ему ещё нет двадцати, что он холостой парень.

Они стали проходить большое служебное помещение, где за многими канцелярскими столами сидела интеллигенция — старые бухгалтеры с бородами, как у попов, и с галстуками; инженеры с молоточками в петлицах; пожилые дамы, как барыни; и машинистки молоденькие накрашенные, в юбках выше колен. Как только они со Звейнеком вошли, чётко выстукивая в четыре сапога, так все эти человек тридцать обернулись к ним, некоторые привставали, другие кланялись сидя, — и все вращали головами за ними, пока они шли, и на лицах у всех был испуг, а Павлу с Яном это льстило.

Они зашли в следующую комнату и здоровались с другими членами комиссии и рассаживались за столом, папки на красную скатерть.

«Ну, запускайте!» — распорядился Венька, председатель.

Запустили. Первая вошла тётя Груша из прессового цеха.

«Тётя Груша, а ты чего? — удивился Венька. — Ведь мы — аппарат чистим, а ты чего? Ты в аппарат, что ли, пролезла?»

И все рассмеялись.

«Да нет, видишь, — не робела тётя Груша. — У меня дочка подрастает, надо бы дочку в садик устроить, а?»

«Хорошо, тётя Груша! — крикнул Павел. — Пиши заявление, устроим. Дочку — устроим! А сейчас не мешай, мы интеллигенцию чистить будем!»

И потянулся налить себе воды из графина — но графин оказался пустой. Тогда он кивнул соседу, чтобы передали ему графин с того конца стола. Передали, но и он был пустой.

А пить хотелось так, что всё горло жгло.

— Пить! — попросил он. — Пить!

— Сейчас, — сказала доктор Гангарт, — сейчас принесут воды. Русанов открыл глаза. Она сидела около него на постели.

— У меня в тумбочке — компот, — слабо произнёс Павел Николаевич. Его знобило, ломало, а в голове стучало тяжело.

— Ну, компота вам нальём, — улыбнулась Гангарт тоненькими губами. Она сама открыла тумбочку, доставая бутылку компота и стакан.

В окнах угадывался вечерний солнечный свет.

Павел Николаевич покосился, как Гангарт наливает ему компот. Чтоб чего-нибудь не подсыпала.

Кисло-сладкий компот был пронизывающе-приятный. Павел Николаевич с подушки из рук Гангарт выцедил весь стакан.

— Сегодня плохо мне было, — пожаловался он.

— Нет, вы ничего перенесли, — не согласилась Гангарт. — Просто сегодня мы увеличили вам дозу.

Новое подозрение кольнуло Русанова.

— И что, каждый раз будете увеличивать?

— Теперь всё время будет такая. Вы привыкнете, вам будет легче. А опухоль-жаба сидела под челюстью, как и сидела.

— А Верховный... ? — начал он и подрезался.

Он уже путал, о чём в бреду, о чём наяву.

Вера Корнильевна беспокоилась, как Русанов перенесёт полную дозу, за день навевдалась несколько раз и задержалась после конца работы. Она могла бы так часто не приходиться, если бы дежурила Олимпиада Владиславовна, как было по графику, но её таки взяли на курсы профказначеев, вместо неё сегодня днём дежурил Тургун, а он был слишком безпечен.

Русанов перенёс укол тяжело, однако в допустимых пределах. Вслед за уколом он получил снотворное и не просыпался, но беспокойно ворочался, дёргался, стонал. Всякий раз Вера Корнильевна оставалась понаблюдать за ним и слушала его пульс. Он корчился и снова вытягивал ноги. Лицо его покраснело, взмокло. Без очков, да ещё на подушке, голова его не имела начальственного вида. Редкие белые волосики, уцелевшие от облысения, были разлизаны по темени.

Но, столько раз ходя в палату, Вера Корнильевна заодно делала и другие дела. Выписывался Поддуев, который считался старостой палаты, и хотя должность эта существовала ни для чего, однако полагалась. И, от койки Русанова перейдя по соседству к следующей, Вера Корнильевна объявила:

— Костоготов. С сегодняшнего дня вы назначаетесь старостой палаты.

Костоготов лежал поверх одеяла одетый и читал газету (уж второй раз Гангарт приходила, а он всё читал газету). Всегда ожидая от него какого-нибудь выпада, Гангарт сопровождала свою фразу лёгкой улыбкой, как бы объясняя, что и сама понимает, что всё это ни к чему. Костоготов поднял от газеты весёлое лицо и, не зная, как лучше выразить уважение к врачу, подтянул к себе слишком вытянутые по кровати длинные ноги. Вид его был очень благожелательный, а сказал он:

— Вера Корнильевна! Вы хотите нанести мне непоправимый моральный урон. Никакой администратор не свободен от ошибок, а иногда и впадает в соблазн власти. Поэтому я после многолетних размышлений дал себе обет никогда больше не занимать административных должностей.

— А вы занимали? И высокие? — Она входила в забаву разговора с ним.

— Самая высокая была — помкомвзвода. Но фактически даже ещё выше. Моего командира взвода за полную тупость и неспособность отправили на курсы усовершенствования, откуда он должен был выйти не ниже как командиром батареи — но уже не к нам в дивизион. А другого офицера, которого вместо него прислали, сразу пристегнули к политотделу сверх штата. Комдив мой не возражал, потому что я приличный был топограф, и ребята меня слушались. И так я в звании старшего сержанта два года был и. о. комвзвода — от Ельца до Франкфурта-на-Одере. И кстати, это были лучшие годы всей моей жизни, как ни смешно.

Всё-таки и с поджатыми ногами получалось невежливо, он спустил их на пол.

— Ну, вот видите, — улыбка расположения не сходила с лица Гангарт и когда она слушала его и когда сама говорила. — Зачем же вы отказываетесь? Вам опять будет хорошо.

— Славненькая логика! — мне хорошо! А демократия? Вы же попираете принципы демократии: палата меня не выбирала, избиратели не знают даже моей биографии... Кстати, и вы не знаете...

— Ну что ж, расскажите.

Она вообще негромко говорила, и он снизил голос для неё одной. Русанов спал, Зацырко читал, койка Поддужева была уже пуста, — их почти и не слышали.

— Это очень долго. И потом, я смущён, что я сижу, а вы стоите. Так не разговаривают с женщинами. Но если я, как солдат, стану сейчас в проходе, будет ещё глупей. Вы присядьте на мою койку, пожалуйста.

— Вообще-то мне идти надо, — сказала она. И села на краешек.

— Видите, Вера Корнильевна, за приверженность демократии я больше всего в жизни пострадал. Я пытался насаждать демократию в армии — то есть много рассуждал. За это меня в 39-м не послали в училище, оставили рядовым. А в 40-м уже доехал до училища, так сдержил начальству там, и оттуда отчислили. И только в 41-м кой-как кончил курсы младших командиров на Дальнем Востоке. Честно говоря, очень досадно было мне, что я не офицер, все мои друзья пошли в офицеры. В молодости это как-то переживаешь. Но справедливость я ценил выше.

— У меня один близкий человек, — сказала Гангарт, глядя в одеяло, — тоже имел такую судьбу: очень развитой — и рядовой. — Полпаузы, миг молчания пролетел меж их головами, и она подняла глаза. — Но вы и сегодня таким остались.

— То есть: рядовым или развитым?

— Дерзким. Как, например, вы всегда разговариваете с врачами? Со мной особенно.

Она строго это спросила, но странная была у неё строгость, вся пропитанная мелодичностью, как все слова и движения Веры Гангарт.

— Я — с вами? Я с вами разговариваю исключительно почтительно. Это у меня высшая форма разговора, вы ещё не знаете. А если вы имеете в виду первый день, так вы не представляете, в каких же я был клещах. Еле-еле меня, умирающего, выпустили

из области. Приехал сюда — тут вместо зимы дождь-проливняк, а у меня — валенки под мышкой, у нас же там морозяра. Шинель намокла, хоть отжимай. Валенки сдал в камеру хранения, сел в трамвай ехать в старый город, там у меня ещё с фронта адрес моего солдата. А уже темно, весь трамвай отговаривает: не идите, зарежут! После амнистии 53-го года, когда всю шпану выпустили, никак её опять не выловят. А я ещё не был уверен, тут ли мой солдат, и улица такая, что никто её не знает. Пошёл по гостиницам. Такие красивые вестибюли в гостиницах, просто стыдно моими ногами входить, и кое-где даже места были, но вместо паспорта протяну своё ссыльное удостоверение — «нельзя!», «нельзя!». Ну, что делать? Умирать я был готов, но почему же под забором? Иду прямо в милицию: «Слушайте, я — ваш. Устраивайте меня ночевать». Перемялись, говорят: «Идите в чайхану и ночуйте, мы там документов не проверяем». Но не нашёл я чайханы, поехал опять на вокзал. Спать нельзя, милиционер ходит-гоняет. Утром — к вам в амбулаторию. Очередь. Посмотрели — сейчас же ложиться. Теперь двумя трамваями через весь город — в комендатуру. Так рабочий день по всему Советскому Союзу — а комендант ушёл, и наплевать. И никакой запиской он ссыльных не удостоаивает: может придёт, может нет. Тут я сообразил: если я ему удостоверение отдам — мне, пожалуй, валенок на вокзале не выдадут. Значит, двумя трамваями опять на вокзал. Каждая поездка — полтора часа.

— Что-то я у вас валенок не помню. Разве были?

— Не помните, потому что я тут же, на вокзале, эти валенки продал какому-то дядьке. Рассчитал, что эту зиму долежу в клинике, а до следующей не доживу. Теперь опять в комендатуру! — на одних трамваях червонец проездил. Там ещё километр грязюкой переться, а ведь у меня боли, я еле иду. И всюду мешок свой ташу. Слава тебе, пришёл комендант. Отдаю ему в залог разрешение моей областной комендатуры, показываю направление вашей амбулатории, отмечает: можно лечь. Теперь еду... не к вам ещё, в центр. По афишам вижу, что идёт «Спящая красавица».

— Ах вот как! Так вы ещё — по балетам? Ну, знала б — не положила б! Не-ет!

— Вера Корнильевна, это — чудо! Перед смертью последний раз посмотреть балет! Да и без смерти я его в своей вечной ссылке никогда не увижу. Так нет же, чёрт! — заменён спектакль! Вместо «Спящей красавицы» пойдёт «Агу-Балы».

Беззвучно смеясь, Гангарт качала головой. Вся эта затея умирающего с балетом ей, конечно, нравилась, очень нравилась.

— Что делать? В консерватории — фортепьянный концерт аспирантки. Но — далеко от вокзала, и угла лавки не захвачу. А дождь всё лупит, всё лупит! Один выход: ехать сдаваться к вам. Приезжаю — «мест нет, придётся несколько дней подождать». А больные говорят: тут и по неделе ждут. Где ждать? Что мне оставалось? Без лагерной хватки пропадёшь. А тут вы ещё бумажку у меня из рук уносите?.. Как же я должен был с вами разговаривать?

Теперь весело вспоминалось, обоим было смешно.

Он это всё рассказывал без усилия мысли, а думал вот о чём: если мединститут она кончила в 46-м году, то ей сейчас не меньше тридцати одного года, она ему почти ровесница. Почему же Вера Корнильевна кажется ему моложе двадцатитрёхлетней Зои? Не по лицу, а по повадке: по несмелости, по застыдчивости. В таких случаях бывает можно предположить, что она... Внимательный взгляд умеет выделить таких женщин по мелочам поведения. Но Гангарт — замужем. Так почему же... ?

А она смотрела на него и удивлялась, почему он вначале показался ей таким недоброжелательным и грубым. У него, правда, тёмный взгляд и жёсткие складки, но он умеет смотреть и говорить очень дружелюбно и весело, вот как сейчас. Вернее, у него всегда наготове и та, и другая манера, и не знаешь, какую ждать.

— О балеринах и о валенках я теперь всё усвоила, — улыбалась она. — Но — сапоги? Вы знаете, что ваши сапоги — это небывалое нарушение нашего режима?

И она сузила глаза.

— Опять режим, — скривился Костоглолов, и шрам его скривился. — Но ведь прогулка даже в тюрьме положена. Я без прогулки не могу, я тогда не вылечусь. Вы ж не хотите лишить меня свежего воздуха?

Да, Гангарт видела, как подолгу он гулял сторонними одинокими аллеями медгородка: у кастелянши выпросил женский халат, которых мужчинам не давали, не хватало; морщ халата стонял под армейским поясом с живота на бока, а полы халата всё равно раздёргивались. В сапогах, без шапки, с косматой чёрной головой, он гулял крупными твёрдыми шагами, глядя в камни под собой, а дойдя до намеченного рубежа, на нём поворачивался.

И всегда он держал руки сложенными за спиной. И всегда один, ни с кем.

— Вот на днях ожидается обход Низамутдина Бахрамовича, и знаете, что́ будет, если он увидит ваши сапоги? Мне будет выговор в приказе.

Опять она не требовала, а просила, даже как бы жаловалась ему. Она сама удивлялась тому тону, даже не равенства, а немного и подчинения, который установился между ними и которого у неё с больными вообще никогда не бывало.

Костоготов, убеждая, тронул своей лапой её руку:

— Вера Корнильевна! Стопроцентная гарантия, что он у меня их не найдёт. И даже в вестибюле никогда в них не встретит.

— А на аллеяке?

— А там он не узнает, что я — из его корпуса! Даже вот хотите, давайте для смеху напишем анонимный донос на меня, что у меня сапоги, и он с двумя санитарками придёт здесь шарить — и никогда не найдут.

— А разве это хорошо — писать доносы? — Она опять сузила глаза.

Ещё вот: зачем она губы красила? Это было грубовато для неё, это нарушало её тонкость. Он вздохнул:

— Да ведь пишут, Вера Корнильевна, как пишут! И получается. Римляне говорили: *testis unus — testis nullus*, один свидетель — никакой не свидетель. А в двадцатом веке и один — лишний стал, и одного-то не надо.

Она увела глаза. Об этом трудно ведь было говорить.

— И куда ж вы их тогда спрячете?

— Сапоги? Да десятки способов, сколько будет времени. Может быть, в холодную печку кину, может быть, на верёвочке за окно подвешу. Не беспокойтесь!

Нельзя было не засмеяться и не поверить, что он действительно вывернется.

— Но как вы умудрились не сдать их в первый день?

— Ну, это уж совсем просто. В той конуре, где переодевался, поставил за створку двери. Санитарка всё остальное сгребла в мешок с биркой и унесла на центральный склад. Я из бани вышел, в газетку их обернул и понёс.

Разговаривали уже о какой-то ерунде. Шёл рабочий день, и почему она тут сидела? Русанов безпокойно спал, потный, но спал, и рвоты не было. Гангарт ещё раз подержала его пульс и уж

было пошла, но тут же вспомнила, опять обернулась к Костогло-тову:

— Да, вы дополнительного ещё не получаете?

— Никак нет, — наострился Костоглов.

— Значит, с завтрашнего дня. В день два яйца, два стакана мо-лока и пятьдесят грамм масла.

— Что-что? Могу ли я верить своим ушам? Да ведь меня ни-когда в жизни так не кормили!.. Впрочем, знаете, это справедливо. Ведь я за эту болезнь даже по бюллетеню не получаю.

— Как это?

— Очень просто. Оказывается, я в профсоюзе ещё не состою шести месяцев. И мне ничего не положено.

— Ай-я-яй! Как же это получилось?

— Да отвык я просто от этой жизни. Приехал в ссылку — как я должен был догадаться, что надо скорей вступать в профсоюз?

С одной стороны, такой ловкий, а с другой — такой неприспо-собленный. Этого дополнительного именно Гангарт ему добива-лась, очень настойчиво, было не так легко... Но надо идти, идти, так можно проговорить целый день.

Она подходила уже к двери, когда он с насмешкой крикнул:

— Подождите, да вы меня не как старосту подкупаете? Теперь я буду мучиться, что впал в коррупцию с первого дня!..

Гангарт ушла.

Но после обеда больных ей было неизбежно снова навещать Русанова. К этому времени она узнала, что ожидаемый обход глав-ного врача будет именно завтра. Так появилось и новое дело в па-латах — идти проверять тумбочки, потому что Низамутдин Бахра-мович ревнивее всего следил, чтобы в тумбочках не было крошек, лишних продуктов, а в идеале и ничего, кроме казённого хлеба и сахара. И ещё он проверял чистоту, да с такой находчивостью, что и женщина бы не догадалась.

Поднявшись на второй этаж, Вера Корнильевна запрокинула голову и зорко смотрела по самым верхним местам их высоких по-мещений. И в углу над Сибгатовым ей повиделась паутина (ста-ло больше света, на улице проглянуло солнце). Гангарт подозвала санитарку — это была Елизавета Анатольевна, почему-то именно на неё выпадали все авралы, объяснила, как надо сейчас всё мыть к завтрашнему дню, и показала на паутину.

Елизавета Анатольевна достала из халата очки, надела их, сказала:

— Представьте, вы совершенно правы. Какой ужас! — Сняла очки и пошла за лестницей и щёткой. Убирала она всегда без очков.

Дальше Гангарт вошла в мужскую палату. Русанов был в том же положении, распаренный, но пульс снизился, а Костоготов как раз надел сапоги и халат и собирался гулять. Вера Корнильевна объявила всей палате о завтрашнем важном обходе и просила самим посмотреть тумбочки прежде, чем она их тоже проверит.

— А вот мы начнём со старосты, — сказала.

Начинать можно было и не со старосты, она не знала, почему опять пошла именно в этот угол.

Вся Вера Корнильевна была — два треугольника, поставленных вершина на вершину: снизу треугольник пошире, а сверху узкий. Перехват её стана был до того узенький, что просто руки тянулись наложить пальцы и подкинуть её. Но ничего подобного Костоготов не сделал, а охотно растворил перед ней свою тумбочку:

— Пожалуйста.

— Ну-ка, разрешите, разрешите, — добиралась она. Он посторонился. Она села на его кровать у самой тумбочки и стала проверять.

Она сидела, а он стоял над ней сзади и хорошо видел теперь её шею — беззащитные тонкие линии, и волосы средней тёмности, положенные просто в узелок на затылке без всякой претензии на моду.

Нет, надо было как-то освободиться от этого наплыва. Невозможно, чтобы каждая милая женщина вызывала полное замутнение головы. Вот посидела с ним, поболтала, ушла — а он все эти часы думал о ней. А ей что? — она придёт вечером домой, её обнимет муж.

Надо было освободиться! — но невозможно было и освободиться иначе как через женщину же.

И он стоял и смотрел ей в затылок, в затылок. Сзади воротник халата поднялся колпачком, и открылась кругленькая косточка — самая верхняя косточка спины. Пальцем бы её обвести.

— Тумбочка, конечно, из самых безобразных в клинике, — комментировала тем временем Гангарт. — Крошки, промасленная бумага, тут же и махорка, и книга, и перчатки. Как вам не стыдно? Это вы всё-всё сегодня уберёте.

А он смотрел ей в шею и молчал.

Она вытянула верхний выдвижной ящичек и тут, между мелочью, заметила небольшой флакон с бурой жидкостью, милли-

литров на сорок. Флакон был туго заткнут, при нём была пластмассовая рюмочка, как в дорожных наборах, и пипетка.

— А это что? Лекарство?

Костоготов чуть свистнул.

— Так, пустяки.

— Что за лекарство? Мы вам такого не давали.

— Ну что ж, я не могу иметь своего?

— Пока вы лежите в нашей клинике и без нашего ведома — конечно, нет!

— Ну, мне неудобно вам сказать... От мозолей.

Однако она вертела в пальцах безымянный ненадписанный флакон, пытаясь его открыть, чтобы понюхать, — и Костоготов вмешался. Обе жёсткие горсти сразу он наложил на её руки и отвёл ту, которая хотела вытянуть пробку.

Вечное это сочетание рук, неизбежное продолжение разговора...

— Осторожно, — очень тихо предупредил он. — Это нужно уметь. Нельзя пролить на пальцы. И нюхать нельзя.

И мягко отобрал флакон.

В конце концов, это выходило за границы всяких шуток!

— Что это? — нахмурилась Гангарт. — Сильное вещество?

Костоготов опустил сел рядом с ней и сказал деловито, совсем тихо:

— Очень. Это — иссык-кульский корень. Его нельзя нюхать — ни в настойке, ни в сухом виде. Поэтому он так и заткнут. Если корень перекаладывать руками, а потом рук не помыть и забывши лизнуть — можно умереть.

Вера Корнильевна была испугана:

— И зачем он вам?

— Вот беда, — ворчал Костоготов, — откопали вы на мою голову. Надо было мне его спрятать... Затем, что я им лечился и сейчас подлечиваюсь.

— Только для этого? — испытывала она его глазами. Сейчас она ничуть их не сужала, сейчас она была врач и врач.

Она-то смотрела как врач, но глаза-то были светло-кофейные.

— Только, — честно сказал он.

— Или это вы... про запас? — всё ещё не верила.

— Ну, если хотите, когда я ехал сюда — такая мысль у меня была. Чтоб лишнего не мучиться... Но боли прошли — это отпало. А лечиться я им продолжал.

— Тайком? Когда никто не видит?

— А что человеку делать, если не дают вольно жить? Если везде режим?

— И по сколько капали?

— По ступенчатой схеме. От одной капли до десяти, от десяти до одной — и десять дней перерыв. Сейчас как раз перерыв. А честно говоря, я не уверен, что боли упали у меня от одного рентгена. Может, и от корня тоже.

Они оба говорили приглушённо.

— Это на чём настойка?

— На водке.

— Вы сами делали?

— У-гм.

— И какая ж концентрация?

— Да какая... Дал мне охалку, говорит: вот это — на три пол-литра. Я и разделил.

— Но весит-то сколько?

— А он не взвешивал. Он так, на глазок принёс.

— На глазок? Такой ядище! Это — аконитум! Подумайте сами!

— А что мне думать? — начал сердиться Костоготов. — Вы бы попробовали умирать одна во всей вселенной, да когда комендатура вас за черту посёлка не выпускает, вот тогда б и думали — аконитум! да сколько весит! Мне эта пригоршня корня, знаете, сколько могла потянуть? Двадцать лет каторжных работ! За самовольную отлучку с места ссылки. А я поехал. За полтора километра. В горы. Живёт такой старик, Кременцов, борода академика Павлова. Из поселенцев начала века. Чистый знахарь! — сам корешок собирает, сам дозы назначает. В собственной деревне над ним смеются, в своём ведь отечестве нет пророка. А из Москвы и Ленинграда приезжают. Корреспондент «Правды» приезжал. Говорят, убедился. А сейчас слухи, что старика посадили. Потому что дураки какие-то развели на пол-литре и открыто в кухне держали, а позвали на ноябрьские гостей, тем водки не хватило, они без хозяев и выпили. Трое насмерть. А ещё в одном доме дети отравились. А старик при чём? Он предупреждал...

Но, заметив, что уже говорит против себя, Костоготов замолк. Гангарт волновалась:

— Так вот именно! Содержание сильнодействующих веществ в общих палатах — запрещено! Это исключается — абсолютно! Возможен несчастный случай. Дайте-ка сюда флакончик!

— Нет, — уверенно отказался он.

— Дайте! — Она соединила брови и протянула руку к его сжатой руке.

Крепкие, большие, много работавшие пальцы Костоглотова закрылись так, что и пузырька в них видно не было. Он улыбнулся:

— Так у вас не выйдет.

Она расслабила брови:

— В конце концов, я знаю, когда вы гуляете, и могу взять флакончик без вас.

— Хорошо, что предупредили, теперь запрячу.

— На верёвочке за окно? Что ж мне остаётся, пойти и заявить?

— Не верю. Вы же сами сегодня осудили доносы!

— Но вы мне не оставляете никакого средства!

— И значит, нужно доносить? Недостойно. Вы боитесь, что настойку выпьет вот товарищ Русанов? Я не допущу. Заверну и упакую. Но я буду уезжать от вас — ведь я опять начну корнем лечиться, а как же! А вы в него не верите?

— Совершенно! Это тёмные суеверия и игра со смертью. Я верю только в научные схемы, испытанные на практике. Так меня учили. И так думают все онкологи. Дайте сюда флакон.

Она всё-таки пробовала разжать его верхний палец.

Он смотрел в её рассерженные светло-кофейные глаза, и не только не хотелось ему упорствовать или спорить с ней, а с удовольствием он отдал бы ей этот пузырёк и всю даже тумбочку. Но поступиться убеждениями ему было трудно.

— Э-эх, святая наука! — вздохнул он. — Если б это было всё так безусловно, не опровергало само себя каждые десять лет. А во что должен верить я? В ваши уколы? Вот зачем мне новые уколы ещё назначили? Что это за уколы?

— Очень нужные! Очень важные для вашей жизни! Вам надо ж и з н ь спасти! — она выговорила это ему особенно настойчиво, и светлая вера была в её глазах. — Не думайте, что вы выздоровели!

— Ну а точнее? В чём их действие?

— А зачем вам точнее! Они вылечивают. Они не дают возникать метастазам. Точнее вы не поймёте... Хорошо, тогда отдайте мне флакон, а я даю вам честное слово, что верну его, когда будете уезжать!

Они смотрели друг на друга.

Он прекомично выглядел — уже одетый для прогулки в бабий халат и перепоясанный ремнём со звездой.

Но до чего ж она настаивала! Шут с ним, с флаконом, не жалко и отдать, дома у него ещё вдесятеро этого аконитума. Беда в другом: вот милая женщина со светло-кофейными глазами. Такое светящееся лицо. С ней так приятно разговаривать. Но ведь никогда невозможно будет её поцеловать. И когда он вернётся в свою глушь, ему даже поверить будет нельзя, что он сидел рядом вплоть вот с такой светящейся женщиной и она хотела его, Костоглотова, спасти во что бы то ни стало!

Но именно спасти его она и не может.

— Вам тоже я опасаясь отдать, — пошутил он. — У вас кто-нибудь дома выпьет.

(Кто! Кто выпьет дома?!.. Она жила одна. Но сказать это сейчас было неуместно, неприлично.)

— Хорошо, давайте вничью. Давайте просто выльём.

Он рассмеялся. Ему жаль стало, что он так мало может для неё сделать.

— Ладно. Иду во двор и выливаю.

А всё-таки губы она красила зря.

— Нет уж, теперь я вам не верю. Теперь я должна сама присутствовать.

— Но вот идея! Зачем выливать? Лучше я отдам хорошему человеку, которого вы всё равно не спасёте. А вдруг ему поможет?

— Кому это?

Костоглотов показал кивком на койку Вадима Зацырко и ещё снизил голос:

— Ведь меланобластома?

— Вот теперь я окончательно убедилась, что надо выливать. Вы тут кого-нибудь мне отравите обязательно! Да как у вас духу хватит дать тяжелобольному яд? А если он отравится? Вас не будет мучить совесть?

Она избегала как-нибудь его называть. За весь долгий разговор она не назвала его никак ни разу.

— Такой не отравится. Это стойкий парень.

— Нет-нет-нет! Пойдёмте выливать!

— Просто я в ужасно хорошем настроении сегодня. Пойдёмте, ладно.

И они пошли между коек и потом на лестницу.

— А вам не будет холодно?

— Нет, у меня кофточка поддета.

Вот, она сказала — «кофточка поддета». Зачем она так сказала? Теперь хотелось посмотреть — какая кофточка, какого цвета. Но и этого он не увидит никогда.

Они вышли на крыльцо. День разгулялся, совсем был весенний, приедем не поверить, что только седьмое февраля. Светило солнце. Высоковетвенные тополя и низкий кустарник изгородей — всё ещё было голо, но и редкие уже были клочки снега в тени. Между деревьями лежала бурая и серая прилежшая прошлогодняя трава. Аллеи, плиты, камни, асфальт были влажны, ещё не высохли. По скверу шло обычное оживлённое движение — навстречу, в обгон, вперекрест по диагоналям. Шли врачи, сёстры, санитарки, обслуга, амбулаторные больные и родственники клинических. В двух местах кто-то даже присел на скамьи. Там и здесь, в разных корпусах, уже были открыты первые окна.

Перед самым крыльцом тоже было странно выливать.

— Ну, вон туда пойдёте! — показал он на проход между раковым корпусом и ухогорлоносным. Это было одно из его прогулочных мест.

Они пошли рядом плитчатой дорожкой. Врачебная шапочка Гангарт, считая по фасону пилотки, приходилась Костоглотову как раз по плечо.

Он покосился. Она шла вполне серьёзно, как бы делать важное дело. Ему стало смешно.

— Скажите, как вас в школе звали? — вдруг спросил он.

Она быстро взглянула на него.

— Какое это имеет значение?

— Да никакого, конечно, а просто интересно.

Несколько шагов она прошла молча, чуть пристукивая по плитам. Её газельи тонкие ноги он заметил ещё в первый раз, когда лежал умирающий на полу, а она подошла.

— Вега, — сказала она.

(То есть и это была неправда. Неполная правда. Её так в школе звали, но один только человек. Тот самый развитой рядовой, который с войны не вернулся. Толчком, не зная почему, она вдруг доверила это имя другому.)

Они вышли из тени в проход между корпусами — и солнце ударило в них, и здесь тянул ветерок.

— Вега? В честь звезды? Но Вега — ослепительно белая.

Они остановились.

— А я — не ослепительная, — кивнула она. — Но я — ВЕ-ра ГА-нгарт. Вот и всё.

В первый раз не она перед ним растерялась, а он перед ней.

— Я хотел сказать... — оправдывался он.

— Всё понятно. Выливайте! — приказала она.

И не давала себе улыбнуться.

Костоготов расшатал плотно загнанную пробку, осторожно вытянул её, потом наклонился (это очень смешно было в его халате-юбке сверх сапог) и отвалил небольшой камешек из тех, что остались тут от прежнего мощения.

— Смотрите! А то скажете — я в карман перелил! — объявил он с корточек у её ног.

Её ноги, ноги её газельи, он заметил ещё в первый раз, в первый раз.

В сырую ямку на тёмную землю он вылил эту мутно-бурую чью-то смерть. Или мутно-бурое чьё-то выздоровление.

— Можно закладывать? — спросил он.

Она смотрела сверху и улыбалась.

Было мальчишеское в этом выливании и закладывании камнем. Мальчишеское, но и похожее на клятву. На тайну.

— Ну, похвалите же меня, — поднялся он с корточек.

— Хвалю, — улыбнулась она. Но печально. — Гуляйте.

И пошла в корпус.

Он смотрел ей в белую спину. В два треугольника, верхний и нижний.

До чего ж его стало волновать всякое женское внимание! За каждым словом он понимал больше, чем было. И после каждого поступка он ждал следующего.

Ве-Га. Вера Гангарт. Что-то тут не сошлось, но он сейчас не мог понять. Он смотрел ей в спину.

— Вега! Ве-га! — вполголоса проговорил он, стараясь внушить издали. — Вернись, слышишь? Вернись! Ну обернись!

Но не внушилось. Она не обернулась.

Как велосипед, как колесо, раз покотившись, устойчивы только в движении, а без движения валятся, так и игра между женщиной

и мужчиной, раз начавшись, способна существовать только в развитии. Если же сегодня нисколько не сдвинулось от вчера, игры уже нет.

Еле дождался Олег вечера вторника, когда Зоя должна была прийти на ночное дежурство. Весёлое расцвеченное колесо их игры непременно должно было прокатиться дальше, чем в первый вечер и в воскресенье днём. Все толчки к этому качению он ощущал в себе и предвидел в ней и, волнуясь, ждал Зою.

Сперва он вышел встречать её в садик, зная, по какой косой аллейке она должна прийти, выкурил там две махорочные скрутки, но потом подумал, что в бабьем халате будет выглядеть глупо, не так, как хотел бы ей представиться. Да и темнело. И он пошёл в корпус, снял халат, стянул сапоги и в пижаме — ничуть не менее смешной — стоял у низа лестницы. Его торчливые волосы были сегодня по возможности пригнетены.

Она появилась из врачебной раздевалки, опаздывая и спеша. Но кивнула бровями, увидев его, — впрочем не с выражением удивления, а как бы отметив, что так и есть, правильно, тут она его и ждала, тут ему и место, у низа лестницы.

Она не остановилась, и, чтобы не отстать, он пошёл с нею рядом, долгими ногами шагая через ступеньку. Ему это не было сейчас трудно.

— Ну, что новенького? — спросила она на ходу, как у адъютанта.

Новенького! Смена Верховного Суда! — вот что было новенького. Но чтоб это понять — нужны были годы подготовки. И не это было сейчас Зое нужно.

— Вам — имя новенькое. Наконец я понял, как вас зовут.

— Да? Как же? — а сама проворно перебирала по ступенькам.

— На ходу нельзя. Это слишком важно.

И вот они уже были наверху, и он отстал на последних ступеньках. Вослед ей глядя, он отметил, что ноги её толстоваты. К её плотной фигурке они, впрочем, подошли. И даже в этом был особый вкус. А всё-таки другое настроение, когда невесомые. Как у Вегги.

Он сам себе удивлялся. Он никогда так не рассуждал, не смотрел, и считал это пошлым. Он никогда так не перебрасывался от женщины к женщине. Его дед назвал бы это, пожалуй, *женобесием*. Но сказано: ешь с голоду, люби смолоду. А Олег смолоду всё пропустил. Теперь же, как осеннее растение спешит вытянуть из земли последние соки, чтоб не жалеть о пропущенном лете, так и Олег в коротком возврате жизни и уже на скате её, уже, конечно,

на skate, — спешил видеть и вбросить в себя женщин — и с такой стороны, как не мог бы им высказать вслух. Он острее других чувствовал, что в женщинах есть, потому что много лет не видел их вообще. И близко. И голосов их не слышал, забыл, как звучат.

Зоя приняла дежурство и сразу закружилась волчком — вкрут своего стола, списка процедур и шкафа медикаментов, а потом быстро неслась в какую-нибудь из дверей, но ведь и волчок так носится.

Олег следил и, когда увидел, что у неё выдался маленький пережок, был тут как тут.

— И больше ничего нового во всей клинике? — спрашивала Зоя своим лакомым голоском, а сама кипятила шприцы на электрической плитке и вскрывала ампулы.

— О! В клинике сегодня было величайшее событие. Был обход Низамутдина Бахрамовича.

— Да-а? Как хорошо, что без меня!.. И что же? Он отнял ваши сапоги?

— Сапоги-то нет, но столкновение маленькое было.

— Какое же?

— Вообще, это было величественно. Вошло к нам в камеру, то есть в палату, сразу халатов пятнадцать — и заведующие отделениями, и старшие врачи, и младшие врачи, и каких я тут никогда не видел, — и главврач, как тигр, бросился к тумбочкам. Но у нас агентурные сведения были, и мы кое-какую подготовочку провели, ничем он не поживился. Нахмурился, очень недоволен. А тут как раз обо мне докладывали, и Людмила Афанасьевна допустила маленькую оплошность: вычитывая из моего дела...

— Какого дела?

— Ну, истории болезни. Назвала, откуда первый диагноз, и невольно выяснилось, что я — из Казахстана. «Как? — сказал Низамутдин. — Из другой республики? У нас не хватает коек, а мы должны чужих лечить? Сейчас же выписать!»

— Ну? — насторожилась Зоя.

— И тут Людмила Афанасьевна, я не ожидал, как квочка за цыплёнка — так за меня взъерошилась: «Это — сложный важный научный случай! Он необходим нам для принципиальных выводов...» А у меня дурацкое положение: на днях же я сам с ней спорил и требовал выписки, она на меня кричала, а тут так заступается. Мне стоило сказать Низамутдину — «ага, ага!» — и к обеду меня б уж тут не было! И вас бы я уже не увидел...

— Так это вы из-за меня не сказали «ага-ага»?

— А что вы думаете? — поглушел голос Костоглотова. — Вы ж мне адреса своего не оставили. Как бы я вас искал?

Но она возилась, и нельзя было понять, насколько поверила.

— Что ж Людмилу Афанасьевну подводить, — опять громче рассказывал он. — Сижу как чурбан, молчу. А Низамутдин: «Я сейчас пойду в амбулаторию и вам пять таких больных приведу! И всех — наших. Выписать!» И вот тут я, наверно, сделал глупость — такой шанс потерял уйти! Жалко мне стало Людмилу Афанасьевну, она моргнула, как побитая, и замолчала. Я на коленях локти утвердил, горлышко прочистил и спокойно спрашиваю: «Как это так вы можете меня выписать, если я с целинных земель?» — «Ах целижник! — перепугался Низамутдин (ведь это ж политическая ошибка!). — Для целины страна ничего не жалеет». И пошли дальше.

— У вас хваточка, — покрутила Зоя головой.

— Это я в лагере изнахалился, Зоенька. Я таким не был. Вообще у меня много черт не моих, а приобретенных в лагере.

— Но весёлость — не оттуда?

— Почему не оттуда? Я — весёлый, потому что привык к потерям. Мне дико, что тут на свиданиях все плачут. Чего они плачут? Их никто не ссылает, конфискации нет...

— Итак, вы у нас остаётесь ещё на месяц?

— Типун вам на язык... Но недельки на две очевидно. Получилось, что я как бы дал Людмиле Афанасьевне расписку всё терпеть...

Шприц был наполнен разогретой жидкостью, и Зоя ускакала.

Ей предстояла сегодня неловкость, и она не знала, как быть. Ведь надо было и Олегу делать новоназначенный укол. Он полагался в обычное, всё терпящее место тела, но при тоне, который у них установился, укол стал невозможен: рассыпáлась вся игра. Терять эту игру и этот тон Зоя так же не хотела, как и Олег. А ещё далеко им надо было прокатить колесо, чтоб укол стал снова возможен — уже как у людей близких.

И, вернувшись к столу и готовя такой же укол Ахмаджану, Зоя спросила:

— Ну а вы уколам исправно поддаётесь? Не брыкаетесь?

Так спросить — да ещё Костоглотова! Он только и ждал случая объясниться.

— Вы же знаете мои убеждения, Зоенька. Я всегда предпочитаю не делать, если можно. Но с кем как получается. С Тургуном

замечательно: он всё ищет, как бы ему в шахматы подучиться. Договорились: мой выигрыш — нет укола, его выигрыш — укол. Но дело в том, что я и без ладьи с ним играю. А с Марией не поиграешь: она подходит со шприцем, лицо деревянное. Я пытаюсь шутить, она: «Больной Костоготов! Обнажите место для укола!» Она же слова лишнего, человеческого, никогда не скажет.

— Она ненавидит вас.

— Меня??

— Вообще — вас, мужчин.

— Ну, в основе это, может быть, и за дело. Теперь новая сестра — с ней я тоже не умею договориться. А вернётся Олимпиада — тем более, уж она ни йоточку не отступит.

— Вот и я так буду! — сказала Зоя, уравнивая два кубических сантиметра. Но голос её явно отпускал.

И пошла колоть Ахмаджана. А Олег опять остался около столика.

Была ещё и вторая, более важная причина, по которой Зоя не хотела, чтоб Олегу эти уколы делались. Она с воскресенья думала, сказать ли ему об их смысле.

Потому что если вдруг проступит серьёзным всё то, о чём они в шутку перебрасываются, — а оно могло таким проступить. Если в этот раз всё не кончится печальным собиранием разбросанных по комнате предметов одежды — а состроится что-то долговечное, и Зоя действительно решится быть пчёлкой для него и решится поехать к нему в ссылку (а в конце концов он прав — разве знаешь, в какой глуши подстерегает тебя счастье?). Так вот в этом случае уколы, назначенные Олегу, касались уже не только его, но и её.

И она была — против.

— Ну! — сказала она весело, вернувшись с пустым шприцем. — Вы наконец расхрабрились? Идите и обнажите место укола, больной Костоготов! Я сейчас приду!

Но он сидел и смотрел на неё совсем не глазами больного. Об уколах он и не думал, они уже договорились.

Он смотрел на её глаза, чуть выкаченные, просящиеся из глазниц.

— Пойдёмте куда-нибудь, Зоя, — не выговорил, а проорчал он низко.

Чем глуше становился его голос, тем звонче её.

— Куда-нибудь? — удивилась и засмеялась она. — В город?

— Во врачебную комнату.

Она приняла, приняла, приняла в себя его неотступный взгляд и без игры сказала:

— Но нельзя же, Олег! Много работы.

Он как будто не понял:

— Пойдёмте!

— Правильно, — вспомнила она. — Мне нужно наполнить кислородную подушку для... — Она кивнула в сторону лестницы, может быть назвала и фамилию больного, он не слышал. — А у баллона кран туго отворачивается. Вы мне поможете. Пойдёмте.

И она, а следом он спустились на один марш до площадки.

Тот жёлтенький, с обострившим носом несчастный, доедаемый раком лёгких, всегда ли такой маленький или съёженный теперь от болезни, такой плохой, что на обходах с ним уже не говорили, ни о чём его не расспрашивали, — сидел в постели и часто вдыхал из подушки, со слышимым хрипом в груди. Он и раньше был плох, но сегодня гораздо хуже, заметно и для неопытного взгляда. Одну подушку он кончал, другая пустая лежала рядом.

Он был так уже плох, что и не видел совсем людей — проходящих, подходящих.

Они взяли от него пустую подушку и спускались дальше.

— Как вы его лечите?

— Никак. Случай иноперабельный. А рентген не помог.

— Грудной клетки вообще не вскрывают?

— В нашем городе ещё нет.

— Так он умрёт?

Она кивнула.

И хотя в руках была подушка — для него, чтоб он не задохнулся, они тут же забыли о нём. Потому что интересное что-то вот-вот должно было произойти.

Высокий баллон с кислородом стоял в отдельном запертом сейчас коридоре — в том коридоре около рентгеновских кабинетов, где когда-то Гангарт впервые уложила промокшего умирающего Костоготова. (Этому «когда-то» ещё не было трёх недель...)

И если не зажигать второй по коридору лампочки (а они и зажгли только первую), то угол за выступом стены, где стоял баллон, оказывался в полутьме.

Зоя была ростом ниже баллона, а Олег выше.

Она стала соединять вентиль подушки с вентилем баллона.

Он стоял сзади и дышал её волосами — выбросными из-под шапочки.

— Вот этот кран очень тугой, — пожаловалась она.

Он положил пальцы на кран и сразу открыл его. Кислород стал переходить с лёгким шумом.

И тогда, безо всякого предлога, рукой, освободившейся от крана, Олег взял Зою за запястье руки, свободной от подушки.

Она не вздрогнула, не удивилась. Она следила, как надувается подушка.

Тогда он поскользился рукой, оглаживая, охватывая, от запястья выше — к предлокотью, через локоть — к плечу.

Безхитростная разведка, но необходимая и ему, и ей. Проверка слов, так ли были они все поняты.

Да, так.

Он ещё чёлку её трепанул двумя пальцами, она не возмутилась, не отпрянула — она следила за подушкой.

И тогда, сильно охватив её по заплечьям и всю наклонив к себе, он наконец добрался до её губ, столько ему смеявшихся и столько болтавших губ.

И губы Зои встретили его не раздвинутыми, не расслабленными — а напряжёнными, встречными, готовными.

Это всё выяснилось в один миг, потому что за минуту до того он ещё не помнил, он забыл, что губы бывают разные, поцелуи бывают разные, и один совсем не стоит другого.

Но, начавшись клевком, это теперь тянулось, это был всё один хват, одно долгое слитие, которое никак нельзя было кончить, да незачем было кончать. Переминая и переминая губами, так можно было остаться навсегда.

Но со временем, через два столетия, губы всё же разорвались — и тут Олег в первый раз увидел Зою и сразу же услышал её:

— А почему ты глаза закрываешь, когда целуешься?

Разве у него были ещё глаза? Он этого не знал.

— Кого-нибудь другого хочешь вообразить?..

Он и не заметил, что закрывал.

Как, едва отдышавшись, ныряют снова, чтобы там, на дне, на дне, на самом доньышке выловить залегшую жемчужину, они опять сошлись губами, но теперь он заметил, что закрыл глаза, и сразу же открыл их. И увидел близко-близко, невероятно близко, наискос, два её жёлто-карих глаза, показавшихся ему хищными. Одним глазом он видел один глаз, а другим другой. Она целовалась всё теми же уверенно-напряжёнными, готовно-напряжёнными губами, не выворачивая их, и ещё чуть-чуть покачивалась — и смотрела, как

бы выверяя по его глазам, что с ним делается после одной вечности, и после второй, и после третьей.

Но вот глаза её скозились куда-то в сторону, она резко оторвалась и вскрикнула:

— Кран!

Боже мой, кран! Он выбросил руку на кран и быстро завернул. Как подушка не разорвалась!

— Вот что бывает от поцелуев! — ещё не уравнив дыхания, сорванным выдохом сказала Зоя. Чёлка её была растрёпана, шапочка сбилась.

И хотя она была вполне права, они опять сомкнулись ртами и что-то перетянуть хотели к себе один из другого.

Коридор был с остеклёнными дверьми, может быть, кому-нибудь из-за выступа и были видны поднятые локти, ну — и шут с ним.

А когда всё-таки воздух опять пришёл в лёгкие, Олег сказал, держа её за затылок и рассматривая:

— Золотóнчик! Так тебя зовут. Золотончик!

Она повторила, играя губами:

— Золотончик?.. Пончик?..

Ничего. Можно.

— Ты не испугалась, что я ссыльный? Преступник?..

— Не, — она качала головой легкомысленно.

— А что я старый?

— Какой ты старый!

— А что я больной?..

Она ткнулась лбом ему в грудь и стояла так.

Ещё ближе, ближе к себе он её притянул, эти тёплые эллиптические кронштейники, на которых так и неизвестно, могла ли улежать тяжёлая линейка, и говорил:

— Правда ты поедешь в Уш-Терек?.. Мы женимся... Мы построим себе там домик.

Это всё и выглядело, как то устойчивое продолжение, которого ей не хватало, которое было в её натуре пчёлки. Прижатая к нему и всем лоном ощущая его, она всем лоном хотела угадать: он ли?

Потянулась и локтем опять обняла его за шею:

— Олежек! Ты знаешь — в чём смысл этих укулов?

— В чём? — тёрся он щекой.

— Эти укулы... Как тебе объяснить... Их научное название — гормонотерапия... Они применяются перекрестно: женщинам вводят

мужские гормоны, а мужчинам — женские... Считается, что так подавляют метастазирование... Но прежде всего подавляются вообще... Ты понимаешь?..

— Что? Нет! Не совсем! — тревожно-отрывисто спрашивал переменившийся Олег. Теперь он держал её за плечи уже иначе — как бы вытрясая из неё скорее истину. — Ты говори, говори!

— Подавляются вообще... половые способности... Даже до появления перекрестных вторичных признаков. При больших дозах у женщины может начать расти борода, у мужчин — груди...

— Так подожди! Что такое? — проревел, только сейчас начиная понимать, Олег. — Вот эти уколы? Что делают мне? Они что? — всё подавляют?

— Ну, не всё. Долгое время остаётся *либидо*.

— Что такое — *либидо*?

Она прямо смотрела ему в глаза и чуть потрепала за вихор:

— Ну, то, что ты сейчас чувствуешь ко мне... Желание...

— Желание — остаётся, а возможности — нет? Так? — допрашивал он, ошеломлённо.

— А возможности — очень слабеют. Потом и желание — тоже. Понимаешь? — она провела пальцем по его шраму, погладила по выбритой сегодня щеке. — Вот почему я не хочу, чтоб ты делал эти уколы.

— Здо-ро-во! — опоминался и выпрямлялся он. — Вот это здо-ро-во! Чуюло моё сердце, ждал я от них подвоху — так и вышло!

Ему хотелось ядрёно обругать врачей за их самовольное распоряжение чужими жизнями — и вдруг он вспомнил светло-уверенное лицо Гангарт — вчера, когда с таким горячим дружелюбием она смотрела на него: «Очень важные для вашей жизни! Вам надо жизнь спасти!»

Вот так Вега! Она хотела ему добра? — и для этого обманом вела к такой участи?

— И ты такая будешь? — скосился он на Зою.

Да нет, за что ж на неё! Она понимала жизнь, как и он: без этого — зачем жизнь? Она одними только алчными огневатыми губами протащила его сегодня по Кавказскому хребту. Вот она стояла, и губы были вот они! И пока это самое *либидо* ещё струилось в его ногах, в его поясице, надо было спешить целоваться!

— ...А наоборот ты мне что-нибудь можешь вколоть?

— Меня тогда выгонят отсюда...

— А есть такие уколы?
— Эти ж самые, только не перекрестно...
— Слушай, Золотончик, пойдём куда-нибудь...
— Ну, мы ж уже пошли. И пришли. И надо идти назад...
— Во врачебную комнату — пойдём!..
— Там санитарка, там ходят... Да не надо торопиться, Олежек!
Иначе у нас не будет завтра...

— Какое ж «завтра», если завтра не будет либидо?.. Или, наоборот, спасибо, либидо будет, да? Ну придумай, ну пойдём куда-нибудь!

— Олежек, надо что-то оставить и наперёд... Надо подушку нести.

— Да, правда, подушку нести. Сейчас понесём...

.....
— ...Сейчас понесём...

.....
— По-не-сём... Се-час...

Они поднимались по лестнице, не держась за руки, но держась за подушку, надутую, как футбольный мяч, и толчки ходьбы одного и другой передавались через подушку.

И было всё равно как за руки.

А на площадке лестницы, на проходной койке, мимо которой день и ночь сновали больные и здоровые, занятые своим, сидел в подушках и уже не кашлял, а бился головой о поднятые колени, головой с остатками благоприличного пробора — о колени, жёлтый, высохший, слабогрудый человек, и может быть, свои колени он ощущал лбом как круговую стену.

Он был жив ещё — но не было вокруг него живых.

Может быть, именно сегодня он умирал — брат Олега, ближний Олега, покинутый, голодный на сочувствие. Может быть, подсев к его кровати и проведя здесь ночь, Олег облегчил бы чем-нибудь его последние часы.

Но только кислородную подушку они ему положили и пошли дальше. Его последние кубики дыхания, подушку смертника, которая для них была лишь повод уединиться и узнать поцелуи друг друга.

Как привязанный поднимался Олег за Зоей по лестнице. Он не думал о смертнике за спиной, каким сам был полмесяца назад, или будет через полгода, а думал об этой девушке, об этой женщине, об этой бабе, и как уговорить её уединиться.

И ещё одно совсем забытое, тем более неожиданное, поющее ощущение губ, намятых поцелуями до огрублости, до опухлости, — передавалось молодым по всему его телу.

19

Не всякий называет маму — мамой, особенно при посторонних. Этого стыдятся мальчики старше пятнадцати лет и моложе тридцати. Но Вадим, Борис и Юрий Зацырко никогда не стыдились своей мамы. Они дружно любили её при жизни отца, а после его расстрела — особенно. Мало разделённые возрастом, они росли как трое равных, всегда деятельные и в школе и дома, не подверженные уличным шатаньям, — и никогда не огорчали овдовевшую мать. Повелось у них от одного детского снимка и потом для сравнения, что раз в два года она вела их всех в фотографию (а потом уж и сами своим аппаратом), и в домашний альбом ложился снимок за снимком: мать и трое сыновей, мать и трое сыновей. Она была светлая, а они все трое чёрные, — наверно, от того пленного турка, который когда-то женился на их запорожской прабабушке. Посторонние не всегда различали их на снимках — кто где. С каждым снимком они заметно росли, крепчали, обгоняли маму, она незаметно старела, но выпрямлялась перед объективом, гордая этой живой историей своей жизни. Она была врач, известная у себя в городе и пожавшая много благодарностей, букетов и пирогов, но даже если б она ничего полезного больше в жизни не сделала — вырастить таких троих сыновей оправдывало жизнь женщины. Все трое они пошли в один и тот же политехнический институт, старший кончил по геологическому, средний по электротехническому, младший кончал сейчас строительный, и мама была с ним.

Была, пока не узнала о болезни Вадима. В четверг едва не сорвалась сюда. В субботу получила телеграмму от Донцовой, что нужно коллоидное золото. В воскресенье откликнулась телеграммой, что едет добывать золото в Москву. С понедельника она там, вчера и сегодня, наверно, добывается приёма у министров и в других важных местах, чтобы в память погибшего отца (он оставлен был в городе под видом интеллигента, обиженного советской властью, и расстрелян немцами за связь с партизанами

и укрытие наших раненых) дали бы визу на фондовое коллоидное золото для сына.

Все эти хлопоты были отвратительны и оскорбительны Вадиму даже издали. Он не переносил никакого блата, никакого использования заслуг или знакомств. Даже то, что мама дала предупредительную телеграмму Донцовой, уже тяготило его. Как ни важно было ему выжить, но не хотел он пользоваться никакими преимуществами даже перед хारेю раковой смерти. Впрочем, понаблюдав за Донцовой, Вадим быстро понял, что и без всякой маминой телеграммы Людмила Афанасьевна уделила бы ему не меньше времени и внимания. Только вот телеграмму о коллоидном золоте не пришлось бы давать.

Теперь, если мама достанет это золото, — она прилетит с ним, конечно, сюда. И если не достанет — то тоже прилетит. Отсюда он написал ей письмо о чаге — не потому, что уверовал, а чтобы маме дать лишнее дело по спасению, насытить её. Но если будет расти отчаяние, то, вопреки всем своим врачебным знаниям и убеждениям, она поедет и к этому знахарю в горы за иссык-кульским корнем. (Олег Костоглотов вчера пришёл и повинился ему, что уступил бабе и вылил настойку корня, но, впрочем, там было всё равно мало, а вот адрес старика; если же старика уже посадили, то Олег берётся уступить Вадиму из своего запаса.)

Маме теперь уже не жизнь, если старший сын под угрозой. Мама сделает всё, и больше чем всё, она даже и лишнее сделает. Она даже в экспедицию за ним поедет, хотя там у него есть Галка. В конце концов, как Вадим понял из отрывков прочтённого и услышанного о своей болезни, сама-то опухоль вспыхнула у него из-за маминой слишком большой озабоченности и предусмотрительности: с детства было у него на ноге большое пигментное пятно, и мама, как врач, видимо, знала опасность перерождения; она находила поводы щупать это пятно, и однажды настояла, чтобы хороший хирург произвёл предварительную операцию, — а вот её-то как раз, очевидно, и не следовало делать.

Но даже если его сегодняшнее умирание началось от мамы — он не может её упрекнуть ни за глаза, ни в глаза. Нельзя быть таким слишком практичным, чтобы судить по результатам, — человечнее судить по намерениям. И несправедливо раздражаться теперь виною мамы с точки зрения своей неоконченной работы, прерванного интереса, неисполненных возможностей. Ведь и интереса этого,

и возможностей, и порыва к этой работе не было бы, если б не было его самого, Вадима. От мамы.

У человека — зубы, и он ими грызёт, скрежещет, стискивает их. А у растений вот — нет зубов, и как же спокойно они растут, и спокойно как умирают!

Но, прощая маме, Вадим не мог простить обстоятельствам! Он не мог уступить им ни квадратного сантиметра своего эпителия! И не мог не стискивать зубов.

Ах, как же пересекла его эта проклятая болезнь! — как она подрезала его в самую важную минуту.

Правда, Вадим и с детства как будто всегда предчувствовал, что ему не хватит времени. Он нервничал, если приходила гостья или соседка и болтала, отнимая время у мамы и у него. Он возмущался, что в школе и в институте всякие сборы — на работу, на экскурсию, на вечер, на демонстрацию — всегда назначают на час или на два часа раньше, чем нужно, так и рассчитывая, что люди обязательно опоздают. Никогда Вадим не мог вынести получасовых известий по радио, потому что всё, что там важно и нужно, можно было уместить в пять минут, а остальное была вода. Его бесило, что, идя в любой магазин, ты с вероятностью одна десятая рискуешь застать его на учёте, на переучёте, на передаче товара, — и этого никогда нельзя предвидеть. Любой сельсовет, любое почтовое сельское отделение могут быть закрыты в любой рабочий день — и за двадцать пять километров этого никогда нельзя предвидеть.

Может быть, жадность на время заронил в нём отец. Отец тоже не любил бездеятельности, и запомнилось, как он трепал сыну вихры и сказал: «Вадька! Если ты не умеешь использовать минуту, ты зря проведёшь и час, и день, и всю жизнь».

Нет, нет! Этот бес — неутолимая жажда времени — и без отца сидела в нём с малых лет. Чуть только игра с мальчишками начинала становиться тягучей — он не торчал с ними у ворот, а уходил сейчас же, мало обращая внимания на насмешки. Чуть только книга ему казалась водянистой — он её не дочитывал, бросал, ища поплотней. Если первые кадры фильма оказывались глупы (а заранее почти никогда ничего о фильме не знаешь, это нарочно делают) — он презревал потерянные деньги, стучал сиденьем и уходил, спасая время и незагрязнённость головы. Его изводили те учителя, которые по десять минут нудили класс нотациями, потом не справлялись с объяснениями, одно размазывали, другое комкали, а задание на дом давали после звонка. Они не могли представить,

что у ученика перемена может быть распланирована почище, чем у них урок.

А может быть, не зная об опасности, он с детства ощущал её, неведомую, в себе? Ни в чём не виновный, он с первых же лет жизни был под ударом этого пигментного пятна! И когда он так берёт время мальчишкой и скупость на время передавал своим братьям, когда взрослые книги читал ещё до первого класса, а шестиклассником устроил дома химическую лабораторию — это он уже гнался наперегонки с будущей опухолью, но втёмную гнался, не видя, где враг, — а она всё видела, кинулась и вонзилась в самую горячую пору! Не болезнь — змея. И имя её змеиное: меланобластома.

Когда она началась — Вадим не заметил. Это было в экспедиции у Алайского хребта. Началось затвердение, потом боль, потом прорвало и полегчало, потом опять затвердение, и так натиралось от одежды, что почти невыносимо стало ходить. Но ни маме он не написал, ни работы не бросил, потому что собирал первый круг материалов, с которыми обязательно должен был съездить в Москву.

Их экспедиция занималась просто радиоактивными водами, и никаких рудных месторождений с них не спрашивали. Но, не по возрасту много прочтя и особенно близкий с химией, которую не каждый геолог знает хорошо, Вадим то ли предвидел, то ли предчувствовал, что здесь вылупляется новый метод нахождения руд. Начальник экспедиции скрипел по поводу этой его склонности, начальнику экспедиции нужна была выработка по плану.

Вадим попросил командировку в Москву, начальник для такой цели не давал. Тогда-то Вадим и предъявил свою опухоль, взял бюллетень и явился в этот диспансер. Тут он проведаль диагноз, и его немедленно клали, сказав, что дело не терпит. Он взял назначение лечь и с ним улетел в Москву, где как раз сейчас на совещании надеялся повидать Черегородцева. Вадим никогда его не видел, только читал учебник и книги. Его предупредили, что Черегородцев больше одной фразы слушать не будет, он с первой фразы решает, нужно ли с человеком говорить. Весь путь до Москвы Вадим слаживал эту фразу. Его представили Черегородцеву в перерыве, на пороге буфета. Вадим выстрелил своей фразой, и Черегородцев повернул от буфета, взял его повыше локтя и повёл. Сложность этого пятиминутного разговора — Вадиму он казался накалённым — была в том, что требовалось стремительно говорить, без пропуска впитывать ответы, достаточно блеснуть своей эрудицией, но не высказать всего до конца, главный задел оставить себе. Черегородцев

сразу ему насыпал все возражения, из которых ясно было, почему радиоактивные воды признак косвенный, но не могут быть основным, и искать по ним руды — дело пустое. Он так говорил — но, кажется, охотно бы дал себя разуверить, он минуту ждал этого от Вадима и, не дождавшись, отпустил. И ещё Вадим понял, что, кажется, и целый московский институт топчется около того, над чем он один ковырялся в камешках Алайских гор.

Лучшего пока нельзя было и ждать! Теперь-то и надо было навалиться на работу!

Но теперь-то и надо было ложиться в клинику... И открыться маме. Он мог бы ехать и в Новочеркасск, но здесь ему понравилось, и к своим горам поближе.

В Москве он узнавал не только о водах и рудах. Ещё он узнал, что с меланобластомой умирают — всегда. Что с нею редко живут год, а чаще — месяцев восемь.

Что ж, как у тела, несущегося с предсветовой скоростью, его время и его масса становились теперь не такими, как у других тел, как у других людей: время — ёмче, масса — пробивней. Годы вбирались для него в недели, дни — в минуты. Он и всю жизнь спешил, но только сейчас он начинал спешить по-настоящему! Прожив шестьдесят лет спокойной жизни — и дурак станет доктором наук. А вот — к двадцати семи?

Двадцать семь — это лермонтовский возраст. Лермонтову тоже не хотелось умирать. (Вадим знал за собой, что немного похож на Лермонтова: такой же невысокий, смоляной, стройный, лёгкий, с маленькими руками, только без усов.) Однако он врезал себя в нашу память — и не на сто лет, навсегда!

Перед смертью, перед пантерой смерти, уже виляющей чёрным телом, уже бьющей хвостом, уже прилегшей рядом, на одну койку с ним, Вадим, человек интеллекта, должен был найти формулу — как жить с ней по соседству? Как плодотворно прожить вот эти оставшиеся месяцы, если это — только месяцы? Смерть как внезапный и новый фактор своей жизни он должен был проанализировать. И, сделав анализ, заметил, что, кажется, уже начинает привыкать к ней, а то даже и усваивать.

Самая ложная линия рассуждения была бы — исходить из того, что он теряет: как мог бы он быть счастлив, и где побывать, и что сделать, если бы жил долго. А верно было — признать статистику: что кому-то надо умирать и молодым. Зато умерший молодым остаётся в памяти людей навсегда молодым. Зато вспых-

нувший перед смертью остаётся сиять вечно. Тут была важная, на первый взгляд парадоксальная черта, которую разглядел Вадим в размышлениях последних недель: что таланту легче понять и принять смерть, чем бездарности. А ведь талант теряет в смерти гораздо больше, чем бездарность! Бездарности обязательно подавай долгу жизнь.

Конечно, завидно было думать, что продержаться надо бы только три-четыре года — и в наш век открытий, всеобщих бурных научных открытий, непременно найдут и лекарство от меланобластомы. Но Вадим постановил для себя не мечтать о продлении жизни, не мечтать о выздоровлении — даже ночных минут не тратить на эти бесплодности, — а сжаться, работать и оставить людям после себя новый метод поиска руд.

Так, искупив свою раннюю смерть, он надеялся умереть успокоенным.

Да и не испытал он за двадцать шесть лет никакого другого ощущения более наполняющего, насыщающего и стройного, чем ощущение времени, проводимого с пользой. Именно так всего разумнее и было провести последние месяцы.

И с этим рабочим порывом, держа несколько книг под мышками, Вадим вошёл в палату.

Первый враг, которого он ждал себе в палате, было радио, громкоговоритель, — и Вадим готов был бороться с ним всеми легальными и нелегальными средствами: сперва убеждением соседей, потом закорачиванием проводов иголкой, а там и вырыванием розетки из стены. Обязательное громковещание, почему-то зачтённое у нас повсюду как признак широты культуры, есть, напротив, признак культурной отсталости, поощрение умственной лени, — но Вадим почти никогда никого не успевал в этом убедить. Это постоянное бубнение, чередование не запрошенной тобою информации и не выбранной тобою музыки, было воровство времени и энтропия духа, очень удобно для вялых людей, непереносимо для инициативных. Глупец, заполучив вечность, вероятно, не мог бы протянуть её иначе, как только слушая радио.

Но со счастливым удивлением Вадим, войдя в палату, не обнаружил радио! Не было его и нигде на втором этаже. (Упущение это объяснялось тем, что с года на год предполагался переезд диспансера в другое, лучше оборудованное помещение, и уж там-то должна была быть сквозная радиофикация.)

Второй ожидаемый враг Вадима была темнота — раннее тушение света, позднее зажигание, далёкие окна. Но великодушный Дёмка уступил ему место у окна, и Вадим с первого же дня приспособился: ложиться со всеми, рано, а по рассвету просыпаться и начинать занятия — лучшие и самые тихие часы.

Третий возможный враг была слишком обильная болтовня в палате. И оказалось не без неё. Но в общем Вадиму состав палаты понравился, с точки зрения тишины в первую очередь.

Самым симпатичным ему показался Егенбердиев: он почти всегда молчал и всем улыбался улыбкой богатыря — раздвижкой толстых губ и толстых щёк.

И Мурсалимов с Ахмаджаном были неназойливые, славные люди. Когда они говорили по-узбекски, они совсем не мешали Вадиму, да и говорили они рассудительно, спокойно. Мурсалимов выглядел мудрым стариком, Вадим встречал таких в горах. Один только раз он что-то разошёлся и спорил с Ахмаджаном довольно сердито. Вадим попросил перевести — о чём. Оказывается, Мурсалимов сердился на новые придумки с именами, соединение нескольких слов в одно имя. Он утверждал, что существует только сорок истинных имён, оставленных пророком, все другие имена неправильные.

Невредный парень был и Ахмаджан. Если его попросить тише, он всегда становился тише. Как-то Вадим рассказал ему о жизни эвенков и поразил его воображение. Два дня Ахмаджан обдумывал совершенно непредставимую жизнь и задавал Вадиму внезапные вопросы:

— Скажи, а какое ж у этих эвенков обмундирование?

Вадим наскоро отвечал, на несколько часов Ахмаджан погрузился в размышление. Но снова прихрамывал и спрашивал:

— А распорядок дня у них какой, у эвенков?

И ещё на другой день утром:

— Скажи, а какая перед ними задача поставлена?

Не принимал он объяснения, что эвенки «просто так живут».

Тихий, вежливый был и Сибгатов, часто приходивший к Ахмаджану играть в шашки. Ясно было, что он необразован, но почему-то понимал, что громко разговаривать неприлично и не надо. И когда с Ахмаджаном они начинали спорить, то и тут он говорил как-то успокоительно:

— Да разве здесь настоящий виноград? Разве здесь дыни настоящие?

— А где ещё настоящие? — горячился Ахмаджан.

— В Крыму-у, где-е... Вот бы ты посмотрел...

И Дёмка был хороший мальчик, Вадим угадывал в нём не пустозвона, Дёмка думал, занимался. Правда, на лице его не было светлой печати таланта, он как-то хмуровато выглядел, когда воспринимал неожиданную мысль. Ему тяжело достанется путь учёбы и умственных занятий, но из таких медлительных иногда вырабатываются крепыши.

Не раздражал Вадима и Русанов. Это был всю жизнь честный работяга, звёзд с неба не хватал. Суждения его были в основном правильные, только не умел он их гибко выразить, а выражал затверженно.

Костоготов вначале не понравился Вадиму: грубый крикун. Но оказалось, что это — внешнее, что он незаносчив и даже подельчив, а только несчастно сложилась жизнь, и это его раздражило. Он, видимо, и сам был виноват в своих неудачах из-за трудного характера. Его болезнь шла на поправку, и он ещё всю жизнь мог бы свою поправить, если бы был более собран и знал бы, чего он хочет. Ему в первую очередь недоставало собранности, он разбрасывался временем, то шёл бродить бессмысленно по двору, то хватался читать и очень уж вязался за юбками.

А Вадим ни за что бы не стал на переднем краю смерти отвлекаться на девок. Ждала его Галка в экспедиции и мечтала выйти за него замуж, но и на это он уже права не имел, и ей он уже достанется мало.

Он уже никому не достанется.

Такова цена, и платить сполна. Одна страсть, захватив нас, измещает все прочие страсти.

Кто раздражал Вадима в палате — это Поддубев. Поддубев был зол, силен — и вдруг раскис и поддался слащаво-идеалистическим штучкам. Вадим терпеть не мог, он раздражался от этих разжигающих басенок о смирении и любви к ближнему, о том, что надо поступиться собой и, рот раззявля, только и смотреть, где и чем помочь встречному-поперечному. А этот встречный-поперечный, может быть, лентяй небритый или жулик небитый! Такая водянистая блеклая правдёнка противоречила всему молодому напору, всему сжигающему нетерпению, которое был Вадим, всей его потребности разжаться, как выстрел, разжаться и отдать. Он тоже ведь готовился и обрёл себя не брать, а отдать — но не по мелочам, не на каждом заплетающемся шагу, а вспышкой подвига — сразу всему народу и всему человечеству!

И он рад был, когда Поддуев выписался, а на его койку перелёг белобрысый Федерату из угла. Вот уж кто был тихий! — уж тише его в палате не было. Он мог за целый день слова не сказать — лежал и смотрел грустно. Как сосед, он был для Вадима идеален, — но уже послезавтра, в пятницу, его должны были взять на операцию.

Молчали-молчали, а сегодня всё-таки зашло что-то о болезнях, и Федерату сказал, что он болел и чуть не умер от воспаления мозговой оболочки.

— Ого! Ударились?

— Нет, простудился. Перегрелся сильно, а повезли с завода на машине домой, и продуло голову. Воспалилась мозговая оболочка, видеть перестал.

Он спокойно это рассказывал, даже с улыбкой, не подчёркивая, что трагедия была, ужас.

— А отчего ж перегрев? — Вадим спросил, однако сам уже косился в книжку, время-то шло. Но разговор о болезни всегда найдёт слушателей в палате. От стенки к стенке Федерату увидел на себе взгляд Русанова, очень сегодня размягчённый, и рассказывал уже отчасти и ему:

— Случилась в котле авария, и надо было сложную пайку делать. Но если спускать весь пар и котёл охлаждать, а потом всё снова — это сутки. Директор ночью за мной машину прислал, говорит: «Федерату! Чтоб работы не останавливать, надень защитный костюм да лезь в пар, а?» — «Ну, — я говорю, — если надо — давайте!» А время было предвоенное, график напряжённый — надо сделать. Полез и сделал. Часа за полтора... Да как отказать? Я на заводской доске почёта всегда был верхний.

Русанов слушал и смотрел с одобрением.

— Поступок, которым может гордиться и член партии, — похвалил он.

— А я и... член партии, — ещё скромней, ещё тише улыбнулся Федерату.

— *Были?* — поправил Русанов. (Их похвали, они уже всерьёз принимают.)

— И есть, — очень тихо выговорил Федерату.

Русанову было сегодня не до того, чтобы вдумываться в чужие обстоятельства, спорить, ставить людей на место. Его собственные обстоятельства были крайне трагичны. Но нельзя было не поправить совершенно явную чушь. А геолог ушёл в книги. Слабым

голосом, с тихой отчётливостью (зная, что напрягутся — и услышат), Русанов сказал:

— Так быть не может. Ведь вы — немец?

— Да, — кивнул Федерату, и кажется сокрушённо.

— Ну? Когда вас в ссылку везли — партбилеты должны были отобрать.

— Не отобрали, — качал головой Федерату.

Русанов скривился, трудно ему было говорить:

— Ну так это просто упущение, спешили, торопились, запутались. Вы должны сами теперь сдать.

— Да нет же! — на что был Федерату робкий, а упёрся. — Четырнадцатый год я с билетом, какая ошибка! Нас и в райком собирали, нам разъясняли: остаётесь членами партии, мы не смешиваем вас с общей массой. Отметка в комендатуре — отметкой, а членские взносы — взносами. Руководящих постов занимать нельзя, а на рядовых постах должны трудиться образцово. Вот так.

— Ну, не знаю, — вздохнул Русанов. Ему и веки-то хотелось опустить, ему говорить было совсем трудно.

Позавчерашний второй укол нисколько не помог — опухоль не опала, не размягчилась и железным желваком всё давила ему под челюсть. Сегодня, расслабленный и предвидя новый мучительный бред, он лежал в ожидании третьего укола. Договаривались с Капой после третьего укола ехать в Москву — но Павел Николаевич потерял всю энергию борьбы, он только сейчас почувствовал, что значит обречённость: третий или десятый, здесь или в Москве, но если опухоль не поддаётся лекарству, она не поддается. Правда, опухоль ещё не была смерть: она могла остаться, сделать инвалидом, уродом, больным — но всё-таки связи опухоли со смертью Павел Николаевич не усматривал до вчерашнего дня, пока тот же Оглоед, начитавшийся медицинских книжек, не стал кому-то объяснять, что опухоль пускает яды по всему телу — и вот почему нельзя её в теле терпеть.

И Павла Николаевича защипало, и понял он, что отмахнуться от смерти не выходит. Вчера на первом этапе он своими глазами видел, как на послеоперационного натянули с головой простыню. Теперь он осмыслил выражение, которое слышал между санитарками: «этому скоро *под простынку*». Вот оно что! — смерть представляется нам чёрной, но это только подступы к ней, а сама она — белая.

Конечно, Русанов всегда знал, что, поскольку все люди смертны, когда-нибудь должен сдать дела и он. Но — когда-нибудь, но не сейчас же! *Когда-нибудь* не страшно умереть — страшно умереть вот сейчас.

Белая равнодушная смерть в виде простыни, обволакивающей никакую фигуру, пустоту, подходила к нему осторожно, не шумя, в шлёпанцах, — а Русанов, застигнутый этой подкрадкой смерти, не только бороться с нею не мог, а вообще ничего о ней не мог ни подумать, ни решить, ни высказать. Она пришла незаконно, и не было правила, не было инструкции, которая защищала бы Павла Николаевича.

И жалко ему было себя. Жалко было представить такую целеустремлённую, наступательную и даже, можно сказать, красивую жизнь, как у него, — сшибленной камнем этой посторонней опухолью, которую ум его отказывался осознать как необходимость.

Ему было так жаль себя, что наплывали слёзы, всё время застилали зрение. Днём он прятал их то за очками, то за насморком будто, то накрываясь полотенцем, а эту ночь тихо и долго плакал, ничуть не стыдясь перед собой. Он с детства не плакал, он забыл, как это — плакать, а ещё больше, совсем забыл он, что слёзы, оказывается, помогают. Они не отодвигали от него ни одной из опасностей и бед — ни раковой смерти, ни судебного разбора старых дел, ни предстоящего укола и нового бреда, и всё же они как будто поднимали его на какую-то ступеньку от этих опасностей. Ему будто светлей становилось.

А ещё он — ослаб очень, ворочался мало, нехотя ел. Очень ослаб — и даже приятное что-то находил в этом состоянии, но худое приятное: как у замерзающего не бывает сил шевелиться. И как будто параличом взяло или ватой глухой обложило его всегдашнюю гражданскую горячность — не мириться ни с чем уродливым и неправильным вокруг. Вчера Оглоед с усмешечкой врал про себя главврачу, что он — целинник, и Павлу Николаевичу стоило только рот раскрыть, два слова сказать — и уже б Оглоеда в помине тут не было.

А он — ничего не сказал, промолчал. Это было с гражданственной точки зрения нечестно, его долг был — разоблачить ложь. Но почему-то Павел Николаевич не сказал. И не потому, что не хватило дыхательных сил выговорить или бы он боялся мести Оглоеда, — нет. А даже как-то и не хотелось говорить — как будто не всё, что делалось в палате, уже касалось Павла Николаевича. Даже

было такое странное чувство, что этот крикун и грубиян, то не дававший свет тушить, то по произволу открывавший форточку, то лезший первый схватить нетроганую чистую газету, в конце концов, взрослый человек, имеет свою судьбу, может не очень счастливую, и пусть живёт как хочет.

А сегодня Оглоед ещё отличился. Пришла лаборантка составлять избирательные списки (их тут тоже готовили к выборам) и у всех брала паспорта, и все давали их или колхозные справки, а у Костоглотова ничего не оказалось. Лаборантка, естественно, удивилась и требовала паспорта, так Костоглотов завёлся шуметь, что надо, мол, знать политграмоту, что разные есть виды ссыльных, и пусть она звонит по такому-то телефону, а у него, мол, избирательное право есть, но в крайнем случае он может и не голосовать.

Вот какой мутный и испорченный человек оказался сосед по койке, верно чувствовало сердце Павла Николаевича! Но теперь, вместо того чтобы ужаснуться, в какой вертеп он здесь попал, среди кого лежал, Русанов поддался заливающему безразличию: пусть Костоглотов; пусть Федерату; пусть Сибгатов. Пусть они все вылеживаются, пусть живут — только б и Павлу Николаевичу остаться в живых.

Маячил ему капюшон простыни.

Пусть они живут, и Павел Николаевич не будет их расспрашивать и проверять. Но чтоб они его тоже не расспрашивали. Чтоб никто не лез ковыряться в старом прошлом. Что было — то было, оно кануло, и несправедливо теперь выискивать, кто в чём ошибся восемнадцать лет назад.

Из вестибюля послышался резкий голос санитарки Нэли, один такой во всей клинике. Это она без всякого даже крика спрашивала кого-то метров за двадцать:

— Слушай, а лакированные эти почём стоят?

Что ответила другая — не было слышно, а опять Нэля:

— Э-э-эх, мне бы в таких пойти — вот бы хахали табунились!

Та, вторая, возразила что-то, и Нэля согласилась отчасти:

— Ой, да! Я когда капроны первый раз натянула — души не было. А Сергей бросил спичку и сразу прожёт, сволочь!

Тут она вошла в палату со щёткой и спросила:

— Ну, мальчики, вчера, говорят, скребли-мыли, так сегодня слегка?.. Да! Новость! — вспомнила она и, показывая на Федерату, объявила радостно: — Вот этот-то ваш накрылся! Дуба врезал!

Генрих Якобович уж какой был выдержанный, а повёл плечами, ему стало не по себе.

Не поняли Нэлю, и она дояснила:

— Ну, конопатый-то! Ну, обмотанный! Вчера на вокзале. Около кассы. Теперь на вскрытие привезли.

— Боже мой! — нашёл силы выговорить Русанов. — Как у вас не хватает тактичности, товарищ санитарка! Зачем же распространять мрачные известия?

В палате задумались. Много говорил Ефрем о смерти и казался обречённым, это верно. Поперёк вот этого прохода останавливался и убеждал всех, цедя:

«Так что си-ки-верное наше дело!..»

Но всё-таки последнего шага Ефрема они не видели, и, уехав, он оставался у них в памяти живым. А теперь надо было представить, что тот, кто позавчера топтал эти доски, где все они ходят, уже лежит в морге, разрезанный по осевой передней линии, как лопнувшая сарделька.

— Ты б нам что-нибудь весёленького! — потребовал Ахмаджан.

— Могу и весёленького, расскажу — обгрохочетесь. Только неприлично будет...

— Ничего, давай! Давай!

— Да! — ещё вспомнила Нэля. — Тебя, красюк, на рентген зовут! Тебя, тебя! — показывала она на Вадима.

Вадим отложил книгу на окно. Осторожно, с помощью рук, спустил больную ногу, потом другую. И с фигурой совсем балетной, если б не эта нагрублая берегомая нога, пошёл к выходу.

Он слышал о Поддуеве, но не почувствовал сожаления. Поддуев не был ценным для общества человеком, как и вот эта развязная санитарка. А человечество ценно всё-таки не своим гроздящимся количеством, а вызревающим качеством.

Тут вошла лаборантка с газетой.

А сзади неё шёл и Оглоед. Он вот-вот мог перехватить газету.

— Мне! мне! — слабо сказал Павел Николаевич, протягивая руку. Ему и досталась.

Ещё без очков он видел, что на всю страницу идут большие фотографии и крупные заголовки. Медленно подмостя и медленно надев очки, он увидел, как и предполагал, что это было — окончание сессии Верховного Совета: сфотографирован президиум и зал, и крупно шли последние важные решения.

Так крупно, что не надо было листать и искать где-то мелкую многозначашую заметку.

— Что?? что??? — не мог удержаться Павел Николаевич, хотя ни к кому здесь в палате он не обращался и неприлично было так удивляться и спрашивать над газетой.

Крупно, на первой полосе, объявлялось, что Председатель Совета Министров Г. М. Маленков просил уволить его по собственному желанию и Верховный Совет единодушно выполнил эту просьбу.

Так кончилась сессия, от которой Русанов ожидал одного бюджета!..

Он вконец ослабел, и руки его уронили газету. Он дальше не мог читать.

К чему это — он не понимал. Он перестал понимать инструкцию, общедоступно распространяемую. Но он понимал, что — круто, слишком круто!

Как будто где-то в большой-большой глубине заурчали геологические пласты и чуть-чуть шевельнулись в своём ложе — и от этого трянуло весь город, больницу и койку Павла Николаевича.

Но, не замечая, как колебнулась комната и пол, от двери к нему шла ровно, мягко, в свежeweыглаженном халате доктор Гангарт с ободряющей улыбкой, держа шприц.

— Ну, будем колотья! — приветливо пригласила она.

А Костоготов стянул с ног Русанова газету — и тоже сразу увидел и прочёл.

Прочёл и поднялся. Усидеть он не мог.

Он тоже не понимал точно полного значения известия.

Но если позавчера сменили весь Верховный Суд, а сегодня — премьер-министра, то это были шаги Истории!

Шаги истории, и не моглось думать и верить, что они могут быть к худшему.

Ещё позавчера он держал выскакивающее сердце руками и запрещал себе верить, запрещал надеяться!

Но прошло два дня — и всё те же четыре бетховенских удара напоминающе громнули в небо, как в мембрану.

А больные спокойно лежали в постелях — и не слышали!

И Вера Гангарт спокойно вводила в вену эмбихин.

Олег выметнулся, выбежал — гулять!

На простор!

20

Нет, он давно запретил себе верить! Он не смел разрешить себе обрадоваться!

Это в первые годы срока верит новичок каждому вызову из камеры с вещами — как вызову на свободу, каждому шёпоту об амнистии — как архангельским трубам. Но его вызывают из камеры, прочитывают какую-нибудь гадкую бумажку и заталкивают в другую камеру, этажом ниже, ещё темней, в такой же передышанный воздух. Но амнистия переключается — от годовщины Победы до годовщины Революции, от годовщины Революции до сессии Верховного Совета, амнистия лопаается пузырьём или объявляется вора́м, жуликам, дезертирам — вместо тех, кто воевал и страдал.

И те клеточки сердца, которые созданы в нас природой для радости, став ненужными, — отмирают. И те кубики груди, в которых ютится вера, годами пустеют — и иссыхают.

Вдосьть уже было поверено, вдоволь пождали освобождения, вещички складывали — наконец хотел он только в свою Прекрасную Ссылку, в свой милый Уш-Терек! Да, *милый!* — удивительно, но именно таким представлялся его ссыльный угол отсюда, из больницы, из крупного города, из этого сложно заведенного мира, к которому Олег не ощущал умения пристроиться, да пожалуй, и желания тоже.

Уш-Терек значит «Три тополя». Он назван так по трём старинным тополям, видным по степи за десять километров и дальше. Тополя стоят смежно. Они не стройны по-тополюному, а кривоваты даже. Им, может быть, уж лет и по четыреста. Достигнув высоты, они не погна́ли дальше, а раздали́сь по сторонам и сплели мощную тень над главным арыком. Говорят, и ещё были старые деревья в ауле, но в 31-м году, когда конница Будённого давила казахов, их вырубил. А больше такие не принимаются. Сколько сажали пионеры — обглядывают их козы на первом взросте. Лишь американские клёны взялись на главной улице перед райкомом.

То ли место любить на земле, где ты выполз кричащим младенцем, ничего ещё не осмысливая, даже показаний своих глаз и ушей? Или то, где первый раз тебе сказали: ничего, идите без конвоя! *сами идите!*

Своими ногами! «Возьми постель твою и ходи!»

Первая ночь на полусвободе! Пока ещё присматривалась к ним комендатура, в посёлок не выпустили, а разрешили вольно спать под санным навесом во дворе МВД. Под навесом неподвижные лошади всю ночь тихо хрупали сено — и нельзя было выдумать звука слаще!

Но Олег полночи заснуть не мог. Твёрдая земля двора была вся белая от луны — и он пошёл ходить, — как шальной, наискось по двору. Никаких вышек не было, никто на него не смотрел — и, счастливо спотыкаясь на неровностях двора, он ходил, запрокинув голову, лицом в белое небо, — и куда-то всё шёл, как будто боясь не успеть, как будто не в скудный глухой аул должен был выйти завтра, а в просторный триумфальный мир. В тёплом воздухе ранней южной весны было совсем не тихо: как над большой разбросанной станцией всю ночь перекликаются паровозы, так со всех концов посёлка всю ночь до утра из своих загонов и дворов трубно, жадно и торжествующе ревели ишаки и верблюды — о своей брачной страсти, об уверенности в продолжении жизни. И этот брачный рёв сливался с тем, что ревели в груди у Олега самого.

Так разве есть место милей, чем где провёл ты такую ночь?

И вот в ту ночь он опять надеялся и верил, хоть столько раз урекался.

После лагеря нельзя было назвать ссыльный мир жестоким, хотя и здесь на поливе дрались кетменями за воду и рубали по ногам. Ссыльный мир был намного просторней, легче, разнообразней. Но жестковатость была и в нём, и не так-то легко пробивался корешок в землю, и не так-то легко было напитать стебель. Ещё надо было извернуться, чтоб комендант не заслал в пустыню глубже километров на полтора. Ещё надо было найти глиносоломенную крышу над головой и что-то платить хозяйке, а платить не из чего. Надо было покупать ежедневный хлеб и что-то же в столовой. Надо было работу найти, а, намахавшись киркою за семь лет, не хотелось всё-таки брать кетмень и идти в поливальщики. И хотя были в посёлке вдовы женщины уже с мазанками, с огородами и даже с коровами, вполне готовые взять в мужья одинокого ссыльного, — продавать себя в мужья мнилось тоже рано: ведь жизнь как будто не кончалась, а начиналась.

Раньше, в лагере, прикидывая, скольких мужчин недостаёт на воле, уверены были арестанты, что только конвоир от тебя отстанет — и первая женщина уже твоя. Так казалось, что ходят они одинокие, рыдая по мужчинам, и ни о чём не думают о другом. Но

в посёлке было великое множество детей, и женщины держались как бы наполненные своей жизнью, и ни одинокие, ни девушки ни за что не хотели так, а обязательно замуж, по-честному, и строить домик на виду посёлка. Уш-терекские нравы уходили в прошлое столетие.

И вот конвоиры давно отстали от Олега, а жил он всё так же без женщины, как и годы за колючей проволокой, хотя были в посёлке писанные вороньи гречанки и трудолюбивые светленькие немочки.

В накладной, по которой прислали их в ссылку, написано было *на вечно*, и Олег разумом вполне поддался, что будет навечно, ничего другого нельзя было вообразить. А вот жениться здесь — что-то в груди не пускало. То свалили Берия с жестяным грохотом пустого истукана — и все ждали крутых изменений, а изменения приползали медленные, малые. То Олег нашёл свою прежнюю подругу — в красноярской ссылке; и обменялся письмами с ней. То затеял переписку со старой ленинградской знакомой — и сколько-то месяцев носил это в груди, надеясь, что она приедет сюда. (Но кто бросит ленинградскую квартиру и приедет к нему в дыру?) А тут выросла опухоль, и всё разняла своей постоянной необоримой болью, и женщины уже не стали ничем привлекательнее просто добрых людей.

Как охватил Олег, было в ссылке не только угнетающее начало, известное всем хоть из литературы (не та местность, которую любишь; не те люди, которых бы хотелось), но и начало освобождающее, мало известное: освобождающее от сомнений, от ответственности перед собой. Несчастны были не те, кто посылался в ссылку, а кто получал паспорт с грязной 39-й паспортной статьёй и должен был, упрекая себя за каждую оплошность, куда-то ехать, где-то жить, искать работу и отовсюду изгоняться. Но полноправно приезжал арестант в ссылку: не он придумал сюда ехать, и никто не мог его отсюда изгнать! За него подумало начальство, и он уже не боялся упустить где-то лучшее место, не суетился, изыскивая лучшую комбинацию. Он знал, что идёт единственным путём, и это наполняло его бодростью.

И сейчас, начав выздоравливать и стоя опять перед неразбираемо-запутанной жизнью, Олег ощущал приятность, что есть такое блаженное местечко Уш-Терек, где за него подумано, где всё очень ясно, где его считают как бы вполне гражданином и куда он вернётся скоро как *домой*. Уже какие-то нити родства тянули его туда и хотелось говорить: *у нас*.

Три четверти того года, который Олег пробыл до сих пор в Уш-Тереке, он болел — и мало присмотрелся к подробностям природы и жизни, и мало наслаждался ими. Больному человеку степь казалась слишком пыльной, солнце слишком горячим, огороды слишком выжженными, замес саманов слишком тяжёлым.

Но сейчас, когда жизнь, как те кричащие весенние ишаки, снова затрубила в нём, Олег расхаживал по аллеям медгородка, изобилующего деревьями, людьми, красками и каменными домами, — и с умилением восстанавливал каждую скупую умеренную чёрточку уш-терекского мира. И тот скупой мир был ему дороже — потому что он был свой, до гроба свой, на в е к и свой, а этот — временный, прокатный.

И вспоминал он степной *жусан* — с горьким запахом, а таким родным! И опять вспоминал *жантак* с колкими колючками. И ещё колче того *джингиль*, идущий на изгороди, — а в мае цветёт он фиолетовыми цветами, благоухающими совсем как сирень. И одурманивающее это дерево *джиду́* — с запахом цветов до того избыточно-пряным, как у женщины, перешедшей меру желания и надушенной без удержу.

Как это удивительно, что русский, какими-то лентами душевными припеленатый к русским перелескам и полям, к тихой замкнутости среднерусской природы, а сюда присланный помимо воли и навсегда, — вот он уже привязался к этой бедной открытости, то слишком жаркой, то слишком продуваемой, где тихий пасмурный день ощущается как отдых, а дождь — как праздник, и вполне уже, кажется, смирился, что будет жить здесь до смерти. И по таким ребятам, как Сарымбетов, Телегенов, Маукеев, братья Скоковы, он, ещё и языка их не зная, кажется, и к народу этому привязался; он — под налётом случайных чувств, когда смешивается ложное с важным, под наивной преданностью древним *родам* — понял его как в корне простодушный народ и всегда отвечающий на искренность искренностью, на расположение расположением.

Олегу — тридцать четыре года. Все институты обрывают приём в тридцать пять. Образования ему уже никогда не получить. Ну, не вышло так не вышло. Только недавно от изготовщика саманов он сумел подняться до помощника землеустроителя (не самого землеустроителя, как соврал Зое, а только помощника, на триста пятьдесят рублей). Его начальник, районный землеустроитель, плохо знает цену деления на рейке, поэтому работать бы Олегу всласть, но и ему работы почти нет: при розданных колхозам актах на *вечное*

(тоже вечное) пользование землёй ему лишь иногда достаётся отрезать что-нибудь от колхозов в пользу расширяющихся посёлков. Куда ему до *мирба* — до властителя поливов мираба, спиной своей чувствующего малейший наклон почвы! Ну, вероятно, с годами Олег сумеет устроиться лучше. Но даже и сейчас — почему с такой теплотой вспоминает он об Уш-Тереке и ждёт конца лечения, чтоб только вернуться туда, дотянуться туда хоть вполздорова?

Не естественно ли было бы озлобиться на место своей ссылки, ненавидеть и проклинать его? Нет, даже то, что взывает к батогу сатиры, — и то видится Олегу лишь анекдотом, достойным улыбки. И новый директор школы Абен Берденов, который сорвал со стены «Грачей» Саврасова и закинул их за шкаф (там церковь он увидел и счёл это религиозной пропагандой). И заврайздравом, бойкая русачка, которая с трибуны читает доклад районной интеллигенции, а из-под полы загоняет местным дамам по двойной цене новый крепдешин, пока не появится такой и в раймаге. И машина скорой помощи, носящаяся в клубах пыли, но частенько совсем не с больными, а по нуждам райкома как легковая, а то развоза по квартирам начальства муку и сливочное масло. И «оптовая» торговля маленького розничного Орембаева: в его продуктовом магазинчике никогда ничего нет, на крыше — гора пустых ящиков от проданного товара, он премирован за перевыполнение плана и постоянно дремлет у двери магазина. Ему лень взвешивать, лень пересыпать, заворачивать. Снабдивши всех сильных людей, он дальше намечает по его мнению достойных и тихо предлагает: «бери ящик макарон — только целый», «бери мешок сахара — только целый». Мешок или ящик отправляются прямо со склада на квартиру, а записываются Орембаеву в розничный оборот. Наконец, и третий секретарь райкома, который возжелал сдать экстерном за среднюю школу, но, не зная ни одной из математик, прокрался ночью к ссыльному учителю и поднёс ему шкурку каракуля.

Это всё воспринимается с улыбкой потому, что это всё — после волчьего лагеря. Конечно, что не покажется после лагеря — шуткой? что не покажется отдыхом?

Ведь это же наслаждение — надеть в сумерках белую рубашку (единственную, уже с продранным воротником, а уж какие брюки и ботинки — не спрашивай) и пойти по главной улице посёлка. Около клуба под камышовой кровлей увидеть афишу: «новый трофейно-художественный фильм...» — и юродивого Васю, всех зазывающего в кино. Постараться купить самый дешёвый билет за

два рубля — в первый ряд, вместе с мальчишками. А раз в месяц кутнуть — за два с полтиной выпить в чайной, между шофёров-чеченов, кружку пива.

Это восприятие ссыльной жизни со смехом, с постоянной радостью у Олега сложилось больше всего от супругов Кадминых — гинеколога Николая Ивановича и жены его Елены Александровны. Что б ни случилось с Кадмиными в ссылке, они всегда повторяют:

— Как хорошо! Насколько это лучше, чем было! Как нам повезло, что мы попали в это прелестное место!

Досталась им буханка светлого хлеба — радость! Сегодня фильм хороший в клубе — радость! Двухтомник Паустовского в книжный магазин привезли — радость! Приехал техник и зубы вставил — радость! Прислали ещё одного гинеколога, тоже ссыльную, — очень хорошо! Пусть ей гинекология, пусть ей незаконные аборт, Николай Иваныч общую терапию поведёт, меньше денег, зато спокойно. Оранжево-розово-ало-багряно-багровый степной закат — наслаждение! Стройнёнький седёнький Николай Иванович берёт под руку круглую, тяжелеющую не без болезни Елену Александровну, и они чинным шагом выходят за крайние дома смотреть закат.

Но жизнь как сплошная гирлянда цветущих радостей начинается у них с того дня, когда они покупают собственную землянку-развалюшку с огородом — последнее прибежище в их жизни, как они понимают, последний кров, где им вековать и умирать. (У них есть решение — умереть вместе: один умрёт, другой сопроводит, ибо зачем и для кого ему оставаться?) Мебели у них — никакой, и заказывается старику Хомратовичу, тоже ссыльному, выложить им в углу параллелепипед из саманов. Это получилась супружеская кровать — какая широкая! какая удобная! Вот радость-то! Шьётся широкий матрасный мешок и набивается соломой. Следующий заказ Хомратовичу — стол, и притом круглый. Недоумевает Хомратович: седьмой десяток на свете живёт, никогда круглого стола не видел. Зачем круглый? «Нет уж, пожалуйста! — чертит Николай Иванович своими белыми ловкими гинекологическими руками. — Уж обязательно круглый!» Следующая забота — достать керосиновую лампу не жестяную, а стеклянную, на высокой ножке, и не семилитровую, а обязательно десятилитровую — и чтоб ещё стёкла к ней были. В Уш-Тереке такой нет, это достаётся постепенно, привозится добрыми людьми издалека, — но вот на круглый стол ставится такая лампа, да ещё под самодельным абажуром, — и здесь,

в Уш-Тереке, в 1954 году, когда в столицах гоняются за торшеррами и уже изобретена водородная бомба, — эта лампа на круглом самодельном столе превращает глинобитную землянку в роскошную гостиную предпрошлого века. Что за торжество! Они втроём садятся вокруг, и Елена Александровна говорит с чувством:

— Ах, Олег, как хорошо мы сейчас живём! Вы знаете, если не считать детства, — это самый счастливый период всей моей жизни!

Потому что ведь — она права! — совсем не уровень благополучия делает счастье людей, а — отношения сердец и наша точка зрения на нашу жизнь. И то и другое — всегда в нашей власти, а значит, человек всегда счастлив, если он хочет этого, и никто не может ему помешать.

До войны они жили под Москвой со свекровью, и та была настолько непримирима и пристальна к мелочам, а сын к матери настолько почтителен, что Елена Александровна — уже женщина средних лет, самостоятельной судьбы и не первый раз замужем — чувствовала себя постоянно задавленной. Эти годы она называет теперь своим «средневековьем». Нужно было случиться большому несчастью, чтобы свежий воздух хлынул в их семью.

И несчастье обрушилось — сама же свекровь и потянула ниточку: в первый год войны пришёл человек без документов и попросил укрытия. Совмещая крутость к семейным с общими христианскими убеждениями, свекровь приютила дезертира — и даже без совета с молодыми. Две ночи переночевал дезертир, ушёл, где-то был пойман и на допросе указал дом, который его принял. Сама свекровь была уже под восемьдесят, её не тронули, но сочтено было полезным арестовать пятидесятилетнего сына и сорокалетнюю невестку. На следствии выясняли, не родственник ли им дезертир, и, если б оказался родственник, это сильно смягчило бы следствие: это было бы простым шкурничеством, вполне понятным и даже извинимым. Но был дезертир им — никто, прохожий, и получили Кадмины по десятке не как пособники дезертира, но как враги отечества, сознательно подрывающие мощь Красной армии. Кончилась война — и тот дезертир был отпущен по великой сталинской амнистии 1945 года (историки будут голову ломать — не поймут, почему именно дезертиров простили прежде всех — и без ограничений). Он и забыл, что в каком-то доме ночевал, что кого-то потянул за собой. А Кадминых та амнистия несколько не коснулась: ведь они были не дезертиры, они были враги. Они и по

десятке отбыли — их не отпустили домой: ведь они не в одиночку действовали, а *группой, организацией* — муж да жена! — и полагалось им в вечную ссылку. Предвидя такой исход, Кадмины заранее подали прошения, чтобы хоть в ссылку-то их послали в одно место. И как будто никто прямо не возражал, и как будто просьба была довольно законная — а всё-таки мужа послали на юг Казахстана, а жену — в Красноярский край. Может, их хотели разлучить как членов одной организации?.. Нет, это не в кару им сделали, не назло, а просто в аппарате министерства внутренних дел не было же такого человека, чья обязанность была бы соединять мужей и жён — вот и не соединили. Жена, под пятьдесят лет, но с опухающими руками и ногами, попала в тайгу, где ничего не было, кроме лесоповала, уже так знакомого по лагерю. (Но и сейчас вспоминает енисейскую тайгу — какие пейзажи!) Год ещё писали они жалобы — в Москву, в Москву, в Москву — и тогда только пришёл спецконвой — и повёз Елену Александровну сюда, в Уш-Терек.

И ещё бы было им теперь не радоваться жизни! не полюбить Уш-Терек! и свою глинобитную хибарку! Какого ещё им было желать другого доброденствия?

Вечно — так вечно, пусть будет так! За вечность можно вполне изучить климат Уш-Терека! Николай Иванович вывешивает три термометра, ставит банку для осадков, а за силой ветра заходит к Инне Штрём — десятикласснице, ведущей государственный метеопункт. Ещё что там будет на метеопункте, а уж у Николая Иваныча заведен метеожурнал с завидной статистической строгостью.

Ещё ребёнком он воспринял от отца, инженера путей сообщения, жажду постоянной деятельности и любовь к точности и порядку. Да уж педант ли был Короленко, но и тот говорил (а Николай Иваныч цитирует), что «порядок в делах соблюдает наш душевный покой». И ещё любимая поговорка доктора Кадмина: «Вещи знают свои места». Вещи сами знают, а мы только не должны им мешать.

Для зимних вечеров есть у Николая Ивановича любимое досужное занятие: переплётное ремесло. Ему нравится претворять лохматые, разлезлые, гибнущие книги в затянутый радостный вид. Даже и в Уш-Тереке сделали ему переплётный пресс и преострый обрезной ножичек.

Едва только куплена землянка — и месяц за месяцем Кадмины на всём экономят, донашивают всё старенькое, а деньги копят на батарейный радиоприёмник. Ещё надо договориться в культмаге с продавцом-курдом, чтоб он задержал им батареи, когда будут,

батареи отдельно приходят, и не всегда. Ещё надо переступить немой ужас всех ссыльных перед радиоприёмником: что подумает оперуполномоченный? не для Би-Би-Си ли вся затея? Но ужас переступлен, батареи доставлены, приёмник включён — и музыка, райская для арестантского уха и чистая при батарейном питании, — Пуччини, Сибелиус, Бортнянский — каждый день по выбору из программы включается в кадминской халупке. И вот — наполнен и переполнен их мир, уже не всасывать ему извне, но выдавать избыточное.

А с весны — вечера для радио короче, да зато заботит огород. Десять соток своего огорода разбивает Николай Иванович с такой замысловатостью и энергией, что куда там старый князь Болконский со всеми Лысыми Горами и особым архитектором. По больнице Николай Иванович в шестьдесят лет ещё очень жив, исполняет полторы ставки и в любую ночь бежит принимать роды. По посёлку он не ходит, а носится, не стесняясь седой бороды, и только развеивает полами парусинового пиджачка, сшитого Еленой Александровной. А вот к лопате у него уже сил мало: полчаса утром, и начинает задыхаться. Но пусть отстают руки и сердце, а планы стройны до идеала. Он водит Олега по голому своему огороду, счастливо отмеченному двумя деревцами по задней меже, и хвалится:

— Вот тут, Олег, сквозь весь участок пройдёт прешпект. По левую сторону, вы когда-нибудь увидите, три урюка, они уже посажены. По правую руку будет разбит виноградник, он несомненно примется. В конце же прешпект упрётся в беседку — в самую настоящую беседку, которой ещё не видел Уш-Терек! Основы беседки уже заложены — вот этот полукруглый диван из саманов, — (всё тот же Хомратович: «зачем полукруглый?»), — и вот эти прутья — по ним поднимется хмель. Рядом будут благоухать табачки. Днём мы будем здесь прятаться от зноя, а вечерами — пить чай из самовара, милости прошу! — (Впрочем, и самовара ещё нет.)

Что там в будущем вырастет у них — неизвестно, а чего уже сегодня нет — картошки, капусты, огурцов, помидоров и тыкв, того, что есть у соседей. «Но ведь это же купить можно!» — возражают Кадмины. Поселенцы Уш-Терека — народ хозяйственный, держат коров, свиней, овец, кур. Не вовсе чужды животноводству и Кадмины, но безпрактичное у них направление фермы: одни только собаки да кошки. Кадмины так понимают, что и молоко,

и мясо можно принести с базара — но где купишь собачью преданность? Разве за деньги будут так прыгать на тебя лопоухий чёрно-бурый Жук, огромный, как медведь, и острый пронырливый маленький Тобик, весь белый, но с подвижными чёрными ушками?

Любовь к животным мы теперь не ставим в людях ни в грош, а над привязанностью к кошкам даже непременно смеёмся. Но разлюбив сперва животных — не неизбежно ли мы потом разлюбываем и людей?

Кадмины любят в каждом своём звере не шкурку, а личность. И та общая душевность, которую излучают супруги, безо всякой дрессировки почти мгновенно усваивается и их животными. Животные очень ценят, когда Кадмины с ними разговаривают, и подолгу могут слушать. Животные дорожат обществом своих хозяев и горды их повсюду сопровождать. Если Тобик лежит в комнате (а доступ в комнаты собакам не ограничен) и видит, что Елена Александровна надевает пальто и берёт сумку, — он не только сразу понимает, что сейчас будет прогулка в посёлок, — но срывается с места, бежит за Жуком в сад и тотчас возвращается с ним. На определённом собачьем языке он там ему передал о прогулке — и Жук прибежал возбуждённый, готовый идти.

Жук хорошо знает протяжённость времени. Проводив Кадминых до кино, он не лежит у клуба, уходит, но к концу сеанса всегда возвращается. Один раз картина оказалась совсем короткой — и он опоздал. Сколько было горя сперва, и сколько потом прыжков!

Куда псы никогда не сопровождают Николая Ивановича — это на работу, понимая, что было бы нетактично. Если в предвечернее время доктор выходит за ворота своим лёгким молодым шагом, то по каким-то душевным волнам собаки безошибочно знают — пошёл ли он проведать роженицу (и тогда не идут) или купаться — и тогда идут. Купаться далеко — в реке Чу, за пять километров. Ни местные, ни ссыльные, ни молодые, ни средолетние не ходят туда ежедневно — далеко. Ходят только мальчишки да доктор Кадмин с собаками. Собственно, это единственная из прогулок, не доставляющая собакам прямого удовольствия: дорожка по степи жёсткая и с колючками, у Жука больные изрезанные лапы, а Тобик, однажды искупанный, очень боится снова попасть в воду. Но чувство долга — выше всего, и они проделывают с доктором весь путь. Только за триста безопасных метров от реки Тобик начинает отставать, чтоб его не схватили, извиняется ушами,

извиняется хвостом и ложится. Жук идёт до самого обрыва, здесь кладёт своё большое тело и, как монумент, наблюдает купание сверху.

Долг провожать Тобик распространяет и на Олега, который часто бывает у Кадминых. (Так, наконец, часто, что это тревожит оперуполномоченного и он порознь допрашивает: «А почему вы так близки? а что у вас общего? а о чём вы разговариваете?») Жук может и не провожать Олега, но Тобик обязан, и даже в любую погоду. Когда на улице дождь и грязно, лапам будет холодно и мокро, очень Тобику не хочется, он потянется на передних лапах и потянется на задних — а всё-таки пойдёт! Впрочем, Тобик же — и почтальон между Кадмиными и Олегом. Нужно ли сообщить Олегу, что сегодня интересный фильм, или очень хорошая будет музыкальная передача, или что-то важное появилось в продуктивном, в универмаге, — на Тобика надевается матерчатый ошейник с запиской, пальцем ему показывают направление и твёрдо говорят: «К Олегу!» И в любую погоду он послушно семенит к Олегу на своих тонких ногах, а придя и не застав дома — дожидается у двери. Самое удивительное, что никто его этому не учил, не дрессировал, а он с первого раза всё понял и стал так делать. (Правда, подкрепляя его идейную твёрдость, Олег всякий раз выдаёт ему за почтовый рейс и материальное поощрение.)

Жук — ростом и статью с немецкую овчарку, но нет в нём овчарской настороженности и злобности, его затопляет добродушие крупного сильного существа. Ему уж лет немало, он знал многих хозяев, а Кадминых выбрал сам. Перед тем он принадлежал духанщику (заведующему чайной). Тот держал Жука на цепи при ящиках с пустой посудой, иногда для забавы отвязывал и натравливал на соседских псов. Жук дрался отважно и наводил на здешних жёлтых вялых псов ужас. Но в одно из таких отвязываний он побывал на собачьей свадьбе близ дома Кадминых, что-то почувствовал душевное в их дворе — и стал сюда бегать, хоть тут его не кормили. Духанщик уезжал и подарил Жука своей ссыльной подружке Эмилии. Та сытно кормила Жука — а он всё равно срывался и уходил к Кадминым. Эмилия обижалась на Кадминых, вводила Жука к себе, опять сажала на цепь — а он всё равно срывался и уходил. Тогда она привязала его цепью к автомобильному колесу. Вдруг Жук увидел со двора, что по улице идёт Елена Александровна, даже нарочно отвернувшись. Он рванулся — и, как ломовая лошадь, хрипя, протащил автомобильное колесо метров

сто на своей шее, пока не свалился. После этого Эмилия отступилась от Жука. И у новых хозяев Жук быстро перенял доброту как главную норму поведения. Все уличные собаки совсем перестали его бояться, и с прохожими Жук стал приветлив, хотя не искателен.

Однако любители стрелять в живое были и в Уш-Тереке. Не промышляя лучшей дичи, они ходили по улицам и, пьяные, убивали собак. Дважды стреляли уже в Жука. Теперь он боялся всякого наведенного отверстия — и фотообъектива тоже, не давался фотографировать.

Были у Кадминых ещё и коты — избалованные и капризные, и любящие искусство, — но Олег, гуляя сейчас по аллеям медгородка, представил себе именно Жука, огромную добрую голову Жука, да не просто на улице — а в заслон своего окна: внезапно в окне Олега появляется голова Жука — это он встал на задние и заглядывает, как человек. Это значит — рядом прыгает Тобик и уже на подходе Николай Иванович.

И с умилением Олег почувствовал, что он вполне доволен своей долей, что он вполне смирен со ссылкой, и только здоровья одного он просит у неба и не просит больших чудес.

Вот так и жить, как Кадмины живут, — радоваться тому, что есть! Тот и мудрец, кто доволен немногим.

Кто — оптимист? Кто говорит: вообще в стране всё плохо, везде — хуже, у нас ещё хорошо, нам повезло. И счастлив тем, что есть, и не терзается. Кто — пессимист? Кто говорит: вообще в нашей стране всё замечательно, везде — лучше, только у нас случайно плохо.

Сейчас — только бы лечение как-нибудь перетерпеть! Как-нибудь выскочить из этих клещей — рентгенотерапии, гормонотерапии — не до конца уродом. Как-нибудь сохранить *либидо* и там что ещё полагается! — потому что без этого, без этого...

И — ехать в Уш-Терек. И больше впрохолость не жить! Жениться!

Зоя вряд ли поедет. А если б и поехала — то через полтора года. Ждать опять, ждать опять, всю жизнь ждать!

Жениться можно на Ксане. Что за хозяйка! — тарелки простые перетирает, полотенце через плечо перебросит — царица! — глаз не оторвать. С ней прочно можно жить — и дом будет на славу, и дети будут виться.

А можно — на Инне Штрём. Немного страшно, что ей только восемнадцать лет. Но ведь это и тянет! Ещё у неё улыбка какая-то рассеянно-дерзкая, задумчиво-вызывающая. Но ведь это и тянет...

Так не верить же никаким всплескам, никаким бетховенским ударам! Это всё — радужные пузыри. Сердце сжать — и не верить! Ничего не ждать от будущего — лучшего!

То, что есть, — будь рад тому!

Вечно — так вечно.

21

Олегу посчастливилось встретить её в самых дверях клиники. Он посторонился, придерживая для неё дверь, но если б и не посторонился — она с таким порывом шла, чуть наклонясь вперёд, что, пожалуй, и сшибла бы.

Он сразу охватил: на шоколадных волосах голубой берет, голову, поставленную как против ветра, и очень уж своенравного покроя пальто — какой-то длинный невероятный хляст, застёгнутый у горла.

Если б он знал, что это — дочь Русанова, он наверно бы вернулся. А так — пошёл вышагивать по своей отобщённой тропке.

Авиета же без труда получила разрешение подняться наверх в палату, потому что отец её был очень слаб, а день четверг — посетительный. Пальто она сняла, и на бордовый свитер ей накинули белый халатик, такой маленький, что разве в детстве она могла бы надеть его в рукава.

После вчерашнего третьего укола Павел Николаевич действительно очень ослабел и без крайней нужды совсем уже не выбирал ног из-под одеяла. Он и ворочался мало, очков не надевал, не встречал в разговоры. В нём пошатнулась его постоянная воля, и он отдался своей слабости. Опухоль, на которую он сперва досадовал, потом боялся её, теперь вошла в права — и уже не он, а она решала, что же будет.

Павел Николаевич знал, что Авиета прилетает из Москвы, сегодня утром ждал её. Он ждал её, как всегда, с радостью, но сегодня отчасти и с тревогой: решено было, что Капа расскажет ей о письме Миная, о Родичеве и Гузуне всё как оно есть. До сих пор ей это было знать ни к чему, но теперь нужна была её голова и совет. Авиета была разумница, никогда ни в чём она не думала хуже, чем родители, а всё-таки немножко было и тревожно: как она воспримет эту историю? сумеет ли перенестись и понять? не осудит ли с беззаботного плеча?

И в палату Авиета вошла как против ветра, с порывом, хотя одна рука у неё занята была тяжёлой сумкой, а другая удерживала халат на плечах. Свежее молодое лицо её было сияющим, не было того постного сострадания, с которым подходят к постелям тяжелобольных и которое Павлу Николаевичу больно было бы видеть у дочери.

— Ну, отец! Ну, что же ты, отец! — оживлённо здоровалась она, садясь к нему на койку и искренно, без усилия, целуя и в правую, и в левую уже несвежие, зарастающие щёки. — Ну? Как ты сегодня чувствуешь? Ну-ка, скажи точно! Ну-ка, скажи!

Её цветущий вид и бодрая требовательность поддали немного сил Павлу Николаевичу, и он слегка оживился.

— Ну, как тебе сказать? — размеренно, слабо говорил он, сам с собой выясняя. — Пожалуй, она не уменьшилась, нет. Но вот такое есть ощущение, будто стало немного свободнее двигать головой. Немного свободнее. Меньше давит, что ли.

Дочь, не спрашивая, но и нисколько не причиняя боли, раздвинула у отца воротник и ровно посередине смотрела — так смотрела, будто она врач и каждый день имела возможность сравнивать.

— Ну и ничего ужасного! — определила она. — Увеличенная железа, и только. Мама мне такого написала, я думала, здесь — ой! Вот, говоришь, стало свободнее. Значит, уколы помогают. Значит, помогают. А потом ещё меньше станет. А станет в два раза меньше — тебе она и мешать не будет, ты можешь хоть выпиться.

— Да, действительно, — вздохнул Павел Николаевич. — Если бы в два раза меньше, так можно было б и жить.

— И дома лечиться!

— Ты думаешь, дома можно было б уколы?

— А почему нет? Ты к ним привыкнешь, втянешься — и сможешь продолжать дома. Мы это обговорим, мы это подумаем!

Павел Николаевич повеселел. Уж там разрешат ли уколы дома или нет, но сама решимость дочери идти на штурм и добиваться наполняла его гордостью. Авиета была наклонена к нему, и он без очков хорошо видел её прямое честное открытое лицо, такое энергичное, живое, с подвижными ноздрями, с подвижными бровями, чутко вздрагивающими на всякую несправедливость. Кто это? — кажется, Горький — сказал: если дети твои не лучше тебя, то зря ты родил их, и жил ты тоже зря. А вот Павел Николаевич жил не зря.

Всё-таки он беспокоился, знает ли она о том и что скажет сейчас.

Но она не спешила переходить к тому, а ещё спрашивала о лечении, и что тут за врачи, и тумбочку его проверила, посмотрела, что он съел, а что испортилось, и заменила новым.

— Я тебе вина укрепляющего привезла, пей по рюмочке. Красной икрицы привезла, ведь хочешь? И апельсинчиков, московских.

— Да пожалуй.

Тем временем она оглядела всю палату и кто тут в палате и живым движением лба показала ему, что — убожество невыносимое, но надо рассматривать это с юмористической точки зрения.

Хотя никто их как будто не слушал, всё же она наклонилась к отцу близко, и так стали они говорить друг для друга только.

— Да, папа, это ужасно, — сразу подступила Авиета к главному. — В Москве это уже не новость, об этом много разговоров. Начинается чуть ли не массовый пересмотр судебных дел.

— Массовый?!

— Буквально. Это сейчас какая-то эпидемия. Шараханье! Как будто колесо истории можно повернуть назад! Да кто это может! И кто это смеет! Ну хорошо, — правильно, неправильно их когда-то осудили, — но зачем же теперь этих отдалённых возвращать сюда? Да пересаживать их сейчас в прежнюю жизнь — это болезненный мучительный процесс, это безжалостно прежде всего по отношению к ним самим! А некоторые умерли — и зачем же шевелить тени? Зачем и у родственников возбуждать необоснованные надежды, мстительные чувства?.. И потом, что значит само слово «реабилитирован»? Ведь это ж не может значить, что он полностью невиновен! Что-то обязательно там есть, только небольшое.

Ах, какая ж умница! С какой горячностью правоты она говорила! Ещё не дойдя до своего дела, Павел Николаевич уже видел, что в дочери он встретит поддержку всегда. Что Алла не могла откаться.

— И ты знаешь прямо случаи возвратов? Даже в Москву?

— Даже в Москву! — вот именно. А они в Москву-то и лезут теперь, им там как мёдом намазано. И какие бывают трагические случаи! Представляешь, один человек живёт совершенно спокойно, вдруг его вызывают — туда. На очную ставку! — представляешь?..

Павла Николаевича повело, как от кислого. Алла заметила, но она всегда доводила мысль до конца, она не могла остановиться.

— ...И предлагают повторить, что там было сказано двадцать лет назад, воображаешь? Кто это может помнить? И кому от этого

тепло? Ну, если уж так вам приспичило — так реабилитируйте, но без очных ставок! Но не треплите же нервы людям! Ведь человек вернулся домой — и чуть не повесился!

Павел Николаевич лежал в испарине. Ещё эта только мысль ему не приходила в голову — что с Родичевым, или с Ельчанским, или ещё с кем-нибудь потребуют *очную ставку*!

— А кто этих дураков заставлял подписывать на себя небылицы? Пусть бы не подписывали! — гибкая мысль Аллы охватывала все стороны вопроса. — Да вообще как можно ворошить этот ад, не подумав о людях, кто тогда *работал*. Ведь о них-то надо было подумать! Как им перенести эти внезапные перемены!

— Тебе мама — рассказала?..

— Да, папочка! Рассказала. И тебя здесь ничто не должно смутить! — уверенными сильными пальцами она взяла отца за оба плеча. — Вот хочешь, я скажу тебе, как понимаю: тот, кто идёт и *сигнализирует* — это передовой, сознательный человек! Он движим лучшими чувствами к своему обществу, и народ это ценит и понимает. В отдельных случаях такой человек может и ошибиться. Но не ошибается только тот, кто ничего не делает. Обычно же он руководится своим классовым чутьём — а оно никогда не подведёт.

— Ну, спасибо, Алла! Спасибо! — Павел Николаевич почувствовал даже, что слёзы подходят к горлу, но освобождающие, добрые слёзы. — Это хорошо ты сказала: народ — ценит, народ — понимает.

Только глупая привычка пошла — искать *народ* где-то обязательно *внизу*.

Потной кистью он погладил прохладную кисть дочери.

— Это очень важно, чтобы молодые поняли нас, не осудили. Скажи, а как ты думаешь... А в законе не найдут такой статьи, чтоб ещё теперь нас же... вот меня... привлекать, значит, за... ну, неправильные показания?

— Представь себе, — очень живо отозвалась Алла, — в Москве случайно я была свидетельницей разговора, где обсуждались вот... подобные же опасения. И был юрист, и он объяснил, что статья за так называемые ложные показания и всего-то гласит до двух лет, а с тех пор два раза уже была под амнистией, — и совершенно исключено, чтобы кто-нибудь кого-нибудь привлёк за ложные показания! Так что Родичев и не пикнет, будь уверен!

Павлу Николаевичу показалось даже, что опухоль у него ещё посвободнела.

— Ах ты, моя умница! — счастливо облегчённо говорил он. — И всё ты всегда знаешь! И везде ты всегда успеваешь. Сколько ты мне сил вернула!

И уже двумя руками взяв руку дочери, поцеловал её благоговейно. Павел Николаевич был безкорыстный человек. Интересы детей всегда были для него выше своих. Он знал, что сам ничем не блещет, кроме преданности, аккуратности и настойчивости. Но истинный расцвет он переживал в дочери — и согревался в её свете.

Алле надоело всё время удерживать на плечах условный белый халатик, он сваливался, и теперь она, рассмеявшись, бросила его на спинку кровати сверх температурного графика отца. Ни врачи, ни сёстры не входили, такое было время дня.

И осталась Алла в своём бордовом свитере — новом, в котором отец её ещё не видел. Широкий белый весёлый зигзаг шёл по этому свитеру с обшлага на обшлаг через два рукава и грудь, и очень приходился этот энергичный зигзаг к энергичным движениям Аллы.

Никогда отец не ворчал, если деньги шли на то, чтоб хорошо одевалась Алла. Доставали вещи с рук, и импортные, — и была одета Алла смело, гордо, вполне выявляя свою крупную ясную привлекательность, так совмещённую с твёрдым ясным умом.

— Слушай, — тихо спрашивал отец, — а помнишь, я тебя просил узнать: вот это странное выражение... нет-нет да встретится в чьей-нибудь речи или статье — *культ личности?*.. Это — неужели намекают на... ?

Даже воздуха не хватало Павлу Николаевичу вымолвить ещё слово дальше.

— Боюсь, что да, папа... Боюсь, что да... На писательском съезде, например, несколько раз так говорили. И главное, никто не говорит прямо — а все делают вид, что понимают.

— Слушай, но это же просто — кощунство!.. Как же смеют, а?

— Стыд и позор! Кто-то пустил — и вот вьётся, вьётся... Ну, правда, говорят и «культ личности», но одновременно говорят и «великий продолжатель». Так что надо не сбиться, ни туда ни сюда... Вообще, папа, нужно гибко смотреть. Нужно быть отзывчивым к требованиям времени. Я огорчу тебя, папа, но — нравится нам, не нравится — а каждому новому периоду мы должны быть созвучны! Я там сейчас насмотрелась! Я побывала в писательской среде, и немало, — ты думаешь, писателям легко перестраиваться,

вот за эти два года? Оч-чень сложно! Но какой это опытный, какой это тактичный народ, как многому у них научишься!

За четверть часа, что Авиета сидела перед ним и быстрыми точными своими репликами разила мрачных чудовищ прошлого и освобождала светлый простор впереди, Павел Николаевич зримо поздоровел, подбодрился, и ему совсем сейчас не хотелось разговаривать о своей постылой опухоли, и казалось уже ненужным хлопотать о переводе в другую клинику, — а только хотелось слушать радостные рассказы дочери, вдыхать этот порыв ветра, исходящий от неё.

— Ну говори же, говори, — просил он. — Ну, что в Москве? Как ты съездила?

— Ах! — Алла покружила головой, как лошадь от слепня. — Разве Москву можно передать? В Москве нужно жить! Москва — это другой мир! В Москву съездишь — как заглянешь на пятьдесят лет вперёд! Ну, во-первых, в Москве все сидят смотрят телевизоры...

— Скоро и у нас будут.

— Скоро!.. Да это ж не московская программа будет, что это за телевизоры! Ведь прямо жизнь по Уэллсу: сидят, смотрят телевизоры! Но я тебе шире скажу, у меня такое ощущение, я это быстро схватываю, что подходит полная революция быта! Я даже не говорю о холодильниках или стиральных машинах, гораздо сильнее всё изменится. То там, то здесь какие-то сплошь стеклянные вестибюли. В гостиницах ставят столики низкие — совсем низкие, как у американцев, вот так. Сперва даже не знаешь, как к нему приладиться. Абажуры матерчатые, как у нас дома, — это теперь позор, мещанство, только стеклянные! Кровати со спинками — это теперь стыд ужасный, а просто — низкие широкие софы или тахты... Комната принимает совсем другой вид. Вообще, меняется весь стиль жизни... Ты этого не можешь представить. Но мы с мамой уже говорили — придётся многое нам решительно менять. Да ведь у нас и не купишь, из Москвы ж и везти... Ну, есть, конечно, и очень вредные моды, достойные только осуждения. Лохматые причёски, прямо нарочно лохматые, как будто с постели только встала.

— Это всё Запад! Хочет нас растлить.

— Ну конечно. Но это отражается сразу и в культурной сфере, например в поэзии.

По мере того как от вопросов сокровенных Авиета переходила к общедоступным, она говорила громче, нестеснённо, и её слышали все в палате. Но из этих всех один только Дёмка оставил свои

занятия и, отвлекаясь от нылой боли, всё неотменно тянущей его на операционный стол, слушал Авиету в оба уха. Остальные не выказывали внимания, или не было их на койках, и ещё лишь Вадим Зацпырко иногда поднимал глаза от чтения и смотрел в спину Авиете. Вся спина её, выгнутая прочным мостом, крепко обтянутая неразношенным свитером, была равномерно густо-бордовая, и только одно плечо, на которое падал вторичный солнечный зайчик, отблеск открытого где-то окна, — плечо было сочно-багряное.

— Да ты о себе больше! — просил отец.

— Ну, папа, я съездила — очень удачно. Мой стихотворный сборник обещают включить в план издательства!! Правда, на следующий год. Но быстрее — не бывает. Быстрее представить себе нельзя!

— Да что ты! Что ты, Алка? Да неужели через год мы будем в руках держать?..

Лавиной радостей засыпала его сегодня дочь. Он знал, что она повезла в Москву стихи, но от этих машинописных листиков до книги с надписью «Алла Русанова» казалось непроходимо далеко.

— Но как же тебе это удалось?

Довольная собой, твёрдо улыбалась Алла.

— Конечно, если пойти просто так в издательство и предложить стихи — кто там с тобой будет разговаривать? Но меня Анна Евгеньевна познакомила с М*, познакомила с С*, я прочла им два-три стиха, им обоим понравилось, — ну, а дальше там кому-то звонили, кому-то записку писали, всё было очень просто.

— Это замечательно, — сиял Павел Николаевич. Он нашарил на тумбочке очки и надел их, как если бы прямо сейчас предстояло ему взглянуть на заветную книгу.

Первый раз в жизни Дёмка видел живого поэта, да не поэта даже, а поэтессу. Он и рот раскрыл.

— Вообще, я насмотрелась на их жизнь. Какие у них простые между собой отношения! Лауреаты — а друг друга по именам. И какие сами они люди не чванные, прямодушные. Мы представляем себе, что писатель — это сидит где-то там за облаками, бледный лоб, не подойди! А — ничего подобного. Всем радостям жизни они открыты, любят выпить, закусить, прокатиться — и всё это в компании. Разыгрывают друг друга, да сколько смеха! Я бы сказала, они именно *весело* живут. А подходит время писать роман — замыкаются на даче, два-три месяца — и, пожалуйста, получите! Нет, я все усилия приложу, чтобы попасть в Союз!

— А что ж, по специальности и работать не будешь? — немного встревожился Павел Николаевич.

— Папа! — Авиета снизила голос: — У журналиста что за жизнь? Как хочешь, лакейская должность. Дают задание — вот так и так надо, никакого простора, бери интервью с разных этих... знатных людей. Да разве можно сравнить!..

— Алла, всё-таки я боюсь: а вдруг у тебя не получится?

— Да как может не получиться? Ты наивный. Горький говорил: любой человек может стать писателем! Трудом можно достичь всего! Ну, а в крайнем случае стану детским писателем.

— Вообще, это очень хорошо, — обдумывал Павел Николаевич. — Вообще, это замечательно. Конечно, надо, чтоб литературу брали в руки морально здоровые люди.

— И фамилия у меня красивая, не буду псевдонима брать. Да и внешние качества у меня для литературы исключительные!

Но была и ещё опасность, которой дочь в порыве могла недооценивать.

— А представь себе — критика начнёт тебя ругать? Ведь это у нас как бы общественное порицание, это опасно!

Но с откинутыми прядями шоколадных волос безстрашно смотрела Авиета в будущее:

— То есть *очень* серьёзно меня ругать никогда не будут, потому что у меня не будет идейных вывихов! По художественной части — пожалуйста, пусть ругают. Но важно не пропускать повороты, какими полна жизнь. Например, говорили: «конфликтов быть не должно!» А теперь говорят: «ложная теория безконфликтности». Причём, если б одни говорили по-старому, а другие по-новому, заметно было бы, что что-то изменилось. А так как все сразу начинают говорить по-новому, без перехода — то и не заметно, что поворот. Вот тут не зевай! Самое главное — быть тактичной и отзывчивой к дыханию времени. И не попадёшь под критику... Да! Ты ж книг просил, папочка, я тебе книг принесла. Сейчас тебе и почитать, а то когда же?

И она стала доставать из сумки.

— Ну вот, «У нас уже утро», «Свет над землёй», «Труженики мира», «Горы в цвету»...

— Подожди, «Горы в цвету» я уже вроде читал...

— Ты читал «Земля в цвету», а это — «Горы в цвету». И вот ещё — «Молодость с нами», это обязательно, прямо с этого начинай. Тут названия сами поднимают сердце, я уж тебе такие подбирала.

— Это хорошо, — сказал Павел Николаевич. — А чувствительного ничего не принесла?

— Чувствительного? Нет, папочка. Но я думала... у тебя такое настроение...

— Это я всё сам знаю, — двумя пальцами махнул Павел Николаевич на стопку. — Ты мне чего-нибудь поищи, ладно?

Она собралась уже уходить.

Но Дёмка, который в своём углу долго мучился и хмурился, то ли от неперетихающих болей в ноге, то ли от робости вступить в разговор с блестящей девушкой и поэтессой, — теперь отважился и спросил. Спросил непрочищенным горлом, ещё откашлявшись посреди фразы:

— Скажите, пожалуйста... А как вы относитесь к требованиям искренности в литературе?

— Что, что? — живо обернулась к нему Авиета, но с дарящей полуулыбкой, потому что хриплость голоса достаточно выказывала дёмкину робость. — И сюда эта искренность пролезла? Целую редакцию за эту искренность разогнали, а она опять тут?

Авиета посмотрела на Дёмкино непросвещённое неразвитое лицо. Не оставалось у неё времени, но и под дурным влиянием оставлять этого пацана не следовало.

— Слушайте, мальчик! — звонко, сильно, как с трибуны, объявила она. — Искренность никак не может быть главным критерием книги. При неверных мыслях или чуждых настроениях искренность только усиливает вредное действие произведения, искренность — *вредна!* Субъективная искренность может оказаться против правды показа жизни — вот эту диалектику вы понимаете?

Трудно доходили мысли до Дёмки, он взморщил весь лоб.

— Не совсем, — сказал он.

— Ну хорошо, я вам объясню. — У Авиеты широко были расставлены руки, и белый зигзаг, как молния, бежал с руки на руку через грудь. — Нет ничего легче взять унылый факт как он есть и описать его. Но надо глубоко вспахать, чтобы показать те ростки будущего, которые не видны.

— Ростки...

— Что??

— Ростки сами должны прорасти, — торопился вставить Дёмка, — а если их пропахать, они не вырастут.

— Ну хорошо, мы не о сельском хозяйстве говорим. Мальчик! Говорить народу правду — это совсем не значит говорить плохое,

тыкать в недостатки. Можно безстрашно говорить о хорошем — чтоб оно стало ещё лучше! Откуда это фальшивое требование так называемой «суровой правды»? Да почему вдруг правда должна быть суровой? Почему она не должна быть сверкающей, увлекательной, оптимистической! Вся литература наша должна стать праздничной! В конце концов, людей обижает, когда об их жизни пишут мрачно. Им нравится, когда о ней пишут, украшая её.

— Вообще, с этим можно согласиться, — раздался сзади приятный чистый мужской голос. — А зачем, правда, уныние нагонять?

Авиета не нуждалась, конечно, ни в каком союзнике, но по удачливости своей знала, что если кто что и выскажет, то будет в её пользу. Она обернулась, сверкнув и к окну, навстречу зайчику, разворотом белого зигзага. Выразительный молодой человек, её сверстник, постукивал о зубы кончиком чёрного гранёного автокарандаша.

— А для чего литература? — размышлял он то ли для Дёмки, то ли для Аллы. — Литература — чтобы развлечь нас, когда у нас настроение плохое.

— Литература — учитель жизни, — прогудел Дёмка, и сам же покраснел от неловкости сказанного.

Вадим закачался головой на затылок:

— Ну уж и учитель, скажешь! В жизни мы как-нибудь и без неё разберемся. Что ж, писатели умней нас, практиков, что ли?

Он и Алла померялись взглядами. Во взглядах они были равны: хоть подходили по возрасту и не могли не понравиться друг другу наружностью, но каждый из них настолько шёл своей уставленной дорогой жизни, что ни в каком случайном взгляде не мог искать начала приключения.

— Роль литературы вообще сильно преувеличивают, — рассуждал Вадим. — Превозносят книги, которые того не заслуживают. Например — «Гаргантюа и Пантагрюэль». Не читавши, думаешь — это что-то грандиозное. А прочтёшь — одна похабщина, потерянное время.

— Эротический момент есть и у современных авторов. Он не лишний, — строго возразила Авиета. — В сочетании и с самой передовой идейностью.

— Лишний, — уверенно отвёл Вадим. — Не для того печатное слово, чтобы щекотать страсти. Возбуждающее в аптеках продают.

И, не глядя больше на бордовый свитер, не ожидая, что она его переубедит, опустил голову в книгу.

Авиету всегда огорчало, когда людские мысли не делились на две чёткие группы верных и неверных доводов, а расплзались, расплзались по неожиданным оттенкам, вносящим только идейную путаницу, и вот, как сейчас, нельзя было понять: что ж этот молодой человек — за неё или против? спорить с ним или оставить так?

Она оставила так, и докончила опять Дёмке:

— Так вот, мальчик, пойми. Описывать то, что *есть*, гораздо легче, чем описывать то, чего нет, но ты знаешь, что оно *будет*. То, что мы видим простыми глазами сегодня, — это не обязательно правда. Правда — то, что *должно быть*, что будет завтра. Наше чудесное «завтра» и нужно описывать!..

— А что ж будут завтра описывать? — морщил лоб туповатый мальчишка.

— Завтра?.. Ну а завтра будут описывать послезавтра.

Авиета уже поднялась и стояла в проходе — крепкая, ладная, здоровая русановская порода. Павел Николаевич с удовольствием послушал и всю её лекцию, прочтённую Дёмке.

Уже поцеловав отца, Алла ещё теперь бодро подняла расставленную пятерню:

— Ну, отец, борись за здоровье! Борись, лечись, сбрасывай опухоль — и ни о чём не беспокойся! Всё-всё-всё будет отлично!

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

3 марта 1955

Дорогие Елена Александровна и Николай Иванович!

Вот вам загадочная картинка, что́ это и где? На окнах — решётки (правда, только на первом этаже, от воров, и фигурные — как лучи из одного угла, да и намордников нет). В комнатах — койки с постельными принадлежностями. На каждой койке — перепуганный человек. С утра — пайка, сахар, чай (нарушение в том, что ещё и завтрак). Утром — угрюмое молчание, никто ни с кем разговаривать не хочет, зато вечерами — гул и оживлённое общее обсуждение. Споры об открытии и закрытии форточек, и кому ждать лучшего, и кому худшего, и сколько кирпичей в самаркандской мечети. Днём «дёргают» поодиночке — на беседы с должностными лицами, на процедуры, на свидания с родственниками. Шахматы, книги. Приносят и передачи, получившие — гужуются с ними. Выписывают кой-кому и дополнительное, правда — не стукачам (уверенно говорю, потому что сам получаю). Иногда производят шмоны, отнимают личные вещи, приходится утаивать их и бороться за право прогулки. Баня — крупнейшее событие и одновременно бедствие: будет ли тепло? хватит ли воды? какое бельё получишь? Нет смешней, когда приводят новичка и он начинает задавать наивные вопросы, ещё не представляя, что́ его ждёт...

Ну, догадались?.. Вы, конечно, укажете, что я заврался: для пересыльной тюрьмы — откуда постельные принадлежности? а для следственной — где же ночные допросы? Предполагая, что это письмо будут проверять на уш-терекской почте, уж я не вхожу в иные аналогии.

Вот такого житья-бытья в раковом корпусе я отбыл уже пять недель. Минутами кажется, что опять вернулся в прежнюю жизнь и нет ей конца. Самое томительное то, что сижу — без срока, до *особого распоряжения*. (А от комендатуры разрешение только ведь на три недели, формально я уже просрочил, и могли бы меня судить, как за побег.) Ничего не говорят, когда выпишут, ничего не

обещают. Они по лечебной инструкции должны, очевидно, выжать из больного всё, что выжимается, и отпустят, только когда кровь уже будет совсем «не держать».

И вот результаты: то лучшее, как вы его в прошлом письме назвали — «эйфорическое», состояние, которое было у меня после двух недель лечения, когда я просто радостно возвращался к жизни, — всё ушло, ни следа. Очень жалею, что не настоял тогда выписаться. Всё полезное в моём лечении кончилось, началось одно вредное.

Глушат меня рентгеном по два сеанса в день, каждый двадцать минут, триста «эр», — и хотя я давно забыл боли, с которыми уезжал из Уш-Терека, но узнал рентгеновскую тошноту (а может быть и от уколов, тут всё складывается). Вот разберёт грудь — и часами! Курить, конечно, бросил — само бросилось. И такое противное состояние — не могу гулять, не могу сидеть, одно только хорошее положение выискал (в нём и пишу вам сейчас, оттого карандашом и не очень ровно): без подушки, навзничь, ноги чуть приподнять, а голову даже чуть свесить с койки. Когда зовут на сеанс, то, входя в аппаратную, где «рентгеновский» запах густой, просто боишься извергнуться. Ещё от этой тошноты помогают солёные огурцы и квашеная капуста, но ни в больнице, ни в медгородке их, конечно, не достать, а из ворот больных не выпускают. Пусть, мол, вам родные принесят. Родные!.. Наши родные в красноярской тайге на четвереньках бегают, известно! Что остаётся бедному арестанту? Надеваю сапоги, перепоясываю халат армейским ремнём и крадусь к такому месту, где стена медгородка полуразрушена. Там перебираюсь, перехожу железную дорогу — и через пять минут на базаре. Ни на прибазарных улочках, ни на самом базаре мой вид ни у кого не вызывает удивления или смеха. Я усматриваю в этом духовное здоровье нашего народа, который ко всему привык. По базару хожу и хмуро торгуюсь, как только эски, наверно, умеют (на жирную бело-жёлтую курицу прогундосить: «и сколько ж, тётка, за этого туберкулёзного цыплёнка просишь?»). Какие у меня рублики? а достались как?.. Говорил мой дед: копейка рубль бережёт, а рубль — голову. Умный был у меня дед.

Только огурцами и спасаюсь, ничего есть не хочется. Голова тяжёлая, один раз кружилась здорово. Ну, правда, и опухоли половины не стало, края мягкие, сам её прощупываю с трудом. А кровь тем временем разрушается, поят меня специальными лекарствами, которые должны повысить лейкоциты (а что-то ж и испортить!), и хотят «для

провокации лейкоцитоза» (так у них и называется, во язычок!) делать мне... молочные уколы! Ну чистое же варварство! Да вы поднесите мне кружечку парного так! Ни за что не дамся колоть.

А ещё грозятся кровь переливать. Тоже отбиваюсь. Что меня спасает — группа крови у меня первая, редко привозят.

Вообще, с заведующей лучевым отделением у меня отношения натянутые, что ни встреча — то спор. Крутая очень женщина. Последний раз стала щупать мне грудь и уверять, что «нет реакции на синэстрол», что я избегаю уколов, обманываю её. Я натурально возмутился (а на самом деле, конечно, обманываю).

А вот с лечащим врачом мне труднее твёрдость проявить — и почему? Потому что она мягкая очень. (Вы, Николай Иванович, начали мне как-то объяснять, откуда это выражение — «мягкое слово кость ломит». Напомните, пожалуйста!) Она не только никогда не прикрикнет, но и бровей-то схмурить как следует не умеет. Что-нибудь против моей воли назначает — и потупляется. И я почему-то уступаю. Да некоторые детали нам с ней и трудно обсуждать: она ещё молодая, моложе меня, как-то неловко спросить до конца. Кстати, и милостивая очень.

Да и школярство в ней сидит, она тоже непрошибаемо верит в их установленные методы лечения, и я не могу заставить её усомниться. Вообще, никто не снисходит до обсуждения этих методов со мной, никто не хочет взять меня в разумные союзники. Мне приходится вслушиваться в разговоры врачей, догадываться, дополнять несказанное, добывать медицинские книги — и вот так выяснять для себя обстановку.

И всё равно трудно решить: как же мне быть? как поступить правильно? Вот щупают часто над ключицами, а насколько это вероятно, что там обнаружатся метастазы? Для чего они простреливают меня этими тысячами и тысячами рентгеновских единиц? — действительно ли, чтоб опухоль не начала снова расти? или на всякий случай, с пятикратным и десятикратным запасом прочности, как строятся мосты? или только в исполнение безчувственной инструкции, отойти от которой они не могут, иначе лишатся работы? Но я-то мог бы и отойти! Я-то мог бы и разорвать этот круг, только скажите мне истину!.. — не говорят.

Да я б разругался с ними и уехал давно — но тогда я теряю справочку от них — Богиню Справку! — а она ой-ой-ой как нужна ссыльному! Может быть, завтра комендант или опер захотят заслать меня ещё на триста километров в пустыню дальше —

а справочкой-то я и зацеплюсь: нуждается в постоянном наблюдении, лечении, — извините, пожалуйста, гражданин начальник! Как старому арестанту отказываться от медицинской справки? — неммыслимо!

И значит — опять хитрить, прикидываться, обманывать, тянуть — и надоело же за целую жизнь!.. (Кстати, от слишком большой хитрости устаём мы и ошибаемся. Сам же я всё и накликал письмом омской лаборантки, которое просил вас прислать. Отдал — схватили его, подшили в историю болезни, и с опозданием я понял, что на этом меня обманули: теперь они с уверенностью дают гормонотерапию, а то бы, может, сомневались.) Справочку, справочку получить — и оторваться отсюда по-хорошему, не сорясь.

А вернусь в Уш-Терек и, чтоб опухоль никуда метастазов не кинула, — прибью её ещё иссык-кульским корешком. Что-то есть благородное в лечении сильным ядом: яд не притворяется невинным лекарством, он так и говорит: я — яд! берегись! или — или! И мы знаем, на что идём.

Ведь не прошу же я долгой жизни! — и что загадывать вдаль?.. То я жил всё время под конвоем, то я жил всё время под болями, — теперь я хочу немножечко прожить и без конвоя, и без болей, одновременно без того и без другого, — и вот предел моих мечтаний. Не прошу ни Ленинграда, ни Рио-де-Жанейро, хочу в нашу заглушь, в наш скромный Уш-Терек. Скоро лето, хочу это лето спать под звёздами на топчане, так, чтоб ночью проснуться — и по развороту Лебеда и Пегаса знать, который час. Только вот это одно лето пожить так, чтобы видеть звёзды, чтоб не засвечивали их зонные фонари, — а после мог бы я и совсем не просыпаться. Да, и ещё хочу, Николай Иваныч, с вами (и с Жуком, разумеется, и с Тобиком), когда будет спадать жара, ходить степною тропочкой на Чу и там, где глубже, где вода выше колена, садиться на песчаное дно, ноги по течению, и долго-долго так сидеть, неподвижностью соревноваться с цапляй на том берегу.

Наша Чу не дотягивает ни до какого моря, ни озера, ни до какой большой воды. Река, кончающая жизнь в песках! Река, никуда не впадающая, все лучшие воды и лучшие силы раздарившая так, по пути и случайно, — друзья! разве это не образ наших арестантских жизней, которым ничего не дано сделать, суждено безславно заглохнуть, — и всё лучшее наше — это один плёс, где мы ещё не высохли, и вся память о нас — в двух ладоньках водица, то, что протягивали мы друг другу встречей, беседой, помощью.

Река, впадающая в пески!.. Но и этого последнего плёса врачи хотят меня лишить. По какому-то праву (им не приходит в голову спросить себя о праве) они без меня и за меня решаются на страшное лечение — такое, как гормонотерапия. Это же — кусок раскалённого железа, которое подносят однажды — и делают калеккой на всю жизнь. И так это буднично выглядит в будничном бытe клиники!

Я и раньше давно задумывался, а сейчас особенно, над тем: какова всё-таки верхняя цена жизни? Сколько можно за неё платить, а сколько нельзя? Как в школах сейчас учат: «Самое дорогое у человека — это жизнь, она даётся один раз». И значит — любой ценой цепляйся за жизнь... Многим из нас лагерь помог установить, что предательство, что губление хороших и беспомощных людей — цена слишком высокая, того наша жизнь не стоит. Ну, об угодничестве, лести, лжи — лагерные голоса разделялись, говорили, что цена эта — сносная, да может так и есть.

Ну а вот такая цена: за сохранение жизни заплатить всем тем, что придаёт ей же краски, запахи и волнение? Получить жизнь с пищеварением, дыханием, мускульной и мозговой деятельностью — и всё. Стать ходячей схемой. Такая цена — не слишком ли заломлена? Не насмешка ли она? Платить ли? После семи лет армии и семи лет лагеря — дважды семи лет, дважды сказочного или дважды библейского срока — и лишиться способности визнавать, где мужчина, где женщина, — эта цена не лихо ли запрошена?

Вашим последним письмом (дошло быстро, за пять дней) вы меня взбудоражили: что? у нас в районе — и геодезическая экспедиция? Это что б за радость была — статья у теодолита! хоть годик поработать как человек! Да возьмут ли меня? Ведь обязательно пересекать комендантские границы, и вообще это всё — трижды секретно, без этого не бывает, а я — человек запачканный.

«Мост Ватерлоо» и «Рим — открытый город», которые вы хвалите, мне теперь уже не повидать: в Уш-Тереке второй раз не покажут, а здесь, чтобы пойти в кино, надо после выписки из больницы где-то ночевать, а где же? Да ещё и не ползком ли я буду выписываться?

Вы предлагаете подбросить мне деньжишек. Спасибо. Сперва хотел отказаться: всю жизнь избегал (и избегаю) быть в долгах. Но вспомнил, что смерть моя будет не совсем безнаследная: бараний уштерекский полушубок — это ж всё-таки вещь! А двухметровое чёрное

сукно в службе одеяла? А перьяная подушка, подарок Мельничуков? А три ящика, сбитых в кровать? А две кастрюли? Кружка лагерная? Ложка? Да ведро же? Остаток саксаула! Топор! Наконец, керосиновая лампа! Я просто был опрометчив, что не написал завещания.

Итак, буду вам благодарен, если пришлёте мне полторы сотни (не больше!). Ваш заказ — поискать марганцовки, соды и корицы — принял. Думайте и пишите: что ещё? Может быть, всё-таки облегчённый уют? Я припру, вы не стесняйтесь.

По вашей, Николай Иванович, метеосводке вижу, что у вас ещё холодновато, снег не сошёл. А здесь такая весна, что даже неприятно и непонятно.

Кстати, о метео. Увидите Инну Штрём — передайте ей от меня очень большой привет. Скажите, что я о ней часто здесь...

А может быть — и не надо...

Нюют какие-то неясные чувства, сам я не знаю: чего хочу? Чего право имею хотеть?

Но когда вспоминаю утешительницу нашу, великую поговорку: «было ж хуже!» — приободряюсь сразу. Кому-кому, но не нам голову ронять! Так ещё побарахтаемся!

Елена Александровна замечает, что за два вечера написала десять писем. И я подумал: кто теперь так помнит дальних и отдаёт им вечер за вечером? Оттого и приятно писать вам долгие письма, что знаешь, как вы прочтёте их вслух, и ещё перечтёте, и ещё по фразам переберёте и ответите на всё.

Так будьте всё так же благополучны и светлы, друзья мои!

Ваш Олег

23

Пятого марта на дворе выдался день мутный, с холодным мелким дождиком, а в палате — пёстрый, сменный: спускался в хирургическое Дёмка, накануне подписавший согласие на операцию, и подкинули двоих новичков.

Первый новичок как раз и занял Дёмкину койку — в углу, у двери. Это был высокий человек, но очень сутулый, с непрямою спиной, с лицом, изношенным до старости. Глаза его были до того отёчные, нижние веки до того опущены, что овал, как у всех людей,

превратился у него в круг — и на этом круге белок выказывал нездоровую краснину, а светло-табачное радужное кольцо выглядело тоже крупней обычного из-за оттянутых нижних век. Этими большими круглыми глазами старик будто разглядывал всех с неприятным постоянным вниманием.

Дёмка последнюю неделю был уже не свой: ломило и дёргало его ногу неутешно, он не мог уже спать, не мог ничем заниматься и еле крепился, чтобы не вскрикивать, соседям не досаждать. И так его доняло, что нога уже перестала ему казаться драгоценной для жизни, а проклятой обузой, от которой избавиться бы полегче да поскорей. И операция, месяц назад представлявшаяся ему концом жизни, теперь выглядела спасением.

Но хотя со всеми в палате пересовещивался Дёмка, прежде чем поставить подпись согласия, он ещё и сегодня, скрутив узелок и прощаясь, наводил так, чтоб его успокаивали и убеждали. И Вадиму пришлось повторить уже говоренное: что счастлив Дёмка, что может так отделаться легко; что он, Вадим, с удовольствием бы с ним поменялся.

А Дёмка ещё находил возражения:

— Кость-то — пилой пилят. Просто пилят, как бревно. Говорят, под любым наркозом слышно.

Но Вадим не умел и не любил долго утешать:

— Ну что ж, не ты первый. Выносят другие — и ты вынесешь.

В этом, как во всём, он был справедлив и ровен: он и себе утешения не просил и не потерпел бы. Во всяком утешении уже было что-то мягкое, религиозное.

Был Вадим такой же собранный, гордый и вежливый, как и в первые дни здесь, только горную смуглость его стало сгонять желтизной, да чаще вздрагивали губы от боли и подёргивало лоб от нетерпения, от недоумения. Пока он только говорил, что обречён жить восемь месяцев, а ещё ездил верхом, летал в Москву, встречался с Черегородцевым, — он на самом деле ещё уверен был, что выскочит. Но вот уже месяц он лежал здесь — один месяц из тех восьми, и уже, может быть, не первый, а третий или четвёртый из восьми. И с каждым днём становилось больней ходить — уже трудно было мечтать сесть на коня и ехать в поле. Болело уже и в паху. Три книги из привезенных шести он прочёл, но меньше стало уверенности, что найти руды по водам — это одно-единственное нужное, и оттого не так уже пристально он читал, не столько ставил вопросительных и восклицательных знаков. Всегда считал Вадим

лучшей характеристикой жизни, если не хватает дня, так занят. Но вот что-то стало ему дня хватать и даже оставаться, а не хватало — жизни. Обвисла его струнная способность к занятиям. По утрам уже не так часто он просыпался, чтоб заниматься в тишине, а иногда и просто лежал, укрывшись с головой, и наплывало на него, что, может быть, поддаться да и кончить — легче, чем бороться. Нелепо и жутко становилось ему от здешнего ничтожного окружения, от дурацких разговоров, и, разрывая лощёную выдержку, ему хотелось по-звериному взвыть на капкан: «Ну, довольно шутить, отпусти ногу-то!»

Мать Вадима в четырёх высоких приёмных не добила коллоидного золота. Она привезла из России чагу, договорилась тут с санитаркой, чтоб та носила ему банки настоя через день, сама же опять улетела в Москву: в новые приёмные, всё за тем же золотом. Она не могла примириться, что радиоактивное золото где-то есть, а у сына метастазы будут просачиваться через пах.

Подошёл Дёмка и к Костоглову сказать последнее слово или услышать последнее. Костоглов лежал наискось на своей кровати, ноги подняв на перильца, а голову свесив с матраса в проход. Так, перевёрнутый для Дёмки и сам его видя перевёрнутым, он протянул руку и тихо напутствовал (ему трудно стало говорить громко, отдавалось что-то под лёгкими):

— Не дрейфь, Дёмка. Лев Леонидович приехал, я видел. Он быстро отхватит.

— Ну? — прояснил Дёмка. — Ты сам видел?

— Сам.

— Вот хорошо бы!.. Вот хорошо, что я дотянул!

Да, стоило появиться в коридорах клиники этому верзиле-хирургу со слишком длинными свисающими руками, как больные окрепли духом, будто поняв, что вот именно этого долговязого тут и не хватало целый месяц. Если бы хирургов сперва пропускали перед больными для показа, а потом давали выбирать, — то многие записывались бы, наверно, ко Льву Леонидовичу. А ходил он по клинике всегда со скучающим видом, но и вид-то его скучающий истолковывался так, что сегодня — неоперационный день.

Хотя ничем не была плоха для Дёмки Евгения Устиновна, хотя прекрасный была хирург хрупенькая Евгения Устиновна, но совсем же другое настроение было лечь под эти волосатые обезьяньи руки. Уж чем бы ни кончилось, спасёт не спасёт, но и своего промаха не сделает, — в этом была почему-то у Дёмки уверенность.

На короткое время сродняется больной с хирургом, но сродняется ближе, чем с отцом родным.

— А что, хороший хирург? — глухо спросил от бывшей дёмкиной кровати новичок с отёчными глазами. У него был застигнутый, растерянный вид. Он зяб, и даже в комнате на нём был сверх пижамки бумазейный халат, распахнутый, неопоясанный, — и озирался старик, будто он был взбужен ночным стуком в одиноком доме, сошёл с кровати и не знал — откуда беда.

— М-м-м-м! — промычал Дёмка, всё больше проясняясь, всё больше довольный, как будто пол-операции с него свалилось. — Во парень! С присыпкой! А вам — тоже операция? А что у вас?

— Тоже, — только и ответил новичок, будто не слышал всего вопроса. Лицо его не усвоило дёмкиного облегчения, никак не изменились его большие круглые уставленные глаза — то ли слишком пристальные, то ли совсем ничего не видящие.

Дёмка ушёл, новичку постелили, он сел на койку, прислонился к стене — и опять молча уставился укрупнёнными глазами. Он глазами не водил, а уставлялся на кого-нибудь одного в палате и так долго смотрел. Потом всю голову поворачивал — на другого смотрел. А может и мимо. Он не шевелился на звуки и движения в палате. Не говорил, не отвечал, не спрашивал. Час прошёл — всего-то и вырвали из него, что он из Ферганы. Да от сестры услышали, что его фамилия — Шулубин.

Он — филин был, вот кто он был, Русанов сразу признал: эти кругло-уставленные глаза с неподвижностью. И без того была палата невесёлая, а уж этот филин совсем тут некстати. Угрюмо уставился он на Русанова и смотрел так долго, что стало просто неприятно. На всех он так уставлялся, будто все они тут были в чём-то виноваты перед ним. И уже не могла их палатная жизнь идти прежним непринуждённым ходом.

Павлу Николаевичу был вчера двенадцатый укол. Уж он втянулся в эти уколы, переносил их без бреда, но развились у него частые головные боли и слабость. Главное выяснилось, что смерть ему не грозит, конечно, — это была семейная паника. Вот уже не стало половины опухоли, а то, что ещё сидело на шее, помягчело, и хотя мешало, но уже не так, голове возвращалась свобода движения. Оставалась одна только слабость. Слабость можно перенести, в этом даже есть приятное: лежать и лежать, читать «Огонёк» и «Крокодил», пить укрепляющее, выбирать вкусное, что хотелось бы съесть, говорить бы с приятными людьми, слушать бы радио —

но это уже дома. Оставалась бы одна только слабость, если бы Донцова жёстким упором пальцев не щупала б ему больно ещё под мышками всякий раз, не надавливая бы, как палкой. Она искала чего-то, а месяц тут полежав, можно было догадаться, чего ищет: второй новой опухоли. И в кабинет его вызывала, клала и щупала пах, так же остро, больно надавливая.

— А что, может переброситься? — с тревогой спрашивал Павел Николаевич. Затмевалась вся его радость от спада опухоли.

— Для того и лечимся, чтоб — нет! — встряхивала головой Донцова. — Но ещё много уколов надо перенести.

— Ещё столько? — ужасался Русанов.

— Там видно будет.

(Врачи никогда точно не говорят.)

Он уже был так слаб от двенадцати, уже качали головами над его анализами крови — а надо было выдержать ещё столько же? Не мытьём, так катаньем болезнь брала своё. Опухоль спадала, а настоящей радости не было. Павел Николаевич вяло проводил дни, больше лежал. К счастью, присмирел и Оглоед, перестал орать и огрызаться, теперь-то видно было, что он не притворяется, укурила болезнь и его. Всё чаще он свешивал голову вниз и так подолгу лежал, сожмурив глаза. А Павел Николаевич принимал порошки от головной боли, смачивал лоб тряпкой и глаза прикрывал от света. И так они лежали рядом, вполне мирно, не перебраниваясь, — по много часов.

За это время повесили над широкой лестничной площадкой (откуда унесли в морг того маленького, что всё сосал кислородные подушки) лозунг, — как полагается, белыми буквами по длинному кумачовому полотну:

БОЛЬНЫЕ! НЕ РАЗГОВАРИВАЙТЕ ДРУГ С ДРУГОМ

О ВАШИХ БОЛЕЗНЯХ!

Конечно, на таком кумаче и на таком видном месте приличней было бы вывесить лозунг из числа октябрьских или первомайских, — но для их здешней жизни был очень важный и этот призыв, и уже несколько раз Павел Николаевич, ссылаясь на него, останавливал больных, чтоб не травмили душу.

(А вообще-то, рассуждая по-государственному, правильной было бы опухолевых больных в одном месте не собирать, раскидывать их по обычным больницам, и они друг друга бы не пугали,

и им можно было бы правды не говорить, и это было бы гораздо гуманнее.)

В палате люди менялись, но никогда не приходили весёлые, а всё пришибленные, заморенные. Один Ахмаджан, уже покинувший костылёк и скорый к выписке, скалил белые зубы, но развеселить, кроме себя, никого не умел, а только, может быть, вызывал зависть.

И вдруг сегодня, часа через два после угрюмого новичка, среди серенького унылого дня, когда все лежали по кроватям и стёкла, замытые дождём, так мало пропускали света, что ещё прежде обеда хотелось зажечь электричество, да чтоб скорей вечер наступал, что ли, — в палату, опережая сестру, быстрым здоровым шагом вошёл невысокий, очень живой человек. Он даже не вошёл, он ворвался — так поспешно, будто здесь были выстроены в шеренгу для встречи, и ждали его, и утомились. И остановился, удивясь, что все вяло лежат на койках. Даже свистнул. И с энергичной укоризной бодро заговорил:

— Э-э, братья, что это вы подмокли все? Что это вы ножки съежили? — Но хотя они и не были готовы ко встрече, он их приветствовал полувоенным жестом, вроде салюта: — Чалый, Максим Петрович! Прошу любить! Воль-на!

Не было на его лице ракового истомления, играла жизнелюбивая уверенная улыбка — и некоторые улыбнулись ему навстречу, в том числе и Павел Николаевич. За месяц среди всех нытиков это, кажется, первый был человек!

— Та-ак, — никого не спрашивая, быстрыми глазами высмотрел он свою койку и вбивчиво протопал к ней. Это была койка рядом с Павлом Николаевичем, бывшая Мурсалимова, и новичок зашёл в проход со стороны Павла Николаевича. Он сел на койку, покачался, поскрипел. Определил: — Амортизация — шестьдесят процентов. Главврач мышей не ловит.

И стал разгружаться, а разгружать ему оказалось нечего: в руках ничего, в одном кармане бритва, а в другом пачка, но не папирос — а игральных, почти ещё новых карт. Он вытянул колоду, протрещал по ней пальцами и, смыслёнными глазами глядя на Павла Николаевича, спросил:

— Швыряетесь?

— Да иногда, — благожелательно признался Павел Николаевич.

— Преферанс?

— Мало. Больше в подкидного.

— Это не игра, — строго сказал Чалый. — А — штос? Винт? Покер?

— Куда там! — смущённо отмахнулся Русанов. — Учиться было некогда.

— Здесь и научим, а где ж ещё? — вскинулся Чалый. — Как говорится: не умеешь — научим, не хочешь — заставим!

И смеялся. По его лицу у него был нос велик — мягкий, большой нос, поджуманный. Но именно благодаря этому носу лицо его выглядело простодушным, располагающим.

— Лучше покера игры нет! — авторитетно заверил он. — И ставки — втёмную.

И, уже не сомневаясь в Павле Николаевиче, оглядывался ещё за партнёрами. Но никто рядом не внушал ему надежды.

— Я! Я буду учился! — кричал из-за спины Ахмаджан.

— Хорошо, — одобрил Чалый. — Ищи вот, что б нам тут между кроватями перекинуть.

Он обернулся дальше, увидел замерший взгляд Шулубина, увидел ещё одного узбека в розовой чалме с усами свисающими, тонкими, как выделанными из серебряной нити, — а тут вошла Нэля с ведром и тряпкой для неурочного мытья полов.

— О-о-о! — оценил сразу Чалый. — Какая девка посадочная! Слушай, где ты раньше была? Мы б с тобой на качелях покатались.

Нэля выпятила толстые губы, это она так улыбалась:

— А чо ж, и счас не поздно. Да ты хворый, куда те?

— Живот на живот — всё заживёт, — рапортовал Чалый. — Или ты меня робеешь?

— Да сколько там в тебе мужика! — примерялась Нэля.

— Для тебя — насквозь, не бось! — резал Чалый. — Ну скорей, скорей, становись пол мыть, охота фасад посмотреть!

— Гляди, это у нас даром, — благодушествовала Нэля и, шлёпнув мокрую тряпку под первую койку, нагнулась мыть.

Может быть, вовсе не был болен этот человек? Наружной болячки у него не было видно, не выражало лицо и внутренней боли. Или это он приказом воли так держался, показывал тот пример, которого не было в палате, но который только и должен быть в наше время у нашего человека? Павел Николаевич с завистью смотрел на Чалого.

— А — что у вас? — спросил он тихо, между ними двумя.

— У меня? — тряхнулся Чалый. — Полипы!

Что такое полипы — никто среди больных точно не знал, но у одного, у другого, у третьего частенько встречались эти полипы.

— И что ж — не болит?

— А вот только заболело — я и пришёл. Резать? — пожалуйста, чего ж тянуть?

— И где у вас? — всё с большим уважением приспрашивался Русанов.

— На желудке, что ли! — беззаботно говорил Чалый, и ещё улыбался. — В общем, желудочек оттяпают. Вырежут три четверти.

Ребром ладони он резанул себя по животу и прищурился.

— И как же? — удивился Русанов.

— Ничего-о, приспособо-облюсь! Лишь бы водка всачивалась!

— Но вы так замечательно держитесь!

— Милый сосед, — покивал Чалый своей доброй головой с премодушными глазами и поддрумяненным большим носом. — Чтоб не загнуться — не надо расстраиваться. Кто меньше толкует — тот меньше тоскует. И тебе советую!

Ахмаджан как раз подносил фанерную дощечку. Приладили её между кроватями Русанова и Чалого, уставилась хорошо.

— Немножко покультурно, — радовался Ахмаджан.

— Свет зажечь! — скомандовал Чалый.

Зажгли и свет. Ещё стало веселей.

— А четвёртого не найдём? И без него можно.

Четвёртый что-то не находился.

— Ничего, вы пока нам так объясните. — Русанов очень подбодрился. Вот он сидел, спустив ноги на пол, как здоровый. При поворотах головы боль в шее была куда слабее прежней. Фанерка не фанерка, а был перед ним как бы маленький игровой стол, освещённый ярким весёлым светом с потолка. Резкие точные весёлые знаки красных и чёрных мастей выделялись на белой полированной поверхности карт. Может быть, и правда, вот так, как Чалый, надо относиться к болезни — она и сползёт с тебя? Для чего киснуть? Для чего всё время носиться с мрачными мыслями?

— Что ещё будем подождать? — упрашивал и Ахмаджан.

— Та-ак, — с быстротой киноленты перепускал Чалый всю колоду через свои уверенные пальцы: ненужные в сторону, нужные к себе. — Участвуют карты: с девятки до туза. Старшинство мастей: трефы, потом бубны, потом червы, потом пики. — И показывал масти Ахмаджану. — Понял?

— Есть понял! — с большим удовольствием отзывался Ахмаджан.

То выгибая и потрескивая отобранной колодой, то слегка тасуя её, объяснял Максим Петрович дальше:

— Сдаётся на руки по пять карт, остальные в кону. Теперь надо понять старшинство комбинаций. Комбинации так идут. Пара. — Он показывал. — Две пары. Стрит — это пять штук подряд. Вот. Или вот. Дальше — тройка. Фуль...

— Кто — Чалый? — спросили в дверях.

— Я Чалый!

— На выход, жена пришла!

— А с кошёлкой, вы не видели?.. Ладно, братья, перерыв.

И бодро, беззаботно пошёл к выходу.

Тихо стало в палате. Горели лампы, как вечером. Ахмаджан ушёл к себе. Быстро расшлёпывая по полу воду, подвигалась Нэля, и надо было всем поднять ноги на койки.

Павел Николаевич тоже лёг. Он просто чувствовал на себе из угла взгляд этого филина — упорное и укоризненное давление на голову сбоку. И чтоб облегчить давление, спросил:

— А у вас, товарищ, — что?

Но угрюмый старик даже вежливого движения не сделал на встречу вопросу, будто не его спрашивали. Круглыми табачно-красными глазами смотрел как мимо головы. Павел Николаевич не дождался ответа и стал перебирать в руках лаковые карты. И тогда услышал глухое:

— То самое.

Что «то самое»? Невежа!.. Павел Николаевич теперь сам на него не посмотрел, а лёг на спину и стал просто так лежать-думать.

Отвлёкся он приходом Чалого и картами, а ведь ждал газеты. Сегодня день был — слишком памятный. Очень важный, показательный день, и по газете предстояло многое угадать на будущее. А будущее страны — это и есть твоё будущее. Будет ли газета в траурной рамке вся? Или только первая страница? Будет портрет на целую полосу или на четверть? И в каких выражениях заголовки и передовица? После февральских снятий всё это особенно значит. На работе Павел Николаевич мог бы от кого-то почерпнуть, а здесь только и есть — газета.

Между кроватями толклась и ёрзала, ни в одном проходе не помещаясь, Нэля. Но мытьё у неё быстро получалось, вот уж она кончала и раскатывала дорожку.

И по дорожке, возвращаясь с рентгена и осторожно перенося больную ногу, подёргиваясь от боли, вошёл Вадим.

Он нёс и газету.

Павел Николаевич поманил его:

— Вадим! Зайдите сюда, присядьте.

Вадим задержался, подумал, свернул к Русанову в проход и сел, придерживая брючину, чтоб не тёрла.

Уже заметно было, что Вадим раскрывал газету, она была сложена не как свежая. Ещё только принимая её в руки, Павел Николаевич мог сразу видеть, что ни каймы нет вокруг страницы, ни — портрета на первой полосе. Но, посмотрев ближе, торопливо шелестя страницами, он и дальше! он и дальше нигде не находил ни портрета, ни каймы, ни шапки, — да вообще, кажется, никакой статьи?!

— Нет? Ничего нет? — спросил он Вадима, пугаясь и упуская назвать, чего именно нет.

Он почти не знал Вадима. Хотя тот и был членом партии, но ещё слишком молодым. И не руководящим работником, а узким специалистом. Что у него могло быть натолкано в голове — это было невозможно представить. Но один раз он очень обнадёжил Павла Николаевича: говорили в палате о сосланных нациях, и Вадим, подняв голову от своей геологии, посмотрел на Русанова, пожал плечами и тихо сказал ему одному: «Значит, что-то было. У нас даром не сошлют».

Вот в этой правильной фразе Вадим проявил себя как умный и непоколебимый человек.

И кажется, не ошибся Павел Николаевич! Сейчас не пришлось Вадиму объяснять, о чём речь, он уже сам искал тут. И показал Русанову на подвал, который тот пропустил в волнении.

Обыкновенный подвал. Ничем не выделенный. Никакого портрета. Просто — статья академика. И статья-то — не о второй годовщине! не о скорби всего народа! не о том, что «жив и вечно будет жить»! А — «Сталин и вопросы коммунистического строительства».

Только и всего? Только — «и вопросы»? Только — эти вопросы? Строительства? Почему — строительства? Так можно и о лесозащитных полосах написать! А где — военные победы? А где — философский гений? А где — Корифей Наук? А где — всенародная любовь?

Сквозь очки, со сжатым лбом и страдая, Павел Николаевич посмотрел на тёмное лицо Вадима.

— Как это может быть, а?.. — Через плечо он осторожно обернулся на Костоглотова. Тот, видно, спал: глаза закрыты, всё так же свешена голова. — Два месяца назад, ведь два, да? вы вспомните, —

семидесятипятилетие! Всё как по-прежнему: огромный портрет! огромный заголовок — «Великий Продолжатель». Да?.. А?..

Даже не опасность, нет, не та опасность, что отсюда росла для оставшихся жить, но — *неблагодарность!* неблагодарность — вот что больше всего сейчас уязвило Русанова — как будто на его собственные личные заслуги, на его собственную безупречность наплевали и растолкли. Если Слава, гремящая в Веках, куцо обгрызлась уже на второй год; если Самого Любимого, Самого Мудрого, того, кому подчинялись все твои прямые руководители и руководители руководителей, — свернули и замяли в двадцать четыре месяца — так что же остаётся? где же опора? И как же тут выздороавливать?

— Видите, — очень тихо сказал Вадим, — формально было недавно постановление, что годовщин смерти не отмечать, только годовщины рождения. Но, конечно, судя по статье...

Он невесело покачал головой.

Он тоже испытывал как бы обиду. Прежде всего — за покойного отца. Он помнил, как отец любил Сталина! — уж, конечно, больше, чем самого себя (для себя отец вообще никогда ничего не добивался). И больше, чем Ленина. И, наверно, больше, чем жену и сыновей. О семье он мог говорить и спокойно, и шутливо, о Сталине же — никогда, голос его задрагивал. Один портрет Сталина висел у него в кабинете, один — в столовой и ещё один — в детской. Сколько росли, всегда видели мальчишки над собой эти густые брови, эти густые усы, устойчивое это лицо, кажется недоступное ни для страха, ни для легкомысленной радости, все чувства которого были сжаты в переблеске бархатных чёрных глаз. И ещё, каждую речь Сталина сперва прочтя всю для себя, отец потом местами вычитывал и мальчикам и объяснял, какая здесь глубокая мысль, и как тонко сказано, и каким прекрасным русским языком. Уже потом, когда отца не было в живых, а Вадим вырос, он стал находить, пожалуй, что язык тех речей был пресен, а мысли отнюдь не сжаты, но гораздо короче могли бы быть изложены, и на тот объём их могло бы быть больше. Он находил так, но вслух не стал бы этого говорить. Он находил так, но цельней чувствовал себя, когда исповедовал восхищение, взращённое в нём с детства.

Ещё совсем был свеж в памяти — день Смерти. Плакали старые, и молодые, и дети. Девушки надрывались от слёз, и юноши вытирали глаза. От повальных этих слёз казалось, что не один

человек умер, а трещину дало всё мироздание. Так казалось, что если человечество и переживёт этот день, то уже недолго.

И вот на вторую годовщину — даже типографской чёрной краской не потратили на траурную кайму. Не нашли простых тёплых слов: «два года назад скончался...» Тот, с чьим именем, как последним земным словом, спотыкались и падали солдаты великой войны.

Да не только потому, что Вадима так воспитали, он мог и отвыкнуть, но все соображения разума требовали, что Великого Покойника надо чтить. Он был — ясность, он излучал уверенность, что завтрашний день не сойдёт с колеи предыдущего. Он возвысил науку, возвысил учёных, освободил их от мелких мыслей о зарплате, о квартире. И сама наука требовала его устойчивости, его постоянства: что никакие сотрясения не случатся и завтра, не заставят учёных рассеяться, отвлечься от их высшего по полезности и интересу занятия — для дряг по устройству общества, для воспитания недоразвитых, для убеждения глупцов.

Невесело унёс Вадим свою больную ногу на койку.

А тут вернулся Чалый, очень довольный, с полной сумкой продуктов. Перекладывая их в свою тумбочку, по другую сторону, не в русановском проходе, он скромно улыбался:

— Последние денёчки и покушать! А потом с одними кишками неизвестно как пойдёт!

Русанов налюбоваться не мог на Чалого: вот оптимист! вот молодец!

— Помидорчики маринованные... — продолжал выкладывать Чалый. Прямо пальцами вытащил один из банки, проглотил, прижмурился: — Ах, хороши!.. Телятина. Сочно зажарена, не пересушена. — Он потрогал и лизнул. — Золотые женские руки!

И молча, прикрыв собою от комнаты, но видно для Русанова, поставил в тумбочку пол-литра. И подмигнул Русанову.

— Так вы, значит, здешний, — сказал Павел Николаевич.

— Не-ет, не здешний. Бываю наездами, в командировках.

— А жена, значит, здесь?

Но Чалый уже не слышал, унёс пустую сумку.

Вернувшись, открыл тумбочку, прищурился, примерился, ещё один помидор проглотил, закрыл. Головой потряс от удовольствия.

— Ну, так на чём мы остановились? Продолжим.

Ахмаджан за это время нашёл четвёртого, молодого казаха с лестницы, и пока на своей кровати разгорячённо рассказывал

ему по-русски, дополняя руками, как наши, русские, били турок (он вчера вечером ходил в другой корпус и там смотрел кино «Взятие Плевны»). Теперь они оба подтянулись сюда, опять устали дощечку между кроватями, и Чалый, ещё повеселевший, быстрыми ловкими руками перекидывал карты, показывая им образцы:

— Значит — фуль, так? Это когда сходится у тебя тройка одних, пара других. Понял, чечмек?

— Я — не чечмек, — без обиды отряхнулся Ахмаджан. — Это я до армии был чечмек.

— Хорошо-о. Следующий — колер. Это когда все пять придут одной масти. Дальше — карета: четыре одинаковых, пятая любая. Дальше — покер младший. Это — стрит одного цвета от девятки до короля. Ну, вот так... Или вот так... А ещё старше — покер старший...

Не то чтоб сразу это стало ясно, но обещал Максим Петрович, что в игре будет ясней. А главное — так доброхотливо он говорил, таким задушевым чистым голосом, что потеплело очень на сердце Павла Николаевича. Такого симпатичного, такого располагающего человека он никак не надеялся встретить в общей больнице! Вот сели они сплочённым дружным коллективом, и час за часом так пойдёт, и можно каждый день, а о болезни зачем думать? И о других неприятностях — зачем? Прав Максим Петрович!

Только собрался оговориться Русанов, что пока они не освоят игру как следует — на деньги не играть. И вдруг из дверей спросили:

— Кто — Чалый?

— Я Чалый!

— На выход, жена пришла!

— Тьфу, курва! — беззлобно отплюнулся Максим Петрович. — Я ж ей сказал: в субботу не приходи, приходи в воскресенье. Как не наскочила!.. Ну, простите, братцы.

И опять развалилась игра, ушёл Максим Петрович, а Ахмаджан с казаком взяли карты себе: повторять, упражняться.

И опять вспомнил Павел Николаевич про опухоль и про пятое марта, из угла почувствовал неодобряющий упёртый взгляд Филина, а обернувшись — и открытые глаза Оглоеда. Ничуть Оглоед не спал.

Ничуть Костоготов не спал всё это время, и когда Русанов с Вадимом шелестили газетой и шептались, он слышал каждое слово и нарочно не раскрывал глаз. Ему интересно было, как они скажут,

как скажет Вадим. Теперь и газету ему не нужно было тянуть и разворачивать, уже всё было ясно.

Опять стучало. Стучало сердце. Колотилось сердце о дверь чугунную, которая никогда не должна была отпереться — но что-то поскрипывала! что-то подрагивала! И сыпалась первая ржавчина с петель.

Костоглотову невозможно было вместить, что слышал он от вольных: что два года назад в этот день плакали старые, и плакали девушки, и мир казался осиротевшим. Ему дико было это представить, потому что он помнил, как это было у них. Вдруг — не вывели на работу, и барак не отперли, держали в запертых. И — громкоговоритель за зоной, всегда слышный, выключили. И всё это вместе явно показывало, что хозяева растерялись, какая-то у них большая беда. А беда хозяев — радость для арестантов! На работу не иди, на койке лежи, пайка доставлена. Сперва отсыпались, потом удивлялись, потом поигрывали на гитарах, на бандуре, ходили от вагонки к вагонке догадываться. В какую заглушку арестантов ни сажай, всё равно просачивается истина, всегда! — через хлебрезку, через кубовую, через кухню. И — поползло, поползло! Ещё не очень решительно, но ходя по бараку, садясь на койки: «Э, ребята! Кажись — Людоед накрылся...» — «Да ну???» — «Никогда не поверю!» — «Вполне поверю!» — «Давно пора!!» И — смех хоровой! Громче гитары, громче балалайки! Но целые сутки не открывали барак. А на следующее утро, по Сибири ещё морозное, выстроили весь лагерь на линейке, и майор, и оба капитана, и лейтенанты — все были тут. И майор, чёрный от горя, стал объявлять:

«С глубоким прискорбием... вчера в Москве...»

И — заскалились, только что открыто не взликовали, шершавые, остроскулые, грубые тёмные арестантские рожи. И, увидав это начинающееся движение улыбок, скомандовал майор вне себя:

«Шапки! снять!!»

И у сотен заколебалось всё на острие, на лезвии: не снять — ещё нельзя, и снимать — уж очень обидно. Но, всех опережая, лагерный шут, стихийный юморист, сорвал с себя шапку-«сталинку», поддельного меха, — и кинул её в воздух! — выполнил команду!

И сотни увидели! — и бросили вверх!

И подавился майор.

И после этого всего теперь узнавал Костоглотов, что плакали старые, плакали девушки и мир казался осиротевшим...

Вернулся Чалый ещё веселей — и опять с полной сумкой продуктов, но уже другой сумкой. Кто-то усмехнулся, а Чалый и открыто смеялся первый сам:

— Ну, что ты будешь с бабами делать? Если им это удовольствие доставляет? И почему их не утешить, кому это вредит?

Какая барыня ни будь,
Всё равно её ...!

И расхохотался, увлекая за собой слушателей и отмахиваясь рукой от избыточного смеха. Засмеялся искренно и Русанов, так это складно у Максим Петровича получилось.

— Так жена-то — какая? — давился Ахмаджан.

— Не говори, браток, — вздыхал Максим Петрович и перекидывал продукты в тумбочку. — Нужна реформа законодательства. У мусульман это гуманней поставлено. Вот с августа разрешили аборт делать — оч-чень упростило жизнь! Зачем женщине жить одинокой? Хоть бы в годик раз да кто-нибудь к ней приехал. И командировочным удобно: в каждом городе комната с куриной лапшой.

Опять между продуктов мелькнул тёмный флакон. Чалый притворил дверцу и понёс пустую сумку. Эту бабу он, видно, не баловал — вернулся тотчас. Остановился поперёк прохода, где когда-то Ефрем, и, глядя на Русанова, почесал в кудрях затылка (а волосы у него были привольные, между льном и овсяной соломой):

— Закусим, что ли, сосед?

Павел Николаевич сочувственно улыбнулся. Что-то запаздывал общий обед, да его и не хотелось после того, как со вкусом перекидывал Максим Петрович каждый продукт. Да и в самом Максиме Петровиче, в улыбке его толстых губ, было приятное, плотоядное, отчего именно за обеденный стол тянуло с ним сесть.

— Давайте, — пригласил Русанов к своей тумбочке. — У меня тут тоже кой-что...

— А — стаканчиков? — нагнулся Чалый, уже ловкими руками переносил на тумбочку к Русанову банки и свёртки.

— Да ведь нельзя! — покачал головой Павел Николаевич. — При наших болезнях запрещено строго...

За месяц никто в палате и подумать не дерзнул, а Чалому иначе казалось и дико.

— Тебя как зовут? — уже был он в его проходе и сел колени к коленям.

— Павел Николаич.

— Паша! — положил ему Чалый дружескую руку на плечо. — Не слушай ты врачей! Они лечат, они и в могилу мечут. А нам надо жить — хвост морковкой!

Убеждённость и дружелюбие были в немудром лице Максима Чалого. А в клинике — суббота, и все лечения уже отложены до понедельника. А за сереющим окном лил дождь, отделяя от Русанова всех его родных и приятелей. А в газете не было траурного портрета, и обида мутная стугулилась на душе. Светили лампы яркие, намного опережая долгий-долгий вечер, и с этим истинно приятным человеком можно было сейчас выпить, закусить, а потом играть в покер. (Вот новинка будет и для друзей Павла Николаевича — покер!)

А у Чалого, ловкача, бутылка уже лежала тут, под подушкой. Пробку он пальцем скovyрнул и по полстакана налил у самых колен. Тут же они их и сдвинули.

Истинно по-русски пренебрег Павел Николаевич и недавними страхами, и запретами, и зароками, и только хотелось ему тоску с души сплеснуть да чувствовать теплоту.

— Будем жить! Будем жить, Паша! — внушал Чалый, и его смешноватое лицо налилось строгостью и даже лютостью. — Кому нравится — пусть дохнет, а мы с тобой будем жить!

С тем и выпили. Русанов за этот месяц очень ослабел, ничего не пил, кроме слабенького красного, — и теперь его сразу обожгло, и от минуты к минуте расходилось, расплывалось и убеждало, что нечего голову нурить, что и в раковом люди живут, и отсюда выходят.

— И сильно болят эти?.. полипы? — спрашивал он.

— Да побаливают. А я не даюсь!.. Паша! От водки хуже не может быть, пойми! Водка от всех болезней лечит. Я и на операцию спирта выпью, а как ты думал? Вон, во флаконе... Почему спирта — он всосётся сразу, воды лишней не останется. Хирург желудок разворотит — ничего не найдёт, чисто! А я — пьяный!.. Ну, да сам ты на фронте был, знаешь: как наступление — так водка... Ранен был?

— Нет.

— Повезло!.. А я — два раза: сюда и сюда вот...

А в стаканах опять было два по сто.

— Да нельзя больше, — мягко упирался Павел Николаевич. — Опасно.

— Чего опасно? Кто тебе вколотил, что опасно?.. Помидорчики бери! Ах, помидорчики!

И правда, какая разница — сто или двести грамм, если уж переступил? Двести или двести пятьдесят, если умер великий человек — и о нём замалчивают? В добрую память Хозяина опрокинул Павел Николаевич и следующий стакан. Опрокинул, как на поминках. И губы его скривились грустно. И втягивал он ими помидорчики. И, с Максимом лоб в лоб, слушал сочувственно.

— Эх, красненькие! — рассуждал Максим. — Здесь за килограмм рубль, а в Караганду свежи — тридцать. И как хватают! А возить — нельзя. А в багаж — не берут. Почему — нельзя? Вот скажи мне — почему нельзя?..

Разволновался Максим Петрович, глаза его расширились, и стоял в них напряжённый поиск — смысла! Смысла бытия.

— Придёт к начальнику станции человечешко в пиджачке старом: «Ты — жить хочешь, начальник?» Тот — за телефон, думает — его убивать пришли... А человек ему на стол — три бумажки. Почему — нельзя? Как так — нельзя? Ты жить хочешь — и я жить хочу. Вели мои корзины в багаж принять! И жизнь побеждает, Паша! Едет поезд, называется «пассажирский», а весь — помидорный, на полках — корзины, под полками — корзины. Кондуктору — лапу, контролёру — лапу. От границы Дороги — другие контролёры, и им лапу.

Покруживало Русанова, и растеплился он очень и был сейчас сильней своей болезни. Но что-то такое, кажется, говорил Максим, что не могло быть увязано... Увязано... Что шло вразрез...

— Это — вразрез! — упёрся Павел Николаевич. — Зачем же?.. Это — нехорошо...

— Нехорошо? — удивился Чалый. — Так малосольный бери! Так вот икорку баклажанную!.. В Караганде написано камнем по камню: «Уголь — это Хлеб». Ну, то есть для промышленности. А помидорчиков для людей — и н-нет. И не привезут деловые люди — н-не будет. Хватают по четвертной за килограмм — и спасибо говорят. Хоть в глаза помидоры эти видят — а то б не видели. И до чего ж там долдоны, в Караганде, — ты не представляешь! Набирают охранников, лбов, и вместо того, чтоб их за яблоками послать, вагонов сорок подкинуть, — расставляют по всем степным дорогам — перехватывать, если кто повезёт яблоки в Караганду. Не допускать! Так и дежурят, охламоны!..

— Это что ж — ты? Ты? — огорчился Павел Николаевич.

— Зачем я? Я, Паша, с корзинами не езжу. Я — с портфельчиком. С чемойданчиком. Майоры, подполковники в кассу стучат: командировочное кончается! А билетов — нет! Нет!!.. А я туда не стучу, я всегда уеду. Я на каждой станции знаю: за билетом где нужно к кипятильщику обратиться, где — в камеру хранения. Учти, Паша: жизнь — всегда побеждает!

— А ты вообще — кем работаешь?

— Я, Паша, — *техником* работаю. Хотя техникума не кончал. Агентом ещё работаю. Я так работаю, чтобы всегда — с карманом. Где деньги платить перестают — я оттуда ухожу. Понял?

Что-то замечал Павел Николаевич, что не так получается, не в ту сторону, кривовато даже. Но такой был хороший, весёлый, свой человек — первый за месяц. Не было духа его обидеть.

— А — хорошо ли? — допытывался он только.

— Хорошо, хорошо! — успокаивал Максим. — И телятинку бери. Сейчас компотика твоего трахнем. Паша! Один раз на свете живём — зачем жить плохо? Надо жить хорошо, Паша!

С этим не мог не согласиться Павел Николаевич, это верно: один раз на свете живём, зачем жить плохо? Только вот...

— Понимаешь, Максим, это осуждается... — мягко напоминал он.

— Так ведь, Паша, — так же душевно отвечал и Максим, держа его за плечо. — Так ведь это — как посмотреть. Где как.

В глазу порошина — и мўлит,
Кой-где пол-аршина — и ... ! —

хотал Чалый и пристукивал Русанова по колену, и Русанов тоже не мог удержаться и трясся:

— Ну, ты ж этих стихов знаешь!.. Ну, ты ж — поэт, Максим!

— А кем — ты? Ты — кем работаешь? — доведывался новый друг.

Как ни в обнимку они уже толковали, а тут Павел Николаевич невольно приосанился:

— Вообще — по кадрам.

Соскромничал он. Повыше был, конечно.

— А — где?

Павел Николаевич назвал.

— Слушай! — обрадовался Максим. — Надо одного хорошего человечка устроить! Вступительный взнос — это как полагается, не беспокойся!

— Ну что ты! Ну как ты мог подумать! — обиделся Павел Николаевич.

— А — чего думать? — поразился Чалый, и опять тот же поиск смысла жизни, немного расплывшийся от выпитого, задрожал в его глазах. — А если кадровикам вступительных взносов не брать — так на что им и жить? На что детей воспитывать? У тебя сколько детей?

— У вас газетка — освободилась? — раздался над ними глухой неприятный голос.

Это — Филин прибрёл из угла, с недобрыми отёчными глазами, в распахнутом халате.

А Павел Николаевич, оказывается, на газете сидел, примял.

— Пожалуйста, пожалуйста! — подхватился Чалый, вытаскивая газету из-под Русанова. — Пусты, Паша! Бери, папаша, чего другого, этого не жаль.

Шулубин сумрачно взял газету и хотел идти, но тут его задержал Костоглотов. Как Шулубин упорно молча на всех смотрел, так и Костоглотов начал к нему присматриваться, а сейчас видел особенно близко и хорошо. Кто мог быть этот человек? с таким нерядовым лицом?

С развязностью пересыльных встреч, где в первую же минуту любого человека можно спросить о чём угодно, Костоглотов и сейчас из лежачего, полуопрокинутого положения спросил:

— Папаша, а кем вы работаете, а?

Не глаза, а всю голову Шулубин повернул на Костоглотова. Ещё посмотрел на него, не мигая. Продолжая смотреть, странно как-то обвёл кругообразно шеей, будто воротник его теснил, но никакой воротник ему не мешал, просторен был ворот нижней сорочки. И вдруг ответил, не отказался:

— Библиотекарем.

— А где? — не зевнул Костоглотов сунуть и второй вопрос.

— В сельхозтехникуме.

Неизвестно почему — да, наверно, за тяжесть взгляда, за молчание сычёвое из угла — захотелось Русанову его как-нибудь унижить, на место поставить. А может, водка в нём говорила, и он громче, чем надо, легкомысленнее, чем надо, окрикнул:

— Безпартийный, конечно?

Филин посмотрел табачными глазами. Мигнул, будто не веря вопросу. Ещё мигнул. И вдруг раскрыл зев:

— Наоборот.

И — пошёл через комнату.

Он неестественно как-то шёл. Где-то ему тёрло или кололо. Он скорее ковылял с разбросанными полами халата, неловко накло-

нялся, напоминая большую птицу, — с крыльями, обрезанными неровно, чтоб она не могла взлететь.

24

На солнечном пригреве, на камне, ниже садовой скамейки, сидел Костоглотов, ноги в сапогах неудобно подвернув, коленями у самой земли. И руки свесил плетьюми до земли же. И голову без шапки уронил. И так сидел грелся в сером халате, уже наотпашь, — сам неподвижный и формы обломистой, как этот серый камень. Раскалило ему черноволосую голову и напекло в спину, а он сидел, не шевелясь, принимая мартовское тепло, — ничего не делая, ни о чём не думая. Он бессмысленно-долго мог так сидеть, добирая в солнечном греве то, что недодано было ему прежде в хлебе и в супе.

И даже не видно было со стороны, чтобы плечи его поднимались и опускались от дыхания. Однако ж он и набок не сваливался, держался как-то.

Толстая нянечка с первого этажа, крупная женщина, когда-то гнавшая его из коридора прочь, чтобы не нарушал стерильности, сама же очень наклонная к семячкам и сейчас на аллейке, по льготе, шелкнувшая несколько, подошла к нему и базарно-добродушным голосом окликнула:

— Слышь, дядя! А, дядя!

Костоглотов поднял голову и, против солнца переморщив лицо, разглядывал её с искажающим прищуром.

— Поди в перевязочную, доктор зовёт.

Так он усиделся в своей прогретой окаменелости, такая была ему неохота двигаться, подниматься, как на ненавистную работу!

— Какой доктор? — буркнул он.

— Кóму надо, тот и зовёт! — повысила голос няня. — Не обяза-на я вас тут по садику собирать. Иди, значит.

— Да мне перевязывать нечего. Не меня, наверно, — всё упря-мился Костоглотов.

— Тебя, тебя! — между тем пропускала няня семячки. — Разве тебя, журавля долгоногого, спугаешь с кем? Один такой у нас, нещечко.

Костоглотов вздохнул, распрямил ноги и, опираясь, кряхтя, стал подниматься.

Няечка смотрела с неодобрением:

— Всё вышагивал, сил не берёт. А лежать надо было.

— Ох, няня-а, — вздохнул Костоготов.

И поплёлся по дорожке. Ремня уже не было, военной выправки не осталось никакой, спина гнулась.

Он шёл в перевязочную на новую какую-то неприятность, готовясь отбиваться, ещё сам не зная — от чего.

В перевязочной ждала его не Элла Рафаиловна, уже дней десять как заменявшая Веру Корнильевну, а молодая полная женщина, мало сказать румяная — просто с багряными щеками, такая здоровая. Видел он её в первый раз.

— Как фамилия? — пристигла она его тут же, на пороге.

Хоть солнце уже не било в глаза, а Костоготов смотрел так же прищуренно, недовольно. Он спешил сметить, что тут к чему, сообразить, а отвечать не спешил. Иногда бывает нужно скрыть фамилию, иногда соврать. Он ещё не знал, как сейчас правильно.

— А? Фамилия? — допытывалась врачиха с налитыми руками.

— Костоготов, — нехотя признался он.

— Где ж вы пропадаете? Раздевайтесь быстро! Идите сюда, ложитесь на стол!

Теперь-то вспомнил Костоготов, и увидел, и сообразил всё сразу: кровь переливать! Он забыл, что это делают в перевязочной. Но, во-первых, он по-прежнему стоял на принципе: чужой крови не хочу, своей не дам! Во-вторых, эта бойкая бабёнка, будто сама напившаяся донорской крови, не склоняла его к доверию. А Вега уехала. Опять новый врач, новые привычки, новые ошибки — и кой чёрт эту карусель крутит, ничего постоянного нет?

Он хмуро снимал халат, искал, куда повесить, — сестра показала ему куда, — а сам выдумывал, к чему бы прицепиться и не даваться. Халат он повесил. Курточку снял, повесил. Толкнул в угол сапоги (тут, на первом этаже, бывали и снаружи, в обуви). Пошёл босиком по чистому линолевому полу ложиться на высокий умягчённый стол. Всё никак придумать повода не мог, но знал, что сейчас придумает.

На блестящем стальном штативе над столом высился аппарат для переливания: резиновые шланги, стеклянные трубочки, в одной из них вода. На той же стойке было несколько колец для ампул разного размера: на пол-литра, четверть литра и осьмушку. Зажата же была ампула с осьмушкой. Коричневатая кровь её закрывалась отчасти наклейкой с группой крови, фамилией донора и датой взятия.

По навычке лезть глазами куда не просят Костоглотов, пока змащивался на стол, всё это прочёл и, не откидываясь головой на изголовье, тут же объявил:

— Хо-го! Двадцать восьмое февраля! Старая кровь. Нельзя переливать.

— Что за рассуждения? — возмутилась врачиха. — Старая, новая, что вы понимаете в консервации? Кровь может сохраняться больше месяца!

На её багряном лице сердитость была малиновая. Руки, заголённые до локтя, были полные, розовые, а кожа — с пупырышками, не от холода, а с постоянными пупырышками. И вот эти пупырышки почему-то окончательно убедили Костоглотова не даваться.

— Закатите рукав и положите руку свободно! — командовала ему врачиха.

Она уже второй год работала на переливании и не помнила ни одного больного не подозрительного: каждый вёл себя так, будто у него графская кровь и он боится подмеса. Обязательно косились больные, что цвет не тот, группа не та, дата не та, не слишком ли холодная или горячая, не свернулась ли, а то спрашивали уверенно: «Это — плохую кровь переливаете?» — «Да почему плохую?!» — «А на ней написано было *не трогать*». — «Ну потому что наметили, кому переливать, а потом не понадобилась». И уже даётся больной колоть, а про себя ворчит: «Ну, значит, и оказалась некачественной». Только решительность и помогала сламывать эти глупые подозрения. К тому ж она всегда торопилась, потому что норма перелива крови в один день в разных местах была ей изрядная.

Но Костоглотов тоже уже повидал здесь, в клинике, и кровяные вздутя, и тряску после введения, и этим нетерпеливым розовым пухлым рукам с пупырышками ему никак не хотелось довериться. Своя, измученная рентгеном, вялая больная кровь была ему всё-таки дороже свежей добавки. Как-нибудь своя потом поправится. А при плохой крови бросят раньше лечить — тем лучше.

— Нет, — мрачно отказался он, не закатывая рукав и не кладя руку свободно. — Кровь ваша старая, а я себя плохо чувствую сегодня.

Он-то знал, что сразу двух причин никогда говорить не надо, всегда одну, но сами две сказались.

— Сейчас давление проверим, — не смуцалась врачиха, и сестра уже подносила ей прибор.

Врачиха была совсем новая, а сестра — здешняя, из перевязочной, только Олег с ней дела не имел раньше. Она совсем была девочка, но роста высокого, тёмненькая и с японским разрезом глаз. На голове у неё так сложно было настроено, что ни шапочка, ни даже косынка никак не могли бы этого покрыть — и потому каждый выступ волосяной башенки и каждая косма были у неё терпеливо обмотаны бинтами, бинтами — это значит, ей минут на пятнадцать раньше надо было приходиться на работу, обматываться.

Всё это было Олегу совсем ни к чему, но он с интересом рассматривал её белую корону, стараясь представить причёску девушки без перекрута бинтов. Главное лицо здесь была врачиха, и надо было бороться с ней, не мешкая, возражать и отговариваться, а он терял темп, рассматривая девушку с японским разрезом глаз. Как всякая молодая девушка, уже потому, что молода, она содержала в себе загадку, несла её в себе на каждом переступе, сознавала при каждом повороте головы.

А тем временем Костоготову сжали руку чёрной змеёй и определили, что давление подходящее.

Он рот раскрыл сказать следующее, почему не согласен, но из дверей врачиху позвали к телефону.

Она дёрнулась и ушла, сестра укладывала чёрные трубки в футляр, а Олег всё так же лежал на спине.

— Откуда этот врач, а? — спросил он.

Всякая мелодия голоса тоже относилась ко внутренней загадке девушки, и она чувствовала это, и говорила, внимательно слушая свой голос:

— Со станции переливания крови.

— А зачем же она старую привозит? — проверял Олег хоть и на девчёнке.

— Это — не старая, — плавно повела девушка головой и понесла корону по комнате.

Девчёнка эта вполне была уверена, что всё нужное для неё она знает.

Да может, так оно и было.

Солнце уже завернуло на сторону перевязочной. Прямо сюда оно не попадало, но два окна светились ярко, а ещё часть потолка была занята большим световым пятном, отразившимся от чего-то. Было очень светло, и к тому же чисто, тихо.

Хорошо было в комнате.

Открылась дверь, невидимая Олегу, но вошла кто-то другая, не та.

Вошла, почти не стуча туфлями, не выстукивая каблучками своего «я».

И Олег догадался.

Никто больше так не ходил. Её и не хватало в этой комнате, её одной.

Вега!

Да, она. Она вступила в его поле зрения. Так просто вошла, будто незадолго отсюда вышла.

— Да где же вы были, Вера Корнильевна?.. — улыбался Олег.

Он не воскликнул это, он спросил негромко, счастливо. И не поднимаясь сесть, хотя не был привязан к столу.

До конца стало в комнате тихо, светло, хорошо.

А у Веги был свой вопрос, тоже в улыбке:

— Вы — бунтуете?

Но, уже расслабив в своём намерении сопротивляться, уже наслаждаясь, что он лежит на этом столе и его так просто не сгнишь, Олег ответил:

— Я?.. Нет, уж я своё отбунтовал... Где вы были? Больше недели.

Раздельно, как будто диктуя несмышлёнышу непривычные новые слова, она проговорила, стоя над ним:

— Я ездила основывать онкологические пункты. Вести противораковую пропаганду.

— Куда-нибудь в глубинку?

— Да.

— А больше не поедете?

— Пока нет. А вы — себя плохо чувствуете?

Что было в этих глазах? Неторопливость. Внимание. Первая непроверенная тревога. Глаза врача.

Но помимо этого всего они были светло-кофейные. Если на стакан кофе налить молока пальца два. Впрочем, давно Олег кофе не пил, цвета не помнил, а вот — дружеские! очень старо-дружеские глаза!

— Да нет, чепуха. Я на солнце, наверно, перегрелся. Сидел-сидел, чуть не заснул.

— Разве вам можно на солнце! Разве вы не поняли здесь, что опухолям нагревание запрещено?

— Я думал — грелки.

— А солнце — тем более.

— Значит, черноморский пляж мне запрещён?

Она кивнула.

— Жизнь!.. Хоть ссылку меняй на Норильск...

Она подняла плечи. Опустила. Это было не только выше её сил, но и выше разума.

Вот сейчас и спросить: а почему вы говорили, что — замужем?..

Разве безмужие — такое унижение?

Спросил:

— А зачем же вы изменили?

— Что?

— Нашему уговору. Вы обещали, что будете кровь переливать мне сами, никакому практиканту не отдадите.

— Она — не практикант, она, напротив, специалист. Когда они приезжают — мы не имеем права. Но она уже уехала.

— Как уехала?

— Вызвали.

О, карусель! В карусели же было и спасение от карусели.

— Значит — вы?

— Я. А какая вам кровь старая?

Он показал головой.

— Она не старая. Но она не вам. Вам будем двести пятьдесят переливать. Вот. — Вера Корнильевна принесла с другого столика и показала ему. — Читайте, проверяйте.

— Да, Вера Корнильевна, это жизнь у меня такая окаянная: ничему не верь, всё проверяй. А вы думаете, я — не рад, когда не надо проверять?

Он так устало это сказал, будто умирал. Но своим приглядчивым глазам не мог совсем отказать в проверке. И они ухватили: «1-я группа — Ярославцева И. Л. — 5 марта».

— О! Пятое марта — это нам очень подходит! — оживился Олег. — Это нам полезно.

— Ну, наконец-то вы поняли, что полезно. А сколько спорили!

Это — она не поняла. Ну, ладно.

И он закатил сорочку выше локтя и свободно положил правую руку вдоль тела.

Правда, в том и была главная ослаба для его вечно подозрительного внимания: довериться, отдаться доверию. Сейчас он знал, что эта ласковая, лишь чуть сгущённая из воздуха женщина, тихо двигаясь и каждое движение обдумывая, не ошибётся ни в чём.

И он лежал, и как бы отдыхал.

Большое слабо-солнечное, кружево-солнечное пятно на потолке заливало неровный круг. И это пятно, неизвестно от чего отражённое, тоже было ласково ему сейчас, украшало чистую тихую комнату.

А Вера Корнильевна коварно вытянула у него из вены иглою сколько-то крови, крутила центрифугу, разбрасывала на тарелочке четыре сектора.

— А зачем — четыре? — Он спрашивал лишь потому, что всю жизнь привык везде спрашивать. Сейчас-то ему даже и лень была знать — зачем.

— Один — на совместимость, а три — проверить станцию по группе. На всякий случай.

— А если группа совпадает — какая ещё совместимость?

— А — не свёртывается ли сыворотка больного от крови донора. Редко, но бывает.

— Вон что. А вертите зачем?

— Эритроциты отбрасываем. Всё вам надо знать.

Да можно и не знать. Олег смотрел на потолочное мреющее пятно. Всего на свете не узнаешь. Всё равно дураком помрёшь.

Сестра с белой короной вставила в защелки стойки опрокинутую пятомартовскую ампулу. Потом под локоть ему подложила подушечку. Резиновым красным жгутом затянула ему руку выше локтя и стала скручивать, следя японскими глазами, сколько будет довольно.

Странно, что в этой девочке ему повиделась какая-то загадка. Никакой нет, девчёнка как девчёнка.

Подошла Гангарт со шприцем. Шприц был обыкновенный и наполнен прозрачной жидкостью, а игла необыкновенная: трубка, а не игла, трубка с треугольным концом. Сама по себе трубка ничего, если только её тебе вгонять не будут.

— У вас вену хорошо видно, — заговаривала Вера Корнильевна, а сама подёргивала одной бровью, ища. И с усилием, со слышным, кажется, прорывом кожи, ввела чудовищную иглу. — Вот и всё.

Тут много было ещё непонятного: зачем крутили жгутом выше локтя? Зачем в шприце была жидкость как вода? Можно было спрашивать, а можно и самому голову потрудить: наверно, чтоб воздух не ринулся в вену и чтобы кровь не ринулась в шприц.

А тем временем игла осталась у него в вене, жгут ослабили, сняли, шприц ловко отъяли, сестра стряхнула над тазиком накопленность прибора, сбрасывая из него первую кровь, — и вот уже

Гангарт приставила к игле вместо шприца этот наконечник и держала так, а сама наверху чуть отвернула винт.

В стеклянной расширенной трубке прибора стали медленно, по одному, подниматься сквозь прозрачную жидкость прозрачные пузырьки.

Как пузырьки эти всплывали, так и вопросы, один за другим: зачем такая широкая игла? зачем стряхивали кровь? к чему эти пузырьки? Но один дурак столько задаст вопросов, что сто умных не управятся ответить.

Если уж спрашивать, то хотелось о чём-то другом.

Всё в комнате было как-то празднично, и это белесо-солнечное пятно на потолке особенно.

Игла была введена надолго. Уровень крови в ампуле почти не уменьшался. Совсем не уменьшался.

— Я вам нужна, Вера Корнильевна? — вкрадчиво спросила сестра-японочка, слушая свой голос.

— Нет, не нужны, — тихо ответила Гангарт.

— Я схожу тут... На полчаса можно?

— Мне не нужны.

И сестра почти убежала с белой короной.

Они остались вдвоём.

Медленно поднимались пузырьки. Но Вера Корнильевна тронула винт — и они перестали подниматься. Не стало ни одного.

— Вы закрыли?

— Да.

— А зачем?

— Вам опять надо знать? — улыбнулась она. Но поощрительно.

Было очень тихо в перевязочной — старые стены, добротные двери. Можно было говорить лишь чуть громче шёпота, просто выдыхать без усилия и тем говорить. Так и хотелось.

— Да характер проклятый. Всегда хочется знать больше, чем разрешено.

— Хорошо, пока ещё хочется... — заметила она. Губы её никогда не оставались равнодушны к тому, что они произносили. Крохотными движениями — изгибом, не одинаковым слева и справа, чуть вывертом, чуть передёргом — они поддерживали мысль и уясняли. — Полагается после первых двадцати пяти кубиков сделать значительную паузу и посмотреть, как чувствует себя больной. — Она всё ещё одной рукой держала наконечник у иглы. И с лёгким раздвигом улыбки, приветливо и изучающе,

смотрела в глаза Олегу, нависая над ним: — Как вы себя чувствуете?

— В данный момент — прекрасно.

— Это не сильно сказано — «прекрасно»?

— Нет, действительно прекрасно. Гораздо лучше, чем «хорошо».

— Озноба, неприятного вкуса во рту — не чувствуете?

— Нет.

Ампула, игла и переливание — это была их общая соединяющая работа над кем-то ещё третьим, кого они вдвоём дружно лечили и хотели вылечить.

— А — не в данный момент?

— А не в данный? — Чудесно вот так долго-долго смотреть друг другу в глаза, когда есть законное право смотреть, когда отводить не надо. — А вообще — совсем неважно.

— Но в чём именно? В чём?..

Она спрашивала с участием, с тревогой, как друг. Но — заслужила удар. И Олег почувствовал, что сейчас этот удар нанесёт. Что как ни мягки светло-кофейные глаза, а удара не избежать.

— Неважно — морально. Неважно — в сознании, что я плачу за жизнь слишком много. И что даже вы — способствуете этому и меня обманываете.

— Я??

Когда глаза неотрывно-неотрывно смотрят друг в друга, появляется совсем новое качество: увидишь такое, что при беглом скольжении не открывается. Глаза как будто теряют защитную цветную оболочку и всю правду выбрызгивают без слов, не могут её удержать.

— Как вы могли так горячо меня уверять, что уколы — нужны, но я не пойму их смысла? А что там понимать? Гормонотерапия — что там понимать?

Это, конечно, было нечестно: вот так застигнуть беззащитные глаза. Но только так и можно было спросить по-настоящему. Что-то в них запрыгало, растерялось.

И доктор Гангарт — нет, Вега — убрала глаза.

Как утягивают с поля не до конца разбитую роту.

Она посмотрела на ампулу — но что там смотреть, ведь кровь перекрыта? Посмотрела на пузырьки — но не шли же и пузырьки.

И открыла винт. Пузырьки пошли. Пожалуй, была пора.

Она пальцами провела по резиновой трубке, свисающей от прибора к игле, — как бы помогая разогнать все задержки в трубке.

Ещё — ваты подложила под наконечник, чтоб трубка не гнулась ничуть. Ещё — лейкопластырь оказался у неё тут же, и полоской пластыря она приклеила наконечник к его руке. И ещё — резиновую трубку завела меж его пальцев, пальцев этой же руки, свободно выставленных кверху как крючки, — и так стала трубка сама держаться.

И теперь Вега могла совсем не держать, и не стоять около него, и не смотреть в глаза.

С лицом омрачённым, строгим, она отрегулировала пузырьки чуть чаще, сказала:

— Вот так, не шевелитесь.

И ушла.

Она не из комнаты ушла — только из кадра, охваченного его глазом. Но так как он не должен был шевелиться, то осталось в его окоёме: стойка с приборами; ампула с коричневой кровью; светлые пузырьки; верхи солнечных окон; отражения шестиклеточных окон в матовом плафоне лампы; и весь просторный потолок с мерцающим слабо-солнечным пятном.

А Веги — не стало.

Но вопрос ведь упал — как неловко переданный, небережённый предмет.

И она его не подхватила.

Доставалось Олегу же возиться с ним и дальше.

И, глядя в потолок, он стал медленно думать вслух:

— Ведь если и так уже потеряна вся жизнь. Если в самих костях сидит память, что я — вечный арестант, вечный ээк. Если судьба мне и не сулит лучшего ничего. Да ещё сознательно, искусственно убить во мне и эту возможность — зачем такую жизнь спасать? Для чего?

Вега всё слышала, но была за кадром. Может, и лучше: легче было говорить.

— Сперва меня лишили моей собственной жизни. Теперь лишают и права... продолжить себя. Кому и зачем я теперь буду?.. Худший из уродов! На милость?.. На милостыню?..

Молчала Вега.

А это пятно на потолке — оно почему-то иногда вздрагивало: пожималось краями, что ли, или какая-то морщина переходила по нему, будто оно тоже думало и не понимало. И становилось неподвижным опять.

Булькали прозрачные весёлые пузырьки. Кровь понижалась в ампуле. Уже четвёртая часть её перелилась. Женская кровь.

Кровь Ярославцевой, Ирины. Девушки? старушки? студентки? торговки?

— Милостыня...

И вдруг Вега, оставаясь невидимой, — не возразила, а вся рванулась где-то там:

— Да ведь неправда же!.. Да неужели вы так думаете? Я не поверю, что это думаете вы!.. Проверьте себя! Это — заимствованные, это — несамостоятельные настроения!

Она говорила с энергией, которой он в ней не слышал ни разу. Она говорила с задетостью, которой он в ней не ждал.

И вдруг оборвалась, замолчала.

— А как надо думать? — попробовал осторожно вызвать Олег.

У, какая была тишина! — лёгкие пузырьки в закрытом баллончике — и те позванивали.

Ей трудно было говорить! Голосом изломившимся, сверх силы, она перетягивалась через ров.

— Должен кто-то думать и иначе! Пусть кучка, горсточка — но иначе! А если только так — то среди кого ж тогда жить? Зачем?.. И можно ли!..

Это последнее, перетянувшись, она опять выкрикнула с отчаянием. И как толкнула его своим выкриком. Как толкнула изо всех силёнок, чтоб он долетел, косный, тяжёлый, — куда одно спасенье было долететь.

И как камень из лихой мальчишеской пращи — подсолнечного будылька, удлинившего руку; да даже и как снаряд из этих долгоствольных пушек последнего фронтового года — ухнувший, свистнувший и вот хлюпающий, хлюпающий в высоком воздухе снаряд — Олег взмыл и полетел по сумасшедшей параболе, вырываясь из затверженного, отменяя перенятое, — над одной пустыней своей жизни, над второй пустыней своей жизни — и перенёсся в давнюю какую-то страну.

В страну детства! — он не узнал её сразу. Но как только узнал моргнувшими, ещё мутными глазами, он уже был пристыжен, что ведь и он мальчишкой так думал когда-то, а сейчас не он ей, а она ему должна была сказать как первое, как открытие.

И ещё что-то вытягивалось, вытягивалось из памяти — сюда, к случаю этому, скорее надо было вспомнить — и он вспомнил!

Вспомнил быстро, но заговорил рассудительно, перетирая:

— В двадцатые годы имели у нас шумный успех книги некоего доктора Фридланда, венеролога. Тогда считалось очень полезным

открывать глаза — и вообще населению, и молодёжи. Это была как бы санитарная пропаганда о самых неназываемых вопросах. И вообще-то, наверно, это нужно, это лучше, чем лицемерно молчать. Была книга «За закрытой дверью», ещё была — «О страданиях любви». Вам... не приходилось их читать? Ну... хотя б уже как врачу?

Булькали редкие пузырьки. Ещё, может быть, — дыхание слышалось из-за кадра.

— Я прочёл, признаюсь, что-то очень рано, лет, наверно, двенадцати. Украдкой от старших, конечно. Это было чтение потрясающее, но — опустошающее. Ощущение было... что не хочется даже жить...

— Я — читала, — вдруг было отвечено ему без выражения.

— Да? да? и вы? — обрадовался Олег. Он сказал «и вы», как будто и сейчас первый на том стоял. — Такой последовательный, логический, неотразимый материализм, что, собственно... зачем же жить? Эти точные подсчёты в процентах, сколько женщин ничего не испытывают, сколько испытывают восторг. Эти истории, как женщины... ища себя, переходят из категории в категорию... — Вспоминая всё новое, он воздух втянул, как ушибившись или ожегшись. — Эта безсердечная уверенность, что всякая психология в супружестве вторична, и берётся автор одной физиологией объяснить любое «не сошлись характерами». Ну, да вы, наверно, всё помните. Вы когда читали?

Не отвечала.

Не надо было допрашивать. И вообще, наверно, он слишком грубо и прямо всё высказал. Никакого не было у него навыка разговаривать с женщинами.

Странное бледно-солнечное пятно на потолке вдруг зарябило, где-то сверкнуло ярко-серебряными точками, и они побежали. И по этой бегущей ряби, по крохотным волнышкам понял наконец Олег, что загадочная возвышенная туманность на потолке была просто отблеском лужи, не высохшей за окном у забора. Преображением простой лужи. А сейчас начал дуть ветерок.

Молчала Вега.

— Вы простите меня, пожалуйста! — повинился Олег. Ему приятно, даже сладко было перед ней виниться. — Я как-нибудь не так это сказал... — Он пытался вывернуть к ней голову, но не видел всё равно. — Ведь это уничтожает всё человеческое на земле. Ведь

если этому поддаться, если это всё принять... — Он теперь с радостью отдавался своей прежней вере и убеждал — её!

И Вега вернулась! Она вступила в кадр — и ни того отчаяния, ни той резкости, которые ему прислышались, не было в её лице, а обычная доброжелательная улыбка.

— Я и хочу, чтоб вы этого не принимали. Я и уверена была, что вы этого не принимаете.

И сияла даже.

Да это была девочка его детства, школьная подруга, как же он не узнал её!

Что-то такое дружеское, такое простое хотелось ему сказать, вроде: «Дай пять!» И пожать руку — ну, как хорошо, что мы разговорились!

Но его правая была под иглой.

Назвать бы прямо — Вегой! Или Верой!

Но было невозможно.

А кровь в ампуле между тем уже снизилась за половину. В чьём-то чужом теле — со своим характером, со своими мыслями, она текла ещё на днях — и вот вливалась теперь в него, красно-коричневое здоровье. И так-таки ничего не несла с собой?

Олег следил за порхающими руками Веги: как она подправила подушечку под локтем, вату под наконечником, провела пальцами по резиновой трубке и стала немного приподнимать с ампулой верхнюю передвижную часть стойки.

Даже не пожать эту руку, а — поцеловать хотелось бы ему.

25

Она вышла из клиники в праздничном настроении и тихо напевала, для себя одной слышимо, с закрытым ртом. В светло-песочном демисезонном пальто, уже без бот, потому что везде на улицах было сухо, она чувствовала себя легко, всю себя, и ноги особенно, — так невесомо шлось, можно было весь город наискосок.

Такой же солнечный, как день, был и вечер, хотя уже прохладнел, а очень отдавал весной. Дико было бы лезть в автобус, душиться. Хотелось только идти пешком.

И она пошла.

Ничего в их городе не бывало красивее цветущего урюка. Вдруг захотелось ей сейчас, в обгон весны, непременно увидеть хоть один цветущий урюк — на счастье, за забором где-нибудь, за дувалом, хоть издали, эту воздушную розовость не спутать ни с чем.

Но — рано было для того. Деревья только чуть отзеленивали от серого: был тот момент, когда зелёный цвет уже не отсутствует в дереве, но серого ещё гораздо больше. И где за дувалом был виден клочок сада, отстоянного от городского камня, — там была лишь сухая рыжеватая земля, вспаханная первым кетменём.

Было — рано.

Всегда, как будто спеша, Вера садилась в автобус — умащивалась на разбитых пружинах сиденья или дотягивалась пальцами до поручня, висла так и думала: нич-чего не хочется делать, вечер впереди — а ничего не хочется делать. И вопреки всякому разуму часы вечера надо только убить, а утром в таком же автобусе спешить опять на работу.

Сегодня же она неторопливо шла — и ей всё-всё хотелось делать! Сразу выступило много дел — и домашних, и магазинных, и, пожалуй, шитейных, и библиотечных, и просто приятных занятий, которые совсем не были ей запрещены или преграждены, а она почему-то избегала их до сих пор. Теперь всё это ей хотелось, даже сразу! Но она, наоборот, ничуть не спешила ехать и делать их скорей, ни одного из них, а — шла медленно, получая удовольствие от каждого переступа туфелькой по сухому асфальту.

Она шла мимо магазинов, ещё не закрытых, но ни в один не зашла купить, что ей было нужно из еды или из обихода. Проходила мимо афиш, но ни одну из них не прочла, хотя их-то и хотелось теперь читать.

Просто так вот шла, долго шла, и в этом было всё удовольствие. И иногда улыбалась.

Вчера был праздник — но подавленной и презренной ощущала она себя. А сегодня рабочий будний день — и такое лёгкое счастливое настроение.

Праздник в том, чтобы почувствовать себя правой. Твои затаённые, твои настойчивые доводы, осмеянные и непризнанные, ниточка твоя, на которой одной ты ещё висишь, — вдруг оказываются тросом стальным, и его надёжность признаёт, уверенно виснет и сам на него такой бывалый, недоверчивый, неподатливый человек.

И, как в вагончике подвесной канатной дороги над немислимой пропастью человеческого непонимания, они плавно скользят, поверив друг другу.

Это просто восхитило её! Ведь мало знать, что ты — нормальная, не сумасшедшая, но и услышать, что — да, нормальная, не сумасшедшая, и от кого! Хотелось благодарить его, что он так сказал, что он сохранился такой, пройдя провалы жизни.

Благодарить, а пока что оправдываться перед ним — за гормонотерапию. Фридланда он отвергал, но и гормонотерапию тоже. Здесь было противоречие, но логику спрашивают не с больного, а с врача.

Было здесь противоречие, не было здесь противоречия — а надо было убедить его подчиниться этому лечению! Невозможно было отдать этого человека — назад опухоли! Всё ярее разгорался у неё азарт: переубедить, переупрямить и вылечить именно этого больного! Но чтобы такого огрызливого упрямяца снова и снова убеждать, надо было очень верить самой. А ей самой при его упреке вдруг прояснилось, что гормонотерапия введена у них в клинике по единой всесоюзной инструкции для широкого класса опухолей и с довольно общей мотивировкой. О том, как оправдала себя гормонотерапия в борьбе именно с семиномой, она не помнила сейчас специальной отдельной научной статьи, а их могла быть не одна, и иностранные тоже. И чтобы доказывать — надо бы все прочесть. Не так много она их вообще успевала читать...

Но теперь-то! — она всё успеет! Теперь она обязательно прочтёт.

Костоготов однажды швырнул ей, что он не видит, чем его знахарь с корешком меньше врач, что, мол, математических подсчётов он и в медицине не замечает. Вера тогда почти обиделась. Но потом подумала: отчасти верно. Разве, разрушая клетки рентгеном, они знают хоть приблизительно: сколько процентов разрушения падает на здоровые клетки, сколько на больные? И насколько уж это верней, чем когда знахарь зачерпывает сушённый корешок — горстью, без весов?.. А кто объяснил старинные простые горчичники? Или: все бросились лечить пенициллином — однако кто в медицине воистину объяснил, в чём суть действия пеницилина? Разве это не тёмная вода?.. Сколько тут надо следить за журналами, читать, думать!

Но теперь она всё успеет!

Вот уже — совсем незаметно, как скоро! — она была и у себя во дворе. Поднявшись на несколько ступенек на общую большую веранду с перилами, обвешанными чьими-то ковриками и половиками, пройдя по цементному полу в выбоинах, она без уныния отперла общеквартирную дверь с отодранной местами обивкой и пошла темноватым коридором, где не всякую лампочку можно было зажечь, потому что они были от разных счётчиков.

Вторым английским ключом она отперла дверь своей комнаты — и совсем не угнетающей показалась ей эта келья-камера с обрешеченным от воров окном, как все первоэтажные окна города, и где было предсумеречно сейчас, а солнце яркое заглядывало только утром. Вера остановилась в дверях, не снимая пальто, и смотрела на свою комнату с удивлением, как на новую. Здесь очень хорошо и весело можно было жить! Пожалуй только, переменить сейчас скатерть. Пыль кое-где стереть. И, может быть, на стене перевесить Петропавловскую крепость в белую ночь и чёрные кипарисы Алупки.

Но, сняв пальто и надев передник, она сперва пошла на кухню. Смутно помнилось ей, что с чего-то надо начинать на кухне. Да! надо же было разжигать керогаз и что-нибудь себе готовить.

Однако соседский сын, здоровый парень, бросивший школу, всю кухню перегородил мотоциклом и, свистя, разбирая его, части раскладывал по полу и мазал. Сюда падало предзакатное солнце, ещё было светло от него. Вообще-то, можно было протискиваться и ходить к своему столу. Но Вере вдруг совсем не захотелось возиться тут — а только в комнате, одна с собою.

Да и есть ей не хотелось, нисколько не хотелось!

И она вернулась к себе и с удовольствием защёлкнула английский замок. Совсем ей было незачем сегодня выходить из комнаты. А в вазочке были шоколадные конфеты, вот их и грызть потихоньку...

Вера присела перед маминым комодом на корточки и потянула тяжёлый ящик, в котором лежала другая скатерть.

Но нет, прежде надо было перетереть пыль!

Но ещё прежде надо было переодеться попроще!

И каждый этот переброс Вера делала с удовольствием, как изменяющиеся в танце па. Каждый переброс тоже доставлял удовольствие, в этом и был танец.

А может быть, раньше надо было перевесить крепость и кипарисы? Нет, это требовало молотка, гвоздей, а всего неприятнее делать мужскую работу. Пусть повисят пока так.

И она взяла тряпку и двигалась с нею по комнате, чуть напевая.

Но почти сразу наткнулась на приставленную к пузатому флакончику цветную открытку, полученную вчера. На лицевой стороне были красные розы, зелёные ленты и голубая восьмёрка. А на обороте чёрным машинописным текстом её поздравляли. Местком поздравлял её с Международным женским днём.

Всякий общий праздник тяжёл одинокому человеку. Но невыносим одинокой женщине, у которой годы уходят, — праздник женский! Овдовелые и безмужние, собираются такие женщины хлестнуть вина и попеть, будто им весело. Тут, во дворе, бушевала вчера одна такая компания. И один чей-то муж был среди них; с ним потом, пьяные, целовались по очереди.

Желал ей местком безо всякой насмешки: больших успехов в труде и счастья в личной жизни.

Личная жизнь!.. Как личина какая-то сползающая. Как личинка мёртвая сброшенная.

Она разорвала открытку вчетверо и бросила в корзину.

Переходила дальше, перетирая то флаконы, то стеклянную пирамидку с видами Крыма, то коробку с пластинками около приёмника, то пластмассовый ребрёный чемоданчик электропроигрывателя.

Вот сейчас она могла без боли слушать любую свою пластинку. Могла поставить непереносимую:

И теперь, в эти дни,
Я, как прежде, один...

Но искала другую, поставила, включила приёмник на проигрыватель, а сама ушла в глубокое мамино кресло, ноги в чулках подобрав к себе туда же.

Пылевая тряпка так и осталась кончиком зажата в рассеянной руке и свисла вымпелом к полу.

Уже совсем было в комнате серо, и отчётливо светилась зеленоватая шкала приёмника.

Это была сюита из «Спящей красавицы». Шло адажио, потом «появление Фей».

Вега слушала, но не за себя. Она хотела представить, как должен был это адажио слушать с балкона оперного театра вымокший под дождём, распираемый болью, обречённый на смерть и никогда не видавший счастья человек.

Она поставила снова то же.

И опять.

Она стала *разговаривать* — но не вслух. Она воображаемо разговаривала с ним, будто он сидел тут же, через круглый стол, при том же зеленоватом свечении. Она говорила то, что ей надо было сказать, и выслушивала его: верным ухом отбирала, что он мог бы ответить. У него очень трудно предвидеть, как он вывернет, но, кажется, она привыкала.

Она досказывала ему сегодняшнее — то, что при их отношениях ещё никак сказать нельзя, а вот сейчас можно. Она развивала ему свою теорию о мужчинах и женщинах. Хемингуэвские сверх-мужчины — это существа, не поднявшиеся до человека, мелко плавают Хемингуэй. (Обязательно буркнет Олег, что никакого Хемингуэя он не читал, и даже гордо будет выставлять: в армии не было, в лагере не было.) Совсем не это надо женщине от мужчины: нужна внимательная нежность и ощущение безопасности с ним — прикрытости, укрытости.

Именно с Олегом — безправным, лишённым всякого гражданского значения — эту защищённость почему-то испытывала Вега.

А с женщиной запутали ещё больше. Самой женственной объявили Кармен. Ту женщину объявили самой женственной, которая активно ищет наслаждения. Но это — лже-женщина, это — переодетый мужчина.

Тут ещё много надо объяснять. Но, не готовый к этой мысли, он, кажется, захвачен врасплох. Обдумывает.

А она опять ставит ту же пластинку.

Совсем уже было темно, и забыла она перетирать дальше. Всё глубже, всё значительней зеленела на комнату светящая шкала.

Зажигать света никак, ни за что не хотелось, а надо было обязательно посмотреть.

Однако эту рамочку она уверенной рукой и в полутьме нашла на стене, ласково сняла и поднесла к шкале. Если б шкала и не давала своей звёздной зелени, и даже погасла сейчас, — Вера продолжала бы различать на карточке всё: это мальчишеское чистенькое лицо; незащищённую светлость ещё ничего не выдавших глаз; первый в жизни галстук на белянкой сорочке; первый в жизни костюм на плечах — и, не жалея пиджачного отворота, ввинченный строгий значок: белый кружок, в нём чёрный профиль. Карточка — шесть на девять, значок совсем крохотный, и всё же днём отчётливо видно, а на память видно и сейчас, что профиль этот — Ленина.

«Мне других орденов не надо», — улыбался мальчик.
Этот мальчик и придумал звать её Вегой.

Цветёт агава один раз в жизни и вскоре затем — умирает.
Так полюбила и Вера Гангарт. Совсем юненькой, ещё за партией.

А его — убили на фронте.

И дальше эта война могла быть какой угодно: справедливой, героической, отечественной, священной, — для Веры Гангарт это была последняя война. Война, на которой вместе с женихом убили и её.

Она так хотела, чтоб её теперь тоже убили! Она сразу же, бросив институт, хотела идти на фронт. Но, как немку, её не взяли.

Два, и три месяца первого военного лета они ещё были вместе. И ясно было, что скоро-скоро он уйдёт в армию. И теперь, спустя поколение, объяснить никому невозможно: как могли они не пожениться? Да не женясь — как могли они проронить эти месяцы — последние? единственные? Неужели ещё что-то стояло перед ними, когда всё трещало и ломилось?

Да, стояло.

А теперь этого ни перед кем не оправдаешь. Даже перед собой.

«Вега! Вега моя! — кричал он с фронта. — Я не могу умереть, оставив тебя не своей. Сейчас мне уже кажется: если бы вырваться только на три дня — в отпуск! в госпиталь! — мы бы поженились! Да? Да?»

«Пусть это тебя не разрывает. Я никогда ничьей и не буду. Твоя».

Так уверенно писала она. Но — живому!

А его — не ранили, он ни в госпиталь, ни в отпуск не попал. Его — убили сразу.

Он умер, а звезда его — горела. Всё горела...

Но шёл её свет впустую.

Не та звезда, от которой свет идёт, когда сама она уже погасла. А та, которая светит, ещё в полную силу светит, но никому её свет уже не виден и не нужен.

Её не взяли — тоже убить. И приходилось жить. Учиться в институте. Она в институте даже была старостой группы. Она первая

была — на уборочную, на приборочную, на воскресник. А что ей оставалось делать?

Она кончила институт с отличием, и доктор Орещенков, у которого она проходила практику, был очень ею доволен (он и посоветовал её Донцовой). Это только и стало у неё: лечить, больные. В этом было спасение.

Конечно, если мыслить на уровне Фридланда, то — вздор, аномалия, сумасшествие: помнить какого-то мёртвого и не искать живого. Этого никак не может быть, потому что неотменимы законы тканей, законы гормонов, законы возраста.

Не может быть? — но Вега-то знала, что они в ней все отменились!

Не то чтоб она считала себя навечно связанной обещанием: «всегда твоя». Но и это тоже: слишком близкий нам человек не может умереть совсем, а значит — немного видит, немного слышит, он — присутствует, он есть. И увидит бесильно, безсловно, как ты обманываешь его.

Да какие могут быть законы роста клеток, реакций и выделений, при чём они, если: *другого* такого человека нет! Нет другого такого! При чём же тут клетки? При чём тут реакции?

А просто с годами мы тупеем. Устаём. У нас нет настоящего таланта ни в горе, ни в верности. Мы сдаём их времени. Вот поглощать всякий день еду и облизывать пальцы — на этом мы неуступчивы. Два дня нас не покорми — мы сами не свои, мы на стенку лезем.

Далеко же мы ушли, человечество!

Не изменилась Вега, но сокрушилась. И умерла у неё мать, а с матерью только вдвоём они жили. Умерла же мать потому, что сокрушилась тоже: сын её, старший брат Веры, инженер, был в сороковом году посажен. Несколько лет ещё писал. Несколько лет слали ему посылки куда-то в Бурят-Монголию. Но однажды пришло невнятное извещение с почты, и мать получила назад свою посылку, с несколькими штампами, с перечёркиванием. Она несла посылку домой как гробик. *Он*, когда только родился, почти мог поместиться в этой коробочке.

Это и сокрушило мать. А ещё — что невестка скоро вышла замуж. Мать этого совсем не понимала. Она понимала Веру.

И осталась Вера одна.

Не одна, конечно, не единственная, а — из миллионов одна.

Было столько одиноких женщин в стране, что даже хотелось на глазок прикинуть по знакомым: не больше ли, чем замужних?

И эти женщины одинокие — они все были её ровесницы. Десять возрастов подряд. Ровесницы тех, кто лёг на войне.

Милосердная к мужчинам, война унесла их. А женщин оставила домучиваться.

А кто из-под обломков войны притащился назад неженатый — тот не ровесниц уже выбирал, тот выбирал моложе. А кто был младше на несколько лет — тот младше был на целое поколение, ребёнок: по нему не проползла война.

И так, никогда не сведенные в дивизии, жили миллионы женщин, пришедшие в мир ни для чего. Огрех истории.

Но и из них ещё не обречены были те, кто был способен принимать жизнь *auf die leichte Schulter**.

Шли долгие годы обычной мирной жизни, а Вега жила и ходила как в постоянном противогазе, с головой, вечно стянутой враждебной резиной. Она просто одурела, она ослабла в нём — и сорвала противогаз.

Это выглядело так, что стала она человечнее жить: разрешила себе быть приятной, внимательно одевалась, не убегала от встреч с людьми.

Есть высокое наслаждение в верности. Может быть — самое высокое. И даже пусть о твоей верности не знают. И даже пусть не ценят.

Но чтоб она двигала что-то!

А если — ничего не движет? Никому не нужна?..

Как ни велики круглые глаза противогаза — через них плохо и мало видно. Без противогазных стёкол Вега могла бы рассмотреть лучше.

Но — не рассмотрела. Безопытная, она ударилась больно. Непредосторожная, оступилась. Эта короткая недостойная близость не только не облегчила, не осветила её жизни, — но перепятнала, но унизила, но цельность её нарушила, но стройность разломила.

А забыть теперь невозможно. А стереть нельзя.

Нет, принимать жизнь лёгкими плечами — не её была участь. Чем хрупче удался человек, тем больше десятков, даже сотен совпадающих обстоятельств нужно, чтоб он мог сблизиться с подобным себе. Каждое новое совпадение лишь на немного увеличивает близость. Зато одно-единственное расхождение может сразу всё

* С лёгкостью (*идиом.* — на легкие плечи) (*нем.*)

развалить. И это расхождение так рано всегда наступает, так явно выдвигается. Совсем не у кого было почерпнуть: как же быть? как же жить?

Сколько людей, столько дорог.

Очень ей советовали взять на воспитание ребёнка. Подолгу и обстоятельно она толковала с разными женщинами об этом, и уже склонили её, уже она загорелась, уже наезжала в детприёмники.

И всё-таки отступилась. Она не могла полюбить ребёнка вот так сразу — от решимости, от безвыходности. Опаснее того: она могла разлюбить его позже. Ещё опаснее: он мог вырасти совсем чужой.

Вот если бы собственную, настоящую дочь! (Дочь, потому что её можно вырастить по себе, мальчика так не вырастишь.)

Но ещё раз пройти этот вязкий путь с чужим человеком она тоже не могла.

Она просидела в кресле до полуночи, ничего не сделав из того, что с вечера просилось в руки, и света даже не зажгла. Вполне было ей светло от шкалы приёмника — и очень хорошо думалось, глядя на эту мягкую зелень и чёрные чёрточки.

Она слушала много пластинок и самые щемящие из них выслушала легко. И — марши слушала. И марши были — как триумфы, во тьме внизу проходящие перед ней. А она в старом кресле с высокой торжественной спинкой, подобрав под себя бочком лёгкие ноги, сидела победительницей.

Она прошла через четырнадцать пустынь — и вот дошла. Она прошла через четырнадцать лет безумия — и вот оказалась права!

Именно сегодня новый законченный смысл приобрела её многолетняя верность.

Почти-верность. Можно принять как верность. В главном — верность.

Но именно теперь она ощутила умершего как мальчика, не как сегодняшнего сверстника, не как мужчину, — без этой косящей тяжести мужской, в которой только и есть пристанище женщине. Он не видел ни всей войны, ни конца её, ни потом многих тяжёлых лет, он остался юношей с незащищёнными чистыми глазами.

Она легла — и не сразу спала, и не тревожилась, что мало сегодня поспит. А когда заснула, то ещё просыпалась, и виделось ей много снов, что-то уж очень много для одной ночи. И некоторые из них совсем были ни к чему, а некоторые она старалась удержать при себе до утра.

Утром проснулась — и улыбалась.

В автобусе её теснили, давили, толкали, наступали на ноги, но она без обиды терпела всё.

Надев халат и идя на пятиминутку, она с удовольствием увидела ещё издали во встречном нижнем коридоре крупную, сильную и мило-смешную фигуру гориллоида — Льва Леонидовича, она ещё не видела его после Москвы. Как бы непомерно тяжёлые, слишком большие руки свисали у него, чуть не перетягивая и плеч, и были как будто пороком фигуры, а на самом деле украшением её. На его эшелонированной голове с оттянутым назад куполом, и очень крупною лепкой, сидела белая шапочка-пилотка — как всегда небрежно, никчемушне, с какими-то ушками, торчащими сзади, и с пустой смятой вершинкой. Грудь же его, обтянутая неразрезным халатом, была как грудь танка, выкрашенного под снег. Он шёл, как всегда щурясь, с угрозно-строгим выражением, но Вега знала, что лишь немного надо переместиться его чертам — и это будет усмешка.

Так они и переместились, когда Вера и Лев Леонидович разом вышли из встречных коридоров и сошлись у низа лестницы.

— Как я рада, что ты вернулся! Тебя тут просто не хватало! — первая сказала ему Вера.

Он явственней улыбнулся и опущенной рукой там где-то внизу поймал её за локоть, повернул на лестницу.

— Что ты такая весёлая? Обрадуй меня.

— Да нет, просто так. Ну, как съездил?

Лев Леонидович вздохнул:

— И хорошо, и расстройство. Берedit Москва.

— Ну, расскажешь подробно.

— Пластинок тебе привёз. Три штуки.

— Что ты? Какие?

— Ты же знаешь, я этих Сен-Сансов путаю... В общем, в ГУМе теперь отдел долгоиграющих, я твой списочек отдал, она мне три штуки завернула. Завтра принесу. Слушай, Веруся, пойдём сегодня на суд.

— На какой суд?

— Ничего не знаешь? Хирурга будут судить, из третьей больницы.

— Настоящий суд?

— Пока товарищеский. Но следствие шло восемь месяцев.

— А за что же?

Сестра Зоя, сменившаяся с ночного дежурства, спускалась по лестнице и поздоровалась с обоими, крупно сверкнув жёлтыми ресницами.

— После операции умер ребёнок... Я пока с московским разгоном — обязательно пойду, чего-нибудь нашумлю. А неделю дома поживёшь — уже хвост поджмается. Пойдём?

Но Вера не успела ни ответить, ни решить: уже надо было входить в комнату пятиминутку с зачехлёнными креслицами и ярко-голубой скатертью.

Вера очень ценила свои отношения со Львом. Наряду с Людмилой Афанасьевной это был самый близкий тут ей человек. В их отношениях то было дорогое, что таких почти не бывает между неженатым мужчиной и незамужней женщиной: Лев никогда ни разу не посмотрел особенно, не намекнул, не переступил, не позарился, уж тем более — она. Их отношения были безопасно-дружеские, совсем не напряжённые: одно всегда избегалось, не называлось и не обсуждалось между ними — любовь, женитьба и всё вокруг, как будто их на земле совсем не было. Лев Леонидович, наверно, угадывал, что именно такие отношения и нужны Веге. Сам он был когда-то женат, потом не женат, потом с кем-то «в дружбе», женская часть диспансера (то есть весь диспансер) любила обсуждать его, а сейчас, кажется, подозревали, не в связи ли он с операционной сестрой. Одна молодая хирургичка, Анжелика, точно это говорила, но её самое подозревали, что она добивается Льва для себя.

Людмила Афанасьевна всю пятиминутку угловатое что-то чертила на бумаге и даже прорывала пером. А Вера, наоборот, сидела сегодня спокойно, как никогда. Небывалую уравновешенность она чувствовала в себе.

Кончилось заседание — и она начала обход с большой женской палаты. У неё там было много больных, и Вера Корнильевна всегда долго их обходила. К каждой она садилась на койку, осматривала или негромко разговаривала, не претендуя, чтобы всё это время палата молчала, потому что затяжно бы получилось, да и невоз-

можно было женщин удержать. (В женских палатах надо было быть ещё тактичнее, ещё осмотрительнее, чем в мужских. Здесь не было так безусловно её врачебное значение и отличие. Стоило ей появиться в несколько лучшем настроении или слишком отдалиться бодрым заверениям, что всё кончится хорошо, — так, как этого требовала психотерапия, — и уже ощущала она неприкрытый взгляд или косвенную завесу зависти: «Тебе-то что! Ты — здорова. Тебе — не понять»). По той же психотерапии внушала она больным потерявшим женщинам не переставать следить за собой в больнице, укладывать причёски, подкрашиваться — но недобро бы встретили её, если б она увлеклась этим сама.)

Так и сегодня шла она от кровати к кровати, как можно скромнее, собраннее, и по привычке не слышала общего гулка, а только свою пациентку. Вдруг какой-то особенно расхлябанный, разляпистый голос раздался от другой стены:

— Ещё какие больные! Тут больные есть — кобелируют будь здоров! Вот этот лохматый, что ремнём подпоясан, — как ночное дежурство, так Зойку, медсестру, тискает!

— Что?.. Как?.. — переспросила Гангарт свою больную. — Ещё раз, пожалуйста.

Больная начала повторять.

(А ведь Зоя дежурила сегодня ночью! Сегодня ночью, пока горела зелёная шкала...)

— Вы простите меня, я вас попрошу: ещё раз, с самого начала, и обстоятельно!

26

Когда волнуется хирург, не новичок? Не в операциях. В операции идёт открытая честная работа, известно, что за чем, и надо только стараться всё вырезаемое убирать порадикальнее, чтоб не жалеть потом о недоделках. Ну, разве иногда внезапно осложнится, хлынет кровь, и вспомнишь, что Резерфорд умер при операции грыжи. Волнения же хирурга начинаются *после* операции, когда почему-то держится высокая температура, или не спадает живот, и теперь, на хвосте упускаемого времени, надо без ножа мысленно вскрыть, увидеть, понять и исправить — как свою ошибку. Безполезнее всего валить послеоперационное осложнение на случайную побочную причину.

Вот почему Лев Леонидович имел привычку ещё до пятиминутки забегать к своим послеоперационным, глянуть одним глазом.

В канун операционного дня предстоял долгий общий обход, и не мог Лев Леонидович ещё полтора часа не знать, что с его желудочным и что с Дёмкой. Он заглянул к желудочному — всё было неплохо; сказал сестре, чем его поить и по сколько. И в соседнюю крохотную комнатку, всего на двоих, заглянул к Дёмке.

Второй здесь поправлялся, уже выходил, а Дёмка лежал серый, укрытый по грудь, на спине. Он смотрел в потолок, но не успокоенно, а тревожно, собрав с напряжением все мускулы вокруг глаз, как будто что-то мелкое хотел и не мог разглядеть на потолке.

Лев Леонидович молча остановился, чуть ноги расставив, чуть избоку к Дёмке, и, развесив длинные руки, правую даже отведя немного, смотрел исподлобья, будто примерялся: а если Дёмку сейчас трахнуть правой снизу в челюсть — так что будет?

Дёмка повернул голову, увидел — и рассмеялся.

И угрозно-строгое выражение хирурга тоже легко раздвинулось в смех. И Лев Леонидович подмигнул Дёмке одним глазом как парню своему, понимающему:

— Значит, ничего? Нормально?

— Да где ж нормально? — Много мог пожаловаться Дёмка. Но, как мужчина мужчине, жаловаться было не на что.

— Грызёт?

— У-гм.

— И в том же месте?

— У-гм.

— И ещё долго будет, Дёмка. Ещё на будущий год будешь за пустое место хвататься. Но когда грызёт, ты всё-таки вспоминай: *нету!* И будет легче. Главное то, что теперь ты будешь ж и т ь , понял? А нога — *туда!*

Так облегчённо это сказал Лев Леонидович! И действительно, сразу гнетучую — туда её! Без неё легче.

— Ну, мы ещё у тебя будем!

И уметнулся на пятиминутку — уже последний, опаздывая (Низамутдин не любил опозданий), быстро расталкивая воздух. Халат на нём был спереди кругло-охватывающий, сплошной, а сзади полы никак не сходились, и поворозки перетягивались через спину пиджака. Когда он шёл по клинике один, то всегда быстро, по лестнице через ступеньку, с простыми крупными движениями рук и ног, — и именно по этим крупным движениям

судили больные, что он тут не околачивается и не для себя время проводит.

А дальше началась пятиминутка на полчаса. Низамутдин достойно (для себя) вошёл, достойно (для себя) поздоровался и стал с приятностью (для себя) неторопливо вести заседание. Он явно прислушивался к своему голосу и при каждом жесте и повороте, очевидно, видел себя со стороны — какой он солидный, авторитетный, образованный и умный человек. В его родном ауле о нём творили легенды, известен он был и в городе, и даже в газете о нём упоминали иногда.

Лев Леонидович сидел на отставленном стуле, заложив одну длинную ногу за другую, а растопыренные лапы всунул под жгут белого пояска, завязанного у него на животе. Он криво хмурился под своей шапочкой-пилоткой, но так как он перед начальством чаще всего и бывал хмур, то главврач не мог принять этого на свой счёт.

Главврач понимал своё положение не как постоянную, неусыпную и изнурительную обязанность, но как постоянное красование, награды и клавиатуру прав. Он назывался главврач и верил, что от этого названия он действительно становится главный врач, что он тут понимает больше остальных врачей, ну, может быть, не до самых деталей, что он вполне вникает, как его подчинённые лечат, и, только поправляя и руководя, оберегает их от ошибок. Вот почему он так долго должен был вести пятиминутку, впрочем, очевидно, приятную и для всех. И поскольку права главврача так значительно и так удачно перевешивали его обязанности, он и на работу к себе в диспансер принимал — администраторов, врачей или сестёр — очень легко: именно тех, о ком звонили ему и просили из облздрави, или из горкома, или из института, где он рассчитывал вскоре защитить диссертацию; или где-нибудь за ужином в хорошую минуту кого он пообещал принять; или если принадлежал человек к той же ветви древнего рода, что и он сам. А если начальники отделений возражали ему, что новопринятый ничего не знает и не умеет, то ещё более их удивлялся Низамутдин Бахрамович: «Так научите, товарищи! А вы-то здесь зачем?»

С той сединой, которая с известного десятка лет равнодушно-благородным нимбом окружает головы талантов и тупиц, самоотверженцев и загребал, трудяг и бездельников; с той представительностью и успокоенностью, которыми вознаграждает нас природа за неиспытанные муки мысли; с той круглой ровной смуглостью,

которая особенно идёт к седине, — Низамутдин Бахрамович рассказывал своим медицинским работникам, что плохо в их работе и как вернее им бороться за драгоценные человеческие жизни. И на казённых прямоспинных диванах, на креслах и на стульях за скатертью синевы павлиньего пера сидели и с видимым вниманием слушали Низамутдина — те, кого ещё он не управился уволить, и те, кого он уже успел принять.

Хорошо видный Льву Леонидовичу, сидел курчавый Халмухамедов. У него был вид как будто с иллюстраций к путешествиям капитана Кука, будто он только что вышел из джунглей: дремучие поросли сплелись на его голове, чёрно-угольные вкрапины отмечали бронзовое лицо, в дико-радостной улыбке открывались крупные белые зубы, и лишь не было — но очень не хватало — кольца в носу. Да дело было, конечно, не в виде его, как и не в аккуратном дипломе мединститута, а в том, что ни одной операции он не мог вести не загубя. Раза два допустил его Лев Леонидович — и навсегда закаялся. А изгнать его тоже было нельзя — это был бы подрыв национальных кадров. И вот Халмухамедов четвёртый год вёл истории болезней, какие попроще, с важным видом присутствовал на обходах, на перевязках, дежурил (спал) по ночам и даже последнее время занимал полторы ставки, уходя, впрочем, в конце одинарного рабочего дня.

Ещё сидели тут две женщины с дипломами хирургов. Одна была — Пантёхина, чрезвычайно полная, лет сорока, всегда очень озабоченная, — тем озабоченная, что у неё росло шестеро детей от двух мужей, а денег не хватало, да и догляду тоже. Эти заботы не сходили с её лица и в так называемые служебные часы — то есть те часы, которые она должна была для зарплаты проводить в помещении диспансера. Другая — Анжелина, молоденькая, третий год из института, маленькая, рыженькая, недурна собой, возненавидевшая Льва Леонидовича за его невнимание к ней и теперь в хирургическом отделении главный против него интриган. Обе они ничего не могли делать выше амбулаторного приёма, никогда нельзя было доверить им скальпеля — но тоже были важные причины, по которым ни ту, ни другую главврач не уволил бы никогда.

Так числилось пять хирургов в отделении, и на пять хирургов рассчитывались операции, а делать могли только двое.

И ещё сёстры сидели тут, и некоторые были под стать этим врачам, но их тоже принял и защищал Низамутдин Бахрамович.

Порою так всё стискивало Льва Леонидовича, что работать тут становилось больше нельзя ни дня, надо было только рвать и уходить! Но куда ж уходить? Во всяком новом месте будет свой главный, может ещё похуже, и своя надутая чушь, и свои неработники вместо работников. Другое дело было бы принять отдельную клинику и в виде оригинальности всё поставить только на деловую ногу: чтобы все, кто числился, — работали, и только б тех зачислять, кто нужен. Но не таково было положение Льва Леонидовича, чтобы ему доверили стать главным, или уж где-нибудь очень далеко, а он и так сюда от Москвы заехал неблизко.

Да и само по себе руководить он ничуть не стремился. Он знал, что шкура администратора мешает разворотливой работе. А ещё и не забылся период в его жизни, когда он видел павших и на них познал тщету власти: он видел комдивов, мечтавших стать дневальными, а своего первого практического учителя, хирурга Корякова, выгнали из помойки.

Порою же как-то смягчало, сглаживалось, и казалось Льву Леонидовичу, что терпеть можно, уходить не надо. И тогда он, напротив, начинал опасаться, что его самого, и Донцову, и Гангарта вытеснят, что дело к этому идёт, что с каждым годом обстановка будет не проще, а сложнее. А ему уже нелегко было переносить изломы жизни: шло всё-таки к сорока, и тело уже требовало комфорта и постоянства.

Он вообще находился в недоумении относительно собственной жизни. Он не знал, надо ли ему сделать героический рывок или тихо плыть, как плывётся. Не здесь и не так начиналась его серьёзная работа — она начиналась с отменным размахом. Был год, когда он находился от сталинской премии уже в нескольких метрах. И вдруг весь их институт лопнул от натяжек и от поспешности, и оказалось, что даже кандидатская диссертация не защищена. Отчасти это Коряков его когда-то так наставил: «Вы — работайте, работайте! *Написать* всегда успеете». А — когда «успеете»?

Или — на чёрта и писать?..

Лицом, однако, не выражая своего неодобрения главврачу, Лев Леонидович шурился и как будто слушал. Тем более что предлагалось ему в следующем месяце провести первую операцию на грудной клетке.

Но всё кончается! — кончилась и пятиминутка. И, постепенно выходя из комнаты совещаний, хирурги собрались на площадке верхнего вестибюля. И, всё так же держа лапы подсунутыми под

поясок на животе, Лев Леонидович, как хмурый рассеянный полководец, повёл за собою на большой обход седую тростиночку Евгению Устиновну, буйно-курчавого Халмухамедова, толстую Пантёхину, рыженькую Анжелину и ещё двух сестёр.

Бывали обходы-облёты, когда надо было спешить работать. Спешить бы надо и сегодня, но сегодня был по расписанию медленный всеобщий обход, не пропуская ни одной хирургической койки. И все семеро они медленно входили в каждую палату, окунаясь в воздух, спёртый от лекарственных душевных примесей, от неохотного проветривания и от самих больных, — теснились и сторонились в узких проходах, пропуская друг друга, а потом смотря друг другу через плечо. И, собравшись кружком около каждой койки, они должны были в одну, в три или в пять минут все войти в боли этого одного больного, как они уже вошли в их общий тяжёлый воздух, — в боли его, и в чувства его, и в его анамнез, в историю болезни и в ход лечения, в сегодняшнее его состояние и во всё то, что теория и практика разрешали им делать дальше.

И если б их было меньше; и если б каждый из них был наилучший у своего дела; и если б не по тридцать больных приходилось на каждого лечащего; и если б не запорашивало им голову, что́ и как удобнее всего записать в прокурорский документ — в историю болезни; и если б они не были люди, то есть прочно включённые в свою кожу и кости, в свою память и в свои намерения существа, испытывающие облегчение от сознания, что сами они этим болям не подвержены; — то, пожалуй, и нельзя было бы придумать лучшего решения, чем такой вот обход.

Но условий этих всех не было, обхода же нельзя было ни отменить, ни заменить. И потому Лев Леонидович вёл их всех по заведенному и, шурясь, одним глазом больше, покорно выслушивал от лечащего о каждом больном (и не наизусть, а по папочке) — откуда он, когда поступил (о давнишних это давно было и известно), по какому поводу поступил, какой род лечения получает, в каких дозах, какова у него кровь, уже ли намечен к операции, и что мешает, или вопрос ещё не решён. Он выслушивал, и ко многим садился на койку, некоторых просил открыть больное место, смотрел, щупал, после прощупа сам же заворачивал на больное одеяло или предлагал пощупать и другим врачам.

Истинно трудных случаев на таком обходе нельзя было решить — для того надо было человека вызвать и заниматься им

отдельно. Нельзя было на обходе и высказать, назвать всё прямо, как оно есть, и потому понятно договориться друг с другом. Здесь даже нельзя было ни о ком сказать, что состояние ухудшилось, разве только: «процесс несколько обострился». Здесь всё называлось полунамёком, под псевдонимом (даже вторичным) или противоположно тому, как было на самом деле. Никто ни разу не только не сказал «рак» или «саркома», но уже и псевдонимов, ставших больным полупонятными, — «канцер», «канцерома», «цэ-эр», «эс-а» — тоже не произносили. Называли вместо этого что-нибудь безобидное: «язва», «гастрит», «воспаление», «полипы» — а что кто под этим словом понял, можно было вполне объясниться только уже после обхода. Чтобы всё-таки понимать друг друга, разрешалось говорить такое, как: «расширена тень средостения», «тимпанит», «случай не резектабельный», «не исключён летальный исход» (а значило: как бы не умер на столе). Когда всё-таки выражений не хватало, Лев Леонидович говорил:

— Отложите историю болезни.

И переходили дальше.

Чем меньше они могли во время такого обхода понять болезнь, понять друг друга и условиться — тем больше Лев Леонидович придавал значения подбодрению больных. В подбодрении он даже начинал видеть главную цель такого обхода.

— *Status idem*, — говорили ему. (Значило: всё в том же положении.)

— Да? — обрадованно откликнулся он. И уже у самой больной спешил удостовериться: — Вам легче немножко?

— Да пожалуй, — удивляясь, соглашалась и больная. Она сама этого не заметила, но если врачи заметили, то так, очевидно, и было.

— Ну вот видите! Так постепенно и поправитесь.

Другая больная полошилась:

— Слушайте! Почему у меня так позвоночник болит? Может, и там у меня опухоль?

— Это вторичное явление.

(Он правду говорил: метастаз и был вторичным явлением.)

Над страшным обострившимся стариком, мертвецки-серым и еле движущим губами в ответ, ему докладывали:

— Больной получает общеукрепляющее и болеутоляющее.

То есть: конец, лечить поздно, нечем, и как бы только меньше ему страдать.

И тогда, сдвинув тяжёлые брови и будто решаясь на трудное объяснение, Лев Леонидович приоткрывал:

— Давайте, папаша, говорить откровенно, начистоту! Всё, что вы испытываете, — это реакция на предыдущее лечение. Но не торопите нас, лежите спокойно — и мы вас вылечим. Вы лежите, вам как будто ничего особенно не делают, но организм с нашей помощью защищается.

И обречённый кивал. Откровенность оказывалась совсем не убийственной! — она засвечивала надежду.

— В подвздошной области туморозное образование вот такого типа, — докладывали Льву Леонидовичу и показывали рентгеновский снимок.

Он смотрел чёрно-мутно-прозрачную рентгеновскую плёнку на свет и одобряюще кивал:

— Оч-чень хороший снимок! Очень хороший! Операция в данный момент не нужна.

И больная ободрялась: с ней не просто хорошо, а — очень хорошо.

А снимок был потому очень хорош, что не требовал повторения, он бесспорно показывал размеры и границы опухоли. И что операция — уже невозможна, упущена.

Так все полтора часа генерального обхода заведующий хирургическим отделением говорил не то, что думал, следил, чтоб тон его не выражал его чувств, — и вместе с тем чтобы лечащие врачи делали правильные заметки для истории болезни — той сшивки полукартонных бланков, исписанных от руки, застромчивых под пером, по которой любого из них могли потом судить. Ни разу он не поворачивал резко головы, ни разу не взглядывал тревожно, и по доброжелательно-скупающему выражению Льва Леонидовича видели больные, что уж очень просты их болезни, давно известны, а серьёзных нет.

И от полутора часов актёрской игры, совмещённой с деловым размышлением, Лев Леонидович устал и расправляюще двигал кожей лба.

Но старуха пожаловалась, что её давно не обстукивали, — и он её обстукал.

А старик объявил:

— Так! Я вам скажу немного!

И стал путано рассказывать, как он сам понимает возникновение и ход своих болей. Лев Леонидович терпеливо слушал и даже кивал.

— Теперь хотели вы сказать! — разрешил ему старик.

Хирург улыбнулся:

— Что ж мне говорить? У нас с вами интересы совпадают. Вы хотите быть здоровым, и мы хотим, чтобы вы были здоровы. Давайте и дальше действовать согласованно.

С узбеками он самое простое умел сказать и по-узбекски. Очень интеллигентную женщину в очках, которую даже неловко было видеть на койке и в халате, он не стал осматривать публично. Мальчишке маленькому при матери серьёзно подал руку. Семилетнего стукнул щелчком в живот, и засмеялись вместе.

И только учительнице, которая требовала, чтобы он вызвал на консультацию невропатолога, он ответил что-то не совсем вежливое.

Но это и палата уже была последняя. Он вышел усталый, как после доброй операции. И объявил:

— Перекур пять минут.

И с Евгенией Устиновной затащили в два дыма, так схватились, будто весь их обход только к этому и шёл (но строго говорили они больным, что табак канцерогенен и абсолютно противопоказан!).

Потом все зашли и уселись в небольшой комнатке за одним общим столом, и снова замелькали те же фамилии, которые были на обходе, но картина всеобщего улучшения и выздоровления, которую мог бы составить посторонний слушатель на обходе, здесь расстроилась и развалилась. У «*status idem*» случай был иноперабельный, и рентгенотерапию ей давали симптоматическую, то есть для снятия непосредственных болей, а совсем не надеясь излечить. Тот малыш, которому Лев Леонидович подавал руку, был инкурабельный, с генерализированным процессом, и лишь из-за настояния родителей следовало ещё несколько подержать его в больнице и дать ему псевдорентгеновские сеансы без тока в трубке. О той старухе, которая настояла выстукать её, Лев Леонидович сказал:

— Ей шестьдесят восемь. Если будем лечить рентгеном — может, дотянем до семидесяти. А соперлируем — она года не проживёт. А, Евгения Устиновна?

Уж если отказывался от ножа такой его поклонник, как Лев Леонидович, Евгения Устиновна согласна была тем более.

А он вовсе не был поклонник ножа. Но он был скептик. Он знал, что никакими приборами так хорошо не посмотришь, как простым глазом. И ничем так решительно не уберёшь, как ножом.

О том больном, который не хотел сам решать операцию, а просил, чтоб советовались с родственниками, Лев Леонидович теперь сказал:

— Родственники у него в глубинке. Пока свяжемся, да пока придут, да ещё что скажут, — он умрёт. Надо его уговорить и взять на стол, не завтра, но следующий раз. С большим риском, конечно. Сделаем ревизию, может — зашьём.

— А если на столе умрёт? — важно спросил Халмухамедов, так важно, будто он-то и рисковал.

Лев Леонидович пошевелил длинными сросшимися бровями сложной формы.

— То ещё «если», а без нас наверняка. — Подумал. — У нас пока отличная смертность, мы можем и рисковать.

Всякий раз он спрашивал:

— У кого другое мнение?

Но мнение ему было важно одной Евгении Устиновны. А при разнице опыта, возраста и подхода оно у них почти всегда сходилось, доказывая, что разумным людям легче всего друг друга понимать.

— Вот этой желтоволосой, — спросил Лев Леонидович, — неужели ничем уже не поможем, Евгения Устиновна? Обязательно удалять?

— Ничем. Обязательно, — пожалала изгибистыми накрашенными губами Евгения Устиновна. — И ещё хорошую порцию рентгенотерапии потом.

— Жалко! — вдруг выдохнул Лев Леонидович и опустил голову со сдвинутым кзади куполом, со смешной шапочкой. Как бы рассматривая ногти, ведя большим — очень большим — пальцем вдоль четырёх остальных, пробурчал: — У таких молодых отнимать — рука сопротивляется. Ощущение, что действуешь против природы.

Ещё концом указательного обвёл по контуру большого ногтя. Всё равно ничего не получалось. И поднял голову:

— Да, товарищи! Вы поняли, в чём дело с Шулубиным?

— Цэ-эр рэкти? — сказала Пантёхина.

— Цэ-эр рэкти, да, но как это обнаружено? Вот цена всей нашей онкопропаганде и нашим онкопунктам. Правильно как-то сказал Орещенков на конференции: тот врач, который брезгует вставить палец больному в задний проход, — вообще не врач! Как же у нас запущено всё! Шулубин таскался по разным амбулаториям и жаловался на частые позывы, на кровь, потом на боли — и у него все анализы брали, кроме самого простого — пощупать пальцем!

От дизентерии лечили, от геморроя — всё впустую. И вот в одной амбулатории по онкологическому плакату на стене он, человек грамотный, прочёл — и догадался! И *сам у себя* пальцем нащупал опухоль! Так врачи не могли на полгода раньше?

— И глубоко?

— Было сантиметров семь, как раз за сфинктером. Ещё вполне можно было сохранить мышечный жом, и человек остался бы человеком! А теперь — уже захвачен сфинктер, ретроградная ампутация, значит, будет неконтрольное выделение стула, значит, надо выводить анус на бок, что́ это за жизнь?.. Дядька хороший...

Стали готовить список завтрашних операций. Отмечали, кого из больных потенцировать, чем; кого в баню вести или не вести, кого как готовить.

— Чалого можно не потенцировать, — сказал Лев Леонидович. — Канцер желудка, а такое бодрое состояние, просто редкость.

(Знал бы он, что Чалый завтра утром будет сам себя потенцировать из флакона!)

Распределяли, кто у кого будет ассистировать, кто на крови. Опять неизбежно получалось так, что ассистировать у Льва Леонидовича должна была Анжелина. Значит, опять завтра она будет стоять против него, а сбоку будет сновать операционная сестра и, вместо того чтобы самой заранее угадывать, какой нужен инструмент, будет коситься на Анжелину, а Анжелина будет звериться, каковы они с операционной сестрой. А та — психовая, ту не тронь, она, смотри, нестерильного шёлка подхватит — и пропала вся операция... Проклятые бабы! И не знают простого мужского правила: там, где работаешь, там не...

Оплошные родители назвали девочку при рождении Анжелиной, не представляя, в какого она ещё демона вырастет. Лев Леонидович косился на славную, хотя и лисью, мордочку её, и ему хотелось произнести примирительно:

«Слушайте, Анжелина, или Анжела, как вам нравится! Ведь вы же совсем не лишены способностей. Если бы вы обратили их не на происки по замужеству, а на хирургию — вы бы уже совсем неплохо работали. Слушайте, нельзя же нам ссориться, ведь мы стоим у одного операционного стола...»

Но она бы поняла так, что он утомлён её кампанией и сдаётся.

Ещё ему хотелось подробно рассказать о вчерашнем суде. Но Евгении Устиновне он коротко начал во время курения, а этим товарищам по работе даже и рассказывать не хотелось.

И едва кончилась их планёрка, Лев Леонидович встал, закурил и, крупно помахивая избыточными руками и рассекая воздух облитой белой грудью, скорым шагом пошёл в коридор к лучевикам. Хотелось ему всё рассказать именно Вере Гангарт. В комнате короткофокусных аппаратов он застал её вместе с Донцовой за одним столом, за бумагами.

— Вам пора обеденный перерыв делать! — объявил он. — Дайте стул!

И, подбросив стул под себя, сел. Он расположился весело, дружески поболтать, но заметил:

— Что это вы ко мне какие-то неласковые?

Донцова усмехнулась, крутя на пальце большими роговыми очками:

— Наоборот, не знаю, как вам понравиться. Оперировать меня будете?

— Вас? Ни за что!

— Почему?

— Потому что, если зарежу вас, скажут, что из зависти: что ваше отделение превосходило моё успехами.

— Никаких шуток, Лев Леонидович, я спрашиваю серьёзно.

Людмилу Афанасьевну правда трудно было представить шутящей.

Вера сидела печальная, подобранная, плечи сжав, будто немного зябла.

— На днях будем Людмилу Афанасьевну смотреть, Лев. Оказывается, у неё давно болит желудок, а она молчит. Онколог, называется!

— И вы уж, конечно, выбрали все показания в пользу канцера, да? — Лев Леонидович изогнул свои диковинные, от виска до виска, брови. В самом простом разговоре, где ничего смешного не было, его обычное выражение была насмешка, неизвестно над кем.

— Ещё не все, — призналась Донцова.

— Ну, какие, например?

Та назвала.

— Мало! — определил Лев Леонидович. — Как Райкин говорит: ма́-ла! Пусть вот Верочка подпишет диагноз — тогда будем разговаривать. Я скоро буду получать отдельную клинику — и заберу у вас Верочку диагностом. Отдадите?

— Верочку ни за что! Берите другую!

— Никакую другую, только Верочку! За что ж вас тогда оперировать?

Он шутиливо смотрел и болтал, дотягивая папиросу до доньшика, а думал совсем без шутки. Как говорил всё тот же Коряков: молод — опыта нет, стар — сил нет. Но Гангарт сейчас была (как и он сам) в том вершинном возрасте, когда уже налился колос опыта и ещё прочен стебель сил. На его глазах она из девочки-ординатора стала таким схватчивым диагностом, что он верил ей не меньше, чем самой Донцовой. За такими диагностами хирург, даже скептик, живёт как у Христа за пазухой. Только у женщины этот возраст ещё короче, чем у мужчины.

— У тебя завтрак есть? — спрашивал он у Веры. — Ведь всё равно не съешь, домой понесёшь. Давай я съем!

И действительно, смех смехом, появились бутерброды с сыром, и он стал есть, угощая:

— Да вы тоже берите!.. Так вот был я вчера на суде. Надо было вам прийти, поучительно! В здании школы. Собралось человек четыреста, ведь интересно!.. Обстоятельства такие: была операция ребёнку по поводу высокой непроходимости кишок, заворот. Сделана. Несколько дней ребёнок жил, уже играл! — установлено. И вдруг — снова частичная непроходимость и смерть. Восемь месяцев этого несчастного хирурга трепали следствием — как он там эти месяцы оперировал! Теперь на суд приезжают из горздрава, приезжает главный хирург города, а общественный обвинитель — из мединститута, слышите? И фугует: преступно-халатное отношение! Тянут в свидетели родителей — тоже нашли свидетелей! — какое-то там одеяло было перекошено, всякую глупость! А масса, граждане наши, сидят газеют: вот гады врачи! И среди публики — врачи, и понимаем всю глупость, и видим это затягивание неотвратимое: ведь это нас самих затягивают, сегодня ты, а завтра я! — и молчим. И если б я не только что из Москвы — наверно, тоже бы промолчал. Но после свежего московского месяца как-то другие масштабы, свои и местные, чугунные перегородки оказываются подгнившими деревянными. И я — полез выступать.

— Там можно выступать?

— Ну да, вроде прений. Я говорю: как вам не стыдно устраивать весь этот спектакль? (Так и крошу! Меня одёргивают: «лишим слова!») Вы уверены, что судебную ошибку не так же легко сделать, как медицинскую?! Весь этот случай есть предмет разбирательства *научного*, а никак не *судебного*! Надо было

собрать только врачей — на квалифицированный научный разбор. Мы, хирурги, каждый вторник и каждую пятницу идём на риск, на минное поле идём! И наша работа вся основана на доверии, мать должна доверять нам ребёнка, а не выступать свидетелем в суде!

Лев Леонидович и сейчас разволновался, в горле его дрогнуло. Он забыл недоеденный бутерброд и, рвя полупустую пачку, вытянул папиросу и закурил.

— И это ещё — русский хирург! А если бы был немец или, вот скажем, жьждид, — протянул он мягко и долго «ж», выставляя губы, — так повесить, чего ждать?.. Аплодировали мне! Но как же можно молчать? Если уж петлю затягивают — так надо рвать, чего ждать?!

Вера потрясённо качала и качала головой вслед рассказу. Глаза её становились умно-напряжёнными, понимающими, за что и любил Лев Леонидович ей всё рассказывать. А Людмила Афанасьевна недоумённо слушала и трянула большой головой с пепелистыми стриженными волосами:

— А я не согласна! А как с нами, врачами, можно разговаривать иначе? Там салфетку в живот зашили, забыли! Там влили физиологический раствор вместо новокаина! Там гипсом ногу омертвили! Там в дозе ошиблись в десять раз! Иногруппную кровь переливаем! Ожоги делаем! Как с нами разговаривать? Нас за волосы надо таскать, как детей!

— Да вы меня убиваете, Людмила Афанасьевна! — пятерню большую, как защищаясь, поднял к голове Лев Леонидович. — Да как можете так говорить — вы!? Да здесь вопрос, выходящий даже за медицину! Здесь — борьба за характер всего общества!

— Надо вот что! надо вот что! — мирила их Гангарт, улавливая руки обоих от размахиваний. — Надо, конечно, повесить ответственность врачей, но через то, что снизить им норму — в два раза! в три раза! Девять больных в час на амбулаторном приёме — это разве в голове помещается? Дать возможность спокойно разговаривать с больными, спокойно думать. Если операция — так одному хирургу в день — одна, не три!

Но ещё и ещё Людмила Афанасьевна и Лев Леонидович выкрикнули друг другу, не соглашаясь. Всё же Вера их успокоила и спросила:

— Чем же кончилось?

Лев Леонидович разощурился, улыбнулся:

— Отстояли! Весь суд — на пшик, признали только, что неправильно велась история болезни. Но подождите, это ещё не конец! После приговора выступает горздрав — ну, там: плохо воспитываем врачей, плохо воспитываем больных, мало профсоюзных собраний. И в заключение выступает главный хирург города! И что ж он из всего вывел? что понял? Судить врачей, говорит, это *хорошее начинание*, товарищи, очень хорошее!..

27

Был обычный будний день и обход обычный: Вера Корнильевна шла к своим лучевым одна, и в верхнем вестибюле к ней присоединилась сестра.

Сестра же была — Зоя.

Они постояли немного около Сибгатова, но так как здесь всякий новый шаг решался самою Людмилой Афанасьевой, то долго не задержались и вошли в палату.

Они, оказывается, были в точности одинакового роста: на одном и том же уровне и губы, и глаза, и шапочки. Но так как Зоя была гораздо плотней, то казалась и крупнее. Можно было представить, что через два года, когда она будет сама врачом, она будет выглядеть осанистее Веры Корнильевны.

Они пошли по другому ряду, и всё время Олег видел только их спины, да черно-русый узелок волос из-под шапочки Веры Корнильевны, да золотые колечки из-под шапочки Зои.

Но и на эти колечки он уже два ночных её дежурства не выходил. Никогда она не сказала, но зинуло вдруг ему, что вся неуступчивость её, такая досадно-промедлительная, так обижавшая его, — совсем не кокетство, а страх: переступить черту от не вечного — к вечному. Он ведь — *вечный*. С вечным — какая игра?

А уж на этой черте Олег трезвел во мгновение: уж какие мы есть.

Весь тот ряд был сегодня лучевой, и они медленно продвигались, Вера Корнильевна садилась около каждого, смотрела, разговаривала.

Ахмаджану, осмотрев его кожу и все цифры в истории болезни и на последнем анализе крови, Вера Корнильевна сказала:

— Ну, скоро кончим рентген! Домой поедешь!

Ахмаджан сиял зубами.

— Ты где живёшь?

— Карабаир.

— Ну, вот и поедешь.

— Выздоровел? — сиял Ахмаджан.

— Выздоровел.

— Совсем?

— Пока совсем.

— Значит, не приеду больше?

— Через полгода приедешь.

— Зачем, если совсем?

— Покажешься.

Так и прошла она весь ряд, ни разу не повернувшись в сторону Олега, всё время спиной. И всего разок в его угол глянула Зоя.

Она посмотрела с особенной лёгкостью, ею усвоенной с какого-то времени. И на обходах она всегда находила такой момент, когда он один видел её глаза, — и тогда посылала ему, как сигналы Морзе, коротенькие вспышки весёлости в глазах, вспышки-тире и вспышки-точки.

Но именно по этой возросшей лёгкости Олег однажды и догадался: что это — не колесо дальше прокатывалось, а потому так легко, что уж чересчур трудно, по добровольности — переступ невозможный.

Да ведь правда, если это вольное племя не может бросить квартиру в Ленинграде — то ведь и здесь? Конечно, счастье — с кем, а не где, но всё же в большом городе...

Близ Вадима Вера Корнильевна задержалась надолго. Она смотрела его ногу и щупала пах, оба паха, и потом живот, и подвздошь, всё время спрашивая, что он чувствует, и ещё новый для Вадима задавала вопрос: что он чувствует после еды, после разной еды.

Вадим был сосредоточен, она тихо спрашивала, он тихо отвечал. Когда начались неожиданные для него прощупывания в правом подвздоши и вопросы о еде, он спросил:

— Вы — печень смотрите?

Он вспомнил, что мама перед отъездом как бы невзначай там же прощупала его.

— Всё ему надо знать, — покрутила головой Вера Корнильевна. — Такие грамотные больные стали — хоть белый халат вам отдавай.

С белой подушки, смоляноволосый, изжелта-смуглый, с прямо лежащею головой, Вадим смотрел на врача со строгим проницанием, как иконный отрок.

— Я ведь понимаю, — сказал он тихо. — Я ведь читал, в чём дело.

Так это без напора было сказано, без претензии, чтоб Гангарт с ним соглашалась или тотчас же бы ему всё объясняла, что она смутилась и слов не нашла, сидя на его кровати перед ним как виноватая. Он хорош был собой, и молод, и наверно очень способен, — и напоминал ей одного молодого человека в близко знакомой им семье, который долго умирал, с ясным сознанием, и никакие врачи не умели ему помочь, и именно из-за него Вера, ещё тогда восьмиклассница, передумала быть инженером и решила — врачом.

Но вот и она не могла помочь.

В баночке на окне у Вадима стоял чёрно-бурый настой чаги, на который с завистью приходили посмотреть другие больные.

— Пьёте?

— Пью.

Сама Гангарт не верила в чагу — просто никогда о ней раньше не слышали, не говорили, но во всяком случае она была безвредна, это не иссык-кульский корень. А если больной верил — то тем самым и полезна.

— Как с радиоактивным золотом? — спросила она.

— Всё-таки обещают. Может быть, на днях дадут, — также собранно и сумрачно говорил он. — Но ведь это, оказывается, не на руки, это ещё будут пересылать служебным порядком. Скажите, — он требовательно смотрел в глаза Гангарт, — через... две недели если привезут — метастазы уже будут в печени, да?

— Да нет, что вы! Конечно нет! — очень уверенно и оживлённо солгала Гангарт и, кажется, убедила его. — Если уж хотите знать, то это измеряется месяцами.

(Но зачем тогда она шупала подвздошьё? Зачем спрашивала, как переносит еду?..)

Склонялся Вадим поверить ей.

Если поверить — легче...

За то время, что Гангарт сидела на койке Вадима, Зоя от нечего делать, по соседству, повернула голову и посмотрела избоку книжку Олега на окне, потом на него самого и глазами что-то спросила. Но — непонятно что. Её спрашивающие глаза с поднятыми бровками выглядели очень мило, но Олег смотрел без выражения, без

ответа. Зачем теперь была вослед игра глазами, напоённый рентгеном, он не понимал. Для чего-чего, но для такой игры он считал себя староватым.

Он приготовился к подробному осмотру, как это шло сегодня, снял пижамную курточку и готов был стащить нижнюю сорочку.

Но Вера Корнильевна, кончив с Зацырко, вытирая руки и повернувшись лицом сюда, не только не улыбнулась Костоглову, не только не пригласила его к подробному рассказу, не присела к нему на койку, но и взглянула на него лишь очень мельком, лишь столько, сколько надо было, чтоб отметить, что теперь речь пойдёт о нём. Однако и за этот короткий перевод глаз Костоглов мог увидеть, как они отчуждены. Та особенная светлость и радость, которую они излучали в день перелива ему крови, и даже прежняя ласковая расположенность, и ещё прежнее внимательное сочувствие — всё разом ушло из них. Глаза опустели.

— Костоглов, — отметила Гангарт, смотря скорее на Русанова. — Лечение — то же. Вот странно, — и она посмотрела на Зою, — слабо выражена реакция на гормонотерапию.

Зоя пожалала плечами:

— Может быть, частная особенность организма?

Она так, очевидно, поняла, что с ней, студенткой предпоследнего курса, доктор Гангарт консультируется как с коллегой.

Но, прослушав зoiну идею мимо, Гангарт спросила её, явно не консультируясь:

— Насколько аккуратно делаются ему уколы?

Быстрая на понимание, Зоя чуть откинула голову, чуть расширила глаза и — жёлто-карими, выкаченными, честно-удивлёнными — открыто в упор смотрела на врача:

— А какое может быть сомнение?.. Все процедуры, какие полагаются... всегда! — Ещё бы немножко, и она была бы просто оскорблена. — Во всяком случае, в мои дежурства...

О других дежурствах её и не могли спрашивать, это понятно. А вот это «во всяком случае» она произнесла одним свистом, и именно слившиеся торопливые звуки убедили почему-то Гангарт, что Зоя лжёт. Да кто-то же должен был пропускать уколы, если они не действовали во всю полноту! Это не могла быть Мария. Не могла быть Олимпиада Владиславовна. А на ночных дежурствах Зои, как известно...

Но по смелому, готовому к отпору взгляду Зои Вера Корнильевна видела, что доказать ей этого будет нельзя, что Зоя уже решила:

этого ей не докажут! И вся сила отпора и вся решимость Зои отречься были таковы, что Вера Корнильевна не выдержала и опустила глаза.

Она всегда опускала их, если думала о человеке неприятное.

Она виновато опустила глаза, а Зоя, победив, ещё продолжала испытывать её оскорблённым прямодушным взглядом.

Зоя победила — но и тут же поняла, что нельзя так рисковать: что, если приступит с расспросами Донцова, а кто-нибудь из больных, например Русанов, подтвердит, что она никаких уколов Костоглову не делает, — ведь так можно и потерять место в клинике, и получить дурной отзыв в институт.

Риск — а во имя чего? Колесу игры было некуда дальше катиться. И взглядом, расторгающим условие не делать уколов, Зоя прошла по Олегу.

Олег же явно видел, что Вега не хочет на него даже смотреть, но совершенно не мог понять — отчего это, почему так внезапно? Кажется, ничего не произошло. И никакого перехода не было. Вчера, правда, она отвернулась от него в вестибюле, но он думал — случайность.

Это — женские характеры, он совсем их забыл! Всё в них так дуноул — и уже нету. Только с мужиками и могут быть долгие ровные нормальные отношения.

Вот и Зоя, взмахнув ресницами, уже его упрекала. Струсила. И если начнутся уколы — что́ между ними ещё может остаться, какая тайна?

Но что хочет Гангарт? — чтоб он обязательно делал все уколы? Да почему они ей так дались? За её расположение — не велика ли цена?.. Пошла она... дальше!

А Вера Корнильевна тем временем заботливо, тепло разговаривала с Русановым. Этой теплотой особенно выделялось, как же она была обрывиста с Олегом.

— Вы у нас теперь к уколам привыкли. Переносите свободно, наверно — и кончать не захотите, — шутила она.

(Ну и лебези, подумаешь!)

Ожидая врача к себе, Русанов видел и слышал, как перерекнулись Гангарт и Зоя. Он-то, по соседству, хорошо знал, что девчонка врёт ради своего кобеля, это у них сговор с Огloedом. И если б только шло об одном Огloedе, Павел Николаевич наверно бы шепнул врачам — ну, не открыто на обходе, а хотя бы в их кабинете. Но Зойке он портить не решался, вот странно: за месячное лежание

тут он понял, что даже ничтожная сестра может очень больно досадить, отомстить. Здесь, в больнице, своя система подчинения, и пока он тут лежал — не следовало заводиться даже и с сестрой из-за постороннего пустяка.

А если Оглоед по дурусти отказывается от уколов — так пусть ему и будет хуже. Пусть он хоть и подохнет.

Про себя же Русанов знал твёрдо, что он теперь не умрёт. Опухоль быстро спадала, и он с удовольствием ждал каждый день обхода, чтобы врачи подтверждали ему это. Подтвердила и сегодня Вера Корнильевна, что опухоль продолжает спадать, лечение идёт хорошо, а слабость и головные боли — это он со временем переберет. И она ещё крови ему перельёт.

Теперь Павлу Николаевичу было дорого свидетельство тех больных, которые знали его опухоль с самого начала. Если не считать Оглоеда, в палате оставался такой Ахмаджан, да вот ещё на днях вернулся и Федерату из хирургической палаты. Заживление у него на шее шло хорошо, не как у Поддуева когда-то, и бинтовой обмот от перевязки к перевязке уменьшался. Федерату пришёл на койку Чалого и так оказался вторым соседом Павла Николаевича.

Само по себе это было, конечно, унижение, издевательство судьбы: Русанову лежать между двух ссыльных. И каким Павел Николаевич был до больницы — он пошёл бы и ставил бы вопрос принципиально: можно ли так перемешивать руководящих работников и тёмный социально-вредный элемент. Но за эти пять недель, протащенный опухолью, как крючком, Павел Николаевич подобрел или попростел, что ли. К Оглоеду можно было держаться и спиной, да он теперь был малозвучен и шевелился мало, всё лежал. А Федерату, если к нему отнестись снисходительно, был сосед терпимый. Прежде всего он восторгался, как упала опухоль Павла Николаевича — до одной трети прежней величины, и по требованию Павла Николаевича снова и снова смотрел, снова и снова оценивал. Он был терпелив, не дерзок и, ничуть не возражая, всегда готов был слушать, что Павел Николаевич ему рассказывает. О работе, по понятным соображениям, Павел Николаевич не мог здесь распространяться, но отчего было не рассказать подробно о квартире, которую он задушевно любил и куда скоро должен был возвратиться? Здесь не было секрета, и Федерату, конечно, приятно было послушать, как могут хорошо жить люди (как когда-нибудь и все будут жить). После сорока лет о человеке, чего он заслужил, вполне можно судить по его квартире. И Павел Николаевич рас-

сказывал, не в один даже приём, как расположена и чем обставлена у него одна комната, и другая, и третья, и каков балкон, и как оборудован. У Павла Николаевича была ясная память, он хорошо помнил о каждом шкафе и диване — где, когда, почём куплен и каковы его достоинства. Тем более подробно рассказывал он соседу о своей ванной комнате, какая плитка на полу уложена и какая по стенам, и о керамических плитусах, о площадочке для мыла, о закруглении под голову, о горячем кране, о переключении на душ, о приспособлении для полотенец. Всё это были не такие уж мелочи, это составляло быт, бытие, а бытие определяет сознание, и надо, чтобы быт был приятный, хороший, тогда и сознание будет правильное. Как сказал Горький, в здоровом теле здоровый дух.

И белокрысый безцветный Федерату, просто рот раззявя, слушал рассказы Русанова, никогда не переча и даже кивая головой, сколько разрешала ему обмотанная шея.

Хотя и немец, хотя и ссыльный, этот тихий человек был, можно сказать, вполне приличный, с ним можно было лежать рядом. А формально ведь он был даже и коммунист. Со своей обычной прямоотой Павел Николаевич так ему и резанул:

— То, что вас сослали, Федерату, это — государственная необходимость. Вы — понимаете?

— Понимаю, понимаю, — кланяется Федерату нестигаемой шеей.

— Иначе ведь нельзя было поступить.

— Конечно, конечно.

— Все мероприятия надо правильно истолковывать, в том числе и ссылку. Всё-таки вы цените: ведь вас, можно сказать, оставили в партии.

— Ну, ещё бы! Конечно...

— А партийных должностей у вас ведь и раньше не было?

— Нет, не было.

— Всё время простым рабочим?

— Всё время механиком.

— Я тоже был когда-то простым рабочим, но смотрите, как я выдвинулся!

Говорили подробно и о детях, и оказалось, что дочь Федерату Генриетта учится уже на втором курсе областного учительского института.

— Ну, подумайте! — воскликнул Павел Николаевич, просто растрогавшись. — Ведь это ценить надо: вы — ссыльный, а она

институт кончает! Кто мог бы об этом мечтать в царской России! Никаких препятствий, никаких ограничений!

Первый раз тут возразил Генрих Якобович:

— Только с этого года стало без ограничений. А то надо было разрешение комендатуры. Да и институты бумаги возвращали: не прошла, мол, по конкурсу. А там пойдй проверь.

— Но всё-таки ваша — на втором курсе!

— Она, видите, в баскетбол хорошо играет. Её за это взяли.

— За что б там ни взяли — надо быть справедливым, Федерау. А с этого года — вообще без ограничений.

В конце концов, Федерау был работник сельского хозяйства, и Русанову, работнику промышленности, естественно было взять над ним шефство.

— Теперь, после решений январского пленума, у вас дела гораздо лучше пойдут, — доброжелательно разъяснял ему Павел Николаевич.

— Конечно.

— Потому что создание инструкторских групп по зонам МТС — это решающее звено. Оно всё вытянет.

— Да.

Но просто «да» мало сказать, надо понимать, и Павел Николаевич ещё обстоятельно объяснял сговорчивому соседу, почему именно МТС после создания инструкторских групп превратятся в крепости. Обсуждал он с ним и призыв ЦК ВЛКСМ о выращивании кукурузы, и как в этом году молодёжь возьмётся с кукурузой — и это тоже решительно изменит всю картину сельского хозяйства. А из вчерашней газеты прочли они об изменении самой практики планирования сельского хозяйства — и теперь ещё на много предстояло им разговоров!

В общем, Федерау оказался положительный сосед, и Павел Николаевич иногда просто читал ему газетку вслух — такое, до чего бы и сам без больничного досуга не добрался: заявление, почему невозможно заключить договор с Австрией без германского договора; речь Ракоши в Будапеште; и как разгорается борьба против позорных парижских соглашений; и как мало, и как либерально судят в Западной Германии тех, кто был причастен к концентрационным лагерям. Иногда же он и угощал Федерау из избытка своих продуктов, отдавал ему часть больничной еды.

Но как бы тихо они ни беседовали — стесняло почему-то, что их беседа, очевидно, слышал всегда Шулубин — этот сын, непод-

вижно и молчаливо сидевший ещё через кровать. С тех пор как этот человек появился в палате, никогда нельзя было забыть, что он — есть, что он смотрит своими отягощёнными глазами и, очевидно же, всё слышит, и когда моргает — может быть, даже не одобряет. Его присутствие стало постоянным давлением для Павла Николаевича. Павел Николаевич пытался его разговорить, узнать — что там за душой, или хоть болен чем, — но выговаривал Шулубин несколько угрюмых слов и даже об опухоли своей рассказывать не считал нужным.

Он если и сидел, то в каком-то напряжённом положении, не отдыхая, как все сидят, а ещё и сидением своим трудясь, — и напряжённое сидение Шулубина тоже ощущалось как настороженность. Иногда утомлялся сидеть, вставал — но и ходить ему было больно, он ковлял — и устанавливался стоять — по полчаса и по часу, неподвижно, и это тоже было необычно и угнетало. К тому ж стоять около своей кровати Шулубин не мог — он загораживал бы дверь, и в проходе не мог — перегораживал бы, и вот он излюбил и избрал простенок между окном Костоглотова и окном Зацырко. Здесь и высился он как враждебный часовой надо всем, что Павел Николаевич ел, делал и говорил. Едва прислонясь спиной к стене, тут он и выстаивал подолгу.

И сегодня после обхода он так стал. Он стоял на простреле взглядов Олега и Вадима, выступая из стены как горельеф.

Олег и Вадим по расположению своих коек часто встречались взглядами, но разговаривали друг с другом немного. Во-первых, тошно было обоим, и трудно лишние речи произносить. Во-вторых, Вадим давно всех оборвал заявлением:

— Товарищи, чтобы стакан воды нагреть говорением, надо тихо говорить две тысячи лет, а громко кричать — семьдесят пять лет. И то, если из стакана тепло не будет уходить. Вот и учитывайте, какая польза в болтовне.

А ещё — каждый из них досадное что-то сказал другому, может быть и не нарочно. Вадим Олегу сказал: «Надо было бороться! Не понимаю, почему вы там не боролись». (И это — правильно было. Но не смел ещё Олег рта раскрыть и рассказать, что они таки боролись.) Олег же сказал Вадиму: «Кому ж они золото берегут? Отец твой жизнь отдал за родину, почему тебе не дают?»

И это — тоже было правильно, Вадим сам всё чаще думал и спрашивал так. Но услышать вопрос со стороны было обидно. Ещё месяц назад он мог считать хлопоты мамы избыточными,

а прибежанье к памяти отца неловким. Но сейчас, с ногой в отхватывающем капкане, он метался, ожидая маминой радостной телеграммы, он загадывал: только бы маме удалось! Получать спасение во имя заслуг отца не выглядело справедливым, да, — но зато трикратно справедливо было получить это спасение во имя собственного таланта, о котором, однако, не могли знать распределители золота. Носить в себе талант, ещё не прогремевший, распирающий тебя, — мука и долг, умирать же с ним — ещё не вспыхнувшим, не разрядившимся — гораздо трагичней, чем простому обычному человеку, чем всякому другому человеку здесь, в этой палате.

И одиночество Вадима пульсировало, трепыхалось не оттого, что не было близ него мамы или Гали, никто не навещал, а оттого, что не знали ни окружающие, ни лечащие, ни держащие в руках спасение, насколько было ему важнее выжить, чем всем другим!

И так это колотилось в его голове, от надежды к отчаянию, что он стал плохо разуметь, что читает. Он прочитывал целую страницу и опоминался, что не понял, отяжелел, не может больше скакать по чужим мыслям, как козёл по горам. И он замирал над книгой, со стороны будто читая, а сам не читал.

Нога была в капкане — и вся жизнь вместе с ногой.

Он так сидел, а над ним у простенка стоял Шулубин — со своей болью, со своим молчанием. И Костоглотов лежал молча, свесив голову с кровати вниз.

Так они, как три цапли из сказки, могли очень подолгу молчать.

И странно было, что именно Шулубин, самый упорный из них на молчание, вдруг спросил Вадима:

— А вы уверены, что вы себя не изморяете? Что вам это всё нужно? Именно это?

Вадим поднял голову. Очень тёмными, почти чёрными глазами осмотрел старика, слово не веря, что это из него изошёл длинный вопрос, а может быть, и самому вопросу изумляясь.

Но ничто не показывало, чтобы дикий вопрос не был задан или задан не этим стариком. Оттянутые окраснённые глаза свои старик чуть косил на Вадима с любопытством.

Ответить-то Вадим знал как, но почему-то в себе не чувствовал обычного пружинного импульса к этому ответу. Он ответил как бы старым заводом. Негромко, значительно:

— Это — интересно. Я ничего на свете интереснее не знаю.

Как там внутренне ни мечась, как бы ногу ни дёргало, как бы ни обтаивали роковые восемь месяцев, — Вадим находил удовольствие держаться с выдержкой, будто горя никакого ни над кем не нависло и они — в санатории тут, а не в раковом.

Шулубин опущенно смотрел в пол. Потом при неподвижном корпусе сделал странное движение головой по кругу, а шеей по спирали, как если бы хотел освободить голову — и не мог. И сказал:

— Это не аргумент — «интересно». Коммерция тоже интересна. Делать деньги, считать их, заводить имущество, строиться, обставляться удобствами — это тоже всё интересно. При таком объяснении наука не возвышается над длинным рядом эгоистических и совершенно безнравственных занятий.

Странная точка зрения. Вадим пожал плечами:

— Но если действительно — интересно? Если ничего интересней нет?

Шулубин расправил пальцы одной руки — и они сами по себе хрустнули.

— С такой установкой вы никогда не создадите ничего нравственного.

Это уж совсем чудаческое было возражение.

— А наука и не должна создавать нравственных ценностей, — объяснил Вадим. — Наука создаёт ценности материальные, за это её и держат. А какие, кстати, вы называете нравственными?

Шулубин моргнул один раз продолжительно. И ещё раз. Выговорил медленно:

— Направленные на взаимное высветление человеческих душ.

— Так наука и высветляет, — улыбнулся Вадим.

— Не души!.. — покачал пальцем Шулубин. — Если вы говорите «интересно». Вам никогда не приходилось на пять минут зайти в колхозный птичник?

— Нет.

— Вот представьте: длинный низкий сарай. Тёмный, потому что окна — как щели, и закрыты сетками, чтоб куры не вылетали. На одну птичницу — две тысячи пятьсот кур. Пол земляной, а куры всё время роются, и в воздухе пыль такая, что противогаз надо бы надеть. Ещё — лежалую кильку она всё время запаривает в открытом котле — ну, и вонь. Подсменщицы нет. Рабочий день летом — с трёх утра и до сумерок. В тридцать лет она выглядит на пятьдесят. Как вы думаете, этой птичнице — интересно?

Вадим удивился, повёл бровями:

— А почему я должен задаваться этим вопросом?

Шулубин выставил против Вадима палец:

— Вот так же рассуждает и коммерсант.

— Она страдает от недоразвития как раз науки, — нашёл сильный довод Вадим. — Разовьётся наука — и все птичники будут хороши.

— А пока не разовьётся — три штуки на сковородочку вы по утрам дупите, а? — Шулубин закрыл один глаз и тем неприятнее смотрел оставшимся. — Пока доразовьётся — вы не хотели бы пойти поработать в птичнике?

— Им не *интересно!* — из своего свешенного положения подал грубый голос Костоготов.

Такую самоуверенность в суждениях о сельском хозяйстве Русанов заметил за Шулубиным ещё и раньше: Павел Николаевич разъяснял что-то о зерновых, а Шулубин вмешался и поправил. Теперь Павел Николаевич и подколот Шулубина:

— Да вы не Тимирязевскую ли академию кончили?

Шулубин вздрогнул и повернул голову к Русанову.

— Да, Тимирязевскую, — удивлённо подтвердил он.

И вдруг — напъжился, надулся, ссутулился — и теми же неловкими, взлетающими и подрезанными, птичьими движениями поковылял, поковылял к своей койке.

— Так почему ж тогда библиотекарем работаете? — восторжествовал вдогонку Русанов.

Но тот уж замолчал — так замолчал. Как пень.

Не уважал Павел Николаевич таких людей, которые в жизни идут не вверх, а вниз.

С первого же появления Льва Леонидовича в клинике определил Костоготов, что это — деловой мужик. От нечего делать Олег присматривался к нему во время обходов. Эта шапочка, всегда посаженная на голову — ясно, что не перед зеркалом; эти слишком длинные руки, иногда кулаками всунутые в передние карманы глухого халата; эта боковая пожимка губ как бы с желанием посвистеть; эта при всей его силе и грозности шутливая манера разговаривать с больными — всё очень располагало

к нему Костоглотова, и захотелось потолковать с ним и вопросов несколько задать, на которые никто тут из врачей-баб ответить не мог или не хотел.

Но задать их было некогда: во время обходов Лев Леонидович никого, кроме своих хирургических, не замечал, миновал лучевых, как пустые места; в коридорах же и на лестнице он слегка отвечал всем, кто с ним здоровался, но лицо его никогда не было свободно от озабоченности, и всегда он спешил.

А один раз о каком-то больном, который отпирался, а потом признался, Лев Леонидович со смехом сказал: «Раскололся-таки!» — и ещё больше задел Олега. Потому что слово это в таком смысле знал и мог употребить не всякий человек.

За последнее время Костоглотов меньше бродил по клинике, и ещё меньше случалось пересечений с главным хирургом. Но однажды выдалось, что на его глазах Лев Леонидович отпер дверь комнатёшки рядом с операционной и вошёл туда, значит заведомо был там один. И Костоглотов, постучав в стеклянную замазанную дверь, открыл её.

Лев Леонидович успел уже сесть на табуретку за единственный тут стол посреди комнаты, сесть боком, как не садятся надолго, но уже писал что-то.

— Да? — поднял он голову, как будто и не удивясь, но и так же всё занято, обдумывая, что писать дальше.

Всегда всем некогда! Целые жизни надо решать в одну минуту.

— Простите, Лев Леонидович, — Костоглотов старался как можно вежливей, как только у него выходило. — Я знаю: вам некогда. Но совершенно не у кого, кроме вас... Две минуты — вы разрешите?

Хирург кивнул. Он думал о своём, это видно.

— Вот мне дают курс гормонотерапии по поводу... инъекции синэстрола внутримышечно, в дозе... — Приём Костоглотова и гордость его была в том, чтобы с врачами разговаривать на их языке и с их точностью — этим претендуя, что и с ним будут говорить откровенно. — Так вот меня интересует: действие гормонотерапии — накопительно или нет?

Дальше уже не от него зависели секунды, и он стоял молча, глядя на сидящего сверху и потому как бы горбясь при своей долговязости.

Лев Леонидович наморщил лоб, переносясь.

— Да нет, считается, что не должно, — ответил он. Но это не прозвучало окончательным.

— А я почему-то ощущаю, что — накопительно, — добивался Костоглотов, будто ему того хотелось или будто уже и Льву Леонидовичу не очень веря.

— Да нет, не должно, — всё так же не категорично отвечал хирург, потому ли, что не его это была область, или он так и не успел переключиться.

— Мне очень важно понять, — Костоглотов смотрел и говорил так, будто он угрожал, — после этого курса я совсем потеряю возможность... ну... относительно женщин?.. Или только на определённый период? Уйдут из моего тела эти введенные гормоны? или навсегда останутся?.. Или, может быть, через какой-то срок эту гормонотерапию можно переиграть — встречными уколами?

— Нет, этого не советую. Нельзя. — Лев Леонидович смотрел на чёрно-косматого больного, но в основном видел его интересный шрам. Он представлял себе этот порез в свежем виде, как бы только что привезенный в хирургическое, и что надо было бы делать. — А зачем это вам? Не понимаю.

— Как не понимаете? — Костоглотов не понимал, чего тут можно не понимать. Или просто, верный своему врачебному словию, этот дельный человек тоже лишь склоняет больного к смирению? — Не понимаете?

Это уже выходило и за две минуты и за отношения врача с больным, но Лев Леонидович именно с той незаносчивостью, которую сразу заметил в нём Костоглотов, внезапно сказал как старому другу, пониженным неслужебным голосом:

— Слушайте, да неужели в бабах весь цвет жизни?.. Ведь это всё ужасно приедается... Только мешает выполнить что-нибудь серьёзное.

Он сказал вполне искренне, даже утомлённо. Он вспоминал, что в самую важную минуту жизни ему не хватило напряжения, может быть, именно из-за этой отвлекающей траты сил.

Но не мог его понять Костоглотов! Олег не мог сейчас вообразить такое чувство приевшимся! Его голова качалась пусто влево и вправо, и пусто смотрели глаза.

— А у меня ничего более *серьёзного* в жизни не осталось.

Но нет, не был запланирован этот разговор распорядком онкологической клиники! — не полагалось консультационных размышлений над смыслом жизни, да ещё с врачом другого отделения! Заглянула и сразу вошла, не спрашивая, та маленькая хрупкая хирургичка, на высоких каблучках, вся покачивающаяся

при ходьбе. Она не останавливаясь прошла ко Льву Леонидовичу, очень близко, положила перед ним на стол лабораторный листок, сама прилегла к столу (Олегу издали казалось — вплотную ко Льву Леонидовичу) и, никак его не называя, сказала:

— Слушайте, у Овдиенко десять тысяч лейкоцитов.

Рассеянный рыжий дымок её отвевшихся волос парил перед самым лицом Льва Леонидовича.

— Ну и что ж? — пожал плечами Лев Леонидович. — Это не говорит о хорошем лейкоцитозе. Просто у него воспалительный процесс, и надо будет подавить рентгенотерапией.

Тогда она заговорила ещё и ещё (и, право же, плечиком просто прилегая к руке Льва Леонидовича!). Бумага, начатая Львом Леонидовичем, лежала втуне, перепрокинулось в пальцах бездействующее перо.

Очевидно, Олегу нужно было выйти. Так на самом интересном месте прервался разговор, давно затаённый.

Анжелина обернулась, удивляясь, зачем ещё Костоглотов тут, но повыше её головы посмотрел и Лев Леонидович — немножко с юмором. Что-то неназвимое было в его лице, отчего Костоглотов решил продолжить:

— А ещё, Лев Леонидович, я хотел вас спросить: слышали вы о берёзовом грибе, о чаге?

— Да, — подтвердил тот довольно охотно.

— А как вы к нему относитесь?

— Трудно сказать. Допускаю, что некоторые частные виды опухлей чувствительны к нему. Желудочные, например. В Москве сейчас с ним с ума сходят. Говорят, в радиусе двести километров весь гриб выбрали, в лесу не найдёшь.

Анжелина отклонилась от стола, взяла свою бумажку и с выражением презрения, всё так же независимо (и очень приятно) покачиваясь на ходу, ушла.

Ушла, но увы — и первый разговор их уже был расстроен: сколько-то на вопрос было отвечено, а вернуться обсуждать, что же вносят женщины в жизнь, было неуместно.

Однако этот лёгко-весёлый взгляд, промелькнувший у Льва Леонидовича, эта очень неограждённая манера держаться открывали Костоглотову задать и третий приготовленный вопрос, тоже не совсем пустячный.

— Лев Леонидович! Вы простите мою нескромность, — косо тряхнул он головой. — Если я ошибаюсь — забудем. Вы... — он

тоже снизил голос и одним глазом прищурился, — там, где вечно пляшут и поют, — вы... не были?

Лев Леонидович оживился:

— Был.

— Да что вы! — обрадовался Костоготов. Вот когда они были в равных! — И по какой же статье?

— Я — не по статье. Я — вольный был.

— Ах, во-ольный! — разочаровался Костоготов.

Нет, равенства не выходило.

— А — по чему вы угадали? — любопытствовал хирург.

— По одному словечку: «раскололся». Нет, кажется, и «заначка» вы сказали.

Лев Леонидович смеялся:

— И не отучишься.

Равные не равные, но уже было у них гораздо больше единства, чем только что.

— И долго там были? — безцеремонно спрашивал Костоготов. Он даже распрямился, даже не выглядел дохло.

— Да годика три. После армии направили — и не вырвешься.

Он мог бы этого не добавлять. Но — добавил. Вот служба! — почётная, благородная, но почему порядочные люди считают нужным оправдываться в ней? Где-то всё-таки сидит в человеке этот неискоренимый индикатор.

— И — кем же?

— Начальником санчасти.

Ого! То же, что мадам Дубинская, — господин жизни и смерти. Но та бы не оправдывалась. А этот — ушёл.

— Так вы до войны успели мединститут кончить? — цеплялся Костоготов новыми вопросами, как репейник. Ему это и не нужно было, а просто пересыльная привычка: в несколько минут, от хлопка до хлопка дверной кормушки, обозреть целую жизнь прохожего человека. — Какого ж вы года?

— Нет, я после четвёртого курса зауряд-врачом пошёл, добровольно, — поднялся Лев Леонидович от своей недописанной бумаги, заинтересованно подошёл к Олегу и пальцами стал прокатывать, прощупывать его шрам. — А это — оттуда?

— Ум-гм.

— Хорошо заделали... Хорошо. Заключённый врач делал?

— Ум-гм.

— Фамилию не помните? Не Коряков?

— Не знаю, на пересылке было. А Коряков — по какой статье сидел? — уже цеплялся Олег и к Корякову, спеша и его выяснить.

— Он сидел за то, что отец его был — полковник царской армии.

Но тут вошла сестра с японскими глазами и белой короной — звать Льва Леонидовича в перевязочную. (Первые перевязки своих операционных он смотрел всегда сам.)

Костоглотов ссутулился опять и побрёл по коридору.

Ещё одна биография — пунктиром. Даже две. А остальное можно довообразить. Как по-разному *туда* приходят... Нет, не это, вот что: лежишь в палате, идёшь по коридору, гуляешь по садику — рядом с тобой, навстречу тебе человек как человек, и ни ему, ни тебе не приходит в голову остановить, сказать: «А ну-ка, лацкан отверни!» Так и есть, знак тайного ордена! — был, касался, содействовал, знает! И — сколько же их?! Но — немота одолевает всякого. И — ни о чём не догадаешься снаружи. Вот запрягано!

Дикость какая! — дожить до того, чтобы женщины казались помехой! Неужели человек может так опуститься? Представить этого нельзя!

А в общем — радоваться, выходит, нечему. Не отрицал Лев Леонидович так настойчиво, чтоб ему можно было поверить.

И понять надо было, что потеряно — всё.

Всё...

Как бы заменили Костоглову *вышку* на пожизненное. Остался он жить, только неизвестно — зачем.

Забыв, куда шёл, он запнулся в нижнем коридоре и стоял бездельно.

А из какой-то двери — за три двери до него — показался беленький халатик, очень переуженный в поясе, такой сразу знакомый.

Вега!

Шла сюда! Недалеко ей было по прямой, ну обогнуть две койки у стены. Но Олег не шёл навстречу — и была секунда, секунда, ещё секунда — подумать.

С того обхода, три дня, — суха, деловита, ни взгляда дружбы.

И сперва он думал — чёрт с ней, и он будет так же. Выяснять, да кланяться...

Но — жалко! Обидеть её жалко. Да и себя жалко. Ну вот сейчас — пройдут как чужие, да?

Он виноват? Это она виновата: обманула с уколами, зла ему желала. Это он мог её не простить!

Не глядя (но видя!), она поравнялась, и Олег, против намерения, сказал ей голосом как бы тихой просьбы:

— Вера Корнильевна...

(Нелепый тон, но самому приятно.)

Вот теперь она подняла холодные глаза, увидела его.

(Нет, в самом деле, за что он только её прощает?..)

— Вера Корнильевна... А вы не хотите... ещё мне крови перелить?

(Как будто унижается, а всё равно приятно.)

— Вы же отбивались? — всё с той же непрощающей строгостью смотрела она, но какая-то неуверенность продрогнула в её глазах. Милых кофейных глазах.

(Ладно, она по-своему и не виновата. И нельзя же в одной клинике так отчуждённо существовать.)

— А мне тогда понравилось. Я ещё хочу.

Он улыбался. Шрам его при этом становился извилистей, но короче.

(Сейчас — простить её, а уж потом когда-нибудь объяснить.)

Что-то всё-таки шевельнулось в её глазах, раскаяние какое-то.

— Завтра, может быть, привезут.

Она ещё опиралась на какой-то невидимый столбик, но он нето плавился, нето подгибался под её рукой.

— Только чтоб — вы! обязательно — вы! — сердечно требовал Олег. — Иначе я не дамся!

От всего этого клонясь, стараясь не видеть дольше, она мотнула головой:

— Это как выйдет.

И прошла.

Милая, всё равно милая.

Только — чего он тут добивался? Обречённый на *пожизненное* — чего он тут добивался?..

Олег безтолково стоял в проходе, вспоминая — куда ж это он шёл.

Да, вот куда! — он шёл Дёмку проведать.

Лежал Дёмка в маленькой комнатушке на двоих, но второй выписался, а новый ждался завтра из операционной. Пока что был Дёмка один.

Уже неделя прошла — и первым пламенем отпылала отрезанная нога. Операция уходила в прошлое, но нога по-прежнему жила

и мучилась вся тут, как неотрезанная, и даже отдельно слышал Дёмка каждый палец отнятой ноги.

Обрадовался Дёмка Олегу — как брату старшему. Это и были его родственники — друзья по прежней палате. Ещё от каких-то женщин лежало на тумбочке, под салфеткой. А извне никто не мог ни прийти к нему, ни принести.

Дёмка лежал на спине, покоя ногу — то, что осталось от ноги, короче бедра, — и всю огромную бинтовую навязь. Но голова и руки его двигались свободно.

— Ну, здоров же, Олег! — принял он олегову руку. — Ну, садись, рассказывай. Как там, в палате?

Оставленная верхняя палата была для него привычным миром. Здесь, внизу, и сёстры были другие, и санитарки не такие, и порядок не такой. И всё время перебранивались, кто что обязан и не обязан делать.

— Да что палата, — смотрел Олег на обстрогавшееся, пожалчевшее дёмкино лицо. Как желобочками выхватили ему в щеках, обкатали и обострили надбровья, нос, подбородок. — Всё так же.

— Кадр там?

— Кадр там.

— А Вадим?

— С Вадимом неважно. Золота не достали. Метастазов бояться. Дёмка повёл лбом о Вадиме, как о младшем:

— Бедняга.

— Так что, Дёмка, перекрестись, что твою-то вовремя взяли.

— Ещё и у меня метастазы могут быть.

— Ну, вряд ли.

Кто что мог видеть? — даже и врачи: проплыли или не проплыли эти губительные одинокие клеточки, лодки десантные во мраке? И причалили где?

— Рентген дают?

— Возят, на каталке.

— Тебе сейчас, друг, дорога ясная — выздоравливать, осваивать костыль.

— Да нет, два придётся. Два.

Уже всё обдумал сирота. И раньше он хмурился взросло, а теперь-то ещё повзрослел.

— Где ж делать будут? Тут же?

— В ортопедическом.

— Бесплатно хоть?

— Да заявление написал. Платить мне — чем же?

Вздохнули — с лёгкой наклонностью ко вздоху у тех, кто год за годом ничего весёлого не видит.

— Как же тебе на будущий год десятый кончить?

— Лопнуть надо кончить.

— А на что жить? К станку ведь не станешь.

— Инвалидность обещают. Не знаю — второй группы, не знаю — третьей.

— Третья — это какая? — Не ведал Костоготов всех этих инвалидностей, как и всех гражданских законов.

— Самая такая. На хлеб будет, на сахар нет.

Мужчина, всё обдумал Дёмка. Топила, топила ему опухоль жизнь, а он выруливал на своё.

— И в университет?

— Надо постараться.

— На литературный?

— Ага.

— Слушай, Дёмка, я тебе серьёзно: сгубишься. Займись приёмниками — и покойно жить, и подшибать будешь.

— Ну их на фиг, приёмники, — шморгнул Дёмка. — Я правду люблю.

— Так вот приёмники будешь чинить — и правду будешь говорить, дура!

Не сошлись. Толковали и ещё о том о сём. Говорили и об олеговых делах. Это тоже была в Дёмке совсем не детская черта: интересоваться другими. Молодость занята бывает только собой. И Олег ему, как взрослому, рассказал о своём положении.

— Ох, хрено-ово... — промычал Дёмка.

— Пожалуй, ты ещё б со мной и не сменялся, а?

— Ч-ч-чёрт его знает...

В общем, так выходило, что Дёмке здесь с рентгеном да костылями околачиваться ещё месяца полтора, выпишут к маю.

— И куда ж первое пойдёшь?

— В зоопарк сразу! — Дёмка повеселел. Об этом зоопарке он уже сколько раз Олегу говорил. Они стаивали рядом на крыльчке диспансера, и Дёмка с уверенностью показывал, где там, за рекою, за густыми деревьями, скрывался зоопарк. Сколько лет Дёмка про

разных зверей читал и по радио слышал — а никогда своими глазами не видел ни лисы, ни медведя, ни уж-тем более тигра и слона. В таких местах он жил, где ни зверинца не было, ни цирка, ни леса. И была его заветная мечта — ходить и знакомиться со зверьми; и с возрастом она не ослаблялась. Чего-то особенного он от этой встречи ждал. В день, когда с грызущего ногою он приехал сюда ложиться в больницу, он первым делом в зоопарк и пошёл, но там оказался выходной. — Ты вот что, Олег! Ведь тебя, наверно, выпишут скоро?

Сгорбясь сидел Олег.

— Да наверно. Кровь не держит. Тошнота заела.

— Ну ты неужели в зоопарк не пойдёшь?! — Дёмка допустить этого не мог, Дёмка стал бы хуже об Олеге думать.

— Да пожалуй, пойду.

— Нет, ты обязательно пойдёшь! Я прошу тебя: пойдёшь! И знаешь что — напиши мне после этого открытку, а? Ну что тебе стоит?.. А мне какая тут радость будет! Напишешь, кто сейчас из зверей есть, кто самый интересный, а? Я за месяц раньше знать буду! Пойдёшь? Напишешь? Там и крокодилы, говорят, и львы!

Обещал Олег.

Он ушёл (самому лечь), а Дёмка один в маленькой комнате с закрытой дверью ещё долго не брал в руки книжки, смотрел в потолок, в окно смотрел и думал. В окно он ничего увидеть не мог — оно было в лучевой решётке и выходило в заулок, к стене медгородка. И даже прямой солнечной полосы не было сейчас на стене, но и не пасмурно, а среднее пеленистое какое-то освещение — от слегка затянутого, но и не закрытого солнца. Был, наверно, тот вялый весенний денёк, не жаркий, не яркий, когда действительно, но безшумно совершается работа весны.

Лежал Дёмка неподвижно и думал о хорошем: как отрезанная нога постепенно перестанет чувствоваться; как он научится ходить на костылях быстро и ловко; каков выдастся этот день перед первым мая — совсем летний, когда Дёмка с утра и до вечернего поезда будет ходить по зоопарку; как у него теперь будет много времени и он быстро и хорошо всё пройдёт за среднюю школу и ещё много прочтёт нужных упущенных книг. Уже окончательно не будет этих потерянных вечеров, когда ребята идут на танцплощадку, а ты мучаешься, не пойти ли и тебе, да не умеешь. Уже не будет. Зажигать лампу и заниматься.

Тут в дверь стукнули.

— Войдите! — сказал Дёмка. (Это слово «войдите» он произносил с удовольствием. Никогда он ещё так не жил, чтоб к нему надо было стучать перед входом.)

Дверь распахнулась рывком и впустила Асю.

Ася вошла как ворвалась, как спеша очень, как от погони, — но, притянув за собой дверь, так и осталась у дверного косяка, с одной рукой на ручке, другой держа отвороты халата.

Совсем это была уже не та Ася, которая забежала «на три дня на исследование» и которую в тех же днях ждали на дорожках зимнего стадиона. Она повяла и поблекла, и даже волосы жёлтые, которые не могли же так быстро измениться, сейчас побалтывались жалкенько.

А халат был тот же — гадкий, без пуговиц, сменивший много плеч и неизвестно в каких котлах варенный. Сейчас он подобней приходился ей, чем раньше.

Чуть подрагивая бровями, Ася смотрела на Дёмку: сюда ли забежала? не бежать ли дальше?

Но такая, побитая, уже не старше Дёмки на класс, на три дальних поездки и на знание всей жизни, Ася была Дёмке совсем своя. Он обрадовался:

— Ася! Садись!.. Что ты?..

За это время они болтали не раз, и ногу обсуждали (Ася твёрдо стояла — не давать), и после операции она к нему два раза приходила, приносила яблоки и печенье. Как ни просты они были в самый первый вечер, но ещё проще и проще стали с тех пор. И не сразу, но рассказала и она ему откровенно, что за болезнь у неё: правая грудь болит, сгустки в ней какие-то нашли, лечат под рентгеном и ещё дают таблетки под язык.

— Садись, Ася! Садись!

Она покинула дверь и, протягивая за собой руку по стене, как бы тем держась или ощупывая, переступила к табуретке у дёмкиного изголовья.

Села.

Села — и смотрела не Дёмке в глаза, а мимо, в одеяло. Она не поворачивалась прямо на него, а он не мог извернуться.

— Ну, что с тобой? — Доставалось ему быть старшим! На высоких подушках он откинул к ней голову — одну голову только, а сам на спине.

У неё губа задрожала, и веки захлопали.

— А-асенька! — успел сказать Дёмка (пожалев её очень, а так бы не осмелел назвать Асенькой), и она тут же ткнулась в его подушку, голова к голове, и снопик волос защекотал ему ухо.

— Ну, Асенька! — просил он и стал шарить по одеялу, искать её руку, но не находил, не видел её рук.

А она ревела в подушку.

— Ну что же? Скажи — что?

Да он и догадывался почти.

— От-ре-жут!..

И плакала, плакала. А потом застанывала:

— О-о-ой!

Такого протяжного звука горя, как это страшное «о-о-ой!», не помнил Дёмка!

— Да может ещё нет? — уговаривал он. — Да может обойдётся? Но чувствовал, что этого «о-о-ой!» так не уговоришь.

И плакала, и плакала ему в подушку. Мокрое он уже тут рядом ощущал.

Дёмка нашёл её руку и стал гладить:

— Асенька! Может обойдётся?

— Не-е-ет... На пятницу готовят...

И тянула стон, как из Дёмки душу вынимая.

Не видел Дёмка её зарёванного лица, а только волосы прядками лезли прямо в глаза. Мягкие такие, щекотенькие.

Искал Дёмка, как сказать, да не складывалось. И просто руку крепко-крепко ей сжимал, чтобы перестала. Жалко стало её хуже, чем себя.

— За-чем-жить? — выплакала она. — За-чем?!.

На этот вопрос хоть что-то и вывел Дёмка из своего смутного опыта, но назвать бы точно не мог. Да если б и мог — по стону Аси ни он, ни другой кто, ни другое что не могли её убедить. Из её опыта только и выходило: незачем теперь жить!

— Ком-му-я-теперь-буду-н-нуж-на?.. — спотыкалась она безутешно. — Ком-му?..

И опять утыкалась в подушку, и Дёмке щёку тоже уже подмочило.

— Ну как, — уговаривал он, всё сжимая и сжимая ей руку. — Ты ж знаешь, как женятся... Взглядами сходятся... характерами...

— Ка-кой там дурак любит за характер!?! — взвилась она рассерженно, как лошадь взвизывает с передних, и руку вырвала, и тут только увидел Дёмка её мокрое, и красное, и пятнистое, и жалкое,

и сердитое лицо. — Кому нужна одногрудая?! Кому?! В семнадцать лет! — кричала она на него, во всём виноватого.

И утешить-то он не умел впопад.

— Да как же я на пляж пойду?! — вскричала она, проколотая новой мыслью. — На пляж!! Купаться как??! — И её штопором скрутило, сжевало, и куда-то от Дёмки прочь и вниз, к полу, свалился корпус её и голова, обхваченная руками.

Невыносимо представились Асе купальники всех мод — с бретельками и без бретелек, соединённые и из двух предметов, всех мод сегодняшних и всех грядущих, купальники оранжевые и голубые, малиновые и цвета морской волны, одноцветные и полосчатые, и с круговыми каёмочками, неиспробованные, не осмотренные перед зеркалом, — все, которые никогда не будут ею куплены и никогда надеты! И именно эта сторона её существования — невозможность когда-нибудь ещё появиться на пляже — представилась ей сейчас самой режущей, самой постыдной! Именно из-за этого теряло всякий смысл — жить...

А Дёмка с высоких подушек бормотал что-то неумелое, неуместное:

— Знаешь, если тебя никто не возьмёт... Ну, я понимаю, конечно, какой я теперь... А то я на тебе всегда женюсь охотно, это ты знай...

— Слушай, Дёмка! — укушенная новой мыслью, поднялась и развернулась к нему Ася и смотрела открытыми глазами, без слёз. — А ведь слушай: ты — последний! Ты — последний, кто ещё может увидеть её и поцеловать! Уже никто никогда больше не поцелует! Дёмка! Ну, хоть ты поцелуй! Хоть ты!

Она раздёрнула халат, да он сам уже не держался, и, снова, кажется, плача или стоня, оттянула свободный ворот сорочки — и оттуда выдвинулась её обречённая правенькая.

Это заблестало, как солнце, вступившее прямо сюда! Засияла, запылала вся палата! А румянце соска — крупней, чем Дёмка держал в представлении! — выплыло перед ним, и глаза не выдерживали этой розовости!

К его голове наклонила Ася совсем близко и держала так.

— Целуй! Целуй! — ждала, требовала она.

И, вдыхая запазушное подаренное ему тепло, он стал тыкаться как поросёнок, благодарно и восхищённо, поспешными губами, во всю эту изгибистую, налитую над ним поверхность, хранящую

свою постоянную форму, плавней и красивей которой ни нарисовать, ни вылепить.

— Ты — будешь помнить?.. Ты будешь помнить, что она — была? И — какая была?..

Асины слёзы падали ему на стриженую голову.

Она не убирала, не отводила, и он снова возвращался к румянцу и мягко делал губами так, как её будущий ребёнок с этой грудью уже не сделает никогда. Никто не входил, и он обцеловывал это нависшее над ним чудо.

Сегодня — чудо, а завтра — в корзину.

29

Как только Юра вернулся из командировки, он приехал к отцу, часа на два сразу. Перед тем по телефону заказал Павел Николаевич, чтоб Юра привёз тёплые ботинки, пальто и шляпу: надоела мерзкая палата с дубинами на кроватях, с дурацкими разговорами, да и вестибюль опротивел не меньше, и, хотя очень был Павел Николаевич слаб, его тянуло на свежий воздух.

Так и сделали. Опухоль легко обернулась шарфиком. На аллеях медгородка никто не мог Русанова встретить, а если б и встретил, то в смешанной одежде не признал, и Павел Николаевич гулял без стеснения. Юра повёл отца под руку, Павел Николаевич сильно на него опирался. Так было необычно переставлять и переставлять ноги по чистому сухому асфальту, а главное, в этом уже чувствовался скорый возврат — сперва для отдыха в любимую квартиру, потом и к любимой работе. Павел Николаевич изнурился не только от лечения, но ещё и от этого тупого больничного бездействия, от того, что он перестал быть нужным и важным сочленением в большом механизме, и вот ощущал как бы потерю всякой силы и значения. Хотелось уже скорее вернуться туда, где его любят и где без него не могут обойтись.

За эту неделю и холод налетал, и дожди — но с сегодняшнего дня опять повернуло к теплу. В тени зданий ещё было прохладно и земля сыра, а на солнышке так грело, что даже демисезонное пальто Павел Николаевич еле на себе нёс и стал по одной пуговице расстёгивать.

Был особенно удобный случай поговорить рассудительно с сыном: сегодняшняя суббота считалась последним днём его командировки, и он не спешил на работу. Тем более не торопился Павел Николаевич. А положение с сыном было запущенное, едва ли не опасное, это чувствовало отцовское сердце. И сейчас, по приезде, совесть у сына была нечиста, он всё что-то глаза отводил, не смотрел на отца прямо. Этой манеры с детства не было у Юры, он рос прямодушный мальчик, она появилась в студенческие годы, и именно в обращении с отцом. Эта уклончивость или застенчивость раздражала Павла Николаевича, иногда он просто покрикивал: «А ну-ка, голову выше!»

Однако сегодня он решил удержаться от резкости, разговаривать только чутко. Он попросил рассказать подробно, чем же Юра проявил себя и прославил как представитель республиканского прокурорского надзора в тех дальних городках.

Начал Юра рассказывать, один случай, другой, и всё так же отводил глаза.

— Ты говори, говори!

Они сели посидеть на просохшей скамеечке, на солнце. Юра был в кожаной куртке и в тёплой шерстяной кепке (фетровой шляпы нельзя было заставить его полюбить), вид у него был как будто и серьёзный, и мужественный, но внутренняя слабинка губила всё.

— Ну, ещё был случай с шофёром... — сказал Юра, глядя в землю.

— Что же с шофёром?

— Ехал шофёр зимой и вёз потребсоюзовские продукты. Семьдесят километров ехать, а посредине застал буран. Всё занесло, колёса не берут, мороз, и нет никого. И крутил буран больше суток. И вот он в кабине не выдержал, бросил машину, как была, с продуктами, и пошёл искать ночлега. Утром стих буран, он вернулся с трактором, а ящика с макаронами не хватает одного.

— А экспедитор?

— Шофёр и за экспедитора, так получилось, один ехал.

— Расхлябанность какая!

— Конечно.

— Вот он и поживился.

— Папа, слишком дорого бы ему этот ящик! — Юра поднял всё-таки глаза. Нехорошее упрямое выражение появилось на его лице. — За этот ящик он слопотал себе пять лет. И были там ящики с водкой — так целы.

— Нельзя быть, Юра, таким доверчивым и таким наивным. А кто ещё мог взять в пургу?

— Ну, на лошади, может, ехали, кто знает! К утру следов нет.

— Пусть и не сам — так с поста ушёл! Как это — бросить государственное имущество и уйти?!

Дело было несомненное, приговор — кристальный, ещё и мало дали! — и Павла Николаевича возбудило то, что сыну это не ясно и надо ему втолковывать. Вообще вялый, а когда глупость какую-нибудь доказывает — упрямый становится, как осёл.

— Папа, ну ты представь себе: буран, минус десять градусов, как ночевать ему в кабине? Ведь это — смерть.

— Что значит смерть? А — всякий часовой?

— Часового через два часа подменят.

— А если не подменят? А — на фронте? В любую погоду люди стоят и умирают, но с поста не уходят! — Павел Николаевич даже пальцем показал в ту сторону, где стоят и не уходят. — Да ты подумай только, что ты говоришь! Если этого одного простить — все шофера начнут бросать машины, все начнут уходить с постов — да всё государство растащат, неужели ты не понимаешь?

Нет, Юра не понимал! — по его молчанию видно было, что не понимал.

— Ну хорошо, ну это твоё мальчишеское мнение, это юность твоя, ты мог кому-нибудь и сказать, но ты, надеюсь, документально этого не выразил?

Пошевелил сын потресканными губами, пошевелил.

— Я... протест написал. Остановил действие приговора.

— Остановил?! И будут пересматривать? Ай-я-яй! Ай-я-яй! — пол-лица закрыл, заслонил Павел Николаевич. Так он и опасался! Юрка и дело губил, и себя губил, и на отца клал тень. Мутило Павла Николаевича от этой бессильной отцовской досады, когда ни ума своего, ни расторопности своей не можешь вложить в губошлёпа.

Он встал, и Юра за ним. Они пошли, и Юра опять старался поддерживать отца под локоть, но обеих рук не хватало Павлу Николаевичу, чтобы втолковать в сына понимание сделанной ошибки.

Сперва разъяснял он ему о законе, о законности, о незыблемости основ, которых нельзя расшатывать легкомысленно, тем более если рассчитываешь работать в прокурорском надзоре. Тут же оговаривался он, что всякая истина конкретна и потому закон законом, но надо понимать ещё и конкретный момент, обстановку — то, что требуется в данную минуту. И ещё особенно старался

он ему открыть, что существует органическая взаимосвязь всех инстанций и всех ветвей государственного аппарата; и что поэтому, даже в глухой район приезжая с республиканскими полномочиями, он не должен заноситься, напротив — должен чутко считаться с местными условиями и не идти без надобности вразрез местным практическим работникам, которые знают эти условия и требования лучше его; и если дали шофёру пять лет, то значит, в данном районе это требуется.

Так они входили в тени корпусов и выходили из них, шли аллеями прямыми и кривыми, и вдоль реки, Юра слушал, слушал, но единственное что сказал:

— Ты не устал, папа? Может, опять посидим?

Павел Николаевич, конечно, устал и перегрелся в пальто, и они снова сели на скамеечку в густых кустах — но густы были только прутьики, а всё сквозило, потому что первые только ушки листиков выворачивались из почек. Солнце грело хорошо. Павел Николаевич был без очков всю прогулку, лицо отдыхало, глаза отдыхали. Он сожмурился и сидел так молча на солнце. Внизу, под обрывом, шумела река по-горному. Павел Николаевич слушал её, грелся и думал: как же приятно всё-таки возвращаться к жизни, твёрдо знать, что вот зазеленеет — и ты будешь жить, и следующую весну тоже.

Но надо было составить полную картину с Юрой. Взять себя в руки, не сердиться и тем его не отпугнуть. И, отдохнув, попросил отец продолжать, ещё случаи рассказывать.

Юра при всей своей заторможенности прекрасно понимал, за что отец будет его хвалить, а за что ругать. И следующий случай рассказал такой, который Павел Николаевич не мог не одобрить. Но глаза он всё отводил, и отец почуял, что ещё какой-то случай тут кроется.

— Ты — всё говори, ты говори — всё! Ведь я, кроме разумного совета, ничего тебе дать не могу. Ведь я тебе — добра желаю. Я хочу, чтоб ты не ошибался.

Вдохнул Юра и рассказал такую историю. По ходу своей ревизии он должен был много просматривать старых судебных книг и документов, даже пятилетней давности. И стал замечать, что во многих местах, где должны были быть наклеены гербовые марки — по рублю и по три, их не было. То есть следы остались, что они там были, но — сняты. Куда ж они могли деться? Стал Юра думать, стал копаться — и на новых документах стал находить наклеенные марки, как будто уже подпорченные, чуть надорванные. И тогда он догадался, что кто-то из двух девушек — Катя или Нина,

имеющих доступ ко всем этим архивам, клеит старые вместо новых, а с клиентов берёт деньги.

— Ну, скажи ты! — только крикнул и руками всплеснул Павел Николаевич. — Сколько же лазеек! Сколько лазеек обворовывать государство! И ведь не придумашешь сразу!

Но Юра провёл это расследование в тишине, никому ни слова. Он решил довести до конца — кто ж из двух расхититель — и придумал для видимости поухаживать сперва за Катей, потом за Ниной. В кино сводил каждую и к каждой пошёл домой: у кого найдёт богатую обстановку, ковры — та и воровка.

— Хорошо придумано! — ладошами прихлопнул Павел Николаевич, заулыбался. — Умно! И как будто развлечение, и дело делается. Молодец!

Но обнаружил Юра, что и та, и другая, одна с родителями, другая с сестрёнкой, жили скудно: не только ковров, но многого не было у них, без чего, по юриным понятиям, просто удивительно, как они и жили. И он размышлял, и пошёл рассказал всё их судье, но сразу же и просил: не давать этому законного хода, а просто внушить девушкам. Судья очень благодарил, что Юра предпочёл закрыто решать: огласка и его подрывала. Вызвали они вдвоём одну девушку, потом другую и распекали часов по несколько. Призналась и та, и другая. В общем рубликов на сто в месяц каждая выколачивала.

— Надо было *оформить*, ах, надо было оформить! — так жалел Павел Николаевич, как будто сам прошляпил. Хотя судью подводить не стоило, это верно, тут Юра поступил тактично. — По крайней мере, компенсировать они должны были всё!

Юра вовсе лениво к концу говорил. Он сам не мог понять смысла этого события. Когда он пошёл к судье и предложил не открывать дела, он знал и чувствовал, что поступает великодушно, он перед собой гордился своим решением. Он воображал ту радость, которая охватит каждую из девушек после трудного признания, когда они будут ждать кары и вдруг прощены. И наперебой с судьёю он стыдил их, выговаривал им, какой это позор, какая низость, что они делали, и, сам проникаясь своим строгим голосом, приводил им из своей двадцатитрёхлетней жизни примеры известных ему честных людей, которые имеют все условия воровать, но не воруют. Юра хлестал девушек жестокими словами, зная, как потом эти слова будут окрашены прощением. Но вот их простили, девушки ушли — однако во все последующие дни ничуть не сияли навстречу

Юре, не только не подошли поблагодарить его за благородный поступок, но старались даже не замечать. Это поразило его, он не мог этого уразуметь! Сказать, что они не понимали, какой участи избегли, — так, работая при суде, знали они всё хорошо. Он не выдержал, подошёл к Нине, сам спросил, рада ли она. И ответила ему Нина: «Чего ж радоваться? Работу надо менять. На зарплату я не проживу». А Кате, которая собой была поприятнее, он предложил ещё раз сходить в кино. Ответила Катя: «Нет, я по-честному гуляю, я так не умею!»

Вот с этой загадкой он и вернулся из командировки, да и сейчас думал над ней. Неблагодарность девушек глубоко его задела. Он знал, что жизнь сложнее, чем понимает её прямолинейный прямодушный отец, — но вот она оказывалась и ещё гораздо сложнее. Что ж должен был Юра? — не щадить их? Или ничего не говорить, не замечать этих переклеенных марок? Но для чего тогда вся его работа?

Отец не спрашивал больше — и Юра охотно помалкивал.

Отец же по этой ещё одной историйке, пошедшей прахом из неумелых рук, окончательно вывел, что если с детства нет в человеке хребта, то и не будет. На родного сына сердиться трудно, а — жаль его очень, досадно.

Кажется, они пересидели, Павел Николаевич в ногах стал зябнуть, да и очень уже тянуло лечь. Он дал себя поцеловать, отпустил Юру и пошёл в палату.

А в палате вёлся оживлённый общий разговор. Главный оратор был, правда, без голоса: тот самый философ-доцент, представительный, как министр, когда-то нахаживавший к ним в палату, а с тех пор прошедший операцию горла и на днях переведенный из хирургической в лучевую второго этажа. В горле, в самом заметном месте, впереди, у него была вставлена какая-то металлическая штучка вроде зажима пионерского галстука. Доцент этот был воспитанный и располагающий человек, и Павел Николаевич всячески старался его не обидеть, не показать, как передёргивает его эта пряжка в горле. Для того чтобы говорить полуслышным голосом, философ всякий раз теперь накладывал на неё палец. Но говорить он любил, привык, и после операции пользовался возвращённой возможностью.

Он стоял сейчас посреди палаты и глухо, но громче шёпота, рассказывал о натащенных в дом гарнитурах, статуях, вазах, зеркалах каким-то бывшим крупным интендантом, сперва это всё навезшим

из Европы, а потом докупавшим по комиссионным магазинам, на продавщице которого и женился.

— С сорока двух лет на пенсии. А лоб! — дрова бы колоть. Руку за полу шинели всунет и ходит как фельдмаршал. И сказать, что доволен жизнью? Нет, не доволен: грызёт его, что в Кисловодске у его бывшего командующего армией дом — из десяти комнат, истопник свой и две автомашины.

Павел Николаевич нашёл этот рассказ несмешным и неуместным.

И Шулубин не смеялся. Он так на всех смотрел, будто ему спать не давали.

— Смешно-то смешно, — отозвался Костоготов из своего нижнего положения, — а как...

— А вот когда? на днях фельетон был в областной газете, — вспомнили в палате, — построил особняк на казённые средства и разоблачён. Так что? Признал свою ошибку, сдал детскому учреждению — и ему поставили *на вид*, не судили.

— Товарищи! — объяснил Русанов. — Если он раскаялся, осознал и ещё передал детскому дому — зачем же обязательно крайнюю меру?

— Смешно-то смешно, — вытягивал своё Костоготов, — а как вы это всё философски объясните?

Доцент развёл одной рукой, другую держал на горле:

— Остатки буржуазного сознания.

— Почему это — буржуазного? — ворчал Костоготов.

— Ну а какого же? — насторожился и Вадим. Сегодня у него как раз было настроение читать, так затевали склоку на всю палату.

Костоготов приподнялся из своего опущенного положения, подтянулся на подушку, чтоб лучше видеть и Вадима и всех.

— А такого, что это — жадность человеческая, а не буржуазное сознание. И до буржуазии жадные были, и после буржуазии будут!

Русанов ещё не лёг. Сверху вниз, наставительно сказал Костоготову:

— В таких случаях если покопаться — всегда выяснится буржуазное социальное происхождение.

Костоготов мотнул головой как отплюнулся:

— Да ерунда это всё — социальное происхождение!

— То есть — как ерунда?! — за бок схватился Павел Николаевич, кольнуло. Такой наглой выходки он даже от Оглоеда не ожидал.

— То есть — как ерунда? — в недоумении поднял чёрные брови Вадим.

— Да так вот, — ворчал Костоглотов, и ещё подтянулся, уже полусидел. — Натолкали вам в голову.

— Что значит — натолкали? Вы за свои слова — отвечаете? — пронзительно вскричал Русанов, откуда и силы взялись.

— Кому это — *вам*? — Вадим выровнял спину, но так же сидел с книжкой на ноге. — Мы не роботы. Мы ничего на веру не принимаем.

— Кто это — *вы*? — оскалился Костоглотов. Косма у него висела.

— Мы! Наше поколение.

— А чего ж соцпроисхождение приняли? Ведь это не марксизм — а расизм.

— То есть ка-ак?! — почти взревел Русанов.

— Вот та-ак! — отревел ему и Костоглотов.

— Слушайте! Слушайте! — даже пошатнулся Русанов и движеньями рук всю комнату, всю палату сзывал сюда. — Я прошу свидетелей! Я прошу свидетелей! Это — идеологическая диверсия!!

Тут Костоглотов живо спустил ноги с кровати, а двумя локтями с покачиванием показал Русанову один из самых неприличных жестов, ещё и выругался площадным словом, написанным на всех заборах:

— ...вам, а не идеологическая диверсия! Привыкли... иху мать, как человек с ними чуть не согласен — так идеологическая диверсия!!

Обожжённый, оскорблённый этой бандитской наглостью, омерзительным жестом и руганью, Русанов задыхался и поправлял соскочившие очки. А Костоглотов орал на всю палату и даже в коридор (так что и Зоя в дверь заглянула):

— Что вы как знахарь кудахчете — «соцпроисхождение, соцпроисхождение»? В двадцатые годы знаете как говорили? — *покажите ваши мозоли!* А отчего ваши ручки такие белые да пухлые?

— Я работал, я работал! — восклицал Русанов, но плохо видел обидчика, потому что не мог наладить очков.

— Ве-ерю! — отвратительно мычал Костоглотов. — Ве-ерю! Вы даже на одном субботнике сами бревно поднимали, только посередине становились! А я, может быть, сын купеческий, третьей гильдии, а всю жизнь вкалываю, и вот мои мозоли, смотрите! — так я что, буржуй? Чтó у меня от папаша — эритроциты другие?

лейкоциты? Вот я и говорю, что ваш взгляд не классовый, а расовый. Вы — расист!

Тонко вскрикивал несправедливо оскорблённый Русанов, быстро возмущённо говорил что-то Вадим, но не поднимаясь, и философ укоризненно качал посадистой большой головой с холёным зачёсом — да где уж было услышать его больной голос!

Однако подобрался к Костоглову вплотную и, пока тот воздуху набирал, успел ему нашептать:

— А вы знаете такое выражение — «потомственный пролетарий»?

— Да хоть десять дедов у него будь пролетариев, но сам не работаешь — не пролетарий! — разорялся Костоглов. — Жадюга он, а не пролетарий! Он только и трясётся — пенсию персональную получить, слышал я! — И, увидя, что Русанов рот раскрывает, лепил ему и лепил: — Вы и любите-то не родину, а пенсию! Да пораньше, лет в сорок пять! А я вот ранен под Воронежем, и шиш имею да сапоги залатанные — а родину люблю! Мне вот по бюллетеню за эти два месяца ничего не заплатят, а я всё равно родину люблю!

И размахивал длинными руками, едва не достигая Русанова. Он внезапно раздражился и вошёл в клокотанье этого спора, как десятки раз входил в клокотанье тюремных споров, откуда и подсакивали к нему сейчас когда-то слышанные фразы и аргументы, может быть от людей уже не живых. У него вгорячах даже сдвинулось в представлении, и эта тесная замкнутая комната, набитая койками и людьми, была ему как камера, и потому он с лёгкостью матюгался и готов был тут же и драться, если понадобится.

И, почувствовав это — что Костоглов сейчас и по лицу смежет, дорого не возьмёт, — под его яростью и напором Русанов сник и смолк. Но глаза у него были разозлённые догоряча.

— А мне не нужна пенсия! — свободно докрикивал Костоглов. — У меня вот нет ни хрена — и я горжусь этим! И не стремлюсь! И не хочу иметь большой зарплаты — я её презираю!

— Тш-ш! Тш-ш! — останавливал его философ. — Социализм предусматривает дифференцированную систему оплаты.

— Идите вы со своей дифференцированной! — бушевал Костоглов. — Что ж, по пути к коммунизму привилегии одних перед другими должны увеличиваться, да? Значит, чтобы стать равными, надо сперва стать неравными, да? Диалектика, да?

Он кричал, но от крика ему больно отзывалось повыше желудка, и это схватывало голос.

Вадим несколько раз пробовал вмешаться, но так быстро откуда-то вытягивал и швырял Костоглотов всё новые и новые доводы, как городошные палки, что и Вадим не успевал уворачиваться.

— Олег! — пытался он его остановить. — Олег! Легче всего критиковать ещё только становящееся общество. Но надо помнить, что ему пока только сорок лет, и того нет.

— Так и мне не больше! — с быстротой откликнулся Костоглотов. — И всегда будет меньше! Что ж мне поэтому — всю жизнь молчать?

Останавливая его рукой, прося пощады для своего большого горла, философ вышепетывал вразумительные фразы о разном вкладе в общественный продукт того, кто моет полы в клинике, и того, кто руководит здравоохранением.

И на это б ещё Костоглотов что-нибудь бы рявкнул безпутное, но вдруг из своего дальнего дверного угла к ним полез Шулубин, о котором все и забыли. С неловкостью переставляя ноги, он брёл к ним в своём расположенном неряшливом виде, с расхристанным халатом, как поднятый внезапно среди ночи. Все увидели — и удивились. А он стал перед философом, поднял палец и в тишине спросил:

— А вы помните, что «Апрельские тезисы» обещали? Облздрав не должен получать больше вот этой Нэльки.

И захромал к себе в угол.

— Ха-га! Ха-га! — радовался Костоглотов неожиданной поддержке, выручил старик!

Русанов сел и отвернулся: Костоглотова он больше видеть не мог. А отвратительного этого сыча из угла не даром Павел Николаевич сразу не полюбил, ничего умней сказать не мог — приравнять облздрав и поломойку!

Все сразу рассыпались — и не видел Костоглотов, с кем дальше ему спорить.

Тут Вадим, так и не вставший с кровати, поманил его к себе, посадил и стал втолковывать без шума:

— У вас неправильная мерка. Вот в чём ваша ошибка: вы сравниваете с будущим идеалом, а вы сравните с теми язвами и гноем, которые представляла вся предшествующая история России до семнадцатого года.

— Я не жил, не знаю, — зевнул Костоглотов.

— И жить не надо, легко узнать. Почитайте Салтыкова-Щедрина, других пособий и не потребуется.

Костоготов ещё раз зевнул, не давая себе спорить. Движениями лёгких очень он намял себе желудок или опухоль, нельзя ему, значит, громко.

— Вы в армии не служили, Вадим?

— Нет, а что?

— Как это получилось?

— У нас в институте была высшая вневойсковая.

— А-а-а... А я семь лет служил. Сержантом. Называлась тогда наша армия Рабоче-Крестьянской. Командир отделения две десятки получал, а командир взвода — шестьсот, понятно? А на фронте офицеры получали доппаёк — печенье, масло, консервы, и прятались от нас, когда ели, понятно? Потому что — стыдно. И блиндажи мы им строили прежде, чем себе. Я сержантом был, повторяю.

Вадим нахмурился.

— А — к чему вы это говорите?

— А к тому, что — где тут буржуазное сознание? У кого?

Да и без того Олег уже наговорил сегодня лишнего, почти на *статью*, но было какое-то горько-облегчённое состояние, что терять ему осталось мало.

Опять он зевнул вслух и пошёл на свою койку. И ещё зевнул. И ещё зевнул.

От усталости ли? от болезни? Или от того, что все эти споры, переспоры, термины, ожесточение и злые глаза внезапно представились ему чавканьем болотным, ни в какое сравнение не идущим с их болезнью, с их предстоянием перед смертью?

А хотелось бы коснуться чего-нибудь совсем другого. Незыблемого.

Но где оно такое есть — не знал Олег.

Сегодня утром получил он письмо от Кадминых. Доктор Николай Иванович отвечал ему, между прочим, откуда это — «мягкое слово кость ломит». Какая-то была в России ещё в XV веке «Толковая палая» — вроде рукописной книги, что ли. И там — сказание о Китоврасе. (Николай Иванович всегда всю старину знал.) Жил Китоврас в пустыне дальней, а ходить мог только по прямой. Царь Соломон вызвал Китовраса к себе и обманом взял его на цепь, и повели его камни тесать. Но шёл Китоврас только по своей прямой,

и когда его по Иерусалиму вели, то перед ним дома ломали — очищали путь. И попался по дороге домик вдовы. Пустилась вдова плакать, умолять Китовраса не ломать её домика убогого — и что ж, умолила. Стал Китоврас изгибаться, тискаться, тискаться — и ребро себе сломал. А дом — целый оставил. И промолвил тогда: «Мягкое слово кость ломит, а жестокое гнев вздвигает».

И вот размышлял теперь Олег: этот Китоврас и эти писцы Пятнадцатого века — насколько ж они люди были, а мы перед ними — волки.

Кто это теперь даст ребро себе сломать в ответ на мягкое слово?..

Но ещё не с этого начиналось письмо Кадминых, Олег нашарил его на тумбочке. Они писали:

«Дорогой Олег!

Очень большое горе у нас.

Убит Жук.

Поселковый совет нанял двух охотников ходить и стрелять собак. Они по улицам шли и стреляли. Тобика мы спрятали, а Жук вырвался и лаял на них. Всегда ведь боялся даже фотообъектива, такое у него было предчувствие! Застрелили его в глаз, он упал на краю арыка, свесясь туда головой. Когда мы подошли к нему — он ещё дёргался. Такое большое тело — и дёргался, страшно смотреть.

И вы знаете, пусто стало в доме. И — чувство вины перед Жуком: что мы не удержали его, не спрятали.

Похоронили его в углу сада, близ беседки...»

Олег лежал и представлял себе Жука. Но не убитого, не с кровоточащим глазом, не со свешенной в арык головой, — а те две лапы и огромную добрую ласковую голову с большими ушами, которыми он заслонял окошко олеговой халупы, когда приходил и звал открыть.

30

Доктор Орещенков за семьдесят пять лет жизни и полвека лечения больных не заработал каменных палат, но деревянный одноэтажный домик с садиком всё же купил, ещё в двадцатых годах. И с тех пор тут и жил. Домик стоял на одной из тихих улиц, не только с широким бульваром, но и просторными тротуарами,

отводившими дома от улицы на добрых пятнадцать метров. На тротуарах ещё в прошлом веке принялись толстоствольные деревья, чьи верхи в летнее время сплошь сдвигались в зелёную крышу, а каждого низ был обкопан, очищен и ограждён чугунной решёткой. В зной люди шли тут, не чувствуя жестокости солнца, и ещё рядом с тротуаром в канавке, обложенной плитками, бежала прохладная арычная вода. Эта дуговая улица окружала добротнейшую красивейшую часть города и сама была из лучших её украшений. (Впрочем, ворчали в горсовете, что уж очень растянуты эти одноэтажные, не притиснутые друг ко другу дома, что дороги становятся коммуникации и пора тут сносить и строить пятиэтажные.)

Автобус не подходил близко к дому Орещенкова, и Людмила Афанасьевна шла пешком. Был очень тёплый, сухой вечер, ещё не смерклось, ещё видно было, как в первом нежном роспуске — одни больше, другие меньше — деревья готовятся к ночи, а свечевидные тополя ещё нисколько не зелены. Но Донцова смотрела под ноги, не вверх. Невесела и условна была вся эта весна, и никак не известно, что будет с Людмилой Афанасьевной, пока все эти деревья распустят листья, выжелтят и сбросят. Да и прежде она всегда так была занята, что не выпадало ей остановиться, голову запрокинуть и прощуриться.

В домике Орещенкова были рядом калитка и парадная дверь с медной ручкой, с бугровидными филёнками, по-старинному. В таких домах такие немолодые двери чаще всего забиты, и идти надо через калитку. Но здесь не заросли травой и мхом две каменные ступеньки к двери, и по-прежнему была начищена медная дощечка с каллиграфической косой гравировкой: «Доктор Д. Т. Орещенков». И чашечка электрического звонка была не застаревшая.

В неё Людмила Афанасьевна и нажала. Послышались шаги, дверь открыл сам Орещенков в поношенном, а когда-то хорошем коричневом костюме и с расстёгнутым воротом рубашки.

— А-а, Людочка, — лишь слегка поднимал он углы губ, но это уже означало у него самую широкую улыбку. — Жду, входите, очень рад. Рад, хотя и не рад. По хорошему поводу вы бы старика не навестили.

Она звонила ему, что просит разрешения прийти. Она могла бы и всю просьбу высказать по телефону, но это было бы невежливо. Сейчас она виновато убеждала его, что навестила б и без худого случая, а он не давал ей снять пальто самой.

— Позвольте, я ещё не развалина!

Он повесил её пальто на колок длинной полированной тёмной вешалки, приёмистой ко многим посетителям, и повёл по гладко окрашенным деревянным полам. Они обминули коридором лучшую светлую комнату дома, где стоял рояль с поднятым пюпитром, весёлым от распахнутых нот, и где жила старшая внучка Орещенкова; перешли столовую, окна которой, заслонённые сухими сейчас плетями винограда, выходили во двор, и где стояла большая дорогая радиола; и так добрались до кабинета, вкруговую обнесённого книжными полками, со старинным тяжеловесным письменным столом, старым диваном и удобными креслами.

— Слушайте, Дормидонт Тихонович, — сощуренными глазами провела Донцова по стенам. — У вас книг, по-моему, ещё больше стало.

— Да нет, — слегка покачал Орещенков большой литой головой. — Подкупил я, правда, десятка два недавно, а знаете у кого? — И смотрел чуть весело. — У Азначеева. Он на пенсию перешёл, ему, видите ли, шестьдесят лет. И в этот день выяснилось, что никакой он не рентгенолог, что никакой медицины он знать больше ни одного дня не хочет, что он — исконный пчеловод и теперь будет только пчёлами заниматься. Как это может быть, а? Если ты пчеловод — что ж ты лучшие годы терял?.. Так, ну куда вы сядете, Людочка? — спрашивал он седоватую бабушку Донцову. И сам же решил за неё: — Вот в этом кресле вам будет очень удобно.

— Да я не собираюсь рассиживаться, Дормидонт Тихонович. Я на минутку, — ещё возражала Донцова, но глубоко опустилась в это мягкое кресло и сразу почувствовала успокоение и даже почти уверенность, что только лучшее из решений будет принято сейчас здесь. Бремя постоянной ответственности, бремя главенства и бремя выбора, который она должна была сделать со своею жизнью, — всё снялось с её плеч ещё у вешалки в коридоре и вот окончательно свалилось, когда она погрузилась в это кресло. С отдохновением она мягко прошлась глазами по кабинету, знакомому ей, и с умилением увидела старый мраморный умывальник в углу — не раковину новую, а умывальник с подставным ведром, но всё закрыто и очень чисто.

И посмотрела прямо на Орещенкова, радуясь, что он жив, что он есть и всю её тревогу переймёт на себя. Он ещё стоял. Он ровно стоял, склонности горбиться не было у него, всё та же твёрдая постановка плеч, посадка головы. Он всегда выглядел так уверенно,

будто, леча других, сам абсолютно не может заболеть. Со середины его подбородка стекала небольшая обстриженная серебряная струйка бороды. Он ещё не был лыс, не до конца даже сед, и полугладким пробором, кажется мало изменившимся за годы, лежали его волосы. А лицо у него было из тех, черты которых не движутся от чувств — остаются ровны, на предназначенном месте. И только брови, вскинутые сводчатыми углами, ничтожными малыми перемещениями принимали на себя весь охват переживаемого.

— А уж меня, Любочка, извините, я — за стол. Это пусть не будет официально. Просто я к месту присиделся.

Ещё бы не присидеться! Когда-то часто, каждый день, потом реже, но и теперь ещё всё-таки в этот кабинет приходили к нему больные и иногда сидели здесь подолгу за мучительным разговором, от которого зависело всё будущее. За извилами этого разговора почему-то на всю жизнь могли врезаться в память зелёное сукно стола, окружённое тёмно-коричневым дубовым обводом, или старинный разрезной деревянный нож, никелированная медицинская палочка (смотреть горло), чернильница под медной крышечкой или крепчайший тёмно-бордовый остывший чай в стакане. Доктор сидел за своим столом, а то поднимался и прохаживался к умывальнику или книжной полке, когда надо было дать больному отдохнуть от его взгляда и подумать. Вообще же ровновнимательные глаза доктора Орещенкова никогда без надобности не отводились в сторону, не потуплялись к столу и бумагам, они не теряли ни минуты, предоставленной смотреть на пациента или собеседника. Глаза эти были главным прибором, через который доктор Орещенков воспринимал больных и учеников и передавал им своё решение и волю.

Меж многих преследований, испытанных Дормидонтом Тихоновичем за свою жизнь: за революционерство в 902-м году (он и посидел тогда недельку в тюрьме с другими студентами); потом за то, что отец его покойный был священник; потом за то, что сам он в первой империалистической войне в царской армии был бригадным врачом, да не просто бригадным врачом, но, как установлено свидетелями, в момент панического отступления полка вскочил на лошадь, завернул полк и увлёк его снова в эту империалистическую свалку, против немецких рабочих, — меж всех этих преследований самое настойчивое и стискивающее было за то, что Орещенков упорно держался своего права вести частную врачебную практику, хотя она всё жесточе повсеместно запрещалась как

источник предпринимательства и обогащения, как нетрудовая деятельность, на каждом шагу повседневно рождающая буржуазию. И на некоторые годы он должен был снять врачебную табличку и с порога отказывать всем больным, как бы ни просили они и как бы ни было им плохо, — потому что по соседству выставлялись добровольные и платные шпионы финотдела, да и сами больные не могли удержаться от рассказов, — и это грозило доктору потерей всякой работы, а то и жилья.

А между тем именно правом частной практики он в своей деятельности дорожил более всего. Без этой гравированной дощечки на двери он жил как будто нелегально, как будто под чужим именем. Он принципиально не защищал ни кандидатской, ни докторской диссертаций, говоря, что диссертация ничуть не свидетельствует об успехах ежедневного лечения, что больному даже стеснительно, если его врач — профессор, а за время, потраченное на диссертацию, лучше подхватить лишнее направление. Только в здешнем мединституте за тридцать лет Орещенков переработал и в терапевтической клинике, и в детской, и в хирургической, и в инфекционной, и в урологической, и даже в глазной, — и лишь после этого всего стал рентгенологом и онкологом. Пожимкой губ, всего лишь миллиметровой, выражал он своё мнение о «заслуженных деятелях науки». Он так высказывался, что если человека при жизни называли *деятелем*, да ещё заслуженным, — то это его конец: слава, которая уже мешает лечить, как слишком пышная одежда мешает двигаться. «Заслуженный деятель» идёт со свитой — и лишён права ошибиться, лишён права чего-нибудь не знать, даже лишён права задуматься; он может быть пресыщен, вял, или отстал и скрывает это, — а все ждут от него непременно чудес.

Так вот ничего этого не хотел себе Орещенков, а только медной дощечки на двери и звонка, доступного прохожему.

И всё-таки сложилось так счастливо, что однажды Орещенков спас уже совсем умиравшего сына одного крупного здешнего руководителя. А ещё раз — самого руководителя, не этого, но тоже крупного. И ещё несколько раз — членов разных важных семей. И всё это было здесь, в одном городе, он никуда не уезжал. И тем создалась слава доктора Орещенкова во влиятельных кругах и некий ореол защиты вокруг него. Может быть, в чисто русском городе не облегчило б ему и это, но в более покладистом восточном умели как-то не заметить, что он снова повесил табличку и снова кого-то принимал. После войны он уже не состоял на постоянной

работе нигде, но консультировал в нескольких клиниках, ходил на заседания научных обществ. Так с шестидесяти пяти лет он стал безвозбранно вести ту жизнь, которую считал для врача правильной.

— Так вот, Дормидонт Тихонович, пришла я вас просить: не сможете ли вы приехать посмотреть мой желудочно-кишечный?.. В какой день вам будет удобно — в тот мы и назначим...

Вид её был сер, голос ослаблен. Орещенков смотрел на неё ровным неотвратимым взглядом.

— Вне сомнения, выберем и день. Но вы мне всё-таки назовите ваши симптомы. И что вы думаете сами.

— Симптомы я все вам сейчас назову, — но что я сама думаю? Вы знаете, я стараюсь *не думать!* То есть я думаю об этом слишком много, стала ночами не спать, а легче бы всего мне самой не знать! Серьёзно. Вы примете решение, нужно будет лечь — я лягу, а знать — не хочу. Если ложиться, то легче бы мне диагноза не знать, чтоб не соображать во время операции: а что они там сейчас могут делать? а что там сейчас вытягивают? Вы понимаете?

От большого ли кресла или от ослабших плеч она не выглядела сейчас крупной, большой женщиной. Она уменьшилась.

— Понимать, может быть, и понимаю, Людочка, но не разделяю. А почему уж вы так сразу об операции?

— Ну, надо быть ко всему...

— А почему вы тогда не пришли раньше? Уж вы-то — знаете...

— Да вот так, Дормидонт Тихонович! — вздохнула Донцова. — Жизнь такая, крутишься, крутишься. Конечно, надо было раньше... Да не так-то у меня и запущено, не думайте! — К ней возвращалась её убыстрённая деловая манера. — Но почему такая несправедливость: почему меня, онколога, должна настичь именно онкологическая болезнь, когда я их все знаю, когда представляю все сопутствия, последствия, осложнения?..

— Никакой тут несправедливости нет, — басовостью и отмеренностью очень убеждал его голос. — Напротив, это в высшей степени справедливо. Это самое верное испытание для врача: заболеть по своей специальности.

(В чём же тут справедливо? В чём тут верно? Он рассуждает так потому, что не заболел сам.)

— Вы Паню Фёдорову помните, сестру? Она говорила: «Ой, что это я неласковая с больными стала? Пора мне опять в больнице полежать...»

— Никогда не думала, что буду так переживать! — хрустнула Донцова пальцами в пальцах.

И всё-таки сейчас она меньше изводилась, чем всё последнее время.

— Так что ж вы у себя наблюдаете?

Она стала рассказывать, сперва в общих чертах, однако он потребовал дотонка.

— Но, Дормидонт Тихонович, я совсем не собиралась отнимать у вас субботний вечер! Если вы всё равно приедете смóтрать меня на рентгене...

— А вы не знаете, какой я еретик? что я и до рентгена двадцать лет работал? И какие диагнозы ставили! Очень просто: ни одним симптомом — не пренебречь, все симптомы — в порядке их появления. Ищешь диагноз такой, чтобы сразу все симптомы охватил — он-то, голубчик, и верен! он и есть! С рентгеном — как с фотоэкспонетром или с часами: когда они при тебе — совсем разучаешься определять на глаз выдержку, по чувству — время. А когда их нет — быстро подтягиваешься. Врачу было трудней, да больным легче, меньше исследований.

И Донцова стала рассказывать, дифференцируя и группируя симптомы и заставляя себя не упускать тех подробностей, которые могли бы потянуть на тяжёлый диагноз (хотя невольно хотелось что-то упустить и услышать: «так ерунда у вас, Людочка, ерунда»). Назвала она и состав крови, плохонький состав, и РОЭ повышенное. Он выслушал её сплошно, стал задавать вопросы ещё. Иногда кивал, как о лёгком, встречающемся у каждого, а «ерунда» всё-таки не сказал. У Донцовой мелькнуло, что, по сути, он уже, наверно, вынес и диагноз, и даже можно прямо сейчас спросить, не дожидаясь дня рентгена. Но так сразу, так прямо спросить и, верно ли, неверно, что-то узнать — вот прямо сейчас узнать — было очень страшно. Надо было непременно оттянуть, смягчить несколькими днями ожидания!

Как дружески они разговаривали, встречаясь на научных заседаниях! Но вот она пришла и призналась в болезни — как в преступлении, и сразу лопнула струна равенства между ними! Нет, не равенства — равенства с учителем никогда и не было, но резче того: своим признанием она исключала себя из благородного сословия врачей и переводила в податное зависимое сословие больных. Правда, Орещенков не пригласил сейчас же прощупать больное место. Он всё так же разговаривал с ней как с гостьей. Он, кажется,

предлагал ей состоять в обоих сословиях сразу, — но она была смята и не могла уже держаться по-прежнему.

— Собственно, и Верочка Гангарт сейчас такой диагност, что я могла бы ей вполне довериться, — всё в той же быстрой манере, выработанной плотным рабочим днём, метала фразы Донцова, — но, поскольку есть вы, Дормидонт Тихонович, я решилась...

Орещенков всё смотрел и смотрел на неё. Сейчас Донцова плохо видела, но уже два года как в его неуклонном взгляде замечала она как бы постоянный присвет отречённости. Это появилось после смерти его жены.

— Ну а если придётся всё-таки... побюллетенить? Значит, за себя Верочку?

(«Побюллетенить»! Он нашёл мягчайшее из слов! Но значит, у неё *не ничего?*..)

— Да. Она созрела, она вполне может вести отделение.

Покивал Орещенков, взялся за струйчатую бородку:

— Созрела-то созрела, а — замуж?..

Донцова покрутила головой.

— И моя внучка так. — Орещенков без надобности перешёл на шёпот. — Никого себе не найдёт. Непростое дело.

Углы его бровей оттенком перемещения выразили тревогу.

Он сам настоял не откладывая несколько, а посмотреть Донцову в понедельник.

(Так торопится?..)

Наступила, может быть, та пауза, от которой удобно встать и откланяться с благодарностями. И Донцова поднялась. Но Орещенков заупрямился, что она должна выпить стакан чаю.

— Да я совсем не хочу! — уверяла Людмила Афанасьевна.

— Зато я хочу! Мне как раз время пить чай.

Он таки тянул, тянул её из разряда преступно-больных в разряд безнадежно-здоровых!

— А молодые ваши дома?

«Молодым» было по столько же лет, как и Людмиле Афанасьевне.

— Нет. И внучки нет. Я один.

— Так это вы ещё и хозяйничать для меня будете? Ни за что!

— Да не буду я хозяйничать. Термос — полный. А разные там кексы и блюдечки из буфета — ладно, достанете вы.

И они перешли в столовую и стали пить чай на уголке квадратного дубового стола, на котором вполне мог бы станцевать и слон

и который бы ни в какую дверь отсюда, наверно, не выпятился. Настенные часы, тоже не молоденькие, показывали ещё не позднее время.

Дормидонт Тихонович стал говорить о внучке, о своей любимице. Она недавно кончила консерваторию, играет прелестно, и умница, что не часто среди музыкантов, и привлекательна. Он и карточку её новую показал, но говорил немногословно, не претендуя занять внучкой всё внимание Людмилы Афанасьевны. Да всё внимание она и ничему уже не могла бы отдать, потому что оно разбилось на куски и не могло быть собрано в целое. Как странно было сидеть и безопасно пить чай с человеком, который уже представляет размеры опасности, который, может быть, уже и дальнейший ход болезни предвидит, а вот же — ни слова, только пододвигает печенье.

Был повод высказаться и ей, но не о разведенной дочери, о которой слишком наболело, а о сыне. Сын достиг восьмого класса и тут осознал и заявил, что учиться дальше он не видит никакого смысла! И ни отец, ни мать не могли найти против него аргументов, все аргументы отскакивали от его лба. — Нужно быть культурным человеком! — «А зачем?» — Культура — это самое главное! — «Самое главное — это весело жить». — Но без образования у тебя не будет хорошей специальности! — «И не надо». — Значит, будешь простым рабочим? — «Нет, ишачить не буду». — На что ж ты будешь жить? — «Всегда найду. Надо уметь». Он связался с подозрительной компанией, и Людмила Афанасьевна тревожилась.

Такое выражение было у Орещенкова, будто, и не слышав этой истории, он уже давно её слышал.

— А ведь между другими наставниками молодёжи мы потеряли ещё одного, очень важного, — сказал он, — семейного доктора! Девочкам в четырнадцать лет и мальчикам в шестнадцать надо обязательно разговаривать с доктором. И не за партами по сорок человек сразу (да и так-то не разговаривают), и не в школьном медкабинете, пропуская каждого в три минуты. Надо, чтоб это был тот самый дядя доктор, которому они с детства показывали горлышко и который сживал у них за чаем. Если теперь этот безпристрастный дядя доктор, добрый и строгий, которого не возьмёшь ни капризом, ни просьбой, как родителей, вдруг зайдёт с девочкой или с мальчиком в кабинет? Да заведёт исподволь какой-то странный разговор, который вести и стыдно,

и интересно очень, и где безо всяких вопросов младшего доктор догадается и на всё самое главное и трудное ответит сам? Да может, и на второй такой разговор позовёт? Так ведь он не только предупредит их от ошибок, от ложных порывов, от порчи своего тела, но и вся картина мира для них омоется и уляжется. Как только они будут поняты в их главной тревоге, в их главном поиске — им не станет уже казаться, что они так безнадежно непоняты и в остальных отношениях. С этого мига им внятнее станут и всякие иные доводы родителей.

Орещенков говорил полновзвучным голосом, ещё никак не давшим трещин старости, он смотрел ясными глазами, живым смыслом их ещё доубеждая, но Донцова заметила, что от минуты к минуте её покидает благодатное успокоение, освежившее её в кресле кабинета, а какая-то грязца, что-то тоскливое поднимается, поднимается в груди, ощущение чего-то потерянного, или даже теряемого вот сейчас, пока она слушает рассудительную речь, а надо бы встать, уйти, поспешить — хотя неизвестно, куда же, зачем.

— Это верно, — согласилась Донцова. — Половое воспитание у нас заброшено.

От Орещенкова не укрылась эта перебегающая смутность, нетерпеливая растерянность на лице Донцовой. Но для того, чтобы в понедельник зайти за рентгеновский экран, ей, не желающей *знать*, совсем не надо было в этот субботний вечер ещё и ещё перебирать симптомы, ей и надо было отвлечься в беседе.

— Вообще, семейный доктор — это самая нужная фигура в жизни, а её докорчевали. Поиск врача бывает так интимен, как поиск мужа-жены. Но даже жену хорошую легче найти, чем в наше время такого врача.

Людмила Афанасьевна наморщила лоб.

— Ну да, но сколько ж надо семейных докторов? Это уже не может вписаться в нашу систему всеобщего бесплатного народного лечения.

— Всеобщего — может, бесплатного — нет, — рокотал Орещенков своё.

— А бесплатность — наше главное достижение.

— Да уж такое ли? Что значит «бесплатность»? — платит не пациент, а народный бюджет, но он из тех же пациентов. Это лечение не бесплатное, а обезличенное. Сейчас не знаешь, сколько б заплатил за душевный приём, а везде — график, норма выработки, следующий! Да и за чем ходят? — за справкой, за освобождением, за

ВТЭКом, а врач должен разоблачать. Больной и врач как враги — разве это медицина?

А симптомы, симптомы лезли в голову и напирали выстроиться в худший из рядов...

— Я не говорю, что всё лечение полностью надо сделать платным. Но первичное — обязательно. А уж когда определено больному лечиться в клинику и к аппаратам — там справедливо бесплатное. Да и то вот в вашей клинике: почему два хирурга оперируют, а трое в рот им смотрят? Потому что зарплата им идёт, о чём беспокоиться? А если б деньги от пациентов да ни один пациент бы к ним не пошёл — забегал бы ваш Халмухамедов! Или Пантёхина. Тем или иным способом, Людочка, но врач должен зависеть от впечатления, производимого им на больных. От своей популярности.

— Ну, не дай Бог ото всех зависеть! От какой-нибудь скандалистики...

— А от главврача зависеть — почему лучше? А из кассы получать как чиновник — почему честней?

— Адотешные есть, замучают тебя теоретическими вопросами, так на всё отвечай?

— Да. И на всё отвечай.

— Да когда ж всё успеть! — возмутилась и оживилась к разговору Донцова. Ему хорошо тут в домашних туфлях расхаживать по комнате. — Вы представляете, какие сейчас темпы в лечебных учреждениях? Вы таких не застали.

Видел Орещенков по усталому заморганному лицу Людмилы Афанасьевны, что отвлекающий разговор не оказался ей полезен. Тут ещё открылась дверь с веранды и вошёл — вошёл будто пёс, но такой крупный, тёплый и невероятный, как человек, зачем-то ставший на четыре ноги. Людмила Афанасьевна хотела испугаться, не укусит ли, но, как разумного человека с печальными глазами, его невозможно было пугаться.

Он шёл по комнате мягко, даже задумчиво, не предвидя, что здесь кто-то может удивиться его входу. На один только раз, выражая входную фразу, он поднял пышную белую метлу хвоста, мотнул ею в воздухе и опустил. Кроме чёрных висячих ушей, весь он был рыже-белый, и два этих цвета сложным узором перемежались в его шерсти: на спине ему как бы положили белую попону, бока были ярко-рыжие, а зад даже апельсиновый. Правда, он подошёл к Людмиле Афанасьевне и понюхал её колени, но всё это очень ненавязчиво. И не сел близ стола на свой апельсиновый зад, как

ожидалось бы от всякой собаки, и не выразил какого-либо интереса к еде на поверхности стола, лишь немного превышающего верх его головы, а так на четырёх лапах и остался, круглыми сочно-коричневыми глазищами смотря повыше стола с трансцендентной отречённостью.

— Да какая же это порода?? — изумилась Людмила Афанасьевна и первый раз за вечер забыла о себе и своей боли.

— Сенбернар, — поощрительно смотрел Орещенков на пса. — Всё бы хорошо, только уши слишком длинные, в миску сваливаются.

Людмила Афанасьевна разглядывала пса. Такому не место было в уличной суеде, такого пса и никаким транспортом, наверно, не разрешалось перевозить. Как снежному человеку только и осталось место в Гималаях, так подобной собаке только и оставалось жизни в одноэтажном доме при саде.

Орещенков отрезал кусок пирога и предложил псу — но не бросил, как бросают другим разным собакам, а именно угостил его пирогом как равного — и тот как равный неторопливо снял зубами с ладони-тарелки, может быть и не голодный, но из вежливости.

И почему-то приход этой спокойной задумчивой собаки освежил и развеселил Людмилу Афанасьевну, и, уже встав из-за стола, она подумала, что не так-то всё ещё с ней плохо, даже если операция, а вот плохо она слушала Дормидонта Тихоновича и:

— Просто безсовестно! Пришла со своей болячкой и не спросу: а как же *ваше* здоровье? как — вы?

Он стоял против неё — ровный, даже дородный, с ещё ничуть не слезящимися глазами, со всё дослышивающими ушами, и что он старше её на двадцать пять лет — в это нельзя было поверить.

— Пока ничего. Я вообще решил не болеть перед смертью. Умру, как говорится, в одночасье.

Он проводил её, вернулся в столовую и опустился в качалку — гнутую, чёрную, с жёлтой сеткой, потёртой спиною за много лет. Он опустился малым качком и, как только она сама затихла, больше не раскачивался. В том особенном положении перепрокинутасти и свободы, которое даёт качалка, он замер и совсем не двигался долго.

Ему теперь часто надо было так отдыхать. И не меньше, чем требовало тело этого восстановления сил, — его внутреннее состояние, особенно после смерти жены, требовало молчаливого углубления, свободного от внешнего звука, разговора, от деловых

мыслей, даже ото всего того, что делало его врачом. Его внутреннее состояние как будто требовало омыться, опрозрачить.

В такие минуты весь смысл существования — его самого за долгое прошлое и за короткое будущее, и его покойной жены, и его молоденькой внучки, и всех вообще людей, — представлялся ему не в их главной деятельности, которую они постоянно только и занимались, в ней полагали весь интерес и ею были известны людям. А в том, насколько удавалось им сохранить неомутнённым, непродрогнувшим, неискажённым — изображение вечности, зароненное каждому.

Как серебряный месяц в спокойном пруду.

31

Возникло и присутствовало какое-то внутреннее напряжение, но не утомляющее, а — радостное. Он даже точно ощущал, в каком месте это напряжение: в передней части груди, под костями. Напряжение это слегка распирало — как горячеватый воздух; нлыло приятно; и, пожалуй, звучало — только не звуками земли, не теми, которые воспринимает ухо.

Это было иное чувство — не то, что на прошлых неделях тянуло его за Зоей по вечерам.

Он нёс в себе и берёг это напряжение, всё время слушал его. Теперь-то он вспомнил, что и его знал в молодости, но потом начисто забыл. Что это за чувство? Насколько оно постоянно, не обманно? Зависит ли оно целиком от женщины, вызвавшей его, или ещё и от загадки — от того, что женщина не стала близкой, — а потом оно рассеется?

Впрочем, выражение *стать близкой* теперь не имело для него смысла.

Или всё-таки имело?.. Это чувство в груди одно и осталось надеждой, и потому Олег так его сохранял. Оно стало главным наполняющим, главным украшающим жизнь. Он удивлялся, как это стало: присутствие Веги делало весь раковый корпус интересным, цветным, только тем и не иссыхал этот корпус, что они... дружили. Хотя Олег видел её совсем немного, иногда мельком. Ещё она переживала ему кровь на днях. Говорили опять хорошо, правда не так свободно, при сестре.

Сколько он рвался отсюда уехать, а теперь, когда ему подошли сроки выписываться, было уже и жаль. В Уш-Тереке он перестанет видеть Вегу. И как же?

Сегодня, в воскресенье, он как раз не имел надежды увидеть её. А день был тёплый, солнечный, с неподвижным воздухом, застывшим для разогрева, для перегрева, — и Олег отправился гулять по двору, и дыша, и разнимаемый этим густеющим теплом, хотел представить, а как она это воскресенье проводит? чем занята?

Он теперь передвигался вяло, не так, как раньше; он уже не вышагивал твёрдо по намеченной прямой, круто поворачиваясь в её концах. Он шёл ослабло, с осторожностью; приседал на какую-нибудь скамью, а если вся была свободна, то и растягивался по-лежать.

Так и сегодня, в халате незастёгнутом, внапашку, он брёл, со спиной осевшей, то и дело останавливался и задирал голову смотреть на деревья. Одни уже стояли вползелени, другие вчетверть, а дубы не развернулись нисколько. И всё было — хорошо!

Неслышной, незаметно вылезавшей, уже много зеленело травы там и здесь — такой даже большой, что за прошлогоднюю б её принять, если б не так зелена.

На одной открытой аллеюке, на пригреве, Олег увидел Шулубина. Тот сидел на плохонькой узкодосочной скамье без спинки, сидел на бёдрах, свисая несколько и назад, несколько и вперёд, а руки его, вытянутые и соединённые в пальцах, были сжаты между коленями. И так, ещё с головой опущенной, на отъединённой скамейке, в резких светах и тенях, он был как скульптура потерянности.

Олег не против был бы сейчас подсесть к Шулубину: он ни разу ещё не улучил толково с ним поговорить, а хотелось, потому что из лагеря он знал: те-то и носят в себе, кто молчат. Да и вмешательство Шулубина в спор на поддержку расположило и задело Олега.

И всё ж он решил пройти мимо: всё оттуда же понял он и признал священное право всякого человека на одиночество.

Шёл он мимо, но медленно, загребая сапогами по гравию, не мешая себя и остановить. Шулубин увидел-таки сапоги, а по сапогам поднял голову. Посмотрел безучастно, как бы лишь признавая — «да, мы ведь в одной палате лежим». И Олег ещё два шага отмерил, когда Шулубин полувопросом предложил ему:

— Садитесь?

На ногах Шулубина тоже были не простые больничные тапочки, но комнатные туфли с высокими бочками, оттого он мог тут гулять и сидеть. А голова — открытая, редкие колечки серых волос.

Олег завернул, сел, будто всё равно ему было, что дальше идти, что сидеть, а сидеть, впрочем, и лучше.

С какого конца ни начни, мог бы он закинуть Шулубину узловой вопрос — тот узловой, в ответе на который человек — весь. Но вместо этого только спросил:

— Так что, послезавтра, Алексей Филиппыч?

Он и без ответа знал, что послезавтра. Вся палата знала, что на послезавтра назначена Шулубину операция. А сила была в «Алексее Филиппыче», как никто ещё в палате не называл молчаливого Шулубина. Сказано это было как ветеран ветерану.

— На последнем солнышке погреться, — кивнул Шулубин.

— Не после-еднее, — пробасил Костоготов.

А косясь на Шулубина, подумал, что, может быть, и последнее. Подрывало силы Шулубина, что он очень мало ел, меньше, чем велел ему аппетит: он берётся, чтобы потом меньше испытывать болей. В чём болезнь Шулубина, Костоготов уже знал и теперь спросил:

— Так и решили? На бок выводить?

Собрав губы, как для чмокания, Шулубин ещё покивал.

Помолчали.

— Всё-таки есть рак и рак, — высказал Шулубин, смотря перед собою, не на Олега. — Из раков — ещё какой рак. В каждом плохом положении ещё есть похуже. Мой случай такой, что и с людьми не поговоришь, не посоветуешься.

— Да мой, пожалуй, тоже.

— Нет, мой хуже, как хотите! У меня болезнь какая-то особенно унижительная. Особенно оскорбительная. И последствия страшные. Если я останусь жив, — а это ещё большое «если», — около меня неприятно будет стоять, сидеть, вот как вы сейчас. Все будут стараться — шага за два. А если кто-нибудь станет ближе, я сам непременно буду думать: ведь он еле терпит, он меня прокликает. То есть уже вообще с людьми не побудешь.

Костоготов подумал, чуть насвистывая — не губами, а зубами, рассеянно проталкивая воздух через соединённые зубы.

— Вообще трудно считаться, кому тяжелей. Это ещё трудней, чем соревноваться успехами. Свои беды каждому досадней. Я, например, мог бы заключить, что прожил на редкость неудачную

жизнь. Но откуда я знаю: может быть, вам было ещё круче? Как я могу утверждать со стороны?

— И не утверждайте, а то ошибётесь. — Шулубин повернул-таки голову и вблизи посмотрел на Олега слишком выразительными круглыми глазами с кровоизлияниями по белку. — Самая тяжёлая жизнь совсем не у тех, кто тонет в море, роется в земле или ищет воду в пустынях. Самая тяжёлая жизнь у того, кто каждый день, выходя из дому, бьётся головой о притолоку — слишком низкая... Вы — что, я понял так: воевали, потом сидели, да?

— Ещё — института не кончил. Ещё — в офицеры не взяли. Ещё — в вечной ссылке сижу. — Олег задумчиво это всё отмеривал, без жалобы. — Ещё вот — рак.

— Ну, раками мы покрываемся. А насчёт остального, молодой человек...

— Да какой я к чертям молодой! Тó считаете, что голова на плечах — первая? что шкура не перелицована?..

— ...Насчёт остального я вам так скажу: вы хоть ввали меньше, понимаете? вы хоть гнулись меньше, цените! Вас арестовывали, а нас на собрания загоняли: *проработывать* вас. Вас казнили — а нас заставляли стоя хлопать оглашённым приговорам. Да не хлопать, а — требовать расстрела, *требовать!* Помните, как в газетах писали: «как один человек всколыхнулся весь советский народ, узнав о безпримерно подлых злодеяниях»... Вот это «как один человек» вы знаете чего стоит? Люди мы все-все разные и вдруг — «как один человек»! Хлопать-то надо ручки повыше заирать, чтоб и соседи видели, и президиум. А — кому не хочется жить?.. Кто на защиту вашу стал? Кто возразил? Где они теперь?.. Если такой воздерживается, не против, что вы! *воздерживается*, когда голосуют расстрел Промпартии, — «пусть объяснит! — кричат, — пусть объяснит!» Встаёт с пересохшим горлом: «Я думаю, на двенадцатом году революции можно найти другие средства пресечения...» Ах, негодяй! Пособник! Агент!.. И на другое утро — повесточка в ГПУ. И — на всю жизнь.

И произвёл Шулубин то странное спиральное кручение шеей и круглое головой. Он на скамейке-то, перевешенный вперёд и назад, сидел, как на насесте крупная неуседливая птица.

Костоготов старался не быть от сказанного польщённым:

— Алексей Филиппыч, это значит — какой номер потянешь. Вы бы на нашем месте были такими же мучениками, мы на вашем — такими же приспособленцами. Но ведь вот что: калило

и пекло таких, как вы, кто понимал. Кто понял рано. А тем, кто верил, — было легко. У них и руки в крови — так не в крови, они ж не понимали.

Косым пожирающим взглядом мелькнул старик:

— А кто это — верил?

— Да я вот верил. До финской войны.

— А сколько это — верили? Сколько это — не понимали? С пацана и не спрос. Но признать, что вдруг народишка наш весь умом оскудел, — не могу! Не иду! Бывало, что б там барин с крыльца ни молол, мужики только остороженько в бороды ухмылялись: и барин видит, и приказчик сбоку замечает. Подойдёт пора кланяться — и все «как один человек». Так это значит — мужики барину верили, да? Да кем это нужно быть, чтобы *верить*? — вдруг стал раздражаться и раздражаться Шулубин. Его лицо при сильном чувстве всё смещалось, менялось, искажалось, ни одна черта не оставалась покойной. — То все профессеры, все инженеры стали вредители, а он — верит? То лучшие комдивы Гражданской войны — немецко-японские шпионы, а он — верит? То вся ленинская гвардия — лютые перерожденцы, а он — верит? То все его друзья и знакомые — враги народа, а он — верит? То миллионы русских солдат изменили родине — а он всё верит? То целые народы от стариков до младенцев срезают под корень — а он всё верит? Так сам-то он кто, простите, — дурак?! Да неужели ж весь народ из дураков состоит? — вы меня извините! Народ умён — да жить хочет. У больших народов такой закон: всё пережить и остаться! И когда о каждом из нас история спросит над могилой — кто ж он был? — останется выбор по Пушкину:

В наш гнусный век...
На всех стихиях человек —
Тиран, предатель или узник.

Олег вздрогнул. Он не знал этих строк, но была в них та прорезающая несомненность, когда и автор, и истина выступают во плоти.

А Шулубин ему погрозил крупным пальцем:

— Для дурака у него и места в строчке не нашлось. Хотя знал же он, что и дураки встречаются. Нет, выбор нам оставлен тройкий. И если помню я, что в тюрьме не сидел, и твёрдо знаю, что тираном не был, значит... — усмехнулся и закашлялся Шулубин, — значит...

И в кашле качался на бёдрах вперёд и назад.

— Так вот такая жизнь, думаете, легче вашей, да? Весь век я пробоялся, а сейчас бы — сменялся.

Подобно ему и Костоглотов, тоже осунувшись, тоже перевесясь вперёд и назад, сидел на узкой скамье, как хохлатая птица на жёрдочке.

На земле перед ними наискосок ярко чернели их тени с подобранными ногами.

— Нет, Алексей Филиппыч, это слишком сплеча осужено. Это слишком жестоко. Предателями я считаю тех, кто доносы писал, кто выступал свидетелем. Таких тоже миллионы. На двух сидевших, ну на трёх — одного доносчика можно посчитать? — вот вам и миллионы. Но всех записывать в предатели — это сгоряча. Погорячился и Пушкин. Ломает в бурю деревья, а трава гнётся, — так что́ — трава предала деревья? У каждого своя жизнь. Вы сами сказали: пережить — народный закон.

Шулубин сморщил всё лицо, так сморщил, что мало рта осталось и глаза исчезли. Были круглые большие глаза — и не стало их, одна слепая сморщенная кожа.

Разморщил. Та же табачная радуга, обведенная прикраснённым белком, но смотрели глаза омытее:

— Ну, значит — облагороженная стадность. Боязнь остаться одному. *Вне коллектива*. Вообще, это не ново. Френсис Бэкон ещё в XVI веке выдвинул такое учение — *об идолах*. Он говорил, что люди не склонны жить чистым опытом, им легче загрязнить его предрассудками. Вот эти предрассудки и есть идолы. Идолы рода, как называл их Бэкон. Идолы пещеры...

Он сказал — «идолы пещеры», и Олегу представилась пещера: с костром посередине, вся затянутая дымом, дикари жарят мясо, а в глубине, полунеразличимый, стоит синеватый идол.

— ...Идолы театра...

Где же идол? В вестибюле? На занавесе? Нет, приличней, конечно, — на театральной площади, в центре сквера.

— А что такое идолы театра?

— Идолы театра — это авторитетные чужие мнения, которыми человек любит руководствоваться при истолковании того, чего сам он не пережил.

— Ох, как это часто!

— А иногда — что и сам пережил, но удобнее верить не себе.

— И таких я видел...

— Ещё идола театра — это неумеренность в согласии с доводами науки. Одним словом, это — добровольно принимаемые заблуждения других.

— Здорово! — очень понравилось Олегу. — Добровольно принимаемые заблуждения других! Да!

— И, наконец, идола рынка.

О! Это представлялось легче всего! — базарное тесное кишечное людей и возвышающийся над ними алебастровый идол.

— Идола рынка — это заблуждения, проистекающие от взаимной связанности и общности людей. Это ошибки, опутывающие человека из-за того, что установилось употреблять формулировки, насилюющие разум. Ну, например: враг народа! *не наш человек!* изменник! — и все отшатнулись.

Нервным вскидыванием то одной, то другой руки Шулубин поддерживал свои восклицания — и опять это походило на кривые неловкие попытки взлететь у птицы, по крыльям которой прошлись расчисленные ножницы.

В спины им прижаривало не по весне горячее солнце: не давали тени ещё не слившиеся ветки, отдельно каждая с первой зелёнью. Ещё не раскалённое по-южному небо сохраняло голубизну между белых хлопьев дневных переходящих облачков. Но, не видя или не веря, взнеся палец над головой, Шулубин тряс им:

— А над всеми идолами — небо страха! В серых тучах — навислое небо страха. Знаете, вечерами, безо всякой грозы, иногда наплывают такие серо-чёрные толстые низкие тучи, прежде времени мрачнеет, темнеет, весь мир становится неудобным, и хочется только спрятаться под крышу, поближе к огню и к родным. Я двадцать пять лет жил под таким небом — и я спасся только тем, что гнул и молчал. Я двадцать пять лет молчал, а может быть двадцать восемь, сочтите сами, — то молчал для жены, то молчал для детей, то молчал для грешного своего тела. Но жена моя умерла. Но тело моё — мешок с дерьмом, и дырку будут делать сбоку. Но дети мои выросли необъяснимо черствы, необъяснимо! И если дочь вдруг стала писать и прислала мне вот уже третье письмо (это не сюда — домой, это я за два года считаю) — так, оказывается, потому, что парторганизация от неё потребовала *нормализовать* отношения с отцом, понимаете? А от сына и этого не потребовали...

Вода косматыми бровями, всей своей взъерошенностью Шулубин повернулся к Олегу — ах, вот кто он был! он был сумасшедший мельник из «Русалки» — «Какой я мельник?? — я ворон!!»

— Я уж не знаю — может, мне дети эти приснились? Может, их не было?.. Скажите, разве человек — бревно?! Это бревну безразлично — лежать ли ему в одиночку или рядом с другими брёвнами. А я живу так, что, если потеряю сознание, на пол упаду, умру, — меня и несколько суток соседи не обнаружат. И всё-таки — слышите, слышите! — он вцепился в плечо Олега, будто боясь, что тот не услышит, — я по-прежнему остерегаюсь, оглядываюсь! Вот что я в палате у вас осмелился произнести — в Фергане я этого не скажу! на работе не скажу! А то, что вам сейчас говорю, — это потому, что стол операционный мне уже подкатывают! И то бы: при третьем не стал! Вот как. Вот куда меня припёрли... А я кончил сельскохозяйственную академию. Я ещё кончил высшие курсы истмата-диамата. Я читал лекции по нескольким специальностям — это всё в Москве. Но начали падать дубы. В сельхозакадемии пал Муралов. Профессоров замечали десятками. Надо было признать ошибки? Я их признал! Надо было отречься? Я отрёкся! Какой-то процент ведь уцелел же? Так вот я попал в этот процент. Я ушёл в чистую биологию — нашёл себе тихую гавань!.. Но началась чистка и там, да какая! Прометали кафедры биофаков. Надо было оставить лекции? — хорошо, я их оставил. Я ушёл ассистировать, я согласен быть маленьким!

Палатный молчалик — с какой лёгкостью он говорил! Так у него лилось, будто привычной дела не знал — ораторствовать.

— Уничтожались учебники великих учёных, менялись программы — хорошо, я согласен! — будем учить по новым. Предложили: анатомию, микробиологию, нервные болезни перестраивать по учению невежественного агронома и по садоводной практике. Bravo, я тоже так думаю, я — за! Нет, ещё и ассистентство уступите! — хорошо, я не спорю, я буду методист. Нет, жертва неудобна, снимают и с методиста — хорошо, я согласен, я буду библиотекарь, библиотекарь в далёком Коканде! Сколько я отступил! — но всё-таки я жив, но дети мои кончили институты. А библиотекарям спускают тайные списки: уничтожить книги по лженауке генетике! уничтожить все книги персонально таких-то! Да привыкать ли нам? Да разве сам я с кафедры диамата четверть века назад не объявлял теорию относительности — контрреволюционным мракобесием? И я составляю акт, его подписывает мне парторг, спецчасть — и мы съём туда, в печку, — генетику! левую эстетику! этику! кибернетику! арифметику!..

Он ещё смеялся, сумасшедший ворон!

— ...Зачем нам костры на улицах, излишний этот драматизм? Мы — в тихом уголке, мы — в печечку, от печечки тепло!.. Вот куда меня припёрли — к печечке спиной... Зато я вырастил семью. И дочь моя, редактор районной газеты, написала такие лирические стихи:

Нет, я не хочу отступаться!
Прощенья просить не умею.
Уж если драться — так драться!
Отец? — и его в шею!

Безсильными крыльями висел его халат.

— Да-а-а-а... — только и мог отозваться Костоготов. — Согласен, вам не было легче.

— То-то. — Шулубин поотдышался, сел равновесней и заговорил спокойнее: — И скажите, в чём загадка чередования этих периодов Истории? В одном и том же народе за каких-нибудь десять лет спадает вся общественная энергия, и импульсы доблести, сменивши знак, становятся импульсами трусости. Ведь я же — большевик с семнадцатого года. Ведь как же я смело разгонял в Тамбове эсеро-меньшевистскую думу, хотя только и было у нас — два пальца в рот и свистеть. Я — участник Гражданской войны. Ведь мы же ничуть не берегли свою жизнь! Да мы просто счастливы были отдать её за мировую революцию! Что с нами случилось? Как мы могли поддаться? И — чему больше? Страху? Идолам рынка? Идолам театра? Ну хорошо, я — маленький человек, но Надежда Константиновна Крупская? Что ж она — не понимала, не видела? Почему она не возвысила голос? Сколько бы стоило одно её выступление для всех нас, даже если б оно обошлось ей в жизнь? Да может быть, мы бы все переменялись, все упёрлись — и дальше бы не пошло? А Орджоникидзе? — ведь это был орёл! — ни Шлиссельбургом, ни каторгой его не взяли — что ж удержало его один раз, один раз выступить вслух против Сталина? Но они предпочли загадочно умирать или кончать самоубийством — да разве это мужество, объясните мне?

— Я ли — вам, Алексей Филиппович! Мне ли — вам... Уж это вы объясните.

Шулубин вздохнул и попробовал изменить посадку на скамье. Но было ему больно и так и сяк.

— Мне интересно другое. Вот вы родились уже после революции. Но — сидели. И что ж — вы разочаровались в социализме? Или нет?

Костоглотов улыбнулся неопределённо.

Шулубин освободил одну руку, он поддерживался ею на скамье, слабую уже, большую руку, и повис ею на плече Олега:

— Молодой человек! Только не сделайте этой ошибки! Только из страданий своих и из этих жестоких лет не выведите, что виноват социализм. То есть, как бы вы ни думали, но капитализм всё равно отвергнут историей навсегда.

— Там у нас... там у нас так рассуждали, что в частном предпринимательстве очень много хорошего. Жить — легче, понимаете? Всегда всё есть. Всегда знаешь, где что найти.

— Слушайте, это обывательское рассуждение! Частное предпринимательство очень гибко, да, но оно хорошо только в узких пределах. Если частное предпринимательство не зажать в железные клещи, то из него вырастают люди-звери, люди биржи, которые знать не хотят удержу в желаниях и в жадности. Прежде чем быть обречённым экономически, капитализм уже был обречён этически! Давно!

— Но знаете, — повёл Олег лбом, — людей, которые удержу не знают в желаниях и жадности, я, честно говоря, наблюдаю и у нас. И совсем не среди кустарей с патентами.

— Правильно! — всё тяжелей ложилась рука Шулубина на плечо Олега. — Так потому что: социализм — но какой? Мы проворно поворачивались, мы думали: достаточно изменить способ производства — и сразу изменятся люди. А — чёрта лысого! А — несколько не изменились. Человек есть биологический тип! Его меняют тысячелетия!

— Так — какой же социализм?

— А вот, какой? Загадка? Говорят — «демократический», но это поверхностное указание: не на суть социализма, а только на вводящую форму, на род государственного устройства. Это только заявка, что не будет рубки голов, но ни слова — на чём же социализм этот будет строиться. И не на избытке товаров можно построить социализм, потому что, если люди будут буйволами, — растопчут они и эти товары. И не тот социализм, который не устаёт повторять о ненависти, — потому что не может строиться общественная жизнь на ненависти. А кто из года в год пламенел ненавистью не может с какого-то одного дня сказать: шабаш! с сегодняшнего дня я отненавидел и теперь только люблю. Нет, ненавистником он и останется, найдёт кого ненавидеть поближе. Вы не знаете такого стихотворения Гервега:

Wir haben lang genug geliebt...

Олег перехватил:

— Und wollen endlich hassen!*

Ещё б не знать. Мы его в школах учили.

— Верно-верно, вы учили его в школах! А ведь это страшно! Вас учили в школах ему, а надо бы учить совсем наоборот:

Wir haben lang genug gehasst,
Und wollen endlich lieben!**

К чёртовой матери с вашей ненавистью, мы наконец хотим любить! — вот какой должен быть социализм.

— Так — христианский, что ли? — догадывался Олег.

— «Христианский» — это слишком запрошено. Те партии, которые так себя назвали, в обществах, вышедших из-под Гитлера и Муссолини, из кого и с кем берутся такой социализм строить — не представляю. Когда Толстой в конце прошлого века решил практически насаждать в обществе христианство — его одежды оказались нестерпимы для современности, его проповедь не имела с действительностью никаких связей. А я бы сказал: именно для России, с нашими раскаяниями, исповедями и мятежами, с Достоевским, Толстым и Кропоткиным, один только верный социализм есть: *нравственный!* И это — вполне реально.

Костоглотов хмурился:

— Но как это можно понять и представить — «нравственный социализм»?

— А нетрудно и представить! — опять оживлялся Шулубин, но без этого вполношенного выражения мельника-ворона. Он — светлей оживился, и видно, очень ему хотелось Костоглотову убедить. Он говорил раздельно, как урок: — Явить миру такое общество, в котором все отношения, основания и законы будут вытекать из нравственности — и *только из неё!* Все расчёты: как воспитывать детей? к чему их готовить? на что направить труд взрослых? и чем занять их досуг? — всё это должно выводиться только из требований нравственности. Научные исследования? Только те, которые не пойдут в ущерб нравственности — и в первую очередь самих исследователей. Так и во внешней политике! Так и вопрос о любой

* Мы достаточно долго любили
И хотим наконец ненавидеть! (нем.)

** Мы так долго ненавидели
И хотим наконец любить! (нем.)

границе: не о том думать, насколько этот шаг нас обогатит, или усилит, или повысит наш престиж, а только об одном: насколько он будет нравственен?

— Ну, это вряд ли возможно! Ещё двести лет! Но подождите, — морщился Костоготов. — Я чего-то не ухватываю. А где ж у вас — материальный базис? Экономика-то должна быть, это самое... — раньше?

— Раньше? Это у кого как. Например, Владимир Соловьёв довольно убедительно развивает, что можно и нужно экономику строить — на основании нравственности.

— Как?.. Сперва нравственность, потом экономика? — оцудело смотрел Костоготов.

— Да! Слушайте, русский человек, вы Владимира Соловьёва не читали, конечно, ни строчки?

Костоготов покачал губами.

— Но имя-то хоть слышали?

— В тюряге.

— А Кропоткина хоть страницу читали? «Взаимопомощь среди людей...»?

Всё то же было движение Костоготова.

— Ну да, он же не прав, зачем его читать!.. А Михайловского? Да нет, конечно, он же опровергнут и после этого запрещён и изъят.

— Да когда читать! Кого читать! — возмутился Костоготов. — Я весь век горблю, а меня со всех сторон теребят: читал ли? читал? В армии я лопату из рук не выпускал и в лагере — её же, а в ссылке сейчас — кетмень, когда мне читать?

Но — растревоженное и настаивающее выражение светилось на круглоглазом мохнобровом лице Шулубина:

— Так вот что такое нравственный социализм: не к счаст ь ю устремить людей, потому что это тоже идол рынка — «счастье»! — а ко взаимному расположению. Счастлив и зверь, грызущий добычу, а взаимно расположены могут быть только люди! И это — высшее, что доступно людям!

— Нет, счастье — вы мне оставьте! — живо настаивал Олег. — Счастье вы мне оставьте, хоть на несколько месяцев перед смертью! Иначе — на чёрта... ?

— Счастье — это мираж! — из последних сил настаивал Шулубин. Он побледнел. — Я вот детей воспитывал — и был счастлив. А они мне в душу наплевали. А я для этого счастья книги

с истиной — в печке жёг. А тем более ещё так называемое «счастье будущих поколений». Кто его может выведать? Кто с этими будущими поколениями разговаривал — каким ещё идолам они будут поклоняться? Слишком менялось представление о счастье в веках, чтоб осмелиться подготавливать его заранее. Каблуками давя белые буханки и заклёбываясь молоком — мы совсем ещё не будем счастливы. А делаясь недостающим — уже сегодня будем! Если только заботиться о «счастье» да о размножении — мы бессмысленно заполним землю и создадим страшное общество... Что-то мне плохо, вы знаете... Надо пойти лечь...

Олег пропустил, как безкровно и предмертво стало всё лицо Шулубина, и без того-то измученное.

— Дайте, дайте, Алексей Филиппыч, я вас под руку!..

Нелегко было Шулубину и встать из своего положения. А побрели они медленно совсем. Весенняя невесомость окружала их, но они оба были подвластны тяготению, и кости их, и ещё уцелевшее мясо их, и одежда, и обувь, и даже солнечный падающий на них поток — всё обременяло и давило.

Они шли молча, устав говорить.

Только перед ступеньками ракового крыльца, уже в тени корпуса, Шулубин, опираясь на Олега, поднял голову на тополя, посмотрел на клочок весёлого неба и сказал:

— Как бы мне под ножом не кончиться. Страшно... Сколько ни живи, какой собакой ни живи — всё равно хочется...

Потом они вошли в вестибюль — и стало спёрто, вонько. И медленно, по ступенечке, по ступенечке одолевали большую лестницу.

И Олег спросил:

— Слушайте, и это всё вы обдумали за двадцать пять лет, пока гнулись, отрекались... ?

— Да. Отрекался — и думал, — пусто, без выражения, слабея, отвечал Шулубин. — Книги в печку совал — и размышлял. А что ж я? Мúкой своей. И предательством. Не заслужил хоть немного мысли?..

Чтобы до такой степени известное тебе, многократно, вдоль и поперёк известное, могло так выворотиться и стать совсем

новым и чужим — Донцова всё-таки не представляла. Тридцать лет уже она занималась болезнями других людей, добрых двадцать сидела у рентгеновского экрана, читала на экранах, читала на плёнке, читала в искажённых умоляющих глазах, сопоставляла с анализами, с книгами, писала статьи, спорила с коллегами, спорила с больными — и только всё непреложнее становились ей свой опыт и своя выработанная точка зрения, всё связнее — медицинская теория. Была этиология и патогенез, симптомы, диагноз, течение, лечение, профилактика и прогноз, а сопротивления, сомнения и страхи больных, хотя и были понятными человеческими слабостями и вызывали сочувствие врача, — но при взвешивании методов они были нули, в логических квадратах им не оставлено было места.

До сих пор все человеческие тела были устроены абсолютно одинаково: единый анатомический атлас описывал их. Одинакова была и физиология жизненных процессов и физиология ощущений. Всё, что было нормальным и что было отклонением от нормального, — разумно объяснялось авторитетными руководствами.

И вдруг в несколько дней её собственное тело вывалилось из этой стройной системы, ударилось о жёсткую землю и оказалось беззащитным мешком, набитым органами, органами, каждый из которых в любую минуту мог заболеть и закричать.

В несколько дней всё выворотилось наизнанку и, составленное по-прежнему из изученных элементов, стало неизученно и жутко.

Когда сын её ещё был маленьким мальчиком, они смотрели с ним картинки: самые простые домашние предметы — чайник, ложка, стул, — нарисованные из необычной точки, были неузнаваемы.

Таким же неузнаваемым выглядел теперь ей ход её собственной болезни и её новое место в лечении. Теперь уже не предстояло ей быть в лечении разумной направляющей силой — но отбивающимся безрассудным комком. Первое приятие болезни раздавило её как лягушку. Первое сживание с болезнью было невыносимо: опрокидывался мир, опрокидывался весь порядок мировых вещей. Ещё не умерев, уже надо было бросить и мужа, и сына, и дочь, и внука, и работу — хотя именно эта самая работа будет теперь грохотать по ней и через неё. Надо было в один день отказаться ото всего, что составляло жизнь, и бледно-зелёной тенью потом ещё сколько-то мучиться, долго не зная, до конца ли она додрёт или вернётся к существованию.

Никаких, кажется, украшений, радостей и празднеств не было в её жизни — труд и беспокойства, труд и беспокойства, — но до чего ж, оказывается, была прекрасна эта жизнь, и как до вопля невозможно было с ней расстаться!

Всё воскресенье уже было ей не воскресенье, а подготовка своих внутренностей к завтрашнему рентгену.

В понедельник, как договорились, в четверть десятого Дормидонт Тихонович в их рентгеновском кабинете вместе с Верой Гангарт и ещё одной из ординаторок потушили свет и начали адаптироваться к темноте. Людмила Афанасьевна разделась, зашла за экран. Беря от санитарки первый стакан бариевой взвеси, она проплеснула неловко: оказалось, что её рука — столько раз тут же, в резиновых перчатках, твёрдо выминавшая животы — трясётся.

И все известные приёмы повторили над ней: щупанья, выминанья, поворачиванья, подъём рук, вздохи. Тут же опускали стойку, клали её и делали снимки в разных проекциях. Потом надо было дать время контрастной массе распространиться по пищевому тракту дальше — а рентгеновская установка не могла же пустовать, и ординатор пока пропускала своих очередных больных. И Людмила Афанасьевна даже подсаживалась ей на помощь, но плохо соображала и не помогала. Снова подходило ей время становиться за экран, пить барий и ложиться под снимок.

Только просмотр не проходил в обычной деловой тишине с короткими командами, а Орещенков всё время подшучивал то над своими молодыми помощницами, то над Людмилой Афанасьевой, то над собой: рассказывал, как его, ещё студента, вывели из молодого тогда МХАТа за безобразие — была премьера «Власти тьмы», и Аким так натурально сморкался и так онучи разворачивал, что Дормидонт с приятелем стали шикать. И с тех пор, говорил он, каждый раз во МХАТе боится, чтоб его не узнали и опять не вывели. И все старались побольше говорить, чтоб не такие томительные были паузы между этими молчаливыми рассматриваниями. Однако Донцова хорошо слышала, что Гангарт говорит через силу, сухим горлом, её-то она знала!

Но так ведь Людмила Афанасьевна и хотела! Вытирая рот после бариевой сметаны, она ещё раз объявила:

— Нет, больной не должен знать всего! Я так всегда считала и сейчас считаю. Когда вам надо будет обсуждать — я буду выходить из комнаты.

Они приняли этот порядок, и Людмила Афанасьевна выходила, пыталась найти себе дело то с рентгенолаборантами, то над историями болезней, дел много было, но ни одного из них она не могла сегодня допонять. И вот снова звали её — и она шла с колотящимся сердцем, что они встретят её обрадованными словами, Верочка Гангарт облегчённо обнимет и поздравит — но ничего этого не случилось, а снова были распоряжения, повороты и осмотры.

Подчиняясь каждому такому распоряжению, Людмила Афанасьевна сама не могла над ним не думать и не пытаться объяснить.

— По вашей методике я же вижу, что вы у меня ищете! — всё-таки вырвалось у неё.

Она так поняла, что они подозревают у неё опухоль не желудка и не на выходе из желудка, но на входе — а это был самый трудный случай, потому что требовал бы при операции частичного вскрытия грудной клетки.

— Ну Лю-удочка, — гудел в темноте Орещенков, — ведь вы же требуете раннего распознавания, так вот методика вам не та! Хотите, месяца три подождём, тогда быстрее скажем?

— Нет уж, спасибо вам за три месяца!

И большой главной рентгенограммы, полученной к концу дня, она тоже не захотела смотреть. Потеряв обычные решительные мужские движения, она смятая сидела на стуле под верхней яркой лампой и ждала заключительных слов Орещенкова, — слов, решения, но не диагноза!

— Так вот, так вот, уважаемый коллега, — доброжелательно растягивал Орещенков, — мнения знаменитостей разделились.

А сам из-под угловатых бровей смотрел и смотрел на её растерянность. Казалось бы, от решительной непреклонной Донцовой можно было ждать большей силы в этом испытании. Её внезапная обмяклость ещё и ещё раз подтверждала мнение Орещенкова, что современный человек беспомощен перед ликом смерти, что ничем он не вооружён встретить её.

— И кто же думает хуже? — силилась улыбнуться Донцова.

(Ей хотелось, чтоб — не он!)

Орещенков развёл пальцами:

— Хуже думают ваши *дочки*. Вот как вы их воспитали. А я о вас всё же лучшего мнения. — Небольшой, но очень доброжелательный изгиб выразился углами его губ.

Гангарт сидела бледная, будто решения ждала себе.

— Ну, спасибо, — немного легче стало Донцовой. — И... что же?

Сколько раз за этим глотком передышки ждали больные решения от неё, и всегда это решение строилось на разуме, на цифрах, это был логически постигаемый и перекрестно проверенный вывод. Но какая же бочка ужаса ещё таилась, оказывается, в этом глотке!

— Да что ж, Людочка, — успокоительно рокотал Орещенков. — Мир ведь несправедлив. Были бы вы *не наша*, мы бы вот так сейчас, с альтернативным диагнозом, передали бы вас хирургам, а они бы там что-нибудь резанули, по пути что-нибудь бы выхватили. Есть такие негодники, что из брюшной полости никогда без сувенира не уйдут. Резанули бы — и выяснилось, кто ж тут прав. Но вы ведь — *наша*. И в Москве, в институте рентгенорадиологии, — наша Леночка, и Серёжа там. Так вот что мы решили: поезжайте-ка вы туда?.. У-гм? Они прочтут, что мы им напишем, они вас и сами посмотрят. Число мнений увеличится. Если надо будет резать — так там и режут лучше. И вообще там всё лучше, а?

(Он сказал: «Если надо будет резать». Он хотел выразить, что, может, и не придётся?.. Или нет, вот что... Нет, хуже...)

— То есть, — сообразила Донцова, — операция настолько сложна, что вы не решаетесь делать её здесь?

— Да нет же, ну нет! — нахмурился и прикрикнул Орещенков. — Не ищите за моими словами ничего больше сказанного. Просто мы устраиваем вам... как это?.. блат. А не верите — вон, — кивнул на стол, — берите плёнку и смотрите сами.

Да, это было так просто! Это было — руку протянуть и подвластно её анализу.

— Нет, нет, — отгородилась Донцова от рентгенограммы. — Не хочу.

Так и решили. Поговорили с главным. Донцова съездила в республиканский минздрав. Там почему-то нисколько не тянули, а дали ей и разрешение, и направление. И вдруг оказалось, что, по сути, ничто больше уже не держит её в городе, где она проработала двадцать лет.

Верно знала Донцова, когда ото всех скрывала свою боль: только одному человеку объяви — и всё тронется неудержимо, и от тебя ничего уже не будет зависеть. Все постоянные жизненные связи, такие прочные, такие вечные, — рвались и лопались не в дни даже, а в часы. Такая единственная и незаменимая в диспансере и дома — вот она уже и заменялась.

Такие привязанные к земле — мы совсем на ней и не держимся!..

И что же теперь было медлить? В ту же среду она шла в свой последний обход по палатам с Гангарт, которой передавала заведывание лучевым отделением.

Этот обход у них начался утром, а шёл едва ли не до обеда. Хотя Донцова очень надеялась на Верочку, и всех тех же стационарных знала Гангарт, что и Донцова, но когда Людмила Афанасьевна начала идти мимо коек больных с сознанием, что вряд ли вернётся к ним раньше месяца, а может быть, не вернётся совсем, — она первый раз за эти дни просветлилась и немного окрепла. К ней вернулись интерес и способность соображать. Как-то сразу отшелушилось её утреннее намерение скорей передать дела, скорей оформить последние бумаги и ехать домой собираться. Так привыкла она направлять всё властно сама, что и сегодня ни от одного больного не могла отойти, не представив себе хоть месячного прогноза: как потечёт болезнь, какие новые средства понадобятся в лечении, в каких неожиданных мерах может возникнуть нужда. Она почти как прежде, почти как прежде ходила по палатам — и это были первые облегчённые часы в за-верти её последних дней.

Она привыкала к горю.

А вместе с тем шла она и как лишённая врачебных прав, как дисквалифицированная за какой-то непростительный поступок, к счастью ещё не объявленный больным. Она выслушивала, назначала, указывала, смотрела мнимо-вещим взглядом на больную, а у самой холодок тёк по спине, что она уже не смеет судить жизнь и смерть других, что через несколько дней она будет такая же беспомощная и поглупевшая лежать в больничной постели, мало следя за своею внешностью, — и ждать, что скажут старшие и опытные. И бояться болей. И может быть, досадовать, что легла не в ту клинику. И может быть, сомневаться, что её не так лечат. И как о счастье самом высшем мечтать о будничном праве быть свободной от больничной пижамы и вечером идти к себе домой.

Это всё подступало и опять-таки мешало ей соображать с обычной определённостью.

А Вера Корнильевна безрадостно принимала бремя, которого совсем не хотела такой ценой. Да и вообще-то не хотела.

«Мама» не пустое было для Веры слово. Она дала Людмиле Афанасьевне самый тяжёлый диагноз из трёх, она ожидала для неё

изнурительной операции, которой та, подточенная хронической лучевой болезнью, могла и не вынести. Она ходила сегодня с ней рядом и думала, что, может быть, это в последний раз — и ей придётся ещё многие годы ходить между этих коек и всякий день щемяще вспоминать о той, кто сделал из неё врача.

И незаметно снимала пальцем слезинки.

А должна была Вера сегодня, напротив, как никогда чётко предвидеть и не упустить задать ни одного важного вопроса, — потому что все эти полсотни жизней первый раз полной мерой ложись на неё, и уже спрашивать будет не у кого.

Так, в тревоге и рассеянии, тянулся их обход полдня. Сперва они прошли женские палаты. Потом всех лежащих в лестничном вестибюле и коридоре. Задержались, конечно, около Сибгатова.

Сколько ж было вложено в этого тихого татарина! А выиграны только месяцы оттяжки, да и месяцы какие — этого жалкого бытия в неосвещённом непрветренном углу вестибюля. Уже не держал Сибгатова крестец, только две сильных руки, приложенных сзади к спине, удерживали его вертикальность; вся прогулка его была — перейти посидеть в соседнюю палату и послушать, о чём толкуют; весь воздух — что дотягивалось из дальней форточки; всё небо — потолок.

Но даже и за эту убогую жизнь, где ничего не содержалось, кроме лечебных процедур, свары санитарок, казённой еды да игры в домино, — даже за эту жизнь с зияющей спиной на каждом обходе светились благодарностью его изболевые глаза.

И Донцова подумала, что если свою обычную мерку отбросить, а принять от Сибгатова, так она ещё — счастливый человек.

А Сибгатов уже слышал откуда-то, что Людмила Афанасьевна — сегодня последний день.

Ничего не говоря, они гляделись друг в друга, разбитые, но верные союзники, перед тем как хлыст победителя разгонит их в разные края.

«Ты видишь, Шараф, — говорили глаза Донцовой, — я сделала что могла. Но я ранена и падаю тоже».

«Я знаю, мать, — отвечали глаза татарина. — И тот, кто меня родил, не сделал для меня больше. А я вот спасать тебя — не могу».

С Ахмаджаном исход был блестящий: незапущенный случай, всё сделано точно по теории и точно по теории оправдывалось. Подсчитали, сколько он облучён, и объявила ему Людмила Афанасьевна:

— Выписываешься!

Это бы с утра надо было, чтоб дать знать старшей сестре и успели бы принести его обмундирование со склада, — но и сейчас Ахмаджан, уже безо всякого костыля, бросился вниз к Мите. Теперь и вечера лишнего он тут бы не стерпел — на этот вечер его ждали друзья в Старом городе.

Знал и Вадим, что Донцова сдаёт отделение и едет в Москву. Это так получилось: вчера вечером пришла телеграмма от мамы в два адреса — ему и Людмиле Афанасьевне — о том, что коллоидное золото высылается их диспансеру. Вадим сразу поковылял вниз, Донцова была в минздраве, но Вера Корнильевна уже видела телеграмму, поздравила его и тут же познакомила с Эллой Рафаиловной, их радиологом, которая и должна была теперь вести курс его лечения, как только золото достигнет их радиологического кабинета. Тут пришла и разбитая Донцова, прочла телеграмму и сквозь потерянное своё выражение тоже старалась бодро кивать Вадиму.

Вчера Вадим радовался безудержно, заснуть не мог, но сегодня к утру раздумался: а когда ж это золото доvezут? Если б его дали на руки маме — уже сегодня утром оно было бы здесь. Будут ли его везти три дня? или неделю? Этим вопросом Вадим и встретил подходящих к нему врачей.

— На днях, конечно на днях, — сказала ему Людмила Афанасьевна.

(Но про себя-то знала она эти дни. Она знала случай, когда другой препарат был назначен московским институтом для рязанского диспансера, но девчёнка на сопроводилровке написала «казанскому», а в министерстве — без министерства тут никак — прочли «казахскому» и отправили в Алма-Ату.)

Что может сделать радостное известие с человеком! Те же самые чёрные глаза, такие мрачные последнее время, теперь блистали надеждой, те же самые припухлые губы, уже в непоправимо косой складке, опять выровнялись и помолодели, и весь Вадим, побритый, чистенький, подобранный, вежливый, сиял как именинник, с утра обложенный подарками.

Как мог он так упасть духом, так ослабиться волей последние две недели! Ведь в воле — спасение, в воле — всё! Теперь — гонка! Теперь только одно: чтобы золото быстрее пронеслось свои три тысячи километров, чем свои тридцать сантиметров проползут метастазы! И тогда золото очистит ему пах. Оградит остальное

тело. А ногой — ну, ногой бы можно и пожертвовать. Или может быть — какая наука, в конце концов, может совсем запретить нам веру? — попятно распространяясь, радиоактивное золото излечит и саму ногу?

В этом была справедливость, разумность, чтоб именно он остался жив! А мысль примириться со смертью, дать чёрной пантере себя загрызть — была глупа, вяла, недостойна. Блеском своего таланта он укреплялся в мысли, что — выживет, выживет! Полночи он не спал от распирающего радостного возбуждения, представляя, что может сейчас делаться с тем свинцовым бюксиком, в котором везут ему золото: в багажном ли оно вагоне? или везут его на аэродром? или оно уже на самолёте? Он глазами возносился туда, в три тысячи километров тёмного ночного пространства, и торопился, торопился, и даже ангелов бы кликнул на помощь, если б ангелы существовали.

Сейчас на обходе он с подозрением следил, что будут делать врачи. Они ничего худого не говорили и даже лицами старались не выражать, но — щупали. Щупали, правда, не только печень, а в разных местах, и обменивались какими-то незначительными советами. Вадим отмеривал, не дольше ли они щупают печень, чем всё остальное.

(Они видели, какой это пристальный, настороженный больной, и совсем без надобности ходили пальцами даже на селезёнку, но истинная цель их наторённых пальцев была проверить, насколько изменена печень.)

Никак не удалось бы быстро миновать и Русанова: он ждал своего спецпайка внимания. Он последнее время очень подобрел к этим врачам: хотя и не заслуженные, и не доценты, но они его вылечили, факт. Опухоль на шее теперь свободно побалтывалась, была плоская, небольшая. Да, наверно, и с самого начала такой опасности не было, как раздули.

— Вот что, товарищи, — заявил он врачам. — Я от уколов устал, как хотите. Уже больше двадцати. Может, хватит, а? Или я дома докончил бы?

Кровь у него, действительно, была совсем неважная, хотя перебивали четыре раза. И — жёлтый, заморенный, сморщенный вид. Даже тубетейка на голове стала как будто большая.

— В общем, спасибо, доктор! Я тогда, вначале, был не прав, — честно объявил Русанов Донцовой. Он любил признавать свои ошибки. — Вы меня вылечили — и спасибо.

Донцова неопределённо кивнула. Не от скромности так, не от смущения, а потому что ничего он не понимал, что говорил. Ещё ожидали его вспышки опухолей во многих железах. И от быстроты процесса зависело — будет ли вообще он жив через год.

Как, впрочем, и она сама.

Она и Гангарт жёстко щупали его под мышками и надключичные области. Русанов даже поёживался, так сильно они давили.

— Да там нет ничего! — уверял он. Теперь-то ясно было, что его только запугивали этой болезнью. Но он — стойкий человек, и вот легко её перенёс. И этой стойкостью, обнаруженной в себе, он особенно был горд.

— Тем лучше. Но надо быть очень внимательным самому, товарищ Русанов, — внушила Донцова. — Дадим вам ещё укол или два и, пожалуй, выпишем. Но вы будете являться на осмотр каждый месяц. А если сами что-нибудь где-нибудь заметите, то и раньше.

Однако повеселевший Русанов из своего-то служебного опыта понимал, что эти обязательные явки на осмотр — простые галочные мероприятия, графу заполнить. И сейчас же пошёл звонить домой о радости.

Дошла очередь до Костоглотова. Этот ждал их со смешанным чувством: они ж его как будто спасли, они ж его и погубили. Мёд был с дёттем равно смешан в бочке, и ни в пищу теперь не шёл, ни на смазку колёс.

Когда подходила к нему Вера Корнильевна одна — это была Вега, и о чём бы по службе она его ни спрашивала, и что бы ни назначала — он смотрел на неё и радовался. Он почему-то, последнюю неделю, полностью простил ей то калечение, которое она настойчиво несла его телу. Он стал признавать за ней как будто какое-то право на своё тело — и это было ему тепло. И когда она подходила к нему на обходах, то всегда хотелось погладить её маленькие руки или мордой потереться о них, как пёс.

Но вот они подошли вдвоём, и это были врачи, закованные в свои инструкции, и Олег не мог освободиться от непонимания и обиды.

— Ну как? — спросила Донцова, садясь к нему на кровать.

А Вега стояла за её спиной и слегка-слегка ему улыбалась. К ней опять вернулось это расположение или даже неизбежность — всякий раз при встрече хоть чуть да улыбнуться ему. Но сегодня она улыбалась как через пелену.

— Да неважно, — устало отозвался Костоглолов, вытягивая голову из свешенного состояния на подушку. — Ещё стало у меня от неудачных движений как-то сжимать вот тут... в средостении. Вообще, чувство, что меня залечили. Прошу — кончать.

Он не с прежним жаром этого требовал, а говорил равнодушно, как о деле чужом и слишком ясном, чтоб ещё настаивать.

Да Донцова что-то и не настаивала, устала и она:

— Голова — ваша, как хотите. Но лечение не кончено.

Она стала смотреть его кожу на полях облучения. Пожалуй, кожа уже взывала об окончании. Поверхностная реакция могла ещё и усилиться после конца сеансов.

— Он у нас уже не по два в день получает? — спросила Донцова.

— Уже по одному, — ответила Гангарт.

(Она произносила такие простые слова: «уже по одному», и чуть вытягивала тонкое горло, и получалось, что она что-то нежное выговаривала, что должно было тронуть душу!)

Странные живые ниточки, как длинные женские волосы, зацепились и перепутали её с этим больным. И только она одна ощущала боль, когда они натягиваются и рвутся, а ему не было больно, и вокруг не видел никто. В тот день, когда Вера услышала о ночных сценах с Зоей, ей как будто рванули целый клочок. И может, так было бы и лучше кончить. Этим рывком напомнили ей закон, что мужчинам не ровесницы нужны, а те, кто моложе. Она не должна была забывать, что её возраст пройден.

Но потом он стал так явно попадаться ей на дороге, так ловить её слова, так хорошо разговаривать и смотреть. И ниточки-волосы стали отбиваться по одной и запутываться вновь.

Что были эти ниточки? Необъяснимое и нецелесообразное. Вот вот он должен был уехать — и крепкая хватка будет держать его там. И приезжать он будет лишь тогда, когда станет очень худо, когда смерть будет гнуть его. А чем здоровей — тем реже, тем никогда.

— А сколько он у нас получил синэстрола? — осведомлялась Людмила Афанасьевна.

— Больше чем надо, — ещё прежде Веры Корнильевны неприязненно сказал Костоглолов и смотрел тупо. — На всю жизнь хватит.

В обычное время Людмила Афанасьевна не спустила б ему такой грубой реплики и проработала бы крепко. Но сейчас — поникла в ней вся воля, она еле доканчивала обход. А вне своей должности, уже прощаясь с ней, она, собственно, не могла возразить Костоглолову. Конечно, лечение было варварское.

— Вот вам мой совет, — сказала она примирительно, и так, чтобы в палате не слышали. — Не надо вам стремиться к семейному счастью. Вам надо ещё много лет пожить без полноценной семьи.

Вера Корнильевна опустила глаза.

— Потому что, помните: ваш случай был очень запущенный. Вы к нам прибыли поздно.

Знал Костоглотов, что дело плохо, но, так вот прямо услышав от Донцовой, разинул рот.

— М-мда-а-а, — промычал он. Но нашёл утешающую мысль: — Ну, да я думаю — и начальство об этом позаботится.

— Будете, Вера Корнильевна, продолжать ему тезан и пентаксил. Но вообще, придётся отпустить его отдохнуть. Мы вот что сделаем, Костоглотов: мы выпишем вам трёхмесячный запас синэстрола, он в аптеках сейчас есть, вы купите — и обязательно наладите лечение дома. Если уколы делать там у вас некому — берите таблетками.

Костоглотов шевельнул губами напомнить ей, что, во-первых, нет у него никакого дома, во-вторых, нет денег, а в-третьих, не такой он дурак, чтоб заниматься тихим самоубийством.

Но она была серо-зелёная, измученная, и он раздумал, не сказал. На том и кончился обход.

Прибежал Ахмаджан: всё уладилось, пошли и за его обмундированием. Сегодня он будет с дружкой выпивать! А справки-бумажки завтра получит. Он так был возбуждён, так быстро и громко говорил, как никогда ещё его не видели. Он с такой силой и твёрдостью двигался, будто не болел эти два месяца с ними здесь. Под чёрным густым ёжиком, под мазутно-чёрными бровями глаза его горели, как у пьяного, и всей спиной он вздрагивал от ощущения жизни — за порогом, сейчас. Он кинулся собираться, бросил, побежал просить, чтоб его покормили обедом вместе с первым этажом.

А Костоглотову вызвали на рентген. Он ждал там, потом лежал под аппаратом, потом ещё вышел на крыльцо посмотреть, отчего погода такая хмурая.

Всё небо заклубилось быстрыми серыми тучами, а за ними ползла совсем фиолетовая, обещающая большой дождь. Но очень было тепло, и дождь мог полить только весенний.

Гулять не выходило, и снова он поднялся в палату. Ещё из коридора он услышал громкий рассказ взбудораженного Ахмаджана:

— Кормят их, гад буду, лучше, чем солдат! Ну — не хуже! Пайка — кило двести. А их бы говном кормить! А работать — не рабо-

тают! Только до зоны их доведём, сейчас разбегут, прятают и спят целый день!

Костоглотов тихо вступил в дверной проём. Над постелью, ободранной от простынь и наволочки, Ахмаджан стоял с приготовленным узелком и, размахивая рукой, блестя белыми зубами, уверенно досказывал свой последний рассказ палате.

А палата вся переменялась — уже ни Федерату не было, ни философа, ни Шулубина. Этого рассказа при прежних составах палаты почему-то Олег никогда от Ахмаджана не слышал.

— И — ничего не строят? — тихо спросил Костоглотов. — Так-таки ничего в зоне и не возвышается?

— Ну, строят, — сбился немного Ахмаджан. — Ну — плохо строят.

— А вы бы — помогли... — ещё тише, будто силы теряя, сказал Костоглотов.

— Наше дело — винтовка, ихнее дело — лопата! — бодро ответил Ахмаджан.

Олег смотрел на лицо своего товарища по палате, словно видя его первый раз, или нет, много лет его видел в воротнике тулупа и с автоматом. Не развитый выше игры в домино, он был искренен, Ахмаджан, прямодушен.

Если десятки лет за десятками лет не разрешать рассказывать то, как оно есть, — непоправимо разблуживаются человеческие мозги, и уже соотечественника понять труднее, чем марсианина.

— Ну, как ты это себе представляешь? — не отставал Костоглотов. — Людей — и говном кормить? Ты — пошутил, да?

— Ничего не шутил! Они — не люди! Они — не люди! — уверенно-разгорячённо настаивал Ахмаджан.

Он надеялся и Костоглотову убедить, как верили ему другие тут слушатели. Он знал, правда, что Олег — ссыльный, а о лагерях его он не знал.

Костоглотов покосился на койку Русанова, не понимая, почему тот не вступает за Ахмаджана, но того просто не было в палате.

— А я тебя — за армейца считал. А ты во-от в какой армии служил, — тянул Костоглотов. — Ты — Берии служил, значит?

— Я никакой Берии не знаю! — рассердился и покраснел Ахмаджан. — Кто там сверху поставят — моё дело маленькое. Я присягу давал — и служил. Тебя заставят — и ты служил...

33

В тот день и полил дождь. И всю ночь лил, да с ветром, а ветер всё холодал, и к утру четверга шёл дождь уже со снегом, и все, кто в клинике предсказывал весну и рамы открывал, тот же и Костоглотов, — примолкли. Но с четверга ж с обеда кончился снег, пересекся дождь, упал ветер — стало хмуρο, холодно и неподвижно.

В вечернюю же зарю тонкой золотой щелью просветлился западный край неба.

А в пятницу утром, когда выписывался Русанов, небо распахнулось без облачка, и даже раннее солнце стало подсушивать большие лужи на асфальте и земляные дорожки искосные, через газоны.

И почувствовали все, что вот это уже начинается самая верная и безповоротная весна. И прорезали бумагу на окнах, сбивали шпингалеты, рамы открывали, а сухая замазка падала на пол санитаркам подметать.

Павел Николаевич вещей своих на склад не сдавал, казённых не брал и волен был выписываться в любое время дня. За ним приехали утром, сразу после завтрака.

Да кто приехал! — машину привёл Лаврик: он накануне получил права! И накануне же начались школьные каникулы — с вечеринками для Лаврика, с прогулками для Майки, и оттого младшие дети ликовали. С ними двумя Капитолина Матвеевна и приехала, без старших. Лаврик выговорил, что после этого поведёт покатать друзей, — и должен был показать, как уверенно водит и без Юрки.

И как в ленте, крутимой назад, всё пошло наоборот, но насколько же веселее! Павел Николаевич зашёл в каморку к старшей сестре в пижаме, а вышел в сером костюме. Весёлый Лаврик, гибкий красивый парень в новом синем костюме, совсем уже взрослый, если бы в вестибюле не затеял возню с Майкой, всё время гордо крутил вокруг пальца на ремешке автомобильный ключ.

— А ты все ручки закрыл? — спрашивала Майка.

— Все.

— А стёкла все закрутил?

— Ну, пойдй проверь.

Майка бежала, тряся тёмными кудряшками, и возвращалась:

— Всё в порядке. — И тут же делала вид испуга: — А багажник ты запер?

— Ну, походи проверь.

И опять она бежала.

По входному вестибюлю всё так же несли в банках жёлтую жидкость в лабораторию. Так же сидели изнурённые, без лица, ожидая свободных мест, и кто-то лежал врастяжку на скамье. Но Павел Николаевич смотрел на это всё даже снисходительно: он оказался мужественным человеком и сильнее обстоятельств.

Лаврик понёс папин чемодан. Капа, в демисезонном абрикосовом пальто со многими крупными пуговицами, медногривая, помолодевшая от радости, отпускаяще кивнула старшей сестре и пошла под руку с мужем. По другую сторону отца повисла Майка.

— Ты ж посмотри, какая шапочка на ней! Ты ж посмотри — шапочка новая, полосатая!

— Паша, Паша! — окликнули сзади.

Обернулись.

Шёл Чалый из хирургического коридора. Он отлично бодро выглядел, даже уже не жёлтый. Лишь и было в нём от больного, что — пижама больничная да тапочки.

Павел Николаевич весело пожал ему руку и сказал:

— Вот, Капа, — герой больничного фронта, знакомься! Желудок ему отхватили, а он только улыбается.

Знакомься с Капитолиной Матвеевной, Чалый изящно как-то состукнул пятками, а голову отклонил набок — отчасти почтительно, отчасти игриво.

— Так телефончик, Паша! Телефончик-то оставь! — теребил Чалый.

Павел Николаевич сделал вид, что в дверях замешкался и, может быть, недослышал. Хороший был Чалый человек, но всё-таки другого круга, других представлений, и, пожалуй, не очень солидно было связываться с ним. Русанов искал, как поблагородней ему бы отказать.

Вышли на крыльцо, и Чалый сразу окинул «москвича», уже развёрнутого Лавриком к движению. Оценил глазами и не спросил: «твоя?» — а сразу:

— Сколько тысяч прошла?

— Да ещё пятнадцати нет.

— А чего ж резина такая плохая?

— Да вот попалась такая... Делают так, работнички...

— Так тебе достать?

— А ты можешь?! Максим!

— Ёж твою ёж! Да шутя! Пиши и мой телефон, пиши! — тыкал он в грудь Русанову пальцем. — Как отсюда выпишусь — в течение недели гарантирую!

Не пришлось и причины придумывать! Вырвал Павел Николаевич из записной книжечки листик и написал Максиму служебный свой и домашний свой.

— Всё, порядок! Будем звонить! — прощался Максим.

Майка прыгнула на переднее, а родители сели сзади.

— Будем дружить! — подбадривал их Максим на прощанье.

Хлопнули дверцы.

— Будем жить! — кричал Максим, держа руку как «рот фронт».

— Ну? — экзаменовал Лаврик Майку. — Что сейчас делать? Заводить?

— Нет! Сперва проверить, не стоит ли на передаче! — тарахтела Майка.

Они поехали, ещё кое-где разбрызгивая лужи, завернули за угол ортопедического. Тут в сером халате и сапогах прогулочного, не торопясь, шёл долговязый больной как раз посередине асфальтного проезда.

— А ну-ка, гудни ему как следует! — успел заметить и сказать Павел Николаевич.

Лаврик коротко сильно гуднул. Долговязый резко свернул и обернулся. Лаврик дал газу и прошёл в десяти сантиметрах от него.

— Я его звал — Оглоед. Если бы вы знали, какой неприятный завистливый тип. Да ты его видела, Капа.

— Что ты удивляешься, Пасик! — вздохнула Капа. — Где счастье, там и зависть. Хочешь быть счастливым — без завистников не проживёшь.

— Классовый враг, — бурчал Русанов. — В другой бы обстановке...

— Так давить его надо было, что ж ты мне сказал — гудеть? — смеялся Лаврик и на миг обернулся.

— Ты — не смей головой вертеть! — испугалась Капитолина Матвеевна.

И правда, машина вильнула.

— Ты не смей головой вертеть! — повторила Майка и звонко смеялась. — А мне можно, мама? — И крутила головку назад то через лево, то через право.

— Я вот его не пуцую девушек катать, будет знать!

Когда выезжали из медгородка, Капа отвертела стекло и, выбрасывая что-то мелкое через окно назад, сказала:

— Ну, хоть бы не возвращаться сюда, будь он проклят! Не обращайтесь никто!

А Костоглолов им вослед матюгнулся всласть, длинным коленом.

Но вывод сделал такой, что это — правильно: надо и ему выписываться обязательно утром. Совсем ему неудобно среди дня, когда всех выписывают, — никуда не успеешь.

А выписка ему была обещана на завтра.

Разгорался солнечный ласковый день. Всё быстро прогревалось и высыхало. В Уш-Тереке тоже уже, наверно, копают огороды, чистят арыки.

Он гулял и размечтался. Счастье какое: в лютый мороз уезжал умирать, а сейчас вернётся в самую весну — и можно свой огородик посадить. Это большая радость: в землю что-то тыкать, а потом смотреть, как вылезает.

Только все на огородах по двое. А он будет — один.

Он гулял-гулял и придумал: идти к старшей сестре. Прошло то время, когда Мита осаживала его, что «мест нет» в клинике. Уже давно они сознакомились.

Мита сидела в своей подлестничной каморке без окна при электрическом свете — после двора непереносимо тут было и лёгким, и глазам — и из стопки в стопку переключивала и переключивала какие-то учётные карточки.

Костоглолов, пригнувшись, влез в усечённую дверь и сказал:

— Мита! У меня просьбочка. Очень большая.

Мита подняла длинное немягкое лицо. Такое вот нескладное лицо досталось девушке от рождения, и никто потом до сорока лет не тянулся его поцеловать, ладонью погладить, и всё ласковое, что могло его оживить, так и не выразилось никогда. Стала Мита — рабочая лошадка.

— Какая?

— Мне выписываться завтра.

— Очень рада за вас! — Она добрая была, Мита, только по первому взгляду сердитая.

— Не в том дело. Мне надо за день в городе сделать много, вечером же и уехать. А одежду со склада очень поздно приносят. Как бы, Миточка, так сделать: принести мои вещи сегодня, засунуть их куда-нибудь, а я утром бы рано-рано переоделся и ушёл.

— Вообще нельзя, — вздохнула Мита. — Низамутдин если узнает...

— Да не узнает! Я понимаю, что это — нарушение, но ведь, Миточка, — только в нарушениях человек и живёт!

— А вдруг вас завтра не выпишут?

— Вера Корнильевна точно сказала.

— Всё-таки надо от неё знать.

— Ладно, я к ней сейчас схожу.

— Да вы новость-то знаете?

— Нет, а что?

— Говорят, нас всех к концу года распустят! Просто упорно говорят! — Некрасивое лицо её сразу помилело, как только она заговорила об этом слухе.

— А кого — нас? Вас?

То есть значило — *спецпереселенцев*, нации.

— Да вроде и нас, и вас! Вы не верите? — с опаской ждала она его мнения.

Олег почесал темя, искривился, глаз один совсем зажал:

— М-может быть. Вообще-то — не исключено. Но сколько я этих *параши* уже пережил — уши не выдерживают.

— Но теперь очень точно, очень точно говорят! — Ей так хотелось верить, ей нельзя было отказать!

Олег заложил нижнюю губу за верхнюю, размышляя. Конечно, что-то зрело. Верховный Суд полетел. Только медленно слишком, за месяц — больше ничего, и опять не верилось. Слишком медленна история для нашей жизни, для нашего сердца.

— Ну, дай Бог, — сказал он, больше для неё. — И что ж вы тогда? Уедете?

— Не зна-аю, — почти без голоса выговорила Мита, расставив пальцы с крупными ногтями по надоевшим истрёпаным карточкам.

— Вы ведь — из-под Сальска?

— Да.

— Ну, разве там лучше?

— Сво-бо-да, — прошептала она.

А верней-то всего — в своём краю надеялась она ещё замуж выйти?

Отправился Олег искать Веру Корнильевну. Не сразу ему это удалось: то она была в рентгенкабинете, то у хирургов. Наконец он

увидел, как она шла со Львом Леонидовичем по коридору, — и стал их нагонять.

— Вера Корнильевна! Нельзя вас на одну минуточку?

Приятно было обращаться к ней, говорить что-нибудь специально для неё, и он замечал, что голос его к ней был не тот, что ко всем.

Она обернулась. Инерция занятости так ясно выражалась в наклоне её корпуса, в положении рук, в озабоченности лица. Но тут же с неизменным ко всем вниманием она и задержалась.

— Да?..

И не добавила «Костоглотов». Только в третьем лице, врачам и сёстрам, она теперь называла его так. А прямо — никак.

— Вера Корнильевна, у меня к вам просьба большая... Вы не можете Мите сказать, что я точно завтра выписываюсь?

— А зачем?

— Очень нужно. Видите, мне завтра же вечером надо уехать, а для этого...

— Лёва, ладно, ты иди! Я сейчас тоже приду.

И Лев Леонидович пошёл, покачиваясь и сутулясь, с руками, упёртыми в передние карманы халата, и со спиной, распирающей завязки. А Вера Корнильевна сказала Олегу:

— Зайдёте ко мне.

И пошла перед ним. Лёгкая. Легко-сочленённая.

Она завела его в аппаратную, где когда-то он так долго препирался с Донцовой. И за тот же плохо строганный стол села, и ему показала туда же. Но он остался стоять.

А больше — никого не было в комнате. Проходило солнце сюда наклонным золотым столбом с пляшущими пылинками, и ещё отражалось от никелированных частей аппаратов. Было ярко, хоть жмурься, и весело.

— А если я вас завтра не успею выписать? Вы знаете, ведь надо писать эпикриз.

Он не мог понять: она совершенно служебно говорила или немножко с плутоватостью.

— Ипи... — что?

— Эпикриз — это вывод из всего лечения. Пока не готов эпикриз — выписывать нельзя.

Сколько громоздилось дел на этих маленьких плечах! — везде её ждали и звали, а тут ещё он оторвал, а тут ещё писать эпикриз.

Но она сидела — и светилась. Не одна она, не только этим благоприязненным, даже ласковым взглядом — а отражённый яркий свет охватывал её фигурку рассеянными веерами.

— Вы что же, хотите сразу уехать?

— Не то что хочу, я бы с удовольствием и остался. Да негде мне ночевать. На вокзале не хочу больше.

— Да, ведь вам в гостинице нельзя, — кивала она. И нахмурилась: — Вот беда: эта нянечка, у которой всегда больные останавливаются, сейчас не работает. Что же придумать?.. — тянула она, потрепала верхнюю губу нижним рядом зубов и рисовала на бумаге какой-то кренделёк. — Вы знаете... собственно... вы вполне могли бы остановиться... у меня.

Что?? Она это сказала? Ему не послышалось? Как бы это повторить?

Её щёки порозовели явно. И всё так же она избегала взглянуть. А говорила совсем просто, как если б это будничное было дело — чтобы больной шёл ночевать к врачу:

— Как раз завтра у меня такой день необычный: я буду утром в клинике только часа два, а потом весь день дома, а с обеда опять уйду... Мне очень удобно будет у знакомых переночевать...

И — посмотрела! Рдели щёки, глаза же были светлы, безгрешны. Он — верно ли понял? Он — достоин ли того, что ему предложено?

А Олег просто не умел понять. Разве можно понять, когда женщина так говорит?.. Это может быть и очень много, и гораздо меньше. Но он не думал, некогда было думать: она смотрела так благородно и ждала.

— Спа-сибо, — выговорил он. — Это... конечно, замечательно. — Он забыл совсем, как учили его сто лет назад, ещё в детстве, держаться галантно, отвечать учтиво. — Это — очень хорошо... Но как же я могу вас лишить... Мне совестно.

— Вы не беспокойтесь, — с уверительной улыбкой говорила Вега. — Нужно будет на два-три дня — мы что-нибудь придумаем тоже. Ведь вам же жалко уезжать из города?

— Да жалко, конечно... Да! Тогда только справку о выписке придётся писать не завтрашним днём, а послезавтрашним! А то комендатура меня потянет — почему я не уезжаю. Ещё опять посадят.

— Ну хорошо, хорошо, будем мухлевать. Значит, Мите сказать — сегодня, выписать — завтра, а в справке написать — послезавтра? Какой вы сложный человек.

Но глаза её не ломило от сложности, они смеялись.

— Я ли сложный, Вера Корнильевна! Система сложная! Мне и справок-то нужно не как всем людям по одной, а — две.

— Зачем?

— Одну комендатура заберёт в оправдание поездки, а вторая — мне.

(Комендатуре-то он, может, ещё и не отдаст, будет кричать, что одна, но — запас надо иметь? Зря он мучу принимал из-за справки?..)

— И ещё третья — для вокзала. — На листике она записала несколько слов. — Так вот мой адрес. Объяснить, как пройти?

— Найду-у, Вера Корнильевна!

(Нет, серьёзно она думала?.. Она приглашала его по-настоящему?..)

— И... — ещё несколько уже готовых продолговатых листиков она приложила к адресу. — Вот те рецепты, о которых говорила Людмила Афанасьевна. Несколько одинаковых, чтоб рассредоточить дозу.

Те рецепты. Те!

Она сказала как о незначащем. Так, маленькое добавление к адресу. Она умудрилась, два месяца его леча, ни разу *об этом* не поговорить.

Вот это и был, наверно, такт.

Она уже встала. Она уже к двери шла.

Служба ждала её. Лёва ждал...

И вдруг в рассеянных веерах света, забившего всю комнату, он увидел её, беленькую, лёгонькую, переуженную в поясе, как первый раз только сейчас, — такую понимающую, дружественную и — необходимую! Как первый раз только сейчас!

И ему весело стало, и откровенно очень. Он спросил:

— Вера Корнильевна! А за что вы на меня так долго сердились? Из светового охвата она смотрела с улыбкой, почему-то мудрой:

— А разве вы ни в чём не были виноваты?

— Нет.

— Ни в чём?

— Ни в чём!

— Вспомните хорошо.

— Не могу вспомнить. Ну, хоть намекните!

— Надо идти...

Ключ у неё был в руке. Надо было дверь запирасть. И уходить.

А так было с ней хорошо! — хоть сутки стой.

Она уходила по коридору, маленькая, а он стоял и смотрел вслед.

И сразу опять пошёл гулять. Весна разгоралась — надыхаться нельзя. Два часа безтолково ходил, набирал, набирал воздуха, тепла. Уже жалко ему было покидать и этот сквер, где он был пленником. Жалко было, что не при нём расцветут японские акации, не при нём распустятся первые поздние листья дуба.

Что-то и тошноты он сегодня не испытывал, и не испытывал слабости. Ему вполне бы с охоткой покопать сейчас земличку. Чего-то хотелось, чего-то хотелось — он сам не знал. Он заметил, что большой палец сам прокатывается по указательному, прося папиросу. Ну нет, хоть во сне снись — бросил, всё!

Находившись, он пошёл к Мите. Мита — молодец: сумка Олега уже была получена и спрятана в ванной, а ключ от ванной будет у старой нянечки, которая заступит дежурить с вечера. А к концу рабочего дня надо пойти в амбулаторию, получить все справки.

Его выписка из больницы принимала очертания неотвратимые.

Не последний раз, но из последних он поднялся по лестнице.

И наверху встретил Зою.

— Ну, как делишки, Олег? — спросила Зоя непринуждённо.

Она удивительно неподдельно, совсем в простоте, усвоила этот простой тон. Как будто не было между ними никогда ничего: ни ласковых прозвищ, ни танца из «Бродяги», ни кислородного баллона.

И, пожалуй, она была права. А что ж — всё время напоминать? помнить? дуться?

С какого-то её вечернего дежурства он не пошёл около неё околачиваться, а лёг спать. С какого-то вечера она как ни в чём не бывало пришла к нему со шприцем, он отвернулся и дал ей колоть. И то, что нарастало между ними, такое тугое, напряжённое, как кислородная подушка, которую они несли когда-то между собой, — вдруг стало тихо опадать. И превратилось в ничто. И осталось — дружеское приветствие:

— Ну, как делишки, Олег?

Он оперся о стол ровными длинными руками, свесил чёрную лохму:

— Лейкоцитов две тысячи восемьсот. Рентгена второй день не дают. Завтра выписываюсь.

— Уже завтра? — порхнула она золотенькими ресницами. — Ну, счастливо! Поздравляю!

— Да есть ли с чем?..

— Вы неблагодарный! — покачала Зоя головой. — Ну-ка вспомните хорошо ваш первый день здесь, на площадке! Вы — думали жить больше недели?

Тоже правда.

Да нет, она славная девчѐнка, Зойка: весѐлая, работающая, искренняя, что думает — то и говорит. Если выкинуть эту неловкость между ними, будто они друг друга обманули, если начать с чистого места, — что мешает им быть друзьями?

— Вот так, — улыбнулся он.

— Вот так, — улыбнулась она.

О мулине больше не напоминала.

Вот и всё. Четыре раза в неделю она будет тут дежурить. Зубрить учебники. Редко вышивать. А там, в городе, — с кем-то стоять в тени после танцев.

Нельзя же сердиться на неё за то, что ей двадцать три года и она здорова до последней клеточки и кровинки.

— Счастливо! — сказал он без всякой обиды.

И уже пошёл. Вдруг с той же лёгкостью и простотой она окликнула:

— Алё, Олег!

Он обернулся.

— Вам, может, переночевать будет негде? Запишите мой адрес. (Как? И она?)

Олег смотрел недоумѐнно. Понять это — было выше его разума.

— Очень удобно, около самой трамвайной остановки. Мы с бабушкой вдвоѐм, но и комнатухи две.

— Спасибо большое, — растерянно принял он клочок бумаги. — Ну, вряд ли... Ну, как придѣтся...

— Ну, вдруг? — улыбалась она.

В общем, в тайге б он легче разобрался, чем среди женщин.

Ступил он ещё два шага и увидел Сибгатова, тоскливо лежащего на спине на твёрдом щите в своём затхлом углу вестибюля. Даже в сегодняшний буйно-солнечный день сюда попадали только десятые отражения.

Смотрел Сибгатов в потолок, в потолок.

Похужел он за эти два месяца.

Костоглотов присел к нему на край щита.

— Шараф! Ходят слухи упорные: всю ссылку распустят. И — спец, и — адм.

Шараф головы к Олегу не повернул, глаза только одни. И как будто ничего не принял, кроме звука голоса.

— Слышишь? И вас, и нас. Точно говорят.

А он — не понимал.

— Не веришь?.. Домой поедешь?

Увёл Сибгатов глаза на свой потолок. Растворил безучастные губы:

— Мне — раньше надо было.

Олег положил ему руку на руку, а та была на груди, как у мертвеца.

Мимо них бойко проскочила в палату Нэля:

— Тут у вас тарелочков не осталось? — и оглянулась: — Э, чубатый! А ты чего не обедаешь? А ну, тарелки освобождай, ждать тебя?

Вот это да! — пропустил Костоготов обед и даже не заметил. Домотало его! Только одного он не понял:

— Тебе-то что?

— Как что? Я — раздатчица теперь! — объявила гордо Нэля. — Халат, видишь, чистый какой?

Поднялся Олег — пойти похлебать свой последний больничный обед. Вкрадчивый, невидимый и беззвучный, выжиг в нём рентген всякий аппетит. Но по арестантскому кодексу невозможно было оставить в миске.

— Давай, давай, управляйся быстро! — командовала Нэля.

Не только халат, — у неё по-новому были и локоны закручены.

— Во ты какая теперь! — удивлялся Костоготов.

— А то! Дура я за триста пятьдесят по полу елозить! Да ещё и не подкормишься...

Как, наверно, у старика, пережившего сверстников, бывает токсичная незаполненность — «пора, пора уходить и мне», так и Костоготову в этот вечер в палате уже не жилось, хотя койки были все заполнены, и люди — всё люди, и заново поднимались как

новые те же вопросы: рак или не рак? излечивают или нет? и какие другие средства помогают?

К концу дня последний ушёл Вадим: привезли золото, и его перевели в радиологическую палату.

Только и осталось Олегу пересматривать кровати и вспоминать, кто тут лежал с самого начала и сколько из них умерло. Получалось, что и умерло как будто немного.

Так душно было в палате и так тепло снаружи, что Костоготов лёг спать с приоткрытым окном. Воздух весны переваливал на него через подоконник. Весеннее оживление слышалось и из маленьких дворишков старых домишек, которые теснились вприлепку к стене медгородка с той стороны. Жизнь этих дворишков через кирпичную стену городка не была видна, но сейчас хорошо слышались то хлопанье дверей, то крик на детей, то пьяный зык, то гнусавая патефонная пластинка, а уже поздно после отбоя донёсся женский сильный низкий голос, выводивший вразяжку, то ли с надрывом, то ли с удовольствием:

И шахтё-ора молодо-ого
На кварти-иру привела-а...

Все песни пели — о том же. Все люди думали — о том же. А Олегу надо было — о чём-нибудь другом.

Именно в эту ночь, когда встать предстояло рано и силы надо было беречь, Олег совсем не мог заснуть. Проволакивалось через его голову всё нужное и ненужное: недоспоренное с Русановым; недосказанное Шулубиным; и ещё Вадиму какие надо было высказать аргументы; и голова убитого Жука; и оживлённые лица Кадминых при жёлтой керосиновой лампе, когда он будет выкладывать им миллион городских впечатлений, а у них будут новости аульные и какие они за это время слышали музыкальные передачи — и приплюснутая хибарка будет казаться им троим наполненной вселенной; потом рассеянно-надменное выражение восемнадцатилетней Инны Штрём, к которой теперь Олег и подойти не посмеет; и эти два приглашения — два женских приглашения остаться ночевать, ещё и от них ломило голову: как нужно было правильно их понимать?

В том ледяном мире, который отформовал, отштамповал олегову душу, не было такого явления, такого понятия: «нерасчётливая доброта». И Олег — просто забыл о такой. И теперь ему чем угодно было легче объяснить это приглашение, чем простой добротой.

Что они имели в виду? и как он должен был поступить? — ему не было понятно.

С боку на бок, с боку на бок, и пальцы разминали невидимую папиросу...

Поднялся Олег и потащился пройтись.

В полутьме вестибюля, сразу у двери, в своём обычном тапике на полу сидел Сибгатов, отставив свой крестец — уже не с терпеливой надеждой, как прежде, а с замороженной безнадёжностью.

А за столиком дежурной сестры, спиной к Сибгатову, склонилась у лампы узкоплечая невысокая женщина в белом халате. Но это не была ни одна из сестёр — дежурил сегодня Тургун, и, наверно, он уже спал в комнате врачебных заседаний. Это была та диковинная воспитанная санитарка в очках, Елизавета Анатольевна. Она успела уже за вечер все дела переделать и вот сидела, читала.

За два месяца, которые пробыл тут Олег, эта старательная санитарка с лицом, полным быстрого смысла, не раз ползала под их кроватями, моя пол, когда все они, больные, лежали поверх; она передвигала там, в глубине, таимые сапоги Костоглотова, не побрянся ни разу; ещё она обтирала тряпками стенные панели; опорожняла плевательницы и начищала их до сверкания; разносила больным банки с наклейками; и всё то тяжёлое, неудобное или нечистое, что не положено было брать в руки сестре, она приносила и уносила.

И чем она безропотнее работала, тем меньше её в корпусе замечали. Две тысячи лет уже как сказано, что иметь глаза — не значит видеть.

Но тяжёлая жизнь углубляет способности зрения. И были тут, в корпусе, такие, кто друг друга сразу опознавали. Хотя не было им учреждено среди остальных ни погонов, ни явной формы, ни нарукавной повязки — а они легко опознавали друг друга: как будто по какому-то светящемуся знаку во лбу; как будто по стигматам на ладонях и плюснах. (На самом деле тут была тьма примет: слово оброненное одно; тон этого слова; пожимка губ между словами; улыбка, когда другие серьёзны; серьёзность, когда другие смеются.) Как узбеки или каракалпаки без труда признавали в клинике своих, так и эти, на кого хоть однажды упала тень колючей проволоки.

И Костоглов с Елизаветой Анатольевной давно друг друга признали, уже давно понимающе здоровались друг с другом. А вот поговорить не сошлось им ни разу.

Теперь Олег подошёл к её столику, слышно хлопая шлёпанцами, чтоб не испугать:

— Добрый вечер, Елизавета Анатольевна!

Она читала без очков. Повернула голову — и самый поворот этот уже чем-то неназываемым отличался от её всегда готовного поворота на зов службы.

— Добрый вечер, — улыбнулась она со всем достоинством немолодой дамы, которая под устойчивым кровом приветствует доброго гостя.

Доброжелательно, не торопясь, они посмотрели друг на друга.

Выражалось этим, что они всегда готовы друг другу помочь.

Но что помочь — не могут.

Олег избочился кудлатой головой, чтоб лучше видеть книгу.

— И опять французская? И что же именно?

Странная санитарка ответила, мягко выговаривая «л»:

— Клёд Фаррер.

— И где вы всё французские берёте?

— А в городе есть иностранная библиотека. И ещё у одной старушки беру.

Костоглотов косился на книгу, как пёс на птичье чучело:

— А почему всегда французские?

Лучевые морщинки близ её глаз и губ выражали и возраст, и замученность, и ум.

— Не так больно, — ответила она. Голос её был постоянно негромок, выговор мягкий.

— А зачем боли бояться? — возразил Олег.

Ему было трудно стоять долго. Она заметила и пододвинула ему стул.

— У нас в России сколько? — лет двести уже наверно ахают: Париж! Париж! Все уши прогудели, — ворчал Костоглотов. — Каждую улицу, каждый кабачок мы должны им наизусть знать. А мне вот назло — совсем не хочется в Париж!

— Совсем не хочется? — засмеялась она, и он за ней. — Лучше под комендатуру?

Смех у них был одинаковый: как будто и начали, а дальше не тянется.

— Нет, правда, — брюзжал Костоглотов. — Какая-то легкомысленная перебросочка. Так и хочется их осадить: эй, друзья! а — вкальвать вы как? а на черняшке без приварка, а?

— Это несправедливо. Значит, они ушли от черняшки. Заслужили.

— Ну, может быть. Может, это я от зависти. А всё-таки осадить хочется.

Сидя на стуле, Костоглов переваливался то вправо, то влево, будто тяготился излишне высоким туловищем. Без всякого перехода он естественно и прямо спросил:

— А вы — за мужа? Или сами по себе?

Так же прямо и сразу ответила и она, будто он её о дежурстве спрашивал:

— Всей семьёй. Кто за кого — не поймёшь.

— И сейчас все вместе?

— О, нет! Дочь в ссылке умерла. После войны переехали сюда. Отсюда мужа взяли на второй круг, в лагерь.

— И теперь вы одна?

— Сынишка. Восемь лет.

Олег смотрел на её лицо, не задрожавшее к жалости.

Ну да ведь они о деловом говорили.

— На второй — в сорок девятом?

— Да.

— Нормально. А какой лагерь?

— Станция Тайшет.

Опять кивнул Олег:

— Ясно. Озёрлаг. Он может быть и у самой Лены, а почтовый ящик — Тайшет.

— И вы там были?? — вот надежды сдержать она не могла!

— Нет, но просто знаю. Всё ж пересекается.

— Дузарский?? Не встречали?.. Нигде?..

Она всё-таки надеялась! Встречал... Сейчас расскажет...

Дузарский?.. Чмокнул Олег: нет, не встречал. Всех не встретишь.

— Два письма в год! — пожаловалась она.

Олег кивал. Всё — нормально.

— А в прошлом году пришло одно. В мае. И с тех пор нет!..

И вот уже дрожала на одной ниточке, на одной ниточке. Женщина.

— Не придавайте значения! — уверенно объяснял Костоглов. — От каждого два письма в год — это, знаете, сколько тысяч? А цензура ленивая. В Спасском лагере пошёл печник, зэк,

проверять печи летом — и в цензурной печке сотни две неотправленных писем нашёл. Забыли поджечь.

Уж как он ей мягко объяснял и как она давно ко всему должна была привыкнуть, — а смотрела сейчас на него диковато-испуганно.

Неужели так устроен человек, что нельзя отучить его удивляться?
— Значит, сынишка в ссылке родился?

Она кивнула.

— И теперь на вашу зарплату надо его поставить? А на высшую работу нигде не берут? Везде попрекают? В какой-нибудь конурке живёте?

Он вроде спрашивал, но вопроса не было в его вопросах. И так это всё было ясно до кислоты в челюстях.

На толстенькой переплетенной книжечке изящного малого формата, не нашей бумаги, с легко-зазубристыми краями от давнишнего разреза страниц, Елизавета Анатольевна держала свои небольшие руки, измочаленные стирками, половыми тряпками, кипятками, и ещё в синяках и порубах.

— Если б только в этом, что конура! — говорила она. — Но вот беда: растёт умный мальчик, обо всём спрашивает — и как же его воспитывать? Нагружать всей правдой? Да ведь от неё и взрослый потонет! Ведь от неё и рёбра разорвёт! Скрывать правду, примирять его с жизнью? Правильно ли это? Что сказал бы отец? Да ещё и удастся ли? — мальчонка ведь и сам смотрит, видит.

— Нагружать правдой! — Олег уверенно вдавил ладонь в настольное стекло. Он так сказал, будто сам вывел в жизнь десятки мальчишек — и без промаха.

Она выгнутыми кистями подперла виски под косынку и тревожно смотрела на Олега. Коснулись её нерва!

— Так трудно воспитывать сына без отца! Ведь для этого нужен постоянный стержень жизни, стрелка — а где её взять? Вечно сби-ваешься — туда, сюда...

Олег молчал. Он и раньше слышал, что это так, а понять не мог.

— И вот почему я читаю старые французские романы, да, впрочем, только на ночных дежурствах. Я не знаю, умолчали они о чём-нибудь более важном или нет, шла в то время за стенами такая жестокая жизнь или нет, — не знаю и читаю спокойно.

— Наркоз?

— Благоедеяние, — повела она головой белой монашки. — Блиско я не знаю книг, какие бы не раздражали. В одних — читателя за дурачка считают. В других — лжи нет, и авторы поэтому очень собой гордятся. Они глубокомысленно исследуют, какой просёлочной дорогой проехал великий поэт в тысяча восемьсот таком-то году, о какой даме упоминает он на странице такой-то. Да может, это им и нелегко было выяснить, но как безопасно! Они выбрали участь благую! И только до живых, до страдающих сегодня — дела им нет.

Её в молодости могли звать — Лиля. Эта переносица ещё не предполагала себе вмятины от очков. Девушка строила глазки, фыркала, смеялась, в её жизни были и сирень, и кружева, и стихи символистов — и никакая цыганка никогда ей не предсказала кончить жизнь уборщицей где-то в Азии.

— Все литературные трагедии мне кажутся смехотворными по сравнению с тем, что переживаем мы, — настаивала Елизавета Анатольевна. — Аиде разрешено было спуститься к дорогому человеку и с ним вместе умереть. А нам не разрешают даже узнать о нём. Если я поеду в Озёрлаг...

— Не езжайте! Всё будет зря.

— ...Дети в школах пишут сочинения: о несчастной, трагической, загубленной, ещё какой-то жизни Анны Карениной. Но разве Анна была несчастна? Она избрала страсть — и заплатила за страсть, это счастье! Она была свободный гордый человек! А вот если в дом, где вы родились и живёте от роду, входят в мирное время шинели и картузы — и приказывают всей семье в двадцать четыре часа покинуть этот дом и этот город только с тем, что могут унести ваши слабые руки?..

Всё, что эти глаза могли выплакать, — они выдали давно, и вряд ли оттуда ещё могло течь. И только, может быть, на последнюю анафему ещё мог вспыхнуть напряжённый сухой огонёк.

— ...Если вы распахиваете двери и зовёте прохожих с улицы, чтоб, может, что-нибудь купили бы у вас, нет — швырнули б вам медяков на хлеб! И входят нанюханые коммерсанты, всё на свете знающие, кроме того, что и на их голову ещё будет гром! — и за рояль вашей матери безстыдно дают сотую долю цены, — а девочка ваша с бантом на голове последний раз садится сыграть Моцарта, но плачет и убегает, — зачем мне перечитывать «Анну Каренину»? Может быть, мне хватит и этого?.. Где мне о нас прочесть, о нас? Только через сто лет?

И хотя она почти перешла на крик, но тренировка страха многих лет не выдала её: она не кричала, это не крик был. Только и слышал её — Костоготов.

Да может, ещё Сибгатов из тазика.

Не так было много примет в её рассказе, но и не так мало.

— Ленинград? — узнал Олег. — Тридцать пятый год?

— Узнаёте?

— На какой улице вы жили?

— На Фурштатской, — жалобно, но и чуть радостно протянула Елизавета Анатольевна. — А вы?

— На Захарьевской. Рядом!

— Рядом... И сколько вам тогда было лет?

— Четырнадцать.

— И ничего не помните?

— Мало.

— Не помните? Как будто землетрясение было — нараспашку квартиры, кто-то входил, брал, уходил, никто никого не спрашивал. Ведь четверть города выселили. А вы — не помните?..

— Нет, помню. Но вот позор: это не казалось самым главным. В школе нам объясняли, зачем это нужно, почему полезно.

Как кобылка туго занузданная, стареющая санитарка поводила головой вверх и вниз:

— О блокаде — все будут говорить! О блокаде — поэмы пишут! Это разрешено. А до блокады как будто ничего не было.

Да, да. Вот так же в тазике грелся Сибгатов, вот на этом месте Зоя сидела, а на этом же — Олег, и за этим столиком, при этой лампе они разговаривали — о блокаде, о чём же?

До блокады ведь ничего в том городе не случилось.

Олег вздохнул, боковато подпёр голову локтем и удручённо смотрел на Елизавету Анатольевну.

— Стыдно, — сказал он тихо. — Почему мы спокойны, пока не трахнет нас самих и наших близких? Почему такой человеческий характер?

А ещё ему стало стыдно, что выше памирских пиков вознёс он эту попытку: что надо женщине от мужчины? не меньше — чего? Как будто на этом одном заострилась жизнь. Как будто без этого не было на его родине ни муки, ни счастья.

Стыдно стало — но и спокойней гораздо. Чужие беды, окатывая, смывали с него свою.

— А за несколько лет до того, — вспоминала Елизавета Анатольевна, — выселяли из Ленинграда дворян. Тоже сотню тысяч, наверно, — а мы очень заметили? И какие уж там оставались дворяншки! — старые да малые, беспомощные. А мы знали, смотрели — и ничего: нас ведь не трогали.

— И рояли покупали?

— Может быть, и покупали. Конечно покупали.

Теперь-то Олег хорошо разглядел, что женщине этой ещё не было и пятидесяти лет. А уже шла она по лицу за старушку. Из-под белой косынки вывисала по-старчески гладкая, безсильная к завиву космочка.

— Ну а вас когда выселяли — за что? как считалось?

— Да за что же? — соцвреды. Или СОЭ — социально-опасный элемент. Литерные статьи, без суда, удобно.

— Ваш муж — кто был?

— Никто. Флейтист Филармонии. В пьяном виде любил порассуждать.

Олегу вспомнилась его покойная мать — вот такая же ранняя старушка, такая же суетливо-интеллигентная, такая же беспомощная без мужа.

Жили бы в одном городе — он мог бы этой женщине чем-то помочь. Сына направить.

Но, как насекомым, приколотым в отъединённых клеточках, каждому была определена своя.

— В знакомой нашей семье, — уже теперь, прорвавшись, рассказывала и рассказывала намолчавшаяся душа, — были взрослые дети, сын и дочь, оба пламенные комсомольцы. И вдруг — всю семью назначили к высылке. Дети бросились в райком комсомола: «Защитите!» «Защитим, — сказали там. — Натё бумагу, пишите: прошу с сего числа не считать меня сыном, дочью таких-то, отрекаюсь от них как от социально-вредных элементов и обещаю в дальнейшем ничего общего с ними не иметь, никаких связей не поддерживать».

Сгорбился Олег, выперли его костлявые плечи, голова свесилась.

— И многие писали...

— Да. А эти брат и сестра сказали: подумаем. Пришли домой, кинули в печку комсомольские билеты и стали собираться в ссылку.

Зашевелился Сибгатов. Держась о кровать, он вставал из тазика.

Санитарка подхватилась взять тазик и вынести.

Олег тоже поднялся и, перед тем как ложиться спать, побрёл неизбежной лестницей вниз.

В нижнем коридоре он проходил мимо той двери, где Дёмка лежал, а вторым был у него послеоперационный, умерший в понедельник, и вместо него после операции положили Шулубина.

Дверь эта закрывалась плотно, но сейчас была приоткрыта, и внутри темно. Из темноты слышался тяжёлый хрип. А сестёр никого не было видно: или при других больных, или спали.

Олег больше открыл дверь и просунулся туда.

Дёмка спал. Это стонуще хрипел Шулубин.

Олег вошёл. Приоткрытая дверь давала немного света из коридора.

— Алексей Филиппыч!..

Хрип прекратился.

— Алексей Филиппыч!.. Вам плохо?..

— А? — вырвалось как хрип же.

— Вам плохо?.. Дать что-нибудь?.. Свет зажечь?

— Кто это? — испуганный выдох в кашель, и новый захват стона, потому что кашлять больно.

— Костоглотов. Олег. — Он был уже рядом, наклонясь, и начал различать на подушке большую голову Шулубина. — Что вам дать? Сестру позвать?

— Ни-че-го, — выдохнул Шулубин.

Не кашлял больше и не стонал. Олег всё более, всё более различал, даже колечки волос на подушке.

— Весь не умру, — прошептал Шулубин. — Не весь умру.

Значит, бредил.

Костоглотов нашарил горячую руку на одеяле, слегка сдавил её.

— Алексей Филиппыч, будете жить! Держитесь, Алексей Филиппыч!

— Осколочек, а?.. Осколочек?.. — шептал своё больной.

И тут дошло до Олега, что не бредил Шулубин, и даже узнал его, и напоминал о последнем разговоре перед операцией. Тогда он сказал: «А иногда я так ясно чувствую: что во мне — это не всё я. Что-то уж очень есть неистребимое, высокое очень! Какой-то осколочек Мирового Духа. Вы так не чувствуете?»

35

Рано утром, когда ещё все спали, Олег тихо поднялся, застелил кровать как требовалось — с четырьмя заворотами пододеяльника — и, на цыпочках ступая тяжёлыми сапогами, вышел из палаты.

За столом дежурной сестры, положив густоволосую чёрную голову на переплетенные руки поверх раскрытого учебника, спал сидя Тургун.

Старушка-няня нижнего этажа отперла Олегу ванную, и там он переоделся в своё, за два месяца уже какое-то и отчуждённое: старенькие армейские брюки с напуском «галифе», полушерстяную гимнастёрку, шинель. Всё это в лагерях вылежалось у него в каптёрках — и так сохранилось, ещё не изношенное до конца. А зимняя шапка его была гражданская, уже купленная в Уш-Тереке, и мала ему очень, сдавливала. День ожидался тёплый, Олег решил шапку совсем не надевать, уж очень обращала его в чучело. И ремнём опоясал он не шинель, а гимнастёрку под шинелью, так что для улицы вид у него стал какого-то вольноотпущенника или солдата, сбежавшего с гауптвахты. Шапка же пошла в вещмешок — старый, с сальными пятнами, с прожогом от костра, с залатанной дырой от осколка, этот фронтовой вещмешок тётка принесла Олегу в передаче в тюрьму — он так попросил, чтобы в лагерь ничего хорошего не брать.

Но даже и такая одежда после больничной придавала осанку, бодрость и будто здоровье.

Костоготов спешил скорее выйти, чтобы что-нибудь не задержало. Нянечка отложила брусок, задвинутый в ручку наружной двери, и выпустила его.

Он выступил на крылечко — и остановился. Он вдохнул — это был молодой воздух, ещё ничем не всколыхнутый, не замутнённый! Он взглянул — это был молодой зеленеющий мир! Он поднял голову выше — небо развёртывалось розовым от вставшего где-то солнца. Он поднял голову ещё выше — веретёна перистых облаков кропотливой, многовековой выделки были вытянуты через всё небо — лишь на несколько минут, пока расплывутся, лишь для немногих, запрокинувших головы, может быть — для одного Олега Костоготова во всём городе.

А через вырезку, кружева, пёрышки, пену этих облаков — плыла ещё хорошо видная, сверкающая, фигурная ладья ущерблённого месяца.

Это было утро творения! Мир сотворялся снова для одного того, чтобы вернуться Олегу: иди! живи!

И только зеркальная чистая луна была — не молодая, не та, что светит влюблённым.

И, лицом разойдясь от счастья, улыбаясь никому — небу и деревьям, в той ранневесенней, раннеутренней радости, которая вливается и в стариков, и в больных, Олег пошёл по знакомым аллеям, никого не встречая, кроме старого подметальщика.

Он обернулся на раковый корпус. Полузакрытый длинными мётлами пирамидальных тополей, корпус высился в светло-сером кирпиче, штука к штучке, нисколько не постарев за свои семьдесят лет.

Олег шёл — и прощался с деревьями медицинского городка. На клёнах уже висели кисти-серёжки. И первый уже цвет был — у алычи, цвет белый, но из-за листьев алыча казалась бело-зелёной.

А вот урюка здесь не было ни одного. А он уже, сказали, цветёт. Его хорошо смотреть в Старом городе.

В первое утро творения — кто ж способен поступать благорасудно? Все планы ломая, придумал Олег непутёвое: сейчас же, по раннему утру, ехать в Старый город смотреть цветущий урюк.

Он прошёл запретные ворота и увидел полупустую площадь с трамвайным кругом, откуда, промоченный январским дождём, понурый и безнадежный, он входил в эти ворота умирать.

Этот выход из больничных ворот — чем он был не выход из тюремных?

В январе, когда Олег добивался больницы, визжащие, подскакивающие и перенабитые людьми трамваи замотали его. А сейчас, у свободного окна, даже дребезжание трамвая было ему приятно. Ехать в трамвае — был вид жизни, вид свободы.

Трамвай тянул по мосту через речку. Там, внизу, наклонились слабоногие ивы, и плети их, свисшие к жёлто-коричневой быстрой воде, уже были доверчиво зелены.

Озеленились и деревья вдоль тротуаров, но лишь настолько, чтобы не скрыть собою домов — одноэтажных, прочно каменных, неспешливо построенных неспешливыми людьми. Олег посматривал с завистью: и живут же какие-то счастливики в этих домах! Шли удивительные кварталы: широченные тротуары, широченные бульвары. Ну да какой город не понравится, если смотреть его розовым ранним утром!

Постепенно кварталы сменялись: не стало бульваров, обе стороны улицы сблизились, замелькали дома торопливые, не гонкие за красотой и прочностью, эти уж строились, наверно, перед войной. И здесь Олег прочёл название улицы, которое показалось ему знакомым.

Вот откуда знакомым: на этой улице жила Зоя!

Он достал блокнотик шершавой бумаги, нашёл номер дома. Стал опять смотреть в окно и на замедлении трамвая увидел сам дом: разнооконный, двухэтажный, с постоянно распахнутыми или навсегда выломанными воротами, а во дворе ещё флигельки.

Вот, где-то здесь. Можно сойти.

Он совсем не бездомен в этом городе. Он зван сюда, зван девушкой!

И продолжал сидеть, почти с удовольствием принимая на себя толчки и громыхание. Трамвай был всё так же неполон. Против Олега сел старый узбек в очках, не простой, древнеучёного вида. А получив от кондукторши билет, свернул его в трубочку и заткнул в ухо. Так и ехал, а из уха торчал скруток розовой бумаги. И от этой незамысловатости при въезде в Старый город Олегу стало ещё веселей и проще.

Улицы ещё сузились, затеснились маленькие домишки, сбитые плечо к плечу, потом и окна у них исчезли, потянулись высокие глинобитные глухие дувалы, а если выше их выставлялись дома, то только спинами глухими, гладкими, обмазанными глиной. В дувалах мелькали калитки или туннелики — низкие, согнувшись войти. С подножки трамвая до тротуара остался один прыжок, а тротуары стали узкие, в шаг один. И улица падала под трамваем.

Вот, наверно, и был тот Старый город, куда ехал Олег. Только никаких деревьев не росло на голых улицах, не то что цветущего урюка.

Упускать дальше было нельзя. Олег сошёл.

Всё то же мог он теперь видеть, только со своего медленного хода. И без трамвайного дребезжания стало слышно — слышно железное какое-то постукивание. И скоро Олег увидел узбека в чёрно-белой тюбетейке, в чёрном стёганом ватном халате и с розовым шарфом по поясу. Присев на корточки среди улицы, узбек на трамвайном рельсе одноколейного пути отбивал молотком окружность своего кетменя.

Олег остановился с умилением: вот и атомный век! Ещё и сейчас тут, как и в Уш-Тереке, так редок металл в хозяйстве, что не

нашлось лучше места, чем на рельсе. Следил Олег, успеет ли узбек до следующего трамвая. Но узбек несколько не торопился, он тщательно отбивал, а когда загудел снизу встречный трамвай, посторонился на полшага, переждал и снова присел.

Олег смотрел на терпеливую спину узбека, на его поясной розовый шарф (забравший в себя всю розовость уже поголубевшего неба). С этим узбеком он не мог переброситься и двумя словами, но ощутил его как брата-работягу.

Отбивать кетмень весенним утром — это разве не была возвращённая жизнь?

Хорошо!..

Он медленно шёл, удивляясь, где же окна. Хотелось ему заглянуть за дувалы, внутрь. Но двери-калитки были прикрыты, и неудобно входить. Вдруг один проходник просветил ему насквозь. Олег нагнулся и по сыроватому коридорчику прошёл во двор.

Двор ещё не проснулся, но можно было понять, что тут-то и идёт вся жизнь. Под деревом стояла врытая скамья, стол, разбросаны были детские игрушки, вполне современные. И водопроводная колонка здесь же давала влагу жизни. И стояло корыто стиральное. И все окна вкруговую — их много оказалось в доме — все смотрели сюда, во двор. А на улицу — ни одно.

Пройдя по улице, ещё в другой двор зашёл он через такой же туннелик. И там всё было так же, ещё и молодая узбечка под лиловой накидкой с долгими тонкими чёрными косами до самых бёдер возилась с ребятишками. Олега она видела — и не заметила. Он ушёл.

Это было совсем не по-русски. В русских деревнях и городках все окна красных комнат выходят именно на улицу, и через оконные цветы и занавески, как из лесной засады, высматривают хозяйки, кто новый идёт по улице, кто к кому зашёл и зачем. Но сразу понял Олег и принял восточный замысел: как ты живёшь — знать не хочу, и ты ко мне не заглядывай!

После лагерных лет, всегда на виду, всегда ощупанный, просмотренный и подгляженный, — какой лучший образ жизни мог выбрать для себя бывший арестант?

Всё больше ему нравилось в Старом городе.

Уже раньше он видел в проломе между домами безлюдную чайхану с просыпающимся чайханщиком. Теперь попалась ещё одна на балконе, над улицей. Олег поднялся туда. Здесь уже сидело

несколько мужчин в тубетейках ковровой, бордовой и синей, и старик в белой чалме с цветной вышивкой. А женщины — ни одной. И вспомнил Олег, что и прежде ни в какой чайхане он не видел женщины. Не было таблички, что женщинам воспрещено, но они не приглашались.

Олег задумался. Всё было ново для него в этом первом дне новой жизни, всё надо было понять. Собираясь отдельно, хотят ли мужчины этим выразить, что их главная жизнь идёт и без женщин?

Он сел у перил. Отсюда хорошо было наблюдать улицу. Она оживлялась, но не было ни у кого торопливой городской побегки. Размеренно двигались прохожие. Безконечно-спокойно сидели в чайхане.

Можно было так считать, что сержант Костоглотов, арестант Костоглотов, отслуживши и отбыв, что хотели от него люди, отмутившись, что хотела от него болезнь, — умер в январе. А теперь, пошатываясь на неуверенных ногах, вышел из клиники некий новый Костоглотов, «тонкий, звонкий и прозрачный», как говорили в лагере, вышел уже не на целую полную жизнь, но на жизнь-довесок — как хлебный довесок, приколотый к основной пайке сосновой палочкой: будто и входит в ту же пайку, а нет — кусочек отдельный.

Вот эту маленькую добавочную, другоданную жизнь сегодня начиная, хотел Олег, чтоб не была она похожа на прожитую основную. Он хотел бы теперь перестать ошибаться.

Но, уже чайник выбирая, — ошибся: надо было не мудрить и брать простой чёрный, проверенный. А он для экзотики взял кокчай, зелёный. В нём не оказалось ни крепости, ни бодрости, вкус какой-то не чайный, и набравшиеся в пиалу чайники никак не хотелось глотать, а сплескивать.

А между тем день разгорался, солнце поднималось, Олег уже не прочь был и поесть — но в этой чайхане ничего не было, кроме двух горячих чаёв, да и то без сахара.

Однако, перенимая безконечно-неторопливую здешнюю манеру, он не встал, не пошёл искать еды, а остался посидеть, ещё по-новому переставив стул. И тогда с балкона чайханы он увидел над соседним закрытым двором прозрачный розовый как бы одуванчик, только метров шесть в диаметре, — невесомый воздушный розовый шар. Такого большого и розового он никогда не видел в росте!

Урюк??..

Усваивал Олег: вот и награда за неторопливость. Значит: никогда не рвись дальше, не посмотрив рядом.

Он к самым перилам подошёл и отсюда, сверху, смотрел, смотрел на сквозистое розовое чудо.

Он дарил его себе — на день творения.

Как в комнате северного дома стоит украшенная ёлка со свечами, так в этом замкнутом глиняными стенами и только небу открытом дворике, где жили как в комнате, стоял единственным деревом цветущий урюк, и под ним ползали ребятишки, и рыхлила землю женщина в чёрном платке с зелёными цветами.

Олег разглядывал. Розовость — это было общее впечатление. Были на урюке бордовые бутоны как свечи, цветки при раскрытии имели поверхность розовую, а раскрывшись — просто были белы, как на яблоне или вишне. В среднем же получалась немыслимая розовая нежность — и Олег старался в глаза её всю вобрать, чтобы потом вспоминать долго, чтобы Кадминым рассказать.

Чудо было задумано — и чудо нашлось.

Ещё много разных радостей ждало его сегодня в только что народившемся мире!..

А ладьи-луны совсем уже не было видно.

Олег сошёл по ступенькам на улицу. Непокрытую голову начинало напекать. Надо было грамм четыреста хлеба чёрного купить, улопать его всухомятку и ехать в центр. Вольная ли одежда его так подбадривала, но его не тошнило, и ходил он совсем свободно.

Тут Олег увидел ларёк, вставленный в уступ дувала так, что не нарушал черты улицы. Навесное полотнище ларька было поднято как козырёк и поддерживалось двумя откосинами. Из-под козырька тянуло сизым дымком. Олегу пришлось сильно нагнуть голову, чтобы подойти под козырёк, а там стать не распрямляя шеи.

Длинная железная жаровня шла по всему прилавку. В одном месте её калился огонь, вся остальная была полна белым пеплом. Поперёк жаровни над огнём лежало полтора десятка длинных заострённых алюминиевых палочек с нанизанными кусочками мяса.

Олег догадался: это и был шашлык! — ещё одно открытие со-творённого мира, тот шашлык, о котором столько рассказывали в тюремных гастрономических разговорах. Но самому Олегу за тридцать четыре года жизни никогда не приходилось видеть его собственными глазами: ни на Кавказе, ни в ресторанах он никогда

не бывал, а в нарпитовских довоенных столовых давали голубцы и перловую кашу.

Шашлык!

Затягивающий был запах — этот смешанный запах дыма и мяса! Мясо на палочках не только не было обуглено, но даже не было смугло-коричневым, а в том нежном розово-сером цвете, в котором оно дозревает. Неторопливый ларёчник с кругло-жирным лицом одни палочки поворачивал, другие передвигал с огня в сторону пепла.

— Почём? — спросил Костоготов.

— Три, — сонно ответил ларёчник.

Не понял Олег: что три? Три копейки было слишком мало, три рубля слишком много. Может быть, три палочки на рубль? Эта неловкость всюду настигала его с тех пор, как он вышел из лагеря: он никак не мог уразуметь масштаба цен.

— Сколько на три рубля? — догадался вывернуться Олег.

Ларёчнику лень было говорить, он одну палочку приподнял за конец, помахал ею Олегу, как ребёнку, и опять положил жариться.

Одна палочка! — три рубля?.. Олег покрутил головой. Это было из круга других величин. На пять рублей он должен был проживать день. Но как хотелось отпробовать! Глазами он осматривал каждый кусочек и выбирал палочку. Да на каждой палочке было чем заманиться.

Близко ждали трое шоферов, их грузовики стояли тут же на улице. Подошла и ещё женщина, но ей ларёчник сказал по-узбекски, и она недовольная отошла. А ларёчник вдруг стал все палочки класть на одну тарелку и насыпал поверх, прямо пальцами, нарезанного лука и ещё из бутылочки брызгал. И Олег понял, что шофера забирают весь этот шашлык, каждый по пять стержней!

Это опять были те неуяснимые двухэтажные цены и двухэтажные заработки, которые царствовали всюду, но Олег ни вообразить не мог второго этажа, ни тем более забраться туда. Эти шофера запросто перекусывали за пятнадцать рублей каждый — и ещё, может быть, это был не главный их завтрак. Зарплаты на такую жизнь хватить не могло, да и не тем продавался шашлык, кто получает зарплату.

— Больше нету, — сказал ларёчник Олегу.

— Как нету? Вообще нету?? — очень огорчился Олег. Как он ещё мог раздумывать! Может быть, это был первый и последний случай в жизни!

— Сегодня не привозили. — Ларёчник убирал остатки своей работы и, кажется, собирался опускать козырёк.

И тогда Олег взмолился к шоферам:

— Братцы! Уступите мне одну палочку! Братцы — палочку!

Один из шоферов, сильно загоревший, но льноволосый паренёк, кивнул:

— Ну бери.

Они ещё не платили, и зелёную бумажку, которую Олег достал из кармана, заколотого английской булавкой, ларёчник даже не в руку принял, а смахнул с прилавка в ящик, как смахивал крошки и мусор.

Но палочка-то была олегова! Покинув солдатский вещмешок на пыльной земле, он двумя руками взял алюминиевый стержень и, посчитав кусочки — их было пять, а шестой половинка, — стал зубами отъедать их с палочки, да не сразу целыми, а помалу. Он вдумчиво ел, как пёс свою долю, отнесенную в безопасный угол, и размышлял над тем, как легко раздражить человеческое желание и как трудно насытить раздражённое. Сколько лет был ему из выших даров земли ломоть чёрного хлеба! Только сейчас он собирался пойти купить его себе на завтрак — но вот потянуло сизым дымком жаркого, и дали Олегу обглодать палочку, — и уже его надмевало презрение к хлебу.

Шофера кончили по пять палочек, завели машины, уехали — а Олег всё ещё досасывал свою долю. Он испытывал губами и языком каждый кусочек — как сочится нежное мясо, как пахнет, как оно в меру дошло и ничуть не пережарено, сколько первородного притяжения ещё таится, ещё не убито в каждом таком кусочке. И чем больше он вникал в этот шашлык и чем глубже наслаждался, тем холодней перед ним захлопывалось, что — к Зое нет ему пути. Сейчас трамвай повезёт его мимо — а он не сойдёт. Это именно над палочкой шашлыка ему стало ясно до предела.

И прежней дорогой в центр города поволок его трамвай, теперь только сильно набитый. Олег узнал зоину остановку и миновал ещё две. Он не знал, какая ему остановка лучше, какая хуже. Вдруг в окно их вагона снаружи снизу женщина стала продавать газеты, и Олегу захотелось посмотреть — как это, он газетчиков уличных не видел с детства (вот когда последний раз: когда застрелился Маяковский и мальчишки бегали с экстренным выпуском). Но тут была пожилая русская женщина, совсем нерасторопная, не сразу находившая сдачу, а всё-таки придумка помогала, и каждый

новый трамвай успевал у неё сколько-нибудь купить. Олег постоял, убедился, как это у неё идёт.

— А милиция не гоняет? — спросил он.

— Не спохватились, — утёрлась газетчица.

Он себя самого не видел, забыл каков. Присмотрись к ним, милиционер бы документы потребовал с него первого, а не с газетчицы.

Уличные электрические часы показывали только девять, но день уже был настолько жарок, что Олег стал расстёгивать верхние крючки шинели. Не спеша, давая себя обгонять и толкать, Олег шёл по солнечной стороне около площади, щурился и улыбался солнцу.

Ещё много радостей ожидало его сегодня!..

Это было солнце той весны, до которой он не рассчитывал дожить. И хотя вокруг никто не радовался возврату Олега в жизнь, никто даже не знал, — но солнце-то знало, и Олег ему улыбался. Хотя б следующей весны и не наступило никогда, хотя б эта была последняя, — но ведь и то *лишняя* весна! и за то спасибо!

Никто из прохожих не радовался Олегу, а он — всем им был рад! Он рад был вернуться к ним! И ко всему, что было на улицах! Ничто не могло показаться ему неинтересным, дурным или безобразным в его новосотворённом мире! Целые месяцы, целые годы жизни не могли сравняться с одним сегодняшним вершинным днём.

Продавали мороженое в бумажных стаканчиках. Уж не помнил Олег, когда такие стаканчики и видел. Ещё полтора рубля, порхайте! Мешок, прожжённый и простреленный, — за спиной, обе руки свободны, и, отделяя холодящие слои палочкой, Олег пошёл ещё медленней.

Тут попалась ему фотография с витриной, и в тени. Олег облокотился о железные перила и застрял надолго, рассматривая ту очищенную жизнь и улучшенные лица, которые были выставлены в витрине, а особенно, конечно, девушек, их там больше всего и было. Сперва каждая из них оделась в своё лучшее, потом фотограф крутил ей голову и десять раз переставлял свет, потом сделал несколько снимков и отобрал из них лучший, и ретушировал его, потом из десяти таких девушек ещё отбирали по одной — и так составила эта витрина, и Олег знал, — и всё же приятно было ему смотреть и верить, что из таких вот девушек и состоит жизнь. За все упущенные годы, и за все, которых он не доживёт, и за всё,

чего он был теперь лишён, — он насматривался и насматривался безстыдно.

Кончилось мороженое, и надо было выбросить стаканчик, но такой он был чистенький, гладенький, что сообразил Олег: в пути из него пить хорошо. И сунул в вещмешок. Спрятал и палочку — тоже может пригодиться.

А дальше попалась аптека. Аптека — тоже очень интересное учреждение! Костоглотов завернул в неё тотчас же. Прямоугольники её чистых прилавков, один за другим, можно было рассматривать целый день. Предметы, выставленные здесь, были все диковинны для лагерного глаза, они десятилетиями не встречались в том мире, а какие из них Олег и видел когда-то в вольной жизни, то сейчас затруднялся назвать или вспомнить, для чего они. С дикарским почтением рассматривал он никелированные, стеклянные и пластмассовые формы. А потом шли травы в пакетиках с объяснением их действия. В травы Олег очень верил, — но где была та трава, где?.. А потом тянулись витрины таблеток, и сколько тут было названий новых, никогда в жизни не слыханных. В общем, одна эта аптека открывала Олегу целую вселенную наблюдений и размышлений. Но он вздохнул от витрины к витрине и только спросил, по заказу Кадминых, термометр для воды, соду и марганцовку. Термометра не было, соды не было, а за марганцовку послали платить три копейки в кассу.

Потом Костоглотов стал в очередь в рецептурный отдел и постоял минут двадцать, уже сняв мешочек со спины и тяготясь духотой. Всё-таки было у него колебание — может, лекарство-то взять? Он положил в окошечко один из трёх одинаковых рецептов, переданных ему вчера Вегой. Он надеялся, что лекарства не будет и отпадёт вся проблема. Но оно нашлось. Подсчитали в окошечке и написали ему пятьдесят восемь рублей с копейками.

Олег даже рассмеялся облегчённо и отошёл. Что на каждом шагу в жизни его преследует цифра «пятьдесят восемь» — этому он ничуть не удивился. Но что ему надо сто семьдесят пять рублей положить за три рецепта — это уж было сверх. На такие деньги он мог месяц питаться. Хотел он тут же порвать рецепты в плевательницу, но подумал, что Вега может о них спросить, — и спрятал.

Жалко было уходить от аптечных зеркальных поверхностей. Но день разгорался и звал его, день его радостей.

Ещё много радостей ждало его сегодня.

Он не спешил отшагивать. Он переходил от витрины к витрине, цепляясь, как репейник, за каждый выступ. Он знал, что неожиданности ждут его на каждом шагу.

И правда, попалась почта, а в окне реклама: «Пользуйтесь фототелеграфом!» Поразительно! О чём десять лет назад писали в фантастических романах — вот уже предлагалось проходим. Олег зашёл. Тут висел список — десятка три городов, куда можно посылать фототелеграммы. Стал Олег перебирать — кому и куда бы? Но во всех этих больших городах, раскинутых по шестой части суши, не мог он вспомнить ни одного такого человека, кому доставил бы радость своим почерком.

Всё же, чтоб отведать ближе, он подошёл к окошечку и попросил показать ему бланк и какой размер букв должен быть.

— Сейчас испортился, — ответила ему женщина. — Не работает.

Ах не работает! Ну, леший с ним. Так и привычной. Спокойней как-то.

Шёл он дальше, читал афиши. Был цирк, и было несколько кино. В каждом что-то шло на дневных сеансах, но вот на это не мог он тратить дня, подаренного ему, чтоб рассмотреть вселенную. Вот если б, действительно, остаться пожить немного в городе, так даже и в цирк пойти не грешно: ведь он как ребёнок, ведь он родился только что.

Время было такое, что, пожалуй, уже удобно идти к Веге.

Если вообще идти...

А как можно не пойти? Она — друг. Она приглашала искренне. И смущённо. Она — единственная родная душа во всём городе, — и как же не пойти?

Ему-то самому, затаённо, только этого одного и хотелось — идти к ней. Даже не осмотрев городской вселенной — к ней.

Но что-то удерживало и подбрасывало доводы: может, ещё рано? Она могла ещё не вернуться или там не прибраться.

Ну, позже...

На каждом перекрёстке он останавливался, размышляя: как бы не прогадать, куда лучше идти? Он никого не спрашивал и улицы выбирал по прихоти.

И так набрёл на винную лавку — не магазин с бутылками, а именно лавку с бочками: полутёмную, полусырую, с особенным кисловатым воздухом. Какая-то старая таверна! Вино наливали из бочек — в стаканы. И стакан дешёвого стоил два рубля. После

шашлыка это была действительно дешёвка! И Костоглотов из глубинного кармана потащил на размен очередной червонец.

Вкуса никакого особенного не оказалось, но ослабевшую его голову стало вскруживать уже на допитии. А когда он пошёл из лавки, и дальше — то ещё полегчала жизнь, хотя и с утра была к нему благосклонна. Так стало легко и приятно, что, кажется, уже ничто не могло б его расстроить. Потому что всё плохое в жизни, что только есть, он уже испытал, отбыл, — а остальное было лучше.

Сегодня много радостей он себе ещё ожидал.

Пожалуй, если б ещё одна винная лавка встретилась — можно бы ещё стакан выпить.

Но лавка не попадалась.

Вместо этого густая толпа запрудила весь тротуар, так что её обходили по проезжей части. Олег решил: что-нибудь случилось на улице. Нет, все стояли лицом к широким ступеням и большим дверям и ждали. Костоглотов задрал голову и прочёл: «Центральный универмаг». Это было как раз вполне понятно: что-то важное должны были *давать*. Но — что именно? Он спросил у одного, у другой, у третьей, но все жались, никто толком не отвечал. Лишь узнал Олег, что как раз подходит время открытия. Ну что ж, судьба. Втеснился и Олег в ту толпу.

Через несколько минут двое мужчин раскрыли широкие двери и испуганно-удерживающим движением пытались умерить первый ряд, — но отскочили в стороны, как от конницы. Ожидающие мужчины и женщины, в первых рядах молодые, с такой прытью затопали в двери и дальше по прямой лестнице на второй этаж, как могли б они только покидать это здание, если б оно горело. Втиснулась и прочая толпа, и каждый, в меру своего возраста и сил, бежал по ступенькам. Оттекала какая-то струйка и по первому этажу, но главная била на второй. В этом атакующем порыве невозможно было подниматься спокойно, и чёрно-вздохмаченный Олег с вещмешком за спиной тоже побежал (в толчее его бранили «солдатом»).

Наверху же поток сразу разделялся: бежали в три разных стороны, осторожно заворачивая по скользкому паркетному полу. Мгновение было у Олега, чтобы выбрать. Но как он мог рассудить? Он побежал наудачу за самыми уверенными бегунами.

И оказался в растущем хвосте около трикотажного отдела. Продавщицы в голубых халатиках так спокойно, однако, ходили

и зевали, будто никакой этой давки не видели и предстоял им скучный пустой день.

Отдышавшись, узнал Олег, что ожидаются не то дамские кофточки, не то свитеры. Он матюгнулся шёпотом и отошёл.

Куда ж побежали те другие два потока — сейчас он не мог найти. Уже во все стороны было движение, у всех прилавков люди. У одного погуще толпились, и он решил — может быть здесь. Тут ожидалось дешёвые глубокие тарелки. Вот и ящики с ними распаковывались. Это дело. В Уш-Тереке не было глубоких тарелок, Кадмины ели из надбитых. Привезти в Уш-Терек дюжину таких тарелок было дело! Да ничего б не довёз он, кроме черепков.

Дальше стал Олег гулять по двум этажам универмага произвольно. Посмотрел фотоотдел. Аппараты, которых до войны достать было невозможно, и все принадлежности к ним теперь забивали прилавки, дразня и требуя денег. Это была ещё одна детская несбывшаяся мечта Олега — заниматься фотографией.

Очень ему понравились мужские плащи. После войны он мечтал купить гражданский плащ, ему казалось это самым красивым на мужчине. Но сейчас надо было положить триста пятьдесят рублей, месячную зарплату. Пошёл Олег дальше.

Нигде он ничего не покупал, а настроение у него было — как будто с тугим карманом, да только без всяких нужд. Ещё и вино в нём весело испарялось.

Продавались рубашки штапельные. Слово «штапель» Олег знал: все уш-терекские женщины, услышав это слово, бежали в раймаг. Посмотрел Олег рубашки, пощупал, ему понравились. И одну — зелёную в белую полоску — в мыслях своих взял. (А стоила она шестьдесят рублей, он взять её не мог.)

Пока он размышлял над рубашками, подошёл мужчина в хорошем пальто, но не к этим рубашкам, а к шёлковым, и вежливо спросил продавщицу:

— Скажите, а вот этот пятидесятый номер у вас есть с тридцать девятым воротничком?

И как передёрнуло Олега! Нет, как будто его напильниками теранули сразу по двум бокам! Он дико обернулся и посмотрел на этого чисто выбритого, нигде не поцарапанного мужчину в хорошей фетровой шляпе, в галстук на белой сорочке, — так посмотрел, как если б тот его в ухо ударил и сейчас не миновать было кому-то лететь с лестницы.

Как?? Люди кисли в траншеях, людей сваливали в братские могилы, в мелкие ямки в полярной мерзлоте, людей брали по первому, по второму, по третьему разу в лагерь, люди коченели в этапах-краснушках, люди с киркой надрывались, зарабатывая на латаную телогрейку, а этот чистолюй не только помнит номер своей рубашки, но и номер своего воротничка?!

Вот этот номер воротничка добил Олега! Никак не мог бы он подумать, что у воротничка ещё есть отдельный номер! Скрывая свой раненый стон, он ушёл от рубашек прочь. Ещё и номер воротничка! Зачем такая изощрённая жизнь? Зачем в неё возвращаться? Если помнить номер воротничка — то ведь что-то надо забыть! По-важнее что-то!

Он просто ослабел от этого номера воротничка...

В хозяйственном отделе Олег вспомнил, что Елена Александровна, хотя и не просила его привозить, но мечтала иметь облегчённый паровой утюг. Олег надеялся, что такого не окажется, как всего, что нужно, и совесть его, и плечи его будут разом освобождены от тяжести. Но продавщица показала ему на прилавке такой утюг.

— А это — точно облегчённый, девушка? — Костоготов недоверчиво вывешивал утюг в руке.

— А зачем я вас буду обманывать? — перекинула губы продавщица. Она вообще смотрела как-то метафизически, углублённая во что-то дальнее, будто здесь перед ней не реальные покупатели слонялись, а скользили их безразличные тени.

— Ну, не то что обманывать, но, может быть, вы ошибаетесь? — предположил Олег.

Против воли возвращаясь к брэнной этой жизни и совершая невыносимое для себя усилие переноса материального предмета, продавщица поставила перед ним другой утюг. И уже не осталось у неё сил что-нибудь объяснить словами. Она опять взлетела в область метафизическую.

Что ж, сравнением постигается истина. Облегчённый был, действительно, на килограмм полегче. Долг требовал его купить.

Как ни обезсилела девушка от переноса утюга, но ещё утомлёнными пальцами она должна была выписать ему чек, и ещё произнести слабеющими губами: «на контроле» (какой ещё контроль? кого проверять? Олег совсем забыл. О, как трудно было возвращаться в этот мир!) — да ещё и не ей ли, касаясь пола ногами, надо было теперь перетянуть этот облегчённый утюг в контроль? Олег

чувствовал себя просто виноватым, что отвлѣк продавщицу от её дремлющего размышления.

Когда утюг лёг в мешок, плечи сразу почувствовали. Уже становилось душно ему в шинели, и надо было скорей выходить из универсама.

Но тут он увидел себя в огромном зеркале от пола до потолка. Хотя неудобно мужчине останавливаться себя рассматривать, но такого большого зеркала не было во всём Уш-Тереке. Да в таком зеркале он себя десять лет не видел. И пренебрегая, что там подумают, он осмотрел себя сперва издали, потом ближе, потом ещё ближе.

Ничего уже военного, как он себя числил, в нём не осталось. Только отдалённо была похожа эта шинель на шинель и эти сапоги на сапоги. К тому ж и плечи давно ссутуленные, и фигура, неспособная держаться ровно. А без шапки и без пояса он был не солдат, а скорее арестант беглый или деревенский парень, приехавший в город купить и продать. Но для того нужна хоть лихость, а Костоглотов выглядел замученным, зачуханным, запущенным.

Лучше б он себя не видел. Пока он себя не видел, он казался себе лихим, боевым, на прохожих смотрел снисходительно, и на женщин как равный. А теперь, ещё с этим мешком ужасным за спиной, не солдатским давно, а скорее сумою нищенской, ему если стать на улице и руку протянуть — будут бросать копейки.

А ведь ему надо было к Веге идти... Как же идти к ней таким?

Он переступил ещё — и попал в отдел галантерейный или подарочный, а в общем — женских украшений.

И тогда между женщинами, щebetавшими, примерявшими, перебиравшими и отвергавшими, этот полусолдат-полунищий, со шрамом по низу щеки, остановился и тупо застыл, рассматривая.

Продавщица усмехнулась — что он там хотел купить своей деревенской возлюбленной? — и поглядывала, чтоб чего не спѣр.

Но он ничего не просил показать, ничего не брал в руки. Он стоял и тупо рассматривал.

Этот отдел, блистающий стѣклами, камнями, металлами и пластмассой, стал перед его опущенным быковатым лбом как шлагбаум, намазанный фосфором. Шлагбаума этого лоб Костоглотова не мог перешибить.

Он — понял. Он понял, как это прекрасно: купить женщине украшение и приколоть к груди, набросить на шею. Пока не знал,

не помнил — он был не виноват. Но сейчас он так пронзительно это понял, что с этой минуты, кажется, уже не мог прийти к Веге, ничего ей не подаря.

А и подарить ей он не мог бы и не смел бы — ничего. На дороге вещи нечего было и смотреть. А о дешёвых — что он знал? Вот эти брошки не брошки, вот эти узорные навесики на булавах, и особенно вот эта шестиугольная, со многими искрящимися стекляшками, — ведь хороша же?

А может быть — совсем пошла, базарна?.. Может, женщина со вкусом постыдится даже в руки такую принять?.. Может, таких давно уже не носят, из моды вышли?.. Откуда знать ему, что носят, что не носят?

И потом как это — прийти ночевать и протянуть, коснея, краснея, какую-то брошку?

Недоумения одно за другим сшибали его, как городошные палки.

И стугилась перед ним вся сложность этого мира, где надо знать женские моды, и уметь выбирать женские украшения, и прилично выглядеть перед зеркалом, и помнить номер своего воротничка... А Вега жила именно в этом мире, и всё знала, и хорошо себя чувствовала.

И он испытал смущение и упадок. Если уж идти к ней — то самое время идти сейчас, сейчас!

А он — не мог. Он — потерял порыв. Он — боялся.

Их разделил — Универмаг...

И из этого проклятого капища, куда недавно вбегал он с такой глупой жадностью, повинувшись идолам рынка, — Олег выбрел совсем угнетённый, такой измученный, как будто на тысячи рублей здесь купил, будто в каждом отделе что-то примерял, и ему завораживали, и вот он нес теперь на согбенной спине гору этих чемоданов и свёртков.

А всего только — утюг.

Он так устал, словно уже многие часы покупал и покупал суетные вещи, — и куда ж делось то чистое розовое утро, обещавшее ему совсем новую прекрасную жизнь? Те перистые облака вечной выделки? И ныряющая ладья луны?..

Где ж разменял он сегодня свою цельную утреннюю душу? В Универмаге... Ещё раньше — пропил с вином. Ещё раньше проел с шашлыком.

А ему надо было посмотреть цветущий урюк — и сразу же мчаться к Веге...

Стало тошно Олегу не только глазеть на витрины и вывески, но даже и по улицам толкаться среди густеющего роя озабоченных и весёлых людей. Ему хотелось лечь где-нибудь в тени у речки и лежать-очищаться. А в городе куда он мог ещё пойти — это в зоопарк, как Дёмка просил.

Мир зверей ощущал Олег как-то более понятным, что ли. Более на своём уровне.

Ещё оттого угнетался Олег, что в шинели ему стало жарко, но и тащить её отдельно не хотелось. Он стал спрашивать, как идти в зоопарк. И повели его туда добротные улицы — широкие, тихие, с тротуарными каменными плитами, с раскидистыми деревьями. Ни магазинов, ни фотографий, ни театров, ни винных лавок — ничего тут этого не было. И трамваи гремели где-то в стороне. Здесь был добрый тихий солнечный день, насквозь греющий через деревья. Прыгали «в классы» девочки на тротуарах. В палисадниках хозяйки что-то сажали или вставляли палочки для вьющихся.

Близ ворот зоопарка было царство детворы — ведь каникулы, и день какой!

Войдя в зоопарк, кого Олег увидел первым — был винторогий козёл. В его вольере высилась скала с крутым подъёмом и потом обрывом. И вот именно там, передними ногами на самом обрыве, неподвижно, гордо стоял козёл на тонких сильных ногах, а с рогами удивительными: долгими, изогнутыми и как бы намотанными виток за витком из костяной ленты. У него не борода была, но пышная грива, свисающая низко по обе стороны до колен, как волосы русалки. Однако достоинство было в козле такое, что эти волосы не делали его ни женственным, ни смешным.

Кто ждал у клетки винторогого, уже отчаялся увидеть какое-нибудь передвижение его уверенных копытец по этой гладкой скале. Он давно стоял совершенно как изваяние, как продолжение этой скалы; и без ветерка, когда и космы его не колыхались, нельзя было доказать, что он — жив, что это — не надувательство.

Олег простоял пять минут и с восхищением отошёл: так козёл и не пошевелился! Вот с таким характером можно переносить жизнь!

А перейдя к началу другой аллеи, Олег увидел оживление у клетки, особенно ребяташек. Что-то металось там бешено внутри, металось, но на одном месте. Оказалось, вот это кто: белка в колесе. Та самая белка в колесе, из поговорки. Но в поговорке всё стёрлось, и нельзя было вообразить — зачем белка? зачем

в колесе? А здесь представлено это было в натуре. В клетке был для белки и ствол дерева, и разбегающиеся сучья наверху — но ещё при дереве было коварно повешено и колесо: барабан, круг которого открыт зрителю, а по ободу внутри шли перекладинки, отчего весь обод получался как замкнутая бесконечная лестница. И вот, пренебрегая своим деревом, гонкими сучьями в высоту, белка зачем-то была в колесе, хотя никто её туда не нудил и пищей не зазывал, — привлекла её лишь ложная идея мнимого действия и мнимого движения. Она начала, вероятно, с лёгкого перебора ступенек, с любопытства, она ещё не знала, какая это жестокая, затягивающая штука (в первый раз не знала, а потом тысячи раз уже и знала — и всё равно!). Но вот всё раскручено было до бешенства! Всё рыженькое веретённое тело белки и иссиза-рыжий хвостик развевались по дуге в сумасшедшем беге, перекладинки колёсной лестницы рябили до полного слития, все силы были вложены до разрыва сердца! — но ни на ступеньку не могла подняться белка передними лапами.

И кто стояли тут до Олега — всё так же видели её бегущей, и Олег простоял несколько минут — и всё было то же. Не было в клетке внешней силы, которая могла бы остановить колесо и спасти оттуда белку, и не было разума, который внушил бы ей: «Покинь! Это — тцета!» Нет! Только один был неизбежный ясный выход — смерть белки. Не хотелось до неё достоять. И Олег пошёл дальше.

Так двумя многосмысленными примерами — справа и слева от входа, двумя равновозможными линиями бытия, — встречал здешний зоопарк своих маленьких и больших посетителей.

Шёл Олег мимо фазана серебряного, фазана золотого, фазана с красными и синими перьями. Поллюбовался невыразимой бирюзой павлиньей шеи и метровым разведенным хвостом его с розовой и золотой бахромою. После одноцветной ссылки, одноцветной больницы глаз пировал в красках.

Здесь не было жарко: зоопарк располагался привольно, и уже первую тень давали деревья. Всё более отдыхая, Олег миновал целую птичью ферму — кур андалузских, гусей тулузских, холмогорских — и поднялся в гору, где держали журавлей, ястребов, грифов, и наконец на скале, осенённой клеткою как шатром, высоко над всем зоопарком жили сипы белоголовые, а без надписи принять бы их за орлов. Их поместили сколько могли высоко, но крыша клетки уже была низка над скалой, и мучились эти боль-

шие угрюмые птицы, расширяли крылья, били ими, а лететь было некуда.

Глядя, как мучается сип, Олег сам лопатками повёл, расправляя. (А может, это утюг уже надавливал на спину?)

Всё у него вызывало истолкование. При клетке надпись: «Неволю белые совы переносят плохо». Знают же! — и всё-таки сажают!

А кой её выродок переносит хорошо, неволю?

Другая надпись: «Дикобраз ведёт ночной образ жизни». Знаем: в поддесятого вечера вызывают, в четыре утра отпускают.

А «барсук живёт в глубоких и сложных норах». Вот это по-нашему! Молодец барсук, а что остаётся? И морда у него матрасно-полосатая, чистый каторжник.

Так извращённо Олег всё здесь воспринимал, и, наверно, не надо было ему сюда, как и в Универмаг.

Уже много прошло дня — а радостей обещанных что-то не было.

Вышел Олег к медведям. Чёрный с белым галстуком стоял и тыкался носом в клетку, через прутья. Потом вдруг подпрыгнул и повис на решётке верхними лапами. Не галстук белый у него был, а как бы цепь священника с нагрудным крестом. Подпрыгнул — и повис! А как ещё он мог передать своё отчаяние?

В соседней камере сидела его медведица с медвежонком.

А в следующей мучился бурый медведь. Он всё время беспокойно топтался, хотел ходить по камере, но только помещался поворачиваться, потому что от стенки до стенки не было полных трёх его корпусов.

Так что по медвежьей мерке это была не камера, а бокс.

Увлечённые зрелищем дети говорили между собой: «Слушай, давай ему камней бросим, он будет думать, что конфеты!»

Олег не замечал, как дети на него самого оглядывались. Он сам здесь был лишний бесплатный зверь, да не видел себя.

Спускалась аллея к реке — и тут держали белых медведей, но хоть вместе двоих. К ним в вольеру сливались арыки, образуя ледяной водоём, и туда они прыгивали освежиться каждые несколько минут, а потом вылезали на цементную террасу, отжимали лапами воду с морды и ходили, ходили, ходили по краю террасы над водой. Полярным медведям, каково приходилось им здесь летом, в сорок градусов? Ну, как нам в Заполярье.

Самое запутанное в заключении зверей было то, что, приняв их сторону и, допустим, силу бы имея, Олег не мог бы приступить

взламывать клетки и освобождать их. Потому что потеряна была ими вместе с родиной и идея разумной свободы. И от внезапного их освобождения могло стать только страшней.

Так нелепо размышлял Костоглотов. Так были выворочены его мозги, что уже ничего он не мог воспринимать наивно и непричастно. Что бы ни видел он теперь в жизни — на всё возникал в нём серый призрак и подземный гул.

Мимо печального оленя, больше всех здесь лишённого пространства для бега, мимо священного индийского зебу, золотого зайца агути — Олег снова поднялся, теперь к обезьянам.

У клеток ревелись дети и взрослые, кормили обезьян. Костоглотов без улыбки шёл мимо. Без причёсок, как бы все остриженные под машинку, печальные, занятые на своих нарах первичными радостями и горестями, они так напоминали ему многих прежних знакомых, просто даже он узнавал отдельных — и ещё сидевших где-то сегодня.

А в одном одиноком задумчивом шимпанзе с отёчными глазами, державшем руки повисшие между колен, Олег, кажется, узнал и Шулубина — была у него такая поза.

В этот светлый жаркий день на койке своей между смертью и жизнью бился Шулубин.

Не предполагая найти интересное в обезьяньем ряде, Костоглотов быстро его проходил и даже начал скашивать, — как увидел на дальней клетке какое-то объявление и нескольких человек, читавших его.

Он пошёл туда. Клетка была пуста, в обычной табличке значилось: «макака-резус». А в объявлении, наспех написанном и приколотом к фанере, говорилось:

«Жившая здесь обезьянка ослепла от бессмысленной жестокости одного из посетителей. Злой человек сыпнул табака в глаза макаке-резус».

И — хлопнуло Олега! Он до сих пор прогуливался с улыбкой снисходительного всезнайки, а тут захотелось завопить, зареветь на весь зоопарк, — как будто это ему в глаза насыпали!

Зачем же?!.. *Просто так* — зачем же?.. Бессмысленно — зачем же?

Больше всего простотою ребёнка хватало написанное за сердце. Об этом неизвестном, благополучно ушедшем человеке не сказано было, что он — антигуманен. О нём не было сказано, что он — агент американского империализма. О нём сказано было только,

что он — злой. И вот это поражало: зачем же он просто так — злой? Дети! Не растите злыми! Дети! Не губите беззащитных!

Уж было объявление прочтено и прочтено, а взрослые и маленькие стояли и смотрели на пустую клетку.

И потащил Олег свой засаленный, прожжённый и простреленный мешок с утюгом — в царство пресмыкающихся, гадов и хищников.

Лежали ящеры на песке, как чешуйчатые камни, привалясь друг ко другу. Какое движение потеряли они на воле?

Лежал огромный чугунно-тёмный китайский аллигатор с плоской пастью, с лапами, вывернутыми как будто не в ту сторону. Написано было, что в жаркое время не ежедневно глотает он мясо.

Этот разумный мир зоопарка с готовой едою, может быть, вполне его и устраивал?

Добавился к дереву, как толстый мёртвый сук, мощный питон. Совсем он был неподвижен, и только острый маленький язычок его метался.

Вилась ядовитая эфа под стеклянным колпаком.

А уж простых гадюк — по несколько.

Никакого не было желания всех этих рассматривать. Хотелось представить лицо ослепшей макаки.

А уже шла аллея хищников. Великолепные, друг от друга отменяясь богатой шерстью, сидели тут и рысь, и барс, и пепельно-коричневая пума, и рыжий в чёрных пятнах ягуар. Они были — узники, они страдали без свободы, но относился к ним Олег как к блатным. Всё-таки можно разобрать в мире, кто явно виноват. Вот написано, что ягуар за месяц съедает сто сорок килограммов мяса. Нет, этого представить себе нельзя! чистого красного мяса! А в лагерь такого не привозят, в лагерь — жилы да ребуху, на бригаду килограмм.

Олег вспомнил тех расконвоированных ездовых, которые обворовывали своих лошадей: ели их овёс и так выжили сами.

Дальше увидел он — господина тигра. В усах, в усах было сосредоточено его выражение хищности! А глаза — жёлтые... Запуталось у Олега в голове, и он стоял и смотрел на тигра с ненавистью.

Один старый политкаторжанин, который был когда-то в туруханской ссылке, а в новое время встретился в лагере с Олегом, рассказывал ему, что не бархатно-чёрные, а именно жёлтые были глаза!

Прикованный ненавистью, Олег стоял против клетки тигра.

Всё-таки просто так, просто так — зачем??

Его мучило. Ему не хотелось больше этого зоопарка. Ему хотелось бежать отсюда. Он не пошёл уже ни к каким львам. Он стал выбираться к выходу наугад.

Мелькнула зебра, Олег покосился и шёл.

И вдруг! — остановился перед...

Перед чудом духовности после тяжёлого кровожадия: антилопа Нильгау — светло-коричневая, на стройных лёгких ногах, с настороженной головкой, но ничуть не пугаясь, — стояла близко за сеткой и смотрела на Олега крупными доверчивыми и — милыми! да, милыми глазами!

Нет, это было так похоже, что вынести невозможно! Она не сводила с него мило-укоряющего взгляда. Она спрашивала: «Ты почему ж не идёшь? Ведь полдня уже прошло, а ты почему не идёшь?»

Это — наваждение было, это — переселение душ, потому что явно же она стояла тут и ждала Олега. И едва он подошёл, сразу стала спрашивать укорными, но и прощающими глазами: «Не придёшь? Неужели не придёшь? А я ждала...»

Да почему ж он не шёл?! Да почему ж он не шёл!..

Олег тряхнулся — и надал к выходу.

Ещё он мог её застать!

36

Он не мог сейчас думать о ней ни с жадностью, ни с яростью — но наслаждением было пойти и лечь к её ногам, как пёс, как битый несчастный пёс. Лечь на полу и дышать в её ноги, как пёс. И это было бы — счастьем изо всего, что только можно было придумать.

Но эту добрую звериную простоту — прийти и откровенно лечь ничком около её ног — он не мог, конечно, себе позволить. Он должен будет говорить какие-то вежливые извинительные слова, и она будет говорить какие-то вежливые извинительные слова, потому что так усложнено всё за многие тысячи лет.

Он и сейчас ещё видел этот вчерашний её рдеющий разлив на щеках, когда она сказала: «Вы знаете, вы вполне могли бы остановиться у меня, вполне!» Этот румянец надо было искупить, отворотить, обойти смехом, нельзя было дать ей ещё раз застесняться — и вот почему надо было придумывать первые фразы, достаточно

вежливые и достаточно юмористические, ослабляющие то необычное положение, что вот он пришёл к своему врачу, молодой одинокой женщине, — и с ночёвкой зачем-то. А то бы не хотелось придумывать никаких фраз, а стать в дверях и смотреть на неё. И обязательно назвать сразу Вегой: «Вега! Я пришёл!»

Но всё равно, это будет счастье невместимое — оказаться с ней не в палате, не в лечебном кабинете, а в простой жилой комнате — и о чём-то, неизвестно, говорить. Он наверно будет делать ошибки, многое некстати, ведь он совсем отвык от жизни человеческого рода, но глазами-то сможет же он выразить: «Пожалей меня! Слушай, пожалей меня, мне так без тебя плохо!»

Да как он мог столько времени потерять! Как мог он не идти к Веге — давно, давно уже не идти! Теперь он ходко шёл, без колебания, одного только боясь — упустить её. Полдня пробродив по городу, он уже схватил расположение улиц и понимал теперь, куда ему идти. И шёл.

Если они друг другу симпатичны. Если им так приятно друг с другом быть и разговаривать. Если когда-нибудь он сможет и брать её за руки, и обнимать за плечи, и смотреть нежно близко в глаза — то неужели же этого мало? Да даже и много более того — и неужели мало?..

Конечно, с Зоей — было бы мало. Но — с Вегой?.. с антилопой Нильгау?

Ведь вот только подумал, что можно руки её вобрать в свои, — и уже тетивы какие-то наструнились в груди, и он заволновался, как это будет.

И всё-таки — мало?..

Он всё больше волновался, подходя к её дому. Это был самый настоящий страх! — но счастливый страх, измирающая радость. От одного страха своего — он уже был счастлив сейчас!

Он шёл, только надписи улиц ещё смотря, а уже не замечая магазинов, витрин, трамваев, людей — и вдруг на углу, из-за сутолоки не сразу сумев обойти стоящую старую женщину, очнулся и увидел, что она продаёт букетики маленьких лиловых цветов.

Нигде, в самых глухих закоулках его вытравленной, перестроенной, приспособленной памяти, не осталось ни тенью, что, идя к женщине, надо нести цветы! Это вконец и вкорень было им забыто как несуществующее на земле! Он спокойно шёл со своим затасканным, залатанным и огрузнённым вещмешком, и никакие сомнения не колебали его шага.

И вот — он увидел какие-то цветы. И цветы эти зачем-то кому-то продавались. И лоб его наморщился. И недающееся воспоминание стало всплывать к его лбу, как утопленник из мутной воды. Верно, верно! — в давнем небывалом мире его юности принято было дарить женщинам цветы!..

— Это — какие же? — застенчиво спросил он у торговки.

— Фиалки, какие! — обиделась она. — Пучок — рубль.

Фиалки?.. Вот те самые поэтические фиалки?.. Он почему-то не такими их помнил. Стебельки их должны были быть стройнее, выше, а цветочки — колокольчатей. Но, может, он забыл. А может — это какой-то местный сорт. Во всяком случае, никаких других тут не предлагалось. А вспомнив — уже не только нельзя было идти без цветов, а стыдно — как мог он только что спокойно идти без них.

Но сколько ж надо было купить? Один? Выглядело слишком мало. Два? Тоже бедненько. Три? Четыре? Дорого очень. Смекалка лагерная прощёлкала где-то в голове, как крутится арифмометр, что два букета можно бы сторговать за полтора рубля или пять букетов за четыре, но этот чёткий щёлк прозвучал как будто не для Олега. А он вытянул два рубля и тихо отдал их.

И взял два букетика. Они пахли. Но тоже не так, как должны были пахнуть фиалки его юности.

Ещё вот так, нюхая, он мог нести их, а отдельно в руке совсем смешно выглядело: демобилизованный больной солдат без шапки, с вещмешком и с фиалками. Никак нельзя было их пристроить и лучше всего втянуть в рукав и так нести незаметно.

А номер Веги — был вот он!..

Вход во двор, она говорила. Он вошёл во двор. Налево потом.

(А в груди так и переполаскивало!)

Шла длинная общая цементная веранда, открытая, но под навесом, с косою прутьяной решёткой под перилами. На перилах набросаны были на просушку — одеяла, матрасы, подушки, а на верёвках от столбика к столбику ещё висело бельё.

Всё это очень не подходило, чтобы здесь жила Вега. Слишкомотяжелённые подступы. Ну что ж, она за них не отвечает. Вот там, дальше, за всем этим развешанным, сейчас будет дверь с её номерком, и уже за дверью — мир Веги одной.

Он поднырнул под простыни и разыскал дверь. Дверь как дверь. Светло-коричневая окраска, кой-где облупленная. Зелёный почтовый ящик.

Олег выдвинул фиалки из рукава шинели. Поправил волосы. Он волновался — и радовался волнению. Как вообразить её — без врачебного халата, в домашней обстановке?..

Нет, не эти несколько кварталов от зоопарка он прошлёпал в своих тяжёлых сапогах! — он шёл по растянутым дорогам страны, шёл два раза по семь лет! — и вот наконец демобилизовался, дошёл до той двери, где все четырнадцать лет его немо ожидала женщина.

И — косточкой среднего пальца коснулся двери.

Однако он не успел как следует постучать — а дверь уже стала открываться (она заметила его прежде? в окно?) — открылась — и оттуда, выпирая прямо на Олега ярко-красный мотоцикл, особенно крупный в узкой двери, двинулся мордатый парень с нашлёпанным расклёпанным носом. Он даже не спросил — к чему тут Олег, к кому, — он пёр мотоцикл, он сворачивать не привык, и Олег посторонился.

Олег опешил и не в миг понял: кто приходится этот парень одиноко живущей Веге, почему он от неё выходит? Да ведь не мог же он совсем забыть, хоть и за столько лет, что вообще люди не живут сами по себе, что они живут в коммунальных квартирах! Забыть не мог, а и помнить был не обязан. Из лагерного барака *воля* рисуется полной противоположностью бараку, не коммунальной квартирой никак. Да даже в Уш-Тереке люди жили все особно, не знали коммунальных.

— Скажите, — обратился он к парню. Но парень, прокатив мотоцикл под развешенную простыню, уже спускал его с лестницы с гулковатым постуком колеса о ступеньки.

А дверь он оставил открытой.

Олег нерешительно стал входить. В неосвещённой глубине коридора видны были теперь ещё дверь, дверь, дверь — какая же из них? В полутьме, не зажигая лампочки, показалась женщина и спросила сразу враждебно:

— Вам кого?

— Веру Корнильевну, — непохоже на себя, застенчиво произнёс Костоглолов.

— Нету её! — не проверяя двери, не смотря, с неприязненной уверенной резкостью отсекала женщина и шла прямо на Костоглолова, заставляя его тесниться назад.

— Вы — постучите, — возвращался в себя Костоглолов. Он размягчел так от ожидания увидеть Вегу, а на гавканье соседки мог отгавкнуться и сам. — Она сегодня не на работе.

— Знаю. Нету. Была. Ушла. — Женщина, низколобая, косощё-кая, рассматривала его.

Уже видела она и фиалки. Уже поздно было и прятать.

Если б не эти фиалки в руке, он был бы сейчас человек — он мог бы сам постучать, разговаривать независимо, настаивать — давно ли ушла, скоро ли вернётся, оставить записку (а может быть, и ему была оставлена?..).

Но фиалки делали его каким-то просителем, подносителем, влюблённым, дурачком...

И он отступил на веранду под напором косощёкой.

А та, по пятам тесня его с плацдарма, наблюдала. Уже что-то выпирало из мешка у этого бродяги, как бы и здесь он чего не смахнул.

Наглыми стреляющими хлопками без глушителя раздражался мотоцикл во дворе — и затыкался, раздражался и затыкался.

Мялся Олег.

Женщина смотрела раздражённо.

Как же Веги могло не быть, если она обещала? Да, но она ждала раньше — и вот куда-то ушла. Какое горе! Не неудача, не досада — горе!

Руку с фиалками Олег втянул в рукав шинели как отрубленную.

— Скажите: она вернётся или уже на работу ушла?

— Ушла, — чеканила женщина.

Но это не был ответ.

Но и нелепо было стоять тут перед ней и ждать.

Дёргался, плевался, стрелял мотоцикл — и заглохал.

А на перилах лежали — тяжёлые подушки. Тюфяки. Одежда в конвертных пододеяльниках. Их выложили выжариваться на солнце.

— Так что вы ждёте, гражданин?

Ещё из-за этих громоздких постельных бастионов Олег никак не мог сообразить.

А та разглядывала и думать не давала.

И мотоцикл проклятый душу в ключья разрывал — не заводился.

И от подушечных бастионов Олег попятился и отступил — вниз, назад, откуда пришёл, — отброшенный.

Если б ещё не эти подушки — с одним подмятым углом, двумя свисшими, как вымя коровье, и одним взнесённым, как обелиск, — если б ещё не подушки, он бы сообразил, решил на что-то. Нельзя было так прямо сразу уйти. Вега, наверно, ещё вернётся! И скоро вернётся! И она тоже будет жалеть! Будет жалеть!

Но в подушках, в матрасах, в одеялах с конвертными пододеяльниками, в простынных знамёнах — был тот устойчивый, веками проверенный опыт, отвергать который у него не было теперь сил. Права не было.

Именно — теперь. Именно — у него.

На поленьях, на досках может спать одинокий мужчина, пока ждёт ему сердце вера или честолюбие. Спит на голых нарах и арестант, которому выбора не дано. И арестантка, отделённая от него силой.

Но где женщина и мужчина сговорились быть вместе — эти пухлые мягкие морды ждут уверенно своего. Они знают, что не ошибутся.

И от крепости неприступной, непосильной ему, с болванкой утюга за плечами, с отрубленной рукой, Олег побрёл, побрёл за ворота — и подушечные бастионы радостно били ему пулемётами в спину.

Не заводился, треклятый!

За воротами глуше были эти взрывы, и Олег остановился ещё немного подождать.

Ещё не потеряно было дожждаться Веги. Если она вернётся — она не может здесь не пройти. И они улыбнутся, и как обрадуются: «Здравствуйте!..» — «А вы знаете...» — «А как смешно получилось...»

И он тогда вытянет из рукава смятые, стиснутые, уже завядающие фиалки?

Дождаться можно и снова повернуть во двор — но ведь опять же им не миновать этих пухлых уверенных бастионов!

Их не пропустят вдвоём.

Не сегодня, так в день какой-то другой — и Вега, тоже и Вега, легконогая, воодушевлённая, с кофейно-светлыми глазами, вся чуждая земному праху, — и она же выносит на эту веранду свою воздушную, нежную, прелестную — но постель.

Птица — не живёт без гнезда, женщина — не живёт без постели.

Будь ты трижды нетленна, будь ты трижды возвышенна — но куда ж тебе деться от восьми неизбежных ночных часов?

От засыпаний.

От просыпаний.

Выкатился! выкатился пурпурный мотоцикл, на ходу достреливая Костоглотова, и парень с расклёпаным носом смотрел по улице победителем.

И Костоглотов пошёл, побитый.

Он выдвинул фиалки из рукава. Они были при последних минутах, когда ещё можно было их подарить.

Две пионерки-узбечки с одинаковыми чёрными косичками, закрученными ту же электрических шнуров, шли навстречу. Двумя руками Олег протянул им два букетика:

— Возьмите, девочки.

Они удивились. Переглянулись. Посмотрели на него. Друг другу сказали по-узбекски. Они поняли, что он не пьян, и не пристаёт к ним. И даже, может быть, поняли, что дядя-солдат дарит букетики от беды?

Одна взяла и кивнула.

Другая взяла и кивнула.

И быстро пошли, притираясь плечо о плечо и разговаривая оживлённо.

И остался у него за плечами замызганный, пропотевший вещмешок.

Где ночевать — это надо было придумывать заново.

В гостиницах нельзя.

К Зое нельзя.

К Веге нельзя.

То есть можно, можно. И будет рада. И вида никогда не подаст.

Но запретнее, чем нельзя.

А без Веги стал ему весь этот прекрасный изобильный миллионный город — как мешок тяжёлый на спине. И странно было, что ещё сегодня утром город ему так нравился и хотелось задержаться подольше.

И ещё странно: чему он сегодня утром так радовался? Всё излечение его вдруг перестало казаться каким-то особенным даром.

За неполный квартал Олег почувствовал, как голоден, и как ноги натёр, как тело всё устало, и как опухоль недобитая перекачивается внутри. И пожалуй, хотелось ему поскорей бы только уехать.

Но и возврат в Уш-Терек, теперь вполне открытый, тоже перестал манить. Понял Олег, что там его тоска заглохнет теперь ещё больше.

Да просто не мог он представить себе сейчас такого места и вещи такой, которые могли бы его развеселить.

Кроме как — вернуться к Веге.

К ногам её опуститься: «Не гони меня, не гони! Я же не виноват».

Но это было запретнее, чем нельзя.

Посмотрел на солнце. Приспускаться начало. Как бы уже не третий час. Что-то надо было решать.

Увидел на трамвае тот самый номер, который вёз в сторону комендатуры. Стал смотреть, где он останавливается ближе.

И с железным скрежетом, особенно на поворотах, трамвай, как сам тяжело больной, потащил его по каменным узким улицам. Держась за кожаную петлю, Олег наклонялся, чтоб из окна видеть что-нибудь. Но волоклись, без зелени, без бульваров, мощёнка и облезлые дома. Мелькнула афиша дневного кино под открытым воздухом. Занятно было бы посмотреть, как это устроено, но что-то уже попригас его интерес к новинкам мира.

Она горда, что выстояла четырнадцать лет одиночества. Но не знает она — а чего может стоить полгода таких: вместе — и не вместе...

Свою остановку он узнал, сошёл. Теперь километра полтора надо было пройти по широкой улице унылого заводского типа, без деревца, раскалённой. По её мостовой грохотали в обе стороны непрерывные грузовики и тракторы, а тротуар тянулся мимо долгой каменной стены, потом пересекал железнодорожную заводскую колею, потом — пересыпь мелкого угля, потом шёл мимо пустыря, изрытого котлованами, и опять через рельсы, там снова стена и наконец одноэтажные деревянные бараки — те, что в титулах записываются как «временное гражданское строительство», а стоят десять, двадцать и даже тридцать лет. Сейчас хоть не было той грязи, как в январе, под дождём, когда Костоглотов в первый раз искал эту комендатуру. И всё равно — уныло-долго было идти, и не верилось, что эта улица — в том самом городе, где кольцевые бульвары, неохватные дубы, неудержимые тополя и розовое диво урюка.

Как бы она ни убеждала себя, что так надо, так верно, так хорошо, — тем надрывней потом прорвётся.

По какому замыслу была так таинственно и окраинно помещена комендатура, располагавшая судьбами всех ссыльных города? Но вот тут, среди барakov, грязных проходов, разбитых и заслепленных фанерою окон, развешанного белья, белья, белья, — вот тут она и была.

Олег вспомнил отвратное выражение лица того коменданта, даже на работе не бывшего в рабочий день, как он принимал его тут, и сам теперь в коридоре комендантского барака замедлил, чтоб и своё лицо стало независимым и закрытым. Костоготов никогда не разрешал себе улыбаться тюремщикам, даже если те улыбались. Он считал долгом напоминать, что — всё помнит.

Он постучал, вошёл. Первая комната была полутемна, совсем гола и совсем пуста: только две долгих колченогих скамьи без спинок и, за балюстрадной отгородкой, стол, где, наверно, и производили дважды в месяц таинство отметки местных ссыльных.

Никого тут сейчас не было, а дверь дальше с табличкой «Комендант» — распахнута. Выйдя в прогляд этой двери, Олег спросил строго:

— Можно?

— Пожалуйста, пожалуйста, — пригласил его очень приятный радушный голос.

Что такое? Подобного тона Олег сроду в НКВД не слыхивал. Он вошёл. Во всей солнечной комнате был только комендант, за своим столом. Но это не был прежний — с глубокомысленным выражением загадочный дурак, а сидел армянин с мягким, даже интеллигентным лицом, нисколько не чванный, и не в форме, а в гражданском хорошем костюме, не подходящем к этой барачной окраине. Армянин так весело посматривал, будто работа его была — распределять театральные билеты и он рад был, что Олег пришёл с хорошей заявкой.

После лагерной жизни Олег не мог быть очень привязан к армянам: там, немногочисленные, они ревностно вызволяли друг друга, всегда занимали лучшие каптёрские, хлебные и даже масляные места. Но, по справедливости рассуждая, нельзя было за то на них и обижаться: не они эти лагеря придумали, не они придумали и эту Сибирь, — и во имя какой идеи им надо было не спасать друг друга, чуждаться коммерции и долбать землю киркой?

Сейчас же, увидя этого весёлого расположенного к нему армянина за казённым столом, Олег с теплотой подумал именно о неказённости и деловитости армян.

Услышав фамилию Олега и что он тут на временном учёте, комендант охотно и легко встал, хотя был полон, и в одном из шкафов начал перебирать карточки. Одновременно, как бы стараясь развлечь Олега, он всё время произносил что-нибудь вслух — то

пустые междометия, а то и фамилии, которых по инструкции он жесточайше не имел права произносить:

— Та-а-ак... Посмотрим... Калифотиди... Константириди... Да вы садитесь, пожалуйста... Кулаев... Карануриев. Ох, затрепался уголок... Казымагомаев... Костоготов! — И опять в пуший изъян всех правил НКВД не спросил, а сам же и назвал имя-отчество: — Олег Филимонович?

— Да.

— Та-а-ак... Лечились в онкологическом диспансере с двадцать третьего января... — И поднял от бумажки живые человеческие глаза: — Ну и как? Лучше вам?

И Олег почувствовал, что уже — растроган, что даже защипало в горле немножко. Как же мало надо: посадить за эти мерзкие столы человеческих людей — и уже жизнь совсем другая. И сам уже не стянута, запросто ответил:

— Да как вам сказать... В одном лучше, в другом хуже... — (Хуже? Как неблагодарен человек! Что ж могло быть хуже, чем лежать на полу диспансера и хотеть умереть?..) — Вообще-то, лучше.

— Ну и хорошо! — обрадовался комендант. — Да почему ж вы не сядете?

Оформление театральных билетов требовало же всё-таки времени! Где-то надо было поставить штамп, вписать чернилами дату, ещё в книгу толстую записать, ещё из другой выписать. Всё это армянин весело, незатруднённо сделал, освободил олегово удостоверение с разрешённым выездом и, уже протягивая его и выразительно глядя, сказал совсем неслужебно и потише:

— Вы... не горюйте. Скоро это всё кончится.

— Что — э т о ? — изумился Олег.

— Как что? Отметки. Ссылка. Ко-мен-дан-ты! — беззаботно улыбался он. (Очевидно, была у него в запасе работка поприятней.)

— Что? Уже есть... распоряжение? — спешил вырвать Олег.

— Распоряжение не распоряжение, — вздохнул комендант, — но есть такие наметки. Говорю вам точно. Будет! Держитесь крепче, выздоравливайте — ещё в люди выйдете.

Олег улыбнулся криво:

— Вышел уже я из людей.

— Какая у вас специальность?

— Никакой.

— Женаты?

— Нет.

— И хорошо! — убеждённо сказал комендант. — Со ссыльными жёнами потом обычно разводятся — и целая канитель. А вы освободитесь, вернётесь на родину — и жёнитесь!

Женитесь...

— Ну если так — спасибо, — поднялся Олег.

Доброжелательно напутствуя кивком, комендант всё же руки ему не подал.

Проходя две комнаты, Олег думал: почему такой комендант? Отроду он такой или от поветрия? Постоянный он тут или временный? Или специально таких стали назначать? Очень это важно было узнать, но не возвращаться же.

Опять мимо барачных, опять через рельсы, через уголь, этой долгой заводской улицей Олег пошёл увлечённо, быстрее, ровнее, скоро скинув и шинель от жары, — и постепенно в нём расходилось и расплескивалось то ведро радости, которое ухнул в него комендант. Лишь постепенно это доходило всё до сознания.

Потому постепенно, что отучили Олега верить людям, занимающим эти столы. Как было не помнить специально распространяемой должностными лицами, капитанами и майорами, лжи послевоенных лет о том, что будто бы готовится широкая амнистия для политических? Как им верили! — «мне сам капитан сказал!» А им просто велели подбодрить упавших духом — чтобы тянули! чтобы норму выполняли! чтоб хоть для чего-то силились жить!

Но об этом армянине если что и можно было предположить, то — слишком глубокую осведомлённость, не по занимаемому посту. Впрочем, и сам Олег по обрывкам газет — не того ли и ждал?

Боже мой, да ведь пора! Да ведь давно пора, как же иначе! Человек умирает от опухоли — как же может жить страна, пророщённая лагерями и ссылками?

Олег опять почувствовал себя счастливым. В конце концов, он не умер. И вот скоро сможет взять билет до Ленинграда. До Ленинграда!.. Неужели можно подойти и потрогать колонну Исаакия?..

Да что там — Исаакия! Теперь же всё менялось с Вегой! Головокружительно! Теперь, если действительно... если серьёзно... — ведь это не фантазия больше! Он сможет жить здесь, с ней!

Жить с Вегой?! Жить! Вместе! Да грудь разорвёт, если только это представить!..

А как она обрадуется, если сейчас поехать и всё это ей рассказать! Почему же не рассказать? Почему не поехать? Кому ж во всём свете рассказать, если не ей? Кому ещё интересна его свобода?

А он уже был у трамвайной остановки. И надо было выбирать номер: на вокзал? Или к Веге? И надо было спешить, потому что она ж уйдёт. Уже не так высоко стояло солнце.

И опять он волновался. И тянуло его опять к Веге! И ничего не осталось от верных доводов, собранных по дороге в комендатуру.

Почему, как виноватый, как загрязнённый, он должен её избегать? Ведь что-то же думала она, когда его лечила?

Ведь молчала, ведь уходила за кадр, когда он спорил, когда просил остановить это лечение?

Почему же не поехать? Разве они не могут — подняться? не могут быть выше? Неужели они — не люди? Уж Вега-то, Вега во всяком случае!

И уже он продирался на посадку. Сколько набралось людей на остановке — и все хлынули именно на этот номер! Всем нужно было сюда! А у Олега в одной руке была шинель, в другой вещмешок, нельзя было за поручни ухватиться — и так его стиснуло, завертело и втокнуло сперва на площадку, потом и в вагон.

Со всех сторон люто припираемый, он очутился позади двух девушек, по виду студенток. Беленькая и чёрненькая, они так оказались к нему близки, что, наверно, чувствовали, как он дышит. Его разведенные руки зажало отдельно каждую, так что не только нельзя было пошевелить ни той, ни другой. Левой рукой с шинелью он как будто приобнимал чёрненькую. А к беленькой его прижало всем телом, от колен и до подбородка он чувствовал её всю, и она тоже не могла его не чувствовать. Самая большая страсть не могла бы так их сплотить, как эта толпа. Её шея, уши, колечки волос были придвинуты к нему за всякий мыслимый предел. Через старенькое своё военное суконце он принимал её тепло, и мягкость, и молодость. Чёрненькая продолжала ей что-то об институтских делах, беленькая перестала отвечать.

В Уш-Тереке трамваев не было. Так стискивали, бывало, только в воронках. Но там не всегда вперемешку с женщинами. Это ощущение — не подтверждалось ему, не подкреплялось десятилетиями — и тем перворождённой оно было сейчас!

Но оно не было счастьем. Оно было и горем. Был в этом ощущении порог, перейти который он не мог даже внушением.

Ну да ведь предупреждали ж его: останется *либидо*. И только оно!..

Так проехали около двух остановок. А потом хоть и тесно, но уже не столько жали сзади, и уже мог бы Олег немножечко и отклониться. Но он не сделал так: у него не стало воли оторваться и прекратить это блаженство-мучение. В эту минуту, сейчас, он ничего большего не хотел, только ещё, ещё оставаться так. Хотя бы трамвай пошёл теперь в Старый город! хотя б, обезумев, он и до ночи лязгал и кружился без остановок! хотя б он отважился на кругосветное путешествие! — Олег не имел воли оторваться первый! Растягивая это счастье, выше которого он теперь не был достоин, Олег благодарно запоминал колечки на затылке (а лица её он так и не повидал).

Оторвалась белянская и стала двигаться вперёд.

И, выпрямляясь с ослабевших, подогнутых колен, понял Олег, что едет к Веге — на муку и на обман.

Он едет требовать от неё больше, чем от себя.

Они так возвышенно договорились, что духовное общение дороже всякого иного. Но этот высокий мост составив из рук своих и её, вот видит он уже, что его собственные подгибаются. Он едет к ней бодро уверять в одном, а думать измученно другое. А когда она уйдёт и он останется в её комнате один, ведь он будет скулить над её одеждой, над каждой мелочью.

Нет, надо быть мудрее девчёлки. Надо ехать на вокзал.

И не вперёд, не мимо тех студенток, он пробился к задней площадке и спрыгнул, кем-то обруганный.

А близ трамвайной остановки опять продавали фиалки...

Солнце уже склонялось. Олег надел шинель и поехал на вокзал. В этом номере уже не теснились так.

Потолкавшись на вокзальной площади, спрашивая и получая ответы неверные, наконец он достиг того павильона, вроде крытого рынка, где продавали билеты на дальние поезда.

Было четыре кассовых окошечка, и к каждому стояло человек по сто пятьдесят — по двести. А ведь кто-то ещё и отлучился.

Вот эту картину — многосуточных вокзальных очередей — Олег узнал, как будто не покидал. Многое изменилось в мире — другие моды, другие фонари, другая манера у молодёжи, но *это* было всё такое же, сколько он помнил себя: в сорок шестом году так было — и в тридцать девятом так было, и так же в тридцать четвёртом, и в тридцатом то ж. Ещё витрины, ломящиеся от продуктов,

он мог вспомнить по НЭПу, но доступных вокзальных касс и вообразить даже не мог: не знали тягости уехать только те, у кого были особые книжечки или особые справки на случай.

Сейчас-то у него справка была, хоть и не очень видная, но подходящая.

Было душно, и он обливался, но ещё вытянул из мешка тесную меховую шапку и насадил её на голову, как на колодку для растяга. Вещмешок он нацепил на одно плечо. Лицу своему внушил, что двух недель не прошло, как он лежал на операционном столе под ножом Льва Леонидовича, — и в этом изнурённом сознании, с меркнувшим взглядом, потащился между хвостов — туда, к окошку поближе.

Там и другие такие любители были, но не лезли к окошку и не дрались, потому что стоял милиционер.

Здесь, на виду, Олег слабым движением вытащил справку из косого кармана под полой и доверчиво протянул товарищу милиционеру.

Милиционер — молодцеватый усатый узбек, похожий на молодого генерала, — прочёл важно и объявил головным в очереди:

— Вот этого — поставим. С операцией.

И указал ему стать третьим.

Изнеможённо взглянув на новых товарищей по очереди, Олег даже не пытался втесниться, стоял сбоку, с опущенной головой. Толстый пожилой узбек под бронзовой сенью коричневой бархатной шапки с полями, вроде блюда, сам его подтолкнул в рядок.

Около кассы близко стоять весело: видны пальцы кассирши, выбрасываемые билеты, потные деньги, зажатые в руке пассажира, уже достанные с избытком из глухого кармана, из зашитого пояса, слышны робкие просьбы пассажира, неумолимые отказы кассирши — видно, что дело движется, и не медленно.

А вот подошло и Олегу наклониться туда.

— Мне, пожалуйста, один общий жёсткий до Хан-Тау.

— До куда? — переспросила кассирша.

— До Хан-Тау.

— Что-то не знаю, — пожалела она плечами и стала листать огромную книгу-справочник.

— Что ж ты, милок, общий берёшь? — пожалела женщина сзади. — После операции — и общий? Полезешь наверх — швы разойдутся. Ты бы палацкарт брал!

— Денег нет, — вздохнул Олег.

Это была правда.

— Нет такой станции! — крикнула кассирша, захлопывая справочник. — До другой берите!

— Ну как же нет, — слабо улыбнулся Олег. — Она уже год действует, я сам с неё уезжал. Если б я знал — я б вам билет сохранил.

— Ничего не знаю! Раз в справочнике нет — значит, станции нет!

— Но поезда-то останавливаются! — более горячо, чем мог бы операционный, втягивался спорить Олег. — Там-то касса есть!

— Гражданин, не берёте — проходите! Следующий!

— Правильно, чего время отнимает? — рассудительно гудели сади. — Бери, куда дают!.. С операции, а ещё ковыряется.

Ух, как бы Олег сейчас мог поспорить! Ух, как бы он сейчас пошёл вокруг, требуя начальника пассажирской службы и начальника вокзала! Ух, как любил он прошибать эти лбы и доказывать справедливость — хоть эту маленькую, нищенскую, а всё же справедливость! Хоть в этом отстаивании ощутить себя личностью.

Но железен был закон спроса и предложения, железен закон планирования перевозок! Та добрая женщина позади, что уговаривала его в плацкартный, уже совала свои деньги мимо его плеча. Тот милиционер, который только что вставил его в очередь, уже руку поднимал отвести его в сторону.

— От той мне тридцать километров добираться, а от другой семьдесят, — ещё жаловался Олег в окошечко, но это была уже, по-лагерному, жалоба зелёного фраера. Он сам спешил согласиться: — Хорошо, давайте до станции Чу.

А эта станция и наизусть была известна кассирше, и цена известна, и билет ещё был, — и надо было только радоваться. Тут же, не отходя далеко, проверил Олег дырчатую пробивку на свет, вагон проверил, цену проверил, сдачу проверил — и пошёл медленно.

А чем дальше от тех, кто знал его как операционного, — уже распрямляясь и сняв убогую шапку, сунув её в мешок опять. Оставалось до поезда два часа — и приятно было их провести с билетом в кармане. Можно было теперь пировать: мороженого поесть, которого в Уш-Тереке уже не будет, квасу выпить (не будет и его). И хлеба-черняшки купить на дорогу. Сахару не забыть. Терпеливо налить кипятка в бутылку (большое дело — своя вода с собой!). А селёдки — ни за что не брать. О, насколько же это вольготнее, чем ехать арестантским этапом! — не будет обыска при посадке, не повезут воронком, не посадят на землю в обступе конвоиров, и от жажды не мучиться двое суток! Да ещё, если удастся, захватить

третью, багажную, полку, там растянуться во всю длину — ведь не на двоих, не на троих она будет — на одного! Лежать — и болей от опухоли не слышать. Да ведь это же счастье! Он счастливый человек! На что он может жаловаться?..

Ещё и комендант что-то сболтнул про амнистию...

Пришло долгожданное счастье жизни, пришло! — а Олег его почему-то не узнавал.

В конце концов, ведь есть же «Лёва» и на «ты». И ещё другой кто-нибудь. А нет — сколько возможностей!.. Появляется взрывом один человек в жизни другого.

Утреннюю луну сегодня когда он увидел — он верил! Но луна-то была — ущербная...

Теперь надо было выйти на перрон — гораздо раньше выйти, чем будет посадка на его поезд: когда будут пустой их состав подавать, уже надо будет заметить вагон и бежать к нему, захватывать очередь. Олег пошёл посмотрел расписание. Был поезд в другую сторону — семьдесят пятый, на который уже должна была идти посадка. Тогда, выработав в себе запышку и быстро проталкиваясь перед дверью, он спрашивал у кого попало, и у перронного контролёра тоже (билет же вытарчивал из его пальцев):

— Семьдесят пятый — уже?.. семьдесят пятый — уже?..

Очень он был испуган опоздать на семьдесят пятый, и контролёр, не проверяя билета, подтолкнул его по огрузневшему, распухшему заспинному мешку.

По перрону же Олег стал спокойно гулять, потом остановился, сбросил мешок на каменный выступ. Он вспомнил другой такой смешной случай — в Сталинграде, в тридцать девятом году, в последние вольные деньки Олега: уже после договора с Риббентропом, но ещё до речи Молотова и до указа о мобилизации девятнадцатилетних. Они с другом в то лето спускались по Волге на лодке, в Сталинграде лодку продали, и надо было на поезд — возвращаться к занятиям. А порядочно у них было вещей от лодочной езды, еле тянули в четырёх руках, да ещё в каком-то глухом сельмаге приятель Олега купил репродуктор — в Ленинграде в то время их нельзя было купить. Репродуктор был большой открытый раструб без футляра — и друг боялся его помять при посадке. Они вошли в сталинградский вокзал — и сразу оказались в конце густой очереди, занявшей весь зал, заставившей его деревянными чемоданами, мешками, сундучками, — и пробиться прежде времени было невозможно, и грозило им на две ночи остаться без лежачих мест.

А на перрон тогда свирепо не пускали. И Олега осенило: «Уж дотащишь как-нибудь все вещи до вагона, хоть самый последний?» Он взял репродуктор и лёгким шагом пошёл к служебному запертому проходу. Через стекло важно помаhal дежурной репродуктором. Та отперла. «Ещё вот этот поставлю — и всё», — сказал Олег. Женщина кивнула понимающе, будто он тут целый день таскался с репродукторами. Подали поезд — он прежде посадки первый вскочил и захватил две багажных полки.

Ничего не изменилось за шестнадцать лет.

Олег похаживал по перрону и видел тут других таких хитрых, как он: тоже прошли не к своему поезду и здесь с вещами ждали. Немало их было, но всё же перрон был куда свободней, чем вокзал и привокзальные скверы. Тут безопасно гуляли и с семьдесят пятого люди свободные, одетые хорошо, у которых места были нумерованы, и никто без них захватить не мог. Были женщины с подаренными букетами, мужчины с пивными бутылками, кто-то кого-то фотографировал, — жизнь недоступная и почти непонятная. В тёплом весеннем вечере этот долгий перрон под навесом напоминал что-то южное из детских лет — может быть, Минеральные Воды.

Тут Олег заметил, что на перрон выходит почтовое отделение и даже прямо на перроне стоит четырёхскатный столик для писем.

И — заскребло его. Ведь это надо. И лучше сейчас, пока не раздробилось, не затёрлось.

Он втокнулся с мешком внутрь, купил конверт, — нет, два конверта с двумя листами бумаги, — нет, ещё и открытку, — и вытолкнулся опять на перрон. Мешок с утюгом и буханками он поставил между ног, утвердился за покатым столиком и начал с самого лёгкого — с открытки:

«Здорово, Дёмка!

Ну, был в зоопарке! Скажу тебе: это вещь! Такого — никогда не видел. Пойди обязательно. Белые медведи, представляешь? Крокодилы, тигры, львы. Клади на осмотр целый день, там и пирожки внутри продают. Не пропусти винторогого козла. Не торопись постой около него — и подумай. Ещё если увидишь антилопу Нильгау — тоже... Обезьян много, посмеёшься. Но одной нет: макаке-резус злой человек насыпал в глаза табак — просто так, ни за чем. И она ослепла.

Скоро поезд, спешу.

Выздоровливай — и будь человек! На тебя — надеюсь!

Алексею Филиппычу пожелай от меня доброго! Я надеюсь — он выздоровеет.

Жму руку!

Олег».

Писалось легко, только ручка очень мазала, перья были перекосбочены или испорчены, взрывали бумагу, упирались в неё как лопата, и в чернильнице хранились лохмотья, так что при всей обереге страшным на вид выходило письмо:

«Пчёлка Зоенька!

Я благодарен вам, что вы разрешили мне прикоснуться губами — к жизни настоящей. Без этих нескольких вечеров я был бы совсем, ну совсем какой-то обокраденный.

Вы были благоразумнее меня — зато теперь я могу уехать без угрызений. Вы приглашали меня зайти — а я не зашёл. Спасибо! Но я подумал: останемся с тем, что было, не будем портить. Я с благодарностью навсегда запомню всё ваше.

Искренне, честно желаю вам — самого счастливого замужества!

Олег».

Это как во внутренней тюрьме: в дни заявления давали вот такую же мерзость в чернильнице, перо вроде этого, а бумага — меньше открытки, и чернила сильно плывут, и насквозь проступают. Пиши кому хочешь, о чём хочешь.

Олег перече́л, сложил, вложил, хотел заклеить (с детства помнил он детективный роман, где всё начиналось с путаницы конвертов) — но не тут-то было! Лишь утемнение на сколах конверта обозначало то место, где по ГОСТу подразумевался клей, а не было его, конечно.

И, обтерев из трёх ручек не самое плохое перо, Олег задумался над последним письмом. То он твёрдо стоял, даже улыбался. А сейчас всё зыбилось. Он уверен был, что напишет «Вера Корнильевна», а написал:

«Милая Вега!

(Я всё время порывался вас так назвать, ну — хоть сейчас.)

Можно мне написать вам совсем откровенно — так, как мы не говорили с вами вслух, но — ведь думали? Ведь это не просто больной — тот, кому врач предлагает свою комнату и постель?

Я несколько раз к вам шёл сегодня! Один раз — дошёл. Я шёл к вам и волновался, как в шестнадцать лет, как, может быть, уже неприлично с моей биографией. Я волновался, стеснялся, радовался, боялся. Ведь это надо столько лет исколотиться, чтобы понять: Бог посылает!

Но, Вега! Если б я вас застал, могло бы начаться что-то неверное между нами, что-то насильно задуманное! Я ходил потом и понял: хорошо, что я вас не застал. Всё, что мучились вы до сих пор и что мучился до сих пор я, — это по крайней мере можно назвать, можно признать! Но то, что началось бы у нас с вами, — в этом нельзя было бы даже сознаться никому! Вы, я, и между нами это — какой-то серый, дохлый, но всё растущий змей.

Я — старше вас, не так по годам, как по жизни. Так поверьте мне: вы — правы, вы во всём, во всём, во всём правы! — в вашем прошлом, в вашем сегодняшнем, но только будущую себя угадать вам не дано. Можете не соглашаться, но я предсказываю: ещё прежде, чем вы доплывёте до равнодушной старости, вы благословите этот день, когда не разделили моей судьбы. (Я не о ссылке совсем говорю — о ней даже слух, что кончится.) Вы полжизни своей закололи, как ягнёнка, — пощадите вторую!

Сейчас, когда я всё равно уезжаю (а если кончится ссылка, то проверяться и дальше лечиться я буду не у вас, значит — мы прощаемся), я открою вам: и тогда, когда мы говорили о самом духовном, и я честно тоже так думал и верил, мне всё время, всё время хотелось — вскинуть вас на руки и в губы целовать!

Вот и разберись.

И сейчас я без разрешения — целую их».

То же было и на втором конверте: отемнённая полоска, совсем не клейкая. Всегда Олег почему-то думал, что это — не случайно, это — чтоб цензуре легче работать.

А за спиной его — хо-го! — пропала вся предусмотрительность и хитрость — уже подавали состав и бежали люди!

Он схватил мешок, схватил конверты, втиснулся в почту:

— Где клей? Девушка! Клей есть у вас? Клей!

— Потому что уносят! — громко объяснила девушка. Посмотрела на него, нерешительно выставила баночку: — Вот тут, при мне, клейте! Не отходя.

В чёрном густом клее маленькая ученическая кисточка по всей длине давно обросла засохшими и свежими комьями клея. Почти

не за что было ухватить, и мазать надо было — всем телом ручки, как пилой вода по конвертной укосине. Потом пальцами снять лишнее. Заклеить. Ещё снять пальцем избыточный, выдавленный.

А люди — бежали.

Теперь: клей — девушке, мешок — в руки (он между ногами всё время, чтоб не упёрли), письма — в ящик, и самому бегом!

Как будто и доходяга, как будто и сил нет, а бегом — так бегом!

Наперерез тем, кто, сволакивая тяжёлые вещи с перрона на пути и потом взволакивая на вторую платформу, бежал из главных выпускных ворот, — Олег донёсся до своего вагона и стал примерно двадцатым. Ну, к ставшим ещё подбегали свои, ну пусть будет тридцатым. Второй полки не будет, но ему и не надо по длинным ногам. А багажной должно бы хватить.

Все везли какие-то однообразные корзины, и вёдра даже — не с первой ли зеленью? Не в ту ли Караганду, как рассказывал Чалый, исправлять ошибки снабжения?

Седой старичок-кондуктор кричал, чтобы стали вдоль вагона, чтоб не лезли, что всем место будет. Но это последнее у него не так уже уверенно было, а хвост позади Олега рос. И сразу же заметил Олег движение, которого опасался: движение прорваться поперёд очереди. Первым таким лез какой-то бесноватый кривляка, которого незнающий человек принял бы за психопата, и пусть себе идёт без очереди, но Олег за этим психопатом сразу узнал *полуцвета* с этой обычной для них манерой пугать. А вслед за крикуном подпирали и простые тихие: этому можно, почему не нам?

Конечно, и Олег мог бы так же полезть, и была б его верная полка, но насточертело это за прошлые годы, хотелось по чести, по порядку, как и кондуктору-старичку.

Старичок всё-таки не пускал бесноватого, а тот уже толкал его в грудь и так запросто матерился, как будто это были самые обычные слова речи. И в очереди сочувственно загудели:

— Да пусть идёт! Больной человек!

Тогда Олег сорвался с места, в несколько больших шагов дошёл до бесноватого и в самое ухо, не щадя перепонки, заорал ему:

— Э-э-эй! Я тоже — *оттуда*!

Бесноватый откинулся, ухо потёр:

— Откуда?

Олег знал, что слаб сейчас драться, что это всё на последних силах, но на всякий случай обе длинных руки у него были свободны,

а у бесноватого одна с корзиной. И, нависнув над бесноватым, он теперь, наоборот, совсем негромко отмерил:

— *Где девяносто девять плачут, один смеётся.*

Очередь не поняла, чем излечен был бесноватый, но видели, как он остыл, моргнул и сказал длинному в шинели:

— Да я ничего не говорю, я не против, садись хоть ты.

Но Олег остался стоять рядом с бесноватым и с кондуктором. На худой-то конец, отсюда и он полезет. Однако подпиравшие стали расходиться по своим местам.

— Пожалуйста! — укорял бесноватый. — Подождём!

И подходили с корзинами, с вёдрами. Под мешочной накрывой иногда ясно была видна крупная продолговатая лилово-розовая редиска. Из трёх двое предъявляли билет до Караганды. Вот для кого Олег очередь установил! Садись и нормальные пассажиры. Женщина какая-то приличная, в синем жакете. Как сел Олег — так за ним уверенно вошёл и бесноватый.

Быстро идя по вагону, Олег заметил небоковую багажную полку, ещё почти свободную.

— Так, — объявил он. — Корзинку эту сейчас передвинем.

— Куда? чего? — всполошился какой-то хромой, но здоровый.

— Того! — отозвался Костоглотов уже сверху. — Людям ложиться негде.

Полку он освоил быстро: вещмешок пока сунул в головы, вытащив из него уютю; шинель снял, расстелил, и гимнастёрку сбросил — тут, наверху, всё можно было. И лёг остывать. Ноги его в сапогах сорок четвёртого размера нависали над проходом на полголене, но так высоко не мешали никому.

Внизу тоже разбирались, остывали, знакомились.

Тот хромой, общительный, сказал, что раньше ветфельдшером был.

— И чего ж бросил? — удивились.

— Да что ты! — чем за каждую овечку на скамью садиться, отчего подохла, я лучше буду инвалид, да овощи сведу! — громко разъяснял хромой.

— Да чего ж! — сказала та женщина в синем жакете. — Это при Берии за овощи, за фрукты ловили. А сейчас только за промтовары ловят.

Солнце было уже, наверно, последнее, да его и заслонял вокзал. Внизу купе ещё было светловато, а наверху тут — сумерки. Купированные и мягкие сейчас гуляли по платформе, а тут сидели на

занятом, вещи устраивали. И Олег вытянулся во всю длину. Хорошо! С поджатыми ногами очень плохо двое суток ехать в арестантском вагоне. Девятнадцати человекам в таком купе очень плохо ехать. Двадцати трём ещё хуже.

Другие не дожили. А он дожил. И вот от рака не умер. Вот и ссылка уже колется, как яичная скорлупа.

Он вспомнил совет коменданта жениться. Все будут скоро советовать.

Хорошо лежать. Хорошо.

Только когда дрогнул и тронулся поезд — там, где сердце, или там, где душа, — где-то в главном месте груди — его схватило — и потянуло к оставляемому. И он перекрутился, навалился ничком на шинель, ткнулся лицом зажмуренным в угловатый мешок с буханками.

Поезд шёл — и сапоги Костоглотова, как мёртвые, побалтывались над проходом носками вниз.

1963—1967

КОММЕНТАРИИ

После двух лет на фронте и восьми лет тюрем и лагерей достались Александру Солженицыну вечная ссылка и смертельная болезнь.

Ещё в самом начале лагерного срока он послал прошение в Верховный Совет заменить лагерь пожизненной ссылкой в какой угодно глуши, не догадываясь, что уж она-то ему обеспечена — только не вместо лагеря, а после него.

По обвинению в антисоветской агитации (в переписке с другом) и попытке создать антисоветскую организацию (на пару с тем же другом) Особое совещание НКВД СССР 7 июля 1945 г. (в самый день «победной» амнистии, коснувшейся по преимуществу уголовников, а дезертиров поголовно) назначило недавнему командиру батареи звуковой разведки, капитану-артиллеристу, награждённому боевыми орденами, восемь лет заключения в исправительно-трудовых лагерях. Ссылка никак не упоминалась. Естественно, не упоминались и не могли упоминаться Особые лагеря, потому что были созданы взамен каторги, в частности для членов «антисоветских организаций и групп» (а два человека, мечтавшие об организации, для следствия заведомо составляли группу), только в 1948 г., через три года после ареста А. С. Но заканчивать срок ему пришлось именно в Особом лагере в Экибастузе, а всех, кто сидел в Особых лагерях, предписывалось вместо освобождения отправлять в ссылку под надзор местных служб Госбезопасности.

Срок наказания, определённый для А. С., истёк 9 февраля 1953 г. Но его несколько дней передержали в лагере, затем из Экибастуза кружным путем — через Павлодар, Омск и Новосибирск — почти месяц везли этапом в ссылку на юг Казахстана. В Джамбуле, в областной комендатуре, дали расписаться под уведомлением о том, что имярек направляется в Кок-Терекский район *навечно*, а в случае самовольного отъезда за его пределы будет осуждён по Указу Президиума Верховного Совета, предусматривающему двадцать лет каторжных работ. Советская юриспруденция гордилась тем, что не знает бессрочных наказаний. Но практика мало считалась с теорией.

3 марта этап наконец-то достиг цели — аула Кок-Терек, у края безжизненной пустыни Бетпак-Дала, где ссыльному предстояло жить и умереть. А на третий день глухо молчавшее проводное радио вдруг заговорило, чтобы известить о смерти Сталина. И отныне судьба самой политической ссылки оказалась в зависимости от исхода борьбы за власть между наследниками диктатора.

Перед самой войной А. С. закончил физико-математический факультет Ростовского университета и, прежде чем уйти в армию, успел, пусть и недолго, поработать в школе там же, на Дону, в посёлке Морозовском. И теперь, в ссылке, через одиннадцать с половиной лет, он первым делом попытался вернуться в школу. Но ни в районном отделе народного обра-

зования, ни в областном никто не хотел рисковать, принимая на педагогическую работу государственного преступника. И всё же нашёлся в Кок-Тереке человек, который, ссылаясь на бедственное положение в школе с преподаванием математики, добился назначения А. С. учителем алгебры, геометрии и физики в оба выпускных класса, да ещё за три недели до выпускных экзаменов, в самом конце апреля. Это был молодой завуч, казах Джохар Маринов, единственный на весь поселок учитель с университетским дипломом. И вчерашний зэк стал готовить детей к жизни на воле, сам оставаясь поднадзорным и невыездным.

Но, помимо общей со всеми ссыльными безнадёжной участи, на А. С. наваливается своя, отдельная беда. За год до конца лагерного срока, 12 февраля 1952 г., ему удалили вдруг пустившуюся в рост старую опухоль (семиному). Хирург-зэк, который взялся делать операцию, накануне ночью был уведён в тюрьму и затем на этап. А хирурга, который её сделал, отправили на этап через неделю. И пациент оказался предоставлен самому себе. Откуда ему было знать, что после такой операции необходим курс рентгеновского облучения, чтобы предотвратить образование метастазов. Да и не было ни специальных рентгеновских установок, ни профессионалов-рентгенологов в лагерной санчасти.

И через год с небольшим, вскоре по освобождении из лагеря, непонятная болезнь схватила ссыльного. «Еле держась, я вёл уроки; уже мало спал и плохо ел», — рассказывает А. С. в «Архипелаге ГУЛАГ»*. В районной больнице не смогли поставить диагноз, колебались между гастритом и язвой. Такой же ссыльный Николай Иванович Зубов, с которым А. С. и познакомился в больнице, но не как с медиком, а как зэк с зэкком, первый заподозрил, что это, по-видимому, проступили метастазы рака. Из Кок-Терека больного послали на обследование в областной город — Джамбул. И рентген показал опухоль. Врачи определили, что она громадная, твёрдая, малоподвижная, выросла из задней стенки брюшной полости; очевидно, метастазического характера. А из живота опухоль уже выпирала как крупный мужской кулак. «Операцию джамбульские хирурги признали невозможной и вообще никакого лечения не предложили, — писал А. С. 3 декабря 1953 г. Н. И. Зубову, — попросту вынесли мне смертный приговор без указания срока»**.

До конца декабря у себя в Кок-Тереке А. С. через силу продолжает занятия в школе, отложив до зимних каникул направление на консультацию к онкологам Ташкентского мединститута и справку, разрешающую отлучиться из пункта ссыльной приписки на время лечения. В декабре врачи, товарищи по ссылке, подтвердили, что жить 35-летнему учителю

* Александр Солженицын. Собрание сочинений: В 30 т. Т. 6. М.: Время, 2010. С. 387. Далее «Архипелаг ГУЛАГ» цитируется по этому изданию с указанием только тома и страницы.

** Российский государственный архив литературы и искусства (РГАЛИ), ф. 2511, оп. 2, д. 2, л. 1.

осталось не больше трёх недель. С этим уточнённым приговором он и отправился 31 декабря, под новый, 1954 год, в Ташкент умирать.

Полтора месяца, с 5 января до середины февраля, А. С. провёл в Тринадцатом (онкологическом) корпусе ташкентской клиники. Попади он в руки хирургов, те, возможно, настояли бы на повторной операции с неизвестным исходом. Но заведующая лучевым отделением Лидия Александровна Дунаева пришла к выводу, что спасти пациента может лишь предельная доза облучения, если только он её выдержит. У А. С. хватило сил принять 12 тысяч рентген, и болезнь отступила. Диагностика и назначения Лидии Александровны оправдались. А вела больного Ирина Емельяновна Мейке. Она лечила и вылечила.

Сам А. С. воспринял своё выздоровление не как излечение, а как исцеление: «При моей безнадежно запущенной остро-злокачественной опухоли это было Божье чудо, я никак иначе не понимал. Вся возвращённая мне жизнь с тех пор — не моя в полном смысле, она имеет вложенную цель»*. И, стало быть, «Раковый корпус» входит в состав этой цели.

Замысел повести «Раковый корпус» относится к лету 1954 г., когда А. С. долечивался в Ташкенте.

«Когда задумаешь — этот момент внезапен, — говорил он в телеинтервью с Н. А. Струве (март 1976). — Раз я шёл, выйдя из диспансера, шёл по Ташкенту, в комендатуру, и вдруг меня стукнуло, вот почти всё из “Ракового корпуса”. <...>

Ну, всё, что линия Костоглотова, всю её во всяком случае... А линию Русанова по разговору моих соседей, я ведь с ним не лежал, по разговору однопалатников. Я подумал: вот так это можно было бы написать. И это легко и лежало совершенно неподвижно, и могло и не написаться. А в 1963, когда “Ивана Денисовича” уж напечатали, я думал: что же можно такое написать и попробовать дать публично в “Новый мир”? И я так написал “Раковый корпус”. А мог и не написать, могло бы лежать**.

Ещё раньше, 8 декабря 1968 г., А. С. записал в «Дневнике Р-17», сопровождавшем работу над главной вещью писателя — «Красным Колесом»:

«Сюда не относится, но вспомнилось сегодня, как зарождался “Раковый корпус”. Для неглавного произведения жизни это, вероятно, характерно: случайные звенья, которые могут и не соединиться.

Сперва — чей-то в диспансере рассказ о большом прокуроре, — лежал тут и брзжал (“нас население не поддерживает”) — чисто как благонамеренный в тюремной камере. Я его и не видел никогда. Ещё и о сыне его, как он ездил на инспекцию. У меня заложилось: “Два рака”, такой мог бы быть рассказ. Записал и в список, и много лет так стояло: “Два рака”.

* А. Солженицын. Бодался телёнок с дубом: Очерки литературной жизни. М.: Согласие, 1996. С. 11.

** Александр Солженицын. Публицистика: В 3 т. Т. 2. Ярославль: Верхне-Волжское кн. изд-во, 1996. С. 425.

Потом — печально-радостное слонянье по Ташкенту в день выписки (1954), и именно на той улице к комендатуре — пронзительная мысль: вот была бы повесть о любви! — почти новый поворот. Заложилось и это. <...>

Лишь через 8—9 лет, уже перед появлением “Ивана Денисовича”, оба сюжета соединились — и родился “Раковый корпус”. Я начал его в январе 1963, но он мог и не состояться, вдруг показался малозначительным, на одной линии с “Для пользы дела”, я переколебался и написал “ДПД”, а “РК” совсем забросил.

Потом как-то выделилась “Правая кисть”.

Надо было создаться отчаянной ситуации после отнятия архива, чтобы в 1966 г. я просто *вынужден* был из тактических соображений, чисто из тактических: сесть за “РК”, сделать открытую вещь, и даже (с поспеху) в два эшелона»*.

Итак, за «Раковый корпус» А. С. принялся в январе 1963 г. После публикации рассказа «Один день Ивана Денисовича» («Новый мир». 1962. № 11) и «двух рассказов» — «Случай на станции Кочетовка» (в журнале — Кречетовка) и «Матрёнин двор» (Там же. 1963. № 1) А. С. стал двигать сразу «четыре больших вещи». Собирал материалы к «Архипелагу ГУЛАГу» и «Красному Колесу», выцеживал из «Круга первого» главы «для неожиданной когда-нибудь публикации» и «начал “Раковый корпус”»**.

В начале марта 1963 г. А. С. обратился в Ташкент к заведующей отделением онкодиспансера Лидии Александровне Дунаевой (в повести её биографией и чертами наделена Людмила Афанасьевна Донцова) и своему лечащему врачу Ирине Емельяновне Мейке (на неё ориентирована Вера Корнильевна Гангарт) с просьбой подробно рассказать о себе и ответить на комплекс вопросов из области медицины. В ответ между 13 и 16 марта Ирина Емельяновна написала главным образом о своей наставнице Л. А. Дунаевой, которая в те дни обследовалась в Москве с подозрением на опухоль в желудке. 28 марта А. С. повторил просьбу: «Я понимаю, что Вам, может быть, не до того, но очень прошу Вас выделить время, совершить такой труд и помочь мне обстоятельно написать о себе, может быть, даже не одно письмо, а несколько. Мне хочется, чтобы Вы или такой же человек, похожий на Вас, по Вашему желанию (можно ближе или дальше), ходил бы по моей девятой палате — и улыбался Вашей приветливой улыбкой. Мне для этого надо знать всё порядочно, а я ведь ничего не знаю. Если бы Вы могли уделить внимание и прислать вот такую биографию»***. Написать о себе Ирина Емельяновна решила не раньше осени, о чём можно судить по содержанию письма: «Сейчас у нас тепло. Снега нет.

* «Дневник Р-17» будет напечатан в т. 17 настоящего Собрания сочинений.

** А. Солженицын. Бодался теленок с дубом. С. 87.

*** «Правда Северо-Запада» (Архангельск). 10 декабря 2003.

Рынки — со свежими фруктами)*. Причиной многомесячных колебаний стала давняя семейная трагедия: «Был брат-инженер. Пострадал от эпохи — расстрелян в 1938 г. и посмертно реабилитирован. Это сообщили 65-летней старухе-матери, вызвав её в органы. Мы даже не знали, что с ним случилось такое. Знали, что посажен, и всё. Всё это убило мать! <...> Случившееся угнетало всю нашу семью. <...> Свою сознат<ельную> жизнь я жила угнетённая этим обстоятельством»**. Всё это А. С. узнал слишком поздно, и личная история Веры Гангарт не совпадает с личной историей И. Е. Мейке.

Л. А. Дунаева ответила А. С. тремя письмами (первое датировано 20 марта, третье — 30 сентября 1963), тщательно заполнив обширный вопросник, составленный писателем.

В апреле — мае 1963 г. А. С. пишет для «Нового мира» А. Т. Твардовского рассказ «Для пользы дела». Отправив рукопись в редакцию, возвращается к «Раковому корпусу».

29 октября 1963 г. «Новый мир» заключил договор с А. С. на повесть в десять листов. В тот же день член редколлегии В. Я. Лакшин записал в дневнике, что в редакцию «приезжал Солженицын»: «...к следующей осени обещает кончить для нас <...> повесть “Раковый корпус”. Речь идёт о ташкентской больнице, где его спасли. <...>

О повести “Раковый корпус” А. И. сказал, что не предвидит трудностей для её появления в печати. Возник вопрос, можно ли объявить её в проспекте? Твардовский и все мы советовали переменить, пока хотя бы усложно, название. “Больные и врачи”, например. Солженицын это отверг.

Потом в пустом кабинете Марьямова (тоже член редколлегии «Нового мира». — В. Р.) мы говорили с А. И. наедине, и он объяснил мне: ему не хочется, чтобы, пока он не будет появляться перед читателями, его считали автором повести “Больные и врачи”. В этом названии есть нечто заведомо нейтральное, и может даже почудиться отступление, заранее обдуманное равновесие. Вот если бы одни “Больные”... Об этом ещё можно бы подумать. <...>

Я предложил Солженицыну полечить его новейшими способами из моего друга В. Г. (Валентина Ивановича Говалло, доктора медицинских наук. — В. Р.). Он ответил, что сейчас хорошо себя чувствует, практически здоров и не хочет экспериментов. Впрочем, просил за своего приятеля — геолога, у которого запущенный рак. (Этот человек — герой его будущей повести — лежал с Солженицыным.) Я обещал узнать, сможет ли В. Г. помочь ему. Вечером мы созвонились по телефону»***.

В письме Лакшину 29 декабря 1963 г. А. С. сообщил: «Никакого недоразумения с бластофагом (онкологом, буквально: пожирателем опу-

* РГАЛИ, ф. 2511, оп. 1, д. 90, л. 3, об.

** Там же, л. 5.

*** Владимир Лакшин. «Новый мир» во времена Хрущёва: Дневник и попутное. 1953—1964. М.: Кн. палата, 1991. С. 164—165.

холей. — В. Р.) не произошло, я дал адрес Вашего московского приятеля своему подопечному»*.

О попытках переименовать «Раковый корпус» в редакции «Нового мира» рассказывает и А. С.:

«Тем временем нужно было им печатать проспект — что пойдёт в будущем году. Я предложил: повесть “Раковый корпус”, уже пишу. Так название не подошло! — во-первых, символом пахнет; но даже и без символа — “само по себе страшно, не может *пройти*”.

Со своей решительностью переименовывать всё, приносимое в “Новый мир”, Твардовский сразу определил: “Больные и врачи”. Печатаем в проспекте.

Манная каша, размазанная по тарелке! Больные и врачи!.. Я отказался. Верно найденное название книги, даже рассказа, — никак не случайно, оно есть — часть души и сути, оно сроднено, и сменить название — уже значит ранить вещь. <...>

Не столкнулись, и “Раковый корпус” не попал в обещания журнала на 1964>**.

В беседе со студентами-славистами в Цюрихском университете 20 февраля 1975 г. А. С. добавил: «Когда я принёс “Раковый корпус”, Твардовский замахал руками: “Нет, нет! это невозможно, меняем! «Корпус в конце аллеи»?.. а с раком напечатать нельзя»***.

В конце ноября 1963 г., посреди работы над повестью «Раковый корпус», А. С. вернулся к рассказу «Правая кисть», написанному ещё в 1960 г., но местом и временем действия связанному с «Корпусом».

Загодя А. С. собрался съездить в ташкентскую клинику, где его вылечили. О командировке на январь или февраль 1964 г. говорил в редакции «Нового мира». Отправился в Ташкент 17 марта.

Цельми днями сидел в кабинетах Дунаевой и Мейке, вслушивался, присматривался, расспрашивал, ходил за хирургом Анатолием Матусовичем Статниковым (в повести — Лев Леонидович) по больничным палатам, записывал.

Н. А. Решетовская рассказывает:

«Вечером мы в гостях у Лидии Александровны Дунаевой. Туда же пришла Ирина Емельяновна Мейке с мужем. Некрасивая, но подвижная, энергичная, очень женственная, Ирина Емельяновна была лечащим врачом Александра Исаевича. Она ничуть не похожа на Вегу из “Ракового корпуса”, лечившую Костоглотова. Лидия Александровна заведовала отделением. Она очень похожа на доктора Донцову»****.

* Там же. С. 182.

** А. Солженицын. Бодался теленок с дубом. С. 91.

*** Александр Солженицын. Публицистика. Т. 2. С. 225—226.

**** Наталья Решетовская. Александр Солженицын и читающая Россия. М.: Сов. Россия, 1990. С. 174.

И далее: «Посещаем зоопарк. Тот самый, который он (А. С. — В. Р.) так неподражаемо опишет в “Раковом корпусе”. В этом зоопарке по выходе из онкодиспансера гулял ссыльный Солженицын»*.

Из Ташкента А. С. и Решетовская съездили в Самарканд, побывали на развалинах мечети Биби-Ханым (о ней см. 2-е примечание к с. 251).

9 сентября 1964 г. Лакшин сделал запись в дневнике о разговоре с А. С.: «Спрашивал его о “Раковом корпусе”. “Это вещь острая, но она может быть напечатана, а я сейчас думаю о тех вещах, которые мне важно написать без надежды на печать”**».

Так повесть была отгеснена главным образом работой над «Архипелагом ГУЛАГом», основной корпус которого датирован апрелем 1958 — февралём 1967 г.

А 11 сентября 1965 г. при обыске у супругов В. Л. и С. Л. Теушей и у И. И. Зильберберга гэбисты захватили тайный архив писателя — роман «В круге первом», пьесы «Пир победителей» и «Республика труда», лагерные стихи и крохотки. Этот провал А. С. счёл «самой большой бедой за 47 лет <...> жизни»***. Казалось, весь замысел многолетнего подпольного писательства в надежде выговорить то, что не смогли рассказать миллионы погибших в тюрьмах и лагерях, «вся работа жизни потерпела крушение»****. А. С. ожидал немедленного ареста. Но пока власти не решились на прямые репрессии, а только использовали архив для дискредитации писателя.

«Определив весной 1966, что мне дана долгая отсрочка, — записал А. С., — я ещё понял, что нужна *открытая*, всем доступная вещь, которая пока объявит, что я жив, работаю, которая займёт в сознании общества тот объём, куда не прорвались конфискованные вещи.

Очень подходил к этой роли “Раковый корпус”, начатый тремя годами раньше. Взгля я его теперь продолжать».

ЧКГБ не ждало, не дремало, тактика требовала и мне с “Корпусом” поспешить — а как же можно спешить с писанием? Тут подвернулась мысль: пока выдать 1-ю часть без 2-й. Сама повесть не нуждалась в этом, но тактика гнала меня кнутом по ущелью»*****.

«Кончая 1-ю часть “Корпуса”, — продолжает автор, — я видел, конечно, что в печать её не возьмут. Главная установка моя была — Самиздат, потом присоветовали друзья давать её на обсуждение — в московскую секцию прозы, на Мосфильм, и так утвердить и легализовать бесконтрольное распространение её»*****

* Наталья Решетовская. Александр Солженицын и читающая Россия. М.: Сов. Россия, 1990. С. 176—177.

** Владимир Лакшин. «Новый мир» во времена Хрущева. С. 250.

*** А. Солженицын. Бодался телёнок с дубом. С. 119.

**** Там же.

***** Там же. С. 142.

***** Там же. С. 143.

Узнав от А. С., что он сам переписывает на машинке свои рукописи, Е. Ц. Чуковская предложила ему помощь в перепечатке. Согласившись, он открыткой от 4 мая 1966 г. сообщил, что работа будет готова во второй половине мая.

«В конце мая, — рассказывает Елена Цезаревна, — он привёз мне тетрадочку с первым вариантом первой части “Ракового корпуса”. Это была аккуратная толстая школьная тетрадка с полями. На полях цветными карандашами были размечены места, которые автор хотел выделить для себя. Почерк был особенный и чёткий»*.

Еще 2 марта 1966 г. А. С. написал сотрудникам Центрального государственного архива литературы и искусства:

«Может быть, этой весной мне удастся предложить желающим из Вас прорецензировать незаконченную мою повесть с тем, чтобы, собрав бескомпромиссные отзывы, я б её верней мог понять сам»**.

14 мая при встрече с сотрудницей Архива М. Г. Козловой А. С. сказал: «Вчера закончил “Раковый корпус” (16 печатных листов, часть 1-я)»***.

6 июня, после перепечатки на машинке 1-й части «Ракового корпуса», А. С. принял участие в читательской конференции в ЦГАЛИ, которую организовала Козлова. Автор прочитал две начальные главы повести и оставил машинопись архивистам, попросив, чтобы все, кто прочитает её, поделились своими впечатлениями. Обстоятельный отзыв, по настоянию коллеги Козловой — М. Г. Петровой, написал (к 1 июля 1966) сотрудник Института мировой литературы Е. Б. Тагер, работавший в то время над статьёй «Творчество позднего Толстого». На сопоставлении с Толстым исследователь и раскрыл своеобразие «Ракового корпуса»****. 4 июля Козлова вручила А. С. отзывы цгалийцев, присоединив отзыв Тагера.

Передавая полповести в «Новый мир», А. С. просил не затягивать с редакционным ответом. Обсуждение в журнале 1-й части «Корпуса» состоялось 18 июня 1966 г. «Мнения распались, даже резко, — рассказывает А. С. — Только умягчительная профессиональная манера выражаться затирала эту трещину. Можно сказать, что “молодая” часть редакции или “низовая” по служебному положению была энергично за печатание, а “старая” или “верховая” (Дементьев-Закс-Кондратович) столь же решительно против. Только что вступивший в редакцию очень искренний Виноградов

* Елена Чуковская. Александр Солженицын: От выступления против цензуры к свидетельству об Архипелаге ГУЛАГе // Между двумя юбилеями. 1998—2003: Писатели, критики, литературоведы о творчестве А. И. Солженицына: Альманах. М.: Русский путь, 2005. С. 361.

** РГАЛИ, ф. 2511, оп. 1, д. 80, л. 1.

*** Дневник М. Г. Козловой (рукопись).

**** См. Олег Клиг. «...к лучшему в себе, к лучшему себе...»: Попытка портрета Е. Б. Тагера с приложением его отзыва о «Раковом корпусе» и ответа А. И. Солженицына // «Вопросы литературы». 1991. Ноябрь — декабрь. С. 83—89.

сказал: “Если этого не печатать, то неизвестно, для чего мы существуем”. Берзер: “Неприкасаемый рак сделан законным объектом искусства”. Марьямов: “Наш нравственный долг — довести до читателя”. Лакшин: “Такого сборища положительных героев давно не встречал в нашей литературе. Держать эту повесть взаперти от читателя — такого греха на совесть не беру”. — Закс начал затирать и затуманивать ровное место: “Автор даёт себя захлёстывать эмоциям ненависти... Очень грубо введено толство... Избыток горячего материала, а тут ещё больная тема спецпереселенцев. *Что за этим стоит?*.. вещь очень незавершённая”. — Кондратович уверенно поддержал: “Нет завершённости!.. Разговор о ленинградской блокаде и другие пятнышки раздражённости”. — Дементьев начал ленивым тоном: „Конечно, очень хочется (ему-то!) напечатать повесть Солженицына... В смысле проявления сил художника уступает роману («В круте первом». — В. Р.)... <...> — ...Объективное письмо вдруг уступает место обнажённо-тенденциозному... — А дальше возбуждаясь и сердясь: — У Толстого, у Достоевского есть внутренняя концепция, ради которой вещь пишется, а здесь её нет, вещь не завершена в своих внутренних мотивах! <...> — “Подумайте, люди, как вы живёте”, — это мало. Нет цельности — и значит, печатать в таком виде нельзя. <...> — И всё больше сердясь: — Как так не было предусмотрительности с Ленинградом? Уж куда больше предусмотрительность — финскую границу отодвинули!”

<...> Дивный аргумент: границу финскую и то отодвинули! И я — бит, и в повести наклеветал. Я же не могу “внутреннюю концепцию” открыть до конца: “Так нападение на Финляндию и была агрессия!” Тут не в Дементьеве одном, дальше в разговоре и Твардовский меня прервёт:

— О *принципиальных* уступках с вашей стороны нет и речи: ведь вы же не против советской власти, *иначе бы мы с вами и разговаривать не стали*.

<...> Затаскали эту “советскую власть”, и даже в том никого из них не вразумишь, что *советской-то* власти с 1918 года нет.

В чём объединились все: осудили Авиету, и фельетонный стиль главы, и вообще все высказывания о советской литературе, какие только есть в повести: “им здесь не место”. <...> Здесь удивила меня общая немужественность (или забитость, или согбенность) “Нового мира”: по их же тяжёлой полосе 1954 года, когда Твардовский был снят за статью Померанцева “Об искренности”, я брал за них реванш, взглядом стороннего историка, а они все дружно во главе с Твардовским настаивали: не надо! Упомянуть “голубенькую обложку” — не надо! защищать нас — не надо! <...>

Итак, раскололись мнения “низовых” и “верховых”, надо ли мою повесть печатать, и камнем последним должно было лечь мнение Твардовского.

Каким же он бывал разным! — в разные дни, а то — в часы одного и того же дня. Выступил он — как художник, делал замечания и предло-

жения, далёкие от редакционных целей, а для кандидата ЦК и совсем невозможные:

— Искусство на свете существует не как орудие классовой борьбы. Как только оно знает, что оно орудие, оно уже не стреляет. Мы свободны в суждениях об этой вещи: мы же, как на том свете, рассуждаем — *пойдёт или не пойдёт*... Мы вас читаем не редакторским, а читательским глазом. Это счастливое состояние редакторской души: хочется успеть прочитать... Современность вещи в том, что разбуженное народное сознание предьявляет нравственный счёт... Не завершено? Произведения великие всегда несут черты незавершённости: “Воскресение”, “Бесы”, да где этого нет?.. Эту вещь мы хотим печатать. Если автор ещё над ней *поработает* — запустим её и будем стоять за неё *по силам и даже больше!*

Так он внезапно перевесил решение — за “младших” (они растрогали его своими горячими речами) и против своих заместителей (хотя, очевидно, обещал им иначе). <...>

Возражал я им всем дотошно, но лишь потому, что все их выступления успел хорошо записать, и вот они всё равно лежали передо мной на листе. Только одно местечко с подъёмом: каких уступок от меня хотят? Русановых миллионы, над ними не будет юридического суда, тем более должен быть суд литературы и общества. А без этого мне и литература не нужна, и писать не хочу.

Ни в бреде Русанова, ни в “анкетном хозяйстве”, ни в навыках “нового класса” я не собирался сдвинуться. А в остальном все часы этого обсуждения я заметил за собой незаинтересованность: как будто не о моей книге речь, и безразлично мне, что решат.

Ведь самиздатские батальоны уже шагали!.. А в печатание легальное я верить перестал. Но пока марш батальонов не донёсся до кабинета Твардовского, надо было пробовать. Тем более что 2-ю часть я предвидел ещё менее “проходимой”.

Нет, они не требовали от меня убирать анкетное хозяйство или черты нового класса, или комиссию по чистке, или ссылку народов. А уж ленинградскую блокаду мог я и разделить между Сталиным и Гитлером. Главу с Авиетой со вздохом пока отсечь. Бессмысленнее и всего досаднее было — менять название. Ни одно взамен не шло.

Всё ж я покорился, через неделю вернул в “Н. мир” подстриженную рукопись и в скобках на крайний случай указал Твардовскому запасное название (что-то вроде “Корпус в конце аллеи”, вот так всё и мазали). (Запасное название было «От среды до четверга». — В. Р.)

Ещё через неделю (19 июля. — В. Р.) состоялось новое редакционное обсуждение. Случайно ли, не случайно, но не было: ни Лакшина, считавшего бы грехом совести держать эту рукопись взаперти; ни Марьямова с нравственным долгом довести её до читателя. Зато противники все были тут. Сегодня они были очень сдержанны, не гневались нисколько: ведь они уже сломили Твардовскому хребет там, за сценой.

Теперь начал А. Т. — смущённо, двоясь. Сперва он неуверенно обвинял меня в “косметической” недостаточной правке (зато теперь Деметьев в очень спокойном тоне за меня *заступился* — о, лиса! — де, и правка моя весьма существенна, и вещь стала закончена... от отсечения главы!). Теперь требовал А. Т. совсем убрать и смягчённый разговор о ленинградской блокаде, и разговор об искренности. Однако тут же порывом отбросил все околичности и сказал:

— Внешних благоприятных обстоятельств для печатания сейчас нет. Невозможно и рискованно выступать с этой вещью, по крайней мере в этом году. — (Словно на будущий “юбилейный”, 50 лет Октября, станет легче!..) — Мы хотим иметь такую рукопись, где могли бы отставить любое её место, разделяя его. — (Требование очень отяготительное: автор нисколько не должен отличаться от редакции? должен заранее к ней примериться?) — А Солженицын, увы, — тот же, что и был...

И даже нависание над раковым корпусом лагерной темы, прошлый раз объявленное им вполне естественным, теперь было названо “литературным, как Гроссман писал о лагере по слухам”. (Я о лагере — и “по слухам”!) <...> В противоречие же со всем сказанным А. Т. объявил: редакция считает рукопись “в основном одобренной”, тотчас же подписывает договор на 25%, а если я буду нуждаться, то потом переписывает на 60%. “Пишите 2-ю часть! Подождём, посмотрим”.

Вторую-то часть я писал и без них. А пока предлагалось мне получить деньги за то, чтобы первую сунуть в гроб сейфа и уж конечно, по правилам “Нового мира” и по личным на меня претензиям А. Т., — никому ни строчки, никому ни слова, не дать “Раковому корпусу” жить, пока в один ненастный день не приедет полковник госбезопасности и не заберёт его к себе.

Такое решение редакции искренно меня облегчило: все исправления можно было тотчас уничтожить, вещь восстановить — как она уже отступивалась на машинках, передавалась из рук в руки. Отпадала забота: как выдержать новый взрыв А. Т., когда он узнает, что вещь *ходит*. Мы были свободны друг от друга!

Но всего этого я не объявил драматически, потому что лагерное воспитание не велит объявлять вперёд свои намерения, а сразу и молча действовать. И я только то сказал, что договора пока не подпишу, а рукопись заберу. <...>

Однако не прошло и месяца, как Твардовский через родственницу моей жены Веронику Туркину срочно *вызвал* меня. Меня, как всегда, “не нашли”, но 3 августа я оказался в Москве и узнал: донеслось до А. Т., что *ходит* мой “Раковый корпус”, и разгневан он выше всякой меры; только хочет убедиться, что не я, конечно, *пустил* его (разве бы я смел?!..) <...>

Я не поехал на вызов Твардовского, а написал ему так:

“...Если вы взволнованы, что повесть эта стала известна не только редакции «Нового мира», то... я должен был бы выразить удивление... Это

право всякого автора, и было бы странно, если бы вы намерились лишить меня его. К тому же, я не могу допустить, чтобы «Раковый корпус» повторил печальный путь романа: сперва неопределённо-долгое ожидание, просьбы к автору от редакции никому не давать его читать, затем роман потерян и для меня и для читателей, но распространяется по какому-то закрытому списку...»*

Забрав рукопись из «Нового мира», А. С. предложил её ленинградскому журналу «Звезда» и казахстанскому «Простору». В начале 1967 г. ответил на пожелания редакции «Простора»: «Убрать длинноты я не могу по той причине, что я их там не вижу, иначе убрал бы ещё до отправки рукописи в редакцию. “Довести до кондиции” также не могу, ибо не знаю уровня кондиции, принятой в Вашем журнале, а по мне “кондиция” удовлетворительна и такая. Прошу Вас конкретно указать, что для Вас в рукописи неприемлемо, либо вернуть рукопись»**. С такой же просьбой автор обратился в редакцию «Звезды». Ответа не последовало. А еженедельники «Литературная Россия», «Радио и телевидение» не рискнули напечатать даже главу из «Ракового корпуса»***.

На вопрос японского корреспондента Седзе Комото о «Раковом корпусе» А. С. ответил (15 ноября 1966):

«“Раковый корпус” — это повесть объёмом в 25 печатных листов, состоит из двух частей. Часть 1-ю я закончил весной 1966, но ещё не сумел найти для неё издателя. Часть 2-ю надеюсь закончить вскоре. Действие повести происходит в 1955, в онкологической клинике крупного южного советского города. Я сам лежал там, будучи при смерти, и использую свои личные впечатления. Впрочем, повесть — не только о больнице, потому что при художественном подходе всякое частное явление становится, если пользоваться математическим сравнением, “связкой плоскостей”: множество жизненных плоскостей неожиданно пересекаются в избранной точке»****.

Три месяца пролежала 1-я часть «Ракового корпуса» у секретаря столичного отделения Союза писателей генерал-лейтенанта КГБ В. Н. Ильина, прежде чем на 16 ноября 1966 г. было назначено её обсуждение в Малом зале Центрального Дома литераторов на расширенном заседании бюро секции прозы Московской писательской организации. Председательствовал Г. С. Берёзо. Выступили А. М. Борщаговский, В. А. Каверин, И. Ф. Винниченко, Н. А. Асанов, А. М. Медников, Л. И. Славин, З. С. Кедрина, Л. Р. Кабо, Б. М. Сарнов, Ю. Ф. Карякин, Е. Ю. Мальцев, П. А. Сажин, Е. Б. Тагер, А. М. Турков, Г. Я. Бакланов. Чаще всего в связи с повестью А. С. упоминалась повесть Л. Н. Толстого «Смерть Ивана Ильича», но также госпиталь

* А. Солженицын. Бодался теленок с дубом. С. 144—149.

** Наталья Решетовская. Александр Солженицын и читающая Россия. С. 281.

*** Там же. С. 246.

**** А. Солженицын. Бодался теленок с дубом. С. 595.

на Бородинском поле (из «Войны и мира») и тюремная палата (из «Воскресения»). Кроме Кедринной, «общественной обвинительницы» на недавнем процессе А. Д. Синявского и Ю. М. Даниэля, никто не посмел явиться для открытого спора, да и она вынуждена была подлаживаться под общее настроение. Правда, некоторые ораторы, как повелось, сочли своим долгом высказать автору различные пожелания с редакторско-цензорским уклоном (порой взаимоисключающие).

«И превратилось обсуждение не в бой, как ждалось, а в триумф и провозвешение некой новой литературы — ещё никем не определённой, никем не проанализированной, но жадно ожидаемой всеми. Она, как заявил Каверин в отличной смелой речи (да уж много лет им можно было смело, чего они ждали!), придёт на смену прежней рептильной литературе»*.

Отлично понимая, что главная цель дискуссии — помочь продвижению «Ракового корпуса» в печать, члены бюро приняли решение «просить ускорить издание этого произведения»**. А. С. спросил, может ли секция прозы обсудить и 2-ю часть повести, когда она будет написана. Берёзко ему ответил: «Обязательно». Однако и просьба бюро оказалась безрезультатной, и обещание его председателя напрасным.

30 ноября 1966 г., выступая в Институте востоковедения, А. С. прочитал из «Ракового корпуса» главу 6-ю («История анализа») и главу 16-ю («Несуразности»). Перед чтением сказал: «Первую часть повести я окончил весной. Я послал текст в журнал “Новый мир”, но он не был принят. Однако повесть прочли и одобрили в различных литературных инстанциях и рекомендовали к печати. Впрочем, это ещё не значит, что она будет опубликована. Судьба этой повести ещё не ясна»***. Отвечая на вопрос, автобиографичен ли Костоглотов, автор был краток: «Я не смешиваю себя ни с одним из персонажей повести»****.

Промежуточный вариант 2-й части «Ракового корпуса» А. С. решил передать А. Т. Твардовскому в феврале 1967 г.:

«Мне кажется справедливым предложить Вам быть первым читателем второй части “Ракового корпуса”, если Вы, конечно, этого захотите.

Текст ещё подвергнется шлифовке, я пока не предлагаю читать повесть всей редакции “Нового мира”, но мнение Лакшина меня также очень бы интересовало.

Пользуюсь случаем заверить Вас, что несостоявшееся наше сотрудничество по 1-й части повести никак не повлияло на моё отношение к “Новому миру”. Я по-прежнему с полной симпатией слежу за позицией и деятельностью журнала. Но обстановка общелитературная слишком крута

* А. Солженицын. Бодался теленок с дубом. С. 151.

** Слово пробивает себе дорогу: Сборник статей и документов об А. И. Солженицыне. 1962—1974. М.: Русский путь, 1998. С. 297.

*** Александр Солженицын. Публицистика. Т. 2. С. 20.

**** Там же. С. 25.

для меня, чтобы я мог разрешить себе и дальше ту пассивную позицию, которую занимал четыре года»*.

Через месяц, 16 марта 1967 г., А. С. был у Твардовского, но в полуторачасовой беседе с глазу на глаз меньше всего было речи о «Раковом корпусе».

«Второй части “Корпуса” он высказал высшие похвалы; что это в три раза выше первой части. Но вот что... <...>

— ...Но вот что: даже если бы печатание зависело целиком от одного меня — я бы не напечатал. <...> Там — неприятие советской власти. Вы ничего не хотите простить советской власти. <...> Вы — ничего не хотите забыть! Вы — слишком памятьливы! <...> Ваша озлобленность уже вредит вашему мастерству. — (Почему ж 2-я часть вышла “в три раза лучше” той, которую он хотел печатать?) — На что вы рассчитываете? Вас не будет никто печатать»**.

Закончив в феврале 1967 г. «Архипелаг ГУЛАГ», А. С. занялся отделкой обеих частей «Ракового корпуса». «Каждую страницу, перед тем как её печатать окончательно, я её ещё раз дотягиваю, если ещё могу, чтобы поднять её художественную высоту. Так доработан “Раковый корпус”, например <...>» — заметил А. С. в интервью с Хилтоном Крамером, критиком «Нью-Йорк Таймс» (20 апреля 1980)***.

В письме IV Всесоюзному съезду писателей (16 мая 1967) А. С. подытожил:

«Моя повесть “Раковый корпус” (25 авт. листов), одобренная к печати (1-я часть) секцией прозы московской писательской организации, не может быть издана ни отдельными главами (отвергнуты в пяти журналах), ни тем более целиком (отвергнута “Новым миром”, “Простором” и “Звездой»)****.

Тот резонанс, который вызвало письмо А. С. съезду в Советском Союзе, а особенно на Западе, заставил боссов из писательского департамента искать замирения с автором. Воспользовавшись растерянностью в верхах, Твардовский на узком заседании так называемого рабочего секретариата 12 июня 1967 г. предложил пригасить конфликт, немедленно отправив в печать «Раковый корпус»: опубликовать не позже чем через два дня в «Литературной газете» отрывок со ссылкой, что полностью повесть будет напечатана в «Новом мире». Секретари как будто с ним согласились. (Твардовский тут же выбрал главу для «Литгазеты» и сам надписал: «Отрывок из романа “Раковый корпус”», хотя год назад считал это название недопустимым.) Но не только через два дня, а даже через три месяца предложению Твардовского не был дан ход. (В промежутке А. С., надеясь подтолкнуть к действию тех, от кого зависела публикация, предложил

* Наталья Решетовская. Александр Солженицын и читающая Россия. С. 272.

** А. Солженицын. Бодался телёнок с дубом. С. 163, 164.

*** Александр Солженицын. Публицистика. Т. 2. С. 537.

**** Там же. С. 32.

Твардовскому заключить договор на повесть, однако тот признался, что не может этого сделать без разрешения.)

Тогда 12 сентября 1967 г. А. С. отправил письмо в секретариат правления Союза писателей и всем секретарям правления. В частности, он напомнил: 12 июня «секретари Правления обещали “рассмотреть вопрос” по крайней мере о печатании моей последней повести “Раковый корпус”. Но за три месяца сорок два секретаря Правления не оказались способны ни вынести оценку повести, ни принять рекомендацию о её печатании. В этом странном равновесии — без прямого запрета и без прямого дозволения — моя повесть существует уже более года, с лета 1966. Сейчас журнал “Новый мир” хочет печатать эту повесть, однако не имеет разрешения. <...>

Я настаиваю на опубликовании моей повести безотлагательно!»*

Заседание секретариата правления Союза писателей в ответ на это письмо состоялось 22 сентября под председательством К. А. Федина и длилось больше пяти часов: началось в час и окончилось после шести. Присутствовало свыше тридцати секретарей СП. А. С. объяснил, что отправил своё настоятельное письмо секретариату, чтобы ускорить публикацию «Ракового корпуса» и тем самым предупредить его утечку к западным издателям. Секретари же для дискредитации А. С., как по команде, сворачивали на его пьесу «Пир победителей» (1951), сочинённую устно на общих работах в Экибастузском лагере, никем не читанную, пока её не захватили при обыске сотрудники КГБ и не стали распространять. От А. С. требовали публично выступить против шума на Западе вокруг письма IV Всесоюзному съезду писателей. Но А. С. настаивал на том, что не может выступать по поводу ненапечатанного письма, ни один пункт которого даже не начал исправляться. Никаких результатов обсуждение не дало.

Но после секретариата Твардовский написал А. С.: «Практически мой вывод такой, что мы готовы заключить с вами договор, а там видно будет»**.

18 декабря 1967 г., после ещё одного безрезультатного разговора в Союзе писателей Твардовского и А. С. с секретарями правления К. В. Воронковым и С. В. Сартаковым, Твардовский сказал автору «сдержанно-торжественно:

— Запускаем “Раковый” в набор! Сколько глав?

Договорились на восемь»***.

«...не погнушался Твардовский пойти сам и в типографию “Известий”, — заметил А. С., — и там дал понять какому-то начальнику, что с “Корпусом” — не самоуправство, а *есть такое мнение*, и надо поторопиться. И партийный начальник, не представляя же подобной дерзости

* А. Солженицын. Бодался телёнок с дубом. С. 601.

** Там же. С. 186.

*** Там же. С. 196.

в другом партийном начальнике, так поторопился, что <...> к исходу следующего дня принесли в редакцию пачку гранок, и я <...> тут же провёл и корректуру»*.

Но предназначавшиеся для первого номера «Нового мира» за 1968 г. начальные главы «Ракового корпуса» не были пропущены, и Твардовский пишет 7—15 января 1968 г. письмо первому секретарю правления Союза писателей К. А. Федину:

«О “Раковом корпусе”, между прочим, мне хочется сказать запомнившимися мне словами одной старой, но мудрой книги: “Если книга возвышает душу, вселяя в неё мужество и благородные порывы, судите её только по этим чувствам: она превосходна и создана рукой мастера”.

<...> Роман, задержанный сейчас в стадии набора первых восьми глав, предназначавшихся для январской книжки “Нового мира”, становится во главе очереди задержанных (хотя никем не запрещённых) таких крупных и ценных произведений, как “Сто суток войны” К. Симонова, роман А. Бека “Новое назначение”, работа Е. Драбкиной, посвящённая последним годам жизни В. И. Ленина, “Зимний перевал”, — перечень можно было бы ещё продолжить.

Опубликование “Ракового корпуса”, которое само по себе явилось бы событием литературной жизни, рассосало бы образовавшуюся из задержанных рукописей “пробку”, как это бывает на дороге, когда головная машина тронется. Это было бы бесспорным благом для советской литературы на нынешнем её, скажу прямо, кризисном, весьма невесёлом этапе, разрядило бы атмосферу глухой “молчанки”, тяжёлых недоразумений, неясности, бездейственного выжидания...

И всё это теперь зависит целиком от Вас, Константин Александрович, — только от Вас, потому что Секретариат, конечно же, поддержал бы Вас, если бы Вы, хоть со всеми необходимыми оговорками, сказали бы по вопросу об опубликовании только те слова, которые, собственно, уже сказали на Секретариате при обсуждении “Ракового корпуса”: «на усмотрение редакции “Нового мира”. <...>

Ответственность, какую Вы, Константин Александрович, нынче берёте на себя во всём этом деле, имеющем такие болезненные симптомы на будущее нашей литературы, очень велика, и не думаю, что она Вам легка. Не думаю, что с лёгкой душой Вы будете дописывать и отделять заключительные страницы Вашего “Костра”, имея прямое касательство к погребению в негях законченной вещи как-никак товарища по перу, писателя, к судьбе которого обращены симпатии огромной массы читателей и чьё присутствие в нашей литературе сегодня, вообще говоря, трудно переоценить»**.

Увы, никакой поддержки от Федина Твардовский не дождался. И набор первых глав «Ракового корпуса» был рассыпан. Но по договору автору

* Там же.

** Слово пробивает себе дорогу. С. 306, 307, 308.

повести полагался аванс. «Мне продлило это денег почти на два года жизни, — отозвался А. С., — важных два года»*. Но и только.

В Самиздате «Раковый корпус» множился с июня 1966 г. И автор решил не вмешиваться в его движение: «...уж теперь пусть плывёт как плывёт, без моего прикосновения, без всякой опеки и соглашений»**. Но весной 1967 г. А. С. согласился на интервью с корреспондентом словацкой «Правды» Павлом Личко. А тот вдобавок попросил для Чехословакии «Раковый корпус». И автор дал ему машинопись 1-й части, даже не заметив, что нарушает собственное решение — своими руками «Корпус» не давать никому.

В ноябре того же года Личко, самовольно распоряжаясь текстом, предложил лорду Николасу Бетеллу издать «Раковый корпус» в Англии. А уже Бетелл обратился, по сути, с ворованной машинописью в издательство «Бодли Хэд». Заодно взялся за перевод повести на английский вместе с неким Дэвидом Бургом (он же Александр Долберг, эмигрант, выпущенный из СССР, когда не выпускали ещё никого).

В начале апреля 1968 г. отрывки из «Корпуса» появились в литературном приложении к лондонской газете «Таймс», их стали читать по Би-би-си. Доходили известия о предстоящих книжных изданиях, и это грозило неминуемой порчей текста, а также могло обернуться уголовным преследованием автора за предполагаемую передачу рукописи на Запад. Нанося упреждающий удар, 16 апреля А. С. запустил в Самиздат своё изложение заседания в секретариате правления Союза писателей 22 сентября 1967 г. и переписку с секретариатом. Подборку предварил письмом: «Я настойчиво предупреждал Секретариат об опасности ухода моих произведений за границу, поскольку они давно и широко ходят по рукам. Секретариат же не только не помог напечатанию уже набранного в “Новом мире” “Ракового корпуса”, но упорно противодействовал тому, даже воспрепятствовал московской секции прозы о б с у д и т ь 2-ю часть повести.

Упущен год, неизбежное произошло: на днях главы из “Ракового корпуса” напечатаны в литературном приложении к “Таймс”. Теперь не исключены и другие публикации — быть может, с неточных и неокончательных редакций повести. Прошедшее вынуждает меня ознакомить нашу литературную общественность с содержанием прилегающих писем и высказываний — чтобы стала ясна позиция и ответственность Секретариата СП СССР»***.

А 25 апреля 1968 г. А. С. обратился с письмом в редакции «Монд» (Париж), «Унита» (Рим) и московской «Литгазеты»:

«Из сообщения газеты “Монд” от 13 апреля мне стало известно, что на Западе в разных местах происходит печатание отрывков и частей из моей

* А. Солженицын. Бодался телёнок с дубом. С. 196.

** Александр Солженицын. Угодило зёрнышко промеж двух жерновов: Очерки изгнания // «Новый мир». 1998. № 11. С. 94.

*** А. Солженицын. Бодался теленок с дубом. С. 617—618.

повести “Раковый корпус”, а между издателями Мондадори (Италия) и Бодли Хэд (Англия) уже начат спор о праве “копирайт” на эту повесть.

Заявляю, что никто из зарубежных издателей не получал от меня рукописи этой повести или доверенности печатать её. Поэтому ни чью состоявшуюся или будущую (без моего разрешения) публикацию я не признаю законной, ни за кем не признаю издательских прав; всякое искажение текста (неизбежное при бесконтрольном размножении и распространении рукописи) наносит мне ущерб; всякую самовольную экранизацию и инсценировку решительно порицаю и запрещаю.

Я уже имею опыт, как во всех переводах был испорчен “Иван Денисович” из-за спешки. Видимо, это же ждёт и “Раковый корпус”. Но кроме денег существует литература*.

Прямое авторское распоряжение было с легкостью проигнорировано западными издателями. Своеобразным ответом на него стали прежде всего книги на русском языке:

Аноним. Раковый корпус. Ч. 1. <Milano:> Il Saggiatore, <1968>. 320 с.;

А. Солженицын. Раковый корпус: Повесть. Frankfurt/Main: Посев, 1968. Ч. 1. 317 с. Ч. 2. 255 с.;

Александр Солженицын. Раковый корпус. Лондон: The Bodley Head, 1968. Ч. 1. 149, 179 с. Ч. 2. 282 с.;

А. Солженицын. Раковый корпус: Повесть: В 2 ч. Paris: YMCA-Press, <1968>. 446 с.

Следом в переводах «Раковый корпус» вышел в Англии, Германии, Дании, Италии, Нидерландах, Норвегии, США, Финляндии, Франции, Чили, Швеции, Югославии и Японии.

Неожиданное предложение издать свалилось на автора «Ракового корпуса» спустя пять лет. 25 сентября 1973 г., через месяц после того как Госбезопасностью был захвачен машинописный экземпляр «Архипелага ГУЛАГа», автору посулили через его бывшую жену Н. А. Решетовскую выпустить «Раковый корпус», лишь бы он в обмен согласился 20 лет ничего не публиковать, «тихо сидеть»**. А. С. на сговор не пошёл. «Архипелаг» был опубликован на Западе, а сам автор выслан.

Первое издание повести в авторизованной редакции: Александр Солженицын. Собрание сочинений: <В 20 т.>. Т. 4. Раковый корпус: Повесть. Вермонт; Париж: YMCA-Press, 1979. 507 с.

На втором году Перестройки главный редактор «Нового мира» С. П. Залыгин, будучи в Колонгагене, в интервью местной газете сказал, что намерен печатать «Раковый корпус». 3 марта 1987 г. эта новость дошла до А. С. Но уже 5 марта была опровергнута советским МИДом, а следом и Союзом писателей.

Однако Залыгин не отступил. Через год, 11 мая 1988 г., автору позвонили из «Нового мира» и от имени главного редактора спросили,

* Там же. С. 619.

** Там же. С. 332.

согласен ли он на публикацию повести «Раковый корпус», а впоследствии и романа «В круге первом». В июне, будучи в Париже, Залыгин публично подтвердил своё намерение. А 27 июля отправил телеграмму, которая дошла до адресата только через пять дней: «Намереваемся опубликовать Раковый Корпус Круге Первом Ждём вашего согласия предложения Новый Мир Сергей Залыгин»*.

На следующий день, 2 августа 1988 г., А. С. ответил Залыгину:

«1 августа получил Вашу телеграмму от 27 июля. Благодарю Вас за усилия, предпринимаемые Вами для напечатания моих романов в Вашем журнале.

И «Корпус» и «Круг первый» я, конечно, с радостью отдал бы «Новому миру», которому и предлагал их 20 лет назад.

Однако обвинение в «измене родине» (64 статья) мне было предъявлено — за «Архипелаг ГУЛаг». За него я был силой выслан в изгнание, длящееся уже пятнадцатый год. За него людей сажали в лагеря. Невозможно притвориться, что «Архипелага» не было, и переступить через него. Этого не позволяет долг перед погибшими. И наши живые соотечественники выстрадали право прочесть эту книгу. Сегодня это было бы вкладом в начавшиеся сдвиги. Если этого всё ещё нельзя, то каковы же границы гласности?

Мой возврат в литературу, разрешённую на родине, может начаться только с «Архипелага ГУЛага» — притом без сокращений и не показным изданием (для Кузнецкого моста и для Запада), а реальным массовым тиражом, — так чтобы по крайней мере в любом областном городе СССР и по крайней мере в течение года трёхтомник можно было бы свободно купить. <...>

После напечатания «Архипелага» не было бы никаких затруднений печатать в «Новом мире» и «Корпус» и «Круг»**.

Это авторское условие в конце концов было принято. В 1989 г. «Новый мир» публикует «Архипелаг ГУЛАГ» (№ 8—11), в 1990-м — роман «В круге первом» (№ 1—5). И следом — «Раковый корпус»: № 6, с. 4—116; № 7, с. 7—89; № 8, с. 21—107. Тираж от 2 710 000 экз. до 2 620 000 экз.

Первое книжное издание на родине автора подписано в печать 9 августа 1990 г.: А. Солженицын. Раковый корпус: Повесть. М.: Худож. лит., 1990. 464 с. 500 000 экз.

* Александр Солженицын. Угодило зёрнышко промеж двух жерновов // «Новый мир». 2003. № 11. С. 42.

** Там же. С. 92—93.

С. 9. Павел Николаевич Русанов... — Отвечая на вопросы М. Г. Петровой, подготовившей издание романа «В круге первом» для серии «Литературные памятники», А. С. написал (24 декабря 2004): «Русанова я никогда не видел (он лежал в палате до меня) — и он, и вся семья его сочинены»*.

...во всей республике... — Действие повести сосредоточено в Ташкенте — столице Узбекистана.

...доктор Донцова... — Под этим именем выведена в повести заведующая лучевым отделением Ташкентского мединститута Лидия Александровна Дунаева (1906—1989), работавшая врачом с 1931 г.

В письме Н. И. Зубову из Ташкента (17 января 1954) А. С. сообщает: «...зав. лучевым отделением — пожилая женщина, толковая баба, специалист по семиномам, но она как-то не снисходит до обсуждения методов лечения <...>»**

С. 10. ...на их голубеньком «москвичике»... — Здесь — «Москвич-400», четырёхместный легковой автомобиль, серийно производившийся на Московском заводе малолитражных автомобилей с 1947 по 1954 г. Четырёхцилиндровый двигатель мощностью 23 л. с. позволял развивать скорость до 90 км/ч.

...в застиранных бумазейных халатах... — Бумазея — мягкая хлопчатобумажная ткань с начёсом на одной стороне. Хорошо сохраняет тепло.

Начиная с этих неопрятных халатов всё было здесь для Павла Николаевича неприятно... — В телеинтервью на литературные темы с Н. А. Струве (Париж, март 1976) А. С. говорил об использовании собственного опыта даже при изображении чуждых ему персонажей: «Я описываю Русанова — человека совершенно мне противоположного во всём, но, например, то отвращение и испуг, которые он испытывает, входя в онкологический диспансер, — конечно, там есть элемент автобиографический, да всеобщий. В этом и состоят возможности искусства, что человек использует собственный опыт для точной угадки и воссоздания всяких других людей»***.

Одна из первых читательниц 1-й части «Ракового корпуса», сотрудница ЦГАЛИ Елена Михина, посчитала, что в отношении к Русанову автору «изменила человечность», и посоветовала воспользоваться приёмом К. С. Станиславского: «у негодя — искать хорошее»****. А. С. ответил: «Совет искать у негодя, где он хороший — труден для сердца, а иногда опасен и для истории: доискиваются до того, что и негодя не

* Александр Солженицын. В круге первом: Роман. М.: Наука, 2006. С. 624.

** РГАЛИ, ф. 2511, оп. 2, д. 2, л. 5, об.

*** Александр Солженицын. Публицистика. Т. 2. С. 427—428.

**** РГАЛИ, ф. 2511, оп. 1, д. 23, л. 16.

остаётся. Вспоминая смерти жертв, я просто не могу писать о Русановых с симпатией»*.

С. 11. ...*объятая по плечам двумя чернобурками...* — На воротник шкурки лисиц черно-бурой окраски выделялись во всю их длину — от морды до хвоста. И по тогдашней моде спереди с плеч до талии спускались лисьи морды.

...*посмотрел на котиковую шапку...* — Шапка из ценного меха морских котиков — короткого, но гладкого и блестящего — выдавала важно-го человека, начальника.

С. 13. *У нас новенькие лежат на лестницах, в коридорах.* — На диванчике в коридоре сам А. С. пролежал трое суток (см. 3-е примечание к с. 59).

С. 14. ...*Павел Николаевич медленно взойшёл на лестничную площадку — широкую и глубокую, какие могут быть только в старинных зданиях.* — Медицинский городок располагался в зданиях, специально построенных к сентябрю 1901 г. для Ташкентской приготовительной школы 2-го Оренбургского кадетского корпуса, преобразованной 4 декабря того же года в Ташкентский кадетский корпус.

С. 17—18. ...*ему ещё в сорок втором году рачок маленький вырезали <...> Тринадцать лет прошло...* — Первое указание на время действия — 1955 г.

С. 18. ...*электробритва.* — Здесь — заграничная диковина. Выпуск электробритв в Советском Союзе начнётся только в 1956 г.

Наискошь по тёмно-синему переплёту, и такая же по корешку, шла тиснённая золотом и уже потускневшая роспись писателя. — Так выглядят книги Полного собрания художественных произведений Л. Н. Толстого в 15 томах (М.; Л.: Госиздат, 1928—1930; обложка работы М. А. Кирнарского). «И толстовскую книжку я не подгонял, — говорил А. С. на обсуждении 1-й части “Ракового корпуса” московскими писателями (16 ноября 1966). — Этот том <...> был в палате»**.

В письме Н. И. Зубову из Ташкента (9 января 1954) А. С. рассказывает о большой библиотеке: «...к моему удивлению библиотека оказалась и здесь, я пошёл туда без надежды что-либо выбрать, а нашёл (и взял) Толстого (рассказы, но, правда, те, к-рым везёт всегда попадать в “избранные”: “Казачи”, “Рубка леса”, “Альберт”, “Утро помещика” — среди них, к счастью, “Севастопольские” и “Три смерти”), а также обнаружил “Дворянское гнездо”, “Накануне”, “Герой нашего времени”, “Онегин” —

* РГАЛИ, ф. 2511, оп. 1, д. 80, л. 5.

** Слово пробивает себе дорогу. С. 295.

можно будет на худой конец всё это перечитать, тем более, что их здесь не берут, предпочитая “Алитет уходит в горы”. Более содержательные занятия, например геология, пока не получаются*.

И через восемь дней (17 января 1954):

«А я здесь астрономию пока бросил, читаю Толстого — вообще стихи мне надоели, нажимаю на прозу. Проза тоже орешек, не уступит стихам. Хотя и художественно-неряшливый, но полон глубокими мыслями “Люццерн” — Толстого, только поданы они слабовато. “Севастопольские рассказы” на этот раз мне понравились меньше, чем прежде. Ещё тут ловлю том нравоучительных поздних его рассказов. Если бы жить хоть с какой-нибудь перспективой в годах — первым бы долгом я приобрёл полного Толстого**.

Наконец, ещё через 10 дней (27 января 1954):

«“Казакки” в этот раз мне очень понравились, а сейчас с наслаждением медленно читаю X том Толстого 30-го года издания — здесь много нравоучительных рассказиков вроде “Много ли человеку земли нужно?” — “Зерно с куриное яйцо”, “Сказка об Иване-дураке”, “Ходите в свете, пока есть свет”, “Суратская кофейня”, “Карма”, “Разрушение и восстановление ада”, “Ассаргадон” (“Ассирийский царь Асархадон». — В. Р.), “Будда” и, между прочим, “Хозяин и работник”, к-рого я ужасно люблю, кроме конца. К книге интересные примечания***.

— Чего — Дёмка?<...> — отозвался пацан от двери... — В Дёмке совмещены ссыльный ученик кок-терекской школы Дёма Казачук, поступивший в 1959 г. в мединститут, и Юра Маслов — пятнадцатилетний подросток с большой ногой из Ташкентского онкодиспансера. На вопрос А. С. о мальчике, который лежал с ним в клинике, Л. А. Дунаева ответила, что в январе — марте 1954 г. в клинике лежало три мальчика, «все с саркомаами ног, оперирован только Маслов, два других не согласились». И следом: «Мне кажется, Вы имеете в виду Маслова, он из детдома был. Я его хорошо помню. Хороший был мальчик. Я о нём имела известия 4 года. Больше ничего о нём не знаю»****.

С. 21. *Авиета — в Москве, на каникулах.* — Зимние каникулы у студентов начинались 25 января — об этом, кстати, говорит далее Костоготов (с. 32) — и заканчивались 6 февраля. Так очерчивается промежуток, внутри которого начинается действие повести.

...при Досаафе... — Досааф — Всесоюзное добровольное общество содействия армии, авиации и флоту, образованное в 1951 г. слиянием трёх самостоятельных обществ: Досарм, Досав и Досфлот.

* РГАЛИ, ф. 2511, оп. 2, д. 2, л. 3, об.

** Там же, л. 6 с об.

*** Там же, л. 8 с об.

**** Там же, оп. 1, д. 85, л. 2, об.

...Джувльбарс... — собачья кличка, получившая широкое распространение после одноимённого приключенческого кинофильма (режиссёр В. А. Шнейдеров, 1936).

В субботу должна открыться сессия Верховного Совета Союза. — Вторая сессия Верховного Совета СССР четвёртого созыва открылась в четверг, 3 февраля 1955 г.

...сегодня <...> начали передавать по радио большой доклад о тяжёлой промышленности. <...> а вчера — постановление об увеличении производства продуктов животноводства. — 2 февраля 1955 г. «Правда» сообщила о пленуме ЦК КПСС, который проходил с 25 по 31 января. По докладу Н. С. Хрущёва об увеличении производства продуктов животноводства пленум принял одноименное постановление. В номере от 2 февраля оно заняло три с половиной полосы.

С. 22. Азовкин! — Первый раз появляется на с. 18. Автору запомнилась говорящая фамилия этого больного — Горюшкин. Однако Л. А. Дунаева, отвечая 20 марта 1963 г. на вопрос А. С., усомнилась в этой фамилии:

«Из списка больных, написанного Вами, я никого не помню. Больных с семиномой я хорошо знаю, это моя работа, но такой фамилии, Горюшкин, у меня нет. Может быть, Вы что-то забыли?»*

— Зоя! — попросил он стонуце. — Возможно, об одном из образов Зои пишет А. С. из Ташкента Н. И. Зубов (16 июля 1954):

«Я здесь пользуюсь неожиданным для себя успехом среди молодых медсестёр. Даже серьёзно задумался, не увезти ли с собой в Берлик (центр Кок-Терекского района, советское название самого Кок-Терека; Кок-Терек в переводе с казахского Зелёный Тополь, Берлик — Объединение. — В. Р.) одну из них — довольно славная девушка, 25 лет, с поверхностным налётом городского воспитания, с двумя специальностями: рентгенолог и... дамская портниха. Но как подумаю — а что потом из этого выйдет? Игра в тёмную... Вот запутался!..»**

С. 23. А где Костоглов? — На обсуждении 1-й части «Ракового корпуса» в Московской писательской организации А. С. отметил: «Тут говорили, что Костоглов — это автор, и оценки костогловские отсылались к авторским. Мне не трудно убедить, что автобиографичность бывает в каждом почти герое произведения, какие-то кусочки жизни ты разбрасываешь туда и сюда. Конечно, они есть в Костоглове, но я не старался Костоглова сделать выражением автора. Наоборот, в биографии, в уровне интересов и в направлении интересов я старался отдалиться»***.

* РГАЛИ, ф. 2511, оп. 1, д. 85, л. 2.

** Там же, оп. 2, д. 2, л. 19, об.

*** Слово пробивает себе дорогу. С. 294.

На читательское замечание, что Костоглолов «поражает незаурядностью своего поведения», А. С. ответил (7 октября 1966): «Он незаурядно ведёт себя по моему замыслу в единственном смысле: как человек, все привычки и понятия которого сформировались в лагере, и среди мира вольного это производит необычайное впечатление. Такой незаурядности я и хочу от него. Если же он показался незаурядным по уровню мысли, то это моя неудача: я хотел дать человека с рядовыми жизненными задачами»*.

Е. Б. Тагеру в ответ на его отзыв о «Раковом корпусе» А. С. писал (5 июля 1966): «...в Костоглолове я хотел дать *национальный тип ээка* — т. е. нацию в нации, к-рая сформировалась в лагере (вот тут та лихость, к-рая Вам “мешает”). И *это*, а совсем не лирическое отражение автора, было главной задачей в Костоглолове. От автора он оторван чем только можно — совсем другой гражданской судьбой (возрасты 1918 и 1921 года благодаря динамичности века стали как бы разными поколениями), совсем другими жизненными установками, целями и интересами. Вся задача его сводится к отстаиванию своей жизни — и только. Он природно-умён, но действительно совсем не образован (с “асимптотическим насыщением” я, м. б., и переборщил, а м. б., он где-то и подхватил это, потому что клочками всё подхватывает). По-моему, я его очень много обделил, неужели нет? Мне очень досадно, если меня постигла неудача в этой цели — дать только национальный тип — каким делает лагерь всякого выжившего (цена выживания)***.

1918 — это год рождения автора, 1921 — год рождения, выбранный поначалу для Костоглолова. Впоследствии годом его рождения стал 1920-й (с. 141).

С. 26. *У нас в части комиссар такой был, Пашкин...* — Майор Арсений Алексеевич Пашкин был политруком в дивизионе А. С. Упомянут в повести «Люби революцию» (1948; 1958)****. В канун 1945 г. А. С. писал: «Мы с ним иногда говорим о вещах, которых я никому, кроме близких, не доверял. Широчайшего ума человек!»****

С. 27. *Стереометрия Киселёва, старушка...* — Курс геометрии для средних учебных заведений педагог-математик А. П. Киселёв (1852—1940) выпустил впервые в 1892 г. С 1938 г. после переработки это единственный учебник, по которому проходят геометрию в советских школах.

* РГАЛИ, ф. 2511, оп. 1, д. 80, л. 7; Наталья Решетовская. Александр Солженицын и читающая Россия. С. 258.

** «Вопросы литературы». 1991. Ноябрь — декабрь. С. 91.

*** Александр Солженицын. Протеревши глаза. М.: Наш дом — L'Age d'Homme, 1999. С. 341.

**** Людмила Сараскина. Александр Солженицын. М.: Мол. гвардия, 2008. С. 264.

В 1954 г. «Геометрия» Киселёва в 2-х частях (2-я ч. — «Стереометрия») вышла 13-м изданием.

...в сентябре тридцать девятого вышел указ брать в армию с девятнадцати... — 1 сентября 1939 г. Внеочередная четвёртая сессия Верховного Совета СССР приняла Закон о всеобщей воинской обязанности, в котором, в частности, говорилось:

«На действительную службу призываются граждане, которым в год призыва (с 1 января по 31 декабря) исполняется девятнадцать лет, а окончившим среднюю школу и ей соответствующие учебные заведения — восемнадцать лет»*.

Поскольку призыв проводился с 15 сентября по 15 октября, то забирали в армию молодых людей в возрасте от семнадцати лет и восьми с половиной месяцев до девятнадцати лет и восьми с половиной месяцев.

Однако понижение призывного возраста на действительную военную службу с 21 года до 19 лет было проведено ещё постановлением Центрального Исполнительного Комитета и Совета Народных Комиссаров Союза ССР от 11 августа 1936 г.**.

С. 28. *Четвертня, значит?* — Четвертная (лаг.) — максимальный, 25-летний срок.

С. 29. ...*Сибгатов...* — фамилия подлинная. На вопрос А. С. про «тартина с опухолью на спине» Л. А. Дунаева ответила: «Это сложный случай в отношении диагностики и лечения. Впервые больной поступил к нам в тяжёлом состоянии, не ходячий, на носилках. На рентгенограмме было обнаружено полное разрушение почти всего крестца, и на глаз определялась большая опухоль, больной жаловался на сильные боли, усиливающиеся с каждым днём. Опытными рентгенологами — профессором, доцентом и наконец мною — была диагностирована саркома кости. Саркомы на конечностях лечат облучением и ампутацией. Крестец выпилить нельзя, оставался один метод лечения — лучевая рентгенотерапия, которую больной и получил. Доза дана была большая, т. к. меньшей дозой излечения не добиться. Эта доза вызывает большие изменения в окружающих тканях, которые после облучения делаются очень чувствительными к внешним воздействиям, в частности к ушибу, травме. Возникает вторично рост злокачеств <енной> опухоли. Как и было у нашего больного; на изменённые болезнью и лечением ткани был ушиб, который дал толчок к новой вспышке — росту опухоли.

Мы, врачи-лучевики, имеем в руках страшное оружие, которое может обернуться против нас, меньшую дозу дать нельзя — не поможет, большая доза вызывает изменения в здоровых тканях, что в разной степени тяжело и даже может быть опасно для больного.

* «Правда». 3 сентября 1939.

** Там же. 12 августа 1936.

Мне было очень жаль этого больного. Хотя мы его и вылечили вначале, а потом уже не могли помочь, делали только временное облегчение. В общем мы ему дали жизни 8 лет. Я очень переживала за него, так было обидно, что мы бессильны»*.

С. 34. *Кто оценил степень будущих бомбардировок и догадался спрятать продовольственные склады под землю.* — К началу войны запасы продовольствия в Ленинграде (3 тыс. тонн муки и 2,5 тыс. тонн сахара) были сосредоточены на деревянных Бадаевских складах. В ходе массированного налёта 8 сентября 1941 г. германская авиация уничтожила складские помещения вместе с содержимым.

Меня здесь лечат, но ничего не объясняют. Я так не могу. — В письме Н. И. Зубову из Ташкента (9 января 1954) А. С. замечает: «Не люблю в медицине таинственности, к-рой окружают себя её жрецы: на мои вопросы не отвечают, не могу узнать эл<ектро>технич<еского> режима облучения, какие ставят фильтры, да вообще ничего не говорят <...> Таких людей, как я, надо лечить о б ъ я с н я з ч т ъ и з а ч е м <...>»**

Я у вас видел книгу — «Патологическая анатомия». — Учебник для медицинских вузов А. И. Абрикосова и А. И. Струкова «Патологическая анатомия» вышел в 2-х частях: Ч. 1. Общепатологические процессы. М.: Медгиз, 1953. 334 с.; Ч. 2. Патологическая анатомия и патогенез болезней. Там же, 1954. 500 с. Книга, которую Костоглотов видел у Зои, — это ч. 1 «Патологической анатомии» (на неё же он ссылается далее, на с. 120—121).

С. 35. *...он мне лепанул: «Три недели проживёте, больше не ручаюсь!»* — О себе А. С. рассказывает: «Осенью 1953 очень было похоже, что я доживаю последние месяцы. В декабре подтвердили врачи, ссыльные ребята, что жить мне осталось не больше трёх недель»***.

— <...> *Когда вы сюда поступили... Сколько это дней?.. / — Двенадцать.* — См. далее, в последней, 36-й главе: «Лечились в онкологическом диспансере с двадцать третьего января...» (с. 435). Так будет в конце повести косвенно подтверждён день, когда началось её действие, — 3 февраля 1955 г.

С. 36. *И хорошая аптека убавит века.* — См. в Словаре В. И. Даля: «Аптека убавит века»****.

С. 37. *Врач есть, гинеколог. Даже два...* — В Кок-Тереке, где А. С. отбывал ссылку, одним из гинекологов был Николай Иванович Зубов. Очерк

* РГАЛИ, ф. 2511, оп. 1, д. 85, л. 10, об.

** Там же, оп. 2, д. 2, л. 3.

*** А. Солженицын. Бодался телёнок с дубом. С. 11.

**** Владимир Даль. Толковый словарь. Воспроизведён со 2-го изд. 1880—1882 гг. фотомеханическим способом. Т. 1. М.: Худож. лит., 1935. С. 20.

о нём вошёл в книгу «Бодался телёнок с дубом»*. 6 декабря 1952 г., устроившись на работу в районную больницу в Кок-Тереке, Николай Иванович пишет жене, Елене Александровне: «Есть еще молодая врач-гинеколог (сейчас в командировке) — как разжеуемся — не знаю, но важно, что уже работаю...»**

У меня РОЭ было, оказывается, шестьдесят, и никто не знал. — РОЭ (реакция оседания эритроцитов, или красных кровяных телец) определяет скорость разделения крови, предохранённой от свёртывания, на два слоя: нижний — из осевших на дно эритроцитов, и верхний — из прозрачной плазмы. Норма РОЭ у мужчин составляет 3—10 мм/ч. Ускорение РОЭ наблюдается главным образом при наличии в организме воспалительных очагов. При злокачественных опухолях РОЭ ускоряется до 50—80 мм/ч. См. далее о результатах лечения Костоглотова: «РОЭ — двадцать пять...» (с. 52). Сейчас вместо РОЭ в ходу аббревиатура СОЭ (скорость оседания эритроцитов).

С. 38. ...небольшой кусочек, натянутый на пальцы, на нём уже вышитый зелёный журавль, а лиса и кувшин только нарисованы. — Популярный басенный сюжет, идущий от Эзопа, об остроумной и справедливой расправе: «Лиса <...> размазала по плоскому камню жидкую кашу, да и предложила её журавлю — не столько для насыщения, сколько для посмеяния, потому что жидкую кашу узким клювом журавль ухватить никак не мог. Тогда в свою очередь пригласил журавль лисицу в гости и поднёс ей угощение в кувшине с длинным и узким горлышком: сам он без труда просовывал туда клюв и лакомился, а лисица этого не могла, и так понесла заслуженное наказание»***.

С. 39. ...мулине... — От moulinet (франц.) — сучить шёлк.

Так вы — на целине? Вы — целинник? — Чтобы обеспечить страну зерном, по инициативе Хрущёва пленум ЦК КПСС принял 2 марта 1954 г. постановление об освоении целинных (то есть никогда не обрабатывавшихся) и залежных (то есть заброшенных) земель. Добровольно-принудительно на целину отправилось свыше 350 тыс. человек. Официальная пропаганда объявила целинников героями времени. Больше половины заново распаханных площадей пришлось на Казахстан.

...жить <...> в глинобитной хатке на краю степи... — А. С. рассказывает в «Архипелаге ГУЛАГ», как в ссылке, работая учителем, сам перебрался в сентябре 1953 г. из съёмного жилья в собственное:

«Появились деньги — и вот я купил себе отдельный глинобитный домик, заказал крепкий стол для писания. <...>

* С. 401—415.

** Отношения сердец: Крымские герои произведений А. И. Солженицына. М.: Симферополь: Магистр, 2004. С. 152.

*** Басни Эзопа. М.: Наука, 1968. С. 178—179.

Домик мой стоял на самом восточном краю посёлка. За калиткою был — арык, и степь, и каждое утро восход. Стоило венуть ветерку из степи — и лёгкие не могли им надышаться. В сумерки и по ночам, чёрным и лунным, я одиноко расхаживал там и обалдело дышал. Ближе ста метров не было ко мне жилья ни слева, ни справа, ни сзади» (Т. 6. С. 388).

Снимки этого глинобитного домика на краю Кок-Терека (на одном из них А. С. выглядывает из окна) помещены в книге «Бодался телёнок с дубом».

С. 40. ...жантáк — верблюжья колючка... — ветвистый полукустарник высотой от 40 до 150 см с колючками в пазухах цельных листьев. Благодаря мощной вертикально-стержневой корневой системе, достигающей грунтовых вод на глубине до 20 м, распространён в степях, пустынях и полупустынях. Охотно поедается верблюдами. Персидская верблюжья колючка, растущая, в частности, в Центральной Азии, выделяет сахаристую жидкость, затвердевающую в виде зёрен, которые называют «персидской манной».

Уш-Терék. — См. далее: «Уш-Терек значит “Три тополя”» (с. 226). Сам А. С. отбывал ссылку в ауле Кок-Терек (Зелёный Тополь). Географическое положение Уш-Терека (на самом деле — Кок-Терека) определено далее весьма чётко: в тридцати километрах от железнодорожной станции Хан-Тау, в семидесяти от станции Чу (с. 440) и в пяти от реки Чу (с. 235). Значит, к юго-западу от Хантау и к северо-западу от станции Чу, справа по течению реки. На картах — Берлик.

— Вы — агроном? / — Нет. Землеустроитель. — В отличие от агрономов, отвечавших за улучшение почвы, соблюдение севооборота и повышение урожайности, землеустроители распределяли земли между колхозами, которые то разукрупнялись, то укрупнялись, отводили площади под строительство, лесозащитные полосы, дороги, линии электропередач и связи.

С. 41. ...четвёртого февраля была пятница... — Помимо календарного совпадения четвёртого февраля с пятницей, указывающего на 1955 г., далее привязка к 1955 г. подкреплена тем, что 1954 г. назван миновавшим (с. 140). Здесь впервые обозначен день, когда начинается действие повести. Это вчерашний четверг — 3 февраля.

...Вера Корнильевна Гангарт... — Впервые упоминается на с. 36. Под этим именем введена в повесть Ирина Емельяновна Мейке (1924—2007), лечащий врач А. С. Однако сходство обеих женщин ограничивается профессиональной сферой. Ни внешность, ни личная жизнь их не совпадают.

В письме Н. И. Зубову из Ташкента (17 января 1954) А. С. сообщает: «...лечащий врач — толковая, но девчонка, ей ещё, наверно, 30 лет нет, кончила Мединститут в 47-м году, в медицину верит свято, медицинскую литературу считает Книгами Веды и поклоняется им, ни в какие корни не верит (об иссык-кульском корне см. примечание к с. 75. —

В. Р.), пока они не “обоснованы”, боится оттяжки по служебной линии и ни на какие отклонения от схемы не идёт. Я пытался с ней поговорить по душам, но безуспешно, общего языка мы не нашли. Я просил, чтобы меня не мучили до “конца” лечения, поскольку такого “конца” быть не может, а приблизясь к моменту “насыщения”, когда разрушение опухоли заметно замедлится, — отпустили бы меня с миром и с остатками моей собственной крови, — но она сказала, что кончат тогда, когда сочтут нужным. Вот и приходится с синэстролом хитрить (см. примечание к с. 53. — В. Р.), а конца ждать или ихнего (это прилагательное считаю литературным), или когда станет плохо — заявить, что больше не лечусь и всё»*.

На издании «Одного дня Ивана Денисовича» в «Роман-газете» (1963. № 1/277) А. С. написал И. Е. Мейке: «Врачу моему, помешавшему мне умереть»**.

Между 13 и 16 марта 1963 г. Ирина Емельяновна ответила А. С.: «Хорошо помню Вас (в сапогах — уж что осталось в памяти! — халат запахнут и подпоясан). <...> и когда увидела фотографию на журнале, то тут же узнала, только стали ярче проглядывать морщины»***.

Брат её, Иван Емельянович Чепигин, был арестован в 1936 г. и расстрелян в 1938-м. Мужа, Виктора Александровича Мейке, и его родных дважды ссылали: в 1931 г. как раскулаченных и в 1940-м как финнов-ингерманландцев.

Вместе с мужем Виктором Александровичем Мейке включена в список свидетелей, чьи «рассказы, письма, мемуары и поправки» использованы при создании «Архипелага ГУЛАГа» (Т. 4. С. 14, 17).

С. 43. *Сейчас он читал журнал в синеватой обложке, но не новый, а потрёпанный и выгоревший на солнце...* — Цвет обложки выдаёт журнал «Новый мир».

С. 44. *...положил на одеяло шашечную доску углом и играл сам с собой в уголки.* — При игре в уголки соперники, стараясь опередить друг друга, перегоняют фишки из своего угла доски в противоположный.

Как сказал, кажется, Горький, только тот достоин свободы, кто за неё идёт на бой. — М. Горькому Павел Николаевич Русанов готов приписать превращённые в советское пропагандистское клише стихи из последнего монолога Фауста в одноимённой трагедии И. В. Гёте:

Я предан этой мысли! Жизни годы
Прошли недаром; ясен предо мной
Конечный вывод мудрости земной:

* РГАЛИ, ф. 2511, оп. 1, д. 2, л. 5, об.

** «Правда Северо-Запада». 10 декабря 2003.

*** РГАЛИ, ф. 2511, оп. 1, д. 90, л. 1 с об.

Лишь тот достоин жизни и свободы,
Кто каждый день за них идёт на бой!*

Для себя А. С. отмечает характерное свойство Русанова: «Все знаменитые цитаты приписывает только Горькому»**.

С. 45. ...*Дёма не назвал, а вывернул и показал голубоватую поблекшую обложку журнала. Донцова сощурилась.*

— *Ой, старый какой, позапрошлого года. Зачем?*

— *Здесь — статья интересная, — значительно сказал Дёма.*

— *О чём же?*

— *Об искренности!* — ещё выразительней ответил он. — *О том, что литература без искренности...* — В журнале «Новый мир» (1953. № 12) помещены знаковые для своего времени заметки В. М. Померанцева «Об искренности в литературе». «Степень искренности, то есть непосредственность вещи, должна быть первой меркой оценки, — заявляет он. — Искренность — основное слагаемое той суммы даров, которую мы именуем талантом. Искренность отличает автора книги и пьесы от составителя книги и пьесы. Для состроения вещи достаточно ума, ловкости, опыта. Для создания вещи нужен талант, то есть в первую очередь искренность» (С. 219).

На обсуждении 1-й части «Ракового корпуса» секцией прозы Московской писательской организации А. С. заметил: «Статья об искренности. Я сам десятки лет не видел журналов. Приезжаю в раковый корпус, и вижу: ходит по рукам затрёпанная книжка, и вот Юра Маслов, с которого написан Демка, пришёл советоваться насчёт этой статьи. Не я это придумал. Когда я писал эту повесть, я просмотрел литературную жизнь 1954 года. Эта статья в том году была мишенью, попадением, вокруг неё были споры, она звучала всплеском, и для литературной истории того времени она характерна»***

...*три тысячи «эр».* — При лечении злокачественных опухолей обычно применялись большие дозы облучения: однократные (до 300 рентген) и суммарные (до 2000—2500 рентген на одно кожное поле).

С. 46. *Трансфузия...* — переливание. Здесь: переливание крови (гемотрансфузия). От: *haima* (греч.) — кровь и *transfusio* (лат.).

...*саркому кости...* — Саркома — злокачественная опухоль, развивающаяся из элементов соединительной ткани. У человека встречается гораздо реже, чем рак. Саркомой болеют обычно люди в молодом и среднем возрасте. Чаще всего встречается саркома костей. На втором месте —

* Гёте. Собр. соч.: В 13 т. Т. 5. Фауст: Трагедия: Первая и вторая части / Пер. Н. А. Холодковского. М.: ГИХЛ, 1947. С. 535.

** РГАЛИ, ф. 2511, оп. 1, д. 23, л. 42.

*** Слово пробивает себе дорогу. С. 294—295.

саркома мышечной ткани. Прорастание саркомы в другие органы, по большей части в лёгкие, происходит главным образом по кровяному руслу.

Ахмаджан <...> с Егенбердиевым понимали друг друга, хотя каждому язык другого казался искажённым... — Узбекский язык Ахмаджана и казахский Егенбердиева относятся к одной и той же тюркской группе алтайской семьи.

С. 48. ...*лимфогранулематоз*. — Общее тяжёлое заболевание организма, выражающееся в разрастании злокачественных опухолевых образований в тканях лимфатических узлов. При лимфогранулематозе увеличиваются лимфатические узлы какой-нибудь одной области (помимо шейной, могут быть узлы подмышечной, узлы средостения, забрюшинные и брыжеечные). Но нередко болезнь поражает все лимфатические узлы. Лимфогранулёмы прорастают в лёгкие, кости, спинной мозг. Эмбихин (см. 1-е примечание к с. 59) оказывает большей частью выраженный, хотя и не длительный эффект.

На вопрос А. С. о прогнозе и перспективах излечения этой болезни Л. А. Дунаева ответила: «При медленно текущих формах излечение на 3—4—5 год и дольше. При быстротекущих формах прогноз плохой, умирают в течение 6—8—12 мес.»*.

См. о Русанове далее: «Ещё ожидали его вспышки опухолей во многих железах. И от быстроты процесса зависело — будет ли вообще он жив через год» (с. 381).

С. 51. *Боли у меня ослабились после второго сеанса, совсем исчезли после четвёртого*. — В письме Н. И. Зубову из Ташкента (9 января 1954) А. С. сообщил, что у него «со 2-го сеанса самопроизвольные боли вообще прекратились»**.

С. 52. ...*лейкоцитов — пять восемьсот...* — Лейкоциты — составная часть крови: белые кровяные тельца, способные захватывать и переваривать микроорганизмы и инородные тела. В одном кубическом миллиметре крови здорового человека от шести до восьми тысяч лейкоцитов. Для сравнения: у безнадежного больного Азовкина «лейкоцитов только три тысячи четыреста» (с. 58).

С. 53. *Синэстрол...* — синтетический препарат, по характеру биологического действия сходный с женским половым гормоном эстрадиолом, но в десять раз менее активный. Выпускался в таблетках и ампулах.

В письме Н. И. Зубову из Ташкента (17 января 1954) А. С. замечает: «...отвратительно на меня действует синэстрол — пью ли или колют меня — потеря аппетита и тошнота. Всякими хитростями стараюсь его

* РГАЛИ, ф. 2511, оп. 1, д. 85, л. 10.

** Там же, оп. 2, д. 2, л. 3, об.

избегать. Называется это “гормоно-терапией”, будь она неладна — и, что-то щупая, врачи говорят мне: “нет реакции на синэстрол, вы обманываете, не пьёте” — я уверяю, что пью, и приходится иногда или кольнутья, или выпить»*.

С. 54. ...была боязнь за маму — так звали между собой Людмилу Афанасьевну три её ординатора-лучевика. — Во втором письме, отправленном осенью 1963 г., И. Е. Мейке рассказывает А. С. о Л. А. Дунаевой: «На работе мы её зовём “мамой” — это слово полностью к ней подходит»**.

С. 55. ...крикни опять кто-нибудь хоть спьяну: «бей врачей!» или «бей инженеров!» — и палки уже при руках. — Массовые нападки на медиков были спровоцированы сообщением в «Правде» (13 января 1953) об аресте и изобличении так называемых врачей-убийц, будто бы покушавшихся на жизнь первых руководителей партии и государства. Сигналом к преследованию и поношению инженеров стали Шахтинский процесс (18 мая — 5 июля 1928) и процесс Промпартии (25 ноября — 7 декабря 1930), на которых инженеры были представлены вредителями и диверсантами.

Совсем недавно лежал в их клинике по поводу опухоли желудка шофёр МГБ. — Подлинный случай, о котором И. Е. Мейке рассказала А. С. во втором письме (осень 1963). Заканчивает она эту историю так: «Ну, сколько я ночей не спала после этого, мне Вам не нужно писать!»***

...бромурал... — белый кристаллический порошок горьковатого вкуса со слабым запахом. Лёгкое снотворно-успокаивающее средство.

вспоминала неприятный случай — с Полиной Заводчиковой, скандальнейшей бабой. — О Полине Заводчиковой, которую больные называли «наша Полинка», И. Е. Мейке рассказывает в том же втором письме несколько историй, в частности такую: «Это, действ<ительно>, персонаж. Мать 9-летнего ребёнка, заболевшего семиномой не спустившегося яичка, очень тяжёлый, пролежал у нас 1,5 м-ца. В один из тяжёлых дней мальчика отправилась в школу, где он учился, и сказала, что ребёнок умер. Пришли дети с венком с учителем на похороны. Мальчик жив»****.

...Лев Леонидович... — Львом Леонидовичем А. С. назвал Анатолия Матусовича Статникова. В 1964 г. А. С., «испросив разрешения, неделю кряду “ходил хвостиком” за Анатолием Матусовичем Статниковым по больничным палатам и делал записи. Под занавес состоялся разговор. Статников, недолго и не по своей воле пробывший врачом “там, где вечно пляшут и поют”, видевший лагерную жизнь, но — со стороны, засомневался: “Было очень тяжело, но чтобы так (как в «Одном дне

* Там же, л. 5.

** Там же, оп. 1, д. 90, л. 4.

*** Там же, л. 6.

**** Там же, л. 5.

Ивана Денисовича». — В. Р.)? Солженицын: «Уверяю вас, всё написанное мною — правда»*.

Об излечении А. С. Анатолий Матусович высказался так: «Ума не приложу, как он выкарабкался. Болезнь-то протекала злокачественно, к тому же — запущенная. Где-то в тюрьме ему делали операцию. Сделали нормально, но обучать надо было сразу... Ума не приложу... Впрочем, всё бывает...»**

А. С. включил Статникова в список свидетелей, чьи «рассказы, письма, мемуары и поправки» использованы при создании «Архипелага ГУЛАГа» (Т. 4. С. 14, 19).

С. 56. ...в операторской «гамма-пушки»... — «Гамма-пушкой» назван аппарат, управляющий пучком гамма-излучений. Используется, в частности, для лучевой терапии злокачественных опухолей. Гамма-лучи — одно из самых проникающих (жестких) излучений. Чтобы ослабить вдвое пучок наиболее жестких гамма-лучей, нужен слой свинца толщиной 1,6 см, железа или меди — 2,4 см, алюминия — 12 см.

...в операторской длиннофокусных рентгеновских установок на сто двадцать и двести тысяч вольт. — Длиннофокусные рентгеновские установки используются для облучения глубоко размещённых опухолей.

В письме Е. А. и Н. И. Зубовым из Ташкента (24 июня 1954) А. С. рассказывает: «Но, кажется, за меня берутся круто: опухоль явно прощупали, правда очень уменьшенную, положили под ещё более мощную Рентгеновскую установку (200 000 V вместо 120 000 V) и собираются давать по 2, а затем и по 3 сеанса в день — “пока кровь выдержит”. Это значит — опять тошноты, переливания крови, бой против глюкозы»***.

...в лечебном кабинете короткофокусных рентгеновских установок... — Короткофокусные рентгеновские установки служат для облучения поверхностно локализованных опухолей (не глубже 5—6 мм).

С. 57. ...гигантоклеточная опухоль... — иначе: остеобластокластома, гигантома, остеокластома и др. Характеризуется наличием гигантских многоядерных клеток. Составляет около 4% всех опухолей кости. Наблюдается главным образом в возрасте 30—40 лет. Поражает преимущественно длинные трубчатые кости. Чаще бывает доброкачественной, но существует и злокачественный вариант, отличающийся агрессивным ростом и бурным метастазированием.

...трофическая язва. — Длительно не заживающая и склонная к обновлению рана, возникающая, в частности, при повреждении крупного периферического нерва или спинного мозга.

* Григорий Резниковский. «Раковый узел» А. И. Солженицына // «Звезда Востока» (Ташкент). 1991. № 2. С. 101.

** Там же.

*** РГАЛИ, ф. 2511, оп. 2, д. 2, л. 15.

С. 58. ...*королева злокачественных опухолей* — меланобластома. — Опухоль, происходящая из клеток, вырабатывающих темно-бурый пигмент меланин. Меланомы могут развиваться из клеток кожи, слизистой оболочки рта, носоглотки, прямой кишки, из оболочек глаз, головного и спинного мозга.

И. Е. Мейке на вопрос А. С. о меланобластома ответила: «...это “королева опухолей”. Самая злокачеств<енная> из злокачественных, быстро даёт метастазы, от которых и погибают заболевшие ею. Лечение этого заболевания тоже сложное. Многие пробуют, но остаётся лучевая терапия, непосредственно на опухоль. Затем в 1-й этап лимфоузлов вводят коллоидное золото, если его нет — удаляют оперативным путём. Выздоровливают очень немногие»*.

С. 59. ...*эмбихинный укол*... — Эмбихин — синтетический препарат из группы хлорэтиламинов. Подавляет деление клеток и поэтому вызывает уменьшение лейкоцитов. Эмбихин назначают внутривенно для лечения некоторых форм злокачественного лейкопролия, в том числе лимфогранулематоза на начальных и средних стадиях.

Болезнь Костоглотова была та самая, что у Азовкина... — Далее, на с. 289, болезнь эта названа семиномой. Это — опухоль, обычно злокачественная, возникающая в мужской, реже в женской, половой железе.

Их трудные отношения начались ещё с первого знакомства. — И. Е. Мейке вспоминает:

«Было это зимой 1954 года, я тогда работала в онкологической клинике в Ташкенте. В одно из дежурств медицинская сестра мне сказала, что поступил тяжёлый больной и лежит он, как все наши больные, которым негде было остановиться. А очереди ждали под дождём, где угодно. Вечером они собирались в маленьком вестибюльчике. И там ночевали на полу или на скамейках. Это же послевоенное время, это убожество сплошное было <...>

Я вышла как дежурный врач посмотреть, какие у меня там больные, ещё не зачисленные в наше отделение, и увидела вот этого тяжёлого больного, о котором мне говорили. Это был относительно молодой человек (тридцати пяти лет — это потом я узнала). Высокого роста. В такой заплатанной шинельке, рюкзачок какой-то там маленький, военный, понимаете, весь тоже заплатанный-заплатанный. Ну, и, свернувшись, он лежал на полу. Шёл сильный дождь, он весь промок. И мне как-то захотелось улучшить его положение. Скамейки все заняты, а в нашем рентгеновском коридоре, который был закрыт для посторонних, тоже находились скамейки. И я распорядилась, чтобы его туда поместили и дали какой-то матрасик из нашего отделения. Ну, он это запомнил очень надолго — вот этот момент. Я, конечно, забыла об этом.

Он мне показал документ, что он ссыльный, приехал из Казахстана и находится под наблюдением КГБ. И вот этот КГБ ему дал разрешение

* Там же, оп. 1, д. 90, л. 4 с об.

только на 24 часа, хотя дорога длинная. Поэтому он сказал: “Я никуда не уйду, что хотите, со мной делайте”. А у него боли были сильные — живот был “нафарширован” опухолями, и, конечно, он был тяжёлый*.

В письме Н. И. Зубову из Ташкента (9 января 1954) А. С. рассказывает, как началась его больничная жизнь:

«Лагерная хватка всё же бесполезна в жизни: “сиденье” моё в вестибюле увенчалось принятием 5.1. в больницу, тогда как многие менее настойчивые больные за 2 недели сюда попасть не могут. Правда, моё “азовское сиденье” было не из приятных — под проливным ташкентским дождём я так промок, нитки сухой не было в шинели, да и вещи промокли, а из-за чего вещи? — из-за того, что я должен был *сперва* взять по своему “разрешению” вещи из камеры хранения (ибо другого документа нет), а *потом* волочить на себе вещи под дождём через весь город в комендатуру сдать “разрешение” и в больницу. Трое суток в больнице пролежал на коротеньком диванчике в прохладном коридоре, было очень неудобно, но хоть уши были свободны, а вчера перевели в палату — мягко, тепло, но окружающие — какие-то глупые сероки, целыми днями ведут глупейшие споры, от чего я отвык за год кок-терекской келейной жизни, да таких-то дурных нарочно не соберёшь. Шахматы стоят — никто не играет»**.

С. 62. ...«*cito*»... — быстро (лат.). Пишется на медицинских рецептах в особо срочных случаях.

...она вызвала его определить группу крови и приготовила пустой шприц взять у него из вены... — Один из вопросов анкеты, составленной А. С. для своих докторов, был о смысле этой процедуры. Л. А. Дунаева ответила:

«Кровь в количестве 3 см³ — 5 см³ берут каждый раз перед переливанием крови, помимо определения группы, т. к. несмотря на однородные группы имеются ещё особенности крови, и кровь донора может оказаться не совместимой с кровью реципиента, несмотря на одинаковые группы. Эта проба называется определение “совместимости” <...>***

Чужой не хочу, своей ни капли не дам. — Обыгрывается фраза из «Марша танкистов» (слова Б. С. Ласкина, музыка Дм. Я. и Дан. Я. Покрасс) из кинофильма «Трактористы» (1939):

..Чужой земли мы не хотим ни пяди,
Но и своей — вершка не отдадим!****

Сам Ласкин зарифмовал пассаж из Политического отчёта Центрального Комитета XVI съезду ВКП(б) (27 июня 1930): «Ни одной пяди чужой

* «Правда Северо-Запада». 10 декабря 2003.

** РГАЛИ, ф. 2511, оп. 2, д. 2, л. 3.

*** Там же, оп. 1, д. 85, л. 9, об.

**** Песни из советских кинофильмов. М.: Госкиноиздат, 1951. С. 39.

земли не хотим. Но и своей земли, ни одного вершка своей земли не отдадим никому»*. См. далее: «...он по-прежнему стоял на принципе: чужой крови не хочу, своей не дам!» (с. 276).

С. 64. ...объяснила схему квадрантов... — Квадрант — любая из четырёх областей (углов), на которые плоскость делится двумя взаимно перпендикулярными прямыми.

Н. И. Зубову из Ташкента (9 января 1954) А. С. пишет:

«Я зачислен в т<ак> наз<ываемое> “лучевое отделение”, по оси пупка расчертили мне живот на четыре квадранта, как в тригонометрии, и каждый день по 20 м<инут> глушат рентгеном один из них»**.

...снаряды-кванты... — Как поток частиц гамма-квантов принято рассматривать, в частности, гамма-лучи, используемые для подавления злокачественных опухолей.

С. 66. ...Людмила Афанасьевна вызывала у него доверие <...> больше всего тем, как она с первого дня уверенно щупала контур опухоли и шла точно-точно по нему. — По этому же признаку А. С. определяет квалификацию врача, осматривавшего его в Лефортовской тюрьме после ареста 12 февраля 1974 г.: «Разденьтесь до пояса. Ляжьте. Где у вас опухоль была? Всё знает, стервец, и щупает неплохо, прямо идёт по краям петрификата. Значит, врач неподдельный»***.

С. 67. ...гистологический анализ... — исследование развития, строения и функциональных свойств тканей.

...о моей биопсии... — Биопсия — микроскопическое исследование болезненно изменённой ткани для определения характера заболевания.

Первый хирург, украинец, который назначил мне операцию и подготовил меня к ней, был взят на этап в самую ночь под операцию. — В «Архипелаге ГУЛАГе» А. С. рассказывает: «Хирург Янченко, который должен меня оперировать, зовёт меня на осмотр <...>» (Т. 6. С. 239). И далее: «Как раз накануне назначенной мне операции арестовали и хирурга Янченко, тоже увели в тюрьму» (Там же. С. 240).

С. 68. ...дней через пять привезли с другого лагпункта другого хирурга, немца, Карла Фёдоровича. <...> он осмотрелся на новом месте и ещё через денёк сделал мне операцию. — Операцию А. С. по удалению злокачественной опухоли сделал хирург-заключённый К. Ф. Донис.

Я лежал после операции, на мне — мешочки с песком. — После операции на брюшной полости швы сначала прижимают мешочками с песком. Затем мешочки меняют на пузырь со льдом.

* И. В. Сталин. Сочинения. Т. 12. М.: Госполитиздат, 1949. С. 261.

** РГАЛИ, ф. 2511, оп. 2, д. 2, л. 3.

*** А. Солженицын. Бодался теленок с дубом. С. 384.

Прибежал мой дружок, шепнул, что я тоже в списке на тот этап, начальница санчасти мадам Дубинская дала согласие. <...> Ну, я твёрдо решил: ехать в телячьих вагонах с неснятыми швами — загноится, это смерть. Сейчас за мной придут, скажу: стреляйте тут, на койке, никуда не поеду. Твёрдо! Но за мной не пришли. — В «Архипелаге ГУЛАГе» А. С. рассказывает свою историю:

«В том большом этапе был и я. И начальница санчасти Дубинская согласилась на моё этапирование с незажившими швами. Я — чувствовал и ждал, как придут — откажусь: расстреливайте на месте! Всё ж не взяли» (Т. 6. С. 241).

В 1950—1952 гг. Дубинская была в Экибастузе в звании старшего лейтенанта.

...сроку мне оставалось меньше года. — Операция была сделана А. С. 12 февраля 1952 г., а его лагерный срок кончился 9 февраля 1953-го.

С. 69. *Срез вашей опухоли я направил на гистологический анализ в Омск, на кафедру патанатомии...* — В письме Е. А. и Н. И. Зубовым из Рязани (19—20 января 1958) А. С. рассказывает: «...Дóблинка, где собраны все материалы Экибастуза, признала невозможность найти в моём “хранящемся архивном деле” какие-либо следы операции и посланной в Омск биопсии. Из ГУЛАГа вторично ответили чуть не матом, чтоб я отстал»*. Иначе повели себя врачи. В письме тем же адресатам (3 мая 1958) А. С. сообщает: «...необычайная любезность Пат<олого>-анат<омического> отд<еления> Омск<ой> клинич<еской> б<ольни>цы доставила по *моей* (без печати) просьбе мои экибастузские анонимные стёкла гистологических препаратов — в Ряз<анский> онкодиспансер. Т<аким> о<бразом> фактически доказано, что у меня была именно семинома, а не тератома <...>»**

Долинка — посёлок в 45 км к юго-западу от Караганды, административный центр Карагандинского трудового лагеря (Карлага).

С. 70. *...на общих работах...* — Общие работы — самые тяжёлые в данном лагере.

Брат Людовика! — В романе Александра Дюма «Виконт де Бражелон, или Десять лет спустя» (1848—1850) брат-близнец Людовика XIV, Филипп, ради устойчивости королевской власти был окружён непроницаемой тайной. С самого рождения он содержался под домашним арестом, позже был переведён в Бастилию, затем посажен в крепость на острове Сент-Маргерит. Чтобы даже тюремщики не могли заметить сходства с королём, на лицо узника была надета железная маска, которую под страхом смерти запрещалось снимать.

* РГАЛИ, ф. 2511, оп. 2, д. 4, л. 38, об.

** Там же, д. 5, л. 4.

С. 73. ...все процессы природы характеризуются асимптотическим насыщением, когда большие усилия приводят уже к малым результатам. — Асимптота (от греч. *asymptōtos* — несовпадающий) — прямая, к которой приближаются, но никогда не совпадают с ней точки некоторой кривой, сколько бы они ни удалялись в бесконечность.

С. 75. ...*секретное лекарство — иссык-кульский корень...* — снадобье, которым пользовался сам А. С. Из Джамбула он пишет Н. И. Зубову (3 декабря 1953):

«Я узнал, что в Киргизии в 120 км от Джамбула живёт человек, лечащий раковые заболевания «иссык-кульским корешком» (кажется, полатыни — *Aconitum*). Я был на приёме у майора Калашникова в ОблМВД и почти добился разрешения туда ехать, как нашёл пузырёк настойки этого корешка в Джамбуле вместе с рецептом, из которого явствует, что месяца на 2 мне пока хватит. И я решил пока вернуться в Берлик. Через 2 месяца посмотрим»*.

Aconitum (от лат. *aconitus* — волчий корень) — здесь: многолетнее травянистое растение семейства лютиковых, большинство видов которого ядовиты. По-русски — аконит, или борец.

Сообщая в письме Н. И. Зубову из Ташкента (9 января 1954), что со второго сеанса облучения «самопроизвольные боли вообще прекратились, опухоль стала мягче», а дают здесь иным «сеансов по 30, иным по 45», А. С. замечает: «...если опухоль разрушится в более короткий срок, то я объясню им, что победа рентгена была подготовлена иссык-кульским корешком. 2-й тур корешка кончаю завтра и перерыв до 25/1»**. В переписке с Н. И. и Е. А. Зубовыми речь об иссык-кульском корне заходит неоднократно. Упоминается он также в письме А. С. ростовской знакомой Ирине Арсеньевой (11 декабря 1953): «А вот именно сегодня самочувствие моё испортилось — какое-то вялое общетонотное состояние — и не пойму — то ли от корешка (сегодня пью 8 × 7 капель, пора, наверно, уменьшить дозу), то ли от болезни»***.

С. 76. ...*вечная ссылка. Вечная, как звёзды. Как галактики.* — Этот образ возник у А. С., как только в Джамбульской областной комендатуре ему велели расписаться под уведомлением о вечной ссылке под гласным надзором районного управления МГБ. Тогда же он сочинил эпиграмму:

Чтоб сразу, как молот кузнечный
Обрушить по хрупкой судьбе, —
Бумажку: я сослан навечно
Под гласный надзор МГБ.

* Там же, д. 2, л. 1.

** Там же, л. 3, об.

*** Наталья Решетовская. В круге втором. М.: Алгоритм, 2006. С. 195.

Я выкружил подпись безпечно.
 Есть Альпы. Базальты. Есть — Млечный,
 Есть звёзды — не те, безупречно
 Сверкающие на тебе.
 Мне лестно быть вечным, конечно!
 Но — вечно ли МГБ? («Архипелаг ГУЛАГ». Т. 6. С. 364).

...вся интуиция её, наблюдательность и память подсказывали, что опухоль — та самая, именно та, не тератома и не саркома. — Тератома — опухолевидное образование, возникающее в связи с нарушениями эмбрионального развития тканей. Из тератомы могут развиваться тератобластома (эмбриональная злокачественная опухоль), рак или саркома с последующим метастазированием.

С. 77. ...будто бы Лев Толстой сказал про своего брата: он имел все способности писателя, но не имел недостатков, делающих писателем. — В «Воспоминаниях» (1902—1906) Л. Н. Толстой рассказывает о брате Николае, который был на шесть лет старше его и умер 37-летним: «Он был удивительный мальчик и потом удивительный человек. Тургенев говорил про него очень верно, что <он> не имел только тех недостатков, которые нужны для того, чтобы быть писателем. Он не имел главного нужного для этого недостатка: у него не было тщеславия, ему совершенно неинтересно было, что о нём думают люди. Качества же писателя, которые у него были, было прежде всего тонкое художественное чутьё, крайнее чувство меры, добродушный, весёлый юмор, необыкновенное, неистощимое воображение и правдивое, высоконравственное мировоззрение, и всё это без малейшего самодовольства. Воображение у него было такое, что он мог рассказывать сказки или истории с привидениями или юмористические истории в духе *m-me Radcliff* без остановки и запинки целыми часами и с такой уверенностью в действительность рассказываемого, что забывалось, что это выдумка»*.

...перед статьёй её (второй десяток их уже печатался, маленьких, но всё по делу)... — В 1963 г. Л. А. Дунаева сообщила А. С.: «Имею 19 печатных работ»**. Одна из них — в соавторстве с Н. А. Новиковым и З. Р. Рахимовым — «Рак гортани (по материалам Республиканского онкологического диспансера УзССР за 1945—1949 гг.)» была напечатана в журнале «За социалистическое здравоохранение Узбекистана» (1955. № 6. С. 43—47).

С. 78. ...из Ташауза... — Ташауз — областной центр в соседней Туркмении.

...от Анны Зацyrко. — В письме Е. А. и Н. И. Зубовым из Рязани (18 января 1962) А. С. рассказывает о приезде к нему домой А. Я. Джигурды, которая станет прообразом матери Вадима Зацyrко:

* Л. Н. Толстой. Собр. соч.: В 22 т. Т. 14. М.: Худож. лит., 1983. С. 426.

** РГАЛИ, ф. 2511, оп. 1, д. 85, л. 3.

«Только что меня прервала совершенно незнакомая мне женщина: старуха, хирург, сама из Симферополя (фамилия — Джигурда, но, м. б., по мужу) — она приехала из Ростова (живёт сейчас в Новочеркасске) — в Москву, чтобы искать средства вылечить сына — у него... (...пласта? миопласта?) какой-то вид костного рака. Ко мне приехала по слухам — советоваться об иссык-кульском корне и берёзовом грибе. Выяснила мой анамнез и попросила разрешения произвести прощупывание моей опухоли “по Войно-Ясенецкому”: чтобы я свободно дышал через рот, а она очень мягко начиная с самой большой окружности стала сужать круги по спирали — и так легко прощупала мою опухоль. Я убедился, что размеры её вполне сносны, жить можно». На полях приписка: «У неё был инфаркт, она инвалид 1-й группы — и готова лететь самолётом в Талас — спасти сына»*.

Через два с половиной месяца, 3 апреля 1962 г., Анна Яковлевна Джигурда писала А. С.:

«Ни рентгенотерапия, проведённая в Ростове-на-Дону, ни лечение новейшим антибиотиком в Москве в онкоинституте положительных результатов для здоровья моего сына не дали. К сожалению, не помогли также гриб чага и иссык-кульский корень. Здоровье его быстро идёт на нет. Всё же, несмотря ни на что, он хочет работать и просит ему не мешать. В печени у него метастазы.

Днями вылетаю вместе с ним в Киргизию. Решила, пока он жив, быть с ним»**.

Анну Яковлевну, помнившую многих людей, арестованных в 1930-е годы, А. С. включил в список свидетелей, чьи «рассказы, письма, мемуары и поправки» использованы при создании «Архипелага ГУЛАГа» (Т. 4. С. 14, 15).

С. 80. ...снабжение онкодиспансера радиевыми иголками... — При опухолях языка, нижней губы, век и некоторых других локализациях для равномерного внутриволостного облучения в саму опухоль вкалывают иголки, заполненные бромистой солью радия или иными радиоактивными соединениями. Оболочку этих иголок делают из платины, чтобы защитить ткань от некроза в месте её соприкосновения с препаратом. Сеанс может продолжаться до 12 часов. См. далее: «...пока в языке у него стояли радиевые иголки, его держали под замком, как банковскую ценность...» (с. 120).

...«Стабилизатор»... — электровакуумный прибор, обеспечивающий устойчивое напряжение.

...смотрела бариевую взвесь в тонком кишечнике больного... — Сернокислый барий не растворяется в воде и кислотах и хорошо поглощает рентгеновские лучи. В смеси с манной кашей он проглатывается больным и заполняет желудочно-кишечный тракт. После этого при просвечивании желудка и кишок получается тень, позволяющая судить об их форме.

* Там же, оп. 2, д. 8, л. 15.

** Там же, оп. 1, д. 84, л. 1.

С. 81. ...*для себя она пробавлялась русским авосем...* — Поговорка из «Сказки о попе и о работнике его Балде» (1830) А. С. Пушкина:

Щёлк щёлку ведь розь.
Да понадеялся он на русский авось*.

С. 82. ...*рентгеновские лечения, благополучно, успешно или даже блистательно закончившиеся десять и пятнадцать лет тому назад дачею крупных доз облучения, — выявлялись теперь в облучённых местах неожиданными разрушениями и искажениями.* — Размышления Л. А. Донцовой, связанные с поздними лучевыми изменениями, основываются на письме Л. А. Дунаевой с ответами на вопросы А. С.:

«Меня очень расстраивают больные дети, которым мы проводили облучение 10—15—20 лет тому назад по поводу доброкачественных опухолей. Теперь уже взрослые, они приходят с изменениями в области бывшего процесса, вызванными воздействием облучения. Изменения эти бывают настолько большими, что в некоторых случаях юноша или девушка являются инвалидами в различной степени. Особенно большие изменения получаются в тех случаях, где во время лечения облучалась зона роста кости, вследствие чего резко нарушается рост кости. Например, конечность (рука или нога) значитель<но> отстаёт в размерах от здоровой, мягкие ткани тоже становятся атрофичными, грудь, подвергавшаяся облучению, делается меньше здоровой и, конечно, плохо функционирует (мать не может кормить этой грудью — не вырабатывается молоко) и т. д. Эти изменения в тканях организма называют поздними лучевыми изменениями»**.

С. 84. ...*«Медицинскую радиологию» освободить, статейки дочёсть.* — Научно-теоретический журнал «Медицинская радиология» выходил в Москве в Медгизе под грифом Министерства здравоохранения Союза ССР с 1956 г. Сначала раз в два месяца, с 1959 г. — раз в месяц. В 1994 г. преобразован в журнал «Медицинская радиология и радиационная безопасность».

...*Тахта-Купыр...* — город в Каракалпакии, на западе Узбекистана, километрах в восьмистах от Ташкента.

...*в серо-зеленоватом тафтяном платьи...* — Тафта — плотная шёлковая или хлопчатобумажная глянцевиная ткань с поперечными мелкими рубчиками.

С. 85. *Всякий раз к отпуску <...> лейкоциты её, монотонно падающие весь год, снижались до двух тысяч, как преступно было бы довести какого-нибудь больного.* — Вспомним, что даже у обречённого Азовкина лейкоцитов «три тысячи четыреста» (с. 58).

* А. С. Пушкин. Полн. собр. соч.: В 10 т. Т. 4. Л.: Наука, 1977. С. 305.

** РГАЛИ, ф. 2511, оп. 1, д. 85, л. 3, об. — 4.

С. 87. ...какой-то оживлённый шум поднялся в магазине, повалил с улицы народ и все выстраивались в гастрономический и в кассу. <...> Ещё ничего не было за изогнутым оргстеклом прилавка, но теснившиеся женщины точно сказали, что будут давать ветчинно-рубленую по килограмму в руки. — В письме Е. А. и Н. И. Зубовым из Ташкента (21 июня 1954) А. С. рассказывает, как удачно в четвёртом по счёту гастрономе нашёл корицу: «Пока я платил в кассу, выбросили колбасу — купил кило и наслаждаюсь, её не так легко поймать»*.

С. 88. ...шестипудовые мешки... — Под сотню килограммов (в пуде 16,38 кг).

С. 89. ...к тому же старому зданию из серого кирпича с добротной открытой расшивкой швов... — Стены корпуса не были оштукатурены, и аккуратная кирпичная кладка оставалась открытой.

С. 91. ...Ефрем в тринадцать лет уже скакал, из нагана стрелял... — Геройства тринадцатилетнего Ефрема приходится на Гражданскую войну. См. далее его рассказ о том, как он воевал: «Под Ижевском. Учредилку били. Я ижевских сам семерых застрелил» (с. 177).

...читал по нужде <...> «Краткий Курс» до Четвёртой главы. — «Краткий Курс» — подзаголовок «Истории Всесоюзной Коммунистической партии (большевиков)», написанной И. В. Сталиным. Впервые печаталась по главам в газете «Правда» с 9 по 19 сентября 1938 г. Книгой выпущена 1 октября 1938-го. В первых трех главах излагаются в канонической версии события партийной истории от борьбы за создание РСДРП до поражения первой русской революции (1883—1907). В злосчастной четвёртой главе предпринята попытка научнообразно обосновать успехи большевиков. Постановлением ЦК партии от 14 ноября 1938 г. партийные, советские и хозяйственные кадры, кадры всей интеллигенции были обязаны приступить к изучению «Краткого курса». Каждый год в сети политпросвещения начинался с проработки первой главы и обычно заканчивался проработкой третьей. Четвёртая глава, через которую было не продаться, сама собой оставалась нетронутой. Об этом идёт речь в романе А. С. «В круге первом» (Глава 88 «Передовое мировоззрение»).

С. 92. ...это были рассказы маленькие <...>. В оглавлении их было насыпано, как гравия. — В этом, 10-м томе Полного собрания художественных произведений Л. Н. Толстого в 15 томах (М.; Л.: Госиздат, 1930) — 50 рассказов, некоторые — меньше страницы.

С. 93. Ещё вчера заметил Ефрем такое название: «Чем люди живы?» — Рассказом «Чем люди живы» открывается 10-й том (с. 3—19).

* Там же, оп. 2, д. 2, л. 14.

Языки их мало сходились, и разговаривали они друг с другом по-русски. — Если узбекский язык Ахмаджана принадлежит тюркской группе алтайской семьи, то татарский язык Сибгатова — кыпчакской группе тюркских языков.

С. 94. *Их ехал целый штат в Или, открывать новый участок...* — Посёлок Или расположен на одноимённой реке. Железнодорожная станция в 64 км к северу от Алма-Аты.

С. 97. *...Толстой писал только оптимистические и патриотические вещи <...> «Хлеб». «Пётр Первый». Он — трижды лауреат Сталинской премии...* — Для Русанова Толстой — это прежде всего А. Н. Толстой (1882—1945), автор повести «Хлеб» (1937), превозносящей роль Сталина в обороне Царицына, и романа «Пётр I» (1929—1930; 1933—1934; 1944—1945), оставшегося незаконченным, но загодя обеспечившего автору Сталинскую премию (1941). В 1943 г. Сталинская премия досталась Толстому за трилогию «Хождение по мукам» (1927—1928; 1940—1941), в 1946-м (посмертно) — за драматическую дилогию «Иван Грозный» (1941—1943).

С. 97—98. *Это который — зеркало русской революции, рисовые котлетки?..* — Ссылки на статью В. И. Ленина «Лев Толстой, как зеркало русской революции» (1908), изучавшуюся в средней школе. Перечисляя «противоречия в произведениях, взглядах, учениях, в школе Толстого», автор статьи, в частности, уверяет: «С одной стороны, замечательно сильный, непосредственный и искренний протест против общественной лжи и фальши, — с другой стороны, “толстовец”, т. е. истасканный, истеричный хлюпик, называемый русским интеллигентом, который, публично бия себя в грудь, говорит: “я скверный, я гадкий, но я занимаюсь нравственным самоусовершенствованием; я не кушаю больше мяса и питаюсь теперь рисовыми котлетками”»*.

С. 98. *А злу надо противиться, паренёк, со злом надо бороться!* — Непротивление злу насилием — одна из основополагающих идей позднего Л. Н. Толстого.

У Евгении Устиновны, старшего хирурга... — Прототип Евгении Устиновны — Капитолина Николаевна Елисеева. Её коллега А. М. Статников (в повести — Лев Леонидович) рассказывал: «Капитолина Николаевна очень мало разговаривала. Больше молчком, показом: нет, не так, а — вот так. Знаете ли, у каждого хирурга есть свои секреты, секреттики, свои приёмы, которые прячут только для себя. А Елисеева всё, что умела, старалась отдать. Скромница, жизнь сложилась тяжело — двоих детей воспитывала без мужа. Пыталась быть понезаметнее, на собраниях никогда не

* В. И. Ленин. Полн. собр. соч. Т. 17. М.: Политиздат, 1968. С. 209.

выступала, сидела в уголке — тихо. Была как-никак заведующей отделением, начальницей, но, если кто из её хирургов прошттрафится, она ему мягко: вот это ты не сделал, а надо. И — робкая улыбка. А сама из клиники сутками не вылезала*.

...трахеотомические трубки... — При сужении гортани, затрудняющем дыхание, вскрывается дыхательное горло (трахея) и вводится особая трубка.

С. 98—99. ...слова толстовского казака Ерошки о европейских врачах: «Только резать и умеют. Стало, дураки. А вот в горах дохтура настоящие. Травы знают». — Слова дяди Ерошки из повести Л. Н. Толстого «Казаки» (1863) приведены в свободном пересказе**.

С. 99. Латинская пословица говорит: успокаивать боли — удел божественный! — *Divinum opus sedare delorem.*

С. 103. — <...> А я вам ещё пропишу, тоже попьёте. — И повернула голову к сестре: — Аскорбиновую. — Аскорбиновую кислоту — витамин С, синтетически получаемый из глюкозы.

С. 107. ...Костоготов помнил пословицу своего любимого деда: дурак любит учить, а умный любит учиться... — Эта пословица включена В. И. Далем в книгу «Пословицы русского народа: Сборник пословиц, поговорок, речений, присловий, чистоговорок, прибауток, загадок, поверий и проч.» (М.: Университетская типография, 1862. С. 471), а затем и в «Толковый словарь живого великорусского языка» (1863—1866) — см. статью «Учить».

Там каждый вечер читались у них лекции профессорами, кандидатами и просто знающими людьми — по атомной физике, западной архитектуре, по генетике, поэтике, пчеловодству... — В «Архипелаге ГУЛАГе» А. С. рассказывает о 75-й камере в Бутырках, куда он попал в июле 1946 г:

«...Ах, что это была за камера! — не самая ли блестящая в моей тюремной жизни?.. <...>

По команде “подъём!”, выкрикнутой в кормушку, всё зашевелилось: стали убирать поперечные щиты, двигать стол к окну. <...> Ко мне подошёл человек нестарый, ширококостый (но сильно исхудавший), с носом, чуть-чуть закрулённым под ястреба:

— Профессор Тимофеев-Ресовский, президент научно-технического общества 75-й камеры. Наше общество собирается ежедневно после утренней пайки около левого окна. Не могли бы вы нам сделать какое-нибудь научное сообщение? Какое именно?

* Григорий Резниковский. «Ракочный узел» А. И. Солженицына // «Звезда Востока». 1991. № 2. С. 103—104.

** См.: Л. Н. Толстой. Собр. соч.: В 22 т. Т. 3. 1979. С. 299.

Застигнутый врасплох, я стоял перед ним в своей длинной затасканной шинели и в зимней шапке (арестованные зимой обречены и летом ходить в зимнем). Пальцы мои ещё не разогнулись с утра и были все в садинах. Какое я мог сделать научное сообщение? Тут я вспомнил, что недавно в лагере была у меня две ночи принесенная с воли книга — официальный отчёт военного министерства США о первой атомной бомбе. Книга вышла этой весной. Никто в камере её ещё не видел? Пустой вопрос, конечно, нет. <...>

После пайки собралось у левого окна научно-техническое общество человек из десяти, я сделал своё сообщение и был принят в общество. Одно я забывал, другого не мог допонять, — Николай Владимирович, хоть год уже сидел в тюрьме и ничего не мог знать об атомной бомбе, то и дело восполнял пробелы моего рассказа. Пустая папиросная пачка была моей доской, в руке — незаконный обломок грифеля. Николай Владимирович всё это у меня отбирал, и чертил, и перебивал своим так уверенно, будто он был физик из лос-аламосской группы.

Он действительно работал с одним из первых европейских циклотронов, но для облучения мух-дрозофил. Он был из крупнейших генетиков современности» (Т. 4. С. 517—518). «По вечерам споров не было, устраивались лекции или концерты. И тут опять блистал Тимофеев-Ресовский: целые вечера посвящал он Италии, Дании, Норвегии, Швеции. Эмигранты рассказывали о Балканах, о Франции. Кто-то читал лекцию о Корбюзье, кто-то — о нравах пчёл, кто-то — о Гоголе» (Там же. С. 521).

Своё свидетельство оставил и Н. В. Тимофеев-Ресовский:

«Ещё на Лубянке я затеял коллоквиум. <...> Коллоквиум у нас был выдающийся. Потом в Бутырках был, где я с Солженицыным присидел. Он тогда участвовал немножко в нашем коллоквиум. А потом был и в лагере. В Бутырках у нас участвовало человек семнадцать. Три попаки было — два православных и один униатский. Мы его, между прочим, там окропили и окрестили, обратно приняли в лоно православной церкви: он очень просил. Биолог — один я. Четыре физика, четыре инженера, два энергетика и один экономист. Я там читал доклады о биофизике ионизирующих излучений, о хромосомной теории наследственности, о копенгагенских общеметодологических принципах, о значении этих принципов для современной философии онтологического направления, для современной онтологии. Затем физики читали по своей науке. <...>

Попик-то униатский, которого мы окрестили, очень был силен по патристике. Он нам патристику читал — учение о святых отцах церкви. Очень интересный был курс. А старый православный попик, совершенно замечательный, отец Гавриил, прочёл нам три лекции о непостыдной смерти. Почти всем нам это понадобилось потом. Вкратце философское содержание сводилось к тому, что всякие люди начинают думать о смысле жизни и выдумывают обыкновенно всякую чепуху. А смысл-то жизни очень прост — непостыдно умереть, умереть порядочным человеком, чтобы, когда будешь умирать, не было совестно, чтобы совесть твоя была

чиста. Совершенно замечательная лекция была. И, наверное, так через неделю он и преставился*.

С. 108. ...слово *tumor* встречалось ему на каждой странице «Патологической анатомии»... — Глава «Опухоли» в «Патологической анатомии» начинается с определения предмета: «Опухоль (*tumor*), или бластома (сноска: «От греч. *vlastano* — образуя зачатки, семена». — В. Р.), представляет собой реактивное разрастание ткани, которое по существу и по течению процесса, по значению для организма и влиянию на него в значительной степени отличается как от физиологических проявлений роста, так и от тех разрастаний ткани, которые имеют место при воспалениях, регенерациях и гипертрофиях» (Ч. 1. С. 255). На этой же странице слово «*tumor*» повторяется ещё дважды.

С. 109. — Привет, друзья! — объявил он с порога... — Обращение, отданное автором в романе «В круге первом» своему протагонисту Глебу Викентьевичу Нержину. См. далее в речи Костоглотова: «Друзья! Это удивительная история» (с. 125) и др.

...«Геохимические поиски рудных месторождений». — Среди подготовительных материалов к «Раковому корпусу» есть библиографическое описание двух книг сходной тематики: И. И. Гинзбург. Опыт разработки теоретических основ геохимических методов поисков руд цветных и редких металлов. М.: Госгеолтехиздат, 1957. 298 с.; Геохимические поиски рудных месторождений в СССР: Труды Первого Всесоюзного совещания по геохимическим методам поисков рудных месторождений. М.: Госгеолтехиздат, 1957. 467 с.**.

Сбоку от первого описания — помета красным карандашом: РК.

...«Живая вода»... — роман (1950; Сталинская премия, 1951) А. В. Коженикова.

С. 110. ...он читал и слышал, что жалость — чувство унижающее: и того унижающее, кто жалеет, и того, кого жалеют. — В частности, в монологе Сатина из пьесы М. Горького «На дне» (1902), который в школе заучивали наизусть, есть такие слова: «Надо уважать человека! Не жалеть... не унижать его жалостью... уважать надо!»***

С. 113. ...ещё — Сурхан с отрезанной ногой... — Видимо, о нём пишет И. Е. Мейке (между 13 и 16 марта 1963) — А. С.: «Мальчик Сибасин

* Н. В. Тимофеев-Ресовский. Воспоминания: Истории, рассказанные им самим, с письмами, фотографиями и документами. М.: Согласие, 2000. С. 355—356.

** РГАЛИ, ф. 2511, оп. 1, д. 23, л. 88, 89.

*** М. Горький. Полн. собр. соч.: Худож. произведения: В 25 т. Т. 7. М.: Наука, 1970. С. 177.

с саркомой кости (бедра) уже кончил университет и ходит на 2-х костылях, хороший, здоровый мужчина»*.

...стал перелистывать подшивку республиканской «Правды»... — В Узбекистане это была «Правда Востока». В письме Н. И. Зубову из Ташкента (17 января 1954) А. С. сообщает: «...здесь есть и библиотечка, и приносят узбекскую республиканскую газету <...>»**

С. 114. Ася... — Сотруднице ЦГАЛИ Г. Г. Григорьевой, очевидно, заступившей за Асю, А. С. написал (7 октября 1966):

«А Вам не показалось, что Асей я отчасти и люблюсь, что это далеко не “разоблачение”?»***

Другой сотруднице ЦГАЛИ, И. П. Сиротинской, А. С. (тоже 7 октября) просит передать благодарность: «Насчёт смещения девичьего восприятия (Ася) на сколько-то (но десять ли?) лет она, вероятно, права. Но мне кажется, что мировыми проблемами девятиклассницы 55 года тоже уже не занимались, это тоже смещение да на 20 лет!»****

Танго? — Название аргентинского танца Дёмка произносит на французский манер.

С. 115. *Я сто сорок сантиметров делаю и тринадцать две десятых делаю.* — Вполне приличные для девочки результаты прыжков в высоту и бега на сто метров.

Нас в сентябре в мужскую перевели... — Постановлением Совета Министров СССР с сентября 1954 г. в школах крупных городов, с первого по четвертый класс, заново вводилось совместное обучение мальчиков и девочек («Правда», 18 июля 1954).

...о борьбе народов против позорных парижских соглашений... — Парижские соглашения — комплекс документов, подписанных в Париже 23 октября 1954 г. представителями США, Великобритании, Франции, ФРГ и других западных государств. Вступили в силу 5 мая 1955 г. На основе этих соглашений Западная Германия была освобождена от оккупационного режима, присоединилась к Организации Североатлантического договора и вместе с Италией примкнула к Западному союзу (Великобритания, Франция, Бельгия, Нидерланды и Люксембург), преобразованному в Западноевропейский союз.

С. 116. *Пассаж! Гостиный двор!* — крупнейшие ленинградские магазины, расположенные друг против друга на Невском проспекте.

С. 117. *Жизнь дана для счастья!* — вариант афоризма, получившего распространение после очерка В. Г. Короленко «Парадокс» (1894):

* РГАЛИ, ф. 2511, оп. 1, д. 90, л. 1, об.

** Там же, оп. 2, д. 2, л. 6.

*** Там же, оп. 1, д. 80, л. 6.

**** Там же, л. 8.

«Человек создан для счастья, как птица для полёта...»* См. далее в реплике Костоглотова: «... “Жизнь дана для счастья!” Что за глубина! Но это может и без нас сказать любое животное — курица, кошка, собака» (с. 124).

...подвиг Павла Корчагина <...> подвиг Матросова... — Павел Корчагин — центральный персонаж романа Н. А. Островского «Как закалялась сталь» (см. 1-е примечание к с. 124). Александр Матвеевич Матросов (Шакирьян Юнусович Мухамедьянов), детдомовец, произвольно выбравший себе имя, отчество и фамилию (1924—1943), погиб в бою за деревню Чернушки Псковской области. По официальной версии, закрыл своим телом амбразуру вражеского дзота. Посмертно удостоен звания Героя Советского Союза.

С. 120. ...был такой философ Декарт. Он говорил: всё подвергай сомнению! — Французский философ Рене Декарт (1596—1650) выдвинул принцип всеобъемлющего, радикального сомнения (*de omnibus dubitandum*). «Человеку, исследующему истину, — писал он, например, в трактате «Первоначала философии» (1641—1644), — необходимо хоть один раз усомниться во всех вещах — насколько они возможны»**. И дальше: «Мы не можем сомневаться в том, что, пока мы сомневаемся, мы существуем: это — первое, что мы познаём в ходе философствования»***.

Поэтому вариантом знаменитой картезианской формулы «*Cogito, ergo sum*» (в переводе с лат. — «Мыслю, следовательно, существую») будет «*Dubito, ergo sum*» («Сомневаюсь, следовательно, существую»).

С. 120—121. — <...> я читаю книгу, — он приподнял с подоконника раскрытую книгу большого формата, — Абрикосов и Струков, патологическая анатомия, учебник для вузов. И тут говорится, что связь хода опухоли с центральной нервной деятельностью ещё очень слабо изучена. <...> Даже прямо написано, — он нашёл строчку, — редко, но бывают случаи самопроизвольного исцеления! — «Самопроизвольное исцеление опухоли без искусственного вмешательства — исключительно редкое явление. Вместе с тем частичные исцеления в опухолях могут иметь место (например, организация и развитие рубца на месте некротического фокуса в опухоли). На основании этого нельзя отрицать возможности исцеления и всей опухоли вследствие дистрофических изменений и гибели её паренхимы, рассасывания мёртвого субстрата и зарубцовывания; это и наблюдается в качестве самопроизвольного исхода некоторых опухолей у животных, реже у человека. Искусственно такой исход опухоли в исцеление можно вызвать у человека при помощи лучей Рентгена, радия, мезотория; у животных нечто подобное

* В. Г. Короленко. Собр. соч.: В 5 т. Т. 2. Л.: Худож. лит., 1989. С. 208.

** Рене Декарт. Сочинения: В 2 т. Т. 1. М.: Мысль, 1989. С. 314.

*** Там же. С. 316.

может происходить с опухолями под влиянием химиотерапевтических воздействий (инъекции селенезина, коллоидального золота и т. д.).

Некоторые опухоли подвергаются обратному развитию под влиянием гормональных факторов; например, рак предстательной железы почти ликвидируется при лечении эстрогенным гормоном яичников — синэстролом, рак молочных желёз у женщин — при лечении гормоном яичка — тестостероном*.

В письме Е. А. и Н. И. Зубовым из Ташкента (24 июня 1954) А. С. рассказывает:

«Вчера я с интересом прочёл раздел “Опухоли” из книги А. И. Абрикосова и А. И. Струкова “Патологическая анатомия”, нахожу, что там много верного. Отмечают, что рентгеновское облучение действует на разные опухоли с различной степенью успеха; утверждают, что семиномы лечиваются синэстролом начисто; обмолвливаются, что бывают случаи самопроизвольного исцеления (так и пишут!) опухолей, но очень редко (читай между строчками — Deus); зарождение опухолей относят к таким причинам, к-рых у меня в Экибастузе хватало; хорошо оттеняют связь опухоли со всем организмом — и в её развитии, и в её обратном воздействии; описывают явление кахексии (истощения) организма от токсинизации его раковой опухолью — точно, что у меня было осенью; наконец многократно преклоняются перед центральной нервной системой, от состояния которой зависит рост или деградация опухолей. Но именно последнее утверждение показывает немощь объективных методов медицины. Это — учебник для ВУЗов, 1953-го года издания»**.

Deus (лат.) — Бог.

С. 121. ...А зависит, оказывается, в этом барьере от соотношения солей калия и натрия. — Соли калия и натрия не только различаются, но и отчасти совпадают по воздействию на организм человека. Так, чтобы успокоить нервную систему, принимают и бромистый натрий, и бромистый калий. Как слабительное используют и сульфид натрия (глауберова соль), и винный камень (кислый виннокислый калий), и сегнетова соль (виннокислый калий-натрий).

С. 122. И будете нам тут про всякое моральное усовершенствование талдыкать... — Нравственное самоусовершенствование для Л. Н. Толстого — залог грядущего обновления человека и человечества.

С. 123. — Слушайте, товарищ, — шептал безголовый с дёмкиной кровати, — вы начали насчёт берёзового гриба... — В письме Н. И. Зубову из Ташкента (5 февраля 1954) А. С. рассказывает о взбудоражившей

* А. И. Абрикосов, А. И. Струков. Патологическая анатомия. Ч. 1. М.: Медгиз, 1953. С. 176.

** РГАЛИ, ф. 2511, оп. 2, д. 2, л. 15.

онкодиспансер новости: «Есть новое (старое??) чисто-русское средство от рака. Один старик, живущий в Фергане, заболел в 51 году раком горла (точнее — гортани). Он лечился здесь, отказался от операции, подлечился рентгеном, ушёл как безнадежный. Несколько человек, лежавших тогда же с ним в той самой палате, где я сейчас, умерло от той же гортани. А сегодня он явился весёлый, под хмельком, обходил всех врачей и хвастался, что вылечился без них. Врачи морщились, кроме одного самого умного, к-рый подтвердил, что этим средством — *берёзовым грибом* вот уж год, как лечится вся Москва и в радиусе 100—200 км его не найдёшь (вероятно, преувеличение). Пока все ахали и охали, я успел старика досконально проинтервьюировать, а также переписал письмо, к-рое он получил от автора этого способа александровского (Владим <ирская> обл <ась>) д-ра Маслова (правильно — Масленикова. — В. Р.). Письмо очень толковое, выдаёт грамотного человека: там и способ употребления, и способ хранения, и сроки хранения, и весовая оценка месячной дозы, и общий режим питания, и даже адреса лиц, торгующих грибом по почте. Сам Маслов отвечает в месяц на 200 писем, и ему не до высылки гриба, но очень интересуется результатами. Мой старик, как пьяный заяц Михалкова, — море ему по колёно, вылечился и ответить Маслову не удосуживается, поручил мне, чему я рад: Маслов мне скорее ответит. Маслову напишу сегодня же (а прогос: этот старик *по почте!* получил от Кременцова исык-кульского корня, пил его, но также хлестал и водку, что Кременцов категорически запрещает, потом бросил, остаток корня обещал переслать мне, но надежда малая).

Речь идёт о грибе, растущем не из земли, а из *берёзы*, большей частью из низа ствола. (Подобные грибы, говорят, бывают и на других деревьях, но нужен берёзовый.) На месте сбора его надо «просушить при невысокой температуре» и побыстрее отправить в почтовой посылке в село Берлик («хорошо сохраняется 2—3 месяца, далее начинает ослабевать»). Сухого гриба на месяц надо 2—2½ кг.

Далее, в Берлике, он измельчается и «1 стакан измельчённого гриба заливается 5-ю стаканами тёплой кипячёной мягкой воды, 48 часов настаивается, процеживается, осадок отжимается» туда же. Настой «пить не менее 3-х стаканов в день».

<...> Сейчас вся клиника с моей бумажки списывает все рецепты и адреса. Паразительна людская беспомощность — без меня никто бы ничего не записал, только охают: «Вот бы нам!»*

— <...> *Или, может быть, Толстого надо сжечь на костре? Может быть, правительствующий Синод не довёл дело до конца? — Не изучав социальных наук, спутал святейший с правительствующим.* — В Определении Святейшего Синода от 20—22 февраля 1901 г., которое упрощённо называют актом отлучения от Церкви и даже предания анафеме Л. Н. Толстого, говорилось о том, что он «проповедует, с ревностью фанатика, ниспровержение всех догматов Православной Церкви и самой сущности

* Там же, л. 11 с об.

веры Христианской», и на этом основании делался вывод «об отпадении его от Церкви»*. Святейший Синод был учреждён в России в 1721 г. взамен упразднённого Патриаршества как высший орган управления Православной Церковью. Правительствующий Сенат, задуманный как высший орган государственного управления, превратился в XIX в. в высший орган суда и надзора. Хотя оба учреждения, духовное и государственное, помещались по соседству — на Сенатской площади в Петербурге, в зданиях, построенных по одному проекту и даже соединённых аркой, но Правительствующий Сенат не имел отношения к Определению Святейшего Синода.

Свои возражения Толстой изложил в «Ответе на Определение Синода от 20—22 февраля и на полученные мною по этому случаю письма» 24 марта — 4 апреля 1901 г.**.

С. 124. *Пусть Островского читает. Больше будет пользы.* — Речь о Н. А. Островском (1904—1936), авторе романов «Как закалялась сталь» (1932—1934) и «Рождённые бурей» (1936, не окончен), во многом определивших тип положительного героя советской литературы.

Люблю тебя, жизнь! — отзвук популярной песни «Я люблю тебя, Жизнь...» (стихи К. Я. Ваншенкина, 1956; музыка Э. С. Колмановского, 1958).

С. 126. *...доктор Масленников...* — Сергей Никитич Масленников (1887—1967). На письмо директора Литературно-художественного музея Марины и Анастасии Цветаевых в Александре Л. К. Готгельфа и главного хранителя И. А. Орловой с вопросами о Масленникове и знакомстве с ним А. С. ответил 18 ноября 1995 г.:

«Я считаю его одним из своих спасителей во время смертельной раковой болезни, настигшей меня в казахстанской ссылке. От какого-то больного в онкодиспансере в Ташкенте получил я его адрес, в остальном же весьма смутные сведения — как же лечиться чагой.

Посылая ему запрос из своей провальной глуши и одиночества, я мало надеялся получить от Сергея Никитича прямой ответ и разъяснения: всем не ответить, да ещё куда-то в Казахстан. Однако в непродолжительном времени — я получил ответ! — это была весточка надежды и тепла. Ещё не этой печаткой, образец которой Вы мне сейчас приложили, — но прямым письмом от руки он терпеливо и исчерпывающе дал мне все пояснения, а к тому же сообщил адреса трёх «заготовителей», живущих в Александре и рядом, — кто бы мог по моему заказу прислать в Казахстан чагу посылкой и даже несколько раз. И так я стал получать чагу и лечился ею больше года. (В выздоровлении моем сошлось несколько влиятельных элементов, но очень верю, что — и чага тут сыграла большую роль.) С тех пор и сам я, даже из Вермонта, посылаю на людские запросы — рецепт применения чаги — уже по своей памяти, и пользуясь теперь лёгкой техникой ксерокопирования.

* «Церковные ведомости». 24 февраля 1901.

** См.: Л. Н. Толстой. Собр. соч.: В 22 т. Т. 17. 1984. С. 199—207.

Я затем ответил Сергею Никитичу благодарным письмом — на этом наша переписка и кончилась. К сожалению, письма ссыльного времени у меня не сохранились, очень много было переездов, да у недавнего ээка не было манеры “собирать архив”, напротив — надо было иметь как можно меньше всяких письменных следов. <...>

Очень рад, что Вы так много делаете для восстановления светлой памяти Сергея Никитича Масленникова, пошли Вам Бог успеха.

Одновременно это — и сердечный вклад в память российского Земского Движения XIX—XX века, так безжалостно растоптанного после октября 1917 — и так трудно, через такое упрямое сопротивление властей, учреждений и партий восстанавливаемое сегодня*.

...Павел Николаевич дочитывал бюджетный доклад в газете... — См. далее: «...бюджетный доклад Зверева» (с. 154). Доклад министра финансов А. Г. Зверева «О Государственном бюджете СССР на 1955 год» занял в «Правде» (4 февраля 1955) целый разворот.

С. 127. — *Так трутовица? — добивался Ефрем. — На неё огонь высекали раньше?* — Ещё и после Отечественной войны в деревнях прикуривали сигарки, ударами кремня о кресало высекая искры, от которых загорался трут.

Из деревни Мильцево Владимирской области, где А. С. жил, работая в Межиновской средней школе, он писал Е. А. и Н. И. Зубовым (6 сентября 1956):

«2-го сентября обошёл окружные леса в поисках “трутовицы” (сиречь — берёзового гриба) — нашёл... 100 грамм. А местные жители все его хорошо знают и видели не раз»**.

С. 133. *Один философ сказал: если бы человек не болел, он не знал бы себе границ.* — Из Рязани А. С. пишет Е. А. и Н. И. Зубовым (8 июля 1957): «Ну да, конечно, болезни постараются, чтоб я не забывался. Кто это сказал: “Если бы человек не знал страданий — он не знал бы границ себе?”***»

Во сне после Бородинского сражения Пьер Безухов как будто слышит чей-то голос: «Ежели бы не было страдания, человек не знал бы границ себе, не знал бы себя самого»****.

С. 134... *...ровный шумок реки, быстрой горной реки, которая билась и пенилась внизу, за следующими корпусами, под обрывом.* — Эта река названа в 3-й редакции (1959) романа «В круге первом» (см. 1-е примечание к с. 406) и в рассказе «Правая кисть» (1960): «Под крутым берегом клокотал мутножёлтый бешеный Салар»*****.

* Архив музея.

** РГАЛИ, ф. 2511, оп. 2, д. 3, л. 9, об.

*** Там же, д. 4, л. 16, об.

**** Л. Н. Толстой. Собр. соч.: В 22 т. Т. 6. 1980. С. 304.

***** В настоящем издании т. 1 (2006), с. 151.

С. 135. ...*Олег слышал <...> как будто Четвёртую симфонию Чайковского, звучащую в нём самом...* — 11 июня 1964 г. В. Я. Лакшин записал слова А. С.: «В музыке больше всего люблю Чайковского. Если бы мне сказали, что в мире останется только одно произведение, я выбрал бы 6-ю симфонию, хотя Бетховен, казалось бы, должен быть мне ближе»*.

Десятью годами раньше, 11 февраля 1954 г., А. С. писал из Ташкента Н. И. Зубову: «А 4-ю симфонию Чайковского люблю очень, но знаю гораздо меньше, чем 5-ю и 6-ю, на память не скажу о 2-й части и о скерцо»**.

В письме Е. А. и Н. И. Зубовым из Рязани (8 июля 1957) А. С. рассказывает:

«Не могу Вам передать, что за наслаждение иметь проигрыватель для долгоиграющих. Купили в Москве: 4-ю, 5-ю и 6-ю Чайковского, 5-ю Бетховена, 1-й к<он>ц<ер>т Чайков., 1-й и 2-й кцт Рахманинова, концерт Обуховой (8 романсов) — и ещё было “Трио” Чайковского — и любую из этих вещей можно всегда поставить — или для чистого наслаждения или в качестве “музыкальной защиты” от соседей»***.

Н. И. Зубову А. С. пишет из Рязани (12 декабря 1958): «Я сейчас впиваюсь в 4-ю симфонию Чайковского, без конца её слушаю. Особенно потрясают 1-я часть, 2-я и самое начало скерцо. У меня несколько изменённая трактовка, не та, о которой П<ётр> И<льич> писал фон-Мекк. В 1-й части я нахожу особенную тему счастья — счастья неуверенного прозревания (как будто ощупью гладишь лицо дорогого человека, ещё не веря, что начинаешь видеть его глазами) или неуверенного возврата к жизни или переступа через порог свободы — гениальная мелодия!»****

С. 136. ...*из креп-жоржета...* — Креп-жоржет — шёлковая ткань, тонкая, полупрозрачная, зернистая на ощупь.

Шила она на старом бабушкином «Зингере»... — На российском рынке бытовые швейные машины американской «Мануфактурной компании Зингер» появились в 60-е годы XIX в. С 1902 г. их выпускает механический завод, построенный акционерным обществом «Компания Зингер в России» в подмосковном Подольске. В 1913 г. здесь достигнут пик производства — 600 тыс. штук. Первые советские швейные машины изготовлены на том же заводе в 1924 г.

С. 137. ...*Зоя сама себе сшила костюм обезьяны с великолепным хвостом. <...> Но перед самой раздачей призов какие-то грубые парни ножом отсекли её хвост <...> Без хвоста костюм много потерял, да Зоя ещё и раскисла, — и никакой премии не получила.* — Опоздав на час к ташкентскому поезду, А. С. провёл новогоднюю ночь на 1 января

* Владимир Лакшин. «Новый мир» во времена Хрущева. С. 238.

** РГАЛИ, ф. 2511, оп. 2, д. 2, л. 13.

*** Там же, д. 4, л. 15.

**** Там же, д. 5, л. 37, об.

1954 г. в комнате отдыха на вокзале станции Чу. Прямо со станции он пишет Н. И. Зубову (1 января 1954): «А в клубе здешнем был бал-маскарад с премированием лучшего костюма, но, по рассказам соседей по койкам, вернувшихся оттуда, у девушки, бывшей в наиболее оригинальном костюме обезьяны, остряки-танцующие оторвали хвост, от чего шансы её на получение премии упали»*.

С. 142. *Невробластома*... — злокачественная опухоль нервной ткани, наиболее распространённая среди детей.

...*гипернефрома*... — чаще всего встречающийся вид опухоли почек (90% всех опухолей почек). Бывает доброкачественной и злокачественной. Доброкачественная опухоль растёт медленно, нередко годами, не давая метастазов и не прорастая в окружающие ткани. Злокачественная — быстро увеличивается, прорастает в окружающие ткани и даёт метастазы, преимущественно в лёгких и в костях.

С. 144. ...*застелен, как бы на самаркандский вкус, небесно-голубой плюшевой скатертью*... — Самарканд называют городом голубых куполов.

С. 145. *Но, позвольте, вы же... русский?* — Для Зои все ссыльные — это ссыльнопоселенцы (немцы, карачаевцы, калмыки, чеченцы и т. д.), словом, те, кто принадлежал к сосланным народам. А русских среди них не было.

...*понятия не имели об уголовном кодексе, и что там есть за статьи, пункты, и как их можно толковать расширительно*. — О «диалектческом и широчайшем истолковании» каждого из четырнадцати пунктов 58-й статьи рассказывает А. С. в «Архипелаге ГУЛАГе» (Т. 4. С. 70—77).

...*и даже не знаете элементарного различия между ссыльнопоселенцем и административно-ссылным*. — В отличие от ссыльнопоселенцев, вывезенных в Сибирь и Среднюю Азию вместе со своим народом, административно-ссылных отправляли на принудительное поселение безотносительно к национальной принадлежности. В частности, административная ссылка ждала эзков, отбывших срок заключения в Особых лагерях.

«*Личный почётный гражданин*»... — Почётные граждане — тонкая привилегированная прослойка городских обывателей между дворянами и купцами в России XIX — начала XX вв. Если потомственное почётное гражданство распространялось на всех нисходящих членов семьи, то личное почётное гражданство присваивалось только данному лицу и его жене. Почётные граждане освобождались от рекрутской повинности, подушной подати и телесных наказаний, имели право участвовать в городском самоуправлении.

* Там же, д. 2, л. 2.

С. 146. *Чистый десятый пункт — не посылают, а десятый с одиннадцатым — уже посылают.* — Сам А. С. был осуждён по 58-й статье, пункты десятый и одиннадцатый.

...одиннадцатый значит — *групповое дело.* — Как групповое дело были квалифицированы письма А. С. другу — Николаю Дмитриевичу Виткевичу, служившему на другом участке фронта. Виткевичем занималась контрразведка части, и военный трибунал осудил его только по статье 58-10. А. С. был этапирован из Германии на Лубянку и шёл по делу *один*, но обвинён был как *группа*.

С. 147. *Вот вас берут перед экзаменами второго семестра — и в мешок.* — Долагерная жизнь Костоглотова основана на биографии сержанта батареи А. С. — Ильи Матвеевича Соломина (1923—2008).

С. 149. *Тот ураган прошёл... Нас мало уцелело... / На перекличке дружбы многих нет...* — Из стихотворения С. А. Есенина «Русь Советская» (лето 1924)*.

Кого позвать мне?.. С кем мне поделиться / Той грустной радостью, что я остался жив? — Там же.

С. 151—152. *А-ва-рай-я-а!* <...> *Это — из «Бродяги»...* — «Бродяга» (на хинди «Аваага») — индийский музыкальный фильм (1951; премия Каннского кинофестиваля, 1953). Режиссёр и исполнитель главной роли — бродяги Раджа — Радж Капур. В советском прокате с 1954 г. Песня бродяги Раджа «Аваага Нооп» («Бродяга я») дублировалась по-русски: «Авара я, авара я! / Дорога вдаль зовёт меня, зовёт меня. / Авара я, авара я! / Никто нигде не ждёт меня, не ждёт меня» (перевод Э. Б. Александровой).

С. 152. *...в сорок седьмом году на красноярской пересылке в нашей камере не было ни одного бобра — то есть не у кого было ничего отнять. Блатных было чуть не полкамеры. Они проголодались — и весь сахар, и весь хлеб стали забирать себе. А состав камеры был довольно оригинальный: полкамеры урок, полкамеры японцев, а русских нас двое политических...* — В телеинтервью японской компании NET-ТОКЮО 5 марта 1976 г. А. С. заметил: «...один случай с японцами я описал в “Раковом корпусе”. Это истинный случай. Там мой персонаж Костоглотов рассказывает, как на красноярской пересылке японцы бились против урок, и там было двое русских всего, политических, которые приняли участие в драке на стороне японцев, против урок. Случай реальный. Но я не участвовал, мне о нём рассказывал один лагерник, Суворов, он был один из тех двух»**. С Суворовым (58-я статья) А. С. сидел в одной камере в Бутырках на переходе от зимы к весне 1947 г.

* Сергей Есенин. Стихотворения и поэмы. Л.: Сов. писатель, 1986. С. 189.

** Александр Солженицын. Публицистика. Т. 2. С. 368.

С. 152—153. ...ещё один полярный лётчик известный, его именем так и продолжал называться остров в Ледовитом океане, а сам он сидел. — В «Архипелаге ГУЛАГе» А. С. рассказывает о нём подробнее, когда в камеру Бутырской тюрьмы впускают новенького:

«Начинаем знакомиться. Какой-то парень, Суворов, 58-я статья. На первый взгляд ничем не примечателен, но лови, лови: на Красноярской пересылке был с ним в камере некий Махоткин...

— Позвольте, не полярный лётчик?

— Да-да, его имени...

— ...остров в Таймырском заливе. А сам он сидит по 58-10. Так скажите, значит, пустили его в Дудинку?

— Откуда вы знаете? Да.

Прекрасно. Ещё одно звено в биографии совершенно неизвестного мне Махоткина. Я никогда его не встречал, никогда, может быть, и не встречу, но деятельная память всё отложила, что я знаю о нём: Махоткин получил *червонец*, а остров нельзя переименовать, потому что он на картах всего мира (это же — не гулаговский остров). Его взяли на авиационную шарашку в Болшево, он там томился, лётчик среди инженеров, летать же не дадут. Ту шарашку делили пополам, Махоткин попал в таганрогскую половину, и кажется, все связи с ним обрезаны. В другой половине, в рыбинской, мне рассказали, что просился парень летать на Дальний Север. Теперь вот узнаю, что ему разрешили» (Т. 4. С. 516).

История Махоткина упоминается также в романе «В круге первом»: «В Ледовитом океане есть остров такой — Махоткина. А сам Махоткин — лётчик полярный, сидит за антисоветскую агитацию»*.

Василий Михайлович Махоткин (1904—1974) в 1930 г. окончил лётную школу в Севастополе, с 1931-го работал в Севморпути. Арестован 8 апреля 1942 г., 22 августа по обвинению в антисоветской агитации приговорён Особым совещанием к десяти годам исправительно-трудовых лагерей. Выпущен 16 апреля 1951 г., с зачётом рабочих дней. Реабилитирован в 1956-м. Имя Пилота Махоткина получил в 30-х годах остров в Карском море, у Таймырского побережья.

С. 154. ...с удовлетворением прочёл о падении правительства Мендес-Франса (не строй козней! не навязывай парижских соглашений!)... — Пьер Мендес-Франс (1907—1982) — с июня 1954 по февраль 1955 г. премьер-министр и министр иностранных дел Франции. Подписал Парижские соглашения 1954 г. 6 февраля 1955 г. «Правда» сообщила:

«Ранним утром 5 февраля во французском парламенте состоялось голосование по вопросу о доверии правительству Мендес-Франса. 319 депутатов отказали в доверии этому правительству. Только 273 депутата поддержали политику, проводившуюся Мендес-Франсом. Правительство было вынуждено подать в отставку». Помимо процитированной

* В настоящем издании т. 2 (2011), с. 80.

злорадной заметки «Правительственный кризис во Франции» (без подписи), в том же номере был помещён ещё более пристрастный комментарий «К отставке правительства Мендес-Франса» (подписан Наблюдателем). По обыкновению, комментарий предшествует информации.

...погрузился в статью о претворении в жизнь решения январского Пленума о крутом увеличении производства продуктов животноводства. — 7 февраля «Правда» вышла с передовой статьёй «Превратим в жизнь программу увеличения производства продуктов животноводства».

С. 155. ...любили громко попеть «Волочаевские дни»... — Песня «По долинам и по взгорьям...» на стихи П. С. Парфёнова (1894—1937), сочинённые в 1920 г. на мотив популярной «Песни сибирских стрелков», в обработке композитора А. В. Александрова (1883—1946), организатора и художественного руководителя Ансамбля песни и пляски Советской Армии. Авторство стихов официально приписывалось С. Я. Альмову (1892—1948), внёсшему в текст несколько упрощающих поправок. Однако в 1962 г. Верховный суд РСФСР посмертно подтвердил принадлежность слов песни Парфёнову.

...«Мы красная кавалерия — и — про — нас». — Марш Дм. Я. и Дан. Я. Покрасс на слова А. Д'Актиля (А. А. Френкеля) (1923).

С. 159. ...уже второй год, как сказать «Лаврентий Павлыч» вслух, пожалуй, поостережётся. — См. далее: «То свалили Берия с жестяным грохотом пустого стукана...» (с. 228). Л. П. Берия, первый заместитель председателя Совета Министров СССР и министр внутренних дел, член Президиума ЦК КПСС, Герой социалистического труда и маршал Советского Союза, был арестован 26 июня 1953 г. на заседании Президиума ЦК КПСС. Специальным Судебным Присутствием Верховного Суда СССР (18—23 декабря 1953) приговорён к расстрелу, с конфискацией личного имущества и лишением воинского звания и наград. Приговор приведён в исполнение 23 декабря.

С. 159—160. ...даже если предположить, что Берия оказался двурушник и буржуазный националист... — Обвинения, положенные в основу приговора Берии, были подытожены в открытой печати сразу после расстрела:

«Судом установлено, что, изменив Родине и действуя в интересах иностранного капитала, подсудимый Берия сколотил враждебную Советскому государству изменническую группу заговорщиков, в которую вошли связанные с Берия в течение многих лет совместной преступной деятельностью подсудимые Меркулов В. Н., Деканозов В. Г., Кобулов Б. З., Гоглидзе С. А., Мешик П. Я. и Влодзимирский Л. Е. Заговорщики ставили своей преступной целью использовать органы Министерства внутренних дел против Коммунистической партии и Правительства СССР, поставить Министерство внутренних дел над Партией и Правительством для захвата

власти, ликвидации советского рабоче-крестьянского строя, реставрации капитализма и восстановления господства буржуазии.

Суд установил, что начало преступной изменнической деятельности Берия Л. П. и установление им тайных связей с иностранными разведками относится ещё ко времени гражданской войны, когда в 1919 году Берия Л. П., находясь в Баку, совершил предательство, поступив на секретно-агентурную должность в разведку контрреволюционного мусаватистского правительства в Азербайджане, действовавшую под контролем английских разведывательных органов.

В 1920 году Берия Л. П., находясь в Грузии, вновь совершил предательство, установив тайную связь с охранкой грузинского меньшевистского правительства, также являвшейся филиалом английской разведки.

В последующие годы, вплоть до своего ареста, Берия Л. П. поддерживал и расширял тайные связи с иностранными разведками.

На протяжении многих лет Берия Л. П. и его соучастники тщательно скрывали и маскировали свою враждебную деятельность. <...>

В своих антисоветских изменнических целях Берия Л. П. и его соучастники предприняли ряд преступных мер для того, чтобы активизировать остатки буржуазно-националистических элементов в союзных республиках, посеять вражду и рознь между народами СССР и в первую очередь подорвать дружбу народов СССР с великим русским народом»*.

С. 163. *Мы — кузнецы, и дух наш молод.* — Первая строка песни на стихи Ф. С. Шкулёва («Кузнецы», опубл. в 1906).

С. 164. *...одобрительно высказывался о деятельности разгромленной Промпартии...* — Чтобы объяснить провалы в промышленности и на транспорте, катастрофы на шахтах, фабриках и заводах, вызванные произволом командно-административной системы, советские репрессивные органы выдумали Промышленную партию — подпольную шпионско-диверсионную организацию верхушки технической интеллигенции, будто бы действовавшую в СССР с 1926 по 1930 г.

...подписывая 206-ю статью... — то есть заключительный следственный протокол. 206-я статья гласила: «Признав предварительное расследование законченным, а добытые данные достаточными для передачи суду, производящий расследование обязан объявить об этом подследственному, разъяснить ему право на осмотр всего производства по делу, предоставить возможность такого осмотра и спросить, не желает ли он и чем именно дополнить расследование. В случае указания подследственным обстоятельств, имеющих значение для дела и ранее не расследованных, производящий расследование обязан его дополнить»**.

* «Правда». 24 декабря 1953.

** Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР: Официальный текст с изменениями на 1 июля 1953 г. и с приложением постатейно-систематизированных материалов. М.: Госюриздат, 1953. С. 34.

С. 168. ...с помощью такой анкеты Русанову удалось добиться разводов нескольких женщин, мужа которых находились в заключении по 58-й статье. — В «Архипелаге ГУЛАГ» А. С. ссылается на негласное постановление СНК и инструкцию НКЮ от 27.11.1944, «где говорилось, что суд обязан по первому желанию вольного советского человека беспрекословно расторгать его с половиной, оказавшейся в заключении (или в сумасшедшем доме), и поощрить даже тем, что освободить от платы сумм при выдаче разводного свидетельства. (И никто при этом законодательно не обязывался сообщать той, другой, половине о произошедшем разводе!) Тем самым гражданки и граждане призывались поскорее бросать в беде своих заключённых мужей и жён, а заключённые — забывать поглуже о супружестве» (Т. 5. С. 187). То постановление и та инструкция коснулись самого А. С. Весной 1952 г., за год до его освобождения из лагеря, Н. А. Решетовская, ничего не сообщив мужу, в одностороннем порядке оформляет развод с ним. И только в сентябре на его недоумевающее письмо отвечает, что у неё теперь новая семья.

С. 173. ...Эс-á... — обходное обозначение саркомы.

С. 174. ...коллоидное золото. — Коллоидное золото угнетающе действует на раковую опухоль. Чтобы получить коллоидное золото, очищенная вода пропускается над поверхностью чистого золота, находящегося под током высокой частоты и высокого напряжения. Ионы золота проникают в воду, которая затем обрабатывается кислородом и проходит через мощное магнитное поле.

С. 177. *Под Ижевском. Учредилку били.* — 7 августа 1918 г. в Ижевске началось восстание против советской власти. 21 августа сформированная здесь Ижевская народная армия заняла Воткинск, 31 августа — Сарапул и окрестные сёла и деревни. «Единственной и законной» верховной властью восставшие признали Комитет членов Учредительного собрания (в советском обиходе — «Самарская учредилка»). Из его представителей, находившихся в Ижевске, и был создан Комитет членов Учредительного собрания Прикамского края. Восстание удалось подавить в ходе двухмесячного наступления (с 15 сентября по 16 ноября 1918) 2-й армии Восточного фронта во взаимодействии с Волжской военной флотилией.

...полный профиль — глубина в рост человека.

С. 178. *Курсак пустой, сил нет.* — Курсак — желудок, живот.

С. 178—179. ...про индусов, как они верят, что умираем мы не целиком, а душа наша переселяется в животных или других людей. — Один из важнейших догматов индуизма и буддизма — догмат о карме — основывается на представлении об одушевлённости всего окружающего мира и переселении душ. Считается, что после смерти человека его душа воз-

рождается в более низком или более высоком общественном состоянии в зависимости от того, как человек выполнял обязанности своей касты.

В рассказе Л. Н. Толстого «Будда» (1906) браминский мудрец-пустыльник передаёт центральному персонажу Сидхарте браминское учение. «Учение это было в том, что душа человеческая переселяется из одного существа в другие, что всякий человек был в прежней жизни животным и по смерти, смотря по своей жизни, переселится в высшее или низшее существо»*.

Воплощением этого учения стал рассказ Толстого «Карма» (1894), к заглавию которого автор сделал примечание:

«“Карма” есть буддийское верование, состоящее в том, что не только склад характера каждого человека, но и вся судьба в этой жизни есть следствие его поступков в предшествующей жизни и что добро или зло нашей будущей жизни точно так же будут зависеть от тех наших усилий избежать зла и совершения добра, которые мы сделали в этой»**.

С. 182. *Четыре глухих бетховенских удара судьбы...* — Первые аккорды Девятой симфонии (1824) Людвиг ван Бетховена. О покупке в Москве чешской пластинки с этой симфонией А. С. сообщает Е. А. и Н. И. Зубовым 23 марта 1960 г.

...о полной смене Верховного Суда! — 11 февраля 1955 г. в «Правде» помещено постановление Верховного Совета об увольнении шести членов Верховного Суда СССР: И. В. Дегистова, Л. Д. Дмитриева, И. М. Зарянова, П. Т. Клопова, И. О. Матулевича и П. П. Павленко. Хотя это были знаковые имена, полная смена Верховного Суда лишь почудилась Русанову. Остался на своём месте председатель Суда А. А. Волин, оба его заместителя, все три члена Суда, возглавлявшие Военную коллегия и коллегия по уголовным и гражданским делам, все шестнадцать членов Суда — председатели Верховных Судов союзных республик, входившие в Верховный Суд Союза по должности, и др.

Матулевич, заместитель Ульриха?! — В. В. Ульрих (1889—1951) — генерал-полковник юстиции (1943). В 1926—1948 гг. председатель Военной коллегии Верховного суда СССР. Председательствовал на фальсифицированных судебных процессах. Только за два года, с 1 октября 1936 по 30 сентября 1938 г., возглавляемая им Военная коллегия вместе с выездными коллегиями приговорила к расстрелу 30 514 человек, к тюремному заключению — 5 643. И. О. Матулевич (1895—1961) — генерал-майор юстиции (1943), в феврале 1955 г. — генерал-лейтенант (в августе лишен этого звания), в прошлом — один из двух заместителей Ульриха.

С. 187. *Если в коммунальной уборной я нахожу клочок газеты с разорванным портретом Вождя — моя обязанность этот клочок принести*

* Л. Толстой. Полн. собр. худож. произведений: В 15 т. Т. 10. М.; Л.: Госиздат, 1930. С. 339.

** Там же. С. 226.

и сигнализировать. — В «Архипелаге ГУЛАГе» А. С. рассказывает, как это бывало: «...полуграмотный печник любил в свободное время *расписываться* — это возвышало его перед самим собой. Бумаги чистой не было, он расписывался на газетах. Его газету с росчерками по лику Отца и Учителя соседи обнаружили в мешочке в коммунальной уборной. АСА, анти-советская агитация, 10 лет» (Т. 4. С. 83).

С. 190. *...от Ельца до Франкфурта-на-Одере.* — Елец — город в 195 км к востоку от Орла. Елецкая наступательная операция войск правого крыла советского Юго-Западного фронта 6—16 декабря 1941 г., осуществлённая одновременно с контрнаступлением Западного фронта в переломный период битвы под Москвой, привела к освобождению более 8 тыс. кв. км территории, 400 населённых пунктов, в том числе городов Елец, Ефремов, Ливны. Поражение в ходе Елецкой операции 2-й немецкой армии помогло войскам левого крыла Западного фронта разбить 2-ю танковую армию Гудериана под Тулой и продолжить освобождение Московской и Тульской областей. В результате Елецкой операции передовые советские части подошли к Новосилу, откуда летом 1943 г. батарея звуковой разведки, которой командовал А. С., в составе Центрального фронта будет наступать на Орёл.

Франкфурт-на-Одере — немецкий город у границы с Польшей, в 70 км к юго-востоку от Берлина. К реке Одер в районе Франкфурта войска 1-го Белорусского фронта вышли 5 февраля 1945 г. Но только 24 апреля было завершено окружение франкфуртско-губенской группировки противника, а её попытки прорвать кольцо продолжались вплоть до 2 мая.

С. 192. *После амнистии 53-го года, когда всю шпану выпустили...* — Речь об амнистии, объявленной Указом Президиума Верховного Совета СССР 27 марта 1953 г. Указ напечатан в центральных газетах на следующий день. В «Архипелаге ГУЛАГе» А. С. рассказывает: «...амнистию дали шпане и бандитам, а Пятьдесят Восьмой — лишь “до пяти лет включительно”. Посторонний, по нравам порядочного государства, мог бы подумать, что “до пяти лет” — это три четверти политических пойдёт домой. На самом деле лишь 1—2 процента из нашего брата имели такой детский срок. (Зато саранчой напустили воров на местных жителей, и лишь не скоро и с натугой пересадила милиция амнистированных бандитов опять в тот же загон.)» (Т. 6. С. 386).

По афишам вижу, что идёт «Спящая красавица». — Балет П. И. Чайковского «Спящая красавица» (1888—1889) на либретто М. И. Петипа и И. А. Всеволожского по сказке Шарля Перро был поставлен в Узбекском театре оперы и балета имени Алишера Навои в 1953 г. В. Н. Губской.

...пойдёт «Азу-Балы». — Название вымышленное.

С. 195. *...я в профсоюзе ещё не состою шести месяцев. И мне ничего не положено.* — Костоготов ошибается. От членства в профсоюзе зависе-

ла не сама выплата пособия по временной нетрудоспособности, а только его размер. Так, если членам профсоюза при трудовом стаже до двух (впоследствии до трёх) лет выплачивалось по больничному листу 50% заработка, то тем, кто не состоял в профсоюзе, лишь 25%.

Ничего же не положено Костоглолову вот почему. Олег пробыв в ссылке «три четверти года» (с. 229), то есть девять месяцев. И «только недавно от изготовщика саманов он сумел подняться до помощника землестроителя» (там же). Значит, уволился по собственному желанию и «только недавно» поступил на другую работу. Сколько же он успел проработать на новом месте: месяц, два, три? А постановлением Совнаркома СССР, ЦК ВКП(б) и ВЦСПС «О мероприятиях по упорядочению трудовой дисциплины, улучшению практики государственного социального страхования и борьбе с злоупотреблениями в этом деле» от 28 декабря 1938 г. предусматривалось, что рабочие и служащие, «ушедшие <с предыдущей работы> по собственному желанию, имеют право на обеспечение пособиями по временной нетрудоспособности после того, как они проработают не менее 6 месяцев на новом месте работы»*.

С. 198. *Двадцать лет каторжных работ! За самовольную отлучку с места ссылки.* — В Джамбульской областной прокуратуре сам А. С. под расписку был извещён о том, что в ссылку он направляется в Кок-Терекский район «навечно» и «в случае самовольного отъезда за пределы района» будет судим по Указу Президиума Верховного Совета, предусматривающему «наказание 20 (двадцать) лет каторжных работ» («Архив-лаг ГУЛАГ». Т. 6. С. 363, 364).

А я поехал. За полтора километра. В горы. Живёт такой старик, Кременцов, борода академика Павлова. Из поселенцев начала века. Чистый знахарь! — сам корешок собирает, сам дозы назначает. — В письмах А. С. — Н. И. Зубову Кременцов упоминается неоднократно. Например, в письме от 9 января 1954 г. из Ташкента: «...ещё 700 р. у меня есть, этого и на поездку в Талас должно хватить. А как старик Кременцов — ничего не ответил?»** Или следом, 17 января 1954 г.: «Здесь встретил я одного человека с раком языка — он лично был у лекаря в Таласе, говорит — лет 50 ему с лишком, бодрый мужик и абсолютно уверен в своём корне. Лечит ещё от каких-то болезней, кроме рака. Но категорическое условие: водки ни капли, кроме той, на которой разведён корень. А мой большой глушит её непрерывно и поэтому, как считает сам, не выздоравливает»***.

С. 201. *Но Вега — ослепительно белая.* — Вега — самая яркая звезда в созвездии Лиры. По блеску уступает лишь Сириусу. Цвет — голубовато-белый.

* «Известия». 29 декабря 1938.

** РГАЛИ, ф. 2511, оп. 2, д. 2, л. 3, об.

*** Там же, л. 5.

С. 203. *...есть с голоду, люби смолоду.* — См.: Владимир Даль. Толковый словарь. Т. 1. С. 369.

С. 204. *Был обход Низамутдина Бахрамовича. <...> и главврач, как тигр, бросился к тумбочкам.* — Низамутдин Бахрамович впервые упоминается на с. 12. В письме Н. И. Зубову из Ташкента (17 января 1954) А. С. сообщает: «...главврач Рахимов в основном проверяет тумбочки и паутину»*.

С. 205. *«Как это так вы можете меня выписать, если я с целинных земель?»* — В письме Н. И. Зубову из Ташкента (3 июля 1954) А. С. рассказывает:

«Сегодня главврач обходил диспансер, имея цель побольше выписать. Распорядился перевести меня в городской онкодиспансер в Старом Городе (наш — республиканский), я тут же и отказался, заявив, что не для этого ехал в такую даль с целинных земель. Но весь коллектив лечащих врачей хочет лечить меня здесь, и пожелание главврача осталось втуне, как у Анат. Франса попытка императора назначить товарищем прокурора в департамент своего близкого родственника. Я лучше выпишусь, чем ехать туда: там нет ни двора, ни зелени, и квалификация работников гораздо ниже»**.

О тщетной попытке Наполеона III назначить товарищем прокурора в судебную палату племянника своей молочной сестры речь идёт в рассказе господина Бержере «Товарищ прокурора»*** из романа Анатоля Франса «Под городскими вязами» (1897).

С. 212. *...Вадим <...> Зацырко...* — Впервые упоминается на с. 78. В письме к автору М. Г. Петрова высказала догадку о его сходстве с Вадимом Зацырко. А. С. ответил 4 июля 1966 г.: «Я поражён Вашим письмом — именно Вашей чуткостью и способностью отгадывать то, чего обычно не видят или чего Вы, как будто, совершенно не могли знать обо мне (мои черты, да ещё довоенные, в Зацырко!)»****.

В образе Вадима Зацырко подлинная медицинская история Николая Петровича Джигурды (1936—1964) соединена с обликом его здорового младшего брата, Олега Петровича, 1940 г. рождения. С ним, студентом Новочеркасского политехнического института, А. С. встретился в 1963 г. «...Некоторые фрагменты своего рассказа я обнаружил на страницах повести, — сообщает Олег Джигурда в газетном интервью. — Например, слова о профессоре, — либо вы его заинтересуете с первых фраз, либо он с вами разговаривать не будет»*****.

* РГАЛИ, ф. 2511, оп. 2, д. 2, л. 5, об.

** Там же, л. 17 с'об.

*** Анатолий Франс. Собр. соч.: В 8 т. Т. 4. М.: ГИХЛ, 1958. С. 112—125.

**** РГАЛИ, ф. 2511, оп. 1, д. 76, л. 1.

***** «Новочеркасская газета». 3 августа 2004.

О старшем брате, выпускнике геологического факультета того же Новочеркасского института, Олег Джигурда вспоминает: «Он был начальником небольшой гидрогеологической партии на Памире, составлял геологические карты, занимался оценкой водных ресурсов. <...> Еще Николай имел дело с урановыми водами. Нам он рассказывал, что местные киргизы не пили воду из источников, а пили только из рек. Так им старики наказывали, очевидно, из-за радиоактивности. Возможно, Николай какие-то исследования состава горных вод проводил, но так ли это, как описано в повести, я не знаю»*.

На распечатке этого интервью А. С. пометил: «Олег Джигурда <...> рассказал мне подробности новочеркасского мятежа 1962».

О Вадиме Зацyrко читатели пишут автору: «Как прекрасно сделан Вадим! Какой блестящий и в то же время страшный человек!»; «Больше всего заинтересовал меня Вадим. Его появление сразу настораживает. Сначала даже кажется, что это в противовес и назидание всем живым людям явился тот железный положительный герой, на образе которого мы были вскормлены. И только потом начинаешь постепенно понимать, какой важный вопрос поставлен Вадимом, важный особенно потому, что Русанов, наверное, всё-таки — в прошлом, а Вадим угрожает нам сейчас». Елене Мухиной — А. С. ответил: «Вадима Вы очень правильно поняли — правильной, чем мне пока удалось его дать, и хорошо, если удастся во 2-й части»**.

С. 215. ...у *Алайского хребта*. — Горный хребет на границе Киргизии и Таджикистана длиной около 400 км. Высота до 5 539 м.

С. 216. ...у *тела, несущегося с предсветовой скоростью*... — В письме Е. А. и Н. И. Зубовым из Рязани (4 декабря 1957) А. С. рассказывает:

«А слышали ли Вы радио-журнал “Наука и техника” в воскресенье 1 декабря? Был изумительный. Во 1-х — по теории относительности получается, что, если космический корабль будет иметь скорость, отличающуюся от скорости света не более чем на 15 км/сек., то путешественники, пробывшие в нём по нашим земным часам (взятым в полёт) один год, за это время нормально 3 раза в день питавшиеся и состарившиеся телом только на 1 год, — возвратясь на Землю, найдут, что за время их полёта здесь прошло *столетие* — и не будут живы никто из провожавших их в полёт. Каково, а? Представить трудно, но и теория относительности ещё ни в чём не соврала никогда, — напротив, несколько раз проверена на космических явлениях»***.

С. 223. ...их тут тоже готовили к выборам... — На 27 февраля 1955 г. в Узбекской ССР были назначены выборы в областные, районные, сельские и поселковые Советы.

* Там же.

** РГАЛИ, ф. 2511, оп. 1, д. 80, л. 5.

*** Там же, оп. 2, д. 4, л. 29 с об.

С. 225. ...объявлялось, что Председатель Совета Министров Г. М. Маленков просил уволить его по собственному желанию и Верховный Совет единодушно выполнил эту просьбу. — 8 февраля 1955 г. председательствующий на совместном заседании Совета Союза и Совета Национальностей Верховного Совета СССР председатель Совета Союза А. П. Волков огласил заявление председателя Совета Министров Г. М. Маленкова. Сам Маленков вместе со всеми выслушал своё заявление, сидя в главном кресле президиума:

«Прошу Вас довести до сведения Верховного Совета Союза Советских Социалистических Республик мою просьбу об освобождении от поста Председателя Совета Министров СССР.

Просьба моя вызвана деловыми соображениями о необходимости укрепления руководства Совета Министров и целесообразностью иметь на посту Председателя Совмина СССР другого товарища, обладающего большим опытом государственной работы. Я вижу ясно, что на выполнении сложных и ответственных обязанностей Председателя Совета Министров отрицательно сказывается мой недостаточный опыт местной работы и то, что мне не приходилось в министерстве или в каком-либо хозоргане непосредственно управлять отдельными отраслями народного хозяйства.

Считаю также себя обязанным в настоящем заявлении сказать, что теперь, когда Коммунистическая партия Советского Союза и трудящиеся нашей страны сосредоточивают особые усилия по быстрейшему подъёму сельского хозяйства, я особенно ясно вижу свою вину и ответственность за сложившееся неудовлетворительное положение дел в сельском хозяйстве, так как в течение ряда лет до этого на меня была возложена обязанность по контролю и руководству работой центральных сельскохозяйственных органов и работой местных партийных и советских организаций в области сельского хозяйства»*.

Своим покаянием Маленков обеспечил себе мягкую отставку с самого высокого государственного поста: его сделали заместителем председателя Совета Министров и министром электростанций.

Так кончилась сессия, от которой Русанов ожидал одного бюджета!.. — Сессия кончилась в том смысле, что ничем уже не могла потрясти так, как переменами в центральном руководстве. Но заседания её продолжались ещё и на следующий день.

С. 226. ...амнистия лопается пузырьём или объявляется воров, жуликам, дезертирам — вместо тех, кто воевал и страдал. — Костоглов пережил две амнистии: от 7 июля 1945 г. (о ней см. 2-е примечание к с. 232) и от 27 марта 1953 г. (см. 1-е примечание к с. 192). А вскорости будет ещё одна — крупнейшая за всё коммунистическое время амнистия от 17 сентября 1955 г, которая коснётся «советских граждан, сотрудничавших

* «Правда». 9 февраля 1955.

с оккупантами в период Великой Отечественной войны 1941—1945 гг.»*. Освобождались осуждённые на срок до десяти лет за пособничество врагу; наполовину сокращалось наказание приговорённым за то же на срок свыше десяти лет; выходили на волю независимо от полученного срока те, кто служил в немецкой армии, полиции и специальных немецких формированиях. «Тут и друг мой Л. З. Копелев написал из Москвы: тряся этой амнистией, — рассказывает А. С. в «Архипелаге ГУЛАГе», — он в московской милиции выговорил себе временную прописку. Но вскоре его вызвали: “Вы что же нам шарики вкручиваете? Ведь вы с немцами не сотрудничали?” — “Нет”. — “Значит, в Советской армии служили?” — “Да”. — “Так в 24 часа чтоб ноги ваших в Москве не было» (Т. 6. С. 389).

...в 31-м году, когда конница Будённого давила казахов... — Сам С. М. Будённый рассказывает в трёхтомных воспоминаниях лишь о собственной миссии в Средней Азии весной — летом 1926 г. В октябре 1925 г. ЦК ВКП(б) утвердил предложения Среднеазиатского бюро о земельно-водной реформе, предусматривавшей ликвидацию крупных частнособственнических хозяйств и государственное перераспределение земли и водных ресурсов. Реформа немедленно вызвала решительное сопротивление. 11-я дивизия 1-й Конной армии, уже четыре года находившаяся в Средней Азии, не могла с ним справиться. Тогда Сталин отправил туда Будённого не только как члена Реввоенсовета и инспектора кавалерии, но и как представителя ЦК и правительства. 27 марта 1926 г. Будённый прибыл в Ташкент. Затем выехал с инспекцией в Полторацк (ныне Ашхабад) и следом в Термез, где дислоцировались части, которым предстояло начать боевые действия. Массированные операции регулярной армии проводились с использованием артиллерии и пулемётов. Будённый требовал атаковать базы повстанцев с самолётов.

В «Архипелаге ГУЛАГе» А. С. упоминает подавление казахов конницей Будённого в 1930—1931 гг. (Т. 4. С. 63). Ни сам Будённый, ни биографы личного участия его в этих карательных действиях не подтверждают. Но в Средней Азии он оставил о себе такую память, что на протяжении десятилетий оскорблением было показать усы (гордость и отличие Будённого).

«Возьми постель твою и ходи!» — Из Евангелия от Иоанна (5:1—9). См. также: Матфей, 9: 5—6; Марк, 2: 9—11; Лука, 5: 23—24.

С. 228. ...паспорт с грязной 39-й паспортной статьёй... — Эта паспортная статья («минус 39») запрещала проживать в тридцати девяти перечисленных в ней городах.

С. 229. ...замес саманов... — Саманы — высушенные на воздухе строительные блоки из круто замешенной глины с добавлением соломенной резки. ...степной жусан... — полынок. Для казахов — символ степи.

* «Ведомости Верховного Совета СССР». 4 октября 1955. № 17 (835). Ст. 345. С. 467—468.

... *джингиль*... — кустарник с буровато-коричневой корой и длинными колючками, расположенными на стебле у основания листьев. Встречается в основном в межбарханных понижениях или в пойменных зарослях.

... *дерево джиду*... — небольшое деревце семейства лоховых. Иначе — джидда, джида, джигда. Цветки оранжево-жёлтые, от одного до трёх на коротких цветоносах. Товарищ А. С. по Кок-Тереку, Н. И. Зубов, пишет жене 24 мая 1953 г. о веточке этого дерева: «В комнате она пахнет оглушающе, как белая акация, черёмуха или ночницы»*.

... *Маукеев*... — В письме Е. А. и Н. И. Зубовым из Рязани (19—20 января 1958) А. С. сравнивает рязанских и кок-терекских школьников:

«В школе вполне “вошёл в коллектив”, как это называется, в круг обязанностей и жизни. Но, увы, такого яркого преданного стремления к знаниям, какое встречал у многих кок-терекских учеников, — здесь не встречал ни у единого. В лучшем случае — погоня за отметками. И уж никак не встретишь такого самородка, как Булат Маукеев, к-рый исписывал целые тетради своей собственной тригонометрией (теоремы, доказательства, формулы, идеи). Это всё был бред из-за недостатка фундамента, — но порыв был просто Декартовский или Паскалевский. Такое сравнение Рязани с Кок-Терекком выплыло для меня неожиданно, даже удивило сперва. Но, вдумавшись, понял»**.

... *братья Скоковы*... — Один из братьев, Б. Скоков, три года проучился у А. С. в кок-терекской школе. По математике получал тройки и четвёрки, но сдал на пятёрки вступительные экзамены в Новосибирский институт торговли и с отличием его закончил.

Все институты обрывают приём в тридцать пять. — После тридцати пяти лет не брали только на очные отделения вузов. Очевидно, заочное обучение Костоглотов не принимает всерьёз.

С. 230. ... *новый директор школы Абен Берденов*... — Так звали директора школы в Кок-Тереке, где учительствовал А. С.

... *крепдешин*... — шёлковая ткань, тонкая, как и креп-жоржет, но с умеренным блеском, менее плотная, мелкозернистая.

И *«оптовая» торговля маленького розничного Орембаева*... — Автор слегка изменил фамилию реального кок-терекского торговца Орымбаева, упоминающегося в письмах А. С. в Кок-Терек Е. А. и Н. И. Зубовым.

... *«новый трофейно-художественный фильм...*» — В послевоенные годы в нашем прокате западные кинофильмы по большей части предвзялись сообщением о том, что они были взяты в качестве трофея. Оригинальные титры изымались — это позволяло, не покупая, выпускать на экран ленты, снятые не только в Германии, но и в других странах.

С. 231 ... *от супругов Кадминых — гинеколога Николая Ивановича и жены его Елены Александровны.* — Сохранив имена-отчества,

* Отношения сердец. С. 164.

** РГАЛИ, ф. 2511, оп. 2, д. 4, л. 40.

А. С. вывел под фамилией Кадмины супругов Зубовых: Николая Ивановича (1895 — 3 января 1980) и Елену Александровну (1903 — 21 марта 1976). В посвящённом им очерке «Николай Иванович Зубов» из цикла «Невидимки» (1974—1975) А. С. замечает в скобках: «Я описал их историю в «Архипелаге ГУЛАГе», ч. 3, гл. 6, и в «Раковом корпусе» — Кадмины»*.

На последней странице того письма Е. А. и Н. И. Зубовым из Ташкента (24 июня 1954), где А. С. сообщает, в частности, что «купил заказанное количество ниток № 40 обоих цветов, а также чудный консервный нож»**, — авторские пометы: «переписка с местом ссылки — старики Зубовы и их история»; «В посл<едней> главе — выполнение поручений Зуб<овых>»***.

Двухтомник Паустовского в книжный магазин привезли... — Избранные произведения К. Г. Паустовского в 2-х томах вышли в свет в 1956 г. (М.: ГИХЛ). Первый том подписан к печати 24 декабря 1955, второй — 23 января 1956 г.

...заказывается <...> выложить им в углу параллелепипед из саманов. Это получилась супружеская кровать — какая широкая! какая удобная! — Н. И. Зубов пишет жене из Кок-Терека 13 мая 1953 г.: «...остается построить маме в сенях глино-камен<ное> ложе с сеткой (мне уже построили, пока без сетки, и я блаженствую после двуспальной высокой и шатающейся кровати, кот<орую> я яро ненавидел!»****

...не семилинейную, а обязательно десятилинейную... — В семилинейной лампе ширина фитиля 17,78 мм, в десятилинейной — 25,4. Линия — русская мера длины, равная 2, 54 мм.

С. 232. *...в 1954 году, когда <...> уже изобретена водородная бомба...* — Термоядерное устройство было взорвано в США 1 ноября 1952 г. В СССР водородная бомба впервые испытана 12 августа 1953 г. Советское правительство сообщило об этом 20 августа.

Кончилась война — и тот дезертир был отпущен по великой сталинской амнистии 1945 года... — Указом Президиума Верховного Совета СССР «Об амнистии в связи с победой над гитлеровской Германией» от 7 июля 1945 г., в частности, освобождались от наказания лица, осуждённые «за воинские преступления по статьям 193-2, 193-5, 193-6, 193-7, 193-9, 193-10, 193-10а, 193-14, 193-15 и 193-16 Уголовного Кодекса РСФСР и соответствующим статьям Уголовных Кодексов других союзных республик»*****.

В «Архипелаге ГУЛАГе» А. С. рассказывает об этой амнистии:

* А. Солженицын. Бодался телёнок с дубом. С. 402.

** РГАЛИ, ф. 2511, оп. 2, д. 2, л. 15, об.

*** Там же, л. 16, об.

**** Отношения сердец. С. 160.

***** «Правда». 8 июля 1945.

«Она освобождала Пятьдесят Восьмую до трёх лет, которых почти никому и не давали; вряд ли и полупроценту осуждённых по ней. <...>

Освобождались начисто все, кто обворовывал квартиры, разделял прохожих, насиловал девушек, растлевал малолетних, обвешивал покупателей, хулиганил, уродовал беззащитных, хищничал в лесах и водоёмах, вступал в многожёнство, применял вымогательство, шантажировал, брал взятки, мошенничал, клеветал, ложно доносил (да такие и не сидели), торговал наркотиками, сводничал, вынуждал к проституции, допускал по невежеству или беззаботности человеческие жертвы (это я просто перелистал статьи Кодекса, попавшие под амнистию, это не фигура красноречия). <...>

Половину срока сбрасывали: растратчикам, поддельвателям документов и хлебных карточек, спекулянтам и государственным вора́м (за государственный карман Сталин всё-таки обижался).

Но ничего не было так растравно бывшим фронтовикам и пленникам, как поголовное *всепрощение дезертиров* военного времени! Все, кто, струсив, бежал из частей, бросил фронт, не явился на призывные пункты, многими годами прятался у матери в огородной яме, в подпольях, в запечьях (всегда у матери! жёнам своим дезертиры, как правило, не доверяли), годами не произнося ни слова вслух, превращаясь в сторбленного заросшего зверя, — все они, если только были изловлены или сами пришли ко дню амнистии, — объявлялись теперь равноправными незапятнанными несудимыми советскими гражданами. (Вот когда оправдалась осмотрительность старой пословицы: не красен бег, да здоров.)

Те же, кто не дрогнул, кто не струсил, кто принял за родину удар и заплатился за него пленом, — тем не могло быть прощенья, так понимал Верховный Главнокомандующий» (Т. 5. С. 147, 148).

С. 233. ...*куплена землянка*... — Н. И. Зубов пишет жене из Кок-Терека 4 февраля 1953 г.:

«Пишу из своего дома, куда переехал 1.П, в воскресенье. Как нам сейчас хорошо. Вместо той лачуги с оконцем и дверью, как в курятнике, — дом, хоть и весь глиняный, как здесь все дома без исключения. <...>

...Очень удобно, что с домом купили 2 железн<ые> (неважн<ые>) кровати, хороший простой стол, 3 табуретки. Одна кровать с сеткой... За всё это, и ещё собачку и kota — 2800 р.»*

...*деньги копят на батарейный радиоприёмник*. — В том же письме Н. И. Зубов сообщает: «Купил радиоприёмник “Родина-52” — на днях наладил антенну и будем слушать М<оскву>...»**

С. 234. ...*не для Би-Би-Си ли вся затея?* — Би-би-си (Британская радиовещательная корпорация), образованная в 1927 г., с конца 1940-х годов вела вещание и на Советский Союз. Советская пропаганда утверждала,

* Отношения сердец. С. 154—155.

** Там же. С. 155.

что декларируемая хартией Би-би-си «политическая беспристрастность» маскирует «реакционную, империалистическую сущность британской радиопропаганды»*.

...Пуччини, Сибелиус, Бортнянский... — Джакомо Пуччини (1858—1924) — итальянский композитор, прославившийся своими операми («Богема», «Тоска», «Мадам Баттерфляй», или «Чио-Чио-Сан», и др.).

Ян Сибелиус (1865—1957) — финский композитор, наибольших успехов достигший в симфонической музыке. В письме Н. И. Зубову из Ташкента (1 февраля 1954) А. С. сообщает: «А Вы знаете, что Сибелиус жив ещё? В декабре я слушал о нём передачу из Свердловска <...> Исполняли его симфоническую поэму “Финляндия” — совершенно необыкновенная вещь»**.

Д. С. Бортнянский (1751—1825) — русский композитор, основная область творчества — церковная хоровая музыка.

...куда там старый князь Болконский со всеми Лысыми Горами и особым архитектором. — Безвыездно живший в Лысых Горах старый князь Николай Андреевич Болконский не терпел праздности и постоянно был занят: писал мемуары или вытачивал табакерки, присматривал за строительством, которое не прекращалось в имении, или работал в саду. Был у него свой садовник. Но он лишь вскользь упомянут. А архитектор Михаил Иванович, в отличие даже от важных губернских чиновников, допускался старым князем к столу для доказательства того, что все люди равны. «За столом князь чаще всего обращался к бессловесному Михайле Ивановичу»***.

...три урюка... — В Центральной Азии урюком называют местный вид абрикосового дерева (как и его мелкие, но до приторности сладкие плоды — и свежие, и высушенные).

С. 235. ...лопоухий чёрно-бурый Жук, огромный, как медведь, и острый пронзливый маленький Тобик, весь белый, но с подвижными чёрными ушками... — Фотография А. С. с Жуком и Тобиком, сделанная в 1955 г. в Кок-Тереке Н. И. Зубовым, помещена, в частности, в 4-м томе 20-томного Собрания сочинений А. С. (Вермонт; Париж: YMCA-Press, 1979), между титульным листом и текстом «Ракового корпуса».

В письме Е. А. и Н. И. Зубовым из Москвы (8 июля 1956) А. С. спрашивает: «Как живёте? Как проводите время со своими собачками? По-прежнему Тобик развлекает Вас?»**** В письмах А. С. — Тобик упоминается ещё не раз. И — наконец 21 января 1957 г.:

«Потом огорчила — а больше разозлила — история с гибелью нашего чуткого пёсика. Невыразимо-умненькая была собачка! Я подумал: надо

* Большая Советская энциклопедия. 2-е изд. Т. 6. М.: БСЭ, 1951. С. 117.

** РГАЛИ, ф. 2511, оп. 2, д. 2, л. 10, об.

*** Л. Н. Толстой. Собр. соч.: В 22 т. Т. 4. 1979. С. 129.

**** РГАЛИ, ф. 2511, оп. 2, д. 2, л. 29.

бы судить этих мерзавцев — и разумное судоустройство обложило бы их большим штрафом! — и тут же представил картину: вы идёте к моему “Шерлоку”, к-рый не пытался искать аппарата (украденного фотоаппарата. — В. Р.), и требуете судить виновных. В доме № 1 — конечно, смех. Ведь убита не коза, не овца, даже не тrefная свинья — а существо, не приносившее дохода — за что же судить? Даже я здесь, на расстоянии, и то расстроился. Берегите Жука! Посадите его на цепь — его тоже убьют иначе!»*

С. 236. ...на Тобика надевается матерчатый ошейник с запиской, пальцем ему показывают направление и твёрдо говорят: «К Олегу!» И в любую погоду он послушно семенит к Олегу... — В письме Е. А. и Н. И. Зубовым из Рязани (3 мая 1958) А. С. откликается на известие о ливнях в Кок-Тереке:

«Стихийное бедствие, или, точнее, Ноев потоп (теперь Вы можете ясно видеть, что это — не библейская легенда), поразили меня. Я представил себя в своей хате в момент, когда в комнату начинает течь глина с крыши — и почувствовал себя хуже, чем Тобик, когда Н. И. гнал его по дождю и по грязи ко мне (помните, как он жалостно жался в таких случаях!)»**.

С. 237. Тот и мудрец, кто доволен немногим. — См., например, у Франсуа де Ларошфуко: «Мудрец счастлив, довольствуясь немногим, а глупцу всего мало: вот почему почти все люди несчастны»***.

С. 242. ...вот это странное выражение... <...> культ личности?.. Это — неужели намекают на... ? — Для спасения репрессивного командно-бюрократического режима его преступления были целиком переадресованы Сталину, а причиной их объявлен его культ — так называемый культ личности.

На писательском съезде, например, несколько раз так говорили. — II Всесоюзный съезд советских писателей проходил в Москве с 15 по 26 декабря 1954 г. В опубликованной стенограмме съезда выражение «культ личности» не встречается.

С. 243. ...эти два года... — годы после смерти Сталина.

...прямо жизнь по Уэллсу: сидят, смотрят телевизоры! — В романе Герберта Уэллса «Когда Спящий проснётся» (1899) некто Грэхэм, заснув летаргическим сном в конце XIX в., просыпается только через 203 года. И среди тех диковин, которые появились за это время, — выступающий из стены небольшой аппарат четырёхугольной формы с лицевой стороной

* РГАЛИ, ф. 2511, оп. 2, д. 3, л. 32.

** Там же, д. 5, л. 4.

*** Франсуа де Ларошфуко. Мемуары; Максимумы. Л.: Наука, 1971. С. 194.

наподобие циферблата, в длину и высоту около ярда (91,44 см). Нажав кнопку, похожую на электрический звонок, Грэхэм видит на экране заранее записанный миниатюрный спектакль. «На гладкой поверхности показалась яркая цветная картина с движущимися фигурами. Они не только двигались, но и разговаривали чистыми, тонкими голосами. Впечатление получалось совершенно такое, как если перевернуть бинокль и смотреть через его большое стекло или же слушать через длинную трубу»*. Это даже не телевизор, а скорее видеоплеер, о котором в середине XX в. не только в Ташкенте, но и в Москве не слыживали. А ещё за тем, что происходит вокруг, персонажи Уэллса, перенесённые в начало XXII в., могут наблюдать на диске, похожем на овальное окно. И воззвания правителей, как мы сказали бы, в прямом эфире слушают и смотрят, собираясь в тёмных залах.

С. 245. *Горький говорил: любой человек может стать писателем!* — Конечно, Горький-писатель не мог так говорить. Но именно он в 1930 г. инициировал издание журнала «Литературная учёба», чтобы «учить начинающих писателей литературной грамоте, ремеслу писателя, технике дела, работе словом и работе над словом»**. Три года спустя именем Горького был назван Литературный институт — инкубатор членов Союза писателей. И предприимчивым молодым людям вполне могло показаться, что с лёгкой руки Горького писательство стало профессией, которой овладеть ничего не стоит.

...«У нас уже утро»... — роман (1949; Сталинская премия, 1950) А. Б. Чаковского.

...«Свет над землёй»... — роман (кн. 1—2, 1949—1950; Сталинские премии, 1950, 1951) С. П. Бабаевского.

...«Труженики мира»... — «коммунистический международный роман» П. А. Павленко. Автор успел закончить только 1-ю часть (напечатана посмертно, в 1952).

...«Горы в цвету»... — роман (1949—1950) Д. М. Холендро.

...«Земля в цвету»... — книга (1948; Сталинская премия, 1949) В. А. Сафонова.

...«Молодость с нами»... — роман (1954) В. А. Кочетова.

С. 246. *Целую редакцию за эту искренность разогнали...* — В постановлении ЦК КПСС «Об ошибках редакции журнала «Новый мир»» (23 июля 1954) одной из грубых идейных ошибок была объявлена публикация статьи В. М. Померанцева «Об искренности в литературе». Руководствуясь постановлением ЦК, президиум правления Союза писателей постановил освободить А. Т. Твардовского от должности главного редактора «Нового мира». Первым, в августе 1954 г., из редколлегии исчез М. А. Шолохов. В сентябре журнал впервые вышел без имени Твардовского.

* Герберт Уэллс. Собр. соч.: В 15 т. Т. 2. М.: Правда, 1964. С. 204.

** М. Горький. Собр. соч.: В 30 т. Т. 25. М.: ГИХЛ, 1953. С. 102.

В ноябре сообщили об увольнении В. П. Катаева и С. С. Смирнова. Тогда же новый главный редактор К. М. Симонов взял взамен трёх других соредкторов — А. Ю. Кривицкого, Б. А. Лавренёва и М. К. Луконина.

С. 247. ...«Гаргантюа и Пантагрюэль». — Гротескный роман французского писателя эпохи Возрождения Франсуа Рабле (1494—1553).

С. 248. — *А что ж будут завтра описывать? — морщил лоб туповатый мальчишка. / — Завтра?.. Ну а завтра будут описывать после завтра.* — В ответ на упрёки по поводу Авиеты на обсуждении рукописи 1-й части «Ракового корпуса» в Московской писательской организации А. С. сказал: «Говорят: фельетон. Согласен, — да. Говорят: фарс. Согласен, да. Но вот в чём дело: фельетон-то не мой, фарс-то не мой. Если бы вы захотели, я бы мог взять речь Авиеты и показать: это говорил такой-то критик, а это говорил такой-то критик. Я их просто цитировал. Речь Авиеты состоит из цитат из произведений известных ведущих критиков. Говорят: не надо сердиться на литературу. Да, с точки зрения вечности, конечно, не надо. С точки зрения вечности этой главе здесь не место. Но в течение некоторого времени эти цитаты произносились не Авиетой, глупенькой девочкой, а людьми уважаемыми, с трибун побольше этой и в аудиториях побольше этой, и в печатном слове. Справедливо ли забыть это? Эти весы между вечностью и современностью очень трудные, сложные. Конечно, в этой главе я откровенно пренебрегаю чашкой вечности, откровенно даю фельетон и фарс. Но говорю: не мой»*.

С. 251. *Вот вам загадочная картинка, что это и где? На окнах — решётки <...> Минутами кажется, что опять вернулся в прежнюю жизнь и нет ей конца.* — Письмо Н. И. Зубову из Ташкента (27 января 1954) А. С. начинает так:

«Изю дня в день одна и та же комната и скрещенные прутья за стёклами (такая уж мода в Ташкенте). В определённые часы подъём и отбой. Одни и те же люди, понемногу меняющиеся (уходят, приходят). Напуганные, расспрашивающие новички. С утра — пайка, сахар, чай — нарушение в том, что ещё и завтрак. Обход утренний и вечерний. Днём “дёргают” на процедуры. Споры об открытии и закрытии форточек, о том, будет ли излечиваться рак и сколько кирпичей в Самаркандской мечети. Шахматы, книги. Кому добавок *dopusa*? Нет ли чего под матрацами, в тумбочках? Лишние вещи сдать в каптёрку. С утра угрюмоватое молчание, к отбою — гул голосов.

— Минутами мне кажется, дорогой Николай Иванович, что ничего не изменилось, что я продолжаю всё ту же жизнь и несть ей конца — тем более, что за прошлый год никаких “ярко-вольных” воспоминаний у меня не осталось, кроме разве купаний в Чу»**.

* Слово пробивает себе дорогу. С. 294.

** РГАЛИ, ф. 2511, оп. 2, д. 2, л. 8.

На полях письма оба эти абзаца отчёркнуты и снабжены авторской пометой: «целиком в гл. 21». В повести это глава 22-я.

...сколько кирпичей в самаркандской мечети. — Самая грандиозная соборная мечеть Самарканда — Биби-Ханым (1399—1404) — была построена в ознаменование похода Тимура в Индию (1398). Из-за гигантских размеров вскоре начала разрушаться. К середине прошлого века сохранились лишь её руины.

С. 254. *Не прощу ни Ленинграда, ни Рио-де-Жанейро...* — Ленинград — родной город Костоглотова. Рио-де-Жанейро — голубая мечта Остапа Бендера.

С. 255. *Как в школах сейчас учат: «Самое дорогое у человека — это жизнь, она даётся один раз».* — Из романа Н. А. Островского «Как закалялась сталь»*.

«Мост Ватерлоо» и «Рим — открытый город»... — Пьеса американского драматурга Роберта Эммета Шервуда «Мост Ватерлоо» была экранизирована трижды (1931, 1940; в 1956 — под названием «Таби»). Знаменитую мелодраму 1940 г. поставил американский режиссёр Мервин Ле Рой. В главных ролях — английская актриса Вивьен Ли и американский актёр Роберт Тейлор. Фильм «Рим — открытый город» (1945; премия Каннского фестиваля, 1946), ознаменовавший рождение послевоенного итальянского неореализма, снял режиссёр Роберто Росселини. В главной роли — Анна Маньяни.

С. 259. ...читать «Огонёк» и «Крокодил»... — Массовые советские журналы. Один предназначался для пропаганды достижений и успехов, другой — для тщательно дозированной критики.

С. 260. ...приличней было бы вывесить лозунг из числа октябрьских или первомайских... — Недели за полторы-две до 1 мая и 7 ноября газеты печатали на первых полосах ритуальные Призывы ЦК КПСС к очередному государственному празднику. По отдельности их помещали затем рядом с названием газеты. Ими начинали статьи. Их развешивали на улицах, в учреждениях и на предприятиях. С ними выходили на демонстрации. В феврале-марте в больнице вполне могли повесить лозунг, проштампованный в ЦК партии перед прошлой октябрьской годовщиной (он же слово в слово будет повторен к 1 Мая): «Медицинские работники! Улучшайте и развивайте народное здравоохранение, повышайте культуру в работе лечебных и санитарных учреждений! Внедряйте в практику достижения медицинской науки!»**

С. 264. *Сегодня день был — слишком памятный.* — 5 марта 1955 г. — вторая годовщина смерти Сталина.

* Николай Островский. Собр. соч.: В 3 т. Т. 1. М.: Мол. гвардия, 2004. С. 250.

** «Правда». 24 октября 1954; 21 апреля 1955.

С. 265. ...говорили в палате о сосланных нациях... — Тотальное выселение отдельных народов СССР в основном в Сибирь и Казахстан началось с этнических немцев. По Указу Президиума Верховного Совета СССР от 28 августа 1941 г. «О переселении немцев, проживающих в районах Поволжья» и целой серии постановлений Государственного Комитета Оборона (о переселении немцев из Ленинграда и Москвы, из Ростовской области и Краснодарского края, из автономных республик Северного Кавказа и союзных республик Закавказья, из Запорожской, Сталинской и Ворошиловградской областей и т.д.) за время войны были депортированы почти 950 тыс. немцев. Высланы также более 69 тыс. карачаевцев (Указ Президиума Верховного Совета СССР от 12 октября 1943), более 193 тыс. калмыков (Указ от 27 декабря 1943), более 478,5 тыс. чеченцев и ингушей (Указ от 23 февраля 1944), более 37 тыс. балкарцев (постановление Государственного Комитета Оборона от 5 марта 1944), более 194 тыс. крымских татар (постановления ГКО от 11 мая 1944, 21 мая 1944 и 29 мая 1944) и более 33 тыс. болгар, греков и армян (постановление ГКО от 2 июня 1944 и др.). О ссылке народов рассказывает А. С. в «Архипелаге ГУЛАГ» (Т. 6. С. 340—357; ч. 6, гл. 4).

Обыкновенный подвал. Ничем не выделенный. Никакого портрета. Просто — статья академика. И статья-то — не о второй годовщине! не о скорби всего народа! не о том, что «жив и вечно будет жить»! А — «Сталин и вопросы коммунистического строительства». — В статье члена-корреспондента Академии наук СССР Ф. В. Константинова, развёрстанной подвалом на полторы полосы, прямое определение роли Сталина дано в одной фразе: «Коммунистическая партия под руководством Центрального Комитета во главе с великим продолжателем дела Ленина — И. В. Сталиным в непримиримой борьбе с троцкистами и правооппортунистическими реставраторами капитализма отстояла ленинское учение о возможности победы социализма в одной стране и воплотила его в жизнь»*.

С. 265—266. Два месяца назад <...> вы вспомните, — семидесятилетие! Всё как по-прежнему: огромный портрет! огромный заголовок — «Великий Продолжатель». — К 75-летию со дня рождения Сталина «Правда» поместила: 19 декабря 1954 г. подвалом на второй — третьей полосах статью академика М. Б. Митина «И. В. Сталин — выдающийся теоретик марксизма»; 20 декабря подвалом на третьей полосе статью Пань Цзыняня (Пекин) «Вдохновляющая сила сталинских идей о мире»; 21 декабря подвалом на второй — третьей полосах статью В. С. Кружкова «И. В. Сталин — великий продолжатель дела В. И. Ленина». В этом же номере напечатана передовая статья «Великое торжество идей марксизма-ленинизма» и над ней — большой портрет Сталина. А сбоку — информационный двухколонник «Советский народ отмечает 75-летие со дня рождения И. В. Сталина», продолженный в номере от 22 декабря.

* «Правда». 5 марта 1955.

С. 266. ...*формально было недавно постановление, что годовщину смерти не отмечать, только годовщины рождения.* — Чтобы предотвратить пропагандистскую вакханалию, ожидавшуюся во вторую годовщину смерти Сталина — 5 марта 1955 г., Хрущев загодя провёл через ЦК КПСС постановление «О дне памяти В. И. Ленина»:

«В сознании народов нашей страны и трудящихся всего мира с именем В. И. Ленина, с его учением связываются великие победы советских людей в строительстве коммунистического общества. Поэтому теперь более целесообразно отмечать память В. И. Ленина не в день его смерти, что накладывает печать траура и скорби, а в день рождения В. И. Ленина — 22 апреля, придав этой дате значение праздника, что будет более соответствовать всему духу ленинизма как вечно живого, жизнеутверждающего учения.

ЦК КПСС постановляет:

День памяти В. И. Ленина, великого вождя трудящихся и основателя Советского социалистического государства, торжественно отмечать в день рождения В. И. Ленина — 22 апреля*.

С. 268. ...*смотрел кино «Взятие Плевны»...* — В 1954 г. был снят советско-болгарский исторический фильм «Герои Шипки» (режиссёр С. Д. Васильев) о войне 1877—1878 гг. за освобождение Болгарии от османского ига. Одним из ключевых событий этой войны стала капитуляция турецкой армии (36 тыс. человек, с 70 орудиями) в Плевне, после трёх неудачных атак блокированной, а затем полностью окружённой русскими и румынскими войсками при содействии болгарского ополчения.

С. 269. *И майор, чёрный от горя, стал объявлять: / «С глубоким прискорбием... вчера в Москве...»* — В «Архипелаге ГУЛАГ» А. С. приводит вариант этого сообщения: «В Камышлаг зашёл кум (морда пришибевская) в барак и объявил строго: “Партия с гордостью сообщает о смерти Иосифа Виссарионовича Сталина”» (Т. 6. С. 372).

С. 270. ...*с августа разрешили аборт делать...* — Аборты были запрещены «как в больницах и специальных лечебных заведениях, так и на дому у врачей и на частных квартирах беременных» постановлением ЦИК и СНК СССР от 27 июня 1936 г. За производство аборта и понуждение женщины к производству аборта устанавливалось наказание от одного до трёх и более лет тюрьмы. Женщин, пошедших на аборт, в качестве уголовного наказания ждало «общественное порицание, а при повторном нарушении закона о запрещении абортов, — штраф до 300 рублей»**. 5 августа 1954 г. вышел Указ Президиума Верховного Совета СССР «Об

* Там же. 11 января 1955.

** «Известия». 28 июня 1936.

отмене уголовной ответственности беременных женщин за производство аборта»*, а 23 ноября 1955 г. — «Об отмене запрещения абортотв»**.

С. 272. ...по четвертной за килограмм... — Четвертная здесь — 25 рублей.

С. 275. Разве тебя, журавля долгоногого, спутаешь с кем? — И. Е. Мейке рассказывает об А. С.: «Он весь парк исходил вдоль и поперёк. И когда санитарка вызывала его на процедуры, она говорила: “Господи, да этого длинноногого журавля где искать?”»***

...вещечко... — «...некая отдельная вещица; дорогая вещь, подарок, тайна»****.

С. 280. — О! Пятое марта — это нам очень подходит! — оживился Олег. — Это нам полезно. — 5 марта — день смерти Сталина.

С. 285. ...как снаряд из этих долгоствольных пушек последнего фронтного года — ухнувший, свистнувший и вот хлопающий, хлопающий в высоком воздухе снаряд... — У тяжёлой 100-миллиметровой пушки БС-3, появившейся на вооружении Красной Армии в мае 1944 г., длина ствола составляла 5,97 м. Продолжительный хлопающий звук был слышен при навесной стрельбе, которая велась на расстоянии до 20 650 м.

С. 286. Была книга «За закрытой дверью», ещё была — «О страданиях любви». — Книга Л. С. Фридланда «За закрытой дверью: Записки врача-венеролога» выдержала в 1927—1928 гг. пять изданий. Ему же принадлежит книга «Чего не должно быть: Записки врача о половых страданиях» (1928). Кстати, в 1949 г. Министерство здравоохранения СССР и Центральный институт санитарного просвещения выпустили популярную брошюру доктора Фридланда «Рак будет побеждён».

С. 288. ...за забором где-нибудь, за дувалом... — Дувал — стена, отгораживающая двор от улицы. См. далее: «...высокие глинобитные глухие дувалы...» (с. 407).

С. 289. ...все бросились лечить пенициллином... — Пенициллин — антибактериальное вещество, образуемое многими видами плесневых грибов пенициллов. Открыт пенициллин в 1929 г. английским микробиологом Александром Флемингом. В медицинскую практику вошёл

* «Ведомости Верховного Совета СССР». 17 августа 1954. № 15. С. 502.

** Там же. 29 ноября 1955. № 22. С. 596.

*** «Правда Северо-Запада». 10 декабря 2003.

**** Русский словарь языкового расширения / Составитель А. И. Солженицын. 3-е изд. М.: Русский путь, 2000. С. 135.

в 1943—1944 гг. Однако, как выяснилось, может вызывать аллергические реакции.

С. 291. *И теперь, в эти дни, / Я, как прежде, один...* — Романс на стихи Д. М. Ратгауза «Мы сидели с тобой у заснувшей реки...» (1892). Музыка П. И. Чайковского (1893), а также А. А. Спиро (1904).

С. 293. *Цветёт агава один раз в жизни и вскоре затем — умирает.* — Агава у самой земли образует розетку крупных листьев, из которой в виде канделябра или колоса выходит цветонос длиной до 12 м с огромным числом цветков (у некоторых видов до 17 тыс.). Цветёт агава на 6—15-м году (в оранжевых намного позже — через несколько десятков лет) и по созревании плодов погибает. «Вазоны с агавами» (с. 144) стоят в комнате врачей, где уединяются Зоя и Олег.

С. 294. *...слали ему посылки куда-то в Бурят-Монголию.* — До 7 июля 1958 г. Бурятия называлась Бурят-Монгольской АССР (образована 30 мая 1923).

С. 299. *...Резерфорд умер при операции грыжи.* — Эрнст Резерфорд, английский физик, предложивший планетарную модель атома, осуществивший первую искусственную ядерную реакцию и предсказавший существование нейтрона, нобелевский лауреат (1908), умер в возрасте 66 лет 19 октября 1937 г. на четвёртый день после операции, сделанной выдающимся хирургом Томасом Данхиллом, по поводу грыжи.

С. 302. *У него был вид как будто с иллюстраций к путешествиям капитана Кука...* — Джеймс Кук (1728—1779) — английский мореплаватель, трижды обогнувший Землю. Открыл в Тихом океане около 11 архипелагов и 27 островов, в том числе Гавайи и Новую Каледонию. Аборигены, которые ему встречались, по преимуществу были жителями тропиков.

С. 303. *...он видел комдивов, мечтавших стать дневальными...* — При изменении наименований воинских званий с 7 мая 1940 г. комдивы стали генерал-майорами. В лагере дневальный, то есть дежурный, весь день был на побегушках, зато освобождался от тяжёлых общих работ.

С. 305. *...«тимпанит»...* — от греч. *timpanon* (барабан, бубен) — чрезмерное скопление газов в рубце у жвачных животных или в кишечнике лошади, вызывающее беспокойство, вздутие живота и одышку. Термин ввёл римский врач Целий Аврелиан (V в. н. э.), который отметил, что при тимпаните удар по животу ладонью вызывает звук барабана.

...«случай не резектабельный»... — не операбельный, безнадежный.
...летальный исход... — смерть.

— *Status idem*, — говорили ему. (Значило: всё в том же положении.) — Вернувшись после перерыва в больницу, А. С. написал из Ташкента Н. И. Зубову (16 июля 1954): «Опухоль за 4 месяца отдыха не возросла, а за месяц лечения не уменьшилась — “idem”»*.

С. 308. *Цэ-эр рэкти...* — от лат. cancer intestini recti — рак прямой кишки.

С. 309. ...за сфинктером. — Сфинктер — от нем. Sphinkter (сжиматель) — кольцевидная мышца, при сокращении суживающая или замыкающая отверстие какого-нибудь органа, в данном случае — прямой кишки.

С. 311. ...сегодня ты, а завтра я!.. — Слова из арии Германа (опера П. И. Чайковского «Пиковая дама»; либретто М. И. Чайковского, по повести А. С. Пушкина; премьера 7 декабря 1890):

Что наша жизнь?

Игра! <...>

Кто прав, кто счастлив здесь, друзья?

Сегодня — ты, а завтра — я!..**

С. 319. ...бытие определяет сознание... — Поговорочный вариант формулы Карла Маркса из работы «К критике политической экономии»: «Не сознание людей определяет их бытие, а, наоборот, их общественное бытие определяет их сознание»***.

Как сказал Горький, в здоровом теле здоровый дух. — Поговорка, приписанная М. Горькому, восходит к древнеримскому поэту-сатирику Дециму Юнию Ювеналу (ок. 60 — ок. 127). В оригинале: «Mens sana in corpore sano» (лат.). В переводе Ф. А. Петровского: «Надо молить, чтобы ум был здоровым в теле здоровом. / Бодрого духа проси, что не знает страха пред смертью»****.

...учится уже на втором курсе областного учительского института. — В отличие от четырёхлетнего педагогического института, представлявшего своим выпускникам право преподавать в восьмых — десятых классах средней школы, двухлетний учительский институт готовил кадры для тогдашней семилетки.

С. 320. — Теперь, после решений январского пленума, у вас дела гораздо лучше пойдут <...> Потому что создание инструкторских групп по зонам МТС — это решающее звено. Оно всё вытянет. — Действи-

* РГАЛИ, ф. 2511, оп. 2, д. 2, л. 19.

** «Пиковая дама»: Опера П. И. Чайковского. Л.; М.: Искусство, 1938. С. 103.

*** К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения. Т. 12, ч. 1. М.: Партиздат ЦК ВКП(б), 1935. С. 6—7.

**** Римская сатира. М.: Худож. лит., 1989. С. 311.

тельно, в постановлении пленума ЦК КПСС, принятом 31 января 1955 г. по докладу Хрущёва, вскользь упоминались некие инструкторские группы с весьма расплывчатыми функциями: «Приближение руководства к сельскохозяйственному производству, повышение активности колхозников и колхозниц, рабочих и специалистов МТС и совхозов позволяют вскрыть большие возможности и резервы колхозов, МТС и совхозов для быстрого подъёма всех отраслей сельского хозяйства. Положительную роль в выявлении и использовании этих резервов и развязывании инициативы снизу играют такие меры, как создание инструкторских групп во главе с секретарями райкомов партии по зонам МТС, упразднение районных управлений сельского хозяйства и направление специалистов в МТС для работы в колхозах, укрепление колхозов и МТС более квалифицированными кадрами, улучшение дела пропаганды и внедрения передового опыта и достижений науки, помощь парторганизациям сельских районов со стороны партийных организаций промышленных предприятий и городов»*.

Так витиевато написано всё огромное постановление, занявшее в газете три с половиной полосы.

...призыв ЦК ВЛКСМ о выращивании кукурузы... — Обращение Центрального Комитета ВЛКСМ «В поход за выращивание кукурузы! К комсомольцам и комсомолкам, ко всей сельской молодёжи Советского Союза» было напечатано в газете «Правда» 25 февраля 1955 г.

...об изменении самой практики планирования сельского хозяйства... — раскавыченное (с добавлением слова «самой») название постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 9 марта 1955 г.

...заявление, почему невозможно заключить договор с Австрией без германского договора... — В заявлении министерства иностранных дел «К вопросу об австрийском договоре» на все лады повторяется заклинание о необходимости предотвратить новое поглощение (аншлюс) Австрии Германией. Советская позиция основывается на том, что «урегулирование австрийского вопроса нельзя рассматривать вне связи с германским вопросом, особенно ввиду имеющихся планов ремилитаризации Западной Германии, что усиливает опасность поглощения (аншлюса) Австрии»**.

...речь Ракоши в Будапеште... — выступление первого секретаря ЦК Венгерской партии трудящихся Матиаса Ракоши на собрании партийного актива Будапешта (в изложении) напечатано в «Правде» 14 марта 1955 г.

...и как мало, и как либерально судят в Западной Германии тех, кто был причастен к концентрационным лагерям. — В «Архипелаге ГУЛАГе» А.С. высказывается на эту тему:

«И вот в Западной Германии к 1966 году осуждено **восемьдесят шесть тысяч** преступных нацистов — и мы захлёбываемся, мы страниц газетных и радиочасов на это не жалеем, мы и после работы останемся на митинг и проголосуем: мало! И 86 тысяч — мало! и 20 лет судов — мало! продолжить!

* «Правда». 2 февраля 1955.

** Там же. 12 марта 1955.

А у нас осудили (по опубликованным данным) — около *тридцати человек*.

То, что за Одером, за Рейном, — это нас печёт. А то, что в Подмоскowie и под Сочами за зелёными заборами, а то, что убийцы наших мужей и отцов ездят по нашим улицам и мы им дорогу уступаем, — это нас не печёт, не трогает, это — “старое ворошить”.

А между тем, если 86 тысяч западногерманских перевести на нас по пропорции, это было бы для нашей страны **четверть миллиона!**» (Т. 4. С. 165).

С. 321. *Но не смел ещё Олег рта раскрыть и рассказать, что они таки боролись.* — О мятежах и восстаниях в лагерях А. С. повествует в «Архипелаге ГУЛАГе» (Ч. 5, гл. 10, 11, 12 — «Когда в зоне пылает земля», «Цепи рвём на ощупь», «Сорок дней Кенгира») (Т. 6. С. 203—294).

С. 346. — *А вы помните, что «Апрельские тезисы» обещали? Обздрав не должен получить больше вот этой Нэльки.* — «Апрельские тезисы» были составлены Лениным, по-видимому, в поезде по дороге из Швейцарии в Петроград, куда он прибыл поздно вечером 3 (16) апреля 1917 г. С этими тезисами Ленин выступил на следующий день в Таврическом дворце дважды: сначала на собрании большевиков, затем на объединённом собрании большевиков и меньшевиков — делегатов Всероссийского совещания Советов рабочих и солдатских депутатов. Среди лозунгов, агитировавших за социалистическую революцию, был и тот, на который ссылается Шулубин:

«Плата всем чиновникам, при выборности и сменяемости всех их в любое время, не больше средней платы хорошего рабочего»*.

С. 347. ...*наговорил сегодня лишнего, почти на статью...* — Здесь — на статью уголовного кодекса.

...«*Толковая палея*»... — древнерусская книга, излагающая и полемически толкующая события, описанные в Ветхом завете, с вставками из других сочинений, в частности «Шестоднев» Иоанна экзарха Болгарского и Севериана Гевальского, «Лествицы» Иоанна Синайского, «Слова об Иосифе» Ефрема Сирина, «Христианской топографии» Космы Индикоплова, «Заветов двенадцати патриархов». До начала XX в. «Палея Толковая» полностью была издана лишь однажды по списку, сделанному в Коломне в 1406 г. (Вып. 1—2. М.: Типография и словолитня О. Гербека, 1892—1896).

...*сказание о Китоврасе.* — «Сказание о том, как был взят Китоврас Соломоном» см., например, в книге: Библиотека литературы Древней Руси. Т. 3. XI—XII века. СПб.: Наука, 1999. С. 175—179.

С. 348. *Доктор Орещенков...* — Впервые упоминается на с. 85. Под этим именем выведен наставник Л. А. Дунаевой и И. Е. Мейке — Борис

* В. И. Ленин. Полн. собр. соч. Т. 31. 1981. С. 108, 115.

Николаевич Калмыков. На просьбу А. С. рассказать о нём Лидия Александровна ответила (30 сентября 1963): «Это мой учитель, он был ассистентом на кафедре рентгенологии, куда я поступила в ординатуру, и он же меня рекомендовал в онкологию. Он меня учил диагностике и отношению к работе и к больным. Это исключительно эрудированный врач, честнейший и культурный человек. После войны он защитил кандидатскую диссертацию, получил звание доцента. <...> Он хорошо знает онкологию. Кроме того, поскольку он очень долго, всю жизнь, работал в Таш<кентском> мед<ицинском> ин<ституте>те, вернее *в клиниках*, как-то — терапевтических, хирургич<еских>, детской, инфекционной, урологич<еской>, глазной, кожной, нервной и т. д., и, являясь умным человеком, он вполне овладел этими дисциплинами в такой степени, чтобы быть консультантом, т. к. рентгенодиагност в принципе консультант. Это один из лучших рентгенологов города»*.

А. С. познакомился с Калмыковым, приехав в Ташкент в 1964 г. Доктор Калмыков числил в своих учениках 28 врачей, среди них было 2 профессора и 10 кандидатов наук. Работал до 1975 г. Ушёл на пенсию после перенесённой им тяжёлой операции.

...деревянный одноэтажный домик с садиком всё же купил, ещё в двадцатых годах. — Домик доктора Калмыкова разрушен ташкентским землетрясением 1966 г.

С. 354. *...как с фотоэкспонетром...* — В фотоаппаратах того времени нужно было вручную устанавливать диафрагму объектива, то есть диаметр отверстия, через которое свет проникает в камеру, и выдержку, то есть время, на которое открывается затвор камеры, пропуская свет для воздействия на плёнку. Экспонетр, измеряя освещённость объекта съёмки, определял выдержку для выбранной диафрагмы с учётом чувствительности плёнки.

С. 361. *...Олег увидел Шулубина.* — У Шулубина нет цельных протипов. В его биографию частично перенесены мытарства ярославского учителя-пенсионера Николая Яковлевича Семёнова. Отвечая ему, А. С. признался: «Пронзили Вы сердце мне своим жизнеописанием...»** Западная критика, которая жадно хотела, чтобы А. С. оказался социалистом во спасение социалистической идеи, пыталась разглядеть в Шулубине автора. Но писатель решительно высказался и против уподобления его себе, и против самого социализма: «Шулубин, который всю жизнь отступал, и гнул спину, и сотрудничал с режимом, выражает как последнюю надежду, что, может быть, существует нравственный социализм. И это место критика отметила как: вот, Солженицын выражает социалистическое мировоззрение. Но Шулубин совершенно противоположен

* РГАЛИ, ф. 2511, оп. 1, д. 85, л. 7 с об.

** Наталья Решетовская. Александр Солженицын и читающая Россия. С. 149.

автору и не выражает ни с какой стороны автора. Костоготов, который гораздо ближе к автору, на это пожимает плечами и говорит: “Ну, у нас в лагере *по-разному* говорили”. Интересно, что советская критика, Союза советских писателей, это место с другой стороны критиковала: как я смел придумать какой-то глупый “нравственный социализм”, которого быть на земле, нравственного социализма, — не может! И они были правы. Потому что нравственные принципы имманентно не содержатся в социализме, а даже противоположны ему*.

О замысле главы с Шулубиным и Костоготовым и её специфическом истолковании на Западе А. С. писал: «...многолетняя западная поддержка меня во многом зависела от одной главы в “Раковом корпусе”, разговора Шулубина и Костоготова о социализме. Я написал её чисто экспериментально, пытаясь представить одну из возможных точек зрения, или что может поддерживать такого опустошённого человека, как Шулубин. А на Западе эту главу прочли (художественно — совсем неоправданно) как мой собственный манифест в защиту “нравственного социализма”, прочли — потому что *хотели* прочесть, потому что им *надо* было видеть во мне сторонника социализма, так заморожены социализмом — только бы кто помахал им той цацкой. Я — не понимал этого тогда совсем, а если б и понимал, то ни для какой тактики не стал бы изгибаться, погнушался бы, никогда я и слова похвалы социализму не сказал, — а вот, истолковали главу. И как сторонника социализма меня и защищали столь дружно, столь едино, до всех левых включительно**».

В декабре 1967 г., поселившись в зимней избе в Солотче, чтобы без помех сосредоточиться на работе над «Августом Четырнадцатого», А. С. написал в «Дневнике Р-17»:

«Отличное состояние одинокого творчества. Его свойство: во время пустых дел (хозяйство, лыжи, велосипед) какая-то подъёмная площадочка в тебе всё время подаёт и подаёт наверх мысли, просто заваливает, успевай записывать в разные места. Это работает подсознание, домысливая то, чего ты не домыслил вчера и позавчера. В таком именно стиле, заглотом, навалилась на меня вся шулубинская глава во время хозяйственной велопоездки из Рождества в Наро-Фоминск летом 1966. Хорошо, что была бумага и карандаш, слезал и записывал» (готовится к изданию).

С. 364. *До финской войны.* — Войну против Финляндии Советский Союз начал 30 ноября 1939 г.

...миллионы русских солдат изменили родине... — Изменой родине для советских военнослужащих в годы войны был, в частности, плен. Это следовало из приказа Ставки Верховного Главнокомандования № 270 от 16 августа 1941 г.:

* Александр Солженицын. Публицистика. Т. 2. С. 196—197.

** А. Солженицын. Бодался теленок с дубом. С. 322.

«Командиров и политработников, во время боя срывающих с себя знаки различия и дезертирующих в тыл или сдающихся в плен врагу, считать злостными дезертирами, семьи которых подлежат аресту как семьи нарушивших присягу и предавших свою Родину дезертиров.

Обязать всех вышестоящих командиров и комиссаров расстреливать на месте подобных дезертиров из начсостава. <...>

Обязать каждого военнослужащего, независимо от его служебного положения, потребовать от вышестоящего начальника, если часть его находится в окружении, драться до последней возможности, чтобы пробиться к своим, и если такой начальник или часть красноармейцев вместо организации отпора врагу предпочтут сдать ему в плен, — уничтожить их всеми средствами, как наземными, так и воздушными, а семьи сдавшихся в плен красноармейцев лишить государственного пособия и помощи»*. Точное число наших пленных до сих пор не установлено. Немцы насчитали 5 734 528 советских пленных. Генеральный штаб Вооружённых сил Российской Федерации признаёт 4 559 000 человек.

*В наш гнусный век... / На всех стихиях человек — / Тиран, предатель или узник. — Из стихотворения А. С. Пушкина «К Вяземскому» (1826)**.*

С. 365. *Френсис Бэкон ещё в XVI веке выдвинул такое учение — об идолах.* — Английский философ Фрэнсис Бэкон (1561—1626) называет идолами «глубочайшие заблуждения человеческого ума»***.

«Есть четыре вида идолов, которые осаждают умы людей. Для того чтобы изучать их, дадим им имена. Назовём первый вид идолами рода, второй — идолами пещеры, третий — идолами площади и четвёртый — идолами театра»****.

«Идолы рода находят основание в самой природе человека, в племени или самом роде людей, ибо можно утверждать, что чувства человека есть мера вещей. Наоборот, все восприятия как чувства, так и ума покоятся на аналогии человека, а не на аналогии мира. Ум человека уподобляется неровному зеркалу, которое, примешивая к природе вещей свою природу, отражает вещи в искривлённом и обезображенном виде.

Идолы пещеры суть заблуждения отдельного человека. Ведь у каждого помимо ошибок, свойственных роду человеческому, есть своя особая пещера, которая ослабляет и искажает свет природы. Происходит это или от особых прирождённых свойств каждого, или от воспитания и бесед с другими, или от чтения книг и от авторитетов, перед какими

* Мировые войны XX века. Кн. 4. Вторая мировая война: Документы и материалы. М.: Наука, 2002. С. 226—227.

** А. С. Пушкин. Полн. собр. соч. Т. 2. 1977. С. 298.

*** Фрэнсис Бэкон. Сочинения: В 2 т. Т. 1. М.: Мысль, 1971. С. 322.

**** Там же. Т. 2. 1972. С. 18.

кто преклоняется, или вследствие разницы во впечатлениях, зависящей от того, получают ли их души предвзятые и предрасположенные или же души хладнокровные и спокойные, или по другим причинам. Так что дух человека, смотря по тому, как он расположен у отдельных людей, есть вещь переменчивая, неустойчивая и как бы случайная. Вот почему Гераклит правильно сказал, что люди ищут знаний в малых мирах, а не в большом или общем мире.

Существуют ещё идолы, которые происходят как бы в силу взаимной связанности и сообщества людей. Эти идолы мы называем, имея в виду порождающее их общение и сотоварищество людей, и д о л а м и п л о щ а д и. Люди объединяются речью. Слова же устанавливаются сообразно разумению толпы. Поэтому плохое и нелепое установление слов удивительным образом осаждаёт разум. Определения и разъяснения, которыми привыкли вооружаться и охранять себя ученые люди, никоим образом не помогают делу. Слова прямо насилуют разум, смешивают всё и ведут людей к пустым и бесчисленным спорам и толкованиям.

Существуют, наконец, идолы, которые вселились в души людей из разных догматов философии, а также из превратных законов доказательств. Их мы называем и д о л а м и т е а т р а, ибо мы считаем, что, сколько есть принятых или изобретённых философских систем, столько поставлено и сыграно комедий, представляющих вымышленные и искусственные миры. Мы говорим это не только о философских системах, которые существуют сейчас или существовали некогда, так как сказки такого рода могли бы быть сложены и составлены во множестве; ведь вообще у весьма различных ошибок бывают почти одни и те же причины. При этом мы разумеем здесь не только общие философские учения, но и многочисленные начала и аксиомы наук, которые получили силу вследствие предания, веры и беззаботности»*.

С. 366. ...он был сумасшедший мельник из «Русалки» — «Какой я мельник?? — я ворон!!» — В драме А. С. Пушкина «Русалка» (1829—1832):

Какой я мельник, говорят тебе,
Я ворон, а не мельник**.

С. 367. В сельхозакадемии пал Муралов. — А. И. Муралов (1886—1937) последние два года был президентом Академии сельскохозяйственных наук, сменив на этом посту крупнейшего генетика, основоположника современных учений о биологических основах селекции и о центрах происхождения культурных растений Н. И. Вавилова. До этого успел побывать Тульским губвоенкомом и комендантом Тульского укрепрайона,

* Фрэнсис Бэкон. Сочинения: В 2 т. Т. 1. М.: Мысль, 1971. С. 18—20.

** А. С. Пушкин. Полн. собр. соч. Т. 5. 1978. С. 380.

председателем Нижегородского облисполкома, наркомом земледелия РСФСР и заместителем наркома земледелия СССР. Член ВЦИК и ЦИК СССР, делегат партийных съездов. В июле 1937 г. арестован, в октябре расстрелян.

Предложили: анатомию, микробиологию, нервные болезни перестраивать по учению невежественного агронома и по садоводной практике. — Невежественный агроном — Т. Д. Лысенко (1898—1976), создатель псевдонаучного «мичуринского учения» и на многие годы монополист в советской биологии. Отрицая классическую генетику и организуя гонения на её приверженцев, утверждал возможность наследования приобретённых признаков, перерождения одного вида в другой. Практические рекомендации Лысенко были несостоятельными и нанесли непоправимый ущерб сельскому хозяйству. Практику садовода-селекционера И. В. Мичурина (1855—1935) Лысенко и его сторонники абсолютизировали и тем самым извращали.

...в далёком Коканде! — Коканд — город в Ферганской области. См. выше на этой же странице: «...в Фергане я этого не скажу!..»

...уничтожить книги по лженауке генетике!.. — Высшего накала травля генетиков достигла на сессии ВАСХНИЛ (31 июля — 7 августа 1948). Черта под разгромом генетики подведена в постановлении Президиума Академии наук СССР, принятом на расширенном заседании Президиума, которое прошло следом, 24—26 августа.

С. 368. *И дочь моя, редактор районной газеты, написала такие лирические стихи: / Нет, я не хочу отступить! / Прощенья просить не умею. / Уж если драться — так драться! / Отец? — и его в шею!* — В «Архипелаге ГУЛАГ» А. С. рассказывает раздирающую квартирную историю, которая захлестнула семью Н. Я. Семёнова после его ареста в 1950 г. в городе Любиме и возвращения через шесть лет. И добавляет о дочери: «...Надя (Надежда Николаевна Топникова) за это время закончила истфилфак Ярославского пединститута, вступила в партию и стала редактором районной газеты в городе Нея Костромской области. Она и поэтесса, и в 1961 ещё в городе Любиме обосновала своё поведение в стихах:

Уж если драться, так драться.
 Отец?!.. И его — в шею!
 Мораль?! Вот придумали люди!
 Знать не хочу я об этом!
 В жизни шагать я буду
 Только с холодным расчётом!» (Т. 5. С. 525).

...я смело разгонял в Тамбове эсеро-меньшевицкую думу... — В августе 1917 г. на выборах в Тамбовскую городскую думу абсолютное большинство получили эсеры, которые тогда блокировались с мень-

шевиками. Затем власть перехватили Советы. Но вооружённый мятеж 17—18 марта 1918 г. ликвидировал в Тамбове советскую власть. На смену ей пришла старая городская дума. Мятеж был подавлен частями Красной Армии.

А Орджоникидзе? — ведь это был орёл! — ни Шлиссельбургом, ни каторгой его не взяли... — Григорий Константинович (Серго) Орджоникидзе (1886—1937) отбывал ссылку в Енисейской губернии и в Якутске. В 1912 г. был заключен на три года в Шлиссельбургскую крепость.

С. 369. *Вы не знаете такого стихотворения Гервега...* — Цитируется стихотворение немецкого поэта Георга Гервега «Das Lied vom Hasse» (1841), в русском переводе — «Песнь о ненависти». На языке оригинала см.: Немецкая поэзия XIX века. М.: Радуга, 1984. С. 352—353. В переводе Б. Л. Пастернака (1925) — там же, с. 580.

С. 370. *Когда Толстой в конце прошлого века решил практически насаждать в обществе христианство...* — С конца 1870-х годов Л. Н. Толстой выработывает собственное религиозно-философское учение, выразившееся в таких его произведениях, как «Исповедь», «Исследование догматического богословия» (оба 1879—1880), «Соединение и перевод четырёх Евангелий» (1880—1881), «В чём моя вера?» (1882—1884). По мысли Толстого, христианство в обновлённом виде, отказавшись от вековых искажений и грубой церковной обрядности, должно объединить людей идеями любви и всепрощения, преобразовать общество путём религиозно-морального самоусовершенствования и непротивления злу насилием. На этих основах выросло толстовство как религиозная вера и практика общезжития.

Естественно, традиционной Церковью толстовское вольнодумство было отвергнуто. В Определении Священного Синода от 20—22 февраля 1901 г. говорилось, что Толстой «в своих сочинениях и письмах, во множестве рассеваемых им и его учениками по всему свету, в особенности же в пределах дорогого Отечества нашего, <...> проповедует, с ревностью фанатика, ниспровержение всех догматов Православной Церкви и самой сущности веры Христианской: отвергает личного живого Бога, в Святой Троице славимого, Создателя и Промыслителя вселенной; отрицает Господа Иисуса Христа — Богочеловека, Искупителя и Спасителя мира, пострадавшего нас ради человек и нашего ради спасения и воскресшего из мёртвых; отрицает бессеменное зачатие по человечеству Христа Господа и девство до рождения и по рождении Пречистой Богородицы Приснодевы Марии, не признаёт загробной жизни и мздовоздаяния, отвергает все таинства Церкви и благодатное в них действие Святого Духа и, ругаясь над самыми священными предметами веры православного народа, не содрогнувшись подвергнуть глумлению величайшее из таинств, святуго Евхаристию»*.

См. также 2-е примечание к с. 123.

* «Церковные ведомости». 24 февраля 1901.

С. 371. ...*Владимир Соловьёв довольно убедительно развивает, что можно и нужно экономику строить — на основании нравственности.* — В капитальном труде В. С. Соловьёва «Оправдание добра. Нравственная философия» (1894—1897) этому посвящена глава 16 «Экономический вопрос с нравственной точки зрения». В частности, автор отмечает:

«Так как подчинение материальных интересов и отношений в человеческом обществе каким-то особым, *от себя действующим* экономическим законам есть лишь вымысел плохой метафизики, не имеющей и тени основания в действительности, то в силе остаётся общее требование разума и совести, чтобы и эта область подчинялась высшему нравственному началу, чтобы и в хозяйственной своей жизни общество было организованным осуществлением добра.

Никаких самостоятельных экономических законов, никакой экономической необходимости нет и быть не может, потому что явления хозяйственного порядка мыслимы только как деятельности человека — существа нравственного и способного подчинять все свои действия мотивам чистого добра. Самостоятельный и безусловный закон для человека, как такового, один — нравственный, и необходимость одна — нравственная. Особенность и самостоятельность хозяйственной сферы отношений заключается не в том, что она имеет свои роковые законы, а в том, что она представляет по существу своих отношений особое своеобразное *поприще* для применения единого нравственного закона, как земля отличается от других планет не тем, что имеет какой-нибудь свой самобытный источник света (чего у неё в действительности нет), а только тем, что по своему месту в солнечной системе она особым определённым образом воспринимает и отражает единый общий свет солнца»*.

А Кропоткина хоть страницу читали? «*Взаимопомощь среди людей...*»? — Князь П. А. Кропоткин (1842—1921) — революционер, теоретик анархизма; географ, геолог, историк, биолог. Человек для него — «существо, практикующее взаимопомощь». Книга Кропоткина «Взаимная помощь как фактор эволюции» вышла в Лондоне в 1902 г. В русском переводе получила название «Взаимопомощь среди животных и людей» (СПб., 1904).

А Михайловского? — Н. К. Михайловский (1842—1904) — публицист, социолог, критик, общественный деятель; многолетний сотрудник «Отечественных записок» и «Русского богатства». Последовательно отвергал детерминизм и подчинение сознания бытию. Идею «исторической необходимости» приравнивал к фатализму. Полемицируя с марксистами, защищал крестьянство, которому они предписывали освобождение от «власти земли» и «вываривание в фабричном котле». Видел в интеллигенции общественную силу, которая призвана отстаивать идеалы человечности и справедливости. Не считал возможным, чтобы современники приносили себя в жертву будущему, до которого не доживут.

* В. С. Соловьёв. Собр. соч.: В 10 т. 2-е изд. Т. 8. СПб.: Книготорговое товарищество «Просвещение», 1914. С. 367—368.

С. 373. *Была этиология и патогенез...* — Этиология здесь — причина возникновения болезни или патологического состояния. От греч. *aitia* (причина) + *logos* (учение, наука). Патогенез здесь — процесс возникновения и развития патологических отклонений, болезней в целом и отдельных их проявлений. От греч. *pathos* (страдание, болезнь) + *genesis* (происхождение).

С. 374. *...его, ещё студента, вывели из молодого тогда МХАТа за безобразия — была премьера «Власти тьмы», и Аким так натурально сморкался и так онучи разворачивал, что Дормидонт с приятелем стали шикать.* — Премьера спектакля «Власть тьмы» по пьесе Л. Н. Толстого состоялась в Московском Художественном театре 5 ноября 1902 г. Режиссёр — К. С. Станиславский. В роли Акима — А. Р. Артём.

С. 376. *И в Москве, в институте рентгенорадиологии, — наша Леночка, и Серёжа там. Так вот что мы решили: поезжайте-ка вы туда?..* — В основе этой коллизии — реальные события из жизни Л. А. Дунаевой.

«Раковый диагноз под знаком вопроса был поставлен Лидии Александровне в 1963 году. Общий консилиум её учителей и учеников решил: лучше сделать лишнее, чем упустить. Наставник Дунаевой, Борис Николаевич Калмыков, писал в Москву профессору Тагеру:

“Не откажите посмотреть одного из лучших рентгенологов Ташкента Лидию Александровну Дунаеву. У неё обнаружили опухоль в околокардиальной области желудка. Если Вы подтвердите диагноз, то не откажите замолвить словечко перед наиболее искусным хирургом... Будем Вам очень благодарны, так как Лидию Александровну мы не только уважаем, но и любим как большого, хотя и очень скромного человека...”

Ташкентский диагноз не подтвердился. Лидию Александровну тогда “чаша сия миновала”*.

Об этом А. С. узнал из письма Л. А. Дунаевой от 20 марта 1963 г.:

«У меня наши врачи заподозрили рак желудка, и Минздрав в течение 2-х дней оформил мне поездку в Москву на консультацию и, возможно, на операцию. 13 / III 63 г. я вылетела на ТУ-104 в Москву, там меня быстро обследовали, ничего плохого не нашли, и уже 16 / III я вылетела опять на ТУ домой**.

В середине марта 1963 г. И. Е. Мейке писала А. С. о Дунаевой: «Сейчас обследуется в институте рентген-радиологии в Москве на Солянке, 7 у проф. Козловой Анны Васильевны, у неё же дома и остановилась»***. А. В. Козлова («наша Леночка» в повести) — первая женщина профессор в области радиологии в стране — с 1948 по 1971 г. руководила радиологической лабораторией в НИИ рентгенологии и радиологии.

* Григорий Резниковский. «Раковый узел» А. И. Солженицына // «Звезда Востока». 1991. № 2. С. 96.

** РГАЛИ, ф. 2511, оп. 1, д. 85, л. 1.

*** Там же, д. 90, л. 2.

С. 380. ...с тем свинцовым бюксиком... — Бюксик (от нем. Büchse — банка) здесь — баночка с притёртой крышкой.

С. 383. ...тезан и пентаксил. — Оба препарата стимулируют образование лейкоцитов.

В письме Н. И. Зубову из Ташкента (16 июля 1954) А. С. сообщает: «Пью тезан и пентаксил. Рентген угнетает лейкоцитогенную функцию костного мозга»*.

Пайка — кило двести. — Дневная норма хлеба.

С. 387. ...держу руку как «рот фронт». — Историческое приветствие коммунистов Германии «Rot Front!» (буквально «Красный фронт!») сопровождалось вскинутым кулаком.

С. 389. ...сколько я этих параш уже пережил... — Параша здесь — ложные слухи, сплетни.

— *Вы ведь — из-под Сальска?* — Город Сальск — районный центр на юге Ростовской области. Постановлением Государственного Комитета Обороны от 6 сентября 1941 г. «О переселении немцев из г. Москвы и Московской области и Ростовской области» предписывалось переселить из Ростовской области с 15 по 20 сентября 21 400 человек в Казахскую ССР**.

На обсуждении 1-й части «Ракового корпуса» в Московской писательской организации (16 ноября 1966) А. М. Медников рассказал: «...в начале войны я был бойцом истребительного батальона НКВД, и в ряде всяких дел — тушения зажигалок и проч. — была одна ночь с особым заданием: мы выселяли всех немцев из Москвы. Это было довольно тяжёлое дело. Я помню, нам дали адреса, и мы за два часа предупреджали, что надо собраться, какое-то количество килограмм вещей можно взять, и всех немцев выселяли»***. За два дня (в промежутке между 10-м и 15 сентября 1941) из Москвы и Московской области тремя эшелонами были отправлены в Казахстан 7 384 немца****.

С. 390. ...эпикриз. — От греч. epi (после) + krisis (решение) — заключительная часть истории болезни, содержащая обоснование окончательного диагноза, сведения о состоянии больного, а также медицинский прогноз и лечебные рекомендации.

С. 392. *Мне и справок-то нужно не как всем людям по одной, а — две. <...> И ещё третья — для вокзала.* — В письме Н. И. Зубову из Ташкента

* Там же, оп. 2, д. 2, л. 19, об.

** Виктор Бердинских. Спецпоселенцы: Политическая ссылка народов Советской России. М.: НЛО, 2005. С. 317.

*** Слово пробивает себе дорогу. С. 262.

**** Виктор Бердинских. Спецпоселенцы. С. 320.

(17 января 1954) А. С. рассказывает о непростых взаимоотношениях с местными врачами: «Но хочу от них получить много разных справок — и из-за этого не надо бы ссориться»*.

С. 397. *Две тысячи лет уже как сказано, что иметь глаза — не значит видеть.* — На сбывающееся пророчество Исаии «...слухом услышите — и не уразумеете, и очами смотреть будете — и не увидите»** около двух тысяч лет назад ссылаясь Иисус Христос, объясняя ученикам, почему в проповедях переходит на притчи: «...потому говорю им притчами, что они видя не видят, и слыша не слышат, и не разумеют <...>»***

Задолго до Христа псалмопевец Давид обличал язычников: «Есть у них уста, но не говорят; есть у них глаза, но не видят; есть у них уши, но не слышат; есть у них ноздри, но не обоняют; есть у них руки, но не осязают; есть у них ноги, но не ходят; и они не издадут голоса гортанью свою»****.

...как будто по стигматам на ладонях и плюснах. — Стигматы (от греч. *stigmatos* — укол, клеймо, пятно) здесь — кровавые язвы, появляющиеся на теле исступлённо верующих людей в тех местах, где были раны от гвоздей у распятого Иисуса Христа.

С. 398. — *Клёд Фаррер.* — Клод Фаррер (1876—1957) — французский прозаик, лауреат Гонкуровской премии (1905), академик (1935). Сын моряка офицера, сам более двух десятилетий прослужил на военном флоте. Подхватил традицию «колониального романа».

С. 399. — *На второй — в сорок девятом?* — «1948—49 годы, во всей общественной жизни проявившиеся усилением преследований и слежки, ознаменовались небывалой даже для сталинского неправоудия трагической комедией повторников».

Так названы были на языке ГУЛАГа те несчастные недобитыши 1937 года, кому удалось пережить невозможные, непереживаемые десять лет и вот теперь, в 1947—48, измученными и надорванными, ступить робкою ногою на землю *воли* — в надежде тихо дотянуть недолгий остаток жизни. Но какая-то дикая фантазия (или устойчивая злобность, или ненасыщенная месть) толкнула генералиссимуса-Победителя дать приказ: всех этих калек сажать заново, без новой вины!» («Архипелаг ГУЛАГ». Т. 4. С. 95—96).

Озёрлаг. — В 1948 г., рассказывает А. С. в «Архипелаге ГУЛАГе», «созданы были *Особые лагеря* с особым уставом — малость помягче ранней каторги, но жёстче обычных лагерей».

* РГАЛИ, ф. 2511, оп. 2, д. 2, л. 5, об.

** Книга пророка Исаии. 6: 9.

*** Евангелие от Матфея, 13: 13. См. также: Марк, 4: 12; Лука, 8: 10; Иоанн, 12: 40.

**** Псалтирь, 113: 13—15.

Для отличия придумали таким лагерям давать названия не по местности, а фантастическо-поэтические» (Т. 6. С. 33). В частности, был развернут Озёрлаг в Тайшете.

— *Два письма в год!*.. — лимит, который установлен и в Особом лагере, где сидит Иван Денисович Шухов, заглавный персонаж рассказа А. С. «Один день Ивана Денисовича» (1959).

С. 401. *Аиде разрешено было спуститься к дорогому человеку и с ним вместе умереть.* — Аида — персонаж одноимённой оперы (1870) итальянского композитора Джузеппе Верди. Прозаическое французское либретто по сценарию египтолога Огюста Мариетта написал Камиль дю Локль, стихотворное итальянское либретто — Антонио Гисланцони. Действие оперы происходит в Египте во времена фараонов. Возлюбленный Аиды, Радамес, предводитель египетских войск, невольно выдаёт военный секрет, и жрецы приговаривают его к погребению заживо. В подземелье, где замурован Радамес, через тайный ход проникает Аида, и теперь их никто не сможет разлучить.

С. 402. — *На Фуриштатской <...> / — На Захарьевской. Рядом!* — Параллельные улицы (Петра Лаврова и Каляева в 1923—1991 гг.), идущие от Литейного проспекта до Потёмкинской улицы (в сторону Таврического сада).

Ведь четверть города выселили. — Из «Архипелага ГУЛАГ»: «Это начался Кировский поток из Ленинграда, где напряжённость признана настолько великой, что штабы НКВД созданы при каждом райисполкоме города, а судопроизводство введено “ускоренное” (оно и раньше не поражало медлительностью) и без права обжалования (оно и раньше не обжаловалось). Считается, что четверть Ленинграда была расчищена в 1934—35. Эту оценку пусть опровергнет тот, кто владеет точной цифрой и даст её» (Т. 4. С. 68). Статистика репрессий до сих пор предаётся огласке выборочно.

С. 403. *А за несколько лет до того <...> выселяли из Ленинграда дворян.* — В «Архипелаге ГУЛАГ» А. С. замечает: «Брали дворян по сословному признаку. Брали дворянские семьи. Наконец, не очень разобравшись, брали и личных дворян, то есть попросту — окончивших когда-то университет. А уж взят — пути назад нет, сделанного не воротить. Часовой Революции не ошибается» (Т. 4. С. 53).

С. 404. — *Весь не умру, — прошептал Шулубин.* — *Не весь умру.* — В бреду Шулубин, скорее всего, варьирует слова из стихотворения А. С. Пушкина «Я памятник себе воздвиг нерукотворный...» (1836): «Нет, весь я не умру...»*

* А. С. Пушкин. Полн. собр. соч. Т. 3. 1977. С. 340.

С. 406. *Это было утро творения! Мир сотворялся снова для одного того, чтобы вернуться Олегу: иди! живи!* — В 3-й редакции (1959) романа «В круге первом» ташкентский опыт А. С. был вложен в описание жизни в эвакуации Клары Макарыгиной, дочери прокурора:

«Третьим летом, проведённым в Ташкенте, Клара поступила в Медицинский институт. В больничном парке ТашМИ на зелёной травке близ фонтана она увлечённо зубрила с подругами анатомию и латынь, и вид унылых больных в полосатых клоунских одеждах не снижал её радостного ощущения, что она нашла себя.

Но осенью она заболела. Заболела так серьёзно и продолжительно, что не пришлось держать её дома, а положить в ту же самую клинику Медицинского института, в один из корпусов, из окон которого виднелись быстрые мутные воды Салара, опустевшие теннисные площадки и иссякший фонтан меж оголённых деревьев.

Пять месяцев она пролежала там.

За это время её показывали профессорам, кололи внутривенно и внутримышечно, просвечивали, облучали, брали анализы, переливали кровь и физиологический раствор, — за это время сомнений в жизни, потом сомнений в своей будущей телесной полноценности, за долгие бессонные ночи, за долгое слоняние по коридорам в виде унылой же фигуры в полосатом клоунском халате, — Кларе не только стал непереносим больничный запах и больничный вид, и усталое равнодушие дежурных сестёр, и грубая озлобленность малооплачиваемых санитарок, но она ясно прозрела, что и врачи все окованы какой-то незримой цепью, делающей их чиновниками. Над врачами висела всемогущая история болезни и статистика смертей, ухудшений, улучшений и применения отечественных заменителей иностранных препаратов. Если больной становился безнадежен, его выписывали, чтоб он не успел умереть в больнице и не испортил бы статистику. Если больной противился лечению, пытался передать свои переживания от одного или другого лекарства — врачи не имели ни сил, ни времени, ни желания вникнуть, зато ежедневно, боясь главного врача, проверяли содержимое тумбочек, нет ли там крошек, бумаги и лишней посуды, и по единому ли образцу заправлены кровати.

Однако Клара внутренне безошибочно ощущала, что главное в исходе её болезни решают не лейкоцитная формула, не гемоглобин, не показания рентгена — а её дух, тот самый «дух войска», о котором она впервые прочла в больнице же из удивительной книги «Война и мир». И прильнувши лбом к ночному стеклу окна, она круто решила, что хотя лечение идёт всё хуже, но с этого дня, ни на кого не надеясь, она вылечит себя сама — одним решением жить и быть счастливой. И ещё — если она выздоровеет, она никогда не станет врачом — чтоб не быть самой такой же не видящей и не слышащей душу больного.

Она выздоровела к февралю. Конец февраля в Ташкенте — это неведомая прозрачная весна. Уже зеленели раскидистые аллеи русских колониальных кварталов и «круглый сквер» — лес среди города. Клара мед-

ленно шла по солнечным сторонам, счастливо жмурилась на мелькание людей, трамваев, магазинов — и всё пело в ней радостью уже неожиданной, вторично пришедшей к ней жизни и стократ теперь ценимого, не беззаботного здоровья. Было ощущение, что это — день рождения и что новую жизнь надо очень-очень хорошо прожить»*.

Этот эпизод был вычеркнут в рукописи после начала работы над «Раковым корпусом».

2 апреля 1958 г. А. С. лёг в онкологическое отделение Рязанской областной больницы, чтобы пройти курс лечения сарколизином. Это было новое средство, воздействующее не только на опухоль, но и на метастазы, «отыскивая» их по всему телу. Наиболее эффективно сарколизин боролся именно с семиномой. «Слежу за своим лечением сам, преоборов сопротивление нач<альника> онко-отделения, — пишет А. С. из больницы Е. А. и Н. И. Зубовым (10 апреля 1958). — (Кстати, только здесь могу оценить, как высоко и добросовестно поставлено лечение в Ташкенте!)»**. И продолжает в письме им же (3 мая 1958): «Онкоотделение областной больницы отличается тем, что не операционными больными пренебрегают по сравнению с операционными. В иные дни к ним *вообще* не подходят лечащие врачи. Зато практикантки из Мединститута сменяются с феерической быстротой (по 2 в день — и ни одна не возвращается вторично). Впрочем, меня это мало касалось: довольно быстро я установил, что в Рязани нет *ни одного* специалиста по лечению сарколизином. Но я добился и прочёл *две* инструкции, кроме того имел 2 письма из ин<ститута>та Терапии Рака Академии> Наук, откуда весьма любезно разъяснили всё, что меня интересовало. После этого в Рязани появился-таки один специалист по лечению сарколизином — это был я. Я взял лечение в свои руки, сам прописывал себе всё необходимое и осуществлял это либо через старшую сестру, либо через лечащего врача. Зав. отделением, заметив мою введливость, уступил и предоставил всё течению вещей. После хорошо перенесённых трёх приёмов я на оставшиеся 4 выписал себя из больницы и продолжаю курс амбулаторно. <...> Всё, что раньше называлось остатками моей опухоли в лимфоузлах, в настоящее время ни пальпированием, ни рентгеноскопией, ни рнеморегитонеум'ом обнаружению не поддаётся. Следует предположить поэтому, что опухоль рассосалась»***.

Рнеморегитонеум (пневмоперитонеум) — от греч. рнеума (воздух) + лат. peritoneum (брюшина) — заполнение газом брюшной полости. Газ, введённый в полость брюшины при рентгенологическом исследовании, создаёт на рентгенограмме светлый фон, облегчающий выявление спаек, опухолей и кист, а также их взаимосвязи с окружающими органами и тканями.

* Александр Солженицын. В круге первом: Роман / Издание подготовила М. Г. Петрова. М.: Наука, 2006. С. 754—755.

** РГАЛИ, ф. 2511, оп. 2, д. 5, л. 3.

*** Там же, л. 4.

Трамвай тянул по мосту через речку. — Тот самый Салар, ровный шумок которого слышит Костоготов, гуляя по аллеям парка (с. 134).

Шли удивительные кварталы: широченные тротуары, широченные бульвары. — От Мединститута в Старый город трамвай шёл через центр.

С. 412. ...он газетчиков уличных не видел с детства (вот когда последний раз: когда застрелился Маяковский и мальчишки бегали с экстренным выпуском). — В. В. Маяковский застрелился 14 апреля 1930 г. около 10.15 утра. Днём в газеты поступило распоряжение никаких самостоятельно добытых сведений о смерти Маяковского не печатать, ограничившись материалами, поступающими по каналам Российского телеграфного агентства. Одна ленинградская «Вечерняя Красная газета» успела выйти до этого распоряжения. О ней, видимо, и речь.

С. 414. *Что на каждом шагу в жизни его преследует цифра «пятьдесят восемь»* — этому он ничуть не удивился. — Прежде всего, «пятьдесят восемь» — это номер статьи, по которой был осуждён Костоготов. Рассказывая о Н. И. Зубове, с которым познакомился в ссылке, А. С. замечает: «Ему тогда шёл 58-й год (в созвучии с нашей знаменитой *статьёй*, где этот номер нас не преследовал!) <...>»*

С. 415. *Пользуйтесь фототелеграфом!*» — Фототелеграф позволял передавать и воспроизводить на расстоянии тексты, чертежи, фотографии и т. п.

С. 417. ...*рубашки штапельные.* — Штапель — модная в середине прошлого века синтетическая ткань из химических волокон, разделённых на короткие (140—150 мм) отрезки — штапели. По внешнему виду, упругости и на ощупь похожа на ткань из натурального сырья. В 1955 г. в общем объёме мирового производства искусственных волокон штапельное волокно составляло 50%.

С. 418. ...*люди коченели в этапах-краснушках...* — Этапы названы по товарным вагонам красного цвета, в которых перевозили заключённых.

С. 421. ...*винторогий козёл.* — Один из восьми видов горных козлов. Летом окраска рыжевато-песчаная или серовато-рыжая. Высота в холке 86—90 см. Высокие плоские рога, достигающие у взрослых самцов 70—90 см, закручены наподобие штопора — правый рог вправо, а левый влево.

* А. Солженицын. Бодался теленок с дубом. С. 405.

С. 422. ...*сины белоголовые*... — хищные птицы, размером превосходящие орлов. Гнездятся на скалах, изредка на деревьях, обычно образуют колонии. Окраска светло-бурая, маховые и рулевые перья чёрные, ожерелье и пух на голове и шее белые. Размах крыльев достигает 2,5 м. Широко раскинув крылья, часами парят в воздухе.

С. 423. ...*по медвежьей мерке это была не камера, а бокс*. — Бокс — очень тесная камера без окна, обычно на одного человека.

С. 424. ...*мимо священного индийского зебу, золотого зайца агути*... — Зебу — быки и коровы с мускульно-жировым горбом на загривке. Разводятся как тягловый и мясомолочный скот. В Индии окружены религиозным поклонением. Забивать их нельзя. И, когда они становятся бесполезными в хозяйстве, их просто отпускают, позволяя умереть естественной смертью.

Агути — зайцы с горбатой спиной и ярко-золотистой окраской. Родственники морских свинок и похожи на них внешне. Длина тела до 60 см. Уши короткие, хвост почти незаметен.

...«*макака-резус*»... — один из видов узконосых обезьян подсемейства марьяшковых. Туловище в длину достигает 60 см. Хвост короче в два раза. Телосложение крепкое. На шее, груди и брюхе висят складки. Шерсть рыжевато-серая. Лицо, уши и кисти рук медно-красного цвета. У самки хвост опущен, у самца загнут дугой кверху. Легко ходят на двух ногах, плавают и ныряют. Непоседливы и резвы, постоянно гоняются друг за другом, кричат или щебечут. Питаются растениями, но едят и червей, и насекомых, а иногда и мелких позвоночных. Широко используются как лабораторные животные. На них проверяют безопасность многих новых лекарств. В Индии считаются священными животными.

С. 425. ...*китайский аллигатор*... — восточноазиатский крокодил. Распространён в низовьях реки Янцзы. Длина самцов в среднем 1,2—2,0 м. Самки мельче. Половину тела составляет хвост, который существенно помогает двигаться в воде, используется как лопата при строительстве гнёзд и служит складом жира на зиму. Поздней осенью аллигаторы впадают в спячку и просыпаются ранней весной. После зимовки подолгу лежат на солнцепёке, чтобы поднять температуру тела.

...*мощный питон* <...> *был неподвижен, и только острый маленький язычок его метался*. — Питоны — неядовитые змеи размером от 0,5 до 10 м. Добычу ждут в засаде. Нападают мгновенно. Жертву душат и заглатывают полностью, переваривают до нескольких дней. Главный орган чувств — длинный раздвоенный на конце язык. Он высовывается через вырезку в верхней челюсти, несколько секунд трепещет в воздухе и втягивается внутрь, снабжая орган обоняния молекулами пахучих веществ. Язык служит также температурным датчиком.

...ядовитая эфа... — змея семейства гадюк. Длина 70—80 см. Окраска золотисто-песчаная, сероватая или буроватая. Сбоку — продольный светлый зигзаг. На голове — тоже светлый — крест. Почувствовав опасность, эфа начинает безостановочно извиваться, образуя два тесных полукружия и держа голову готовой к нападению посередине. Мелкая ребристая чешуя по бокам туловища при свёртывании змеи образует предупреждающий громкий шуршащий звук вроде шипения воды на раскалённой плите.

Один старый политкаторжанин, который был когда-то в туруханской ссылке, а в новое время встретился в лагере с Олегом, рассказывал ему, что не бархатно-чёрные, а именно жёлтые были глаза! — Упоминание туруханской ссылки подсказывает, что речь о Сталине.

С. 426. ...антилопа Нильгау... — самая крупная из азиатских антилоп. Высота в холке 1,2—1,5 м. Длина тела до 2 м, масса до 200 кг. Голова самки вытянута и сужена с боков. На шее — короткая грива. Ноги длинные, тонкие. Хвост, с кистью волос на конце, спускается до копыт. Окраска шерсти у самцов серо-голубая, у самок песочно-жёлтая, жёлто-коричневая или рыже-бурая. Рожки у самцов небольшие (длиной 20—25 см), острые, самки безрогие. Из антилоп только Нильгау, объедая листву, могут подниматься на задние ноги.

С. 429. ...он шёл по растянутым дорогам страны, шёл два раза по семь лет!.. — семь лет армии и семь лет лагеря.

С. 432. ...этот прекрасный изобильный миллионный город... — В Ташкенте, занимавшем по числу жителей первое место среди городов Средней Азии, в 1956 г. насчитывалось 778 тыс. жителей.

С. 434. — *Пожалуйста, пожалуйста, — пригласил его очень приятный радушный голос.* — Е. А. и Н. И. Зубовым А. С. пишет из Ташкентского мединститута (21 июня 1954): «В комендатуре (куда раньше каждый раз я ездил по 3 раза) только, казалось, и ждали, чтобы поставить отметку о моем прибытии»*.

С. 439. ...Хан-Тау. — Посёлок и железнодорожная станция у подножия хребта Айтая на линии Чу — Сарышаган, в 311 км к северо-востоку от Джамбула (теперь — Тараз).

С. 440. — *От той мне тридцать километров добираться, а от другой семьдесят <...> Хорошо, давайте до станции Чу.* — Станция Чу — узел железнодорожных линий (на Алма-Ату, Джамбул, Моинты) при одноимённом посёлке (с 1960 г. — город), расположенном на левом

* РГАЛИ, ф. 2511, оп. 2, д. 2, л. 14.

берегу реки Чу, в 245 км к северо-востоку от Джамбула. От станции Чу до Кок-Терека как раз 70 км просёлком, от станции Хан-Тау — 35*.

С. 441. ...когда будут пустой их состав подавать, уже надо будет заметить вагон и бежать к нему, захватывать очередь. — У Костоглотова самый дешёвый билет — в общий вагон. А билеты в общие вагоны, в отличие от плацкартных и купейных, продавались без указания места.

...уже после договора с Риббентропом, но ещё до речи Молотова и до указа о мобилизации девятнадцатилетних. — Договор о ненападении между Советским Союзом и Германией был подписан в Москве председателем Совнаркома, наркомом иностранных дел СССР В. М. Молотовым и министром иностранных дел Третьего рейха Иоахимом фон Риббентропом в ночь с 23 на 24 августа 1939 г. и напечатан в центральных газетах 24 августа.

С сообщением «О ратификации советско-германского договора о ненападении» Молотов выступил на внеочередной четвёртой сессии Верховного Совета СССР вечером 31 августа. «Советско-германский договор о ненападении, — сказал он, — означает поворот в развитии Европы, поворот в сторону улучшения отношений между двумя самыми большими государствами Европы. Этот договор не только даёт нам устранение угрозы войны с Германией, суживает поле возможных военных столкновений в Европе и служит, таким образом, делу всеобщего мира, — он должен обеспечить нам новые возможности роста сил, укрепление наших позиций, дальнейший рост влияния Советского Союза на международное развитие»**.

Закон о всеобщей воинской обязанности, утвердивший в качестве призывного возраста не только девятнадцать, но и неполных восемнадцать лет, был принят на той же сессии на следующий день, 1 сентября 1939 г. См. об этом 2-е примечание к с. 27.

Они с другом в то лето спускались по Волге на лодке, в Сталинграде лодку продали, и надо было на поезд — возвращаться к занятиям. — О предвоенном лодочном путешествии двух друзей по Волге мимо Жигулей рассказывает А. С. в автобиографической поэме «Дороженька» (1947—1953), в главе «Мальчики с луны»***.

С. 442. ...этот долгий перрон под навесом напоминал что-то южное из детских лет — может быть, Минеральные Воды. — Минеральные Воды — город в Ставропольском крае, в предгорьях Большого Кавказа, и железнодорожный узел, примерно в 60 км от Кисловодска, родного города А. С.

* Отношения сердец. С. 149, 151.

** «Правда». 1 сентября 1939.

*** Александр Солженицын. Протеревши глаза. С. 8–18.

С. 445. ...*Олег донесся до своего вагона и стал примерно двадцатым. Ну, к ставшим ещё подбежали свои, ну пусть будет тридцатым. Второй полки не будет <...> А багажной должно бы хватить.* — В общем вагоне 27 нижних полок, на которых обычно только сидят, столько же вторых, верхних, и столько же третьих, багажных.

...*сразу узнал полуцвета...* — Полуцвет (лаг.) — косящий под блатного, однако блатным не являющийся.

С. 446. *Где девяносто девять плачут, один смеётся.* — Ходовая лагерная поговорка.

С. 447. *Поезд шёл — и сапоги Костоглотова, как мёртвые, побалтывались над проходом носками вниз.* — В первом полном издании «Ракового корпуса» (Frankfurt/Main: Посев, 1968) после этой фразы следовали ещё два абзаца:

«Злой человек насыпал табаку в глаза макаке-резус.

— Просто — так...»*

Владимир Радзишевский
2012

* Ч. 2. С. 255.

СОДЕРЖАНИЕ

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

1. Вообще не рак	9
2. Образование ума не прибавляет	16
3. Пчёлка	29
4. Тревоги больных	41
5. Тревоги врачей	54
6. История анализа	63
7. Право лечить	76
8. Чем люди живы	87
9. Tumor cordis	98
10. Дети	108
11. Рак берёзы	120
12. Все страсти возвращаются	135
13. И тени тоже	153
14. Правосудие	162
15. Каждому своё	172
16. Несуразности	183
17. Исык-кульский корень	189
18. «И пусть у гробового входа...»	202
19. Скорость, близкая свету	212
20. Воспоминание о Прекрасном	226
21. Тени расходятся	238

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

22. Река, впадающая в пески	251
23. Зачем жить плохо?	256
24. Переливая кровь	275
25. Вега	287
26. Хорошее начинание	299
27. Что кому интересно	313
28. Всюду нёчет	324
29. Слово жёсткое, слово мягкое	337
30. Старый доктор	348
31. Идолы рынка	360
32. С оборота	372
33. Счастливый конец	385
34. Потяжелей немного	395
35. Первый день творения	405
36. И последний день	426
<i>Комментарии — Владимир Радзишевский</i>	448

Литературно-художественное издание

Александр Исаевич Солженицын
СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ В ТРИДЦАТИ ТОМАХ
ТОМ 3
РАКОВЫЙ КОРПУС

Редактор
Алла Гладкова

Художественный редактор
Валерий Калныньш

Корректор
Ирина Машковская

Верстка
Юрий Васильков

Подписано в печать 27.06.2012
Формат 60×90 ¹/₁₆
Бумага для ВХИ. Усл.-печ. л. 34,5
Тираж 3000 экз. Заказ № 424

«Время»
115326, Москва, ул. Пятницкая, 25
(495) 951 5488
<http://books.vremya.ru>
letter@books.vremya.ru

Отпечатано в соответствии
с предоставленным оригинал-макетом
в ОАО «ИПП «Уральский рабочий»
620990, Екатеринбург, ул. Тургенева, 13
<http://www.uralprint.ru>
book@uralprint.ru

Солженицын А. И.
С60 Собрание сочинений в 30 томах. Т. 3. Раковый корпус. —
М.: Время, 2012. — 552 с.

ISBN 978-5-9691-0754-0

В третьем томе 30-томного Собрания сочинений печатается повесть «Раковый корпус». Сосланный «навечно» в казахский аул после отбытия 8-летнего заключения, больной раком Солженицын получает разрешение пройти курс лечения в онкологическом диспансере Ташкента. Там, летом 1954 года, и задумана повесть. Замысел лежал без движения почти 10 лет. Начав писать в 1963 году, автор вплотную работал над повестью с осени 1965 до осени 1967 года. Попытки «Нового мира» Твардовского напечатать «Раковый корпус» были твердо пресечены властями, но текст распространился в Самиздате и в 1968 году был опубликован по-русски за границей. Переведен практически на все европейские языки и на ряд азиатских. На родине впервые напечатан в 1990.

В основе повести — личный опыт и наблюдения автора. Больные «ракового корпуса» — люди со всех концов огромной страны, изо всех социальных слоев. Читатель становится свидетелем борения с болезнью, попыток осмысления жизни и смерти; с волнением следит за робкой сменой общественной обстановки после смерти Сталина, когда страна будто начала обретать сознание после страшной болезни. В героях повести, населяющих одну больничную палату, воплощены боль и надежды России.

ISBN 978-5-9691-0754-0



9 785969 107540

